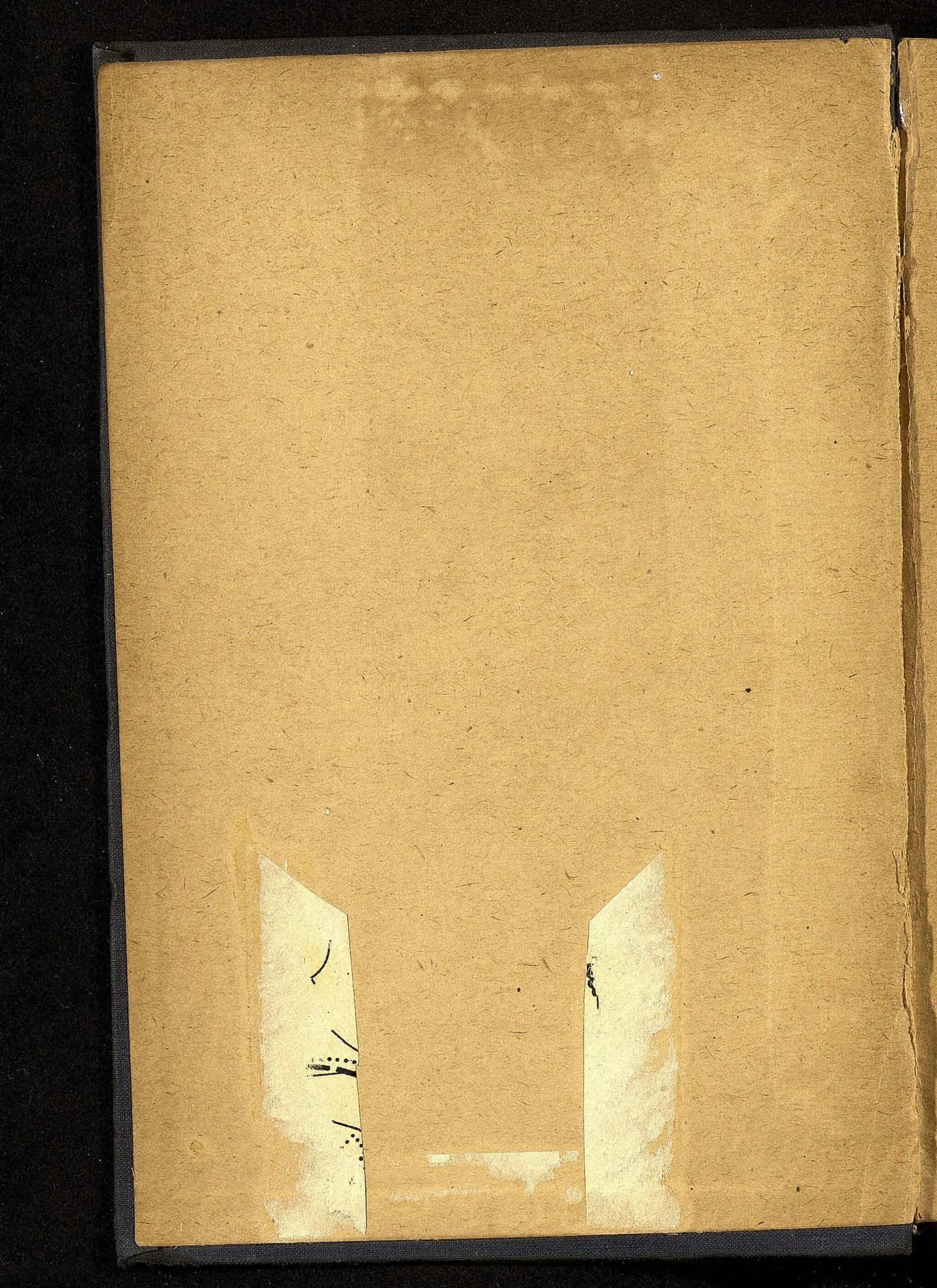
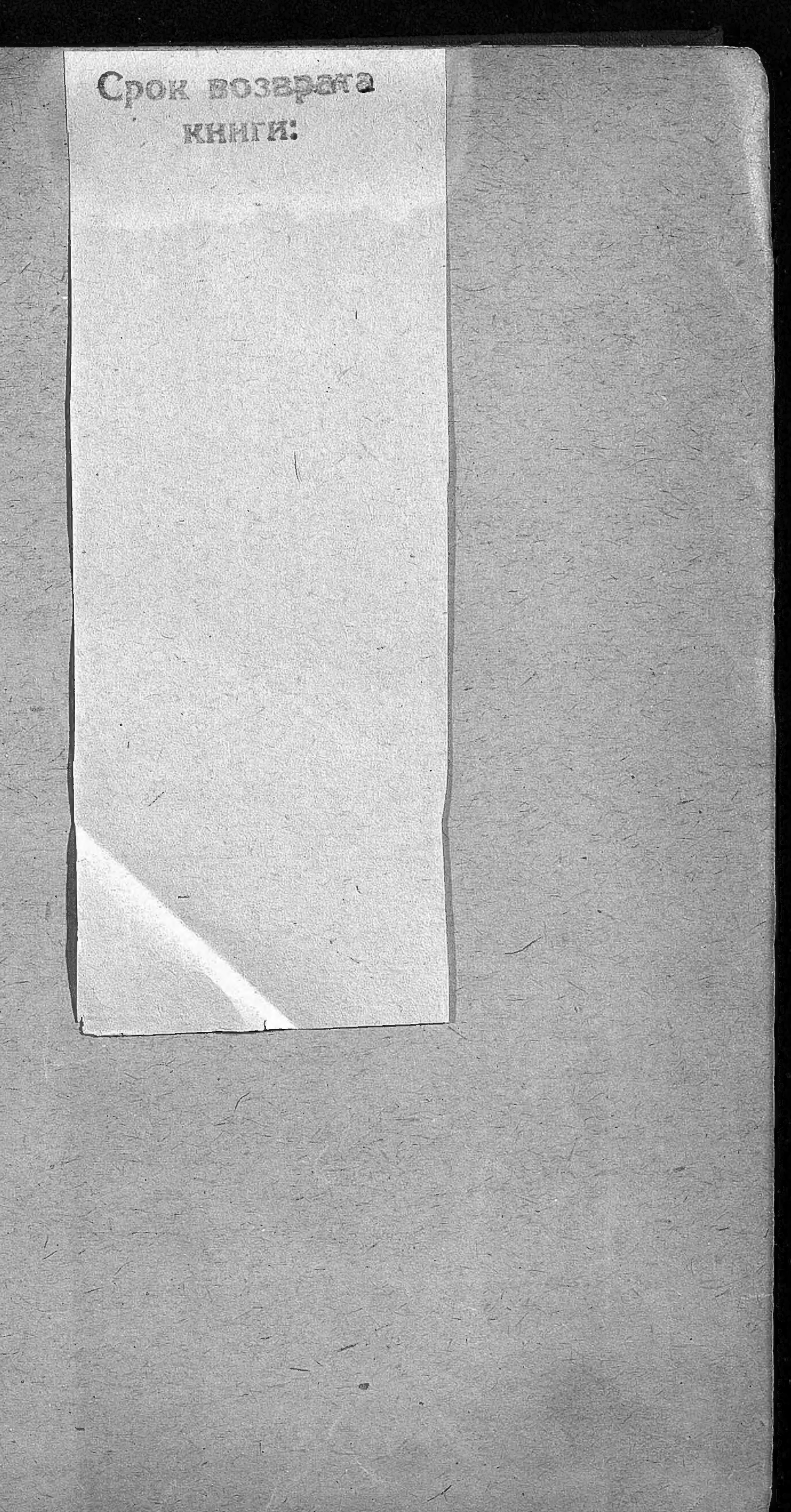
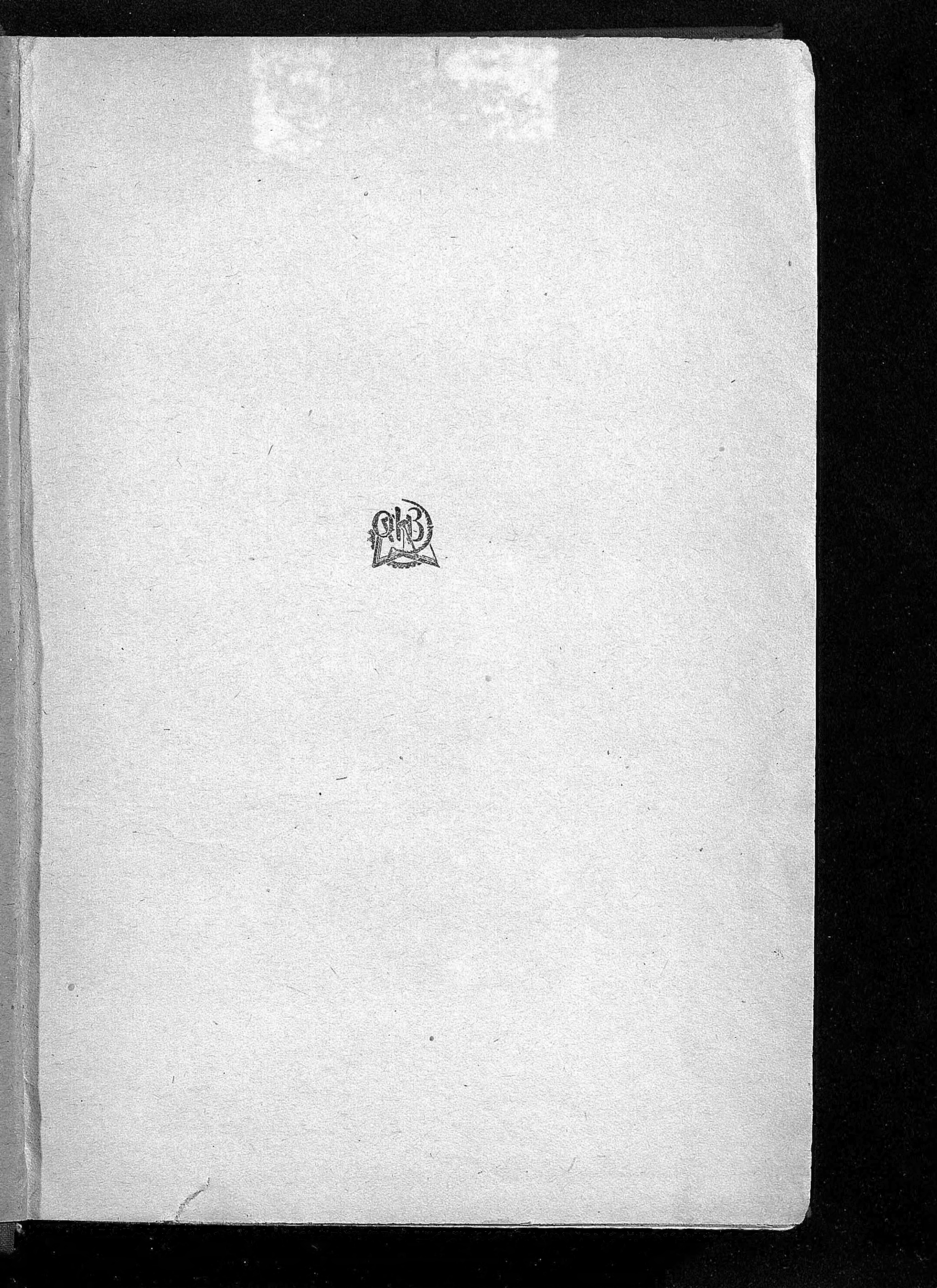
М. Н. ПОКРОВСКИЙ

# ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ ВОЙНА







ИНСТИТУТ ИСТОРИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

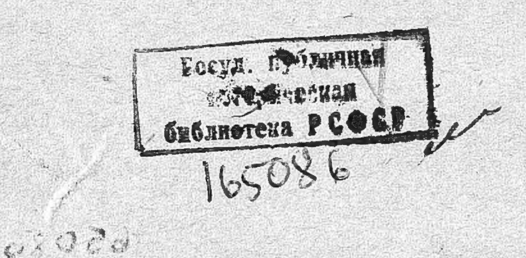


М. Н. ПОКРОВСКИЙ

# ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ ВОЙНА

СБОРНИК СТАТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1934




*М. Н. Покровский* ,,Империалистская война“

Соцэкгиз, 1934

Редактор *Н. Л. Рубинштейн*. Техред *В. К. Мартынюк*

Сдано в набор 23/IV-1934. Подписано в печать 27/VIII-1934 г.
Формат 62×94/16 28 п. л. 14 бум. л.
Огиз № 1345, Тираж 12.000. Заказ № 478.
Уполномоч. Главлита В-95553

16-я типография треста ,,Полиграфкнига“. Москва. Трехпрудный пер., 9.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

М. Н. Покровский дал нам целую серию ценнейших публикаций по истории международных отношений. Под его руководством было начато монументальное издание «Международные отношения». В ряде мастерски написанных статей он ввел этот новый исторический материал в широкий научный оборот.

Большинство статей М. Н. Покровского относится к периоду до 1925 г. Это в значительной мере определило их тематику. Часть статей была написана еще в годы войны. На ряде статей сказалось содержание тех источников, которыми располагал М. Н. Покровский. В те годы историк был ограничен документами царских архивов, разоблачавшими главным образом роль царской России и антантовского империализма в подготовке войны.

Давая огромной ценности материал, прочно вошедший в научный оборот, по истории подготовки войны Антантой, М. Н. Покровский оставил в тени ряд вопросов, связанных с ролью Австро-германской коалиции, и в частности Германии, в подготовке войны, но сам он, конечно, видел эту роль и неоднократно на нее указывал.

Сборник статей М. Н. Покровского об империалистской войне появился впервые еще при его жизни: первое издание в 1928 г., второе—с добавлением двух статей «Америка и война 1914 г.» и «Русские документы мировой войны»—в 1931 г.

Однако оба издания далеко не охватили всех его статей, и сейчас мы переиздаем его со включением восьми статей, не вошедших в предыдущие издания:

1. Русский империализм в прошлом и настоящем—статья написана в 1914 г., входила в сборник «Дипломатия и войны царской России».

2. Франко-русский союз в прошлом и настоящем—из газеты «Социалдемократ» № 12, 1910 г.

3. Предисловие к дневнику А. Н. Куропаткина—«Красный архив», 1923 г., кн. 2.

4. Система вооруженного мира—из энциклопедического словаря бр. Гранат (т. 39, 1922 г.)

5. Балканские войны—из БСЭ (т. 4, 1926 г.).

6. Происхождение и характер войны—из журнала «Народный учитель» за 1924 г.

7. Ставка и министерство иностранных дел—из журнала «Красный архив» № 1 (XXVI) 1928 г.

8. Русско-германские отношения (предисловие)—из журнала «Красный архив» № 1 1922 г.

Кроме того в качестве приложения нами дается брошюра М. Н. Покровского «Внешняя политика России в XX в.», изданная в 1926 г.

По своему тематическому и хронологическому охвату она несколько выходит из рамок настоящего сборника и поэтому вынесена в конец, в качестве приложения. Мы считали нужным приложить ее к настоящему сборнику, так как в сжатом очерке она дает полный обзор внешней политики с начала XX в., за весь период империалистской войны, охватывая также политику Временного правительства и первые годы советской власти.

Несколько изменена в настоящем издании систематизация материала. Прежние издания строго следовали хронологической последовательности написания статей. Редакция считала более целесообразным распределить материал по основным ведущим темам, соблюдая хронологический порядок статей в пределах каждой темы.

Сборник подготовлен к печати Институтом истории Комакадемии.

В окончательно подготовленном виде сборник был просмотрен Редакционной коллегией по изданию сочинений М. Н. Покровского под председательством А. С. Бубнова в составе: М. А. Савельева, В. В. Адоратского, Н. М. Лукина, В. П. Милютина, В. В. Максакова, Е. Б. Пашуканиса, С. С. Сефа.

# НА ПУТЯХ К МИРОВОЙ ВОЙНЕ

## РУССКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Когда появятся в печати эти строки, имя генерала Лимана фон Сандерса, быть может, будет уже забыто, а быть может, оно станет историческим. Так зовут, как помнит читатель, прусского генерала, фактически ставшего главнокомандующим турецкой армией. Его назначение вызвало, говорят иностранные газеты, сильное возбуждение русского «общественного мнения» (читай: «Нового времени»). Самым фактом назначения прусского генерала турецким пашой настоящему общественному мнению России, пожалуй, еще не стоило бы интересоваться. Но историку невольно приходит на память другой инцидент, случившийся в том же Константинополе лет шестьдесят тому назад. Инцидент еще более заслуживает сравнения с «Копеечной свечкой», чем теперешний: ключи вифлеемского храма (кто о нем теперь помнит, да и кто много знал о нем тогда?) из кармана монахов православных перешли в карман монахов католических. А через несколько лет от этих ключей гремела канонада под Севастополем, трагически сошел в могилу Николай I и началась эпоха русских «великих реформ шестидесятых годов». От копеечной свечки Москва сгорела... Будет ли генерал Сандерс такой же копеечной свечкой? Это зависит не от него, конечно (и не от «Нового времени»), а от того «экономического базиса», на котором он стоит, не столько даже в качестве «политической надстройки», сколько в качестве политического флюгера, показывающего направление ветра. Во всяком случае, сравнить «экономический базис» вифлеемских ключей и прусского генерала стоит труда, и мы не боимся наскучить читателям нашей исторической справкой.

У нас очень распространено мнение о николаевской, «дореформенной» России как о стране дворянской, феодальной, где все и вся определялось интересами землевладельцев, которые тогда были и владельцами крестьянских «душ». Представление это достаточно нелепо само по себе, в особенности для марксиста: ведь непосредственно за николаевской эпохой следовала эпоха «реформ», а какими бы мы ни считали эти реформы, «великими» или нет, нельзя отрицать их резко выраженного буржуазного характера. Одной замены сословных градаций имущественным цензом различных форм и видов

(в земстве, в суде и т. д.) достаточно, чтобы на этот, по крайней мере, счет не оставалось никаких сомнений. Как же это на чисто феодальном фоне появились вдруг буржуазные реформы? А если припомнить, что проекты реформы надолго опередили их осуществление (планы Сперанского, декабристов, крестьянской и судебной реформы при Николае I), то для историка-материалиста не останется иного выхода, как признать, что существовала какая-то буржуазная среда, питавшая эти планы и проекты. Мы не будем касаться политической роли этой дореформенной русской буржуазии во всей широте. Тут есть факты на редкость характерные. Многие ли знают, например, что накануне 14 декабря на обедах виднейших петербургских коммерсантов «ораторствовали в самом либеральном духе» (записки Штейнгеля)? Но если бы мы занялись ими, они слишком далеко отвели бы нас в сторону от нашей прямой задачи. Довольно указать, какое громадное влияние имел молодой русский капитализм на *внешнюю политику* Николая I. Все знают из учебников историю «побед и одолений», которыми началось царствование этого государя,—все слыхали о персидских и турецких войнах его, Дибиче-Забалканском, Паскевиче-Эриванском, об Адрианопольском трактате. Но ни в одной исторической книжке—не только в школьной—не найдете вы попытки дать не только экономическое, но и просто разумное объяснение всех этих походов и завоеваний. А между тем это экономическое основание давно подметили современники, а в русском государственном совете николаевских времен говорили на этот счет вполне определенно. Известный английский публицист тех дней, Уркварт (имя, попадавшееся, конечно, тем, кто изучал биографию Маркса), писал, что персидский рынок, после победы России над Персией, оказался почти в монопольном обладании русского капитала: английским товарам приходилось вести с русскими фабрикантами ожесточенную и вначале далеко не всегда успешную борьбу; русская монета, русские торговые обычаи господствовали в Северной Персии безраздельно. А не менее известный русский статистик того времени Арсеньев констатирует, что целый ряд шуйских текстильных фабрик жил персидским рынком. Крупнейшая шуйская фирма Посылиных до того освоилась в Закавказье, что в Тифлисе ее считали своей, местной фирмой, повидимому, совершенно забывая о ее шуйских фабриках. В нашей литературе анекдотической фигурой стал купец с персидским орденом «Льва и солнца». И теперь редко кто догадывается, что этот анекдот, как латы Дон-Кихота, напоминает о далекой героической эпохе русского промышленного капитализма; Посылин был первым кавалером этого персидского ордена из русских коммерсантов. Но Персии николаевским фабрикантам было мало. Из опубликованной в позднейшее время секретной переписки южнорусских администраторов (одесского генерала-губернатора Воронцова, кавказского главноначальствующего Розена и др.) с министром финансов Канкриным мы узнаем об обширных планах николаевского правительства—завладеть не только персидским, но и турецким рынком, отбить у ан-

гличан Трапезунд, главный впускной порт для английских товаров на южном берегу Черного моря. Чтобы достигнуть этих целей, николаевская дипломатия все больше и больше нажимала на Турцию и добилась того, что в 1833 г. по так называемому Ункиар-искелесскому трактату русский император стал почти таким же хозяином на берегах Босфора, как на берегах Невы. Этого уже англичане не выдержали, и в воздухе запахло войной. От Ункиар-искелесского договора Николаю Павловичу через несколько лет пришлось отказаться, и опасность войны с Англией была отодвинута, но отнюдь не устранена навсегда. В последние месяцы своей жизни, летом 1854 г., Николаю I довелось-таки увидеть из окон своего петергофского дворца то, к чему он готовился в 1835 г.: английский флот, крейсирующий перед Кронштадтом.

Конфликт был длителен и упорен, он не мог разрешиться мирно потому, что он вовсе не был местным, восточным: спор из-за турецко-персидского рынка был только наиболее бьющим в глаза симптомом распри,—поле этой распри было несравненно шире. В начале XIX в. Россия не считалась еще промышленной страной. Для Западной Европы—для той же Англии прежде всех других—это был громадный склад сырья: леса, сала, пеньки, и все бо́льшую и бо́льшую роль начинала играть на европейском рынке русская пшеница. В обмен на это сырье «щепетильный Лондон» снабжал русское дворянство и чиновничество всеми нужными им фабрикатами—от сукна до почтовой бумаги и туалетных принадлежностей. Крестьяне одевались во все свое, домотканное. Фабрики и заводы были, конечно, но они применяли большею частью подневольный крепостной труд и жили не столько рынком, сколько казенными заказами. Промышленного капитализма, в собственном смысле, не было, как не было еще и промышленного пролетариата. Короткий период вынужденного русско-французского союза и невольного разрыва с Англией (1807—1812 гг.) переменил картину до неузнаваемости: под влиянием навязанной России Наполеоном «континентальной блокады» (запрещение привоза английских товаров на континент Европы) быстро, в течение каких-нибудь 5—6 лет, народилась русская *текстильная промышленность*. Еще в 1809 г. в Россию ввозилось американского хлопка всего ½ млн. фунтов; в 1811 г. было ввезено 9½ млн. В 1808 г. в России появилась первая механическая прядильня (частная—раньше были только казенные), а перед французским нашествием в 1812 г. их в одной Москве было 11. Война двенадцатого года положила конец континентальной блокаде для России, но Англии уже не пришлось вернуть себе потерянного места на русском рынке. «Национальная» русская промышленность держалась крепко: в 1812 г. в России было 2 332 фабрики, в 1828 г.—уже 5 244; рабочих было в 1812 г. 120 тыс., пятнадцать лет спустя—уже 225 тыс., причем половина из них была вольнонаемной. Это был уже настоящий капитализм, и очень скоро, после нескольких лет колебаний, он решительно переходит в наступление. В 1822 г. русская граница была почти закрыта для английских товаров: изданный в этом году

тариф иные из них прямо запретил к привозу, а большинство было обложено высокими «запретительными» пошлинами. За 6 лет, с 1820 по 1826 г., ввоз заграничных материй в Россию сократился— бумажных вдвое, а шерстяных впятеро, зато соответственно увеличивалось производство русских фабрик. И так как внутренний русский рынок, благодаря крепостному праву и поддерживаемым последним натурально-хозяйственным отношениям, рос туго, только что народившаяся крупная промышленность начала искать рынков заграничных. Персия и Азиатская Турция были вовсе не единственным предметом ее вожделений: московские и владимирские фабриканты добились включения в русскую таможенную черту всего Кавказа с Закавказьем, где раньше торговля была свободна; русские разведчики появились даже в Афганистане. Походом Перовского на Хиву (в 1839 г.) начато было завоевание Средней Азии; наконец и в Китай была отправлена русская «духовная» миссия, весьма прозрачно прикрывавшая ту же торговую разведку, и находились прожектеры, уже мечтавшие вытеснить англичан и из Китая. Английская свободная торговля чуть не всюду, на всем земном шаре, наталкивалась на русский протекционизм. И не только увлекавшиеся журналисты, вроде Уркварта, но и английские государственные люди начали с тревогой смотреть на этот русский разлив. Борьба с «расширением России» становится первой задачей английской буржуазии, а ее политический вождь Пальмерстон—воплощением антирусской политики. И так как дорогу русскому капитализму всюду прокладывали русские штыки, дело и должно было решиться штыками. Под Севастополем «штык-молодец» сдал; год спустя после Парижского мира, закончившего Севастопольскую войну, сдал и русский протекционизм; в 1857 г. Россия получила новый, «фритредерский» тариф, опять дозволивший привоз в Россию заграничных товаров с более или менее умеренною таможенною пошлиною.

Как видим, России первой половины XIX в. был знаком *империализм* в самом подлинном его виде: высокие таможенные пошлины, дававшие «отечественной» индустрии монополию внутри страны, стремление под защитой этих пошлин расширить свою хозяйственную территорию до необъятных размеров, ряд завоевательных войн и «экспедиций» как последствие этого стремления—все, что мы привыкли соединять со словом «империализм», было на своем месте, не исключая и политического отражения этого экономического факта. Империализм в современной Европе означает тяготение к сильной центральной власти, могущественной и «блестящей», перед которой смиренно сгибают выю «чужестранные народы», но и которой зато и внутри страны прощается многое. Сила и блеск власти были главной целью Николая Павловича; он до того внушал своим подданным, что русский государь—хозяин всей Европы, что нет державы, которая осмелилась бы встать поперек дороги России,—что, кажется, под конец и сам уверовал в это. Трагедия, которою закончилось его царствование, в значительной степени

была результатом этого самообмана. Но если господство России над Европой было иллюзией, то «сила и блеск власти» внутри страны были совершенно реальным фактом. Чужестранные народы, может быть, и не так боялись русского императора, как бы он хотел, зато собственные подданные были беспрекословно послушны, и в первом ряду купечество. Репутация непоколебимой благонамеренности этого класса идет именно с той поры,—либеральные увлечения предшествующей эпохи (когда еще не были утрачены все надежды на внутренний рынок) рассеялись без следа. Чрезвычайно характерно, что в последующей русской истории пробуждение империалистических вожделений всегда совпадало по времени с политической реакцией. Завоевание Средней Азии приходится как раз на ту эпоху, когда после польского восстания в 1863 г. правительство, а с ним буржуазия круто повернули направо. Реакция 80-х годов была современницей попыток экономического завоевания Болгарии, любопытнейшего эпизода «расширения России», который сейчас у нас нет времени рассматривать подробнее. Наконец крупнейший взмах империализма дореволюционной поры, манчжурско-корейская эпопея, очень точно совпал с режимом Сипягина и Плеве внутри России. Вполне естественным и закономерным является поэтому расцвет новейшего русского империализма на фоне столыпинской реакции. И величайшим недоразумением является требование литературных представителей русской текстильной промышленности (г. Струве и «Русская мысль» вообще), чтобы русское правительство в одно и то же время «создавало великую мощь государства» и было «либеральным». Это значит требовать от одного и того же растения, чтобы оно цвело розами и давало вкусные груши... Что-нибудь одно, и, конечно, доверители г. Струве всегда практически предпочтут груши розе. Первое дело—быть сытым, а с разными приятностями жизни можно и подождать.

Как и в дни Николая I, русский империализм—это, главным образом, ситцевый империализм. В то время как железоделательная промышленность России за первое десятилетие XX в. почти не подвинулась вперед (количество выплавленного чугуна в России в 1900 г.—176 млн. пуд., в 1910 г.—185 млн. пуд.), текстильная достигла небывалого размаха (количество переработанного русскими фабриками хлопка в 1900 г.—16 млн. пуд., в 1910 г.—22 млн. пуд.). Никакого кризиса за исключением непродолжительной заминки, вызванной непосредственно войной и революцией, она не знала: все представления о русском промышленном кризисе дореволюционного времени созданы наблюдениями над «тяжелой индустрией», которая для России, кстати сказать, вовсе не является типичной. Но сходство с эпохой Николая I не ограничивается «материалом империализма», если можно так выразиться: оно идет гораздо дальше. Тогда, как и теперь, Россия была на другой день неудавшейся попытки изменить ее политический строй, другими словами, попытки освободить ее производительные силы (тогда это выразилось бы в уничтожении крепостного права, входившем

в программу декабристов), сжатые тисками устаревшего государственного механизма. Но задержка в развитии производительных сил—и тогда и теперь—равносильна задержке в расширении внутреннего рынка: это особенно хорошо чувствует именно текстильная промышленность, главным покупателем для которой являются народные массы. *Производство растет быстрее, чем внутренний рынок;* значит, *необходим рынок внешний.* Национализм Столыпина логически вытекает из его победы над революцией. А победа этой последней надолго бы задержала развитие империализма; реакция не только обусловливается успехами последнего, но и сама его обусловливает.

Наибольшее внимание публики привлекал к себе до последних дней дальневосточный театр русского империализма. О Монголии так много шумели, что мудрено о ней не слыхать. Но шумом всегда стараются помочь делу тогда, когда оно само не идет. В Манчжурии и в Монголии очень богатые перспективы, но в наличности, кажется, ничего еще пока нет: русская торговля с Китаем, в общем и целом, попрежнему остается пассивной, попрежнему мы гораздо больше покупаем у Китая, чем продаем ему. Совсем иначе стоит дело *на Ближнем Востоке,* старинной арене русского империализма. Здесь шуму меньше, но достигнутые здесь результаты, по крайней мере в одном пункте, нельзя не назвать огромными. Если бы Уркварт встал из гроба, то ужаснулся бы, увидя, что́ стало с Персией, где уже в его время житья не было англичанам от русских. *Сейчас персидский рынок всецело в русских руках;* по оборотам с Персией Россия занимает первое, притом далеко первое место среди европейских государств. Вот каковы были эти обороты в 1906/07 отчетном году:

| Страны | Тысячи фунтов стерлингов |
|---|---|
| Россия . . . . . . . . . . . . | 8 292 |
| Англия . . . . . . . . . . . . | 3 128 |
| Франция . . . . . . . . . . . | 0 700 |
| Австрия . . . . . . . . . . . | 0 277 |
| Германия . . . . . . . . . . . | 0 182 |

И еще русские купцы кричат, что немцы «забивают» их в Персии! Английский источник, откуда мы берем эти данные, откровенно признает не только абсолютное превосходство России в деле эксплоатации персидского рынка, но и постоянный ее прогресс. «В то время как англо-персидская торговля в 1906/07 г. оставалась почти в том же положении, как в 1897 г.,—говорит он,—торговля с Россией поднялась с $3\frac{1}{2}$ млн. фунтов до $8^1/_4$, или на 137%».

С тех пор, с 1906/07 г., дело если и изменилось, то никак не к невыгоде России, как покажет следующая маленькая табличка *ввоза* в Персию:

| | 1910/11 г. (тысячи фунтов | 1911/12 г. стерлингов) |
|---|---|---|
| Из России . . . . . . . . . | 4 391 | 5 355 |
| » Англии . . . . . . . . . | 3 793 | 4 414 |
| » Германии . . . . . . . . | 0 279 | 0 332 |

Германия и Англия *вместе* ввозят меньше, чем одна Россия. Словом, *относительно* русский капитализм в Персии занимает то же место, что и в 30-х годах XIX столетия, относительно потому, что абсолютные обороты, тогдашние и теперешние, несравнимы. При Николае I вся русско-персидская торговля оценивалась в 5 млн. руб., теперь она подходит к сотне миллионов. Недаром и переработанный русскими фабриками хлопок тогда считали миллионами фунтов, а теперь миллионами пудов.

Восемьдесят лет назад из Персии русский империализм двинулся в Турцию, чтобы здесь потерпеть крушение. Теперь, после оккупации Северной Персии, на очереди стоит оккупация Армении, экономически и стратегически командующей восточной половиной Малой Азии; дорога от Черного моря в Персию и к верховьям Тигра и Евфрата идет через Трапезунд и Эрзерум, города армянского нагорья. В заграничных газетах о приготовляющемся движении русских в Армению говорят совершенно открыто, со слов русских министров, притом, как известно, они охотнее беседуют с французскими журналистами, нежели с кем-либо другим. Дают понять, что в Армении Петербург готов видеть компенсацию за инцидент с Лиманом фон-Сандерсом. Совершенно так же, как в 1853 г. Николай I нашел компенсацию за вифлеемские ключи в «дунайских княжествах»—теперешней Румынии. С оккупации русскими Румынии началась, как известно, Севастопольская война. Но не будем забегать вперед. Посмотрим, что представляет собою для России Турция уже теперь с экономической точки зрения. Вот опять небольшая табличка ввоза в Турцию тех же трех государств: Англии, Германии и России:

| | 1905/06 г. (тыс. ф. ст.) | % к общей сумме ввоза | 1908/09 г. (тыс. ф. ст.) | % к общей сумме ввоза |
|---|---|---|---|---|
| Англия . . . . . . | 9 642 | 35,05 | 8 257 | 30 |
| Германия . . . . | 1 163 | 4,22 | 1 698 | 6,16 |
| Россия . . . . . | 1 597 | 5,8 | 2 188 | 7,94 |

Как видим, здесь на первом плане еще Англия, как в течение всего XIX в. Но не только ее *доля* в турецком ввозе, *а и абсолютная величина* английского ввоза в Турцию быстро падают; растет зато и абсолютно и относительно русский и немецкий ввоз, причем первый и абсолютно больше и растет быстрее. В последующие годы быстрота роста русского ввоза проявилась еще резче: Россией было ввезено в Турцию в 1909 г. на 26 млн. руб. (против 21,5 млн. предшествующего года,—русский и турецкий отчетные годы не совпадают), в 1910 г.—на 26,5 млн. руб.; в 1911 г.—на 32 млн. руб. С 1905 г. русский ввоз увеличился вдвое. Правда, в сравнение русского и немецкого ввоза необходимо ввести серьезную поправку. Приведенные цифры говорят о ввозе только из самой Германии непосредственно. Но, несомненно, значительная доля германских товаров—трудно учесть какая—идет через Австрию, а эта последняя ввезла в Турцию в 1910—1911 гг., например, на 6 772 тыс.

турецких фунтов (тур. фунт=$^{9}/_{10}$ английского ф. ст.). В совокупности австро-германский ввоз, конечно, далеко превосходит русский. Но мы и не имели в виду возбуждать патриотическое одушевление читателя картиной, как наши русские одолевают немца. Для нас важно, что Россия в Турции является одним из конкурентов Германии по части претензий на английское наследство,—и конкурентом, пока не несчастливым. Отсюда до вопроса о дележе наследства—один шаг.

Но, возразит читатель, как же относится к делу, прежде всего, сам наследодатель? На первый взгляд кажется ясным, что конфликт опять, как в 1830—1840 гг., должен возникнуть между Англией, с одной стороны, Россией и Германией вместе—с другой. Ведь с рынка-то вытесняют англичан? Так, но эти последние теперь склонны относиться к факту гораздо спокойнее, нежели 80 лет назад. Дело в том, что *товарный вывоз* для Англии давно потерял то значение, какое он имел когда-то. Его общая масса с 1875 г. увеличилась всего в полтора раза, тогда как Германия увеличила свой вывоз за тот же промежуток времени в 2½ раза, а Соединенные штаты—втрое. Вывоз Англии на континент Европы год от году падает [1], но англичане не имеют основания терять хладнокровие по этому случаю: во-первых, растут и растут гигантски их собственные колонии,—они-то и дают, главным образом, увеличение английского вывоза, а во-вторых,—и это гораздо важнее,—*Англия из страны, вывозящей товары, все более превращается в страну, вывозящую капиталы.* В 1910 г. за границей было помещено английских капиталов на 3 192 млн. ф. ст. Торговый баланс Англии давно пассивный, т. е. она больше ввозит, чем вывозит, но благодаря проценту на капиталы, помещенные за границей, она все же больше получает из-за границы, чем отдает туда [2]. Английские предприниматели, конечно, стонут от иноземной конкуренции, в особенности немецкой. Но английской политикой руководят не они, а банковая аристократия: и вот Персия отдана, можно сказать, на поток и разграбление русскому капитализму, да и насчет Турции еще в 90-х годах прошлого века покойный Сольсбери выразился, что Англии теперь, в сущности, все равно, если Россия и утвердится на берегах Босфора. Зато к этому факту не может отнестись равнодушно Германия: в противоположность Англии, ее торговый баланс строится, главным образом, на товарном вывозе. И Германия имеет свои капиталы за границей (по различным данным, от 26 до 33 млрд. марок, т. е. примерно вдвое меньше, чем Англия), но доходы от этих капиталов почти не уравновешивают ее баланса. Вывозя на 5,8 млрд. марок ежегодно, Германия ввозит на 7,4 млн. марок ежегодно, и если бы не «заработки» германского флота (300—

[1] Так, например, английских машин было ввезено в Германию в 1907 г. на 2 365 тыс. ф. ст., а в 1911 г. только на 1 934 ф. ст.

[2] Ввоз Англии превышает вывоз на 178 млн. ф. ст. В качестве процента она получает из-за границы 155 млн. ф., 20 комиссионных и банковых, 91 млн. ф. фрахта и страховки.

400 млн. марок ежегодно), она сводила бы свой баланс не только без «чистого дохода», а с чистым убытком в сотни миллионов. Для Германии, таким образом, сбыт товаров имеет громадное значение; надо видеть, с каким огорчением один германский консул сообщает, что от некогда довольно обширного вывоза немецких сукон в Персию, благодаря русской конкуренции, осталось одно имя, звук пустой. На тавризском базаре продают лодзинское трико под именем «мезерицкого сукна», и только это название напоминает, что когда-то здесь продавали доброе немецкое сукно из Мезерица (в Силезии). Теперь давно товар русский, только имя немецкое. Перспектива, что и на константинопольском рынке останутся только немецкие названия, не может улыбаться германскому капитализму. Русских не нужно пускать, по крайней мере, в Турцию, раз уже ничего не поделаешь с ними в Персии. И конфликт налицо,—конфликт не между Англией, с одной стороны, Германией и Россией—с другой, а именно между Германией и Россией.

Но, возразит читатель, неужели сбыт немецких товаров в Турцию, по абсолютным цифрам, как мы сейчас видели, все же ничтожный, так важен, что может определить собою политику Германской империи? Конечно нет, но ведь и перед Севастополем судьба английского капитализма вовсе не зависела от того, будут русские вытеснены из Малой Азии или нет. Англия боролась с русским расширением вообще, а не с тою или другою отдельною его деталью. Поперек дороги Англии стоял русский империализм, а воплощением его был русский протекционизм, таможенная стена, отгораживающая Россию от капиталистического мира. С востока казалось только всего удобнее проделать брешь в этой стране. Стена стоит и теперь, но Англии до нее мало дела, зато очень много Германии. Никто больше ее не терпит от русского протекционизма. Пассивный вообще, торговый баланс Германии в сторону России в особенности отличается этим свойством. Покупая у русских почти на полтора миллиарда марок ежегодно, немцы продают им всего на 1 миллиард по самым оптимистическим данным, а пессимисты говорят даже о полумиллиарде. Добрых три четверти миллиарда марок честный Михель приплачивает России ежегодно из своего кармана, и те миллиарды золота, которыми так любят похвастать русские министры финансов,—миллиарды, предназначенные служить резервом на случай борьбы именно с Германией, накоплены на немецкий счет,—это ли не обида? А между тем таможенная стена все ширится, и как раз в самом невыгодном для германского капитализма направлении. Единственная часть Российской империи, с которой до сих пор Германия торговала не без выгоды, т. е. где ее баланс был не пассивный, но активный,—это Финляндия (в 1910 г. туда ввезено было немецких товаров на 74 млн. марок, а вывезено оттуда в Германию только на 26 млн. марок). И вот Финляндию явно готовятся включить в русскую таможенную черту [1]. Затем придет

[1] В принципе этот вопрос решен был русским правительством еще в 1894 г.

очередь Армении, потом, может быть, еще какой-нибудь страны. А в 1917 г. кончается срок русско-германского торгового договора, и стена может еще подняться или, напротив, опуститься. Будет ли этот год повторением 1857 г. или 1822 г.? Вынуждена ли будет снова Россия вступить на фритредерскую дорогу (и тогда волей-неволей дать простор развитию производительных сил внутри страны; за тарифом 1857 г. последовало 19 февраля), или же российский протекционизм и империализм победят? Как видит читатель, сходство ситуаций начала XX в. и средины XIX в. поразительное: поставить на место «Англии» «Германию»,—и статьи Уркварта будут самой животрепещущей современностью. Тогда Англии пришлось дожидаться, пока у ней найдется союзница, в лице Франции, а этой последней понадобятся вифлеемские ключи. Судя по инциденту с Лиманом фон-Сандерсом, Германия имеет возможность действовать прямее и не хочет ждать. Развязка конфликта не за горами.

*«Просвещение» № 1, 1914 г.*

## ФРАНКО-РУССКИЙ СОЮЗ

### (по поводу «французских гостей»)

«Мы едем к вам в Россию, преисполненные верой в рост и торжество франко-русских чувств»,—говорил газетным интервьюерам глава французской парламентской делегации, «известный апостол мира», д'Эстурнель де-Констан. «Я слышал, будто крайнее левое крыло Государственной думы настроено против нынешней формы франко-русского единения. По правде сказать, меня эта постановка вопроса поражает. Сближение народов бывает всегда наиболее полезно трудовому классу и, казалось бы, левым нельзя протестовать против этого сближения...». «Единение французского и русского народа—величайший фактор мира и культуры»,—вторил ему другой делегат, Гастон Менье, «один из крупных миллионеров Франции».

«По правде сказать» французским делегатам не особенно повезло в поисках русского народа: они как раз все попадали в такие места, где «народ» всего меньше можно было встретить. В Петербурге они побывали в Таврическом дворце и в Петропавловской крепости, в кладовой государственного банка, где их встречал министр финансов, «который был в ленте и орденах», и в Мариинском театре, где «еще задолго до спектакля все билеты покупались нарасхват по страшно высоким ценам». В Москве они должны были пройти через Чудов монастырь, ресторан Эрмитаж, где «собралось более 100 представителей виднейшего московского купечества», Городскую думу, Третьяковскую галерею, ресторан в Верхних торговых рядах, еще ресторан на Воробьевых горах,—чтобы, наконец, на Прохоровской фабрике увидеть «трудовой класс», выстроенный шеренгами, и с которым утомленные гости могли уже только раскланиваться. Такая позиция «народа» показалась, впрочем, им, повидимому, вполне естественной и нимало не испортила их настроения. Вечером, в «Обществе мира», д'Эстурнель де-Констан произнес «блестящую речь», во время которой он «вдохновлялся, моментами доходил до пафоса». Он показал себя и тут, однакоже, человеком вполне благовоспитанным и неспособным, даже

в состоянии пафоса, доходить до каких-либо крайностей. «Апостол мира» высказывал убеждение, что каждая страна должна иметь «хорошо организованную армию, вполне обеспеченную национальную оборону»... «Здесь я заявляю, что не могу следовать учению Толстого; я хочу защищать моих детей, ваших детей, мое отечество, ваше отечество»... «Безусловный противник» он только одного: «современного безрассудного пристрастия к броненосцам», но и то лишь потому, что видит в нем «причину расстройства наших финансов, потерю денег и сил»[1]. Орудия истребления, в самом деле, становятся неудобны, когда они слишком дороги: к чему лезть на океан, когда за гораздо более дешевую цену можно убивать людей на суше? «Апостол мира» решительно предпочитает сухопутную армию флоту.

Если прибавить, что гости ездили «лобызать кровавую лапу» Николая II в Царском селе и отказались поехать в Гельсингфорс, куда их приглашали финляндские парламентарии, то их полная благовоспитанность и «уменье жить» станут совершенно очевидны, и совершенно очевидно будет, почему они уехали, удовлетворив всех, от Столыпина до Маклакова, и сами, повидимому, вполне удовлетворенные. В самом деле, в России все оказалось на своем месте,—и дипломатия, и флот, и армия, и золото (г. Коковцев, как известно, его специально демонстрировал: «вот-с, изволите видеть! А еще меня французские журналисты мошенником называют...». Д' Эстурнель де-Констан поспешил успокоить его, что это принятый во французском парламентском жаргоне оборот речи...), и даже Дума. Правда, находились «клеветники», по словам газеты «Le Temps», утверждавшие, будто это последнее учреждение не обладает тою степенью подлинности, как золотые слитки в кладовых государственного банка. Но «обвинители Думы преднамеренно забывают заслуги ее в вопросах национальной обороны. Они забывают, что еще с 1908 г. она затеяла против морского министерства увенчавшуюся успехами борьбу (?!). Забывают, что в 1909 г. она оказала ценную поддержку военному министерству, ассигновав чрезвычайный кредит на пополнение военных запасов. Забывают, что она увеличила содержание офицерам, установила контроль над интендантством и т. д.». Чего же больше? «Дума достаточно ярко доказала свой патриотизм и свою добросовестность» и пренебрегать ее «положительной работой» могут только «французские и русские социалисты». Но известно, что это за люди...

Французские социалисты реагировали на поездку «апостола мира» и его друзей («без различия партий!»—между делегатами был и один «радикал-социалист», г. Лебук, которого какая-то набожная русская дама перекрестила перед отъездом, на Брестском вокзале) тем, что завели в своих газетах рубрику: «ползающие на брюхе», где описывали русские приключения французской де-

---

[1] Все цитаты по «Голосу Москвы»—газете, особенно внимательно следившей за французскими гостями.

легации. Что касается русских социалистов, то, не имея своих газет в России, они могли выразить свое отношение к делу только в декларации думской с.-д. фракции, которую читатели найдут в этом же номере «Социал-демократа». Г-н д'Эстурнель де-Констан и его коллеги могли игнорировать и эту, не напечатанную в России декларацию, и газетные статьи своих соотечественников тем легче, что «ползать на брюхе» перед царизмом давно вошло в обычай французской буржуазии и что эта поза знакома была людям куда покрупнее нашего «апостола мира». И было это, притом, гораздо раньше, чем русский царь формально сделался союзником французской республики. Русско-французский союзный договор был подписан, как известно, всего за несколько месяцев до смерти Александра III, весною 1894 г. А в парижских правящих кругах перед «царем-миротворцем» все трепетало давным-давно. Когда он обижался, там все ходило, повеся нос; а чтобы его не обидеть, делалось все возможное и даже, казалось бы, абсолютно невозможное в «демократической республике». В конце 80-х годов прошлого столетия один из тогдашних лидеров радикальной партии, Флоке—колосс сравнительно с каким-нибудь д'Эстурнель де-Констаном—долго не мог достичь вожделенной цели всякого радикального лидера, войти в министерство, только потому, что этого не хотел русский посланник. Флоке в дни молодости учинил дерзость императору Александру II—крикнул при нем «да здравствует Польша». Царь-освободитель, повесивший на своем веку не одну сотню поляков, остался этим весьма недоволен, а посланник его сына свято «хранил традицию». И вот президент французской республики, составляя кабинет французских министров, натыкается на ультиматум русского посла: прервать сношения с французским министерством, ежели там будет Флоке. И предназначавшийся последнему портфель получил Рувье... Сам Александр III, говорят, изумился такой «деликатности» французского правительства,—с которым сам он отнюдь не думал деликатничать. Недовольный тем, что Франция отозвала из Петербурга его «друга», генерала Аппера, «царь-миротворец» публично заявил, что правительство республики—«сплошная сволочь» (tas de canailles). Нужно сказать в оправдание Александру III, что лидер французских радикалов в значительной степени подкрепил эту характеристику, в ответ на нелепую выходку русского посла отправившись к последнему кланяться и просить прощенья. Его приняли далеко не сразу, хлопоты Флоке длились несколько месяцев. Когда, наконец, его позвали обедать в русское посольство, он, за невозможностью лично принести извинение перед обиженным им русским сувереном, поспешил сказать комплимент портретам его и предков. «Какая прекрасная у вас династия!»—воскликнул Флоке перед изображением Петра III, Павла Петровича и прочих: Николая II тогда, к сожалению, среди них еще не могло быть. Только после этого «ползания на брюхе» лидера радикалов Франция получила возможность видеть Флоке во главе министерства.

Благодаря разоблачениям Бурцева широко известно «ползание на брюхе» другого рода—несравненно более одиозное уже по одному тому, что мы видим здесь «государственных людей» буржуазной Франции в подобной позе не просто перед царскими лакеями, а перед царскими шпионами. Мы не будем пересказывать еще у всех свежего в памяти дела Гартинг-Ландезена. Отметим только, что это отнюдь не был случайный эпизод: это было лишь наиболее яркое обнаружение своего рода политической линии, ведущей свое начало не от кого другого, как от одного из отцов Третьей республики, Леона Гамбетты. Уговаривая одного из своих приятелей принять пост французского посла в Петербурге, Гамбетта формально обещал ему по первому требованию русского правительства выдать всех проживающих в Париже «нигилистов» (дело было в 1881 г.). Это был один из первых проблесков русско-французского «доброго согласия» (entente). Министр внутренних дел Констан, современник ландезеновского дела, только шел по стопам великого оппортуниста, когда, в разгаре этого «согласия», оказывал дружеские услуги русскому правительству по той же части [1]. В доброй воле французских министров и министерпаблей по отношению к царизму уже 25 лет назад не могло быть сомнения. Тогда же готово было у них и оправдание этому поведению: все эти жертвы приносились ими, видите ли, из патриотизма. Франции так нужна защита перед вечно разверзнутой на нее пастью Германии, что для спасения несчастного ягненка от хищного зверя на все можно пойти—не только на брюхо лечь. Эта последняя операция ничего не стоит, а Франция, не устают напоминать нам наши союзники, заплатила за русскую дружбу чистыми деньгами. Французский народ, как красиво выразился французский историк франко-русского союза, «засвидетельствовал свое горячее желание быть связанным с русским также и общностью интересов». А интересы эти, сказал один из недавних гостей, куда прочнее идей. Недаром «апостол мира» свою вдохновенную речь начал с воспоминания о том, сколько «должны друг другу» Франция и Россия—так много, что «невозможно перечислить этих долгов». Оратор имел в виду долги, так сказать, невесомые—в его речи мелькали Лев Толстой, Тургенев, Чайковский и Римский-Корсаков, но не одному слушателю фраза должна была показаться каламбуром. Буржуазный патриотизм и здесь, однако, оказался верен себе: ходячее объяснение союза—«французские деньги—русские штыки», дающее хотя некоторое оправдание от «непреодолимой силы», ползанию на брюхе, безусловно лживо, как только могут быть лживы всякие патриотические фразы. На запятки к царизму французскую буржуазию поставила вовсе не «любовь к отечеству», хотя бы крайне узкая и ограниченная, а единственная сильная и искренняя страсть всякой буржуазии—страсть к наживе.

---

[1] Новейшие публикации дают все основания думать, что роль Ландезена с самого начала была известна французской полиции.

В самом деле: немецкие штыки всего больше грозили Третьей республике в первые годы ее существования, когда все наличные ресурсы французской буржуазии были отняты немцами в виде контрибуции, а от армии оставались одни обломки. Французскому правительству и тогда приходилось прибегать к услугам Петербурга— в 1875 г. Александр II «спас» Францию от вторичного прусского нашествия; но русско-французского союза тогда не было. На берлинском конгрессе 1758 г. неблагодарная Франция держала нейтралитет. Гамбетта, видевший на 10 лет вперед, сравнительно со своими сверстниками, в 1881 г. мечтал о союзе с Россией (мы видели, что он хотел купить его головами русских революционеров), но союз так и остался его личной мечтой. Преемник и продолжатель его политики, Жюль Ферри, склонялся, напротив, к «доброму согласию» с Германией: разинутой пасти зверя добрые буржуа не всегда боялись. Только во второй половине 80-х годов Франция сделала свой выбор. Что же было причиной столь долгого колебания? В ответ приходится назвать имя, хотя, казалось бы, не имеющее никакого отношения к «узам дружбы», связывающим ныне два «народа», но имя, сакраментальное для внешней политики французского капитализма.

Это имя—Тонкин. Тот самый Тонкин, о котором едва помнят (настоящее поколение, может быть, не помнит вовсе), но который повалил Ферри-тонкинца с его германскими симпатиями и создал почву для решительного поворота в сторону России. Страна богатых «накоплений» [1] и туго развивающейся промышленности, Франция, после разгрома 1870 г. должна была отказаться от всякой надежды удержать за собою, хотя бы отчасти, европейские рынки. Ей предстояла перспектива, удовлетворив своего жадного победителя и получив свои «сбережения» опять в полную свою власть, стать страной-банком, страной-ростовщиком, какой давно стала Голландия, какой на наших глазах становится Англия. Но нет более выгодного ссудного капитала, чем колониальные предприятия. Ростовщичество вообще тем выгоднее, чем ближе оно к прямому грабежу; а в колониях одно в другое переходит совершенно незаметно. И вот, коварный Бисмарк, как уверяли впоследствии патриотические французские публицисты, толкнул бедную Францию на путь колониальных соблазнов. Сначала дело пошло довольно гладко: был завоеван Тунис, готовились завладеть Мадагаскаром. Но бес искушал дальше—захотелось попользоваться богатыми провинциями южного Китая, с их густым и относительно культурным населением. Тут, однако, случилось нечто совершенно неожиданное: французская армия, на «возрождение» которой было потрачено столько усилий и денег, на которой держался весь «престиж» Третьей республики в Европе, оказалась не в силах справиться с китай-

[1] Этот «накопляющий» француз чрезвычайно мило сказался в речи Гастона Менье на московском банкете в Эрмитаже. «Достаточно,—говорит он,—чтобы каждый из ваших земледельцев заработал 10 франков—и это уже составит миллиард»!

цами. В небогатой яркими красками истории оппортунистских министерств надолго остался памятен день 29 марта 1885 г., когда в Париже было получено известие о битве при Лангоане и об отступлении французов. Министерство Ферри и колониальная авантюра на Дальнем Востоке пали в одну и ту же минуту. А немного месяцев спустя президент республики, отправляя в Россию одно «частное лицо» с не менее «частным» поручением, рекомендовал ему, между прочим, обратить внимание русского правительства на то, что Франция охотно «пришла бы на помощь» России своими капиталами. Через два года начались знаменитые конверсии Вышнеградского и интимные аудиенции парижских банкиров у Александра III. А еще немного лет спустя «чувства», до тех пор хранившиеся в несгораемых шкафах, были показаны всему миру в Кронштадте и в Тулоне. Русский крестьянин оказался нисколько не менее удобным объектом «колониальной» эксплоатации, чем китайский кули: и представлял еще ту выгоду, что у него, этого крестьянина, было «национальное правительство», охотно взявшее на себя обязанности бурмистра, который выколачивает из «трудового класса» оброк для проживающего в Париже барина. То единение «армии и коммерции», за которое пил на московском банкете д'Эстурнель де-Констан, было уже готово в 1893 г.

Но он пил еще и за «парламент»—за организованную российскую буржуазию.

И эта российская буржуазия, в свою очередь, встречала французских гостей со всей теплотою, на которую она способна. Само собой разумеется, что ее дружба с Францией вытекает из самых благородных побуждений и определяется самыми возвышенными мотивами. Сущность франко-русского союза, писали московские октябристы, «опирается не только на материальную силу, но, что, может быть, гораздо важнее, и на моральное единство наций. Союзы заключаются правительствами, но живую душу им дают народные чувства. Без участия этого великого фактора никакие комбинации дипломатов не будут иметь действительно реального характера» («Голос Москвы», в статье «Привет друзьям», напечатанной, как известно, нарочито на двух языках, благодаря чему, вероятно, оба текста и напоминают плохой перевод). Октябристы, как и полагается солидной правительственной (увы! куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?) партии, лишь осторожно и на втором месте упомянули об «обновленных условиях» российского «государственного устройства». Кадеты, в качестве легкомысленных оппозиционеров, усмотрели в этих обновленных условиях самую суть дела: «демонстративное признание представителями Запада» (!?) юридической формулы этих условий для «Русских ведомостей» «служило указанием, что лишь на почве подлинной политической свободы Россия займет положение в Европе и во внешнем мире вообще (!), соответствующее и ее реально политическим интересам и ее культурным ресурсам». Но те же «Русские ведомости» в статье, непосредственно следующей за цитированной нами передовицей, объяс-

нили своим читателям весьма «реально», что за «политические интересы» толкали людей 3 июня к их «демократическим» друзьям. Статья носит название «К вопросу о привлечении иностранных капиталов» и с первых же строк заявляет: «Из тех двух путей, которыми может происходить привлечение иностранных капиталов в любое народное хозяйство, путем ли непосредственного привлечения иностранных сбережений в туземные промышленные предприятия, или путем гарантированных государственных займов, последний—путь торгово-промышленного класса». Автор статьи, вероятно, и не подозревал, что он дал «экономическую формулу» российской «буржуазной монархии» гораздо удачнее «юридической формулы», о которой толковала передовица. А поместивши рядом эти две статьи, кадетская газета уж наверно не подумала о том, что эта трехчленная формула: французские капиталы, г. Коковцев, русская промышленность—исключает всякую возможность «подлинной политической свободы в России», пока политически значущей останется в ней одна крупная буржуазия. Ибо в этой формуле мы имеем как раз то «соотношение сил», которое делало либеральной и даже революционной западноевропейскую буржуазию,—только поставленное кверху ногами. Там буржуа припирал к стене феодала, пользуясь тем, что в руках его, буржуа, был государственный кошелек—а у нас кошелек самого буржуа наполняется из казенного сундука, основательно стерегомого феодалами. Как уж тут не быть «умеренным» и как не любить г. Столыпина и «прекрасную Францию»?

*«Социал-демократ» № 12, Париж, 1910 г.*[1]

[1] Статья подписана «Домов».—*Прим. ред.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ДНЕВНИКУ А. Н. КУРОПАТКИНА

Дневник А. Н. Куропаткина, бывшего военного министра Николая II и главнокомандующего русскою армиею в Манчжурии в 1904—1905 гг., печатается нами с копии, по всем данным вполне точной. К сожалению, копия содержит в себе лишь *часть* дневника—с 17 ноября 1902 г. по 7 февраля 1904 г., день назначения Куропаткина командующим манчжурской армией [1].

О том, что Куропаткин ведет дневник, было широко известно в петербургских кругах. Повидимому, он охотно читал выдержки из него своим знакомым, причем не все оставались одинаково довольны тем, что они находили там о себе [2]. Знал о дневнике и Николай II. Знал настолько, что Куропаткин при разговорах с царем ссылался на свой дневник как на своего рода документ (см. запись под 19 августа 1903 г.). По словам Витте, отдельные тетрадки дневника бывали и в руках у Николая. Все это достаточно объясняет ту настойчивость, с которой после революции спешили изъять дневник из ненадлежащих рук. Подлинник его хранился в московском архиве военного ведомства (Лефортовском) вместе с другими бумагами Куропаткина: все было сдано им в архив при отъезде его на империалистскую войну, в 1915 г. В январе 1918 г. в архив явился бывший член военного совета, ген. Нищенков, снабженный (увы!) соответствующими полномочиями от военных властей, и увез из куропаткинских бумаг только дневник. Все прочее осталось в неприкосновенности: дневник исчез неизвестно куда. Сколько мы знаем, не найден он и там, где находился Куропаткин в последние месяцы своей жизни. Бывший начальник штаба Скобелева, видевший своими глазами больше «военных действий», чем какой бы то ни было русский генерал нашей эпохи, кончил, для такой карьеры, весьма прозаически: был убит бандитами на своей родине, где он скромно подвизался после 1917 г. в качестве сельского учителя [3].

---

[1] Всего в распоряжении редакции имеются копии четырех тетрадей, помеченных №№ 16, 17, 18 и 19.

[2] См. гр. *С. Ю. Витте*, Воспоминания, т. I, стр. 141.

[3] Когда М. Н. Покровский писал эту статью, он располагал неточной информацией: в действительности Куропаткин прожил до 1927 г.—*Прим. ред.*

Есть все основания думать, что Нищенков действовал по поручению более крупных и ответственных белогвардейцев, нежели превратившийся в заурядного обывателя автор дневника. Разоблачающее значение куропаткинского дневника отнюдь не в том, чего боялись коронованные «хозяева» в записках Витте, например. У Куропаткина и следа нет той ядовитой критики всего, что не им или «не по его» сделано, критики, которая так блестяща, а иногда и так надоедлива у родоначальника винной монополии в первый период своего министерского существования и русской конституции—в последний. Куропаткин—преданный холоп, способный умилиться даже тем, как вел. кн. Ольга, сестра Николая, «больно укусила государя своими белыми зубами за руку»: эта выходка августейшей выроженки тоже удостоилась занесения в дневник... И именно этой наивной преданностью он ужасен. Все глупости и подлости, сказанные при нем «обожаемым монархом», воспроизведены с такой же благоговейностью: в итоге получается такой букет, что даже знаменитое собрание речей Николая перед ним пасует. А это собрание более умные романовские холопы не даром поспешили уничтожить, едва оно показалось на свет.

Вот маленькие образчики того, что получается из верноподданнической добросовестности генерала Куропаткина. Запись под 14 апреля 1903 г.:

> «Перед отъездом сидел у меня час времени Е. К. Плеве. Говорили о беспорядках в Кишиневе и Кронштадте. *Как и от государя*, я услышал от Плеве, что *евреев следовало проучить*, что они зазнались и в революционном движении идут впереди».

Можно после этого сомневаться, что кишиневский погром был организован Плеве с ведома и согласия Николая?

Или вот еще запись от 31 августа того же года. Николай

> «говорил о разных национальностях в нашей армии. С доверием относится к магометанам. Не верит особо полякам. Несколько брезгливо относится к белоруссам (!) и вполне презрительно к евреям».

Разве это не программа «национальной политики» царствования—если не двух царствований, ибо в этом более, нежели в чем-либо другом, Николай был сыном своего отца?

Больше всего, естественно, военный министр мог запечатлеть штрихов из области *внешней* политики, ближе всего его касавшейся. Дневник прежде всего дает понять, как глубоко уходят в прошлое корни империалистской войны. Уже в 1902 г. (запись 17 ноября) вполне практически ставился вопрос о западном фронте, точнее, о двух фронтах—германском и австро-румынском (Румыния рассматривалась тогда как входящая в орбиту тройственного союза). Первым должен был командовать Николай Николаевич—главковерх 1914 г., вторым—Куропаткин. К этой теме он и царь возвращались неоднократно, причем война все время рисовалась обоим как дело совершенно неизбежное, вопрос только во времени. У Куропаткина это было вполне искренно и серьезно. Насколько то же

было со стороны Николая? Тут проскальзывают местами сомнительные ноты.

«Вильгельм,—говорил царь,—в последнее наше свидание так был дружески расположен ко мне и к России, как никогда. Он и не скрывал причины: его тревожит Англия, а еще более Америка».

Государь прибавил, что Америка и его тревожит (запись под 9 декабря 1903 г.). Эту тенденцию замечал и министр иностранных дел.

«Он, Ламсдорф, видит, как государя подталкивают к войне (с Японией) даже со стороны Германии. Вильгельм все справляется, цел ли еще Безобразов, ибо это их надежный союзник» (запись от 11 декабря).

Но у Вильгельма был и другой союзник в этом вопросе—или, по крайней мере, была очень послушная ученица, стоившая союзника. Когда Куропаткин попробовал припугнуть Александру Федоровну перспективой европейской войны, в которой мы уменьшаем наши шансы, перебрасывая силы и средства на Дальний Восток,

«государыня выразила уверенность, что до европейской войны не допустят, но что теперь страшно нашествие желтой расы и что ей надо дать отпор и пр.» (запись под 24 августа 1903).

Что все это было лишь идеологической драпировкой карманных интересов дома Романовых, видно из дневника тоже достаточно ясно:

«Главным образом государь держится за Ялу и не хочет соглашаться чтобы это предприятие стало совершенно частным» (12 августа 1903 г.)

Во имя этого велась двойная игра, Алексеев намеренно затягивал переговоры с Японией (запись под 24 ноября 1903 г.), царь особым шифром переписывался с Безобразовым (запись 16 февраля) и т. д. Для характеристики самого Безобразова, в этот момент форменного «временщика», дневник тоже дает драгоценные черточки. Чрезвычайно характерно для этого личного доверенного Николая его стремление к союзу... с хунхузами. На их благосклонном содействии вертелся, в конце концов, весь его план (1 декабря 1902 г.). Это не то, чтобы очень важно—хунхузы (хотя и нанятые формально, в виде «артели») все же не помогли,—но ставит в надлежащие психологические рамки сотрудничество Николая с уголовными элементами во время погромов 1905 г.

Ничто другое так не оправдывает эпитет «авантюра», давно прилагающийся к дальневосточной политике Николая, как эти страницы дневника его преданного холопа. И ниоткуда так не ясно, что «предприятие на Ялу» было в сущности только ширмочкой, за которой скрывались неизмеримо более грандиозные планы. Чтобы придать этой декорации более реальный вид, покупали лес... у американцев (запись под 26 ноября 1903 г.). Захватить имели в виду *всю* Корею, фактически же захватнические планы Николая шли гораздо дальше и этого. Но соответствующее место дневника так важно, что его надо привести целиком.

Беседуя однажды с Витте (эти беседы двух министров происходили чаще всего... в манеже: Витте был страстный любитель вер-

ховой езды, а Куропаткин упражнялся в ней, так сказать, по должности), Куропаткин так резюмировал свои впечатления от Николая:

«Я говорил Витте, что у нашего государя грандиозные в голове планы: взять для России Манчжурию, итти к присоединению к России Кореи. Мечтает под свою державу взять и Тибет. Хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы. Что мы, министры, по местным обстоятельствам задерживаем государя в осуществлении его мечтаний, но все разочаровываем; он все же думает, что он прав, что лучше нас понимает вопросы славы и пользы России. Поэтому каждый Безобразов, который поет в унисон, кажется государю более правильно понимающим его замыслы, чем мы, министры. Поэтому государь и хитрит с нами, но что он быстро крепнет опытностью и разумом, и по моему мнению, несмотря на врожденную недоверчивость в характере, скоро сбросит с себя подпорки, вродс Хлопова, Мещерского и Безобразова, и будет прямо и твердо ставить нам свое мнение и свою волю. Витте сказал мне, что он вполне присоединяется к моему диагнозу...» (запись под 16 февраля 1903 г.).

Присоединение Витте к этой характеристике едва ли было искренним: из записок этого, тоже в своем роде «верного слуги» самодержавия, мы знаем, какого он был мнения об уме и способностях «возлюбленного монарха». Но ограниченность Николая нисколько не делает менее вероятным те *тенденции* его внешней политики, характеристика которых у Куропаткина, по всей вероятности, просто представляла собою резюме его почти ежедневных разговоров с царем. Конкретные примеры мы находим в этой же части дневника. 3 января 1904 г. (всего за три недели до начала японской войны!) Куропаткин докладывал Николаю:

«О посылке калмыка, подъэсаула Уланова, в Тибет—разузнать, что там делается, и особенно, что там делают англичане. Государь соизволил, чтобы это была частная поездка на свой страх и риск. *Приказал посоветовать Уланову разжечь там тибетцев против англичан.* О таковом приказании государь сказал, чтобы я не говорил Ламсдорфу» (министру иностранных дел).

Вот и еще одна авантюра, не доведенная до конца только потому, что японцы помешали. Какими мелкими при свете таких «разоблачений» кажутся старые газетные объяснения японской войны желанием Плеве «отвлечь внимание от внутренней политики» и т. п. Наличность таких желаний у Плеве неопровержимо доказывается тем же дневником, но они сыграли роль лишь последнего камешка, обрушившего давно скопившуюся лавину. Если сводить дело к субъективным объяснениям, суть была не в этом, суть была в том империалистическом авантюризме, который жил в крови последнего представителя династии. Николай жадно тянул руки ко всему, что, казалось ему, плохо лежит: ограниченность его сказывалась в том, что он не умел разобрать, что именно плохо лежит, и больно получал по рукам...

*«Красный архив,» 1923 г., кн. 2.*

## СИСТЕМА ВООРУЖЕННОГО МИРА[1]

Так называлась та комбинация международных отношений, которая установилась в Западной Европе после франко-прусской войны 1870—1871 гг. Коротко «систему» можно определить как ряд дипломатических конфликтов, опиравшихся на перекрестные вооружения и, в свою очередь, дававших повод к новым вооружениям. Вооружения создавали атмосферу военной тревоги; Европа жила в постоянном ожидании войны,—ожидании, оправдавшемся в наши дни. В широком смысле, «систему» можно, таким образом, рассматривать как пролог к конфликту 1914 г., разрешить который дипломатическими средствами оказалось уже невозможно: «вооруженный мир» перешел в открытую войну. Но, хотя напряженность конфликтов в общем шла в возрастающей прогрессии, движение, как и всякое историческое движение, носило волнообразный характер: за периодами острой тревоги шли периоды «отдыха» (detente). Некоторые конфликты, казавшиеся чреватыми особенно тяжелыми последствиями, были изжиты мирно: таковы были конфликты англо-французский и русско-английский, сменившиеся политикой «Тройственного согласия». Такой исход давал надежду на мирное разрешение всего кризиса в целом; появлялись книги, где доказывалось, что война в Европе вообще невозможна (Norman Angell, «Europe optical illusion»). К сожалению, основные конфликты оказались упорнее, чем о них думали. Они особенно обострялись с тех пор, как производство передовых капиталистических стран Европы безнадежно переросло границы внутреннего рынка при данной системе хозяйства, и захват огромных заморских владений явился вопросом «быть или не быть» для европейского капитализма. Конфликтом, около которого группировались остальные и без которого, вероятно, не возникло бы и самой «системы», был *франко-германский* Франкфуртский мир 1871 г., был самым тяжелым миром, какой когда-либо заключала Франция, не исключая даже и мира 1815 г. Впервые была нарушена территориальная целость «старой Франции»: наряду с

---

[1] Из статьи выпущены все ссылки на другие статьи словаря Граната.— *Прим. ред.*

промежуточным, в национальном смысле, Эльзасом была потеряна и бо́льшая часть Лотарингии, давным давно офранцуженной; Мец, уже в XVI в. бывший одним из оплотов Франции, стал немецким городом. Стратегически, владея Мецом и линией Вогезов, германская армия с самого начала будущей войны получала решающий перевес над французской. Но всего тяжелее были *экономические* последствия. Неудачная война не только отнимала у французской промышленности всякую надежду на приобретение каменноугольных залежей прирейнской Германии (своего угля Франции давно уже нехватало), но вместе с рудными месторождениями потерянной Лотарингии лишала базиса французскую металлургию (получившие теперь такую известность бассейны Бриэ и Лонгви в 1871 г. считались непригодными для разработки). Промышленная отсталость Франции в 70—80-х годах была одним из прямых результатов войны: зарейнский конкурент французских заводов имел теперь над последними такой же перевес, как германская армия над французской. В то же время мир не был результатом полного истощения Франции, экономического или военного, как это было в 1815 г. В момент заключения перемирия Франция имела под ружьем, не считая национальной гвардии, более полумиллиона штыков, в том числе почти 300 тыс. хорошо обученных солдат; ее финансовое положение было настолько прочно, что колоссальную, по тогдашним понятиям, пятимиллиардную контрибуцию она выплатила Германии раньше срока. Сдаться заставила полная внутренняя дезорганизация, оставшаяся отчасти в наследство от Второй империи, и безнадежное стратегическое положение, получившееся благодаря взятию германцами Парижа. Все это могло дать опору мнению, что неудача 1870—1871 гг. была «случайностью», что, сделав усилие, Франция сможет себе вернуть потерянное. Такова реальная почва идеи реванша, прочно владевшей французскими буржуазными кругами до середины 90-х годов (хронологической меткой может служить дело Дрейфуса) и возродившейся в совершенно иной экономической комбинации, во время европейской войны 1914—1918 гг. Подготовка «реванша» началась почти на другой же день после заключения мира (введение всеобщей воинской повинности законом 27 июля 1872 г. и закон об общей организации армии 24 июля 1873 г.) и уже в 1875 г. дала повод к первой «тревоге». Введение четвертых батальонов во французских пехотных полках (т. е. увеличение французской пехоты на 33%), весьма слабо мотивированное желанием не оставить за штатом офицеров, отличавшихся в 1870—1871 гг., было понято в Германии как прямая подготовка к новой войне. Германский главный штаб, с Мольтке во главе, настаивал на необходимости «предупредить» Францию, объявив ей войну раньше, чем она будет готова. Бисмарк был против этого и вообще старался умалить значение кризиса, и тогда, и позже (в своих «Записках»); но им воспользовались другие державы, уже сожалевшие что они дали Германии в 1870 г. возможность так легко покончить с противником. Англия и Россия выступили с заявлениями, ясно показавшими, что в случае новой войны они не останутся на пози-

ции благожелательного для Германии нейтралитета. Королева Виктория обратилась с письмом непосредственно к императору Вильгельму, а император Александр II, как раз в это время посетивший Берлин, имел со своим дядей разговор, резюмированный Горчаковым в его известной депеше: «теперь мир обеспечен». Исход «тревоги» 1875 г. должен был очень ободрить сторонников реванша; но разразившийся тотчас же англо-русский конфликт 1876—1878 гг. и последовавшее за ним дипломатическое поражение России на Берлинском конгрессе, с одной стороны, внутренняя конституционная борьба—с другой, отодвинули на второй план идею реванша. Вскоре затем наступившее охлаждение в отношениях между Англией и Францией (из-за Египта) на несколько лет направило самую идею по другому пути: Франция начала искать компенсации за утраченное в 1871 г. в колониальных приобретениях (захват Туниса и Тонкина, попытка захвата Мадагаскара и т. п.). Неудача тонкинской экспедиции оборвала этот первый период колониального расширения Франции (возобновившегося позже с гораздо большим успехом), а резкая перемена в отношениях держав центральной и восточной Европы быстро возродила идею реванша в ее первоначальном виде: франко-германский конфликт осложнился конфликтом *русско-германским*. Исходной точкой последнего были ближневосточные отношения, но почва, его подготовившая, была дана опять-таки событиями 1866—1871 гг. Из трех крупнейших стран континента Европы Австрия и Франция только что были побеждены Пруссией, превратившейся в Германскую империю; Россия считалась союзницей последней, но ей не очень доверяли. Возрождение комбинации Семилетней войны—союза Австрии, Франции и России против Пруссии—было кошмаром Бисмарка. Чтобы предупредить подобную катастрофу, он решил сблизиться с Австрией: пред побежденными при Кениггреце открыты были обширные перспективы вознаграждения на Балканском полуострове. Этим достигались сразу две цели: Австрия становилась авангардом, пролагавшим путь германскому капитализму в Турцию, и на этом пути Австрия неизбежно сталкивалась с Россией, для которой восстановление на Ближнем Востоке позиций, утраченных по Парижскому миру, являлось осью всей внешней политики; возможность русско-австрийского союза радикально, таким образом, устранялась. Но, раз взяв под свое покровительство Австрию, и для Германии неизбежно было рано или поздно столкнуться с Россией. В скрытом виде конфликты существовали уже в первой половине 70-х годов (берлинское свидание Александра II, Вильгельма и Франца-Иосифа в 1872 г., формально закрепившее союз трех держав—так называемый «союз трех императоров», на деле бывшее вынужденным соглашением России с Австрией под давлением Германии; соглашение закончилось рейхштадтской сделкой 26 июня 1876 г. и конвенцией 3 января 1877 г., которую русское правительство при первой возможности постаралось не исполнить), но русская дипломатия, в надежде «использовать» германскую дружбу, упорно закрывала на них глаза. События весны 1878 г., когда Англия и

Германия заставили Россию исполнить принятые ею на себя перед Австрией обязательства, рассеяли последние иллюзии: между двумя «дружбами» Германия явно выбирала австрийскую. Борьба, начавшаяся в 1878 г., продолжалось на почве созданной Россией Болгарии. По существу здесь дело сводилось к столкновению русского и австро-германского капитализмов: центральным вопросом была постройка болгарской железнодорожной сети и ее «русская» или «австрийская» ориентация. Победила последняя, и со вступлением на болгарский престол Фердинанда Кобургского русское влияние на несколько лет совершенно исчезает из Болгарии. Внешним образом именно болгарский конфликт заострил русско-германские отношения почти до войны: Германия все время стояла за Австрией. Но это был лишь повод: экономический базис русско-германского столкновения лежал глубже и был общее. Союз Пруссии (позже Германии) с Россией в 60-х и первой половине 70-х годов покоился на взаимной экономической необходимости этих стран друг для друга. В период высоких хлебных цен дешевая русская рожь была огромным подспорьем для развивавшегося германского промышленного капитализма. Благодаря ей германский рабочий был дешевле и английского и французского. В то же время более дешевые немецкие фабрикаты успешно вытесняли на русском рынке английские. С развитием русского промышленного капитализма последний начинал, однако, чувствовать в германском соседе конкурента. Уже в 1877 г. введением золотой пошлины (т. е. огульным повышением всех ставок тарифа на 33%) началась таможенная война, продолжавшаяся протекционными тарифами 80-х годов и закончившаяся почти запретительным тарифом 1891 г. Объектом войны не была исключительно Германия: но так как немецкая промышленность только что завоевала себе командующее положение на русском рынке, то главные удары доставались ей. Еще непосредственнее было столкновение в области хлебной торговли. Со второй половины 70-х годов начинается резкое падение хлебных цен на всемирном рынке; дворянские правительства восточной и средней Европы разными способами приходят на помощь производителю хлеба, т. е. главным образом, помещику, и лишь во второй линии—крестьянину. В России эта помощь выразилась в основании Дворянского и Крестьянского банков, в Германии первой заботой было устранение с хлебного рынка иностранных конкурентов. Дешевизна русского хлеба перестала быть его достоинством. Германия вводит в 1880 г. хлебные пошлины, в течение 80-х годов все увеличивавшиеся. Хронологическое совпадение начала аграрного протекционизма с формальным австро-германским союзом против России (1879 г.,—в 1882 г., с присоединением Италии, союз превратился в «Тройственный»), то и другое ранее, чем болгарский кризис достиг максимума остроты, подчеркивает действительную связь фактов. Воинственное настроение среди русского дворянства росло; показателем его были статьи Каткова, выступление Скобелева и т. д. В такой обстановке реализуется идея *франко-русского союза*, наметившаяся еще в дни правительства национальной обороны и сильно ок-

репшая в дни кризиса 1875 г. (благодарственное письмо Мак-Магона императору Александру II). Большим ее сторонником был Гамбетта, отношение которого к «реваншу» выражается ходячим в то время афоризмом: «Gambetta c'est la guerre» (Гамбетта—это война). Осуществить идею не удавалось, пока в центре русской внешней политики стояли ближневосточные дела, а Франция в восточном вопросе шла вместе с Англией, постоянной антагонисткой России в то время на Востоке. Когда, после захвата Англией Египта (1882 г.), англо-французское единение в этом последнем пункте распалось, Россия же вступила в непосредственный конфликт с Германией, внешних препятствий для русско-французского союза более не было. Крах колониальной политики Франции (падение министерства Ферри весною 1885 г.) еще ускорит дело; последнее тормозилось только неуменьем французского правительства понять некоторые внутренне-политические требования русского. Но та готовность, с которою правительство демократической республики шло и в этом случае навстречу пожеланиям самодержавной монархии, показывает, насколько русский союз был—или считался—политической необходимостью для Франции. Последняя решительно становится в это время (1886—1887 гг.) на сторону России в болгарском вопросе. В то же время «реваншистское» настроение оживает в правящих кругах Франции с необыкновенной силой. Воплощением его был военный министр ген. Буланже, которому русские славянофилы прислали почетную саблю и который выступил с рядом проектов более шумного, чем практически опасного для мира характера; но их было достаточно, чтобы дать германскому главному штабу (Мольтке был еще жив) повод выступить с требованиями новых вооружений и, в конце концов, готовиться к войне. Эта новая «тревога» 1887 г. казалась еще более опасной, чем «тревога» 1875 г.: был момент, когда после ареста германской полицией французского комиссара, заведывавшего шпионажем на границе, разрыв казался совершенно неизбежным. Характерно, что хотя франко-русского союза в это время формально еще не существовало, Бисмарка гораздо более заботило отношение к делу русского правительства, чем шум, доносившийся из Франции. Поведение России, давшей понять, что нападения на Францию она не допустит, но не поддержавшей в то же время и реваншистов, более всего способствовало мирной ликвидации «инцидента Шнебеле». Позиции сторон в этом вопросе остались характерными на все дальнейшие годы царствования Александра III. Дипломатия последнего, уже когда союз с Францией был заключен формально, несколько лет откладывала подписание военной конвенции, чего страстно домогались в Париже: и конвенция была, наконец, подписана только в 1894 г., в том же году был подписан и торговый договор с Германией, положивший конец таможенной войне, а еще ранее центр тяжести русской внешней политики переместился на Дальний Восток (торжественная закладка восточного конца сибирской магистрали в 1891 г.), где России с Германией делить было нечего. Экономической основой было торжество в России промышлен-

ного капитализма над аграрным («Эра Витте»), отразившее в себе, между прочим, финансовые последствия франко-русского союза. В тот момент, когда партия «реванша» достигла, наконец, своей цели, все плоды ее трудов оказывались потерянными, и именно благодаря тому, на что она возлагала все надежды. Но еще важнее было, что «реванш» быстро начинал утрачивать в это время обаяние в самой Франции. Показателем было дело Дрейфуса, где в форме пересмотра процесса невинно осужденного офицера судилось орудие «реванша», французская армия с ее порядками, в неприкосновенности уцелевшими от дней Наполеона III. То, что значительная часть французского общества стала за Дрейфуса—решилась посягнуть на святая святых «реваншизма», ясно свидетельствовало о происшедшем сдвиге.

Причины были опять экономические, в конечной основе даже технико-экономические. 90-е годы отмечены быстрым ростом французской *металлургии:* производство чугуна во Франции, до 80-х годов застывшее почти на одном уровне (1882 г.—2 039 тыс. тонн, 1892 г.—2 057 тыс. тонн), за 10 лет поднялось на 35% (1900 г.—2 714 тыс. тонн), увеличившись за следующее десятилетие почти вдвое (1910 г.—4 032 тыс. тонн). Руды французской Лотарингии, брошенные без внимания немцами как негодные, потому что они содержали в себе фосфор, с изобретением способа Томаса и Гилькриста, в 1878 г., стали не менее пригодны для обработки, чем всякие другие. С подъемом французской металлургии поднялась и французская индустрия вообще (производство автомобилей, судостроение и т. д.). Германия осталась соперницей, но с ней стала возможна мирная, экономическая борьба,—Франция вышла из того тупика, куда ее загнал Франкфуртский мир. С конца 90-х годов «реванш» становится лозунгом правых реакционных партий, надеющихся использовать войну как средство покончить с республикой; демократическая Франция идет за радикалами и социалистами, из которых вторые требуют разоружения, а первые делают попытки сближения с Германией (политика Кайо). Изменение в ориентации русской и французской политики, в связи с отсутствием агрессивных тенденций в политике Германии этого периода, сделало «вооруженный мир» действительно некоторого рода «системой» довольно устойчивого равновесия. Военные средства обеих групп, франко-русского и «Тройственного» союзов, были приблизительно равны; военное столкновение не обещало поэтому скорой и легкой победы ни той, ни другой стороне. Из равновесия «систему» грозило вывести, во-первых, колониальное расширение Франции, шедшее с необыкновенным успехом паралельно расцвету французской промышленности в 90-х годах: за это время выросла африканская колониальная империя Франции, с населением более 25 млн. (из которых более 9 млн. стали французскими подданными в 1893—1896 гг.); затем Россия, потерпев неудачу на Дальнем Востоке, снова начинает сосредоточивать внимание на старом театре своих активных выступлений, Балканском полуострове. То и другое давало повод к трениям (франко-германский конфликт из-за Марокко в 1905 г., выступление России по поводу аннексии

Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 г.), но для окончательного нарушения равновесия нужно было, чтобы на сторону той или другой группы стал какой-нибудь новый могущественный фактор, который казалось обеспечил бы данной группе решительный перевес. К такому именно результату и привел последний, хронологически, из конфликтов, предшествовавших войне 1914 г.—*англо-германский.* До первых лет XX в. центром внимания английской дипломатии были внеевропейские страны—в европейские дела Англия вмешивалась лишь спорадически. Комбинации ближайшего будущего так мало предчувствовались, что в 1890 г. Англия уступила Германии такую перворазрядную стратегическую позицию, как Гельголанд, и даже еще в 1898 г. едва не начала войны с Францией из-за Фашоды. В это время конфликт с Германией уже намечался (книга Уильямса, «Made in Germany», 1897), но англо-бурская война опять отвлекла все внимание к колониальным вопросам. К тому же то, что первоначально вызвало антигерманские настроения в Англии, *промышленное соперничество* Германии, быстро отошло на второй план. Факт, вызвавший первую тревогу—остановка в развитии английского экспорта наряду с быстрым ростом германского—оказался случайным и преходящим: уже с 1904 г. английский экспорт снова начал расти (если мы возьмем цифру 1904 г. за 100, увеличение английского вывоза к 1913 г. составит 75%; германский вывоз увеличился за это время на 86%, американский—на 62%). Гораздо серьезнее было *морское соперничество.* До сих пор английский флот не имел соперников в области мировой торговли. Германия в 1851 г. почти не имела флота дальнего плавания (147 пароходов общей вместимостью 82 тыс. тонн против 3 178 пароходов и 1 113 тыс. тонн английского флота). В 1909 г. ее флот составлял по числу пароходов почти $^1/_5$ английского (11 626 и 1 953 парохода), по вместимости более $^1/_5$ (10 139 и 2 303 тыс. тонн). Сравнение будет еще менее выгодно для Англии, если мы возьмем гигантские суда новейших типов, наиболее характерные для крупнокапиталистического мореплавания; в 1910 г. во всем мире считалось 80 пароходов более 12 тыс. тонн вместимости; из них 42 принадлежали Англии, 22—Германии, а 16—всем остальным странам вместе (с тех пор с постройкою судов, как «Vaterland», «Imperator» и т. п., соотношение еще более изменилось в пользу Германии). Но мировой флот мог иметь задачей только мировую же торговлю, а эта последняя предполагала такую же развитую колониальную сеть, какая была у Англии. Отсюда новый конфликт—*колониальный.* Так как некультурные земли были уже почти все разобраны к тому времени, когда Германия выступила в качестве мировой державы (ей достались только не самые лучшие куски Африки), то предметом ее колониальных вожделений стали полукультурные страны. В 1897 г. она завладела гаванью Киао-Чау в Китае; три года спустя она приняла энергичное участие в подавлении боксерского восстания, причем командиром всего европейского экспедиционного корпуса, по желанию Вильгельма II, был назначен германский генерал. Но здесь германское влияние наткнулось на англо-

японское, и последнее оказалось сильнее; Германия (до последней войны) не была вытеснена с Дальнего Востока, но и не заняла там влиятельного положения (боролась за него она до последней минуты— например, поддерживая Юаншикая против китайских республиканцев). Тем с большей энергией стремилась она занять такое положение на Востоке Ближнем. Уже в 1898 г. Вильгельм совершил чрезвычайно демонстративное, обставленное всевозможными эффектами путешествие в Турцию. Существеннее было то, что турецкая армия попала в руки немецких инструкторов, стремившихся сделать из нее нечто вроде колониальной германской армии. В связи с этим исключительное значение получила постройка *Багдадской железной дороги*, от Константинополя к Персидскому заливу, на международные капиталы, но всецело под германским руководством: литературные представители германского империализма не скрывали, что дорога может сыграть выдающуюся *стратегическую* роль при движении турецкой армии к Египту и Суэцкому каналу (Rohrbach, «Die Bagdadbahn»). Если искать одной определенной, конкретной причины англо-германской войны 1914 г., то придется указать именно на Багдадскую дорогу. Deutsche Bank получил багдадскую концессию в 1903 г., а уже в 1904 г. Англия заключила с Францией договор, ликвидировавший все их прежние колониальные споры и положивший начало англо-французскому «доброму согласию» (entente). В 1907 г. был ликвидирован полувековой русско-английский конфликт, причем Россия получила в свое распоряжение половину Персии, с давних пор бывшей одною из главных арен русско-английского соперничества. «Доброе согласие» обратилось в «Тройственное» (Triple entente). Германия, спешно стремившаяся догнать, хотя бы приблизительно, английский военный флот, но не успевшая в этом, старалась оттянуть открытое столкновение и шла на компромиссы (одним из последних было подписанное 21 марта 1911 г. соглашение насчет Багдадской дороги, отдававшее южный конец колеи, выход к Персидскому заливу, в английские руки). Англии, наоборот, весь расчет был спешить. На предложение Германии в 1912 г. гарантировать взаимный нейтралитет в случае вовлечения в войну одной из стран, Англия ответила отказом, мотивируя последний тем, что подобный договор был бы выгоднее для Германии, чем для Англии: это значило почти прямо заявить, что Англия считает более выгодным для себя открытый разрыв. Осенью этого года Георг V прямо заявил русскому министру иностранных дел Сазонову, что Англия ставит своей целью истребление германского торгового флота («мы будем топить каждый германский торговый корабль, какой встретим на своем пути»). Появление на сцене такой экономической силы, как английский капитал, и такой военной силы, как британский флот, должно было сильнейшим образом окрылить надежды французских «реваншистов». Когда в новом столкновении Франции с Германией из-за Марокко («агадирский инцидент») Англия решительно и энергично стала на сторону Франции, французская реакционная печать поспешила сделать из инцидента исходный пункт яркой шовинисти-

ческой агитации, увенчавшейся полным успехом. Избрание Пуанкаре президентом республики (17 января 1913 г.) отметило собою победу правых во французском парламенте, а закон о трехлетней военной службе (7 августа того же года), подвергшийся своего рода референдуму на общих выборах в мае 1914 г.,—победу «реваншистских» настроений в народной массе. К началу лета 1914 г. «систему вооруженного мира» можно было считать окончательно ликвидированной, и всеобщая европейская война являлась вопросом ближайшего будущего.

*Энциклопедический словарь*
*«т-ва бр. Гранат», т. XXXIX, 1922.*

# АНТАНТА

Антанта, или «*Тройственное согласие*», так называется союз Англии, Франции и России, возникший между 1904 и 1907 гг. (но не оформленный каким-либо специальным договором до сентября 1914 г.) и просуществовавший до 1917—1919 гг., когда он распался в связи с русской революцией и окончанием империалистской войны. Внешним образом Антанта образовалась путем присоединения Англии к существовавшему с 1892 г. совершенно формально русско-французскому союзу. Но Антанта отнюдь не была простым расширением этого последнего. Русско-французский союз сам по себе еще не вел обязательно к мировой войне и в глазах русского правительства не имел даже своим непременным последствием разрыв и войну с Германией. С конца XIX в. между этой последней и Россией возникает тесное сотрудничество в области дальневосточных захватов, причем при первом выступлении России на этом поприще, ее вмешательства в китайско-японскую войну в 1895 г., Россию поддерживали одновременно и Германия и Франция, хотя и та и другая довольно вяло. Позднее, после занятия по обоюдному соглашению Германией Киао-Чау, а Россией—Порт-Артура (в 1897/98 г.), поддержка Германии стала гораздо более энергичной, и ко времени русско-японской войны можно было говорить о чем-то вроде «русско-германского согласия», которое Вильгельм II пытался закрепить в 1905 г. формальным договором, с участием и Франции. Неудача попытки объясняется, главным образом, тем, что Франция в это время была уже связана соглашением с Англией. До этого соглашения русско-французский союз мог повернуться и против последней: в русско-французскую военную конвенцию 1900 г. была включена статья, предусматривавшая сосредоточение русской армии на границах Афганистана в случае столкновения Франции с Англией (одно такое столкновение, на почве африканской колониальной политики Франции, незадолго перед этим произошло)[1]. И впоследствии, внутри Антанты, русско-французский союз сохранял известную самостоятельность, что

---

[1] Речь идет об инциденте 1898 г. в Фашоде, где Англия столкнулась с Францией в борьбе за сферы влияния в Африке.

выражалось, например, во время империалистской войны, в частных соглашениях Франции и России, иногда за спиною Англии.

Только присоединение последней сделало Антанту тем, чем она была,—антигерманской коалицией, неизбежно ведшей к мировой войне. Сущность Антанты, таким образом, в *англо-германском* конфликте, а сущность этого конфликта—в морском соперничестве Англии и Германии. Это вполне отчетливо сознавалось обеими сторонами. Английский министр Ч. Гардинг говорил Извольскому во время ревельского свидания Эдуарда VII с Николаем II в 1908 г.:

> «Нельзя закрывать глаза на то, что если Германия будет продолжать увеличивать тем же напряженным темпом свои морские вооружения, то через 7 или 8 лет в Европе может наступить весьма тревожное и натянутое положение».

Годом позже глава английского министерства иностранных дел Грей говорил русскому послу Бенкендорфу, что немцы, выполнив свою судостроительную программу, обладали бы в ближайшем соседстве с берегами Великобритании 33 дредноутами, или флотом, невиданным до того времени по своей силе. Это налагает на Англию обязанность перестроить весь свой флот и сделать его самым могущественным на свете. Разговор заканчивается весьма определенной угрозой по адресу Германии:

> «Англия не может примириться с господством на континенте одного какого-либо государства, которое диктовало бы Англии свою политику».

Со своей стороны, руководители германской политики не видели никакой возможности отказаться от своей морской программы.

> «К мировому могуществу, кроме постройки флота, для нас иного пути не существовало... Морская сила была естественной и необходимой функцией нашего народного хозяйства, которое в смысле мирового влияния спорило из-за первенства с Англией и Америкой, а все остальные народы уже опередило. Подобное положение таит в себе опасность: оно становится невыносимым, если налицо не имеется внушительной морской силы, которая делает для конкурента рискованной всякую попытку поразить насмерть своего переуспевающего соперника» (адмирал Тирпиц).

Экономической базой, таким образом, было здесь соперничество из-за монополии океанского транспорта, которая, в свою очередь, была необходимым условием монополии на мировом рынке. Это подводит англо-германское соперничество из-за монополии океанского транспорта под общую формулу империалистских противоречий, хотя в первые годы XX в. мировой рынок сам по себе был еще достаточно емок, и на нем пока находилось место для всех трех империалистских колоссов: как Германии, так и Англии и Америки.

Это последнее обстоятельство естественным образом вызывало у дипломатов обеих сторон попытки столковаться, обойтись, хотя бы до поры, до времени, без войны, возможные роковые последствия которой вполне сознавались. В период англо-бурской войны 1899—1901 гг. более тяжелым было положение Англии, поэтому первые

попытки соглашения исходили от нее. Уже в конце 1899 г. тогдашний руководитель английской политики Чемберлен выступил с проектом «Нового тройственного союза» (намек на Тройственный союз Германии, Австрии и Италии 1879—1882 гг., противостоявший Антанте): Англии, Соединенных штатов и Германии. Конкретной целью было противодействие русским захватническим планам на Дальнем Востоке, которые на самом деле были русско-германскими планами. При таких условиях переговоры, тянувшиеся до 1901 г., ни к чему привести не могли, дав лишь возможность Вильгельму, на почве их, шантажировать своих противников, а подчас и своего союзника Николая II. Когда в Лондоне поняли игру германского императора, там круто и решительно повернули в другую сторону. В январе 1902 г. был заключен англо-японский союз (к которому неформально примкнули и Соединенные штаты), направленный открыто против России, а поскольку за нею на Дальнем Востоке стояла Германия, — и против последней. А затем Англия окончательно выходит из своего «блестящего одиночества» (Splendid isolation—термин, которым характеризовали политику Англии во второй половине XIX в., когда она сознательно избегала связывать себя континентальными союзами), заключив 8 апреля 1904 г. с Францией, до тех пор ее колониальной соперницей, соглашение по всем колониальным вопросам, специально по вопросу о Марокко, очередном предмете французских колониальных вожделений. Русско-японская война (с февраля этого же года), на время лишившая всякого военного смысла русско-французский союз, поскольку и русская армия и русский флот были прочно заклинены на Дальнем Востоке, очень облегчила Англии эту операцию, так как Франция чувствовала себя в эту минуту совершенно беззащитной.

С англо-французского соглашения 1904 г. можно датировать начало Антанты. Разгром России на Дальнем Востоке облегчил дальнейшее развитие антигерманской коалиции. К концу 1905 г. Николай II был на краю банкротства. Новый заем был необходим дозарезу, а его можно было получить только в Париже. Между тем в Париже Витте, ехавший на переговоры с японцами в Америку, получил категорическое заявление, что Россия не получит ни сантима, пока: 1) не заключит мира с Японией, 2) не станет в вопросе о Марокко решительно на сторону Франции против Германии, которая тоже предъявляла в это время на Марокко свои «права»; последнее нужно было, главным образом, как явное доказательство разрыва России с Германией: реальной поддержки Франции Россия оказать в эту минуту, конечно, не могла, да Франция, имея за спиною Англию, в этой поддержке и не нуждалась. Исполнив эти два условия, Николай II получил $2^1/_2$ млрд. франков, которые помогли ему ликвидировать первую русскую революцию. Подписанный в Бьорке (июль 1905 г.) русско-германский договор оказался мертвой буквой, реальностью оказалась новая русско-французская военная конвенция (1906 г.), заостренная уже прямо против Германии; два другие члена Тройственного союза, Австрия и Италия,

обычно принимавшиеся во внимание в подобных случаях, на этот раз были оставлены в стороне, причем если относительно Италии к этому было полное основание, поскольку Италия секретным соглашением 1902 г. обязалась не участвовать в войне против Франции, то игнорирование Австрии могло значить лишь, что Франция шла теперь всецело по английскому фарватеру, избегая вводить в игру Балканы—театр русско-австрийского конфликта. Скоро царское правительство должно было в этом убедиться воочию. Тем временем, и очень скоро, оно само попало в тот же английский фарватер. Уже осенью 1906 г. начались русско-английские переговоры, закончившиеся в августе 1907 г. конвенцией, где Англия размежевалась с Россией по азиатским делам почти так же четко, как в 1904 г. с Францией по африканским. Россия получила в качестве «сферы влияния» Северную Персию, отказавшись от всякого вмешательства в дела Афганистана. Двумя месяцами ранее был окончательно улажен русско-японской конвенцией дальневосточный кризис. От Черного моря до Тихого океана англо-русский конфликт, тянувшийся три четверти столетия, был снят. А в 1908 г. в русско-французскую конвенцию министр иностранных дел Извольский предложил включить пункт, предусматривавший мобилизацию русской армии в случае столкновения Германии с Англией.

Если верить показаниям военно-морских специалистов (адмирал Колчак и генерал Поливанов), с этого времени без перерывов и чрезвычайно активно ведется подготовка русско-германской войны 1914 г. На самом деле дорога Антанты далеко не была такой гладкой, «согласие» на первых порах было столь мало полным, что у русских дипломатов бывали минуты отчаяния, и иногда им казалось, что самое существование Антанты не более доказано, нежели «существование морской змеи». Первый же ухаб на дороге Антанта встретила очень скоро, в 1908—1909 гг. Англо-русское соглашение 1907 г. оставляло под вопросом один пункт, но как раз для русского правительства самый важный: вопрос о будущей судьбе Константинополя и прилегающих к нему проливов, ведущих из Черного моря в Средиземное. Обладание, тем или иным путем, этими проливами составляло неизбежную внешнеполитическую сторону столыпинщины. Поскольку последняя ставила своей задачей создание в России буржуазного землевладения в подкрепление дворянскому, обеспечение свободного выхода помещичьему и кулацкому хлебу на мировой рынок было одним из непременных условий ее успеха. В 1906—1908 гг. 89% русского хлебного экспорта шло из черноморских портов, т. е. через «проливы». Любой соперник, повлияв на формально владевшую «проливами» Турцию, мог закрыть этот канал и тем сорвать весь русский хлебный вывоз. Право контроля над проливами было, таким образом, для столыпинской России важнее, чем все Афганистаны, Персии и даже Манчжурии. А русско-английское соглашение об этом молчало. Надеясь на помощь Антанты, Извольский вошел в соглашение с Австрией и, обеспечив последней аннексию Боснии и Герцеговины («временно оккупированных» Австрией

в 1878 г. по Берлинскому трактату и фактически давным-давно ставших австрийскими провинциями; в 1881 г. Россия и формально согласилась на аннексию), потребовал, в виде взятки, поддержки Австрии в вопросе об открытии проливов для русских военных судов [1]. Австрийский министр иностранных дел Эренталь провел Извольского: Австрия объявила Боснию и Герцеговину составной частью империи, к величайшему негодованию сербов, которые считали эти области своими, а когда Россия потребовала своего «магарыча», Эренталь пригрозил опубликовать секретные переговоры с Извольским, что грозило России потерей всякого престижа среди балканских славян. Извольский бросился к новым союзникам. Но тут выяснилось, что сочувствие Франции в этом вопросе всецело на стороне Австрии, а не России: оторвав от Германии Италию, Франция не теряла надежды достигнуть того же и с Австрией, мысль же об участии в войне из-за балканских дел была еще в это время совершенно чужда правительству Третьей республики—нужен был ряд лет, чтобы оно к этой мысли привыкло. С Англией оказалось еще хуже. Она, во-первых, заранее объявила, что может оказать России только «дипломатическую» (т. е. чисто словесную) поддержку, а затем условием и этой поддержки ставила открытие проливов не для русских только, а для всех военных судов. Вместо возможности выхода русского черноморского флота в Средиземное море получилась возможность входа английского—или даже германского—флота в Черное море, т. е. получалось прямо противоположное тому, к чему стремился Извольский. Антанта явно дала трещину. Россия начинает теперь добиваться своего обходными путями, помимо Антанты. В ноябре 1909 г. заключается договор с Италией в Раконидджи, обеспечивающий взаимно права Италии на Триполи и России на проливы. В декабре того же года делается попытка заключить секретную военную конвенцию с Болгарией, начинающая собой длинный ряд тайных махинаций русского правительства на Балканах, заканчивающихся заключением секретного сербско-болгарского договора февраля 1912 г. и такой же военной конвенции апреля этого года, направленных одинаково и против Турции и против Австрии. Одновременно началось и нечто вроде возрождения русско-германского «доброго согласия» первых лет столетия. Вильгельм, к удивлению русских дипломатов, оказался в вопросе о проливах более внимательным к интересам России, чем ее союзники. В предложенном им проекте соглашения (1909 г.) России предоставлялось то, к чему стремился Извольский, но под одним непременным условием: разрыва с Англией. Так далеко назад после всего совершившегося Николай пойти не мог, и проект соглашения 1909 г. не дошел даже до стадии Бьоркского договора—остался не подписанным. Это не помешало тому, что в октябре следующего, 1910 г. в Потсдаме произошло свидание Вильгельма с Николаем, результатом

---

[1] Это соглашение, известное под названием «сделки в Бухлау», состоялось в сентябре 1908 г.—*Прим. ред.*

какового явилось русско-германское соглашение по вопросу о железной дороге в Передней Азии, в частности о постройке ветви от Багдадской железной дороги, которую строил Немецкий банк, к персидской границе. Багдадская железная дорога, не будучи корнем англо-германских разногласий, все же была очень неприятна Англии, подводя чужую рельсовую колею подозрительно близко к Египту, Суэцкому каналу и к Индии—местам, где Англия предпочитала быть одна,—тем более, что шовинистическая германская пресса не скрывала именно стратегического значения этой колеи. Английские политические деятели открыто угрожали вооруженным конфликтом, если немцы осмелятся ступить на берег Персидского залива, обещаясь «пустить в ход все свои средства, чтобы удержать в неприкосновенности нашу (т. е. английскую) позицию» в этих местах (Грей, в марте 1911 г.). Соглашение России с Германией именно по железнодорожному вопросу (подписанное в окончательной форме в августе 1911 г.) должно было сильно взволновать английское общественное мнение, а за ним, отчасти по сочувствию, отчасти встревоженные симптомами возрождающейся русско-германской дружбы, заволновались и французы. Последние уже давно были связаны с Англией почти столь же формально, как и с Россией. Связь эта была так формулирована Пуанкаре в разговоре с преемником Извольского Сазоновым (в августе 1912 г.):

> «Хотя между Францией и Англией не существует никакого писанного договора, тем не менее как сухопутные, так и морские генеральные штабы обоих государств находятся между собою в тесном общении и непрерывно сообщают друг другу с полной откровенностью все могущие их интересовать сведения. Этот постоянный обмен мыслей имел своим последствием заключение между французским и английским правительствами устного соглашения, в силу которого Англия выразила готовность оказать Франции, в случае нападения со стороны Германии, помощь как морскими, так и сухопутными силами. На суше Англия обещала поддержать Францию посылкою стотысячного отряда на бельгийскую границу для «отражения ожидаемого французским генеральным штабом вторжения германской армии во Францию через Бельгию» (изложение Сазонова).

Перелом во внутренних отношениях Антанты, точнее говоря, превращение ее из «морской змеи» во вполне реальное существо, связан с приходом к власти во Франции Пуанкаре, сначала в качестве премьера (январь 1912 г.), потом в качестве президента республики (январь 1913 г.). В лице Пуанкаре победила правая французского парламента: говоря экономически, тяжелая индустрия и синдицированная промышленность вообще взяли верх над финансовой буржуазией старого типа, поддерживавшей радикалов и во внешней политике очень осторожной, хотя бы из страха за огромные капиталы, помещенные французскими банками за границей, в том числе и в Германии. С падением радикалов и переходом власти к правым всякая осторожность была отброшена. Радикалы и думать не хотели о возможности для Франции впутаться в балканскую политику России. Пуанкаре начал свои переговоры с русским послом (Извольским) с жалобы, что русские недостаточно посвящают

Францию в свои балканские дела. Первое время он только оговаривался, что *воевать* Франция из-за этих дел непосредственно все же не станет, но и этот остаток былой осторожности скоро исчез. Радикалы всячески старались избегать острых конфликтов с Германией, и когда последняя, в ответ на саботаж французским правительством прежних соглашений по поводу Марокко, послала летом 1911 г. свое военное судно в одну из марокканских гаваней, тогдашний радикальный премьер Кайо не поднял перчатки и, несмотря на открытую поддержку Англии, добился улажения конфликта. Пуанкаре, оправдывая свое будущее прозвище («Пуанкаре-война»), искал конфликтов. Когда сфабрикованный Россией сербско-болгарский договор дал свои плоды, когда началась война балканских славян и Греции против Турции и после никем не ожидавшихся блестящих побед сербов обеспокоенная Австрия начала вмешиваться в дело, угрожая своей маленькой, но быстро росшей сопернице Сербии,—французское правительство оказалось воинственнее русского. Извольский писал из Парижа:

> «Тогда как до сих пор Франция заявляла нам, что местные, так сказать, чисто балканские, события могут вызвать с ее стороны лишь дипломатические, а отнюдь не активные действия, ныне она как бы признает, что территориальный захват со стороны Австрии затрагивает общее европейское равновесие, а потому—и собственные интересы Франции. Я не преминул заметить г. Пуанкаре, что, предлагая обсудить совместно с нами и Англией способы предотвратить подобный захват, он этим ставит вопрос о практических последствиях предположенного им соглашения; из его ответа я мог заключить, что он вполне отдает себе отчет в том, что Франция может быть вовлечена на этой почве в военные действия» (письмо от 25 октября—7 ноября 1912 г.).

А французский военный министр Мильеран спрашивал русского военного агента—неужели Россия в ответ на австрийскую мобилизацию не предпримет никаких решительных действий? Россия же в эту минуту больше всего была занята мыслью—как бы болгары, блестящих побед которых тоже никто не ожидал, не завладели Константинополем. А так как Германия во-время удержала Австрию от дальнейших выступлений, то конфликт разрешился мирно, к некоторому разочарованию французских реакционеров.

Воинственный задор последних, по крайней мере отчасти, несомненно подстрекался резким обострением англо-германских отношений в том же 1912 г. В феврале этого года Германия выступила с самой грандиозной из своих морских программ. Последний раз была сделана попытка добиться англо-германского соглашения по вопросу о флотах (соглашение о Багдадской дороге уже состоялось в 1911 г.). Английский военный министр Хольден приехал в Берлин, по приглашению Вильгельма, но торг кончился ни чем—англичане стояли на своей традиционной формуле: «два киля против одного», немцы предлагали соотношение 2 : 3. Соглашение не было достигнуто, и в Англии господствовало такое раздражение против Германии, как никогда. Осенью 1912 г. русский министр иностранных дел Сазонов был в Англии, и Грей говорил ему о готов-

ности английского правительства «употребить все усилия, чтобы нанести самый чувствительный удар германскому морскому могуществу», а Георг V пообещал даже «пускать ко дну всякое германское торговое судно, которое попадется в руки англичан». При этом англичане, со своей стороны, посвятили Сазонова в секрет своей военной конвенции с Францией, о чем Сазонов уже знал от Пуанкаре.

Это доверие ясно показывало, что Россия окончательно принята в Антанту и что на нее возлагаются большие надежды. Антанта была вполне готова, и «старшие» ее члены спешили оборудовать «младшего» для предстоявшей ему роли. При этом, совершенно естественно, Франция заботилась о сухопутном театре предстоящей войны, Англия же о морском. Когда России понадобился новый заем, и она обратилась, по обыкновению, в Париж, оттуда заговорили таким же твердым тоном, как в 1905 г., но содержание слов было иное. Соглашались в течение трех лет дать еще $1^1/_2$ млрд. франков под двумя непременными условиями: 1) усиления численного состава русской армии и 2) постройки в России сети стратегических железных дорог. На том же усиленно настаивал и приехавший в Россию генерал Жоффр, будущий главнокомандующий империалистской войны, требовавший в особенности, чтобы стратегические дороги строились возможно скорее. Приехавшего в Париж за займом русского премьера Коковцева шантажировали слухами, что иначе Франция даст денег кому угодно—Сербии, Румынии, Турции, Болгарии и даже Австрии, но не России. Сербию, впрочем, и фактически субсидировали весьма щедро—повидимому, роль, которую должно было сыграть это маленькое государство в качестве непосредственного зачинщика войны, была уже предусмотрена (первый проект убийства Франца-Фердинанда относится еще к декабрю 1913 г.). Русское официальное правительство, в лице Коковцева, было настроено миролюбиво и наивно искало признаков такого же миролюбия у французов. Но военная партия, в лице Сазонова и Сухомлинова, была уже вполне готова, и дни Коковцева как премьера были сочтены. С апреля 1914 г. при посредстве Франции начинаются переговоры об англо-русской военно-морской конвенции. В Петербурге очень боялись появления грозного германского флота перед Кронштадтом и германской высадки на русских берегах—английский флот брал на себя задачу оттянуть германские морские силы к Северному морю. На заговаривания о непосредственной помощи английского флота русскому в Балтийском море еще Грей в 1912 г. разъяснил Сазонову, что если английскому флоту и нетрудно было бы войти в Балтийское море, то зато почти невозможно оттуда выйти. Зато русские настаивали на сосредоточении в русских портах Балтийского моря большого количества английских торговых пароходов, что дало бы возможность угрожать Германии высадкой в Померании. Англо-русскую морскую конвенцию не удалось подписать, так как вспыхнула война по инициативе, несомненно, Антанты, но было ли это результатом обдуманного плана или же случайно раньше времени взорвалась

мина, подготовленная на более долгий срок, при теперешнем состоянии нашей осведомленности сказать трудно. Некоторые разоблачения из английских источников делают более правдоподобным первое предположение, но данные слишком отрывочны.

Война превратила Антанту в форменный союз: сентябрьским соглашением 1914 г. страны Антанты обязались вести войну до конца вместе и отнюдь не заключать сепаратного мира (слухи об оговорках по этому пункту никакими документами пока не подтверждены). Соглашение было вызвано попыткой Германии заключить мир через посредство Соединенных штатов, к чему категорически отрицательно отнеслись Англия и Россия и более «мягко» Франция, военное положение которой в это время было наиболее критическим. Это была не первая и не последняя трещина в Антанте уже военного времени. Россия вступила в войну, не имея формальной гарантии по наиболее интересовавшему ее вопросу—о проливах. Ей пришлось добиваться этой гарантии уже в процессе войны, опираясь на Францию против Англии, до конца относившейся крайне несочувственно к мысли о занятии русскими Константинополя. Мартовское соглашение 1915 г. о проливах было подписано Англией со столь явной неохотой, что в реальность этого соглашения русские дипломаты никогда вполне не верили: отсюда попытки закрепить его сепаратной сделкой с Францией, гарантируя последней левый берег Рейна в обмен за Дарданеллы. Последнее такое соглашение имело место почти накануне Февральской революции. Русская революция нанесла первый формальный удар «Тройственному согласию»; благодаря выходу России из войны оно перестало быть «тройственным». Фактически соглашения европейских участников антигерманской коалиции уже с февраля 1917 г. отошли на второй план, поскольку в войну вступили Соединенные штаты, очень скоро ставшие настоящим хозяином положения. С этого момента, а особенно со времени разгрома Германии и Версальского мира, державы ориентируются по линии—с Америкой или против нее, старые же антантовские связи настолько ослабевают, что Англия почти открыто поддерживает на Ближнем Востоке восстания туземного населения против Франции, которая, в свою очередь, пользуясь покровительством Америки, позволяет себе шаги, явно враждебные Англии (например занятие Рурского бассейна в 1923 г.). Поэтому, хотя у нас и в этот период продолжают говорить, по старой памяти, об Антанте, но это слово становится просто символом для обозначения капиталистического окружения Советского союза.

*БСЭ, т. III.*

## БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ XX в. (1912—1913 гг.)

Балканские войны, с одной стороны, заканчивают собою начавшееся еще в первой половине XIX в. разложение так называемой «Европейской Турции», с другой, являются прологом *империалистской войны*. Всех войн было три: две первых велись Болгарией, Грецией, Сербией и Черногорией против Турции. Первая началась 9 октября 1912 г. и была прервана перемирием 3 декабря того же года; разрыв перемирия 30 января 1913 г. открыл вторую балканскую войну, закончившуюся 14 мая. Третья война происходила между Болгарией, с одной стороны, Грецией, Румынией и Сербией, с другой. Болгария начала военные действия 30 июня 1913 г., Румыния прекратила их 19 июля, мир был заключен в Бухаресте 10 августа 1913 г.

Исходной точкой политической борьбы, завершившейся балканскими войнами, было то положение вещей, которое создалось на Балканах в результате русско-турецкой войны 1877 г. и *Берлинского конгресса*. Победившая турок Россия попыталась создать «великую Болгарию», в $^3/_2$ всего Балканского полуострова, которая, получив в качестве государя близкого родственника русского царя, а в качестве министров русских генералов и офицеров, должна была стать «задунайской губернией» России. Это намерение встретило решительное противодействие со стороны наиболее заинтересованных в балканском вопросе держав, Англии и Австро-Венгрии, и не нашло поддержки ни у одной из прочих держав, не исключая и состоявшей с Россией в формальном, хотя и строго секретном союзе Германии. Россия осталась изолированной и должна была сдаться. Но отнять у нее все ее завоевания все же не решились, и Берлинский конгресс оставил за нею часть ее «задунайской губернии», северную Болгарию между Дунаем и Балканскими горами. Часть южной Болгарии стала автономной турецкой провинцией, другая, бо́льшая часть, Македония, осталась за Турцией без всяких ограничений. Болгары, получив в образе «задунайской губернии» (официально «княжества Болгарии»), скоро ушедшей из рук России базу для своего национального возрождения, не могли не стремиться к объединению всех разорванных частей своей страны.

В 1885 г. им это удалось по отношению к Восточной Румелии, но для захвата Македонии нужна была война с Турцией, для чего тогда сил у Болгарии не было. Приходилось действовать косвенными средствами, поощряя национальное движение в самой Македонии. Последняя с конца XIX в. являлась театром почти непрерывавшегося восстания и партизанской борьбы; руководившие ими центры находились на территории независимой Болгарии. Но Берлинский конгресс разорвал не только Болгарию, создав этим источник бесконечных осложнений для будущего: то же сделал он и с сербами. Западные провинции Сербии, Босния и Герцеговина (первая восставшая против турок в 1875 г.), остались за пределами независимой Сербии. По постановлению конгресса, они были оккупированы австрийскими войсками, причем Австрия (с согласия России) явно стремилась превратить эту оккупацию в постоянную, что и было достигнуто «аннексией» 1908 г. К этому надо прибавить, что и с югом национальное объединение сербов не было закончено: так называемая «Старая Сербия», очаг средневековой сербской культуры, по национальным воспоминаниям особенно ценная для сербского народа, на бо́льшую половину осталась в руках Турции. Границы этой «старой» Сербии и Македонии были перепутаны совершенно безысходно: одни и те же местности и болгары и сербы объявляли «искони» своими. Главным аргументом было место рождения того или иного национального героя. Тот факт, что сербы ссылались преимущественно на героев средневековых, а болгары на героев национальной борьбы с турками, показывает, как будто, что этнографически ближе к истине были болгары. Но разобраться в пестром национальном составе Македонии было трудно,—трудность увеличивалась тем, что в Македонии, кроме болгар и сербов, жили и румыны (куцо-влахи), тянувшиеся к независимой Румынии, а в южной Македонии весьма многочисленны были греки, дававшие некоторые «права» на спорную землю и греческому королевству.

Все перечисленное достаточно объясняет, почему «Балканы», «балканская путаница», «балканизация» и т. п. стали нарицательными именами для всякого безысходного переплетения национальных интересов вообще. Политика Берлинского конгресса не создала, а только усилила эту путаницу до невероятных размеров, создав ряд опорных точек для дипломатических интриг наиболее заинтересованных в балканском вопросе «великих держав». Из этих последних первое время, благодаря неудачной политике Александра III, брала верх решительно Австрия. Она не только безраздельно царила в Белграде, экономически господствуя над независимой Сербией (в 1885 г. на долю Австро-Венгрии приходилось почти 80% всего сербского ввоза), но, после ссоры русского царя со своим кузеном, кончившейся низложением последнего, посадила и в Болгарию своего ставленника, принца Фердинанда Кобургского. Россия, после смерти Александра III всецело захваченная дальневосточным эпизодом своей борьбы с Англией, решила, как выразился один русский министр иностранных дел, «поставить

Балканы под стеклянный колпак» и, в видах лучшего обеспечения целости колпака, не остановилась даже перед новыми (первые были в 1870—1880 гг.) соглашениями с Австрией (в 1897 и 1903 гг.), т. е. перед новым «предательством» национальных интересов балканских славян. Положение резко изменилось после окончательной ликвидации русско-английского конфликта соглашением 1907 г.[1]. Вернуться к активной политике на Балканах попытались сначала, по традиции, снова путем соглашения с Австрией, причем русская дипломатия интересовалась не столько балканскими славянами, сколько проливами, ведущими из Черного моря в Средиземное. В обмен за проливы Австрии, уже не в первый раз, обеспечивали обладание Боснией и Герцеговиной. Австрия воспользовалась этим, чтобы аннексировать Боснию формально, но о проливах не захотела даже и разговаривать. Одураченная русская дипломатия, не найдя поддержки и у своих новых союзников, вынуждена была снова заняться сербами и болгарами,—больше теперь на Балканах не на кого было опереться. Началось с попытки заключить военную конвенцию с Болгарией (1909 г.), но болгарское правительство в конце концов отказалось подписать документ, слишком явно заостренный против Австрии, разрывать с которой царь Фердинанд не думал. Легче пошло дело с Сербией. Аннексия Боснии и Герцеговины была пощечиной национальному самолюбию сербов, все время мечтавших, что австрийская оккупация этих областей когда-нибудь кончится и они присоединятся к независимой Сербии. Аннексия положила этим мечтам конец. Получить обратно западные провинции можно было только путем войны с Австрией, а об этом и думать было нельзя без союза с Россией. Последняя так была нужна, что об ее «изменах» никто не вспоминал, тем более, что дружба с Россией вела за собой финансовую поддержку Франции. К 1911 г. националистическое возбуждение сербов достигает максимальной остроты, в Сербии возникает конспиративная террористическая организация «Объединение или смерть», в которую входят виднейшие представители сербского офицерства и которая ставит своей задачей возвращение Боснии и Герцеговины, а за ними и других сербских провинций Австро-Венгрии (Хорватия и т. д.) во что бы то ни стало и какими бы то ни было средствами. Так как Россия медлила с конкретными предложениями, то Сербия начала искать союзников собственными средствами и, позабыв склоку из-за Македонии, обратилась весною 1911 г. к Болгарии, предлагая ей Македонию в обмен за союз против Австрии (так называемый «тошевский инцидент», по имени болгарского посланника в Белграде—Тошева). Болгария и на этот раз воздержалась от категорического ответа, но Македония, венец национальных устремлений болгар, была настолько крупной приманкой, что болгарское правительство явно поколебалось. Русская дипломатия, представленная как раз в Белграде одним из самых способных своих представителей, Гарт-

[1] См. выше ст. «Антанта», стр. 41.

вигом, не могла не понять, что если она будет еще медлить, на Балканах может сложиться комбинация, независимая от России и могущая, в конце концов, стать ей поперек дороги. Надо было поворотить стихийно складывавшийся сербо-болгарский союз на русские рельсы, сделать из него подступ к проливам и Константинополю. Явное нежелание болгар втягиваться в антиавстрийские комбинации очень облегчало этот поворот. Сербии было объяснено, что Босния от нее не уйдет, а что пока она может найти выход к Адриатическому морю и через турецкую Албанию. С осени 1911 г., при деятельнейшем участии русской дипломатии и русского генерального штаба, начинаются в самом энергичном темпе переговоры о сербо-болгарском союзе, непосредственно направленном уже к разделу «Европейской Турции». Роль ускорителя сыграла итало-турецкая война из-за Триполи, рассматривавшаяся как начало конца Турции вообще и со всей остротой ставившая вопрос о «наследстве». Тем не менее Болгарию все же приходилось подталкивать, и подозрения насчет возможности секретного соглашения царя Фердинанда с Австрией не сходят со страниц русской дипломатической переписки этого времени. Антагонизм сербских и болгарских интересов в Македонии не мог не обнаружиться тотчас же, как только дело дошло до конкретных подробностей. Русские представители при соответствующих правительствах целиком слились со своими «опекаемыми» и готовы были, по собственному выражению одного из них, «глаза выцарапать» друг другу из-за какого-нибудь македонского местечка, формально составлявшего в это время неотъемлемую собственность Турции. Однажды между Гартвигом и Неклюдовым (русский посланник в Софии) дело чуть не дошло до вызова на дуэль. Переговоры хранились в строжайшем секрете, а для отвода глаз русская дипломатия в это время заводила разговоры о «балканской федерации» с участием и Турции. Уже к ноябрю 1911 г. был готов проект сербо-болгарского договора, испугавший своим содержанием даже его фактического родоначальника, русское министерство иностранных дел. Из Петербурга писали:

> «вся редакция соглашения, особенно же ст. 4, основана на идее военных действий и насильственных захватов, между тем как та же мысль могла бы быть изложена в форме определения культурных сфер влияния, что не казалось бы прямо направленным против Турции и вполне покрывалось бы формулой сохранения status quo».

Остается добавить, что переговоры велись с ведома и при некотором участии Франции, которая должна была финансировать будущую войну: одно из решающих свиданий болгарского и сербского дипломатов происходило в Париже, в присутствии тогдашнего французского министра иностранных дел де-Сельва; это было, таким образом, еще до прихода к власти Пуанкаре.

В конце концов приемлемую для обеих сторон границу в Македонии удалось выработать русскому военному агенту в Софии, полковнику Романовскому. Это взяло еще пару месяцев, и дого-

вор, подчищенный согласно указаниям из Петербурга, но все же вполне прозрачный в том, что касалось его конечной цели, был подписан 29 февраля 1912 г. Являвшаяся необходимым дополнением к нему военная конвенция была заключена двумя месяцами позже, 29 апреля. Наиболее секретная часть договора кончалась ст. 5-ой, которая гласила:

> «Никакое постановление настоящего секретного приложения не может быть ни предано гласности, ни сообщено какой-либо другой державе без предварительного согласия обеих договаривающихся сторон и разрешения России».

Последние слова без труда дают понять, чего стоило утверждение русского министерства иностранных дел и его друзей за границей, будто для Петербурга договор был таким же секретом, как и для всего мира. В мае, когда Сазонов, будто бы, впервые услыхал об этом договоре, на полном ходу была уже подготовка к войне, выразившаяся, прежде всего, в организации парижской биржей займов для Болгарии и Сербии. Ссуженные последней деньги были непосредственно переданы французскому заводу Шнейдер-Крезо, который снабдил за это сербскую артиллерию материалом, далеко превосходившим устаревший турецкий. От России получилось «вещевое довольствие»: сапоги, шинели и т. п. Месяц спустя после заключения сербо-болгарской военной конвенции, 29 мая 1912 г., был подписан болгаро-греческий договор (военная конвенция запоздала еще более: ее подписали лишь в сентябре—накануне войны).

В противоположность сербо-болгарскому соглашению, которое было делом рук России и Франции, присоединение к коалиции греков было результатом английского посредничества, причем Англия начала действовать еще с весны 1911 г. Таким образом балканские войны были не только русской инсценировкой, как иногда изображается в популярных изложениях вопроса, но солидарным актом всей Антанты: смысл акта заключался, очевидно, в том, чтобы отрезать Турцию от Германии коалицией дружественных Антанте балканских держав. Но интересы в этом деле отдельных членов Антанты не были вполне тождественны. Грецией Россия интересовалась сравнительно меньше всего, Болгарию она очень желала иметь на своей стороне, но не доверяла ей, ближайшим же образом Россия опекала Сербию: «основная наша задача—обеспечить политическую и экономическую эмансипацию Сербии», писал Сазонов. Между тем руководящая роль в коалиции и политически и, как скоро обнаружилось, в военном отношении досталась именно подозрительной Болгарии. Последняя немедленно же, вслед за подписанием договора с Сербией, развила широкую митинговую кампанию, с лозунгом немедленного предоставления «автономии» Македонии (первый митинг был 29 апреля, в день подписания военной конвенции). Дальнейший толчок событиям дало восстание в Албании, лишний раз подкрепившее мысль о «разложении» Турции. Найти предлог для выступления при такой обстановке было очень легко: албанское движение передавалось Маке-

донии, албанцы резали сербов, турки македонцев и т. д. В конце августа в Софии собрался македонский конгресс, потребовавший предъявления Турции ультиматума об автономии не только Македонии, но и Фракии, а в случае отказа—немедленной мобилизации и объявления освободительной войны. «Натиск общественного мнения был неотразим», говорит в своих воспоминаниях тогдашний болгарский премьер Гешов. Под угрозой революции в стране, царь Фердинанд должен был выступить. Турецкое правительство в этот момент переживало кризис. Но национальное самочувствие турецкой буржуазии, в особенности военных кругов, после революции было очень приподнято, и, в свою очередь, под страхом революции в случае уступок турецкий кабинет категорически отклонил попытку вмешаться во «внутренние дела» Турции (не отклоняя в принципе македонских реформ). Дипломатически положение осложнялось тем, что логикой своего публичного поведения Россия была вынуждена продолжать свою игру в миролюбие и нейтралитет, в чем ей подражали и ее союзницы,—для Австрии же и Германии представляло интерес делать вид, что они верят в искренность «миролюбивых» выступлений Антанты. Это создавало повод для длинной вереницы по существу никчемных дипломатических выступлений «европейского концерта держав», с целью, якобы, «сохранить мир». Наконец, некоторые предупредительные военные меры Турции—частичная мобилизация и задержка последних транспортов с оружием и боевыми припасами, направлявшихся из Франции для сербов, и т. п.—создали желанный предлог для открытия военных действий. Первой начала стрелять маленькая Черногория, с которой не было даже письменного договора, а только «устное соглашение». Но очень скоро за ней последовали и остальные члены коалиции. Самым сильным из последних сразу явилась Болгария, мобилизовавшая 420 тыс. человек и выдвинувшая армию первой линии в 230 тыс., из них 200 тыс. во Фракии, т. е. в сторону Адрианополя. В Македонию направлена лишь одна болгарская дивизия, остальная работа на этом театре всецело была предоставлена сербам, выставившим 150 тыс. штыков и сабель, и грекам, армия которых была всех малочисленнее (всего 80 тыс.). Турки на бумаге были почти вдвое сильнее союзников (700 тыс. человек), на практике же могли противопоставить болгарам не более 150 тыс. человек, а сербам и грекам—не более 200 тыс., причем техникой вооружения союзники далеко превосходили турок, располагавших, по большей части, старым германским материалом конца XIX в. В частности устаревшая турецкая артиллерия не могла выдержать боя с новейшими французскими пушками Шнейдер-Крезо. Результатом был ряд блестящих побед как болгар (Киркилиссе, Люле-Бургас и Чорлу), так и сербов (Куманово и Монастырь), доставшихся, притом, особенно сербам, сравнительно дешево. Это последнее обстоятельство—легкость, с которой союзники в две недели справились с Турцией,—повидимому, не ожидалось инициаторами коалиции и поставило последних, особенно Россию, в довольно

странное положение. Первоначально рассчитывалось на вмешательство «тотчас после того, как первые вооруженные столкновения охладят пыл противников» (Извольский). Но быстрые и блестящие победы не только не «охладили пыла», а, наоборот, подняли воинственное воодушевление союзников до необычайной высоты. При этом операционная линия болгар оказывалась так же сомнительна, как и все их поведение. Главная болгарская армия двигалась на Адрианополь—Константинополь, и после разгрома турецкой армии во Фракии, казалось, между нею и турецкой столицей нет более никаких преград. Это совершенно не входило в русские планы,—Константинополь должен был стать русским, а не болгарским,—между тем германские газеты болгарофильского направления открыто писали о намерении царя Фердинанда короноваться византийским императором. В Петербурге начали возникать прямо горячечные планы защиты Константинополя от болгар. Проектировалась немедленная посылка русского десантного корпуса для захвата если не самого Константинополя, то, по крайней мере, выхода из Босфора в Черное море. «К счастию», турки сумели закрепиться на чаталджинских позициях, взять которые болгарам не удалось: непосредственная опасность занятия болгарами Константинополя была, таким образом, устранена. Но сомнения насчет болгарского поведения после этого в Петербурге могли только усилиться. Война явно давала не те плоды, которых от нее ожидали. Константинополь, к которому она должна была приблизить Россию, оказывался дальше, чем был до войны,—в то же время то, из-за чего Россия стремилась к Константинополю, уплывало из рук: Турция, правильно угадывая действительную подкладку событий, стала (формально это было совершенно правильно) задерживать греческие суда, везшие русский хлеб через Дарданеллы. Война, не дав еще никакой прибыли, приносила уже большие убытки, которые отнюдь не компенсировались выгодами с какой-нибудь другой стороны. Получить Албанию для Сербии оказывалось делом неимоверно трудным. Австрия этому воспротивилась всеми силами, и с ней из-за каждого албанского местечка приходилось торговаться не меньше, чем раньше с Болгарией из-за Македонии. При этом русская дипломатия прямо истощалась в приискании аргументов: в конце концов один албанский город чуть ли не оказался русским городом, ибо около него был православный монастырь, где были русские монахи, а в городе было подворье этого монастыря. Этот довод, при всей его странности, Австрия все же признала,—ее больше интересовали берега Адриатического моря, спорный же город был в глубине Албании. Но Сербии тоже эти берега были нужнее, чем православные монастыри, а на попытку завладеть ими (захват Черногорией Скутари) Австрия прямо уже ответила вооруженной демонстрацией. Скандал удалось замять, превратив австрийскую демонстрацию в международную, а Черногорию вознаградили, устроив ей заем в Англии в несколько миллионов. Одновременно Австрия частично мобилизовала свою армию,

явно угрожая войной в случае дальнейшего упрямства сербов. Для России, озабоченной судьбой Константинополя, война из-за берегов Адриатического моря была с этого момента всего менее кстати. Миролюбие, которое раньше было простой маской, становится под впечатлением всех этих неожиданностей истинным лицом русской дипломатии—русское правительство всячески хлопочет о том, чтобы заключенное в начале декабря перемирие обратилось в прочный мир, а когда это не удается, вторая балканская война, после разрыва перемирия, проходит уже без всякого сочувствия со стороны России, в это время исподтишка подготовляющей новую коалицию, уже против Болгарии.

Откол от последней формально наметился телеграммой, которой ответил Сазонов на известие о разрыве болгарами перемирия:

> «Мы удивлены поведением болгарского правительства. Непрестанно обращаясь к нам за советами и поддержкой, оно в то же время выказало невнимание нашим настойчивым предостережениям не брать на себя инициативы разрыва с Турцией. Софийский кабинет должен отдать себе отчет в том, что мы вовсе не расположены принимать все последствия его решений к исполнению и что то содействие и поддержка, которые все время оказывались нами болгарам, не должны вводить их в заблуждение, что мы их всегда все равно выручим из беды, как бы они ни относились к нашим советам».

Ход новой кампании мог только усилить охлаждение. 26 марта 1913 г. болгарская армия взяла штурмом Адрианополь. «Опасная» ситуация ноября 1912 г. повторилась снова. Сазонов категорически настаивает на заключении мира, ибо «всякое промедление отразится серьезной опасностью для Константинополя». Добиться прекращения военных действий удалось только к маю—и уже гораздо ранее этого началось тщательное подбирание элементов будущей антиболгарской коалиции. Элементы эти, можно сказать, «валялись на улице». Выходом из Македонии к Эгейскому морю являются Салоники—город в национальном отношении турецко-еврейский (турки и евреи вместе составляли более 70% населения), исторически греческий не менее, чем Старая Сербия была сербской, и ни в каком отношении не болгарский,—но без него Македония оказывалась тупиком. Между тем греки не только категорически требовали себе Салоник, но заявляли притязание на весь северный берег Эгейского моря, ставя Болгарию буквально в «безвыходное» положение. С другой стороны, Сербия, не получив берегов Адриатического моря, ради чего в свое время она и отказывалась от Македонии, естественным образом стала требовать пересмотра установленной Романовским сербо-болгарской границы, ссылаясь, между прочим, и на то, что Македония была завоевана почти исключительно сербскими войсками, при помощи которых был взят болгарами и Адрианополь. И, наконец, явился еще третий соискатель, в лице Румынии, занявшей позицию благожелательного нейтралитета по отношению к антитурецкой коалиции 1912 г., но требовавшей за это компенсации, в виде куска болгарской территории на

нижнем Дунае (в Добрудже). Главным предметом спора была здесь бывшая турецкая крепость Силистрия, игравшая когда-то очень большую роль в русско-турецких войнах как один из стратегических ключей к нижнему Дунаю: принадлежность этого ключа болгарам давала им перевес над румынами в этой области, переход Силистрии к Румынии изменял перевес в пользу последней. На болгарский проект нейтрализации Силистрии (в форме передачи румынам позиций, господствующих над крепостью) Румыния не шла, как можно думать, потому, что ей уже была обеспечена поддержка России в этом вопросе.

Покушение Сербии на Македонию создало в Болгарии, особенно в ее военных кругах, настроение, очень близкое к тому, какое сложилось в Сербии после аннексии Боснии и Герцеговины. Сходство довершилось тем, что как в Боснии австрийцы, так в Македонии стояли сербы, которых вчера еще считали прочными и надежными союзниками и которые внезапно оказались соперниками. Явное предпочтение, оказываемое Россией этим соперникам, окончательно дало перевес в Болгарии австрийской ориентации, тем более, что Австрия, повидимому, формально обещала вооруженную поддержку в случае вмешательства Румынии. Болгарское правительство, понимая всю крайнюю рискованность положения, колебалось до последней минуты, но высшее офицерство, в головах которого еще не рассеялся угар от недавних блестящих побед, взяло инициативу на себя. 30 июня 1913 г. болгарская армия внезапно атаковала сербские и греческие позиции в Македонии. Румыния немедленно ответила на это мобилизацией всей армии, двинувшейся прямо на Софию.

Все болгарские силы были заняты на юге и юго-западе, болгарская столица оставалась совершенно открытой, ожидавшееся же выступление Австрии не состоялось, так как Германия, отнюдь не желавшая в то время воевать, категорически воспротивилась авантюре своей союзницы. Болгарии ничего не оставалось, как просить пощады, обратившись к посредничеству России (14 июля). Последняя немедленно остановила румынское наступление, но Румыния получила все, что она раньше требовала. Сербо-болгарская граница также была «пересмотрена» в пользу Сербии; Салоники и ряд пунктов Эгейского побережья остались за Грецией. Такой исход третьей балканской войны заранее предопределил позицию Болгарии в будущей империалистской войне против Сербии и окончательно ликвидировал остатки настроений, еще живших в болгарских массах со времени войны 1877 г. После удара в спину с помощью румынских штыков императорская Россия утратила всякие симпатии в Болгарии.

Социальные последствия балканских войн тогда же были охарактеризованы Лениным, писавшим в «Правде» от 7 ноября 1912 г.:

«Победы сербов и болгар означают подрыв господства феодализма в Македонии, означают создание более или менее свободного класса крестьян-землевладельцев, означают обеспечение всего общественного

развития балканских стран, задержанного абсолютизмом и крепостническими отношениями».

В международной плоскости балканские войны были определенной неудачей Антанты и вообще и в частности ее русского сочлена: вызвать державы Центральной Европы на войну из-за Балкан, чего, повидимому, определенно хотелось Франции, не удалось, так же как России не удалось сделать ни одного шага дальше в вопросе о проливах. В следующем году пришлось поэтому прибегнуть к более энергичным средствам провокации, чем все, какие применялись до сих пор.

*Литература:* Документы, опубликованные в «Красном архиве», книги VIII, IX и XV (публикация еще не закончена); Гешов И., Балканский союз, Воспоминания и документы, т. II. 1915; Bogitschevisch, Kriegsursachen, 1919 (есть франц. перевод). Общую литературу см. в статьях «Антанта» и «Империалистская война».

*БСЭ, т. IV, 1926.*

# ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВОЙНЫ

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

В настоящее время едва ли нужно доказывать читателю, что война между Россией, с одной стороны, Германией и Австрией, с другой, ведется из-за турецкого наследства. Вначале, до выступления Турции, эта простая истина была закутана, отчасти сознательно, отчасти по неразумию, всякого рода высоко патриотическими (а иногда и высоко марксистскими) соображениями. Теперь она сбрасывает с себя один покров за другим, возвращаясь к естественному состоянию всякой истины—полной наготе. Эта последняя принимает иногда даже чересчур обывательский характер, напоминая не столько об античной статуе, сколько о русской бане: какой-то добрый профессор мечтает уже, каких превосходных дач можно настроить между Батумом и Трапезундом... Да, конечно, строить рано, да и не сезон: кто в декабре думает о даче? Но разобраться в «исторических задачах России на Черном море»—самое время. Широкая публика, без различия оттенков, принимает «задачи» en bloc: как же не иметь ключей от собственного дома! Проливы необходимы России—без этого невозможно развитие русского капитализма. А как же удержать проливы, не владея Константинополем? А при Константинополе необходим и некоторый Hinterland, говоря на языке врагов свободы и цивилизации. Дело ясно: Дарданеллы, Босфор, Царьград, Малая Азия, вся или отчасти, должны быть русскими.

Такое суммарное представление, подобно кучам «кухонных остатков», столь много послуживших доисторической археологии, соединяет в одно целое напластования весьма различных эпох. Причем, как и в кухонных остатках, в нижнем ярусе мы можем найти предмет, случайно провалившийся из самого верхнего. С первого взгляда может показаться, что наиболее архаической из всех возможных мотивировок завоевания Царьграда является религиозная: водружение креста на святой Софии. Это, казалось бы, самая древняя из «задач», завещанная современной России еще московской Русью. На самом деле, если мы возьмем русско-турецкие отношения московской эпохи, как они действительно происходили, мы не найдем почти никаких следов этой «задачи». Несмотря на постоянные

подталкивания в этом направлении с Запада (со стороны римского папы и германского императора—тогда главы еще «Священной римской империи»), проект завоевания Царьграда сколько-нибудь серьезно ставился за всю эту эпоху только один раз: когда на московском престоле сидел «еретик и расстрига», ученик ариан и иезуитов, Димитрий [1]. Истинно православные московские государи были на это ухо глухи. Причины не приходится долго искать. Это—с нашей, современной точки зрения. Константинополь пал 30 мая 1453 г.: в глазах благочестивых москвичей он пал 14 годами раньше, когда константинопольская церковь признала над собой главенство папы (так называемая Флорентийская уния 1439 г.). Материальная гибель византийской империи была лишь логическим последствием ее морального падения. С 1439 г. центром вселенского православия стал «третий Рим»—Москва. От «третьего» Рима возвращаться назад ко «второму» было бы приблизительно то же, что искать прошлогоднего снега. Правда, в Константинополе продолжал жить православный патриарх, в пределах Турецкой империи оставлен духовный центр православия, Афон с его монастырями, но греческая иерархия отлично уживалась с турецким «игом» (афонские монастыри признали верховенство султана даже раньше падения Константинополя). Приезжая в Москву за милостыней, патриарх и афонские старцы могли видеть на практике московский режим, и это едва ли внушало им особое желание стать непосредственными подданными своего северного покровителя. На словах они непрочь были потосковать о православном государе, на деле они вплоть до XIX столетия оставались лойяльными верноподданными падишаха. Недавняя судьба афонских монахов свидетельствует о несомненной прозорливости их предшественников.

Чем дальше уходили русские государи от православия, тем бо́льшее место в их политике занимал Царьград. Сына патриарха Филарета, благочестивейшего Михаила Федоровича донские казаки никак не могли втянуть в войну с турками, сколько ни старались. Его внук Петр I, сделавший из православной литургии «маскарадное действо» и одевавший своего главного шута православным патриархом, вел уже ряд войн с Турцией, не всегда удачных, но иногда весьма решительных (Прутский поход 1711 г.). А при Екатерине II, переписывавшейся с Вольтером и субсидировавшей энциклопедистов, вопрос о водружении креста на святой Софии стал совсем остро: возникает обширный план восстановления византийской империи с государем из дома Романовых (или Салтыковых—во всяком случае из потомства Екатерины II) во главе. Подкладку этой странной прогрессии—убывающего православия и возрастающего интереса к святой Софии—не приходится искать: она давно нащупана истори-

[1] В учебниках называемый «Лжедмитрием I». Доказать подлинность его происхождения от Ивана IV, во всяком случае, легче, нежели подлинность происхождения Николая II от бояр Романовых. Последнее недоказуемо абсолютно, тогда как первое лишь относительно—в зависимости от того, какую цену мы будем придавать тому или другому историческому свидетельству.

ческой литературой еще до-марксистского периода [1]. Начиная с царствования Петра, русская внешняя политика идет под знаменем торгового капитализма. Борьба за торговые пути становится в ее центре. Самому Петру пришлось главным образом бороться за северный путь—Балтийское море, но и при нем уже реставрация старого генуэзского пути, через Черное море,—пути, хорошо знакомого московским «гостям сурожапам» времен Дмитрия Донского,—намечалась достаточно явственно. Пока, однако, это был более далекий и кружный путь, с ним можно было подождать. Жгучесть вопросу придала колонизация южнорусских степей. Уже в самом начале этого процесса, в 1760 г., мы слышим жалобы южнорусских помещиков, что им некуда девать своей пшеницы, так как у России нет ни одного порта на Черном море. По существу, конечно, пшеницу экспортировать можно было и тогда, но на очень невыгодных условиях. Турки теперь представляются нам народом экономически необычайно косным и пассивным. Не так было полтораста лет назад. Тогда Турция упорно держалась за монополию плавания по Черному морю; на нем мог развеваться только оттоманский флаг—и никакой другой. Турецкие судохозяева не отказывались, конечно, возить и русские товары—их перевозкой они, главным образом, и жили,—но русскому торговому капиталу приходилось делиться барышами с турецким; посредничество обходилось так дорого, что торговля была, в конце концов, «невыгодна». Чтобы заставить турок отказаться от своей монополии, пришлось вести ряд войн. Уже первая, закончившаяся Кучук-кайнарджийским миром (1774 г.), пробила в турецкой монополии крупную брешь: на Черном море русский флаг получил равные права с турецким. Но оставался вопрос о свободе плавания в проливах, о доступе к русским теперь гаваням северного берега Черного моря иностранных судов и т. д. Турки отстаивали каждый шаг, толкуя в свою пользу каждую неясную фразу трактатов. Только Адрианопольский мир (1829 г.) окончательно разрешил в русскую пользу всю эту путаницу. Седьмой статьей адрианопольского трактата плавание из Средиземного моря в Черное и обратно было объявлено совершенно свободным для торговых судов всех держав, состоящих в мире с Турцией. Порта раз навсегда обязалась никогда проливов для торговли не закрывать, с ответственностью за убытки в случае нарушения этого обязательства.

«Историческая задача», которою теперь вольтижируют перед глазами несколько беззаботной по части истории публики, распространяясь о необходимости для русской торговли «свободного выхода» и т. д., в сущности, была уже вполне удовлетворительно разрешена в 1829 г. Читая адрианопольский трактат, не понимаешь, чего же еще людям нужно? Единственным возражением могло бы быть нарушение турками этого трактата. Но такие нарушения—за

[1] См. особенно работу *Ульяницкого*, Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII в. Если бы книга была напечатана около 1900 г., какой бы крик подняли «объективные» кадетские историки о «подтасовке», «грубой натяжке» и т. д. Но книга вышла в 1883 г.

исключением случаев русско-турецких войн, начинавшихся в XIX в. всегда по инициативе России и никогда Турции,—бывали весьма редки, это во-первых; а во-вторых, и это зло отнюдь не было неисцелимым. Еще в конце прошлого столетия известный специалист по международному праву, московский профессор Комаровский (октябрист) и его ученик Жихарев выступили с проектом нейтрализации проливов—уподобления их, с точки зрения международного права, Суэцкому каналу. Они не должны были быть объектом блокады, ни в них, ни около них, на известном расстоянии, не должно было допускаться военных действий и т. д. Добиться этого было бы тем легче, что в свободе плавания по Босфору и Дарданеллам заинтересована отнюдь не одна Россия, и даже не больше всего она. Из числа тонн судов, вошедших в константинопольскую гавань в 1909—1910 гг., 41,7% носили английский флаг, 17,7%—греческий, 9,2%—австрийский и лишь 7%—русский (итальянцы были заинтересованы немногим менее—на их долю пришлось 5,8% всего тоннажа). Этой линией наименьшего сопротивления русская дипломатия однако же явно пренебрегала. С самого начала, когда турки еще и подумать не успели о нарушении адрианопольского договора (едва успели высохнуть его чернила), ею был поставлен совершенно другой, новый вопрос: о свободе прохода русских военных судов через Босфор и Дарданеллы.

В начале 30-х годов против султана восстал его вассал, паша египетский (знаменитый Магомет-Али, египетский «Петр Великий»). Войска последнего разбили султанскую армию в Сирии и через Малую Азию двигались на Константинополь. Внезапно, с быстротой чисто театрального эффекта, на Босфоре появляется черноморский флот: «царь-рыцарь», Николай Павлович, пришел выручать своего «друга», султана Махмуда. С флотом, был, правда, не сам Николай, а только его генералы и адмиралы; но с ними был корпус русского войска, немедленно высадившийся на малоазиатском берегу пролива и занявший важнейшие стратегические пункты. Русские офицеры разъезжали по Босфору и Дарданеллам, делали съемки, намечали места для укреплений, магазинов и т. д. Турки, еще не опомнившиеся от адрианопольского разгрома, не смели возражать. Они кланялись, благодарили и лишь робко осмеливались намекать, что они не стоят всех этих милостей и забот, что с египетским мятежником султан и сам как-нибудь справится. Николай решил до конца облагодетельствовать не понимающих своей пользы людей. На Дунае начала сосредоточиваться русская армия, которая сухим путем должна была итти охранять Константинополь—по дороге приняв соответствующие охранительные меры по отношению к Шумле, Варне и другим турецким крепостям. В последней степени паники султан поспешил уступить египетскому паше то, чего тот даже и не требовал, только бы устранить всякий предлог для русского вмешательства. Положило конец ему, однако, лишь решительное выступление Англии и Франции (особенно энергично действовала последняя). Поняв, что из-за проливов ему придется воевать с англи-

чанами и французами, и не чувствуя себя еще готовым к этому, Николай уступил. Русские войска ушли с Босфора, но перед отъездом уполномоченный Николая (гр. Орлов) заставил султана подписать так называемый Ункиар-искелесский договор (1833 г.). В явной части этого документа договаривающиеся стороны гарантировали друг другу неприкосновенность их территорий (при случае и Николай умел быть юмористом). Реальное значение имела секретная статья, которой султан обязывался, по требованию России, закрывать Дарданеллы для иностранных военных судов (читай французских и английских). Чтобы не было сомнения, что к русским военным кораблям это отнюдь не относится, решено было, что плававшая тогда в Архипелаге русская эскадра торжественно пройдет Дарданеллы и Босфор и вступит в Черное море. Коварство наших противников испортило торжество—русским кораблям пришлось совершить это путешествие весьма скромно, по-одиночке и как бы инкогнито.

Но и без эффектного финала политический смысл ункиар-искелесской авантюры совершенно ясен. Это была первая (и надолго единственная) попытка России выступить в качестве великой средиземноморской державы. Встретив на своем пути настоящие великие морские державы, она сконфузилась и отступила. На сухом пути ни Англия, ни даже Франция Николаю не были страшны, но у него еще не было флота, способного подавить англо-французский. С другой стороны, англо-французское противодействие вызвал именно морской характер русской авантюры: русский флот в Архипелаге, базирующийся на Севастополь и Николаев, недоступные противнику, раз Дарданеллы и Босфор в русских руках, был бы хозяином восточной половины Средиземного моря. Эта идея крепко запечатлелась в памяти государственных людей Англии и Франции, и они успокоились не прежде, чем сама возможная база средиземноморского русского флота была разрушена,—не прежде, чем был взят Севастополь (1855 г.). Даже формальная отмена Ункиар-искелесского договора (в 1837 г.) не успокоила Англии. Не менее ясен и экономический смысл авантюры — он уже был несколько подробнее охарактеризован в русской литературе совсем недавно, так что сейчас мы можем ограничиться самым кратким напоминанием: царствование Николая I было первой весной русского мануфактурного капитализма. Стесненный на внутреннем рынке, благодаря крепостному праву туго развивавшемся, он искал рынков внешних и, казалось, находил их в малокультурных областях Западной Азии. «Нет сомнения, что при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми собственно для азиатского торга», рассуждал государственный совет Николая I и в 1836 г. Европеец покупать русского товара, конечно, не станет, но азиата, пожалуй, можно соблазнить, особенно, если поставить пушки на Босфоре в удачном месте. В России экономической базой пирамиды был крепостной мужик: отчего, в pendant к нему, не иметь за границей кре-

постного покупателя «усовершенствованных» русских ситцев и миткалей? Крепостное хозяйство тогда отлично совместилось бы с успехами русского промышленного капитала.

В цитированной статье «Просвещения» [1] более детально выяснено разительное, до мелочей, сходство ситуаций 1830-х годов, на другой день после разгрома декабристов, и 1910-х годов, на другой день после разгрома русской революции. Тогда дилемма стояла так: или отмена крепостного права, или завоевание новых рынков; теперь—или доведение до конца буржуазной революции, торжество буржуазных отношений в русской деревне, или «Великая Россия», битая внутри, но бьющая снаружи. Тогда, после Севастополя, восторжествовала первая половина дилеммы, теперь, говорят нам, будет как раз наоборот. Говорят, впрочем, также, что цыплят считают по осени, и что кто смеется в пятницу, плачет в воскресенье. Но существенно не то, кто будет смеяться или плакать, важно не плакать или смеяться, а понимать. А для понимания новой «исторической задачи», датирующейся с 1833 г., у нас есть кое-какие данные и теперь. Политические завоевания прочны тогда только, когда они закрепляют экономическое преобладание, достигнутое или определенно наметившееся уже во время мира. В этом сходство завоеваний и революций: и те и другие дают юридическую форму содержанию, имеющемуся в наличности. Что имеет в наличности русский капитал, двигающийся на Турцию? До сих пор Россия ввозила туда, в крупных размерах, сахар (граф Бобринский) и керосин. Но ни русский сахар, благодаря монополии внутри страны продающийся за границей за грош, ни русский керосин, который в Турции всегда будет дешевле американского и лучше румынского, никаких соперников перед собою не имеют, не для них приходится завоевывать рынок. А вот как обстоит дело с теми товарами, которые, по мнению русского государственного совета, были достаточно «усовершенствованы» уже в 1836 г.?

Есть специальное американское исследование о продаже хлопчатобумажных товаров в Турции [2]. В имеющихся там статистических таблицах ввоза хлопчатобумажных товаров в Турцию вы найдете разные страны, от Англии, ввозящей ежегодно на 21 млн. долл., до Голландии, ввоз которой не превышает 321 тыс. долл. (второе место после Англии занимает Италия—3 146 тыс. долл., третье Австрия—2 645 тыс. долл.). Вы не найдете России: она спряталась в куче «всех прочих» стран, вместе ввозящих менее, чем на 1 млн. долл. И только в специальной таблице ввоза пряжи вы отыщете и Россию, со скромною цифрою—3 тыс. долл. Так обстояли дела менее 10 лет назад (цифры относятся к 1906 г.). С тех пор русский ввоз вырос; но дожидаться, пока он, естественным путем, догонит Англию или хотя бы обгонит Италию, пришлось бы до-

---

[1] «Просвещение» 1914 г. январь, «Русский империализм в прошлом и настоящем»; в настоящем сборнике.

[2] *Clark*, Coton textile Trade in Turkisch empire, Washington 1908.

вольно долго. Но если глупый азиат не видит преимущества русского ситца перед английским или итальянским, его можно заставить покупать русский ситец, загнав его штыком в русскую таможенную черту. Только вот как отнесутся к этому англичане и итальянцы? Это во-первых. А во-вторых, зачем же говорить о ключах от собственного дома, когда дело явно идет о взломе чужого сундука?

*«Голос», № 95 и 96. Париж, 1 января 1915 г.*

## ВИНОВНИКИ ВОЙНЫ [1]

Статья эта, сначала прочитанная как реферат в парижском «Клубе интернационалистов» в мае месяце 1915 г. (эту хронологию полезно иметь в виду, расшифровывая те намеки на «современность», какие рассеяны в статье там и сям), носила определенный полемический характер—была направлена против концепции внешней политики финансового капитала, предложенной Гильфердингом. Эта концепция считалась тогда единственно марксистской. Гильфердинг был своего рода «евангелистом», и мое выступление, вдобавок выступление нетеоретика, было порядочной дерзостью. Как таковое оно и было расценено в тогдашней редакции «Социал-демократа», особенно со стороны Ю. Л. Пятакова, как я узнал потом. К сожалению, я не знаю, как отнесся к той попытке—в 1915 г. критиковать Гильфердинга—Ленин заметил он или не заметил, что в крайне неуклюжей форме и чрезвычайно несовершенными, в теоретическом отношении, приемами, я пытаюсь обосновать его ленинскую мысль: о *загнивании* капитализма. Повидимому, он не обратил внимания на мою статью, иначе он, вероятно, постарался бы наставить меня на путь истинный и показать мне, как правильно теоретически подойти к больному месту гильфердингианства, которое я верно нащупал, но не умел вскрыть.

Что это именно *больное* место, Ленин потом высказал всеми словами. В своей книге он посвятил целую главу (8-ю) вопросу о «паразитизме и загнивании капитализма», где в самом начале говорится: «Одним из недостатков марксиста Гильфердинга является то, что он сделал шаг назад по сравнению с не-марксистом Гобсо-

---

[1] Настоящая статья воспроизводит взгляды автора по основным вопросам возникновения империалистской войны в том виде, как они сложились в 1915 г., т. е. в самом начале войны, когда автор располагал лишь самым ничтожным документным материалом. Этим несомненно объясняется явная недооценка им значения германского империализма. Читателю полезно сравнить эту статью с печатаемой в этом же сборнике статьей «Происхождение и характер войны». Последняя статья почти совпадает с первой и по тематике и даже по расположению материала, но, написанная в 1924 г., она значительно правильнее ставит вопрос.—*Прим. ред.*

ном. Мы говорим о паразитизме, свойственном империализму»[1]. Дальше на целом ряде примеров Ленин обосновывает мысль о «*тенденции* к застою и загниванию, свойственной монополии» и монополистическому капитализму.

После критики Ленина повторять мою, явно несовершенную критику Гильфердинга, которая, вдобавок, поскольку Гильфердинг являлся тогда *единственным* теоретиком империализма, превращалась неизбежно в критику теории империализма вообще, значило бы только напрасно отнимать время у читателя. Сократив эту критическую часть своей статьи уже в первом издании 1919 г. (в 1915 г. статью не удалось напечатать—легально из-за цензурных препятствий, нелегально из-за богохульного, по отношению к Гильфердингу, характера), я теперь охотно совсем бы ее опустил. Но она так переплетена со всем остальным изложением, что устранить вовсе ее невозможно,—и я должен был ограничиться тем, что сделал еще бо́льшие на этот счет купюры, чем это имело место в издании 1919 г.

Характеристические признаки империализма так резюмированы Гильфердингом—там, где он говорит о политике «финансового капитала» (дальше он сам употребляет выражение «эра империализма»): «Политика финансового капитала преследует троякого рода цели: во-первых, создание возможно обширной хозяйственной территории, которая, во-вторых, должна быть ограждена от иностранной конкуренции таможенными стенами и таким образом должна превратиться, в-третьих, в область эксплоатации для национальных монополистических союзов[2]. Образцом здесь послужили, несомненно, Соединенные штаты. Из двух других передовых капиталистических держав нашего времени у Англии нехватает пока «таможенных стен»; Гильфердинг, правда, уверен, что они скоро появятся и, во всяком случае, «вполне возможны», но историку приходится считаться с тем, что уже есть, а не с тем, что только возможно. Пока Англия продолжает придерживаться той политики, которая, по словам Гильфердинга, находится «в самом остром противоречии» с политикой финансового капитала. Но рассталась ли с этой, теоретически устаревшей, политикой Германия? Присматриваясь к данным международной торговли, легко заметить, что Германии гораздо больше приходится терпеть от чужих таможенных стен, чем выигрывать от своих собственных. «Мы работаем для вывоза,—говорили представители германских промышленных кругов французскому публицисту, производившему в Германии анкету за два года до войны,—если мы перестанем вывозить, мы погибли»[3]. И успешнее всего дело шло с той стороны, где до сих пор живы «манчестерские предрассудки». В 1903 г. Германия ввезла в великобританские владения на 34 533 тыс. ф. ст., а вывезла к себе британских продуктов

---

[1] *Ленин*. Соч., т. XIII, стр. 313—314.
[2] *Гильфердинг*, Финансовый капитал, пер. И. Степанова, стр. 495—499.
[3] *G. Bourdon*, L'Enigme allemande.

на 23 550 тыс. ф. ст.; а в 1913 г. первая цифра поднялась до 80 511 тыс. ф. ст., а вторая—только до 40 695 тыс. ф. ст. Ввоз Германии в Англию увеличился на 105%, Англии в Германию—только на 73%. Вполне понятно, почему для Германии разрыв с Англией был таким тяжелым ударом, независимо от ближайших политических последствий этого разрыва. Противоположную картину дает нам «восточный фронт», где таможенная стена, высокая и прочная, существует с 1891 г. Правда, германский вывоз увеличился и с этой стороны: с 438 млн. марок в 1907 г. он поднялся до 680 в 1912 г.; но зато Россия ввезла в Германию в 1907 г. на 1 107 млн. марок, а в 1912 г.—на 1 527 млн. Германский «дефицит» с 669 млн. марок поднялся до 847—почти на 200 млн. марок золота больше стало утекать через русскую границу из немецкого кошелька. Так, по крайней мере, считают сами немцы: русская официальная статистика дает цифры прямо противоположные: для русского вывоза в Германию в 1912 г., например, всего 453 млн. руб., т. е. около 1 млрд. марок, а для германского вывоза за тот же год 519 млн. руб., почти на 1 200 млн. марок. Но так как мы говорим о *германской* политике, а она определяется, конечно, германскими, а не русскими представлениями о положении дел, то для нас показательны именно германские цифры[1].

Мы наталкиваемся, таким образом, на положение, весьма мало отвечающее требованиям «эры империализма»—как его понимает Гильфердинг: Германия начала двадцатого столетия оказывается очень близка, по своим интересам, к Англии первой половины девятнадцатого. Для Германии, как тогда для Англии, оказывается нужна не «возможно обширная хозяйственная территория», «огражденная от иностранной конкуренции таможенными стенами», а сокрушение всяких «таможенных стен» и «открытые двери» повсюду. И этому экономическому положению как нельзя лучше отвечала германская политика за последние 40 лет: целью этой политики было отнюдь не расширение территории, а *заключение торговых договоров* (типом их является договор с Россией 1894 г., возобновленный в 1904 г.; из европейских стран у Германии нет договоров только с Португалией и Черногорией). Приписывавшиеся Германии французскими шовинистами планы территориальных захватов, раздела Франции и т. п. настолько резко противоречили экономическим интересам Германии, что о них никто уже теперь серьезно

---

[1] Статистическая разноголосица объясняется различными приемами таможенной статистики обоих государств. Русские таможенные учреждения считают ввоз и вывоз по германской границе или непосредственно из русских в германские порты и обратно. Но через германскую границу идут не только германские товары, а и многие ценные или скоропортящиеся товары негерманского происхождения: колониальные товары из Гамбурга, французские вина, южные фрукты и т. д., в то же время русская пшеница из южных портов попадает в Германию через Голландию: выгоднее оказывается обвезти хлеб кругом всей Европы, чем привезти его прямо по железной дороге в Германию! Немцы же определяют товары по их происхождению, а не по месту, из которого они привезены.

не говорит [1]. Наоборот, авторы, французский патриотизм которых не подлежит ни малейшему сомнению, вынуждены признать, что примерно до 1913 г. политика Германии носила мирный характер—и она не только не стремилась сама к захватам, но и мешала делать их своей гораздо более драчливой союзнице—Австро-Венгрии. Один из историков теперешней войны, в своей общей концепции твердо придерживающийся «ритуальной легенды»—о войне как результате заговора Германии и Австрии,—напомнив о кризисе 1908 г. (из-за аннексии Боснии и Герцеговины Австрией, когда последняя готовилась атаковать Сербию, а Россия—Австрию), замечает, что вмешательство Германии, энергическими представлениями в Петербурге помешавшей войне, отнюдь не было приятно австрийскому правительству и было предпринято без его ведома [2]. Инициативу мирной развязки в 1911 г., во время агадирского кризиса (столкновение Франции с Германией из-за Марокко), этот историк также вынужден признать за Германией, и то, что он объясняет этот факт не «умеренностью», а «благоразумием» Вильгельма II и Бетман-Гольвега, не меняет дела. Но всего поучительнее эпизод, относящийся уже к 1913 г., т. е. совсем «вчерашний». Летом этого года, когда Болгария, подстрекаемая Австрией, начала вторую балканскую войну—за Македонию против Сербии и Греции—и в дело вмешалась Румыния (подстрекаемая Россией), Австрия была совсем готова оказать царю Фердинанду вооруженную поддержку. Но, к великому негодованию венских придворно-военных кругов, из Берлина опять дали отбой [3]. В Вене не расстались с любимой мыслью, и в августе того же 1913 г. план новой атаки Сербии был готов, но теперь искали поддержки и утешения уже не в Берлине, а в Риме. Оттуда вежливо показали дорогу в тот же Берлин—и австрийская авантюра лопнула в третий раз [4].

Почему в четвертый раз, в июле 1914 г., ей дали ход и даже поощрили ее? На это нам отвечает один документ, чрезвычайно высокой ценности и по источнику, из которого он исходит, и по близости к фактам, о которых он трактует. Это—напечатанное на стр. 20—21 французской «Желтой книги» донесение французского посла в Берлине Камбона, передающее содержание разговора бельгийского короля с Вильгельмом II и его начальником штаба Мольтке. Камбон знал о разговоре «из источника, абсолютно достоверного»,—проще говоря, от самого короля Альберта. Впечатления, вынесенные из этого разговора королем, вполне совпадали с впечатлениями самого Камбона: «враждебность против нас увеличивается, *император перестал быть сторонником мира*».

[1] Доступная теперь интимная переписка Вильгельма и Николая, которая, надо надеяться, скоро увидит свет, не оставляет ни малейшего сомнения в том, что, начиная с 1900-х годов, у Германии—официальной, разумеется, был только один враг—Англия.

[2] *Aug. Gauvin*, Des origines de la guerre europ'enne, p. 10.

[3] Ibid, p. 14 et 37—39.

[4] См. разоблачения, сделанные в декабре прошлого года Джиолитти у *Gauvin*, p. 42—43.

«Собеседник императора Германии, как и все, думал до сих пор, что Вильгельм II, не один раз способствовавший в критические минуты поддержанию мира своим личным влиянием, сохраняет это настроение и теперь. На этот раз он нашел его совершенно изменившимся: император, в его глазах, теперь уже не защитник мира против воинственных поползновений некоторых партий Германии. Вильгельм II пришел к убеждению, что война с Францией неизбежна и должна вспыхнуть не сегодня-завтра».

Еще категоричнее высказывался в том же духе генерал Мольтке. Что именно вызвало такой резкий поворот в настроениях и намерениях германского правительства, из депеши прямо не видно. Несомненно, что в напечатанном тексте есть какой-то пробел: тотчас же после слов Мольтке о «непобедимом энтузиазме» германского народа этот текст заставляет короля Альберта говорить, ни к селу, ни к городу, о манифестациях каких-то «увлекающихся людей» (esprits exaltés) и даже «бессовестных интриганов», затемняющих истинные намерения французского правительства. Сохранив эти комплименты по адресу сотрудников «Patrie» и «Echo de Paris», редактор «Желтой книги» не счел возможным удержать имевшуюся, очевидно, в заявлениях собеседников бельгийского короля ссылку на только что проведенный тогда французским правительством закон о трехлетней военной службе,—закон, против которого так страстно и так тщетно боролся Жорес. У последнего народного трибуна Франции было, повидимому, смутное предчувствие, что, вотируя этот закон, французский парламент вотирует вторую франко-прусскую войну. Мирных буржуа можно было уверять, что закон 7 августа 1913 г. (депеша Камбона помечена 22 ноября) преследует исключительно цели национальной *обороны*,—от военных людей, какими были Вильгельм и его начальники штаба, не могло укрыться его настоящее значение. Для обороны важно было усовершенствовать военную технику—увеличивать в полтора раза число штыков нужно было для нападения, ибо успех этого последнего, при современной технике, зависит прежде всего другого от численного перевеса. У военных людей, повторяем, на этот счет не могло быть тени сомнения—и с осени 1913 г. «предупредительную» войну можно было считать решенной.

Почему Германия не начала этой войны немедленно—не использовала такого удобного для нее момента, как конец зимы 1913/14 г., когда помолодевшая на год французская армия (закон 7 августа, как известно, не только удлинил срок службы, но и понизил призывной возраст до 20 лет) почти поголовно лежала в кори и скарлатине? Ответ на это мы получим, по всей вероятности, когда будет опубликована секретная переписка английской дипломатии, а этого ждать придется, пожалуй, долго: секретная английская переписка по поводу польского восстания 1863 г. увидела свет только в 1913 г., ровно через пятьдесят лет. Пока можно лишь высказать предположение, что замедляющим фактором были переговоры, которые Англия до самого августа 1914 г. вела на оба фронта: и с Германией и с Россией. Существование таких переговоров, помимо

глухих намеков в печати, достаточно ясно и из документов английской «Синей книги». Разговоры, которые вел Бьюкенен в Петербурге (№ 4 «Синей книги»), а Гёшен в Берлине (№ 33), понятны лишь как заключительные звенья длинной цепи—с места в карьер таких разговоров не ведут не только дипломаты, но даже и лавочники. Совершенно очевидно, что уже раньше был большой «торг», употребляя выражение Гёшена—и Россия переторговала, кажется, только в самую последнюю минуту. По крайней мере—факт удивительный, но сомнению не подлежащий—всего за *два дня* до предъявления австрийского ультиматума Сербии Эдуард Грей опасался не нападения Германии на Россию и Францию, а наоборот—двух последних на Германию. 21 июля 1914 г. у Грея был известный румынский националист—любимец французской прессы—Таке Ионеску. Он приходил говорить по поводу Албании—со времени удачного опыта с болгарской Силистрией румыны стали интересоваться всем, что плохо лежит на Балканском полуострове. Так как Албанией в то же время интересовалась и Италия, что, конечно, румынам не нравилось и что они приписывали английским интригам, то Ионеску и намекнул Грею, довольно грубо, как нехорошо подкупать Италию Албанией, чтобы из «Тройственного союза» перевести ее в «Тройственное согласие». Грей, рассказывает Ионеску, «с величайшей искренностью в голосе» сказал: «Да я вовсе не стараюсь отделить Италию от Германии и Австрии и никогда не старался. *Я знаю, что франко-русско-итальнский союз был бы настолько силен, что равновесие было бы нарушено и могло бы явиться искушение воевать.* А я хочу мира». Как доказательство миролюбия Грея, эти слова и обошли всю союзническую прессу,—так, кажется, и не заметившую их пикантности...[1].

Едва ли нужно объяснять читателю, что на самом деле Грей боялся вовсе не нападения Франции и России на Германию, а гегемонии франко-русско-итальянского союза на Средиземном море, гегемонии, которая сделает совершенно безнадежными шансы Англии «отторговать» у России Константинополь. Есть все основания думать, что в центре переговоров с Россией стоял именно этот вопрос—как в центре переговоров с Германией стояли вопросы о французских колониях и о Бельгии. О последнем, впрочем, почти не приходится и догадываться—из напечатанных уже документов «Синей книги» это ясно почти до очевидности. Но и первое с достаточной ясностью сквозило хотя бы в тех крайне осторожных выражениях, которые употреблял Сазонов, говоря о константинопольском вопросе перед Государственной думой. И недаром на эти осторожные выражения поспешил сослаться тот же Грей перед палатой общин. Ему нужно было показать своим доверителям, что он Константинополя не продешевил... Мы увидим ниже, что для той общественной группы, которую представляют Эдуард Грей, Уин-

---

[1] Ионеску рассказал об этой беседе в «Grande Revue». Мы цитируем по «Temps» 16 марта 1915.

стон Черчилль и др., Константинополь и колонии должны были составлять центр всей картины. Но не будем забегать вперед. Подведем итоги тому, что нам пока удалось узнать. Эти итоги сводятся к тому, что в политике Германии, от которой, с точки зрения Гильфердинга, нужно было ожидать максимального развития «империализма», его очень мало заметно: Германия отнюдь не стремилась к максимальному расширению своей территории; она начала войну потому, что думала (правильно или нет, для нас в настоящий момент не интересно), что *на нее* хотят напасть. Остается поискать признаков империализма у «нападающих», и тут мы окажемся перед фактом, не менее изумительным. И в Англии, и во Франции, и в России за войну были не самые передовые, с точки зрения капиталистического развития, группы, а самые отсталые.

Относительно Франции в русской литературе и особенно среди русской читающей публики упорно живет предрассудок, представляющий эту страну безнадежно отсталой в промышленном отношении. Франция—страна-ростовщик, скажет вам всякий; она живет плодами чужого труда; ее сбережения оплодотворяют русскую, южноамериканскую, даже германскую—какую угодно промышленность, но только не французскую. После агадирского инцидента особенно в ходу было представлять себе *германскую* промышленность как зависящую, чуть не всецело, от французских капиталов, которых насчитывали там чуть не два с половиной миллиарда франков! Это очень придавало куражу французской печати, когда она обсуждала шансы возможного франко-германского столкновения. Прибавим в скобках, что хорошо осведомленные германские деятели определяли сумму гораздо скромнее—не более чем в 300 млн. франков [1]. Прибавим, что не верна не только цифра, а и метод рассуждения французских газет: вложенные в иностранные предприятия капиталы связывают страну, давшую их, а не страну, их получившую. Ниже мы увидим чрезвычайно яркий пример этого—на русско-французских отношениях. Пока не будем останавливаться на этом. Насколько верно представление о Франции как о своего рода финансовой кукушке, кладущей яйца в чужие гнезда? *В общем и целом* это представление *пока* еще не окончательно устарело; за 6 лет, с 1906 по 1911 г., парижская биржа выпускала, в среднем, ежегодно на 4 334 млн. фр. ценных бумаг; в их числе *иностранные* займы составляли 84%. *Но промышленная отсталость Франции с каждым годом уходит в прошлое.* Показателем промышленного развития страны служит ее *металлургия*. Если мы возьмем данные, иллюстрирующие положение французской металлургии, мы получим такую картину:

Производство чугуна во Франции

| Годы | 1880 | 1890 | 1900 | 1905 | 1907 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тысячи тонн | 1 725 | 1 962 | 2 714 | 3 077 | 3 590 | 4 032 |

[1] *Bourdon G.* L'Enigme Allemande, 303—слова Фюрстенберга, директора Berliner Handelsgesellschaft.

В 1890 г. ценность всего чугуна, выплавленного во Франции, равнялась только 137,6 млн. фр.—в 1907 г. эта ценность дошла до 313,2 млн. фр. Еще в 1900 г. по абсолютной цифре производства Франция стояла ниже России на 200 с лишком тысяч тонн (2 714 тыс. тонн и 2 934 тыс. тонн), а к 1907 г. Франция на 700 с лишком тысяч тонн обогнала Россию (3 590 тыс. тонн и 2 811 тыс. тонн). Из приведенной таблички видно, когда можно было, с полным правом, говорить о застое: то были 80-е и отчасти 90-е годы—весна франко-русского союза. Перелом отмечает 1896 год, когда производство повысилось сразу с 2 004 тыс. тонн до 2 340 тыс.—и с тех пор повышалось почти непрерывно, тогда как за предшествующие 15 лет оно держалось на одном уровне (1882 г.—2 039 тыс. тонн, 1892 г.—2 057 и т. д.). Уже почти двадцать лет, как термин «промышленно отсталой» страны почти не приложим к Франции. Конечно ей далеко до Англии или Германии, тем более до Соединенных штатов. Но она не стоит на месте, она прогрессирует, и довольно быстро—это главное.

Рост французской промышленности нашел себе отражение в целом ряде социальных фактов. Во внутренней политике важнейшим из них было увеличение интенсивности рабочего движения и усиление социалистической партии. Во внешней главнейшим последствием было, несомненно начинавшееся перед войной, *сближение с Германией*. «Молодая» французская промышленность не могла обойтись без последней. Ей, прежде всего, нехватало *угля*, и ввоз последнего из-за границы рос прямо пропорционально выплавке французского чугуна. В 1907 г. Франция ввезла из Германии угля на 70,1 млн. фр., в 1912 г.—уже на 136,5 млн., что составляло 30% всего французского ввоза. Затем, на первых порах, индустриальная Франция не могла обойтись и без германских *машин*: момент, когда французское машиностроительство могло бы конкурировать с германским, еще не наступил (а времена, когда французы шли впереди всех народов континента на этом поле, 40—50-е годы, были давно забыты!). Ввоз германских машин во Францию рос необычайно интенсивно: с 53,7 млн. фр. в 1906 г. он поднялся до 74,5 млн. фр. в 1907 г. и до 132 млн. фр. в 1912 г. Рядом с этими экономическими причинами, располагавшими французскую «тяжелую индустрию» к миру с Германией, не нужно забывать и *географической*: 82% всей железной руды Франция получает из округов Бриэ и Лонгви, во французской Лотарингии, на самой германской границе. В нынешнюю войну эти округа были заняты немцами с первых же дней—задолго до битвы при Шарлеруа и марша к Парижу Германия уже начала свои завоевания! Сейчас округ Бриэ превосходно организован немцами (построившими там, между прочим, железнодорожный тоннель, которого население 20 лет тщетно ждало от французского правительства) и питает германскую металлургию. Вопрос о его судьбе при заключении мира, несомненно, будет одним из самых пикантных пунктов. Судьбу же его во время войны было нетрудно предвидеть—это, повторяем, помимо всего проче-

го, должно было настраивать миролюбиво французских металлургов.

Это миролюбивое настроение крупной французской промышленности нашло себе выражение в деятельности франко-германского торгового комитета, в поездках и анкетах в Германии французских политических деятелей и журналистов и, как памятниках этих поездок, в таких книжках, как «Пути мира» Ажана или «Германская загадка» Жоржа Бурдона [1]. Оба автора вынесли впечатление, что не только германская буржуазия,—притом не только промышленная, но и финансовая,—а и германские официальные круги также настроены как нельзя быть более миролюбиво. Шумной агитации пангерманцев никто не придавал серьезного значения—как старались не придавать значения шовинистическому кликушеству французской желтой и черной прессы. Но последняя все-таки дразнила и беспокоила; Ж. Бурдон признается, что ему однажды пришлось покраснеть, когда его собеседник показал ему только что вышедшую в Париже брошюру, с проектом, ни более, ни менее, как раздела Германии. И вообще, ведя мирные речи, германские общественные и промышленные деятели не скрывали от своих гостей, что война, при существовании такого натравливания, все же возможна; что общество не может не нести ответственности за свои газеты—раз дело идет не о ничтожных листках, которых никто не читает, а о «большой прессе» с миллионным тиражем. А в одном случае, прибавляли они, война даже и неизбежна: это, если Россия нападет на Австрию, «Австрию мы выдать России не можем и будем воевать, чего бы нам это не стоило—хотя бы мир на нас обрушился», как энергично выразился один из собеседников Ажана.

В национальной плоскости вопрос о «виновниках» переносится, таким образом, с западного фронта на восточный. Но мы хотели бы остаться в плоскости социальной. Были ли у *русской* промышленной буржуазии какие-нибудь основания желать войны? Тут, прежде всего, приходится вспомнить, что годы, непосредственно предшествующие войне, были годами чрезвычайно быстрого подъема русской металлургии. Вот данные по выплавке чугуна за последнее пятилетие перед войной:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 |
| Миллионы пудов | 175 | 186 | 219 | 256 | 293 |

Как видим, «немецкое засилье» нисколько не стесняло роста русской тяжелой индустрии. Представлять себе войну как единственное средство избавления от конкурента она не имела никакого основания. Оттого ее представители и обнаружили так мало «патриотизма», когда война началась—и глава московского общества фабрикантов и заводчиков, металлург Гужон (француз по происхождению), удостоился даже от «Русского слова» титула «пре-

[1] *Ajam*, Les chemins de la paix, Le problème économique franco-allemand. Paris 1914. *G. Bourdon*, L'Enigme allemande, Paris 1913.

дателя» за неуклонное отстаивание интересов германского Электрического общества 1886 г. [1].

Есть, однако, группа русских промышленников, положение которой несколько иное: это группа *текстильная*. Об ее интересах в связи с возможной войной говорилось на страницах русских марксистских журналов [2]. Не повторяя того, что там было сказано, мы должны лишь прибавить, что тяготение русского ситца к заграничному рынку как раз перед войной должно было усилиться. Ибо в то время как русская металлургия переживала расцвет, в русской текстильной индустрии можно было наблюдать нечто вроде застоя:

| Годы | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 |
|---|---|---|---|---|---|
| Число веретен (в тыс.) | 8 065 | 8 308 | 8 600 | 8 800 | 8 950 |

За пять лет девятый миллион веретен так и не был пройден до конца, тогда как за предшествующие 8 лет, с 1900 г., число веретен увеличилось на полтора миллиона, с 6½ до 8. И русским мануфактуристам, прежде всего, был важен, конечно, внутренний рынок: в этой, главным образом, связи приходится рассматривать временный паралич винной монополии. Те, кто приписывает его чудодейственному влиянию войны, забывают, что еще до войны Коковцев слетел со своего места, главным образом, из-за того, что его бюджеты держались на водке. Отрезвевшая деревня, по общему убеждению (особенно ценны здесь показания представителей кооперативов, опубликованные «Русским словом»), сделалась гораздо более надежной потребительницей мануфактуры, чем была пьяная.

«От мануфактурщиков теперь брызжет удовольствием,—говорит одно известие с родины (Ньюйоркском «Новом мире», 11 марта 1915 г.).— Такие дела сейчас! Процентов 35—40 кладет чистеньких: вот как мануфактура нынче играет».

Но, во-первых, и повальное отрезвление без войны провести было бы трудно; а затем экономическое завоевание русской мануфактурой северной Персии, естественно, соблазняло на дальнейшие шаги в тех же направлениях: ежели перс рядится в русские ситцы,

[1] Это, конечно, противоречит распространенному у нас мнению, будто металлургия—чуть не главная виновница войны, будто весь угар Европы вышел из труб чугуноплавильных заводов. Объяснение подкупает своей простотой: металлургия изготовляет пушки и броню, на войне стреляют из пушек, действуют броненосцы—кому же, как не металлургам, это может быть выгодно? Не входя в обсуждение этого вопроса во всей его широте (напомнив только, что 40 лет европейского мира были как раз временем пышного расцвета металлургии), для России мы должны указать, что военные заказы у нас в руках немногих привилегированных заводов, находящихся в иностранных руках: «дяди Викерса», «работающего», по крайней мере отчасти, на романовские капиталы, Шнейдера-Крезо и т. п. Простые смертные, вроде Гужона, больше нажили бы на кровельном железе, чем на броне, на рельсах,—чем на пушках. Им в данной стадии развития расширение внутреннего рынка важнее завоевания десяти внешних—и они слишком хорошо помнят, как обострили железный кризис начала века японская война и революция.

[2] См. выше статью «Русский империализм в прошлом и настоящем». Статья была напечатана в журнале «Просвещение» № 1 за 1914 г.—*Прим. ред.*

отчего же турку не делать того же самого? Как бы то ни было, но центром буржуазно-патриотического движения несомненно является Москва—центр русской текстильной промышленности в то же время. Причем исчезновение с русского рынка лодзинских товаров—при войне с Германией разгром Лодзи так же нетрудно было предвидеть, как и оккупацию немцами Бриэ—еще больше поднимает, конечно, патриотическую температуру. Кабы подольше такая благодать! Мудрено ли, что московское купечество подает адреса с требованием вести войну «до конца», т. е. возможно дольше?

Но если этому купечеству удобно греть руки на всемирном пожаре, то обвинять в поджоге московско-владимирских ситцевых фабрикантов было еще менее осторожно, чем бросать такое обвинение «тяжелой индустрии». Социальный удельный вес всей этой группы в России не так велик, чтобы она одна, своею только тяжестью, могла определять русскую внешнюю политику. В цитированной статье «Просвещения» было уже указано, какие *политические* мотивы побуждали дворянское правительство итти навстречу мануфактурной буржуазии. О классовых интересах дворянства во внешней политике не приходилось упоминать в этой статье, очевидно, потому, что она была написана по поводу русских выступлений на Ближнем и Среднем Востоке. Тогда казалось, что эти выступления, скорее всего, могут оказаться поводом для русско-германского конфликта. История решила иначе—и она дала больше, чем ожидали от нее историки. Уже чрезвычайные военные законы, экстренно проведенные Сухомлиновым весною 1914 г.,—законы, позволяющие довести *мирные* штаты русской армии в 1917 г. до 2 400 тыс. человек, показывали, что дело идет не *о возможном* столкновении с Германией по поводу Турции, а *о неизбежной* в более или менее близком будущем войне, независимо от всяких посторонних поводов. Атака велась прямая, «в лоб», что называется,—ее объект обрисовался с не оставляющей никаких сомнений рельефностью, когда через Государственную думу прошел *закон о пошлинах на германскую рожь*. На столе была опять та ставка, с которой началась русско-германская игра тридцать лет назад, на другой день после образования «Тройственного союза» и накануне франко-русского. А от этой ставки с самого начала пахло порохом.

«Война с немцами» могла явиться неожиданностью для того поколения, политические воспоминания которого не идут вглубь дальше конца 90-х годов прошлого столетия. Но наша юность вся прошла под знаком надвигающейся войны с Германией. Кто только ее тогда не предсказывал — от знахарей и ворожей, вычитавших «войну трех императоров» в книге пророка Даниила (причем один из этих императоров должен был непременно взять Константинополь!), до знаменитого генерала Скобелева, который не только держал воинственные речи в Париже перед сербскими студентами, но и самым деловым образом тренировал солдат своего корпуса «на немца», предварительно прекрасно изучив германскую армию. И когда он внезапно умер, в московской толпе ходили слухи, что

Скобелева «отравили немцы». В дипломатических историях той эпохи вы прочтете, что причиной конфликта, тянувшегося до 1894 г., была «измена» Бисмарка русским интересам на берлинском конгрессе и заключенный им в 1879 г. союз с враждебной России Австрией (зародыш будущего «Тройственного союза»: он стал так называться с присоединением к нему Италии в 1882 г.). Но это было лишь поверхностное отражение экономического спора—*конкуренции русского и прусского помещиков.* В конце 70-х годов цены на всемирном хлебном рынке стали резко падать; если мы возьмем хлебные цены пятилетия 1871—1875 гг. за 100, то цены пятилетия 1881—1895 гг. будут 80 (для пшеницы) и 89 (для ржи); а пятилетие 1891—1895 гг.—70 для пшеницы и 82 для ржи. Потеряв от 20 до 30% своей земельной ренты, прусский юнкер застонал, а так как то была пора глухой реакции в Германии (как раз на то же время падает исключительный закон против социалистов), то интересы юнкеров сейчас же нашли себе «ограждение»: в 1880 г. были введены ввозные пошлины на хлеб сначала в 10 марок с тонны, в 1885 г. увеличенные до 30 и в 1887 г. до 50 марок с тонны. Последняя была почти запретительной—и теперь застонал уже русский помещик. Если уже американская конкуренция по части пшеницы стесняла его довольно сильно,—благодаря широкому применению машины американская ферма могла получить продукты дешевле, чем русское имение с его полукрепостными порядками, стеснявшими применение машин,—то пошлины на рожь загоняли его совсем в тупик. Пшеница—хлеб мировой, цены на него делает исключительно всемирный рынок, и пошлины тут имеют второстепенное значение. Рожь же Россия вывозила почти только в Германию, и пошлина в 30% продажной цены настолько «ограждала» прусского юнкера, что его русскому сопернику, если он хотел сбыть свой хлеб в Германию, ничего не оставалось, как уплатить хотя часть пошлины из своего кармана. А цены и без того все падали и падали... Настроение российского дворянства при таких условиях нетрудно понять. Когда генерал Скобелев вопиял, что он не согласится, чтобы Россия стала «Липпе-Детмольдом», «отдала на поругание всю славу исторического прошлого» и т. д., он правильно выражал чувства своих односословников. Характерно, что гарантию от такой злой участи он—уже тогда—видел в союзе с Англией. Стремление Германии в свою очередь найти союзников в Австрии и Италии было естественным в ее положении ответом на такие чувства российского помещика. Но то, что вызвало бурю—хлебные цены,—в конце концов ее и утишило: цены дошли до такого уровня, что аграрный капитализм в России стал почти невозможен—капитал, при существующем в России уровне прибыли, не шел в сельское хозяйство. Помещику ничего не оставалось, как просто потребовать казенного пайка, что и осуществил дворянский банк. С его основанием шовинистическая шумиха понемногу падает, и дело кончается в 1894 г. русско-германским торговым договором, по которому хлебные пошлины были, однако, все-таки понижены (с 50 до 35 марок за тонну).

Экономической комбинацией, на почве которой разыгрался первый русско-германский конфликт, было, таким образом, совпадение упадка хлебных цен с германской конкуренцией на хлебном рынке, причем внешним выражением этой конкуренции являлись хлебные пошлины, «ограждавшие» прусского производителя от его восточного соперника. С тех пор картина хлебного рынка успела резко измениться. Если мы примем хлебные цены пятилетия 1893—1897 гг. за 100, мы получим для пятилетия 1898—1904 гг. 128, а для восьмилетия 1905—1912 гг. даже 165. По расчету автора, у которого мы заимствуем эти цифры, это означало увеличение доходности русского сельского хозяйства на 400 с лишком миллионов рублей (850 млн. герм. марок) в год [1]. Капиталистическое сельское хозяйство в России опять стало возможно, яркой иллюстрацией чего является рост ввоза *сельскохозяйственных машин* в Россию: с 23 млн. руб. в 1909 г. до 120 млн. руб. в 1912 г.—увеличение на 400%! Притом особенно быстро растет ввоз «сложных» машин, т. е. машин с паровым, керосиновым и т. п. двигателем: с 7,4 млн. руб. в 1907 г. до 14,2 млн. руб. в 1910 г. и 26,6 млн. руб. в 1912 г. Как справедливо указывает цитируемый автор, это свидетельствует о прогрессе именно *крупного*, капиталистического землевладения, так как крестьянские хозяйства, даже зажиточные, все чаще и чаще применяя машины вообще и окончательно забросив дедовскую соху для плуга, все же не в состоянии приобретать паровых плугов и молотилок. От подъема хлебных цен выиграл, в известной мере, и хозяйственный мужичок, но гораздо больше выиграл помещик. Социальное преобладание дворянства в эпоху столыпинщины точно соответствовало укреплению его экономической позиции.

Но позиции «юнкера» стали сильнее одинаково по обе стороны Вержболова, и если русский юнкер получил возможность вновь начать борьбу на всемирном хлебном рынке, прусский, по-прежнему забронированный своими пошлинами, получил возможность повести борьбу наступательную. Ввоз русской ржи в Германию продолжал падать: с 828 тыс. тонн в 1900—1904 гг. до 555 тыс. тонн в 1905—1908 гг., и до 268 тыс. тонн в 1912 г. Зато в этом году в Россию было ввезено 114 тыс. тонн прусской ржи—факт беспримерный в XIX столетии. Это уже само по себе не легко перенести, даже на фоне «крепких» хлебных цен: можно себе представить, что произошло в душе русского помещика, когда *цены снова стали падать*. Пшеница, стоившая в трехлетие 1907—1909 гг. в среднем 118 коп. за пуд, понизилась в трехлетие 1911—1913 гг. до 110; рожь с 99 коп. в первом случае упала до 85 во втором. *Ситуация начала 80-х годов повторялась буквально*. Нехватало только генерала Скобелева—его место должен был занять штатский человек, хотя и с созвучной фамилией, профессор Соболев, на страницах «Русских ведомостей» (а не «Нового времени»!) открывший военные дей-

[1] *Jury Larin*, Die Entwicklung d. russischen Landwirtschaft, «Neue Zeit» 4, XII, 1914.

ствия против прусского юнкера. Можно удивиться, что этот замечательный человек так мало популярен во время войны. Современники явно несправедливы к нему, но история не должна забыть, что проект хлебных контрпошлин на германский хлеб принадлежит именно ему. И он сопровождал эту основную меру дополнительными, без которых она не могла дать полного эффекта: он предлагал обложить вывозной пошлиной корм для скота, который получается Германией из России, и прекратить «отпуск» в Германию русских рабочих рук. Пролетарий должен продавать свои мускулы национальной экономии и есть дома «национальный» хлеб, получая его по более дорогой цене: разве это не полная программа российского неонационализма? Но нужно сказать, в начинавшемся кризисе Скобелев был бы, пожалуй, полезнее его почти тезки. Кроме пошлин, из соболевского плана ничего не удалось осуществить—и на другой же день после этого приступа к делу началось массовое передвижение германских «рабочих рук» на российскую территорию.

Из всех этих фактов вытекает несколько заключений, быть может, несколько неожиданных с «общепринятой» точки зрения. Во-первых, выясняется, что дворянское правительство, поддерживая русский промышленный (главным образом, текстильный) капитализм в его борьбе за средне- и ближневосточные рынки, руководилось не только политическими соображениями—желанием удержать на своей стороне крупнобуржуазные круги, сохранить тот аграрно-буржуазный блок, на котором держалась столыпинщина и который стал заметно трещать после краха во внутренней экономической политике. Классовые дворянские интересы толкали в ту же сторону, и не только политически, в смысле конфликта с Германией, *но и географически*, толкали к Царьграду и Дарданеллам. Читатель, конечно, подумал, что мы имеем в виду необходимость обладания проливами для развития русского аграрного капитализма, «дверь от своего дома» и т. д. и т. д.? Не совсем так. Люди, толкующие о «двери от своего дома», слегка позабыли, что эта дверь давно без замка: свободное плавание русских *коммерческих* судов через Босфор и Дарданеллы впервые было установлено еще Кучук-кайнарджийским трактатом 1774 г. и окончательно, раз навсегда закреплено Адрианопольским 1829 г. С тех пор турки закрывали проливы только в случае войны, как это имело место и в 1912—1913 гг. Чтобы обойти и эту неприятную случайность, давно предлагались разные меры, отнюдь не требовавшие для своего осуществления не только всемирной, но даже вообще какой бы то ни было войны: не нужно забывать, что в вопросе заинтересована не одна Россия, а кроме нее, и даже больше нее, целый ряд держав—на первом месте Англия, Австро-Венгрия и Италия. Проект—уподобить пролив, с точки зрения международного права, Суэцкому каналу, всегда открытому для мирного плавания, был выдвинут еще в XIX в. Вопрос мог быть разрешен мирно соглашением этих держав между собою и с Турцией, которая их совместному давлению не могла бы противиться, да и не стала бы, если бы ей были предоставлены из-

вестные гарантии, обеспечивающие безопасность Константинополя. Не забудем, что и Суэцкий канал до 1914 г. лежал обоими своими берегами на территории, юридически турецкой—как раз, значит, турки же и дали прецедент для такого положения. Но о таком разрешении вопроса русская дипломатия хлопотала чрезвычайно мало: слабость ее интереса к этому проекту хорошо иллюстрируется известной книгой Горяинова («Босфор и Дарданеллы»), вышедшей из *русского* министерства иностранных дел; там вопросу о проходе *коммерческих* судов через проливы посвящены первые 5 страниц, а остальные заняты вопросом о свободном проходе *военных* судов, т. е. об открытии для русского черноморского флота Средиземного моря. Для русского правительства вопросом была не свобода плавания через проливы (она же фактически нарушалась слишком редко), а *обладание* проливами, ибо совершенно ясно, что для *военных* судов свобода плавать через проливы, берега которых уставлены неприятельскими батареями, есть свобода весьма относительная. Для этой свободы нужно, чтобы и берега были под тем же флагом, под которым плавают корабли. Завоевание берегов Босфора и Дарданелл, включая Царьград, составляло, мы знаем, интегральную часть программы русского промышленного империализма на Ближнем Востоке. Но оно отвечало и классовым интересам русского помещика не в меньшей мере. Не считая прусского юнкера, у юнкера русского конкурентами на хлебном рынке в Восточной Европе являются *придунайские страны:* Венгрия, Румыния и Болгария, отчасти Сербия. Отсюда еще при Николае I поставленный вопрос о переходе к России *устьев Дуная*—вопрос, сыгравший известную роль в возникновении крымской войны, которая началась с занятия русскими «княжеств», т. е. теперешней Румынии. Но уже тогда этот вопрос был на втором плане,—ибо имелось в виду опять-таки завладение *проливами*, что гораздо радикальнее разрешало задачу. Потеряв, по Парижскому миру 1856 г., устья Дуная, Россия к этой узкой постановке вопроса более и не возвращалась: держа в руках Босфор и Дарданеллы, ничего не стоит зажать в кулак не только Румынию или Болгарию (Сербия уже сидит в нем—и по иным причинам), а и Венгрию, в любой момент отрезав дешевый водный путь их пшенице на Запад. Наполеон I говорил, что Константинополь—это господство над миром; тут, конечно, есть страшное преувеличение, хотя нужно припомнить, что во времена Наполеона I мир был не так велик, как теперь,—ни Дальнего Востока, ни Австралии, ни даже Южной Америки тогда, практически, не существовало. Но если мы скажем, что Константинополь—это господство над юго-восточной Европой, от Адриатического моря до р. Прута и от Эгейского моря до Карпат, мы будем в пределах строгой историко-географической истины. И это будет господство, прежде всего, именно русского помещика—русский мануфактурист придет туда лишь вслед за ним.

Это—главный, но не единственный вывод, который приходится сделать. Другой вывод—несостоятельность той легенды, которая изображает прусского юнкера и русского помещика как неразрывных

друзей, сообща умышляющих против свободы русского народа. Из аналогии социальных интересов обоих классов, каждого у себя дома, заключили к тождеству их интересов в международных отношениях, забывая, что ведь, например, и интересы английской и германской буржуазии, каждой у себя дома, тоже одинаковы, но и о закадычной их дружбе и о совместной их борьбе против германского и английского социализма что-то не слыхать. Дополнив эту поверхностную аналогию еще более поверхностными наблюдениями над ролью людей немецкого происхождения (а иногда только с немецкими именами) в российской реакции и кое-какими анекдотами из времен раннего детства русского либерализма (вроде того, что Бисмарк «отсоветовал» Александру III «дать конституцию»), состряпали нечто, именуемое «реакционным влиянием Германии на Россию» и помогающее российским социал-патриотам укрывать свою наготу. На самом деле русская реакция есть всецело продукт местных социально-экономических условий и если получала более или менее осязательную поддержку со стороны, то отнюдь не со стороны Германии, а со стороны государств, ныне выступивших на защиту «свободы и цивилизации». По части же уменья «делать реакцию», можно быть уверенным, прусский юнкер, облизываясь, смотрел на своего русского собрата, а не наоборот. Что такое был исключительный закон против социалистов сравнительно со столыпинщиной? Почти приятный легкий ветерок сравнительно с ураганом! [1]

Но, скажут нам, что вы все о реакции да о реакции? Ведь заинтересованный в «крепких» хлебных ценах помещик есть представитель *капиталистического* сельского хозяйства. Именно люди его типа в 1861 г. «освободили» крестьян. Торжество этого типа теперь должно повести к торжеству буржуазных отношений в русской деревне— к прогрессу, а не к реакции. Так, кажется, склонен смотреть на дело, например, автор цитированной нами статьи о развитии русского сельского хозяйства (в «Neue Zeit»). Для ответа на этот вопрос совершенно недостаточно указать на тот факт, что и прусский помещик является представителем капиталистического сельского хозяйства и притом стал таковым гораздо раньше русского. Но германские социал-демократы что-то не очень довольны прусским «прогрессом». Да не только прусские—и наши остзейские бароны давным-давно стали на дорогу сельскохозяйственного капитализма, с конца XVIII в. служа в этом примером и образцом русскому дворянству. Насчет же их социальной и политической прогрессивности можно навести справки

[1] Переписка Николая Романова с бывшим германским императором Вильгельмом как нельзя более подкрепляет эту характеристику русско-германских отношений. Из них совершенно ясно вытекает, что поддержку русской реакции— поддержку, которой больше хвастались, чем на деле ее практиковали,—Вильгельм оказывал вовсе не по внутреннеполитическим мотивам, как ни было глубоко и искренно его черносотенство, а исключительно по соображениям внешней политики. Как в Париже покупали благорасположение Александра III травлей русских «нигилистов», так в Берлине домогались симпатий его сына инсценировкой кенигсбергского процесса и т. п. А целью было, во втором случае, оторвать Россию от Англии.

у латышских товарищей. Самое большее, чего можно ожидать от русского капиталистического землевладения, это отказа от попыток восстановить крепостное право, имевших место в 80-х годах. Но для русской *демократии* русский помещик всегда останется таким же непримиримым врагом, каким был его отдаленный прототип, «рыцарь» конца средневековья, для свободной городской коммуны.

Средневековый рыцарь имел постоянного спутника, без которого невозможно себе представить его походов, «крестовых» и простых. Этим спутником был ростовщик. Не всегда еврей, он, однако, не был обязательно и христианином, а иногда был даже еретик; но самые благочестивые предприятия, вроде обращения к истинной вере в XIII в. южной Франции, где жители осмеливались верить не так, как предписывали папа и «христианнейший» французский король, не обходились без его участия. Русский рыцарь в своем крестовом походе против германских хлебных пошлин не мог обойтись без этого вечного спутника, хотя спутник был и иной веры: царская Россия не могла обойтись без республиканской Франции. Мы видели, как относилась к вопросу о войне с Германией французская промышленная буржуазия, но мы видели также, что ее голос, выражая дело арифметически, весил менее $^1/_5$ всего веса французского капитализма, $^4/_5$ веса и влияния принадлежали парижской биржевой олигархии. Мы употребляем термин «парижской», а не «французской», местный, а не национальный, потому, что парижская биржа, хотя и управляет Францией, есть в сущности учреждение интернациональное. Перед самой войной одною из виднейших фигур на ней был некий Розенберг—не только не француз по происхождению, но даже австрийский подданный. А представителем этой биржи при закладке русско-французского союза, в 80-х годах, было лицо датского происхождения—недавно умерший банкир Госкье, «вниманию» которого, как говорила одна газета в его некрологе, «Александр III рекомендовал своих детей». В лице Госкье парижская биржа стала, таким образом, своего рода опекуном Николая II: могла ли она выдать вверенного ее попечению сироту русским «нигилистам»? События 1906 г., когда республиканская и домократическая Франция помогла дворянской реакции задушить русскую демократию, могли показаться странными только людям, не посвященным в эту интимную сторону дела. Недавно кстати вспомнили, что тем лицом, которое дало окончательное благословение на участие «еретиков» в крестовом походе, был не кто другой, как теперешний президент французской республики, г. Пуанкаре. От него, тогда министра финансов, зависело допустить или не допустить русский заем на парижский рынок без санкции Государственной думы. Были, даже среди французских политических деятелей, люди, которым казалось зазорным в разгаре русской революции прямо объявить себя на стороне деспотизма, которым хотелось выдержать фикцию союза с русским народом, а не с русским правительством. Но г. Пуанкаре показал себя человеком положительным и чуждым всяких фикций: «сироте» был оказан личный кредит безо всяких ограничений, и ему только дружески посоветовали,

дабы окончательно зажать рот людям неблагонамеренным, все-таки созвать Думу, хотя согласия ее на заем и не требуется. В «Петрограде» поняли, что без некоторых аппарансов и г. Пуанкаре обойтись не может—и комедия первой Думы была проделана. К счастью, Дума оказалась довольно ручной, и по поводу займа даже не мяукнула (а кадеты усвоили и распространяли даже теорию о совершенной конституционности этого займа). Но события совсем недавние, 1912—1913 гг., показали, что в случае надобности, французская дипломатия и парижская биржа сумели бы, ради благого дела, перешагнуть и через формальный протест российского «народного представительства». Когда консорциум шести держав согласился весною 1913 г. дать взаймы 625 млн. фр. китайскому Столыпину, Юаншикаю, обе палаты китайского парламента, подавляющим большинством, выразили протест против этого займа, торжественно объявив, что китайский народ никогда не будет считать себя связанным этим обязательством. После этого Соединенные штаты ушли из консорциума, заявив, что на таких условиях американские деньги не даются. Германия и Япония были членами консорциума лишь формально, причем первая «частным образом» поддерживала Юаншикая, вторая, не менее «частным образом»,—китайских республиканцев. На сцене оставались, по существу, теперешние защитники «свободы и цивилизации»—Англия, Франция и Россия. Точка зрения защитников свободы нашла себе выражение в официальном документе, подписанном Пишоном, тогда министром иностранных дел французской республики, где говорилось, что французское правительство совершенно согласно с китайским правительством, т. е. с Юаншикаем, относительно значения этого займа [1]. Китайский Столыпин получил деньги в полное свое распоряжение и как свидетельствует находившийся на его службе германский офицер, только благодаря этим деньгам смог подавить китайскую революцию [2].

Цитированный нами французский автор не оставляет никаких сомнений относительно мотивов, руководивших кабинетом, к которому принадлежал г. Пишон. Он прямо указывает, что французская дипломатия и парижские банки были в этом темном деле орудием России, опасавшейся, во-первых, что утверждение республиканского строя в Китае может дурно повлиять на Сибирь, и без того плохо зарекомендовавшую себя в 1905 г., а во-вторых, что республиканский Китай не отдаст России Монголию и вообще не будет столь легким объектом грабежа, как Китай императорский. Последнее и оправдалось—против аннексии Монголии китайский парламент протестовал столь же решительно, как и против займа, что и было ближайшим поводом к окончательному разгону парламента [3]. Инициатива, как и в средние века, принадлежала «рыцарю»... И эта аттитюда осталась типической. Просматривая «Желтую книгу», вы тщетно будете искать

[1] Полностью этот знаменитый документ см. *Farjenel*, A travers la rèvolution chinoise, p. 346.
[2] *Erich v. Solzmann*, Das revolutionäre China.
[3] *Farjenel*, ibid., p. 297 и сл., ср. p. 354—356.

каких-нибудь следов того, что, мобилизуя свою армию в конце июля 1914 г., русское правительство посоветовалось с «дружественной и союзной» республикой [1]. Между тем, мобилизация означала войну—это было ясно само собой, это сделалось яснее дня после немедленно же последовавших заявлений германского правительства. Едва ли на всем протяжении новейшей европейской истории мы найдем что-либо подобное—аналогией могло бы служить разве отношение Австрии и Пруссии к Наполеону I в 1812 г. Но ни Австрия, ни Пруссия тех дней по крайней мере не называли себя демократиями... На этом примере мы с чрезвычайной яркостью видим, кто кого держит в руках, кредитор должника или должник кредитора. Пятнадцать миллиардов французских денег, помещенных в предприятие, именуемое русским царизмом, обязывали—но не царизм—считаться с мнением французского народа, а этот последний—беспрекословно подчиняться интересам царизма.

Французы, вопреки их исторической репутации, народ «очень кроткий», по справедливому определению одного прусского тюремщика, стерегущего французских пленных[2]. Без всякого преувеличения, нет народа, которым было бы легче управлять и который меньшего требовал бы от своего правительства, чем современные французы. Мы, русские, в этом отношении сравнительно с ними образец требовательности и дерзости. Неверная сама по себе теория Токвиля, утверждавшая, что, чем демократизованнее общество, тем сильнее центральная власть, очень верно схватила основную черту мелкобуржуазной французской демократии. Но, тем не менее, было бы неосторожно только одной, столетием полицейского гнета воспитанной, «кротости» французского мелкого буржуа приписывать ту покорность, с которой он пошел на повторение всех ужасов «страшного года» из-за совершенно ему чуждых интересов парижских банков и русского дворянина. Если в пролетарских и крестьянских кругах война была «принята» как неизбежное бедствие—пишущий эти строки сам живет в маленьком крестьянско-пролетарском центре и может говорить здесь по личным наблюдениям,—то среди *городской* мелкой буржуазии, особенно среди мелкой буржуазии Парижа, по общим отзывам, война была популярна. Иначе парижская биржевая пресса, которая два года выла «к войне», как собака воет к покойнику, быстро потеряла бы свой миллионный тираж, а газеты, ведшие пацифистскую линию (как тогдашнее «L'Humanité»), приобрели бы его, а этого не случилось. Неточно, правда, выразиться, что была популярна *война:* правильнее сказать, что был крайне непопулярен *немец.* И это отчасти устраняет то объяснение руссофильского шовинизма мелкой буржуазии, которое, вероятно, уже при-

---

[1] В более поздней статье «К вопросу о виновниках войны» (см. в наст. сборнике) М. Н. Покровский на основании архивных материалов устанавливает ошибочность этого утверждения и показывает, что все операции проводились царским правительством в полной согласованности с Францией.—*Прим. ред.*

[2] См. «Parmi les prisonniers de guerre» Ибанеца де Риберо в «Echo de Paris» от 3 апреля 1915 г.

шло в голову читателю: объяснение от распространенности в этом именно кругу русской ренты. Держатель русской ренты мог не желать русского разгрома,—это так; но что же могло побудить его желать разгрома Германии? Почему ключевой нотой газетной травли было не «защищать Россию» (на нее пока что никто ведь и не нападал), а «воевать с немцами»? С другой стороны, как ни просты держатели русской ренты, не могли же они не понять, что европейская война резко обесценит всякую ренту вообще, в том числе и русскую. Можно было не предвидеть «финансового Седана» 24 июля 1914 г., но вообще страшный переполох на бирже в связи с войной предвидел всякий. Нет, шовинизм не рантьерское настроение. Подкладка была, несомненно, другая—ее освещают кое-какие цифры французского ввоза и вывоза за последнее десятилетие. Более или менее широко известно, что знаменитые articles de Paris (игрушки, мелкие изделия из мишуры и т. п.) в значительной части производятся теперь в Германии, как и дешевые сорта шампанского. Но едва ли так же хорошо знаком всем тот факт, что articles de Paris являются предметом обширного *ввоза* в самую Францию, притом ввоза, растущего в гигантских размерах. Еще в 1903 г. этот ввоз достигал только $7^1/_2$ млн. фр., а в 1912 г. уже 85 млн. фр.! Германские фабрики засыпали парижского ремесленника его же товаром, притом более дешевым и лучше сделанным. В нашем детстве, бывало, какую радость доставляла «игрушка из Парижа», всегда занятная, всегда изящная. Теперь парижские дети не знают других игрушек, кроме немецких—и по случаю Noël (Рождества) 1914 г. пришлось отступить от строгого обета не торговать ничем немецким: иначе французским отцам нечего было бы подарить детям к празднику. Жорес, быть может, и сам не подозревал, какой глубокой экономической истиной был его афоризм, гласивший, что французское немцеедство есть «ненависть мелкого лавочника к большому магазину». Великого оратора не успели еще похоронить, как афоризм его стал историей—и парижская толпа, по науськиванию мелких молочников громившая капиталистические молочные Маджи, в одном образе воплотила то, что было «народного» в этой антинародной войне.

Как видим, политика Пуанкаре и К° имеет пока что—пока не исчезли надежды на победу—прочный фундамент в очень широком слое французской, а в особенности парижской народной массы. Очень важно, что именно *парижской:* вопреки распространенному предрассудку, Париж, с тех пор как он стал мировым биржевым центром, более, чем когда-либо, есть мозг и сердце Франции. Легенда о том, будто Париж «потерял свое значение», относится, повидимому, к тем десятилетиям, которые непосредственно следовали за расстрелом коммуны 1871 г., и пущена в ход едва ли не реакционными кругами: им приятно было думать—еще приятнее заставить думать других,—что они расстреляли не лучшую часть французской нации, а всего только «взбунтовавшуюся чернь» одного из французских городов. На самом деле «кровавая неделя» обезглавила именно всю демократическую Францию—и анемия французского демократизма

ведет начало именно с этой поры. Самостоятельную политическую жизнь и самостоятельную прессу имеет только юг Франции: вся остальная страна живет мыслями и газетами Парижа. Если правда, что немцы представляли себе, будто объявление войны вызвало революцию в Париже, они правильно оценивали значение города, но обнаруживали крайнюю степень неведения относительно действительных настроений парижан. Эти настроения таковы, что для правительства Пуанкаре опасно не продолжение войны—опасен был бы мирный трактат, который закрепил бы преобладание Германии на французском рынке [1]. Кажется, теперь немцы это поняли и не пытаются более положить конец войне разгромом армии Жоффра. Победы на Нареве могут гораздо быстрее привести к такому миру, какой им нужен, чем победы на Эне или на Марне [2].

Но мы отвлеклись в сторону—взялись говорить о прошедшем, а не о будущем. Была ли роль самой парижской биржи такой пассивной, как может показаться из предыдущего? Ростовщик идет за рыцарем не только потому, что последний много ему должен и может «погубить» ростовщика, отказавшись платить. Эта опасность—русского банкротства—могла руководить парижской биржевой олигархией в 1906 г. В 1914 г. не было надобности в таких, можно сказать, «предельных» мотивах. Обыкновенно рассматривают тот факт, что война началась из-за Сербии, как нечто случайное с точки зрения интересов «Тройственного согласия» в его целом. Английский посол Бьюкенен, в первую минуту после австрийского ультиматума, заявил было даже в Петербурге, что Англия никаких интересов в Сербии не имеет. Он или был плохо осведомлен или говорил неправду «по дипломатическим соображениям». На самом деле *экономические* интересы Англии и Франции в Сербском королевстве крупнее интересов России. В то время как английский ввоз в Сербию составляет 13,4% всего ввоза, а французский—4,2%, России принадлежит лишь 2,1%. Но главное не это. Весь государственный долг Сербии помещен на французском рынке—в виде одних процентов по нему французский капитал получает 32 млн. динаров (франков), что составляет более $^1/_4$ всего сербского бюджета. Исправная уплата процентов обеспечивается государственными монополиями, которые распространяются на табак, соль, спички и алкоголь; заведывание этими монополиями находится в руках особого совета, состоящего из 4 сербов и 2 французов. Вся индустрия этой малоиндустриальной страны работает на Францию—и она же является рынком для французской индустрии: кому не известна роль пушек Шнейдера-Крезо в балканских победах сербской армии, когда кто-то в шутку сделал предположение, что вся война затеяна ради рекламы этим пушкам—так кричали о них французские газеты? Мы видим, как нелепый

---

[1] Мы намеренно «выводим за скобку» французский пролетариат. Война достаточно показала слабую его организованность и идеологическую зависимость от мелкой буржуазии. Сам он, несомненно, не двинется—толчок должен быть дан со стороны. Из Англии, например.

[2] Писано весной 1915 г.

с нашей точки зрения панславизм может стать в руках умных людей превыгодным делом: нужно ли говорить, что Франция сделалась хозяйкой Сербии как союзница России? И сделалась насчет противницы этой последней, Австро-Венгрии. Было время, когда австрийцы были такими же хозяевами в Сербии, как теперь французы: в 1885 г. на Австро-Венгрию приходилось 79,2% всего сербского ввоза. А знаете ли, сколько приходится теперь? Всего 19%! Остальное ушло к англичанам, французам, но больше всего к германцам, которые свой ввоз *удесятерили:* с 4,5% в 1885 г. поднялись до 41,3 в 1910 г. (в абсолютных цифрах увеличение еще больше: 2,3 и 35 млн. динаров). Перед нами настоящее, прошедшее и будущее несчастной родины слив (Сербия—главная поставщица чернослива на европейский рынок): старый конкурент, выбитый с рынка и завистливо щелкающий голодными зубами, посматривая на теперешнего счастливого обладателя, наедающегося пока до отвалу, но уже обеспокоенного появлением нового соперника, еще более хищного и более сильного, чем оба предшествующие.

Самая бескорыстная роль как будто достается рыцарю. «Освободив» Сербию от турок, Россия великодушно представляет другим освобождать ее карманы от обременяющих их динаров. Но мы видели уже на других примерах, что «рыцарь» вовсе не такое неэкономическое существо, каким кажется. У его поведения тоже есть экономическая подкладка. Несомненно, во-первых, что Сербия играет роль в общей схеме, центром которой является завладение проливами и Царьградом. Ее положение на Среднем Дунае делает из нее великолепный «клин», вбитый в тыл австро-венгерской позиции, обращенной фронтом к России. Нейтралитет Румынии создает чрезвычайно досадный перерыв между главными русскими силами и юго-западным русским форпостом на Дунае. Отсюда стремление во что бы то ни стало вывести Румынию из нейтралитета и сделать из нее союзницу—стремление столь жгучее, что для достижения цели не останавливаются ни перед грубейшим вероломством (отдача Румынии болгарской Силистрии), ни перед личными унижениями (поездка Николая в Констанцу). Когда будущему историку «борьбы за свободу и цивилизацию» придется доказывать, что Россия не готовила войны, по крайней мере против Австрии, уже в 1913 г, объяснение этих фактов представит для него непреодолимые трудности. Недаром союзническая пресса хранит теперь такое мертвое молчание по этому поводу! Средства не достигли цели—румыны взяли подарок, поблагодарили, но дальше нейтралитета (дружественного Австрии и Германии) но пошли [1]. Факты, однако, остаются памятником того, какую важность придавали в «Петрограде» сербско-румынскому клину на случай войны с Австрией. Уже то, что дорога в Царьград, хотя бы отчасти, лежала через Белград, связывает «покровительство» русского царизма Сербии с общим экономическим фоном; но экономика въедается глубже и дает связи более непосредственные. Соседкой Сербии—

[1] Писано в 1915 г., дальнейшие события вполне оправдали нашу гипотезу.

об этом иногда забывают—является собственно не Австрия, но *Венгрия.* Экономические интересы этих двух частей монархии Габсбургов так мало тождественны, что крупная венгерская индустрия ни о чем так не мечтает, как о выходе из австро-венгерского таможенного союза и самостоятельной таможенной границе. Мечты остаются мечтами только потому, что индустриальное развитие Венгрии движется крайне медленно, почему и политическая роль крупного промышленного капитала невелика. По переписи 1910 г. сельскохозяйственное население Венгрии составляло 62,4% всего населения, а промышленное—только 25,4%, причем среди этого последнего на 100 самостоятельных производителей приходилось 225 рабочих: на одного хозяина—2—3 работника,—«совершенно средневековое отношение», по справедливому замечанию автора, у которого мы берем эти данные [1]. Венгрия, может быть, самая типичная сейчас в Европе страна крупного землевладения: последнему принадлежит *половина* всей пахотной земли Венгрии, причем *треть* ее находится в руках крупнейших собственников, владеющих каждый в среднем 1 860 гектарами. Вы чувствуете уже, что перед вами что-то очень похожее на Россию—венгерская податная статистика окончательно укрепит в вас это впечатление. Хотя земля в руках крупных собственников, но платят мелкие: на десятину крестьянской земли приходится около 20 руб. налогов, причем самое мелкое землевладение, «карликовое», обложено всего тяжелее (около 17 руб. с полудесятины). Казалось бы какая трогательная дружба должна царить между венгерским магнатом и русским помещиком! Но не тут-то было: именно потому, что экономическая физиономия двух стран так схожа, их правящие классы разделяет жестокий антагонизм. Анатагонизм этот резче всего проявляется в одном пункте: Венгрия и Россия являются величайшими производительницами *сахара* в восточной Европе и имеют для него один и тот же *внешний рынок*: Балканский полуостров и Турцию. При этом сахароварение развивается в Венгрии необычайно быстро. Еще в 1901 г. Венгрия *ввозила:* сахар из Австрии, а в 1905 г. она уже его вывезла на 46 млн. крон; в 1911 г. вывоз достиг 55 млн. крон, а в 1912 г.—109 млн., т. е. обогнал русский вывоз, давший в этом году всего 36 млн. руб. (крона=40 коп.). В следующем году русский вывоз сахара упал до 6 млн. руб.—мы не знаем, какую роль тут играла Венгрия, так как венгерских данных за этот год у нас нет под руками. Но уже и раньше этого было от чего гр. Бобринскому стать националистом, обратив притом свое патриотическое внимание именно в ту сторону, где венгерский помещик занимается «угнетением славян» и—превращением свекловицы в сахар.

Итак, рыцарь всего менее страдает отсутствием «экономизма» в его политике. Если он отличается здесь от буржуа, то, главным образом, приемами действия. Твердо помня заветы «внеэкономического принуждения» в своем хозяйстве, он убежден, что хороший

[1] *Varga. Eug,* Die kapitalistische Entwicklung Ungarns u. ihre Hemmungen, «Neue Zeit» 13 ноября 1914.

удар кулака может разрешить и любую международную экономическую проблему. Немец нас бьет хлебными пошлинами? В лепешку немца! Венгерец отбивает у нас сахарный рынок? В порошок венгерца! Г-н Паункаре, чего вы смотрите? Мобилизуйте ваших зуавов! И г. Паункаре мобилизует: не мобилизуешь,—рыцарь, чего доброго, обидится и вывернет карман; поди получай с него тогда по купону! Но если г. Пуанкаре стал в этом случае тоже своего рода объектом «внеэкономического принуждения»—так сказать, по рикошету,—то по ту сторону Ламанша рыцарь нашел родственную душу, отверзшуюся ему не за страх, а от искреннего сочувствия. Когда мы говорим об Англии, нам, по трафарету, усвоенному нами с детства, представляется страна огромных городов и фабричных труб, рабочих и фабрикантов. Мы помним, правда, что в Англии есть не только фабрики, но и замки—не только купцы, но и какие-то «лорды»; но эти литературные лорды представляются нам богатыми чудаками, занимающимися собиранием коллекций, спортом и путешествиями. Палата лордов, всякий знает, «утратила свое значение». Англия—типично буржуазная страна, не то, что какая-нибудь Пруссия с ее юнкерами. Уже литература, однако же, и довольно давно, должна была напомнить, что такая картина чересчур проста. Пишущий эти строки никогда не забудет, как студентом-филологом он был поражен, найдя на страницах *английской* книги о греческой культуре (Магаффи) издевательства над афинской демократией и горячее сочувствие к солдафонам всякого рода, с Александром Македонским во главе. Так не вязалось это с Англией наших юношеских представлений! Появившиеся около того же времени в русском переводе рассказы Киплинга, где та же точка зрения проводилась гораздо тоньше и с огромным художественным талантом, уже широким кругам должны были напомнить, что рядом с «промышленной демократией» существует другая Англия, так же похожая на первую, как средневековый замок на фабрику, тропический пейзаж—на Гайдпарк. Привыкнув к традиционным типам «англичанина»—банкира, путешественника, инженера, моряка, рабочего,—мы проглядели тип, сопровождающий английскую историю на всем ее протяжении и отнюдь не вымерший. О, далеко не вымерший! Это—тип *английского юнкера*, со страниц рассказов Киплинга так бурно и—для массы—внезапно ворвавшийся на историческую сцену.

Мы проглядели английского юнкера потому, что не видели в Англии того, без чего, как будто, нельзя себе представить юнкерства как социального явления. «Рыцарь» немыслим без «виллана», «барин»—без «мужика». Где в Англии мужик? Был когда-то—но уже для XVI в. можно спорить, встречался ли тогда этот вымиравший тип. А в XVIII в. с исчезновением мелкого землевладения исчезла даже, казалось, экономическая возможность этого типа. Девятнадцатый век знает, в самой Англии, только юридически вполне свободных англичан—откуда бы тут взяться такому феодальному типу, как юнкер? Но, во-первых, далеко не те же свободные отношения существовали уже в соседней Ирландии. Вла-

дельцами плантаций Виргинии и Ямайки, где работали тысячи невольников-негров, купленных как скот, были младшие сыновья тех самых лордов, которые сделали свободными пролетариями последних английских мужиков в XVIII столетии. И в том же XVIII столетии у Англии завелся огромный, коллективный «заморский мужик», в лице цветного населения захваченных ею колоний. Новейшее английское юнкерство воспиталось именно на этом мужике—на египетском феллахе, на негре, в особенности на «индусе» (самое название, как известно, по своему моральному оттенку сродни нашему «жид»). Как этого «индуса», будь он профессор университета, не пустят в один вагон с «белыми»—будь это безграмотные английские солдаты; как его, будь он почтенный, всеми уважаемый старик, будет третировать, как мальчишку, самый мелкий английский чиновник; как он, сколько ни проливай крови за короля Георга V, никогда не поднимется выше первых офицерских чинов—да и то в «черной пехоте», в «белой» же, английской армии ему никогда не командовать и взводом [1],—все это мы читали двадцать раз, но как-то никому в голову не приходило спросить себя: на таком положении «подданных» какая же психология должна вырабатываться у «господ»? И когда Китченер с необычайной развязностью выдал русским сыщикам политического изгнанника, мы придумывали для этого самые выспренные и сложные объяснения, вроде того, что Россия ставила выдачу Адамовича чуть ли не непременным условием при заключении военной конвенции,—и нам в голову не приходило, что для Китченера это было так же просто, как расстрелять без суда несколько десятков тысяч восставших негров в Судане или запереть жен и детей буров в концентрационные лагери, где смертность была 200 на тысячу. В инциденте с Адамовичем характерен был не поступок Китченера—для него это был поступок само собою разумевшийся,—а отношение к этому поступку Асквита и Грея: так им нужен был Китченер, что когда ему вздумалось дать плюху вековой английской традиции, эту плюху проглотили. Проницательные люди уже тогда могли бы предвидеть превращение британской демократии в «китченерию»...

То, чего не замечали мы, давно было замечено вождями английской промышленной буржуазии. «Манчестерцы» первой половины XIX столетия с определенной враждой относились к английскому колониализму. «Возможно ли, чтобы мы играли роль палача там (в Индии),—спрашивал Кобден,—и чтобы наш характер при этом не испортился здесь?». Сорок лет спустя, Герберт Спенсер, по поводу незначительных сравнительно колониальных экспедиций 70—80-х годов (войны из-за Афганистана и т. п.), отмечал упадок вольностей и усиление административного произвола в самой Англии. Но от-

---

[1] Нельзя забыть комического удивления одного английского публициста, из времен англо-русской полемики по индийскому вопросу, по поводу того, что в России магометанин-кавказец может быть даже генералом! Англичанину это показалось признаком необычайной прогрессивности русских социальных отношений.

казаться от колоний и тем вырвать из-под ног у английского юнкера социальную почву—это было выше сил английского капитализма, и мы сейчас увидим, что, чем дальше, тем ему труднее было это сделать. Самое большее, чего достигли «манчестерцы», это самоуправления колоний; идея принадлежит им. Но она имела успех только там, где среди населения колонии преобладали белые—те же выселившиеся англичане: в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. Там, где население было «цветное», как в Индии, «самоуправление» не пошло далее жалкой пародии, не лучше той, которую устраивало перед войной и продолжает устраивать теперь русское правительство в Польше. Для того, чтобы понять причины неудачи «манчестерцев», надо представить себе, что такое английский колониальный капитализм как экономическая сила. Возьмем, например Трансвааль, новейшее колониальное приобретение Великобритании. Добыча золота там, с тех пор как Трансвааль перешел в английские руки, увеличилась в два с половиной раза: с 3,8 млн. унций в 1898 г. до 9,1 млн. унций в 1912; ценность добытого в этом последнем году золота составляла 38,7 млн. ф. ст. (около 380 млн. руб. по курсу, существовавшему до войны); отдельные золотопромышленные предприятия дали в 1909—1910 гг. 200, до 300 и даже 600% дивиденда! Мудрено ли, что крупнейшие акционеры этих предприятий являются самыми богатыми людьми в Англии и даже во всем свете, побивая рекорд всех американских миллиардеров, кроме Рокфеллера? Из Индии Англия получает ежегодно 19,8 млн. ф. ст. в виде только жалованья и пенсий английских чиновников; кроме того, ее торговый «барыш»—перевес английского ввоза над индийским вывозом в Англию—в 1912/13 г. составил 27 млн. фунтов; итого почти *полмиллиарда рублей* «чистого дохода», не считая дивидендов от английских капиталов, помещенных в Индии (к концу 1911 г. более 120 млн. фунтов), и процентов индийского долга, помещенного в Англии (около 180 млн. фунтов). Если мы оценим всю «доходность» Индии для Англии в 600 млн. руб., это будет скорее мало, чем много, а чтобы нагляднее представить себе дело, припомним, что приблизительно такую сумму составляет общая ценность русского хлебного вывоза (в 1913 г. 589,9 млн. руб.). Потеряв Индию, Англия потеряла бы—абсолютно, а не относительно, конечно,—столько же, сколько потеряла бы Россия, лишившись возможности вывозить за границу хотя бы один пуд хлеба. Между тем, мы видели, Россия готова была воевать и воюет теперь из-за одних только хлебных пошлин, составлявших, при самых низких ценах на хлеб, только *треть* его цен, а теперь, при относительно «крепких» ценах гораздо менее. Как же английскому колониальному капитализму не воевать за Индию? Ибо *для Англии настоящая война является именно войною за Индию*, войною «предупредительной», совершенно так же, как для Германии было «предупредительной» войной нападение на Россию и Францию в июле 1914 г.

Настоящую англо-германскую войну можно понять только из колониальных отношений и, прежде всего, из англо-индийских инте-

ресов. Легенда о промышленном соперничестве Германии, которая якобы «душит» великобританскую индустрию, давно опровергнута в литературе [1]. Этот предрассудок сложился в последние годы XIX и в первые—нынешнего столетия, когда действительно, в английском экспорте наблюдался некоторый застой; за пятилетие 1900—1904 гг. он никак не мог выйти за пределы 300 млн ф. ст. Но с этих пор он поднялся в 1910 г. до 430 млн. ф., а в 1913 г.—до 525 млн. ф. Если мы возьмем цифру 1904 г. за 100, увеличение будет 75%; германский вывоз за это время увеличился лишь немногим более (на 86%), а американский даже менее (ок. 62%). Если уж кому воевать из-за «соперничества», то скорее бы американцам с немцами! Правда, мы видели выше, что в области специально англо-германского обмена отношение все более и более менялось в пользу германцев. Это особенно рельефно сказывается на некоторых статьях, наиболее типичных для высших ступеней капиталистического развития. Еще в 1908 г. Англия ввезла в Германию машин на 2,1 млн. ф. ст., а получила машин из Германии всего на 828 тыс. ф. ст., а в 1912 г. Англия осталась, приблизительно, на прежней цифре, тогда как Германия увеличила ввоз своих машин в Англию до 2,4 млн. ф. ст., обогнав англичан на 12%. Все это, конечно, давало материал для будущей *таможенной* войны, ибо прямо стрелять в подобных случаях не начинали даже при Людовике XIV—и тогда били друг друга сначала пошлинами, а потом уже ядрами. Мы видели, что даже прусский и русский «рыцари» до ядер дошли далеко не сразу. Пока Англия не перешла к протекционизму, на этой почве порохом еще не пахло. Что касается других отраслей английской промышленности, то здесь дело обстояло для «джингоизма» [2] еще более плачевно. Английская текстильная индустрия, например, совершенно не может обойтись без немецких *красок*, настолько не может, что, запретив на время войны торговые сношения с немцами, английское правительство вынуждено было оставить лазейку, разрешив сделки с немецкими фирмами, оперирующими в нейтральных странах. Это дало возможность англичанам покупать краски через Голландию, а немцам—расплачиваться со своими шведскими поставщиками английскими соверенами... По словам корреспонденции столь мало подозрительной со стороны искренности своего союзнического патриотизма газеты, как «Matin», английская средняя буржуазия еще в декабре очень прохладно относилась к войне—энтузиазм проявляло только всегда и всюду «патриотическое» мелкое мещанство (в Англии его джингоизм бил в глаза еще во время бурской войны, 1899—1901 гг.), да сами «юнкера»

---

[1] См., между прочим, брошюру т. *Волонтера* (Павловича). La guerre improbable, Paris 1913. Ошибка Волонтера заключалась в том, что он совершенно игнорировал колониальный капитализм и его влияние на английскую внешнюю политику, но утверждая, что война не нужна английской промышленности, он был совершенно прав.

[2] Так, как известно, называется воинствующий английский капитализм—от одной песенки времен лорда Биконсфильда, каждый куплет которой кончался припевом: «By Jingo».

еще, конечно; энтузиазм этих последних не шел, впрочем, дальше таких, чисто внешних, проявлений, как поголовное облачение в хаки всей «золотой» молодежи. Но даже корреспондент «Matin» не мог не отметить, что наблюдать это хаки ему пришлось не в траншеях, а в Ковентгарденском театре. В другой связи фактов, то же наблюдение подтверждает и цитированный нами ранее, не менее правоверный, историк «происхождения европейской войны». Объясняя значение германского ультиматума Бельгии, он говорит или, если хотите, проговаривается, что без этого ультиматума из кабинета Асквита ушли бы не только три опротестовавшие объявление войны министра, но и еще четыре (он называет имена)—т. е. попытка воевать вызвала бы распадение либерального министерства [1]. Так мало решительно была настроена английская буржуазия буквально накануне войны, которую нам хотят изобразить поединком на смерть между Англией и Германией!

Без колебаний за войну с самого начала стояло консервативное крыло министерства Асквита, т. е. прежде всего Грей. Так как нас совершенно не интересует вопрос об индивидуальных ответственностях, то мы не станем утомлять читателя документальными доказательствами этого положения—укажем лишь, что его не отрицает и только что цитированный нами правоверный историк. Он прямо называет сдержанность Грея «официальной» и противополагает его точку зрения точке зрения «радикальной и пацифистской прессы» [2]. Что он объясняет воинственные намерения Грея его лучшей осведомленностью относительно коварных планов Германии, не меняет дела. Грей хотел воевать—только ли в июле 1914 г. или уже и раньше, это опять вопрос второстепенный. Для нас важны два вопроса: во-первых, что толкало на войну ту общественную группу, которая стояла за Греем и которую мы выше обозначали как «юнкерство»; во-вторых, что толкало английскую промышленную буржуазию, войны не желавшую и не могшую ее желать, под иго «юнкеров»? Легче всего ответить на первый вопрос. Вопрос о Константинополе и проливах, такой жгучий в дни Биконсфильда, русско-турецкой войны 1877 г. и Берлинского конгресса, утратил, казалось, всякую остроту к концу XIX столетия. Руководитель английской иностранной политики тех дней, Салисбери, публично заявил, что Англии все равно, кто будет владеть Константинополем. Но прошло еще немного лет—и картина снова резко изменилась. Причиной перемены были два новых факта, внешним образом, казалось, не имевших между собою ничего общего, а внутренно, на самом деле, тесно между собою связанных: Багдадская железная дорога и турецкая революция. Владея Суэцким каналом, Англия была монополистской на путях, ведущих из Европы в Индию. Единственной соперницей могла быть Россия; но уже в те годы, когда были сказаны приведенные слова Салисбери, наметилась ее новая ориентировка—не к Индии, а к

---

[1] *Aug. Gauvain*, Les origines de la guerre européenne, p. 159.
[2] Ibid., p. 158.

Китаю. Японская война, в комбинации с англо-японским союзом, обезвредила ее, казалось, совершенно: ведь, по условиям союза, в Индии русские должны были встретить ту самую японскую армию, которая только что нанесла им такие жестокие удары на полях Манчжурии. Россия это поняла—отсюда соглашение 1907 г., навсегда, казалось бы, покончившее с русской опасностью для Индии (действительно ли навсегда—это покажет, конечно, лишь будущее). Но когда заключалось это соглашение, налицо была уже другая опасность: в 1903 г. «Анатолийское общество железных дорог», создание Немецкого банка, получило концессию на постройку железного пути от Босфора до Персидского залива. Значение нового предприятия сразу же оценили и пангерманская журналистика, и британская дипломатия. Первая (в лице Рорбаха, Гильденбранда и др.) поспешила, со свойственной ей шумливой экспансивностью, провозгласить, что владея новым железным путем, крупная военная держава может в любой момент перехватить Суэцкий канал и достигнуть Индии быстрее, чем какою бы то ни было из существовавших дорог. Вторая, в очень сдержанных, но тем более твердых выражениях заявила, что именно поэтому она никогда и не допустит немецкую колею дойти до ее естественного географического конца. «Я не колеблюсь заявить, что британское правительство рассматривало бы устройство другой державой на Персидском заливе морской базы и укрепленного порта как серьезную угрозу британским интересам и что оно воспротивилось бы этому устройству всеми имеющимися в его распоряжении средствами»,—говорил в палате лордов еще предшественник Грея, Лэнсдоун[1]. Сам Грей вполне разделял эту точку зрения. «Наша политика в Персидском заливе не является политикой завоевательной,—говорил он в палате общин 1 марта 1911 г.—Мы не стремимся ни к приобретению новых территорий, ни к изменению существующего порядка вещей. Но если бы другие попробовали изменить этот порядок вещей, тогда, разумеется, *мы должны были бы пустить в ход все наши средства, чтобы удержать в неприкосновенности нашу позицию на берегах Персидского залива*».

Когда были сказаны эти слова, «все средства», в сущности, уже были пущены в ход, кроме последнего—пушек. Наиболее неприятным для Англии «изменением существующего порядка вещей» было бы, прежде всего, превращение самой Турции в сильную военную державу. В «существующий порядок», на правах железного инвентаря, входила Турция Абдул-Гамида—идеальная система самообороны правительства против своего собственного народа, исключавшая всякую мысль о возможности обороны против народов чужих. Пока пользоваться этой системой было английской монополией, все шло к лучшему в лучшем из миров. Но когда системой стали пользоваться немцы, это уже было, конечно, изменение существующего порядка. Гамид был свергнут при явном сочувствии и, повиди-

[1] Hitch., Le chemin de fer de Bagdad, Bruxelles, 1913. p. 92. Для остальных актов см. его же.

мому, тайной поддержке Англии и Франции. Но у власти стали, вопреки ожиданиям этих держав, не младотурецкие эмигранты, с которыми велись все переговоры, а «турецкие декабристы»—офицерство восставшей армии, ученики фон дер Гольца. Экзекуция Абдул-Гамида пошла на пользу—немцам! Тогда начали пускаться в ход «средства», одно экстреннее другого. Сначала была предпринята попытка контрреволюции (весна 1909 г.), она кончилась полным крахом. Тогда под прямым английским влиянием организована была итальянская экспедиция в Триполи, одним камнем убившая трех зайцев: Италия вышла фактически из Тройственного союза (где, по бумажным расчетам, предшествовавшим войне, только она и давала на поле битвы перевес Германии и Австрии против Франции и России), турки были выбиты с северного берега Африки— и Египет, таким образом, освободился от опасности быть охваченным с обоих флангов—и, наконец, был дискредитирован младотурецкий режим, оказавшийся неспособным сохранить цельность оттоманской территории, что удавалось даже Абдул-Гамиду. Под непосредственным впечатлением Триполи, младотурки, действительно, должны были уступить место сомнительного происхождения «либералам», которые все почему-то оказались бывшими камергерами и генералами Абдул-Гамида. Но тут взорвалась австро-германская контрмина: царь Фердинанд, с несравненным искусством ведший двойную игру, импровизировал балканскую коалицию так, что русские считали его действующим в их пользу, а немцы—в их. Англичане уже на этом примере должны были бы убедиться, как опасно полагаться на Россию. Под натиском балканцев «либеральный» режим пал с еще большим треском, чем его предшественник, и у власти опять оказались младотурки, а рядом с ними опять появился немецкий генерал. Ничего не оставалось, как прибегнуть *к последнему* средству. Чтобы по возможности обеспечить себя—опыт 1912 г. все же был учтен,—атаковали непосредственно Германию, а не Турцию: у России не было прямого предлога поднять вопрос о Константинополе. Но выдвинуть на арену теперь и этот вопрос было до такой степени в интересах немцев, что участие турок в войне можно было предсказать с самого начала. Характерно, что этого врага англичане всеми силами старались не замечать как можно дольше. И лишь когда турки появились на Суэцком канале, англичане повели с ними серьезную войну, атаковав Дарданеллы.

Спрашивается, насколько реальна была та опасность, которая заставила миролюбивого сэра Эдуарда Грея прибегнуть к пушкам? Действительно ли немцы пробивались к Персидскому заливу, чтобы угрожать Индии? Если мы от пангерманской журналистики перейдем к деловым отношениям, мы наткнемся там, прежде всего, на тот удивительный факт, что Германия чрезвычайно легко уступила Англии как раз в этом пункте; конвенцией 21 марта 1911 г. Анатолийское общество отказалось от предоставленного ему концессией 1903 г. права построить путь от Багдада до Бассоры на Персидском заливе; *немецкая* колея кончалась теперь в Багдаде. За-

тем, если турецкая сухопутная армия была в руках германского генерала, то флотом командовал английский адмирал, и новые дредноуты были заказаны на английских верфях (благодаря чему в войне они и участвуют под британским флагом). Неужели мало было этих гарантий? Тут нам надо припомнить, что ведь и проекты русского похода на Индию, до 1878 г., были как нельзя более проблематичны; английские публицисты умели рассказать о них гораздо более, чем могли бы это сделать русские дипломаты и генералы. Но «русская опасность» помогала десять лет держаться у власти консервативному кабинету; это был своего рода военно-дипломатический рудник, дававший, в своей области, не меньшие дивиденды, чем сама Индия. Картина русского войска, идущего на Индию, была нужна по соображениям внутренней английской политики; картина готовой напасть на Индию Германии понадобилась из тех же соображений.

Последние годы отмечены в английской политической жизни резким обострением класовой борьбы. В то время как среднее число стачечников в семилетие 1901—1907 гг. равнялось всего 157 тыс., мы имеем в 1911 г. 962 тыс. стачечников, в 1912 г.—1 463 тыс., в 1913 г.—677 тыс. В то же время рабочее движение принимает все более и более опасный для предпринимателей характер. Его отличительной чертой в Англии в прежнее время была крайняя раздробленность. Исторически сложившиеся рабочие союзы охватывали нередко лишь десятки членов, не выходя за пределы одного небольшого города. Такая форма союзов представляла бесчисленные удобства предпринимателям: с ними легко было столковываться, их легко было натравливать друг против друга, наконец, они великолепно маскировали от рабочего сущность его борьбы с предпринимателями как борьбы *классовой*. Ничто лучше не мешало проникновению социалистических идей в среду английских рабочих как подобная организация. В последние годы, наряду с развитием социалистической пропаганды, резко меняется и это условие. В 1900 г. к английским рабочим союзам принадлежало 1 971 тыс. человек, причем в среднем на союз приходилось 1 520 членов; всех союзов было 1 295. В 1912 г. союзов было уже только 1 134, но они охватывали 3 281 тыс. рабочих—на 1 союз приходилось уже 2 890 членов. Рабочую партию поддерживали, т. е признавали необходимость самостоятельного политического представительства рабочих—в 1900 г. 41 союз с 353 тыс. членов, в 1912 г.—130 союзов с 1 858 тыс. членов [1]. Все это, вместе взятое, привело к тому что от прежней благодушной патриархальности не осталось и следа. Предприниматель почувствовал себя настолько «обеспокоенным», что в 1913 г. оказалось возможно образование «всеобщего союза английских предпринимателей» с капиталом в 50 млн. фунтов (полмиллиарда рублей) и главной задачей *бороться с рабочим движением*. Наиболее реши-

[1] Для всего предыдущего см. Aug. Mai. Neue Tendenzen in d. englischen Arbeiterbewegung, «Neue Zeit» 10 июля 1914.

тельные члены этого союза уже договаривались до необходимости применения «южноафриканских» средств борьбы, заключавшихся, как известно, в произвольных арестах и применении вооруженной силы против стачечников. Рабочие отвечали на это тем, что во время последних забастовок организовывались уже не только экономически — и в лондонских парках можно было видеть тысячи стачечников, по команде марширующих и выполняющих различные военные эволюции... Военная сила и военные люди приобрели вдруг такое значение в английской «внутренней политике», какого они не имели со времени рабочих бунтов первой половины XIX столетия, и одетое в мундиры «юнкерство» тотчас же учло этот факт: весною 1914 г. армия отказалась итти против ульстерских черносотенцев, отказавшихся признать ирландский гом-руль (политическую автономию Ирландии), лишавший их привилегированного положения в стране, и правительство, представляющее большинство народного представительства, самым унизительным образом склонилось перед решением «армии», т. е., в сущности, юнкерской касты. Так оправдались сказанные за несколько месяцев перед тем слова вождя консервативной оппозиции Бонара Лоу, что есть вещи, «которые сильнее парламентского большинства». Опирающееся на вооруженную силу юнкерство оказалось сильнее парламентского министерства. Оставалось создать такое положение, при котором армия стала бы на место народа. Что могло лучше отвечать этой цели, чем война?

Война осуществила чаяния юнкерства в большей мере, чем оно само могло ожидать. Англия оказалась отброшенной по ту сторону парламентской реформы 1832 г.: палата лордов опять стала «первой» палатой, палата общин отошла на второе место. В январе (1915г.), когда палата общин не заседала, «пэры» фактически управляли Англией. Китченер и Грей не без аффектации предпочитают давать свои объяснения именно им, предоставляя разговаривать с «коммонерами» оставленному за штатом Асквиту. В области рабочего законодательства дело шло уже до милитаризации: Китченер формирует батальоны докеров, подчиненные военной дисциплине. Отменены такие элементарные меры, как запрещение ночного труда для женщин, причем в Англии это «нововведение» отнюдь не может быть поставлено на одну доску с германским: в Германии, благодаря всеобщей воинской повинности, взявшей под ружье сейчас не менее $^3/_4$ мужского населения в рабочем возрасте, действительно может ощущаться недостаток в рабочих руках; в Англии всеобщей воинской повинности пока нет, волонтерами идут, главным образом, безработные, и предложение труда настолько еще превышает спрос, что английские предприниматели находят еще возможность понижать заработную плату, несмотря на увеличивающуюся все более и более дороговизну жизни: в Англии поэтому «разрешение» ночного труда для женщин есть чисто реакционная мера, напоминающая рабочему, что с ним более «не церемонятся». Одновременно с этим в политической области на очереди вопрос о введении предва-

рительной цензуры по французскому образцу [1]. Если бы политика Китченера удалась, Англия очень мало отличалась бы от Пруссии: превосходный результат борьбы с «прусским милитаризмом»! Но объективная экономическая действительность оказывается сильнее юнкерских вожделений. Оглушенный неожиданно надвинувшейся войной, которая для Англии, более чем для какой-нибудь другой страны, была ударом из-за угла (мы видели, что Грей еще накануне объявления войны не мог быть уверенным в успехе своей политики), английский рабочий класс постепенно находит себя. Уже на неприличной во всех отношениях лондонской конференции английские делегаты держали себя, относительно, приличнее других: благодаря им, главным образом, Мильеран все же не был признан вождем европейского социализма, а Николай II—покровителем рабочего движения в России. Норичская конференция Независимой рабочей партии сделала шаг дальше. Перед лицом всего мира было заявлено, что английский пролетариат не считает свои интересы тождественными с интересами «британской империи» Китченера и Грея. Яростный шовинизм мелкой буржуазии, и в Англии, как во Франции, приписывающей все свои беды «немцу», бессознательность люмпен-пролетариата, которому сытая английская казарма кажется раем земным [2], дают еще возможность поддерживать иллюзии «народного одушевления». Но последнему грозит опасность с той стороны, с которой ее всего менее ожидали и откуда ее следовало ждать с самого начала. Английский вывоз, как мы видели, непрерывно росший все последние годы, за первые месяцы 1915 г. упал сразу на 30%. Но если перед английским фабрикантом положить на одну чашку весов бесконтрольную власть над рабочими и разорение, а на другую—возвращение к прежним счастливым временам и «фабричную конституцию», он без малейшего колебания выберет второе... Непосредственно для низвержения «китченерии» в Англии, вероятно, не понадобится никакой революции. Но непосредственно после этого низвержения проблема снова станет так же, как стояла она в 1913 г.,—лишь в еще более грозной форме. И тогда английский пролетариат может припомнить не только слова консерваторов, что «есть нечто большее, чем парламентское большинство», но и те ружейные приемы, которым научил его Китченер.

---

[1] Обращение по этому поводу Китченера к Мильерану, с просьбой прислать сведущего человека для организации английской «военной» цензуры по образцу Франции, «давшей такую изумительную картину единодушия» (благодаря цензуре?!)—своего рода перл. Жаль, что оно не попало в печать.

[2] Одна из корреспонденций «Matin» передает очаровательную картинку, рисующую эту сторону новой китченеровской армии и подлинное отношение к последней буржуазии (небуржуазных газет). В одной местности был расквартирован, по случаю маневров, один из корпусов этой армии. Местное зажиточное мещанство готовилось к приему «китченеровцев» как нашествию Тамерлана: отправляли подальше семьи. убирали все ценное, толковали о необходимости закрыть кабаки и т. д. И вот—приходит в один дом солдат на постой и просит не водки и пива, а... почитать книжку. Об этом потом долго рассказывали во всей округе.

Английская ситуация является наиболее типичной для всей войны, и мы понимаем теперь, в каком еще смысле эту последнюю можно назвать «предупредительной». *Основною целью войны для буржуазии всех участвующих в ней стран было—предупредить надвигавшуюся с неудержимой, стихийной силой социальную революцию.* В этом—объяснение того невыносимого реакционного зловония, которым несет от каждого акта теперешней войны, начиная французскою «военною цензурой» и кончая германскими «зверствами». Бывали хуже войны, но не было подлей... Никогда не приходилось затрачивать столько обмана и насилия, чтобы скрыть от одураченной массы действительные намерения воюющих правительств. Более или менее устойчивое равновесие военных сил обеих сторон было отлично известно еще до войны. Ненадежность результата была поэтому очевидна заранее, и *большинство* буржуазии никогда бы не решилось на войну ради *только* тех экономических конфликтов, о которых речь шла выше. Но над ними, как дух Иеговы над хаосом, носилась мысль, неосторожно выданная одним парижским банкиром сотруднику «Bataille Syndicaliste» еще три года тому назад, после Агадира: «Чем бы ни кончилась война, лишь бы она покончила с социализмом!». Эта идея загнала промышленную буржуазию под иго *правых* групп—аграрного капитализма в России, колониального в Англии, ростовщического во Франции. Она, эта идея, служила, наверное, одинаковым утешением и Вильгельму в его неполной победе, и Пуанкаре с Греем в их почти полном поражении. Утешения хватало ненадолго. Так торжественно похороненный буржуазными газетами в августе 1914 г. международный социализм блестяще доказывает свою жизненность уже тем, что его приходится хоронить снова и снова—как снова и снова приходится хоронить, вот уже скоро четверть столетия, «давно отжившую» теорию марксизма. Говорят, что тому, кого раз, по ошибке, сочли мертвым,—долго жить... Повторяется в грандиозных размерах история русского 1904 года: то, чем надеялись остановить революцию, дает ей новый, могучий толчок.

*Из сборника М. Н. Покровского «Внешняя политика», изд. «Денница», М. 1919.*

# К ВОПРОСУ О ВИНОВНИКАХ ВОЙНЫ[1]

## I

Союзники победили Германию и собираются ее «судить» за войну. Им хочется быть не только сильнее побежденного врага, но и правее его. Мир облетают радиограммы, оповещающие наивную газетную публику, что «австро-германский заговор против всеобщего мира» раскрыт, разоблачен, и даже точно установлен месяц и день, когда он возник,—5 июля 1914 г. Опьяневшим от собственной добродетели империалистам начинают вторить и «революционеры», с позволения сказать: недавно еще известный соглашатель Курт Эйснер громко вопиял о несомненной виновности кайзера и его правительства в беспримерном кровопролитии, четыре года позорившем Европу.

Было бы неблагодарным трудом пытаться обелить кайзера Вильгельма. Империалистская сволочь Германии не меньше всякой другой стремилась к этой бойне, но и не больше всякой другой. Это надо помнить той публике, которую допустят присутствовать на суде. «Виноват» в кровопролитии не тот или другой империализм, а империализм вообще—французский, английский или русский—не меньше германского или австрийского. Попытке напомнить эту элементарную истину и посвящены нижеследующие страницы.

Октябрьский переворот отдал в руки пролетарской революции уличающие документы против буржуазного режима во всех областях, между прочим и в области международных отношений. Отчасти эти документы были уже напечатаны, но далеко не все и, пожалуй, не самые даже любопытные. Напечатаны были, главным образом, секретные договоры; они важны, но еще важнее та переписка, которой подобные секретные договоры подготовляются в буржуазном мире. Счастливая случайность сохранила нам подлинники интимных писем, которыми обменивались русские послы в Лондоне и Париже с их

[1] Статья отражает первые результаты работ состоявшей при Социалистической (ныне Коммунистической) академии «Комиссии по изучению войны 1914—1918 гг.».—*Прим. ред.*

начальником, официальным руководителем внешней политики империи Романовых, министром Сазоновым. Сохранилась и часть, по крайней мере, их секретных телеграмм и не менее интимные донесения Сазонова царю. Все эти документы бросают чрезвычайно яркий свет на подготовку войны со стороны Антанты и свидетельствуют неопровержимо, что место на скамье подсудимых перед лицом беспристрастной истории обеспечено не только Вильгельмам и Бетман-Гольвегам, но и Георгам, Греям, Пуанкаре и Сазоновым.

«Заговор против всеобщего мира» зародился отнюдь не 5 июля 1914 г., как хочет уверить вселенную недавнее лондонское радио, а гораздо ранее. Его начало относится к 1908 г., когда аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией предшествовало некоторое соглашение между тогдашними министрами иностранных дел: России—Извольским и Австро-Венгрии—Эренталем, по поводу проливов, соединяющих Черное море со Средиземным. Текст соглашения не сохранился в бумагах Извольского, но сохранилось его письмо к царю, и из этого письма видно, что Эренталь шантажировал своего русского коллегу угрозой опубликовать этот текст. Угроза была настолько серьезна, что Извольский во избежание скандала предпочел подать в отставку и из министра превратился в русского посла в Париже, но и там оставался фактически руководителем русской внешней политики перед войной.

Два года спустя «проливы» появляются на дипломатической сцене еще более определенно. 25 октября 1909 г. был заключен договор между Россией и Италией, в связи с посещением Николаем итальянского короля Виктора Эммануила в Ракконидж. Последняя статья этого договора гласит:

> «Италия и Россия обязуются относиться благосклонно, первая к интересам русских в вопросе о проливах, вторая к интересам итальянцев в Триполитании и Киренаике».

Что это значило, нам станет ясно, когда мы вспомним, что год спустя после Раккониджи Италия начала войну с Турцией из-за Триполи. Так как мир в Европе был нарушен впервые именно итальянско-турецкой войной (предшествующие войны: испанско-американская, англо-бурская, русско-японская, происходили вне пределов Европы) и так как нарушения этого мира с той именно поры идут непрерывной цепью, становясь все крупнее, то значение договора в Раккониджи трудно переоценить. Но в то время как деятельность Италии была у всех на виду, оставшаяся в тени деятельность Извольского в Париже была гораздо важнее по своим последствиям.

Как только началась итало-турецкая война, Извольский писал:

> «Нам следовало бы теперь же позаботиться не только о наилучшем способе сохранить мир и порядок на Балканском полуострове, но также и о том, чтобы по возможности извлечь из надвигающихся событий наибольшие выгоды для собственных наших интересов... Кроме того, я позволяю себе высказать, что следовало бы во всяком случае, в той или другой форме, заручиться заявлением Италии, что, осуществляя

ныне предусмотренные соглашением с нами права в Триполи, она продолжает считать себя, в будущем, связанной по отношению к нам в вопросе о проливах» (13/26 сентября 1911 г.).

Петербургскому кабинету не было надобности повторять это два раза. «Очень радуюсь, что мысль моя об укреплении итальянских обязательств о проливах встречена вами сочувственно»—читаем мы в одном из следующих писем Извольского (25 сентября—8 октября). А в следующем за этим письмом (29 сентября—12 октября) мы находим уже деятельные заботы о «технике» дела.

«Если мы действительно решаемся ныне же возбудить вопрос о проливах, то весьма важно озаботиться тем, чтобы иметь здесь une bonne presse. Между тем, в этом отношении я, увы, лишен главного орудия, ибо из всех настояний о снабжении меня фондами на печать ничего не вышло. Я сделаю, конечно, все, что от меня зависит, но это именно один из тех вопросов, в которых общественное мнение, в силу старинных традиций, скорее настроено против нас. Примером того, насколько полезно тратить здесь деньги на печать, может служить триполитанское дело. Мне известно, что Титтони очень основательно и весьма щедрою рукою обработал главнейшие французские газеты. Результаты налицо».

Обработка «общественого мнения» началась, как видим, задолго до «австро-германского заговора».

Но завладеть проливами в одиночку было не так легко, как каким-нибудь Триполи. Проливы—это означало Константинополь, а «Константинополь—это господство над миром», сказал когда-то Наполеон. Чтобы захватить такую крупную добычу, нужны были союзники. Вопрос о последних и встал перед инициаторами предприятия очень скоро. Очередным, так сказать, союзником была, конечно, Франция, связанная с Россией давным-давно всякого рода обязательствами и конвенциями. Но признает ли Франция себя связанной перед Россией также и в вопросе о захвате Константинополя? В первую минуту Извольский не решался ответить на это положительно.

«Я считаю вероятным, что французское правительство побоится выдать нам безусловное обязательство в смысле признания полной нашей свободы действий в проливах и, ограничившись на первый раз какой-либо неопределенной формулой, попросит нас точнее определить наше пожелание»

читаем мы в письме от 10/23 ноября того же года. Во главе французского правительства стоял тогда не склонный к военным авантюрам Кайо, а министром иностранных дел был де Сельв, занятый исключительно марокскским вопросом, и при котором вообще «было бесплодно разговаривать с Францией об общей политике».

Картина резко переменилась, как только эти две должности, премьера и министра иностранных дел, слились в лице теперешнего президента французской республики—Пуанкаре. Письма Извольского сразу меняют тон, как только совершилась эта перемена.

«Пуанкаре несколько раз спрашивал меня, что мне известно о происходившем, судя по газетам и получаемым им из других источников сведениям, обмене мыслей между нами (т. е. Сазоновым и венским кабинетом, о балканских делах; при этом он еще раз напомнил мне о своей

готовности почти в каждую минуту вступить с нами в разговоры об этих делах и дал мне понять, что он ждал с нашей стороны такого же осведомления о наших переговорах с Веной, какое он получил от лондонского кабинета после поездки лорда Хольдена в Берлин. Пишу вам все это с полной откровенностью, ибо мне кажется, что для вас весьма важно сохранить и упрочить заявленные Пуанкаре при вступлении во власть намерения. Нынешний председатель совета и министр иностранных дел весьма крупная личность, и кабинет его является наиболее сильной комбинацией за длинный ряд годов» (письмо от 16/29 февраля 1912 г.).

Прошло еще несколько месяцев, и в письме от 5/18 июля мы читаем, что в настоящем году обычное совещание между начальниками генеральных штабов русской и французской сухопутной армий было в первый раз дополнено такими же совещаниями между начальниками обоих генеральных морских штабов. Причем результаты сразу же были достигнуты блестящие.

«Князь Ливен (русский адмирал, начальник русского морского штаба) высказал мне,—сообщает в том же письме Извольский,— что, по его убеждению, состоявшийся обмен мыслей привел к весьма для нас выгодным результатам; а именно: начальник французского морского штаба вполне уразумел необходимость в интересах обоих союзников облегчить нам задачу господства над Черным морем путем соответственного давления на флоты возможных наших противников, т. е. главным образом Австрии и, может быть, Германии и Италии. С этой целью Франция изъявляет готовность еще в мирное время перенести сосредоточение своих морских сил в Средиземном море ближе к востоку, т. е. в Бизерту. Это решение, вполне ясно выраженное в протоколе, князь Ливен считает тем большим для нас успехом, что оно не обусловлено никаким обязательством с нашей стороны. Вообще князь Ливен с большой похвалой отзывается о предупредительности, прямоте и откровенности, которые он встретил со стороны своего французского товарища».

Правда, с русской стороны едва не испортили дело излишней поспешностью. Как молодая горячая лошадь, царская дипломатия каждую минуту готова была «понести», и более старым и опытным дипломатам приходилось покрикивать «тпру». Прологом к войне за Константинополь должно было служить выступление балканских славян—болгар и сербов. С этой целью при участии русской дипломатии был сфабрикован, всем теперь известный, секретный договор между Сербией и Болгарией. Договор этот Пуанкаре, едва взглянув на него, сразу же определил как «орудие войны» (un instrument de guerre). Но опасения тогдашнего французского премьера едва ли не были вызваны, главным образом, тем, что английское правительство «категорически заявило здесь, что Англия ни в коем случае не согласится произвести какое-либо давление на Турцию» (Письмо Извольского 30 августа—12 сентября 1912 г.). Что касается самого Пуанкаре, то он смотрел на дело вполне трезво и был чужд каких бы то ни было колебаний. Нижеследующая страница из письма Извольского, излагающая мнение французского премьера, своей ясностью и точностью напоминает Маккиавелли...

«Пуанкаре высказал мне, что французское правительство самым серьезным образом обсуждает вопрос о могущих возникнуть международных случайностях; оно вполне ясно отдает себе отчет в том, что те

или другие события, например, разгром Болгарии Турцией или нападение Австрии на Сербию, могут заставить Россию выйти из пассивного положения и прибегнуть сперва к дипломатическому выступлению, а затем и к военным действиям против Турции или Австрии. Согласно полученным нами от французского правительства заявлениям, в таком случае нам обеспечена с стороны Франции самая искренняя и энергичная дипломатическая поддержка. Но, в этом фазисе событий, правительство республики, не было бы в состоянии получить от парламента или общественного мнения санкции на какие-либо активные военные меры. Но, если столкновение с Австрией повлечет за собой вооруженное вмешательство Германии, французское правительство заранее признает его за «casus foederis» (т. е. за случай, когда союзное обязательство вступает в силу) и ни минуты не поколеблется выполнить лежащие на нем по отношению к России обязательства».

«Франция,—присовокупил г. Пуанкаре,—непременно настроена миролюбиво и войны не ищет и не желает; но выступление Германии против России тотчас изменит это настроение, и он убежден, что в таком случае и парламент, и общественное мнение всецело одобрят решимость правительства оказать России вооруженную поддержку».

«Далее г. Пуанкаре сказал мне, что ввиду критического положения на Балканах высшие органы французского военного управления с усиленным вниманием изучают все могущие произойти военные случайности, и ему известно, что сведущие и ответственные лица весьма оптимистически смотрят на шансы России—Франции в случае общего столкновения; оптимистический взгляд этот основан, между прочим, на оценке той диверсии, которую произведут соединенные силы балканских государств (за исключением Румынии), оттянув соответственную часть австро-венгерских военных сил. Благоприятным элементом для России и Франции является также мобилизация Италии, связанной как Африканской войной, так и специальными соглашениями с Францией. Что касается специального положения на Средиземном море, то только что принятое решение перевести из Бреста в Тулон третью французскую эскадру еще более усиливает преобладание в этих водах французского флота. Решение это, прибавил Пуанкаре, принято по соглашению с Англией и является дальнейшим развитием и пополнением уже раньше состоявшихся между французским и английским морскими штабами уговоров» (то же письмо).

## II

По дороге к проливам вырисовывались два препятствия. Первым была холодность к вопросу Англии; вторым—боязливое отношение к военным авантюрам со стороны французского «общественного мнения», т. е. французской буржуазии. Но было средство это второе препятствие удалить: этим средством была война с Германией. Втянув в борьбу эту последнюю, русская дипломатия получала средство, средство верное, действующее без осечки, преодолеть опасения парижских банкиров.

И вот—можно представить удовольствие царской дипломатии—почти в то же самое время обнаружилось, что война с Германией является и наилучшим средством растопить английский лед. Тугая на ухо, когда дело касалось войны России с Турцией, Англия—официальная Англия, само собою разумеется,—оказывалась очень чуткой, когда ей начинали говорить о войне России с Германией. Но относящийся сюда текст так важен и интересен, что необходимо привести его целиком.

В сентябре все того же самого 1912 г., т. е. опять-таки накануне первой балканской войны, Сазонов отправился зондировать почву в Англии. Царского министра встретили на родине парламентаризма «необыкновенно радушно», как он поспешил донести своему повелителю. Его пригласили в Бальмораль (английский Петергоф), и там он имел ряд разговоров, изложение которых мы дадим его собственными словами.

«Для характеристики вообще встреченного мною в Англии настроения по отношению к России я должен упомянуть, что одновременно со мною в Бальморале в течение нескольких дней гостил и лидер оппозиции г. Бонар Лоу, которому я, между прочим, выразил удовлетворение по поводу речи, произнесенной им в Палате минувшей весной, и где, от имени оппозиции, он одобрял политику сэра Э. Грея в смысле более теплого сближения с Россией. Бонар Лоу, в присутствии Грея, подтвердил мне означенные слова и даже заявил, что это единственный вопрос, по которому между консерваторами и либералами в Англии нет никакого разногласия.

Пользуясь этой благоприятной обстановкой, я считал полезным в одной из моих бесед с Греем, между прочим, осведомиться о том, чего мы могли бы ждать от Англии в случае вооруженного столкновения с Германией, и мне представляются весьма знаменательными слова, которые мне удалось услышать по этому поводу как от ответственного руководителя английской внешней политики, так затем из уст самого короля Георга.

Вашему императорскому величеству известно, что во время своего пребывания минувшим летом в С.-Петербурге г. Пуанкаре высказал мне пожелание выяснить, насколько мы можем рассчитывать на помощь английского флота в случае такой войны.

Доверительно посвятив Грея в сущность нашего морского соглашения с Францией и указав на то, что, в силу заключенного договора, французский флот будет стремиться обеспечить наши интересы на южном театре войны, препятствуя австрийскому флоту прорваться в Черное море,—я спросил статс-секретаря, не может ли Англия, в свою очередь, оказать нам одинаковую услугу на севере, оттянув германские эскадры от нашего побережья в Балтийское море.

*Грей не колеблясь заявил, что если бы наступили предусматриваемые обстоятельства, Англия употребила бы все усилия, чтобы нанести самый чувствительный удар германскому могуществу.* В подлежащих ведомствах уже обсуждался вопрос о военных действиях в Балтийском море, но при этом выяснилось, что если английскому флоту и нетрудно было бы проникнуть в Балтийское море, то его нахождение там было бы сопряжено с значительной опасностью, так как ввиду возможности для Германии наложить руку на Данию и преградить выход через Бельт, он мог бы оказаться запертым, как в мышеловке. Англии, вероятно, придется ограничиться операциями на Северном море.

По этому поводу Грей, по собственному почину, подтвердил мне то, что я уже знал от Пуанкаре, а именно: *существование между Францией и Великобританией уговора, в силу которого, в случае войны с Германией, Англия обязалась оказать Франции помощь не только на море, но и на суше, путем высадки войск на материке.*

Коснувшись того же вопроса в одном из разговоров со мною, король высказался еще более решительно, чем его министр, и, с видимым раздражением упомянув о стремлении Германии сравняться с Великобританией в отношении морских сил, его величество воскликнул, что в случае столкновения последнее должно иметь роковые последствия не только для германского флота, но и для немецкой морской торговли, ибо англичане пустят ко дну всякое немецкое судно, которое попадется в их руки: We shall sink every single German merchant (shall get hold of).

Последние слова, повидимому, отражают в себе не только личные чувства его величества, но и господствующее в Англии настроение по отношению к Германии».

Итак, уже до начала первой балканской войны, т. е. раньше всех, более или менее случайных, поводов, приведших к кризису 1914 г. настроение вождей английской буржуазии не оставляло ничего желать в смысле определенности. Если Франция и Россия будут драться с Германией, Англия непременно примет участие в драке на стороне России и Франции. Но этим последним одного настроения было мало. Настроение—вещь переменчивая; им нужны были вещи более прочные; в частности России было нужно получить от Англии такое же формальное обязательство, какое она имела уже со стороны Франции. Но связать себя английские империалисты отнюдь не были склонны; они прекрасно понимали, что царские дипломаты такие люди, которым дай палец, они потянут и всю руку. Вот почему протянуть хотя бы палец они решились не иначе, как после очень зрелого размышления. В Петербурге это приводило людей в нервное состояние, близкое к истерике. В наших бумагах имеется следующий любопытный документ, который мы приводим целиком, ибо он весьма характерен со многих сторон:

«Собственноручная надпись Николая Романова (*синим карандашом*): «должно быть, sir Buchanan сообщил Палеологу мой разговор с ним».

Далее, рукой Сазонова надпись (*чернилами*):

Ливадия, 11 апреля, 1914 г.
Г-н Палеолог Думергу в Париже.
Спб. апрель 1914 г. № 154 и 155.
*Секретно:*

(*Шифром*)

Мне известно из частного и верного источника (слова «из частного источника» подчеркнуты дважды синим карандашом), что весь последний разговор императора с его министром иностранных дел перед отъездом в Крым был посвящен целиком вопросу англо-русского союза (сбоку вопросительный знак простым карандашом). Обсуждая более или менее близкую угрозу столкновения между Россией и Германией, его величество предусматривал также возможность возобновления враждебных действий между Грецией и Турцией. В этом случае оттоманское правительство закроет проливы. Россия не могла бы отнестись равнодушно к этой мере, столь вредной для ее торговли и для ее престижа.

—«Чтобы вновь открыть проливы,—сказал его величество,—я прибегну к силе».

Но не встанет ли Германия тогда на сторону Турции? Вот в этом возможном вмешательстве Германии император Николай и видел главную опасность новых осложнений, грозящих Востоку. И вот, для того, чтобы помешать Турции получить помощь Германии и в особенности, чтобы обеспечить себе (в подлиннике белое место), он надеется на быстрое заключение соглашения с Англией.

«Я позволю напомнить вашему превосходительству, что император Николай заявил мне, что он был бы очень благодарен г. президенту, если тот в разговоре с королем Георгом приведет доводы, требующие, согласно его мнению, сближения англо-русских отношений.

Не сочтет ли нужным г. президент сообщить императору лично о результате его разговоров?

Я знаю, что Сазонов тоже будет рад всякому сообщению по поводу наших разговоров с сэром Эдуардом Греем».

Нравы дипломатии старого строя здесь, как в зеркале. Один посплетничал другому, тот спешит протелеграфировать подхваченный секрет своему начальству, но его депешу, в свою очередь, перехватывают по дороге (даром, что союзники), и она попадает в руки того самого, кого касалась сплетня. Этот последний, впрочем, едва ли не был этим весьма доволен, ибо суть для него в том и состояла, чтобы заставить своего друга на берегах Сены немножко пошевелиться и выудить более реальные доказательства симпатий другого друга. Депеша Палеолога, видимо, заставила, наконец, Пуанкаре «обратить внимание» на русскую истерику. Как раз в том же апреле месяце столицу французской республики удостоили посещением король Георг и Эдуард Грей. Решено было воспользоваться этим случаем, и 16 (29) апреля Извольский имел возможность «весьма доверительно» сообщить своему начальству по поводу приезда англичан нижеследующее:

«Обмен мнений между французскими и английскими государственными людьми, прежде всего, коснулся отношений между Францией и Англией; приступая к нему, обе стороны единодушно признали, что существующие между обеими странами соглашения не нуждаются ни в каком формальном изменении или дополнении и что, продолжая последовательно и лойяльно применять ко всем выдвигаемым политическим вопросам так называемые «entente cordiale», Франция и Англия тем самым с каждым днем укрепляют и развивают соединяющие их узы; при этом признано также, что Россия самым тесным образом приобщается как Францией, так и Англией к их совместной политике. Мысль эта, как вы конечно изволили заметить, вполне рельефно выражена в опубликованном здесь и в Лондоне после вышесказанного совещания сообщении печати: г. Думерг[1] сказал мне, что каждое слово этого сообщения, редактированного г. Камбоном[2], было тщательно взвешено и проверено не только им самим, но и сэром Эдуардом Греем, который всецело одобрил упоминание в нем России, а также указание, что целью *трех держав является поддержание не только «мира», но и «равноправия»*.

Окончив обсуждение различных стоящих на очереди вопросов текущей политики, г. Думерг перешел к вопросу об отношениях между Россией и Англией и высказал сэру Эдуарду Грею условленные между ним и мною пожелания; при этом он выставил в пользу более тесного англо-русского соглашения, главным образом, два аргумента: 1) усилия Германии отвлечь нас от Тройственного согласия, как являющегося будто бы неналаженной и слабой политической комбинацией и 2) возможность, путем заключения между нами и Англией морской конвенции, освободить часть английских морских сил для энергичных действий не только в Балтийском и Немецком морях, но и в Средиземном море (г. Думерг указал, между прочим, сэру Эдуарду Грею, что через два года у нас будет в Балтийском море сильная эскадра, составленная из дредноутов). Сэр Эдуард Грей ответил г. Думергу, что лично он вполне сочувствует высказанным им мыслям и был бы вполне готов заключить с Россией соглашения наподобие тех, которые существуют между Англией и

[1] Тогдашний французский министр иностранных дел.
[2] Французский посол в Лондоне.

Францией; он не скрыл, однако, от г. Думерга, что не только в среде правительственной партии, но даже среди членов кабинета имеются элементы, против России предубежденные и мало склонные к дальнейшему сближению с нею; он выразил, тем не менее, надежду что ему удастся склонить г. Асквита и других членов кабинета к своей точке зрения и предложил следующий modus procedendi: прежде всего оба кабинета, лондонский и парижский, могли бы по взаимному уговору сообщить санкт-петербургскому кабинету все существующие между Францией и Англией соглашения, а именно: 1) выработанные генеральными и морскими штабами сухопутную и морскую конвенции, имеющие, как вам уже известно, так сказать, условный характер, и 2) политическое соглашение, оформленное обменом писем между сэром Эдуардом Греем и французским послом в Лондоне; в письмах этих выражено, что в случае, если по ходу событий Англия и Франция решаются на совместное активное выступление, «они примут во внимание» указанные конвенции. Одновременно с этим сообщением лондонский и парижский кабинеты могли бы спросить нас, как мы относимся к затронутому в нем предмету, а это могло бы, в свою очередь, подать нам повод приступить к обмену мнений с Англией о заключении соответствующего англо-русского соглашения. По мысли сэра Эдуарда Грея, между нами и Англией могла бы быть заключена лишь морская, а не сухопутная конвенция, ибо сухопутные силы Англии уже заранее распределены и, очевидно, не могут кооперировать с русскими. Сэр Эдуард Грей присовокупил, что, тотчас по возвращении в Лондон, он предложит вышеизложенный план действий на обсуждение г. Асквита и других своих коллег. На вопрос г. Думерга, не думает ли он, что было бы желательно придать соглашениям между Россией, Францией и Англией форму не параллельных соглашений, а единого «тройственного» соглашения, сэр Эдуард Грей ответил, что лично он не исключает подобной возможности, но что об этом может быть речь впоследствии, в связи с технической выработкой предполагаемого англо-русского соглашения.

Все трое присутствовавших на совещании—г. Думерг, Камбон и Де Маржери [1]—сказали мне, что они были поражены выраженной сэром Эдуардом Греем ясною и определенною готовностью вступить на путь более тесного сближения с Россией; по их убеждению, высказанные им оговорки относительно г. Асквита и других членов кабинета имеют лишь формальный характер, и если бы он не был заранее уверен в их согласии, он воздержался бы от столь конкретных предложений».

Мы видим, какую малую роль в возникновении войны играл факт, вокруг которого империалистской печатью стран Согласия был поднят наибольший шум. В апреле 1914 г. и помина не было еще ни о каком нарушении бельгийского нейтралитета, а сэр Эдуард Грей выражал ясную и определенную готовность «организовать совместные действия английских военных сил не только с Францией, но и с Россией». Ниже мы увидим, что столь возмутившее всех честных людей попрание немцами основных начал международного права по отношению к Бельгии рассматривалось франко-русской дипломатией как событие чрезвычайно желательное для обеих союзниц, что, впрочем, каждому, не только честному, но и и не глупому, человеку было яснее дня с первой же минуты. Но об этом после. Пока доскажем судьбу морской конвенции между Россией и Англией. Переговоры о ней начались сейчас же, как только

[1] Начальник политического департамента французского министерства иностранных дел.

Николай Романов получил нижеследующее очень краткое, но, тем не менее, очень «важное известие» от Сазонова:

«Французский посол сообщил мне, что, согласно полученной им из Парижа секретной телеграмме, великобританское правительство решило уполномочить английский морской генеральный штаб вступить в переговоры с французскими и русскими военно-морскими агентами в Лондоне, с целью выработать технические условия возможного содействия морских сил Англии, России и Франции.

Г-н Палеолог прибавил, что, по уговору между английским и французским правительствами, нам должно быть сообщено содержание заключенных до сих пор между Англией и Францией соглашений на случай совместных военных действий на суше и на море.

О сем приемлю смелость всеподданнейше доложить вашему императорскому величеству ввиду особой важности изложенного сообщения.

(*Подпись*) Сазонов».

Чтобы не возбуждать внимания заинтересованных лиц, а наипаче германской дипломатии, решено было, в противность тому, как было поступлено при заключении франко-русской морской конвенции (то ведь был секрет полишинеля, а это был настоящий секрет), не двигать с места больших колпаков военно-морского мира, а послать людей помельче, передвижения которых из города в город газеты не замечают. Ведение переговоров было доверено русскому агенту в Англии, капитану Волкову. В «заключениях», которыми его снабдили от морского генерального штаба, говорилось, между прочим:

«На северном театре войны наши интересы требуют, чтобы Англия удержала возможно бо́льшую часть германского флота в Немецком море. Это компенсировало бы подавляющее превосходство германского флота над нашим и, быть может, позволило бы в благоприятном случае предпринять десантную операцию в Померании. Если бы оказалось возможным приступить к этой операции, осуществление ее представило бы значительные трудности вследствие слабого развития наших транспортных средств в Балтийском море. Английское правительство могло бы оказать нам в этом деле существенную услугу, согласившись *до открытия военных действий* перенести в наши балтийские порты такое количество торговых судов, которое восполнило бы недостаток наших транспортных средств».

Но как ни «спешил» лондонский кабинет «войти в виды, которые были ему изложены в Париже», понимая «не только практическую пользу дела, но и необходимость дать некоторое выражение намерениям, которые, существуя в действительности, всегда оставались, тем не менее, недостаточно ясными» (письмо русского посла в Лондоне от 20 мая—2 июня 1914 г.), прямолинейность русского морского штаба могла его испугать, и тот же русский посол в Лондоне предупреждал капитана Волкова, что о десанте в Померании и о посылке с этой целью в Балтийское море английских транспортов еще до начала войны следует говорить с большой осторожностью и лишь тогда, когда по всем остальным пунктам будет достигнуто полное соглашение, «чтобы не повредить прочему» (то же письмо).

Повидимому, с русской стороны была обнаружена недостаточная воспитанность и в другом отношении: в Петербурге не только

чересчур спешили, как водится, но и болтали больше, чем следует. В результате кое-что из секрета проникло-таки в европейскую печать, хотя и с неточностями. 13—26 июня, ровно за месяц до начала кризиса, тот же русский посол телеграфировал из Лондона:

«Грей мне сказал сегодня, что он очень обеспокоен лживыми слухами, циркулирующими в германской прессе насчет заключения так называемой англо-русской морской конвенции относительно проливов; он счел долгом конфиденциально переговорить по этому поводу с германским посланником, который отправляется в Киль, где он увидит императора Германии. Грей категорически заявил посланнику, что уже более пяти лет как Англия и Россия в своих переговорах не касались проливов. Он заявил, что между Англией, Францией и Россией не существует ни союза, ни конвенции. Он прибавил, однако, что он никоим образом не желает скрывать, что степень близости между тремя правительствами в последние годы была такова, что они постоянно совещались между собою обо всем, при всяком случае, как если бы они были союзниками. С другой стороны, он заявил, что никогда, в течение этих лет, ни при каком случае эти переговоры не имели характера, угрожающего Германии, и не преследовали того, что называется политикой окружения—enrolement».

Щедринское «вне оного, но как бы в оном» никогда не находило себе столь идеального выражения. Куда Щедрину до дипломатов! Сравнив это заявление Грея со всем вышеизложенным, читатели поймут, почему дипломатия буржуазного общества могла быть лишь тайной.

Итак, программа была дана. Нападения России на Турцию Англия не потерпит. Но если в борьбу из-за проливов будет вовлечена Германия, содействие англичан обеспечено. Следовательно, чтобы овладеть «дверью от собственного дома», нужно устроить такую войну, где немцы непременно были бы на сцене. Нам остается проследить, как эта программа осуществилась.

## III

Когда разразился кризис июля 1914 г. положение выяснилось уже окончательно. Вполне возможно, что даже главные действующие лица до последней минуты не были уверены, что роковой час действительно наступил. Но что он наступает, на этот счет не могло быть двух мнений приблизительно с апреля—мая этого года. Характерно, что предчувствие кризиса уже совершенно определенно носилось в воздухе за несколько дней до открывшего кризис в глазах широкой публики австрийского ультиматума. Уже 9/22 июля русский посол в Лондоне доносил, что Грей «попрежнему очень встревожен» проектами Австрии касательно Сербии. «Попрежнему»—значит начал тревожиться значительно раньше этого дня. Основные тревоги Грея настолько любопытны, что стоит их привести. Они нашли себе выражение в телеграмме, посланной Греем Бьюкенену в тот же день.

«Возможно,—читаем мы здесь,—что результатом судебного разбирательства в Сараеве будет выяснение того факта, что убийство было подготовлено на сербской территории, по небрежности со стороны сербского правительства».

Проницательные люди дипломаты, можно сказать, — на три аршина в землю видят! Еще судебное разбирательство и не начиналось, а уже Грей предвидел его результат. Тут кстати вспомнить, что именно из Лондона неоднократно предупреждали Сазонова насчет неосторожности в образе действий русского представителя в Белграде. Правда, что тот, на чей счет непосредственно относились эти предостережения, Гартвиг, был уже на том свете. Но практические англичане отнюдь не склонны были смотреть на вопросы исключительно с точки зрения индивидуальности русского посланника. Гартвиг умер, но «традиции» его политики, традиции русской политики на Балканах, вообще оставались прежними. Вдруг преемник Гартвига займет определенную позицию, — это был бы факт «чрезвычайно трудно поправимый» [1], а между тем, как мы сейчас увидим, Грей далеко еще не чувствовал под ногами вполне твердой почвы. Русские всегда спешили, и лондонский кабинет имел все основания опасаться, что эту досадную особенность они проявят и в настоящем случае.

В Петербурге, действительно, так спешили, что это тревожило не только мнительных англичан, но и испытанных друзей, французов, из кабинета Пуанкаре. Секретная переписка Извольского с Сазоновым сохранила нам интереснейшую телеграмму от 17—30 июля 1914 г. № 2 (10), которую необходимо привести целиком.

«Продолжение № 209. Копия в Лондон. Прошу срочных распоряжений. Маржери, с которым я только виделся, сказал мне, что французское правительство, отнюдь не желая вмешиваться в наши военные приготовления, считало бы крайне желательным, ввиду продолжающихся переговоров с целью сохранить мир, чтобы приготовления эти носили как можно менее открытый и вызывающий характер. Со своей стороны военный министр, развивая ту же мысль, высказал графу Игнатьеву, *что мы могли бы заявить, что в высших интересах мира мы согласны временно замедлить мобилизационные мероприятия, что не помешало бы нам продолжать и даже усилить военные приготовления*, воздерживаясь, по возможности, от массовых перевозок войск. В девять с половиной часов под председательством Пуанкаре состоится совет министров, после коего тотчас увижусь с Вивиани.

*(Подпись)* Извольский».

Пишущий эти строки пользуется случаем, чтобы исправить одну свою ошибку. В своей статье «Виновники войны» (см. сборник «Внешняя политика», М. 1919) он, основываясь на французской «Желтой книге», имел неосторожность заподозрить русское правительство в том, что оно приступило к мобилизации, даже не подумав спросить мнение своего французского союзника. Оказывается, союзник был настолько посвящен в дело, что мог давать даже чрезвычайно полезные советы по технической части. Это, само собою разумеется, заранее предполагало полнейшую солидарность. Официальная Франция не менее официальной России готова была воевать и прекрасно понимала, что вся эта канитель, имеющая целью якобы «предупредить нарушение европейского мира», была рассчитана лишь на отвод глаз простоватой публики. Наверху отлично

[1] Слова в кавычках—из той же телеграммы Бенкендорфа от 9/22 июля.

знали, на что и к чему идут. Нижеследующая секретная телеграмма Сазонова Извольскому не оставляет никакого сомнения на этот счет. Приводим ее также целиком.

«Секретная телеграмма послу в Париже.
Сообщается в Лондон.
С.-Петербург, 16/29 июля 1914 г. № 1551. Срочно.

Германский посол заявил мне сегодня о решении своего правительства мобилизовать свои силы, если Россия не прекратит делаемых ею военных приготовлений. Между тем, таковые стали приниматься нами только вследствие состоявшейся уже мобилизации восьми корпусов в Австрии и очевидного нежелания последней согласиться на какой бы то ни было способ мирного улажения своего спора с Сербией.

Так как мы не можем исполнить желания Германии, нам остается только ускорить наше вооружение и считаться с вероятной неизбежностью войны. Благоволите предупредить об этом французское правительство и вместе с тем высказать ему нашу искреннюю благодарность за сделанное мне от его имени французским послом заявление, что мы можем в полной мере рассчитывать на союзническую поддержку Франции. При нынешних обстоятельствах это заявление для нас особенно ценно. Было бы крайне желательно, чтобы и Англия, не теряя времени, присоединилась к Франции и России, так как только таким образом ей удастся предотвратить опасное нарушение европейского равновесия.

*(Подпись)* Сазонов».

Обращаем внимание читателей на дату этой телеграммы. В среду 29 июля комедия «усилий сохранить европейский мир» была в самом разгаре, а Сазонов отлично понимал, что «нам остается только ускорить наше вооружение». Если он все-таки трепетал, то не за мир, а за исход войны. Пока не был решен вопрос о роли Англии, дело продолжало оставаться рискованнейшей авантюрой, какую только можно себе вообразить. Для Петербурга и Парижа интереснейшим больным в мире было в этот момент английское «общественное мнение», и этому больному неукоснительно щупали пульс чуть ли не по нескольку раз в день. Телеграммы Бенкендорфа производят впечатление настоящих медицинских бюллетеней. В начале кризиса диагноз был как будто совсем благоприятным.

«Язык Грея с сегодняшнего дня стал гораздо яснее,—телеграфировал Бенкендорф 14—27 июля 1914 г.,— он очень рассчитывает на впечатление, произведенное мерами, принятыми во флоте, опубликованными сегодня и решенными в субботу вечером» (т. е. немедленно после опубликования австрийского ультиматума, который появился в газетах в пятницу 24 июля). «Полученная вчера телеграмма Бьюкенена произвела, кажется, очень полезное впечатление. Во всяком случае, уверенность Берлина и Вены в нейтралитете Англии не имеет более оснований.

*(Подпись)* Бенкендорф».

Но, как часто бывает с первыми бюллетенями, и этот оказался чересчур оптимистическим. Уже через три дня Бенкендорф телеграфировал:

«Камбон запросил Грея, считает ли он, что момент настал. Грей ответил ему, что момент наступит, как только позиция Германии вполне выяснится. Камбон не настаивал более, так как Англией приняты серьезные меры не только на море, но и на суше. Камбон говорит, что, по его мнению, положение в глазах парламента выяснилось недостаточно для того, чтобы Грей, не рискуя, мог открыто выступить сегодня же».

А на другой день картина сделалась уже совсем угрожающей. Вот что мы читаем в телеграмме Бенкендорфа от 18/31 июля:

«Грей отлично понимает положение и видит совершенно ясно, что некоторая реакция в парламенте создает для него серьезные затруднения и принуждает его к большой осторожности. Помимо огромной немецкой агитации, вчерашний «Таймс» в резкой, но не очень удачной статье поставил данный вопрос, как специально славянский, между Австрией, Сербией и Россией, очень нетактично обходя молчанием французские, английские и европейские интересы. Вместо пользы эта статья принесла вред. Сегодня публика, и даже парламент, рассматривают вопрос, как специально славянский. Это, я думаю, скоро разъяснится. Прошу вас принять в расчет, что правительство не может выступить, не подготовив общественного мнения. С точки зрения значения содействия Англии необходимо принять это во внимание. Печать сохраняет тенденцию последних дней, но главные органы слишком перегоняют общественное мнение и уже не отражают его вполне точно. Кризис наступит лишь в тот день, когда европейская сторона вопроса станет очевидной вследствие опасности нападения на Францию. Таково, по крайне мере, мое мнение и мнение Камбона. Примите это, насколько возможно больше, во внимание».

Итак, если положение было не вполне ясно в Лондоне, ничего не могло быть яснее для Петербурга. Снова и снова дело попадало на те же рельсы: чтобы иметь гарантию, что Англия будет воевать на стороне России и Франции, нужно было вытянуть на поле битвы Германию. Но для этого имелось верное средство: нападение России на Австрию или, по крайней мере, такое положение России, при котором это нападение представлялось бы Германии неизбежным. Теперь нам становится понятна та роль, которую должна была сыграть русская мобилизация. Как известно, в своих дипломатических оправданиях царское правительство всячески отрицало, что оно начало мобилизовать первое, ибо совершенно очевидно, что тот, кто первый начал мобилизацию, и является непосредственным виновником войны. Нижеследующая телеграмма Сазонова Бенкендорфу, отправленная на другой день после объявления войны, является самым ярким самоизобличением, какое можно себе в этом случае представить.

«Германия явно стремится переложить на нас ответственность за разрыв. *Наша общая мобилизация была вызвана громадной ответственностью, которая создалась бы для нас, если бы мы не приняли все меры предосторожности* в то время как Австрия, ограничиваясь переговорами, носившими характер проволочки, бомбардировала Белград. Государь император своим словом обязался перед германским императором, что не предпримет никаких вызывающих действий, пока продолжаются переговоры с Австрией. После такого ручательства и после всех доказательств миролюбия России, Германия не имела права и не могла сомневаться в нашем утверждении, что мы примем с радостью всякий мирный выход, совместный с достоинством и независимостью Сербии. Иной исход был бы совершенно несовместимым с нашим собственным достоинством и, конечно, поколебал бы равновесие Европы, утвердив гегемонию Германии. Этот европейский мировой характер конфликта бесконечно важнее повода, его создавшего».

«Повод, нужно признать, пришел во-время: в самый день русской мобилизации лондонский бюллетень был чернее ночи. Бенкендорф телеграфировал:

«... сегодня было констатировано, что в настоящий момент парламент не может одобрить определенной позиции, что сербское дело не имеет никакого значения в глазах общественного мнения, что все финансовые, торговые и промышленные центры северной Англии против войны».

А несколько часов спустя Бенкендорф прямо бил тревогу:

«Прошу срочно инструкций. Лично. События могут развиваться так быстро, что всякое, слишком поспешное суждение о позиции Англии в настоящий момент могло бы быть вредным и, в особенности, парализовать Грея, влияние которого может возродиться в несколько часов» (телеграммы Бенкендорфа от 18/31 июля № 223 и 224).

Когда отправлялась эта телеграмма, в Лондоне уже знали об объявлении Германией «кригсцуштанда», «изображаемого германским правительством как ответ на приказ о мобилизации морских и сухопутных сил в России» (слова Бенкендорфа). Изображение едва ли очень грубо искажало оригинал, ибо еще утром 18 (31) июля в Париже была получена от Палеолога, французского посла в Петербурге, телеграмма, «подтверждающая полную мобилизацию русской армии без всяких исключений» (секретная телеграмма Извольского от вечера того же числа). Если и после этого приходилось говорить о восстановлении влияния Грея в будущем времени, это показывает, насколько туго реагировало в этот момент «общественное мнение» Англии на австро-русско-сербский конфликт. Но, раз лавина мобилизаций начала двигаться, остальное совершилось само собою уже автоматически. 20 июля (2 августа) Извольский телеграфировал Сазонову:

«Немцы переходят отдельными маленькими отрядами французскую границу, и на французской территории уже произошло несколько стычек. Это даст возможность правительству заявить палатам, созванным во вторник, что на Францию сделано нападение, и избежать формального объявления войны. Сегодня получено известие, что германские войска вступили на люксембургскую территорию и тем нарушили нейтралитет герцогства, гарантированный трактатом 1867 г., подписанный, между прочим, Англией и Италией. Это обстоятельство считается весьма выгодным для Франции, ибо оно неминуемо вызовет ответ со стороны Англии и заставит ее действовать более энергично. Есть также известие, что германские войска двигаются по направлению к Арлону, что указывает на намерение нарушить и бельгийский нейтралитет. Это будет еще более чувствительным для Англии. Председатель Совета министров тотчас телеграфировал в Лондон, поручая Камбону обратить внимание Грея на это».

«Весьма выгодное для Франции» нарушение нейтралитетов сделало свое дело, и 4 августа Англия уже воевала с Германией. Понимала ли эта последняя, атакуя Льеж, что она идет тем самым в мышеловку русско-французской провокации? Но можно поставить и другой вопрос: понимали ли русско-французские провокаторы, что их ведет на поводу военная партия Германии? Кто кого тут обманывал? Мы думаем, что, в данном кругу,—никто и никого: война была нужна всем империалистским хищникам, и обман был нужен не для них, а для тех народных масс, которые они гнали на бойню. Этим массам и «втирали очки».

*«Еженедельник Правды»*

*Орган Центрального комитета и Московского окружного комитета Российской коммунистической партии (большевиков) №№ 5, 6, 7, (23/II, 2/III, 9/III 1919 г.).*

## ТРИ СОВЕЩАНИЯ

Что война 1914 г. была для императорской и буржуазной России *объективно*, войной за Царьград, войной за «турецкое наследство», это для людей мало-мальски проницательных было ясно с самого начала. Иначе быть *не могло*—к этому вела вся политика русского империализма, начиная от времен Николая I, если не Екатерины II. Но оставалась под вопросом *субъективная* сторона дела. Увлекал ли Николая Последнего и его министров злой рок? Соблазнились ли они попутно возникшей перед ними, благодаря всемирной бойне, возможностью осуществить заветную мечту ряда романовских поколений (мы уже знаем теперь, что к Константинополю «царь-миротворец», Александр III, не менее жадно протягивал руку, чем его отец и дед)? Осмелились бы они начать войну ради этой цели даже независимо от той «благоприятной» конъюнктуры, какая обрисовалась перед ними летом 1914 г.? На все эти вопросы до сих пор можно было отвечать лишь гадательно.

Работы состоящей при Социалистической академии Комиссии по изучению войны 1914—1918 гг. дали возможность поднять завесу. Мы знаем, как готовили четвертую восточную войну русские дипломаты. Но то было делом отдельных лиц. Из этого круга не выводило вопроса даже и явное соучастие самого Николая: оно только лишний раз подчеркивало, до чего и здесь, как повсюду, фактическим самодержавцем был Григорий Распутин. Из писем Александры Федоровны мы знаем, что благочестивое негодование «нашего друга», вызванное картиною глубокого унижения христиан в столице православного мира, вошло определяющим мотивом в психологию тех, кто своею подписью должен был скреплять требования русского империализма на Ближнем Востоке (см. в письмах А. Ф. к мужу письмо, стоящее под № 289,—от 5 апреля 1915 г.). Но психология подписывающего автомата, по существу дела, пожалуй, даже менее интересна, нежели личная психология какого-нибудь Извольского. Тот все-таки «творил» и, так или иначе, накладывал печать своей личности на события. А у этого вся индивидуальность выразилась разве только в его почерке,—да и тот настолько похож на почерк его отца (отчасти и деда), что может

быть назван *общеромановским*, как в костюмерских каталогах бывает костюм «общеиспанский». Словом, соучастие Николая II не придает никакого интереса делу. Открытие каких-либо его писем по этому вопросу (мы имеем пока, главным образом, лишь его гениально бессодержательные дневники), если бы только в них не нашлось *фактических данных*, нам неизвестных, имело бы куда меньше значения для историка, чем письма не только какого-нибудь Фридриха II или Екатерины II, но хотя бы даже Николая I.

Шаг вперед мы сделали бы, если бы от взглядов и настроений *отдельных лиц* мы могли перейти к психологии и идеологии *правящих групп*. Секретные документы нам показывают, как разрабатывался вопрос о Константинополе не только русскими *дипломатами*, но русским *правительством* в его целом. И, благодаря этому, перед нами обрисовывается все яснее и яснее *логическая неизбежность* этой войны, не только объективно, в ходе вещей, но и *субъективно*, во всем мировоззрении людей, ставших у власти в России к 1914 г. Мы видим, как навязчивая идея мало-по-малу устраняла со своей дороги все и всех, кто мешал ее реализации. Мысль— повоевать за Константинополь, т. е. вызвать *мировую войну* (это понимали все с самого начала), после Мукдена и Цусимы, после октября и декабря 1905 г., в первую минуту испугала всех. От нее отпрянули в ужасе. Но год проходил за годом, «конъюнктура» становилась все благоприятнее, перспективы все соблазнительнее— и «сферы» все больше и больше поддавались шепоту лукавого. К страшной в первую минуту мысли привыкали—дикое начинало казаться естественным, потом неизбежным. Протокол последнего совещания в феврале 1914 г. уже не знает *принципиальных* колебаний первого совещания в декабре 1908 г. Обсуждаются лишь *деловые* подробности, взвешиваются лишь *практические* затруднения. Но и они преодолимы—вопрос лишь во времени, ибо уже сказана роковая фраза, что Россия «вполне готова к единоборству с Германией, а в союзе с Англией и Францией может вызвать на бой весь остальной мир».

Готово ли самодержавие выдержать *вторую революцию в случае неудачной войны?* Этого вопроса в 1914 г. никто не ставит, а в 1908 г. он был фоном, на котором развертывались все прения. Царизм пьянел по мере того, как отрезвляющие воспоминания об октябрьской забастовке и декабрьских баррикадах окутывались дымкой далекого прошлого—среди слуг царизма всего смелее были люди, всех дальше стоявшие от «успокоения». Застрельщиком на совещании 21 января 1908 г. явился А. Извольский, тогда еще министр иностранных дел, а не посол в Париже. На другом посту он был тот же. Как и позже, его горизонт был усеян «черными точками». Как и позже, свою задачу он видел не в том, чтобы эти точки стереть (направленную к этой цели соглашательскую политику своего предшественника, Ламздорфа, он решительно осуждает), а в том, чтобы их *использовать*. Война неизбежна; отказываясь от участия в ней, *Россия* «рискует разом потерять плоды вековых усилий, утратить

роль великой державы и занять положение государства второстепенного значения, голос которого не слышен». Надо воевать, одним словом. Как это возможно? Тут выступает перед нами один из интереснейших мотивов речи Извольского. Война входит в область реального для России при условии *тесного сближения с Англией*; на его желательность уже «намекал» Извольскому английский посол,— русскому министру иностранных дел, изголодавшемуся по «активной политике», намека было достаточно. Вот как стара идея *наступательного* союза Англии и России против Германии! Еще в начале 1908 г. Англия готова была заплатить Константинополем тому, кто поможет ей раздавить ее континентального конкурента.

Но если Извольский без труда находил могучего внешнего попутчика по своей дороге, внутри, на самом совещании, объединившем крупнейшие фигуры «объединенного правительства» (присутствовал Коковцев, тогда еще только министр финансов, а председательствовал сам Столыпин), сочувствия было гораздо меньше. Безраздельно на сторону «активной политики» стал начальник генерального штаба, но его роль несколько напоминала роль медведя в известной басне о пустыннике. Когда генерал Палицын заговорил о том, что турки «зафрахтовывают пароходы для каких-то перевозок на Черном море», и стал делать отсюда вывод, что и нам самим нужно перевозить по тому же морю войска, готовясь начинать «действия против Босфора», вероятно, даже самому Извольскому краски должны были показаться наложенными слишком густо. Рука маляра, украшавшего безоблачный небосклон «черными точками», высунулась из-за кулис слишком уж по-простецки. А когда в дальнейших словах предприимчивого генерала появилась уже и втянутая в борьбу (само собою разумеется) Болгария, когда сейчас же затем обнаружилось, что «в настоящее время разрабатывается план мобилизации четырех корпусов», неприятное чувство дипломата должно было перейти в досаду. Такая откровенность не могла повести ни к чему доброму.

Тем более, что в рядах самих военных сразу же не оказалось единодушия. Помощник военного министра, генерал Поливанов (столь популярный потом в кадетских кругах, когда он стал министром во время войны) пустил первую струю холодной воды на одушевление инициаторов совещания. «Воинское обучение пошло не вперед, а назад... Недостает неприкосновенных запасов... Не хватает артиллерии, пулеметов, мундирной одежды...». Противникам «активной политики» что могло быть желаннее таких разоблачений военной администрации? Собираются воевать, а у самих ничего не готово. Да позвольте, запротестовал Коковцев, да мы этого вопроса и не рассматривали никогда совсем: готовится война, а «совет министров, объединенный указом 17 октября 1905 г., остается в полнейшем неведении» чуть не до последней минуты. Между тем, «правительство как целое будет нести заслуженную ответственность перед монархом и общественным мнением, если события примут неблагоприятный оборот»».

Тяжелая артиллерия заговорила последняя: под ее ударами должны были окончательно рухнуть иллюзии предприимчивых дипломатов и военных их друзей.

«Статс-секретарь Столыпин считает долгом решительно заявить,— читаем мы в протоколе, что в настоящее время министр иностранных дел ни на какую поддержку для решительной политики рассчитывать не может».

А чтобы его не упрекнули, чего боже сохрани, в пацифизме, премьер поспешил дать сразу же и объяснение своей более чем сдержанности:

«Новая мобилизация в России придала бы силы революции, из которой мы только что начали выходить. На этом пути достигнуты серьезные успехи; Россия (читай: дворянская Россия) проявила изумительную живучесть и снова собирается с силами. В такую минуту нельзя решаться на авантюры (sic!) или даже активно проявлять инициативу в международных делах. Через несколько лет, когда мы достигнем полного успокоения, Россия снова заговорит прежним языком».

У формулы «прежде успокоение, потом реформы», как видим, была своя, «внешнеполитическая» версия: прежде—успокоение, потом—Константинополь. Военные успокоители оказались в полном и совершенном согласии со штатскими. 28 января 1908 г. совет государственной обороны (от внутреннего, главным образом, врага, как всем известно) признал, что «вследствие крайнего расстройства материальной части в армии и неблагоприятного внутреннего состояния страны необходимо ныне избегать принятия таких агрессивных мер, которые могут вызвать политические осложнения». Николай, видимо и тогда плененный уже яркими перспективами «активной политики», утешил себя «кратким изречением народной мудрости», написав на докладе совета обороны: «Береженого и бог бережет». Извольского отправили вскоре затем в Париж, а на его место у Певческого моста поместился человек вполне надежный, в столыпинском смысле, зять премьера Сазонов. Что Извольскому удастся «совратить» и этого последнего, ускользнуло от предвидения Столыпина, да и случилось это лишь после того, как вождь русской реакции сошел со сцены. На дальнем плане и этого последнего события нельзя ли рассмотреть силуэт святой Софии? Не была ли причастна «военная партия» к этой легкости, с какою Багров мог подобраться 2 сентября 1911 г. к премьеру на расстояние безошибочного выстрела? Все это одни предположения, но, как бы то ни было, исчезновение «русского Бисмарка» до чрезвычайности облегчило игру русских Мольтке. Уже на следующем «совещании» 13 декабря 1913 г. мы находим совершенно иную картину, хотя председателем его и был все тот же Коковцев, и настроение последнего нисколько не изменилось.

В руках у военной партии был теперь козырной туз в образе немецкого генерала Лимана фон Сандерса, в качестве верховного инструктора турецкой армии являвшегося ее фактическим главнокомандующим. Это было побольше «черных точек», которые могли

ведь быть и обманом зрения. На этот раз и Коковцев должен был согласиться, что «Россия не может остаться равнодушной к командованию иностранным офицером частью в Константинополе, что создавало бы преимущественное положение в Турции для одной державы, изменяя направление всего ближневосточного вопроса». Он, правда, пытался было проводить тонкое различие между командованием «частью», т. е. ротой, батальоном или дивизией, и неопределенной «инспекцией», но военные члены совещания без труда доказали, что фактически нет разницы между «инспектором» и «командующим войсками», особенно при терминологии, принятой у турок. У Коковцева остался только один аргумент—проявить «активность» в вопросе о Лимане фон Сандерсе значит итти на конфликт не с Турцией только, но и с *Германией*: «желательна ли война с Германией и может ли Россия на нее итти?». Преемник Столыпина хорошо помнил старое, но если он надеялся «запугать» военную партию повторением аргументации покойного премьера, он жестоко ошибался. Не всякому по плечу дубина Геркулеса, и, увидав ее в руках столь мало способных ею орудовать, военные люди ощутили не страх, а новый прилив бодрости.

«Военный министр (Сухомлинов) и начальник генерального штаба (Жилинский) категорически заявили о полной готовности России к единоборству с Германией, не говоря уже о столкновении один на один с Австрией».

Вот если бы со всем Тройственным союзом пришлось иметь дело в одиночку, риск был бы: эта оговорка ничего не стоила военной партии, прекрасно знавшей, конечно, как о франко-итальянском соглашении, с одной стороны, так и о полной готовности Пуанкаре принять участие в драке, лишь только в нее вовлечена будет и Германия, с другой. Но военным надо было вытащить на сцену дипломатов и заставить их засвидетельствовать свою солидарность с партией «активной политики». Пусть скажут, что России нечего опасаться остаться одной.

Сазонов, однако же, хорошо помнил участь Извольского и при Коковцеве прямо скомпрометировать себя не дал. На вопрос Коковцева он ответил со своей стороны вопросом: «какое положение надлежит занять правительству в случае, если оно получит уверенность в активной поддержке Англии и Франции?». Открывать свои карты пришлось «партии мира». «Статс-секретарь Коковцев, считая в настоящее время войну величайшим бедствием для России, высказывался в смысле крайней нежелательности вовлечения России в европейское столкновение»,—говорит протокол, добавляя: «к каковому мнению присоединяются и остальные члены совещания». «Поймать» дипломатов и генералов на сей раз не удалось. Но неумолимый Сазонов продолжал свой допрос. «Министр иностранных дел, предусматривая возможность неудачи переговоров, ставит вопрос о том, какое должно быть принято решение в этом случае?». Положение Коковцева становилось все труднее. Он что-то говорил о каком-то финансовом бойкоте Турции, о том, что переговоры в Берлине «следует продол-

жать до выяснения полной их неуспешности», но, видимо, все более и более сам чувствуя себя прижатым к стене, должен был договориться до необходимости «перейти к намеченным мерам воздействия вне Берлина, в согласии с Францией и Англией», причем из дальнейшего было совершенно ясно, что, в случае обеспеченности «активного участия как Франции, так и Англии», можно будет рисковать даже и «войной с Германией». А мы знаем, что к этому моменту «активное участие» Англии было уже обеспечено на 50% вероятия, Франции—уже и на целых 100%. Подписывая «заключения» совещания, редактированные в духе заявлений Коковцева, делал уступку лишь «готовый к единоборству» Сухомлинов, Сазонов же мог считать себя победителем.

Как победитель, он и взял теперь дело в свои руки. На третьем совещании—последнем, 8 февраля 1914 г. председательствовал уже он, и кроме генералов и дипломатов, среди членов никого уже не было. Принципиальная игра считалась выигранной—переходили к практическому осуществлению плана. И тут, конечно, должно было обнаружиться, что практика слушается «единоборцев» гораздо хуже, чем теория. На поставленный Сазоновым вопрос «о десантной армии, ее составе и мобилизации» начальник генерального штаба должен был признаться, что и «трата войск на экспедицию против проливов и даже самая возможность этой операции зависят от общей конъюнктуры начала войны». «Единоборство» должно было потребовать такого напряжения сил, что, возможно, с западной границы не удастся увести ни одного батальона, да и южные корпуса придется перебросить туда же. Жилинский и его помощник Данилов утешали тем, что зато борьбой на западной границе решится и весь вопрос—ключи Святой Софии мы найдем в Берлине. Но беспристрастные свидетели, в лице специалистов морских, поспешили указать, что тем временем проливы «могут занять чужие флоты и армии»: к «моменту мирных переговоров» русские должны твердой ногой стоять в Константинополе—«только в таком случае Европа согласится на решение вопроса о проливах на тех условиях, на которых нам это необходимо». Мы увидим, что эта реалистическая точка зрения разделялась трезвыми людьми и долго после того, как Царьград был за Россией закреплен формальным договором с ее союзницами: свидетельством служит «всеподданнейшая докладная записка министра иностранных дел» от 21 февраля 1917 г.

«Надо иметь в виду,—писал в этом замечательном документе Н. Покровский,—что важнейшее для нас соглашение о Константинополе и проливах является в сущности лишь векселем, выданным Великобританией, Францией и Италией, но платеж по нему должен быть произведен третьим лицом—Турцией, которая в соглашении не участвовала и, в зависимости от обстоятельств на интересующем ее театре войны, может отказаться удовлетворить наши требования. Несомненно, что состояние географической карты войны к моменту открытия мирных переговоров будет иметь решающее значение для проведения в жизнь политических проектов».

Но в феврале 1914 г., как и три года спустя, средства русского империализма для изменения «географической карты» были, явно

и очевидно, недостаточными. Даже если бы потребные для десанта в Босфоре два или три корпуса (это был, опять-таки явно и очевидно, минимум, едва уравновешивавший силы, которые турки могли стянуть для защиты своей столицы в первый же момент) были как-нибудь найдены—военные авторитеты очень в этом сомневались—оставался вопрос: на чем их перевезти? И тут оборона переходила к морякам, а наступать могли уже сухопутные воители. «В отношении железных дорог», ведущих к черноморским портам, положение можно было «признать удовлетворительным», но дальше? Тут сам морской министр должен был признать, что «выполнение операции находится в мало удовлетворительных условиях». Главное затруднение лежит «*в полной недостаточности имеющихся у нас на Черном море перевозочных средств*». После этого можно было уже не искать затруднений второстепенных: эту неблагодарную задачу адмирал Григорович предоставил одному из своих подчиненных. Заключение этого последнего должно было прозвучать похоронным звоном в ушах штатских и военных «единоборцев»: «главным средством обеспечить перевозку столь значительной десантной армии» морской специалист признал...«развитие нашего торгового флота на Черном море». Но его, этот торговый флот, «развивали» уже 40 лет—и все же 95% всей нашей черноморской торговли оставались в иностранных руках. Сколько же лет нужно ждать еще?! А затем, если бы даже, всеми правдами и неправдами, удалось достать потребное число транспортных судов, являлся новый вопрос: кто же будет охранять эту новую армаду от турецкого *военного* флота? И тут обнаружилось, что к 1914 г. дело мало чем изменилось сравнительно с 1887 г.: турецкие морские силы, со включением двух новых, приобретенных Турцией, дредноутов, оказывались крупнее русских. У России в Черном море не было еще ни одного дредноута на воде, ближайший должен был появиться в 1915 г., расширить же силы своего флота *покупкой* новых броненосцев, как это делали турки, царь Николай не мог, ибо проливы, пока что, оказывались все еще закрытыми для русских военных судов. Оставалось только помешать дальнейшим покупкам турок, скупив за русский счет все имевшиеся на рынке готовые дредноуты, что уже и было решено морским ведомством еще до совещания. Дипломаты, узнав это, высказали «большое удовлетворение», от чего, впрочем, положение не стало удовлетворительнее, ибо все равно ясно было, что ранее 1915 г. (а строго говоря, даже ранее 1917 г., когда должна была быть готова вся черноморская бригада дредноутов), ни о каком захвате Константинополя с моря помышлять было нельзя.

Итак, для начала единоборства за Константинополь не дали этой отсрочки. Есть все основания думать, что нужна была отсрочка, может быть, года на три. Судьба и в этом случае приняла вполне конкретный облик. Мясоедов уже в то время состоял при Сухомлинове, и «чрезвычайно секретный» протокол оказался, по всей вероятности, в руках германского генерального штаба одновременно с тем, как Николай начертал на оригинале этого протокола свое одобре-

ние. В этой связи становится понятен тот адский шум, который подняла германская печать, как раз в марте 1914 г., по поводу агрессивных стремлений России. Теперь совершенно ясно, что этот шум должен был подготовить германские народные массы к тому, что их поведут на бойню... за Константинополь. Почему Германия должна была отложить фактическое начало войны до середины лета (дождавшись, тем временем, «второго предостережения» в образе переговоров об англо-русской морской конвенции), этого из наших документов не видно. Надо думать, что этот секрет откроет нам победа коммунистической революции в Берлине.

*„Вестник наркоминдела", 1919 г.*

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕР ВОЙНЫ

*(Доклад собранию московской интеллигенции 4 августа 1924 г.)*

Товарищи, сегодня, 4 августа, день вдвойне юбилейный, если может быть юбилей величайшего несчастья, какое обрушивалось на голову человечества за все время его существования. Сегодня, 4 августа, 10 лет тому назад Англия объявила войну Германии, и тем самым война, которая уже была европейской со дня русской мобилизации 30 июля, превратилась в войну мировую, в войну всемирную. И сегодня же, 4 августа, 10 лет тому назад германская с.-д. партия, наилучше организованная, наиболее сознательная из европейских рабочих партий, голосовала военные кредиты,—началась измена II Интернационала. Отсюда для сегодняшнего вечера естественно намечаются две темы. Первая тема: «Происхождение и характер войны» как мировой войны, каковою она сделалась со дня наступления Англии. Вторая тема: «Отношение к этой войне II Интернационала». Но, к сожалению, докладчик у нас один, и я заранее извиняюсь, что вторая тема—относительно II Интернационала—будет затронута лишь вскользь. Может быть кто-нибудь коснется этой темы в прениях, но особого доклада нет. Я постараюсь связать эти темы, тем более, что они прекрасно вяжутся, в моем, по крайней мере, понимании войны.

Большинство из вас помнит, вероятно, как объяснили возникновение мировой войны, т. е. именно события 4 августа, в те дни, когда война разразилась. Это было объяснение «от случайности», так можно было его назвать. Немцы нарушили нейтралитет Бельгии, Англия, поручившаяся за этот нейтралитет, не могла этого перенести и вмешалась в войну. Этот бельгийский гипноз был так силен, что, не стану скрывать, еще в 1917 г. в декабре я задавал вопрос одному из наиболее близко стоявших к делу лиц: а что, если бы Германия не нарушила бельгийского нейтралитета, быть может, Англия не вмешалась бы в войну, и война тогда в своем объеме и своей длительности сократилась бы? Мой собеседник сказал, что все равно Англия вмешалась бы, но не мог привести никаких доказательств этому. Теперь я имею этих доказательств гораздо больше, чем нужно,

и гораздо больше, чем мог бы я вам перечислить, если бы я об этом сюжете читал целый час. В то время это объяснение «от случайности» повторялось, и оно повторяется до сих пор. Мировая война была объявлена от имени Англии, Германии, как известно, кабинетом, в котором внешней политикой руководил сэр Эдуард Грей. И вот об этом Эдуарде Грее вы можете прочитать в американском историческом журнале в статье Бернадота Шмидта, что он, Эдуард Грей—пацифист. Бернадот не приводит документальных доказательств, он ссылается лишь на отзывы людей, близко знающих Грея. Но он мог бы сослаться на документы, притом очень свежие, по отношению к моменту возникновения войны. За два дня до появления австрийского ультиматума Сербии, 21 июля, Эдуард Грей имел разговор с румынским националистом Таке Ионеску, причем Грей больше всего выражал опасений, что в Европе может вспыхнуть война. Это причиняло ему большое беспокойство. Так как мы знаем, что английские приказы о мобилизации стали рассылаться в последних числах июля, т. е. приблизительно максимум через неделю после этого разговора Грея с Ионеску, и так как мы знаем, а кто из вас, товарищи, работал в армии, тот просто знает, как деловой факт, что приказ о мобилизации не есть дружеская записка, приглашающая на обед, наспех не пишется, это есть нечто, что составляется заранее, то в то время, когда пацифист Грей выражал ужас перед возможностью войны, в соответствующем ящике письменного стола соответствующего офицера английского генерального штаба уже лежал приказ о мобилизации, и он ждал телефонного звонка, чтобы вынуть его, запечатать в конверт и отправить в соответствующее место. Грей, если хотите, был прав, когда он выражал ужас перед надвигающейся войной в ту минуту, но насколько это совместимо с пацифизмом, насколько можно считать пацифистом человека, который говорил, как он ужасается войны, когда его правительство уже подготовило мобилизацию, об этом я предоставлю вам самим судить.

Объяснение от случайности таким образом приводит нас к целому ряду совершенно нелепых заключений. Я должен сказать, что если Грей был пацифистом, то позвольте вступиться за Николая II, он был пацифистом еще более завеменным, ибо он, а не кто другой, есть отец и родоначальник Гаагской мирной конференции, и эту Гаагскую мирную конференцию он совал в нос Вильгельму,—извиняюсь за несколько вульгарное выражение,—уже после того, как русская армия была мобилизована. Таким образом—все пацифисты. Сазонов тоже пацифист. Он уверял, что отнюдь не желает войны, и вел переговоры буквально до последней минуты, вел переговоры, можно сказать, сидя верхом на жерле заряженного и направленного в соответствующую сторону орудия.

Таким образом все они были мирные люди, все они войны не желали, и тем не менее война вспыхнула. Это доказывает, конечно, не неисповедимость судеб вселенной, а крайнюю глупость тех людей, которые пытаются объяснить войну чьим бы то ни было инди-

видуальным выступлением, выступлением отдельных личностей. Война—это есть настолько грандиозное явление, такой социальный катаклизм, что отдельные личности тут, действительно, стираются и стушевываются. А для того, чтобы открыть настоящие корни именно мировой войны, нам придется с вами пойти очень далеко назад от 1914 г., нам придется спуститься к середине 90-х годов XIX в. и в этих 90-х годах отыскать одну картинку, буквально картинку; не подумайте, что я собираюсь что-нибудь живописать вам словесно, к этому я совершенно не способен, а я хочу напомнить вам настоящее изображение, нарисованное карандашом и красками на бумаге. Те из вас, у кого волосы столь же побелели, как у меня, вероятно великолепно помнят эту картинку. Она изображала кучку явно встревоженных женщин, символизировавших различные европейские страны. Перед ними дама или мужчина, что-то в роде архангела, а когда говорят об архангеле, то нельзя понять, какого это пола, но, несомненно, германского типа, в блестящем вооружении и с огненным мечом в руке, на которого лезет из угла картины какая-то нечисть безобразного вида. А под всем этим подпись: «Народы Европы, берегите ваши священнейшие сокровища». Этот рисунок принадлежал императору Вильгельму II и был разослан всем его друзьям, а в первую очередь его другу и кузену Нике, русскому императору. Этим рисунком Вильгельм хотел прочнее запечатлеть, нагляднее иллюстрировать ту идею, которая проходит стержнем через все его письма к Николаю за этот период, за конец 90-х годов XIX в., идею, которую можно кратко формулировать так: нечего, братец, тебе смотреть на Европу, повернись-ка ты назад и посмотри, что делается на Дальнем Востоке, вот где настоящая опасность, вот откуда, как писал Вильгельм, «желтая раса, буддизм и язычество» угрожают арийцам и христианству. Христианство Вильгельм часто упоминал в этих письмах. Итак, Россия должна была обратиться спиной к Европе и направиться в ту сторону, где жили желтокожие, исповедывающие буддизм и язычество. Казалось бы, желтокожие были очень смирные и забитые, в особенности те желтокожие, которые жили на континенте, особенно китайцы. Они были в полном порабощении у европейского капитала и только теперь начинают стряхивать его, так что они никому не угрожали. Но, пойдя на Дальний Восток, русский царь и проводимая им, уже буржуазная, а не феодальная, Россия должны были лоб со лбом столкнуться с английским капиталом, который как полный хозяин царил на этом Дальнем Востоке, где он засел с середины XIX столетия. И не подлежит никакому сомнению, что все эти картинки и вопли о христианстве и язычестве и пр. имели в виду устроить конфликт России и Англии в Азии и этим оторвать у Англии возможного и чрезвычайно ценного союзника. Попросту говоря, Вильгельм II уже в 90-х годах XIX в. начал ту политику окружения, с которой он по отношению к Англии столько кричал 10 лет после этого. Первое окружение начал он. Мы должны быть справедливы ко всем сторонам и должны констатировать, что гораздо раньше, чем англичане

начали «окружать» Вильгельма, он уже пытался «окружить» англичан.

В 1901 г. в сентябре на свидании с Вильгельмом Николай II поразил его, как выражается Вильгельм. Он был, рассказывает он, «überrascht» тем, что Николай II собирается воевать с Японией. Пораженный Вильгельм тотчас после того, как расстался с Николаем, вероятно, радостно потирал себе руки и говорил: клюнуло, пошло дело. И действительно, все настойчивее на Дальнем Востоке готовилось столкновение, причем ясно было, что по существу это столкновение России с Англией. В 1901 г. Николай соткровенничал о том, что он собирается воевать с Японией. В 1902 г. Англия заключила с Японией союз. Англия и Япония сделались в Азии одним политическим целым. В 1903 г. Николай говорил опять о войне, но говорил, что она откладывается, так как он не готов. Японцы нашли, что они достаточно готовы, и в январе 1904 г. атаковали Николая. Через несколько месяцев, осенью 1904 же года Россия и Англия были на палец от войны. Эскадра Рождественского, шедшая под Цусиму, в припадке дикой паники расстреляла английских рыбаков, приняв рыбачьи суда за японские миноносцы; после этого конфликт между Англией и Россией казался неизбежным. Николай судорожно схватывает карандаш и пишет Вильгельму телеграмму: «У тебя был какой-то проект союза Германии и России против Англии, пожалуйста поскорее пришли его мне». Вильгельм тут уже был на седьмом небе, а еще через несколько месяцев, летом 1905 г., состоялось знаменитое свидание в Бьёрке, где, как патетически восклицает в своих письмах Вильгельм, «мы перед богом подали друг другу руки и обязались быть союзниками против Англии». К несчастью Вильгельма, его соперник Англия, в лице тогда короля Эдуарда VII, оказалась хитрее, и в тот момент, когда Николай был готов подписать договор с Германией, оказалось, что его старая союзница, Франция, стала союзницей Англии. Надо принять в расчет положение Николая в то время. Это было в конце японской войны, летом 1905 г., денег не было, деньги достать можно было только в Париже и в крайнем случае еще в Лондоне. Берлин их дать не мог, потому что все германские накопления поглощались германской промышленностью, росшей чрезвычайно бурно. Таким образом ожидать каких бы то ни было воспособлений по денежной части от Германии Николаю не приходилось. Между тем Франция только что связалась с Англией. Николай весьма естественно сказал Вильгельму: прости, братец, едва не подписал, но я должен сначала посоветоваться с французами, что они скажут, иначе я, можно сказать, совершенно на сухом месте, денег у меня нет. Не знаю, рвал ли Вильгельм на себе волосы и рвал ли он на себе что-нибудь, но, несомненно, он рвал и метал. Он писал Николаю укоризненные письма, где был и бог и христианство, но договор в Бьёрке так и остался не подписанным.

Именно в это время, летом 1905 г., Вильгельм и потерпел первое крупное дипломатическое поражение, предопределившее все остальное. Раз ему не удалось окружить Англию, совершенно естественно,

что Англия начала окружать его. Я, впрочем, товарищи, ни на одну секунду не думаю отрицать, что Англия сделала бы это и по собственному почину. Я сейчас вам изложу факты, которые вам покажут, что иначе быть не могло. Но хронологически дело шло так: сначала пытался окружить Вильгельм, теперь стала окружать Англия. В 1907 г. между Англией и Россией было заключено известное соглашение по восточным делам, касающееся Дальнего Востока и Персии, а в том же самом 1907 г., как рассказывает нам адмирал Колчак, рассказывает в самый трагический момент своей жизни, когда он стоял перед расстрелом, и, вероятно, не врал, в том же году, говорит Колчак, наши военный и морской штабы, обсудив положение, пришли к большой европейской войне, и что в этой войне мы должны быть против Германии. Это все случилось почему-то в том же самом 1907 г., когда Россия и Англия заключили свое известное соглашение по поводу Азии. Связь вообще совершенно ясна. То, что не удалось Вильгельму, удалось Эдуарду VII. Россия не была втянута в германскую орбиту и противопоставлена Англии, но была втянута в английскую орбиту и двинута против Германии. Это было в 1907 г., за 7 лет до войны. И как раз этот эпизод показывает, до чего нелепа индивидуалистическая точка зрения. Кто окружил так ловко Вильгельма? Эдуард VII. А где был Эдуард VII в 1914 г.? Четыре года как был на том свете,—взыскивайте с него, если хотите; но что с мертвым телом поделаешь? Это—явление, которое мы в истории европейской дипломатии встречаем на каждом шагу. Настоящие виновники давно в могиле, а дело развивается и приводится к определенным результатам.

Таким образом исходить при возникновении мировой войны исключительно из событий лета 1914 г.—значит обнаружить крайнюю близорукость. Если бы Вильгельм мог, он начал бы войну против Англии еще в 1904 г. Если бы Англия хотела, она могла бы начать войну уже в 1907—1908 гг. Целый ряд обстоятельств, о которых подробно я не имею возможности говорить, оттянул взрыв на целых 7 лет. Но взрыв уже в 1907 г. был настолько подготовлен, насколько может считаться подготовленной мина, к которой заложен фитиль и этот фитиль зажжен. Вы знаете, что бывают длинные фитили, горение их бывает рассчитано на 20 секунд, на 40 секунд и даже на 5 минут. Здесь был положен настолько длинный фитиль, что он горел 7 лет, и, наконец, через 7 лет взорвался. Вот как было дело. Теперь вы заинтересуетесь узнать, что же в конце концов, все дело шло о том, что Вильгельм хотел окружить Эдуарда VII, а Эдуард VII окружил его, или же под деяниями этих исторических персонажей была какая-то определенная подкладка? И вот здесь приходится подчеркивать, что действия обеих сторон—и Германии и Англии—были с железною необходимостью предопределены тою стадиею экономического развития, в которую тогда вступили эти государства.

Я не буду перед вами распространяться на тему об империализме. Вы очень много читали, конечно, о нем в последние дни в газетах, да и для этого, если бы тут были товарищи, которым неясно это слово,

мне пришлось бы прочесть специальный доклад, на что я времени не имею. Я напомню вам только, что суть империализма заключается в борьбе за мировой рынок, за монополию на мировом рынке. В этом его экономический стержень. Это мы все принимаем, но так как у нас теория немножко оторвана от практики, то конкретные нити, которые ведут от такого теоретического положения к борьбе за мировой рынок, за мировое влияние, как она разыгралась в совершенно конкретных формах, не всегда бывают ясны. И вот тут позвольте вам напомнить, что техническим условием обладания мировым рынком является власть над океаном. Океан является мировым путем сообщения, наиболее удобным и дешевым уже со времен Христофора Колумба. К началу XX в. морские фрахты были дешевле сухопутных в 25 раз. Таким образом, если бы даже какой-нибудь чудак и осуществил проект железной дороги, охватывающей кольцом весь земной шар, по этой дороге, может быть, ездили бы пассажиры, так как это гораздо быстрее, но товары, конечно, все-таки возились бы на кораблях по морю. Это господство над мировыми путями сообщения, над океаном, т. е. первое техническое условие для того, чтобы завладеть мировым рынком, было исстари в руках Англии, которая на океанах действительно господствовала. Но это господство, которое до конца XIX в. было совершенно неоспоримо,—казалось самоочевидной истиной, что, кроме англичан, некому владеть океанами, и недаром английская национальная песня пела: «владей, Британия, морями»,—эта монополия англичан на мировой транспорт начала колебаться, и колебала ее именно Германия. На лекциях, да еще в особенности публичных, неловко загружать изложение цифрами, но позвольте все-таки пару цифр привести. Перед войною весь тоннаж мирового флота считал 41 млн. тонн, из них 19 млн., т. е. почти половина, принадлежала Англии, 5 млн.—Германии, и ни одна страна после Германии не достигала даже 2 млн. Ближайшие за Германией имели только 1 900 тыс.—1 800 тыс. и т. д. Вы видите, как догоняла Германия Англию в этом отношении.

Для вас это догоняние будет еще нагляднее, если я вам скажу, что английский флот за сорокалетие с 1870 по 1910 г. увеличился по числу пароходов в три раза, а по тоннажу в 10 раз, а германский флот за сорокалетие с 1871 по 1911 г. по числу пароходов увеличился в 13 раз, а по тоннажу в 28 раз. Вы видите, как Германия быстро догоняла Англию в той области, где Англия была наиболее уязвима. Остается добавить маленький штрих, который помогает со всей наглядностью уяснить дело. К концу этого периода вошли в моду пароходы-гиганты, более 12 тыс. тонн. Из этих пароходов-гигантов в 1910 г. несколько более половины принадлежало Англии, более четверти—Германии и всего одна пятая приходилась на все остальные страны. И в довершение всего германская морская техника оказывалась выше английской: в то время, как германские сверхгиганты «Фатерланд», «Император», «Принцесса Цецилия» благополучно плавали, английский сверхгигант «Титаник» пошел ко дну при первом рейсе. Те настроения, которые у Англии вызывались этой цепью

событий, великолепно вылились в разговоре пацифиста сэра Эдуарда Грея и его короля с министром иностранных дел Николая Сазоновым: если у вас вспыхнет с Германией война, мы употребим все силы, чтобы раздавить германское морское могущество, заявил пацифист Эдуард Грей, а сверхпацифист Георг V выразился еще конкретнее: мы будем топить каждый германский торговый корабль, который мы встретим на своем пути. Таким образом жестокая «германская» идея потопления торговых судов на самом деле была плагиатом, была усвоена немцами от англичан. Они сплагиировали эту идею у Георга V, который высказался об этом совершенно определенно еще за 2 года до начала войны.

При таком настроении войну между Англией и Германией, мировую войну можно было считать предопределенной вполне осенью 1912 г., и если в промежуток между 1912 и 1914 гг. Англия связалась военной конвенцией с Францией, обязавшись помочь ей не только на море, но и на суше, а в начале 1914 г. почти связалась морской конвенцией с Россией, тоже направленной против Германии, то это был совершенно неизбежный вывод из всех характеризованных мною экономических фактов, с железной необходимостью вытекавший. Нельзя ставить так вопроса, что Эдуард Грей был злой—он пацифист, а между тем он собирался топить германские суда. Георг V тоже пацифист и тоже собирался топить суда, даже торговые. Мировая конкуренция! Война жестока. И нельзя требовать от людей, готовящих войну, нежных чувств и мягкосердечия. Они притворяются мягкосердечными, когда нужно обмануть социалистов, т. е. не самих социалистов, а тех рабочих, которых обманывали социалисты, и по существу дела тут ни о жестокости, ни о чем другом говорить не приходится. Железная необходимость, и эта железная необходимость вела, как вы видите, к войне между Англией и Германией.

Но в войне участвовали еще Франция и Россия. Как были втянуты в войну эти две страны, из которых вторая особенно нас интересует? Тут приходится сказать, что если между Англией и Германией конфликт был абсолютно неизбежен, то по отношению к Франции и России такой неизбежности не было, а чтобы еще больше подчеркнуть неизбежность англо-германского конфликта, позвольте еще привести одно соображение, которое окончательно уяснит суть дела, а кстати и суть империализма. Спрашивается, что же английской буржуазией, когда она стремилась уже при помощи кулака удержать и сохранить свою монопольную власть над океаном, которую у нее оспаривала Германия, руководила просто жадность или нечто более императивное? Я категорически отвечаю: более императивное, ибо речь шла о существовании капитализма в Англии. Или Англия должна была вернуть себе монополию, которой угрожала Германия, или она должна была пойти на социалистическую революцию. Это с чрезвычайной рельефностью вытекает из тех соотношений между английскими предпринимателями и английскими рабочими, какие мы наблюдаем в конце XIX и начале XX в. Благодаря своей монополии над океаном Англия захватила обширные колонии. Благодаря своим

колониям она получила возможность искусственно удешевлять снабжение своих рабочих, пользуясь эксплоатацией этих колоний, подкармливать своих рабочих. Это стоит упомянуть потому, что на этом основании выросла ревизионистская иллюзия опровержения закона Маркса, что по мере развития капитализма ухудшается экономическое положение рабочих. А английские рабочие? У них тоже ухудшается положение? Вот вам цифры: если возьмем за 100 заработную плату 1850 г., то в 1900 г. заработная плата была 175—178. Точно цифры не помню, а если вы возьмете цену съестных припасов в Англии в 1850 г. за 100, то цена в 1900 г. будет 97. Заработная плата поднялась почти в 2 раза, а цена жизни понизилась. Вот наглядное опровержение закона Маркса. Это одно из тех опровержений, при помощи которых хотят опровергнуть закон тяготения тем, что аэростат поднимается. Заработная плата в Англии повышалась, а цена жизни понижалась благодаря эксплоатации Англией своих колоний, а кстати эксплоатации вообще всех потребителей, большею частью полуколониального положения, в роде Турции. Вывозя туда товары и получая сверхприбыль, эксплоатируя колонии, Англия могла подкармливать своих рабочих, но как только на сцене появилась Германия, экономическое положение Англии стало меняться. В течение первых 10 лет XX в. заработная плата английских рабочих поднялась на 7%, а цена съестных припасов на 25%, а результатом этого события был ряд весьма показательных цифр. Средняя цифра стачечников в Англии с 1901 по 1907 г.—157 тыс., а в 1911 г.—962 тыс. и в 1912 г.—в этом самом роковом году, когда появилась пена на губах у пацифиста Грея и его короля—1 464 тыс., т. е. почти полтора миллиона. Тот гражданский мир, на который с торжеством указывали, говоря, что вот в Англии отношения классов не обостряются, а, наоборот, там дело идет к примирению потому, что положение рабочих не ухудшается, а улучшается,—это утверждение было сразу сорвано. Англия оказалась в том же горниле классовой борьбы, как и вся Европа. И так как английская буржуазия в высокой степени благоразумное существо, то недаром именно в этом году она стала принимать меры к тому, чтобы германская конкуренция очистила поле битвы. Как видите, английскую буржуазию не приходится обвинять в какой-нибудь злости, как нельзя вообще обвинять человека, который отстаивает свое существование. Согласитесь, что полтора миллиона стачечников—это цифра России 1905 г. А если к этому прибавить, что английские рабочие не только бастовали, но и начинали обучаться ружейным приемам в Гайд-парке, вы поймете, почему, наконец, английская буржуазия решилась начать войну, по-древнерусски выражаясь, спасая свой живот.

Теперь перейду к тем двум странам, о которых я упоминал,—Франции и России. Тут железная необходимость столкновения отсутствовала, но было искушение драться у известных групп (кто был бес-искуситель—вы догадываетесь). Что касается Франции, то она все больше и больше с конца XIX в. становилась крупной металлургической страной. Если мы возьмем за 100 количество чугуна, выпла-

влявшегося во Франции в 1890 г., для 1923 г. мы получим 279 (1,9 млн. тонн и 5,3 млн. тонн); за 33 года французская металлургия выросла почти в 3 раза. Это превращение Франции в металлургическую страну и нашло себе политическое выражение в том, что Comité des Forges, металлургическое объединение Франции, выдвинуло сначала в премьеры, потом в президенты своего человека, Пуанкаре. Но поперек дороги французской металлургии стоял природный недостаток Франции—недостаток угля. Просмотрим цифры: чугун в 1890 г. (если взять ее за 100), эта цифра чугуна в 1923 г. равнялась 279, т. е. увеличилась почти в три раза. А если взять за 100 количество угля в 1890 г., то в 1923 г. получим всего 185. Следовательно, Франция в чугуне увеличила свое производство втрое, а для угля производство не увеличилось даже и вдвое. А между тем этот уголь у Франции под самым боком—в Саарском бассейне, на который текли у них слюнки еще в 60-х годах. Мы знаем, что еще Наполеон III носился с планом захвата Саарского бассейна. Если прочитать условия Версальского мира, то станет ясно, что по отношению к Германии Франция совершила настоящий угольный грабеж, Саарский бассейн она присоединила целиком, Силезский достался ее клиенту, Польше, из Рурского бассейна она должна была получать ежегодно до 40 млн. тонн. В конце концов Пуанкаре занял самый Рурский бассейн. Из-за угля много пролилось крови. Едва ли французские заводчики были достаточно сильны, чтобы самостоятельно начать. Но раз имелся такой союзник, как Англия, это давало достаточную страховку берегам Франции от нападения германского флота. А относительно сухопутной армии существовала уверенность, что при русской помощи немцев «шапками закидают». При такой обстановке французские заводчики не могли воздержаться от искушения вмешаться в войну. Под давлением Англии Пуанкаре ведет дело к войне, оправдывая свое прозвище «Пуанкаре-война».

Что касается России, то более или менее общеизвестны ее вожделения—Константинополь и проливы, настолько общеизвестны, что распространяться на этот счет не приходится. Характеристику положения вопроса о Константинополе и проливах удобнее всего привести по докладу министра Сазонова (тоже пацифист) в ноябре 1913 г. Николаю. Этот доклад делался почти за год, за 8 месяцев до начала войны. Там Сазонов писал:

«Согласно объяснительной записки министра финансов к проекту государственной росписи дохода и расходов на 1914 г., торговый баланс России в 1912 г. был на 100 млн. менее в сравнении с средним активным сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи с этим весною последовало также повышение Государственным банком учета на ½% для трехмесячных векселей. Таким образом временное закрытие проливов отразилось на всей экономической жизни страны, лишний раз подчеркивая все первостепенное для нас значение этого вопроса. Если теперь осложнения Турции отражаются многомиллионными потерями для России, хотя нам удавалось добиваться сокращения времени закрытия проли-

вов до сравнительно незначительных пределов, то что же будет, когда вместо Турции проливами будет обладать государство, способное оказать сопротивление требованиям России? И для этого не нужно, чтобы государство, владеющее проливами, обладало само по себе силою великой державы. Оно неизбежно приобретет эту силу, обосновавшись на проливах, из-за исключительных географических условий. В самом деле, тот, кто завладеет проливами, получит в свои руки не только ключи морей Черного и Средиземного. Он будет иметь ключи для поступательного движения в Малую Азию и для гегемонии на Балканах. Вследствие этого государство, заменившее Турцию на берегах проливов, по всем вероятиям будет стремиться пойти по дорогам, проторенным в былое время турками.

Выше указано было на недопустимость для нас такого рода чужого завладения проливами с экономической точки зрения. Но не представляется ли это столь же мало допустимым с точки зрения политической? Не создают ли указанные выше тенденции к гегемонии на Балканах и проникновению в Малую Азию неизбежность резкого антагонизма между всяким новым государством, которое стало бы на место Турции, и Россиею?»

Это ведь говорилось не о России, а о каком-то другом государстве, которое завладеет проливами. Но вы догадываетесь, что географические условия ни на иоту не изменились бы, если бы этими проливами завладела Россия: и она, конечно, получила бы в свои руки не только ключ от Черного и Средиземного морей [1]. Далее идет маленький исторический очерк, довольно интересный:

«Уже тридцать лет прошло с того времени, когда державною волею покойного императора Александра III возродился черноморский флот. Около 60 лет прошло со времени появления торгового пароходного движения на Черном море. Оба начинания связаны были с мыслью о мощи России, о возможном утверждении наших интересов на проливах. Сотни миллионов были истрачены на это дело, равно как и на содержание войск Одесского военного округа, призванного к совместным с нашим флотом операциям. Как известно, еще в 1895 г. в связи с армянскими избиениями был поставлен вопрос о временном занятии Константинополя нашими войсками с ведома и согласия наиболее опасного из возможных в то время для нас соперников—Англии. От плана этого пришлось отказаться по недостатку транспортных средств и несовершенству сухопутной мобилизации».

Вы видите, еще в 1895 г., а война началась в 1914 г., еще в 1895 г. собирались занять Константинополь. Предлогом были, конечно, турецкие зверства над армянами, но ведь зверства всегда являются предлогом. Основываясь на этих документах свидетельствующих о том, что и царский министр может быть марксистом, когда нужно, Сазонов предлагал программу совещания. Эта программа—в ноябре 1913 г., за 8 месяцев до австрийского ультиматума Сербии—говорила следующее:

«Указанные вопросы ставят на очередь обсуждение следующих конкретных мероприятий: 1) по ускорению мобилизации достаточно численного десантного корпуса; 2) по оборудованию потребных для сего путей сообщений; 3) по приведению черноморского флота в положение, при коем он превосходил бы силы оттоманского флота и мог бы совместно с армией выполнить задачу прорыва через проливы для их временного или постоянного занятия, если это потребуется; 4) по увеличению наших транспортных средств до размеров, отвечающих потребностям десантной операции».

---

[1] Здесь опущены две фразы ввиду искажения текста в стенограмме.

Это все было в ноябре 1913 г. По этому поводу было созвано два совещания, одно в ноябре же, другое в феврале следующего года. На этих совещаниях, в особенности на втором, открыто ставился вопрос: а что же, Австрия и Германия будут смотреть, разиня рот, как мы будем занимать Константинополь? Конечно, нет. Из этого выйдет война с Австрией и Германией. И министр Сухомлинов, который теперь представляется такой кроткой овечкой в своих воспоминаниях, выпущенных в Германии, эта овечка заявила, что к единоборству с Австрией Россия готова вполне, а при помощи Франции смело может вызвать на бой и Германию. Смущал единоборцев только турецкий флот. Турки, не будь глупы, в это время запаслись двумя дредноутами, которые они купили—один в Бразилии, другой в Англии, а русские черноморские дредноуты только строились и раньше 1915 г. выйти в море не могли. И вот в этой связи нельзя не упомянуть о таком характерном факте: русский морской штаб, который, как вы знаете из цитированных мною показаний Колчака, готовился к войне уже с 1907 г., создал гениальный проект уничтожения турецкого флота еще до начала войны, проект, в котором должны были участвовать все новейшие технические усовершенствования в виде радио, гидроаэропланов и т. д. Когда японцы после разрыва дипломатических сношений напали на русский флот в Порт-Артуре, то это было бесчестное нападение коварного врага, а когда русские хотели уничтожить турецкий флот до объявления войны, то это просто военная хитрость, вполне понятная: у них ведь два дредноута, а у нас ничего нет, как же мы можем сражаться? Вы видите, не было ни малейшей надобности в ультиматуме Сербии, в нападении на Сербию для того, чтобы Россия стала воевать. Для этого требовалось одно, чтобы Россия чувствовала себя такой же обеспеченной, как и Франция. Вот почему Николай, который готов был драться за Константинополь еще в 1895 г., конкретно подошел к этой задаче после того, как Англия дала принципиальное согласие на морскую конвенцию с Россией, причем русский морской штаб, который только что спроектировал эту историю с турецкими дредноутами, и на Балтийском море потребовал у Англии, чтобы она сосредоточила в русских гаванях потребное количество пароходов для русского десанта в Померании. Померания, как известно, прусская провинция на берегу Балтийского моря к северу от Берлина. Этот замечательный документ русского морского штаба относится к 13 мая 1914 г., когда никаких внешних поводов для войны не существовало. Русский морской штаб подготовлял высадку в Пруссию, чтобы прямо ударить по самому Берлину. Это в мае месяце 1914 г.

Вы видите, до какой степени мал становится по объему и значению тот эпизод, который в глазах всех добрых людей послужил якобы причиной мировой войны—нападение Австрии на Сербию. В мае месяце 1914 г. Австрия и не думала нападать на Сербию. И, кроме того, не об Австрии тут дело шло, а о Германии. Померания чай не в Австрии, Балтийское море границ с Австрией не имеет, а речь шла о Балтийском море и о Померании. Эпизод, о котором трактуют все

искатели виновников войны, сербско-австрийский эпизод, он, повторяю, только повод к войне. И все-таки в двух словах необходимо сказать о том, кем и как был этот повод подготовлен. Я об этом, правда, уже писал, и то, что я писал, напечатано, так что новостью это не является, но напомнить в общей связи не мешает. Поводом к австрийскому ультиматуму Сербии было убийство сербскими националистами австрийского наследника, эрцгерцога Франца-Фердинанда, в Сараеве 28 июня 1914 г. По поводу этого эпизода мы имеем достаточное количество откровений. Сербское правительство в 1917 г. расстреляло некоего полковника Дмитриевича, расстреляло потому, что в это время Сербия готовилась заключить мир с Германией и Австрией. Это странное сочетание событий, расстрел своего собственного офицера по случаю заключения мира, станет вам понятным, если вы узнаете, что Дмитриевич был организатором убийства Франца-Фердинанда и его нужно было убрать со сцены. Его расстреляли, конечно, не за это, его расстреляли за «измену». На самом деле это был честный сербский националист, который никому не изменил, но который, действительно, как он сам признавался, организовал в июне 1914 г. убийство этого самого Франца-Фердинанда. Но что было мотивом для самого Дмитриевича совершить эту вещь? Мотивом была телеграмма русского главного штаба, извещавшая сербскую разведку, во главе которой стоял Дмитриевич, что Франц-Фердинанд готовится совершить нападение на Сербию и что маневры в Боснии, на которые должен приехать Франц-Фердинанд, есть лишь предлог для сосредоточения австрийской армии, которая должна это нападение на Сербию совершить. Другие осведомленные сербы объясняли, что и это собственно было еще осенью 1913 г., едва ли не современно тому документу Сазонова, который я читал, но так или иначе вы догадываетесь, что это убийство, подготовленное якобы с целью дезорганизовать австрийское наступление на Сербию, было одним из самых верных средств вызвать войну и что русский главный штаб, если он действительно повинен в том, в чем Дмитриевич его обвинял,—документов главного штаба у нас не имеется, а имеется только обвинение Дмитриевича,—то он пустил в ход излюбленнейшее средство российского царизма—провокацию, он спровоцировал войну, к которой он готовился долго, и у него терпения не хватило, так как ему казалось—отчасти это так и было,—что немцы могут переподготовиться и оказаться готовыми раньше, чем он. Он ловил момент, и он поймал его таким образом. Совершенно ясно, что такую оплеуху, как убийство на австрийской территории сербскими националистами австрийского наследника, Австрийская империя не снесет, что она немедленно предъявит Сербии ультиматум, и это будет великолепным поводом, чтобы Россия выступила на защиту единокровной, единоверной и пр. и пр. сербской нации. Все это было разыграно, как по нотам.

Когда в Ленинграде, тогдашнем Петербурге, было получено известие об ультиматуме, то у Сазонова, у этого миротворца и автора документа, вырвались слова, что это европейская война. И тотчас же, в 3 часа того дня, когда стало известно об австрийском ультиматуме,

Россия мобилизовала 4 военных округа и весь флот, в том числе и балтийский. Как можно связать непосредственно с нападением на Сербию мобилизацию балтийского флота, который даже при помощи тех мер, которые были придуманы для уничтожения турецких дредноутов, не мог попасть на Дунай, это логика, о которой не спрашивали. Было ясно, что это европейская война и что Германия примет участие в ней. Это было ясно и очевидно. Да ни к какой другой войне, кроме войны с Германией, Россия и не готовилась. Мы теперь знаем из других откровенностей, из статей начальника мобилизационного отдела Добророльского, из записок Сухомлинова, который себя выставляет агнцем, но объективных фактов не скрывает, сваливая ответственность на других, на Николая Николаевича Романова, на начальника генерального штаба Янушкевича, мы из этих воспоминаний, из статей Добророльского знаем, что русская мобилизация была так построена, что она могла быть произведена только для всей армии сразу. Частичная мобилизация против Австрии, против Турции сломала бы всю систему. Вот почему, когда Николай, струсивший перед европейской войной, заговорил о частичной мобилизации, он привел в крайнее смущение и Сазонова, и Янушкевича, и Сухомлинова и всех специалистов. Нельзя, путаница выйдет в мобилизации, мобилизовать можно только всю армию и относительно этой мобилизации всей армии было давно заготовленное, только не разосланное (немцы уверяют, что и разосланное) высочайшее повеление: считать объявление общей мобилизации началом военных действий против Германии и Австрии. Это высочайшее повеление относится к 1912 году. Таким образом совершенно ясно, что то, что с индивидуалистической точки зрения, с точки зрения случайности, является причиной войны, на самом деле было самое большее формальным поводом к этой войне. Формальный повод всегда бывает какой-нибудь, всегда бывает та или другая апельсинная корка, о которую люди оскользнутся, но то, что они поскользнутся и падают, это есть, во-первых, результат законов тяготения, а во-вторых, их собственной неосмотрительности, близорукости, и только на самом последнем случае это вина апельсинной корки, причем о вине корки этой никто не говорит, а по поводу виновников войны издается целый ряд журналов и больших книг. Вот из какой железной необходимости и в какой связи весь мир был подведен в августе месяце 1914 г. к неизбежности мирового столкновения.

Мне остается только, резюмируя общую картину, вставить в нее тот факт, о котором я упоминал вначале, а именно то непротивление войне, которое обнаружили в то время социалистические партии. Это теснейшим образом связано с общей физиономией II Интернационала, который не меньше, нежели наши меньшевики, заслужил название буржуазной агентуры при пролетариате. Физиономия этого II Интернационала может быть охарактеризована вкратце так: это были люди, которые настолько увлекались подготовкой социалистической революции, так вошли в это дело подготовки, что самая революция стала им казаться в высшей степени нежелательным событием.

Это портило всю картину, это расстраивало всю ту великолепно налаженную парламентскую систему, которую представлял собою II Интернационал. Вот почему, вынеся самую решительную резолюцию против войны на Базельском конгрессе 1912 г., про себя все они старались себя уверить, что войны быть не может и что поэтому следует рассматривать все слухи о войне, как не то провокацию, не то рекламу пушечных заводчиков, что-то такое вообще второстепенное, но ничем особенно не угрожающее. Тогда и у наших меньшевиков, которые были в этом отношении верными сынами II Интернационала, была определенная линия: отрицать возможность войны. И когда говорящий перед вами в своих статьях и в своих рефератах стал проводить ту идею, что война, правда, с моей точки зрения тогда, не мировая, а только европейская, совершенно неизбежна, что мы вступаем в полосу войн, то всякий раз он, т. е. я, на всяких собраниях встречал меньшевистских ораторов, которые старались показать, что моя точка зрения совершенно немарксистская, что стыдно поддаваться рекламе пушечных заводчиков и что войны никакой не будет. На эту тему выпускались брошюры под заглавием: «Невозможная война» и т. д., о чем между прочим бубнили и буржуазные пацифисты в роде Нормана Энжеля. Таким образом создался своеобразный гипноз: войны не будет, мы будем устраивать великолепные выборы в парламент, будем получать одну сотню депутатских мест за другой, проберемся в министры,—об этом не говорилось, но это подразумевалось,—все будет тихо и мирно, а тут говорят—война, а потом революция, покорно благодарим,—это нарушение всех правил доброго поведения. И вот, когда к этим самозагипнотизировавшимся людям война действительно пришла, они были буквально раздавлены. Они не знали ни что им делать, ни что сказать. Они совершенно растерялись, но растерявшись, как всегда делают в этих случаях меньшевики, ухватились за Маркса и стали его перелистывать: нет ли выхода из положения? Оказалось—есть. Маркс в 1870 г. вначале относился сочувственно к Германии и несочувственно к французскому империализму. Меньшевики говорили: значит, вот бывают же такие войны, и Энгельс писал, что бывают войны, в которых можно участвовать. Эти милые люди позабыли только, что тогда были национальные войны за национальное объединение Германии, а теперь была мировая война за монополию на мировом рынке и что это—две различные вещи. В одном случае речь шла о создании максимально выгодных условий для экономического развития в Германии, в которых был заинтересован и германский пролетариат, а в другом случае речь шла о том, чтобы двум империалистским колоссам, которым тесно было на земном шаре, перегрызть друг другу глотку, и самым лучшим способом был бы тот способ, которым шли английские рабочие, только их благоразумная английская буржуазия до окончательной реализации этого способа не допустила, т. е. борьба с буржуазией. Но кажется единственным человеком, у которого может быть в качестве смутной идеи нечто подобное носилось в голове, был Жорес, почему его очень рационально и поспешили убрать со сцены до объя-

вления войны,—накануне объявления войны—31 июля—Жорес был убит.

Мне остается только объяснить вам, как же экономически возможно было то, что сейчас имеет как будто только моральную мотивацию. Что же, просто очень гнусны были люди II Интернационала, очень они низко пали в моральном отношении? Товарищи, у всякой решительно подлости человеческой всегда есть материальное основание. Так уже устроено человечество, ничего вы не поделаете с этим, и у подлости II Интернационала, несомненно, была материальная база. Этой материальной базой,—не приходится скрывать этого,—были те слои германского пролетариата, которые были заинтересованы в успехе германского империализма. Я вам рассказывал, как английский капитал прикармливал своего рабочего. А германский, если бы он занял место английского, не стал бы также прикармливать? Не стал бы также эксплоатировать колонии, чтобы из получаемых сверхприбылей давать кое-что рабочему? Конечно, стал бы. И у рабочего, который стоял не на революционной классовой точке зрения, а на точке зрения цеховой и пятачковой, на точке зрения интереса своего завтрашнего дня, конечно, слюни потекли при мысли: выбьем англичан, так что ничего от них не останется, утвердим свою монополию, и тогда заживем так, как живут английские рабочие. А английский квалифицированный рабочий, как вам известно, живет не в казарме, не в каморке и даже не в комнате, а занимает отдельную квартиру; мясо ест каждый день, ест такой бифштекс, что когда я приезжал в Лондон, привыкнув к тощим французским порциям, я не знал, как с ним справиться, а я ел в рабочих ресторанах. Это была продажа классовых интересов пролетариата буквально за чечевичную похлебку. Но это была реальная база, опираясь на которую, германская социал-демократия и социалисты других стран могли действовать. И недаром в России на эту удочку почти никого поймать не удалось. Положение русского рабочего было так плохо и настолько было очевидно, что Россия, даже если бы Николай сел верхом на Дарданеллах на 1000 лет, никаких внешних рынков не завоевала бы, и конкуренция с такими колоссами, как Соединенные штаты, Германия и Англия, не была бы возможна,—что у русских рабочих этого искушения просто быть не могло. В России рабочие, которые стали бы распускать слюни при мечтании о том, что будет, когда уничтожат германский империализм, были бы людьми, находящимися в состоянии бреда. Какой был толк в этом русскому рабочему? Он так же будет голодать, так же будет сидеть все время на минимальной норме. Ясное дело, что у нас в России были наилучшие условия для того чтобы пролетариат восстал против войны. Соблазнить пролетариат у нас было нельзя. И, действительно, хотя у нас и удалось на некоторое время соблазнить рабочих военно-промышленными комитетами, но к 1917 г. рабочие в них во всю глотку требовали прекращения войны, в каковой связи и была арестована Ленинградская группа военно-промышленных комитетов.

С этим основным стержнем—борьбой на мировом рынке—тесней-

шим образом связана, как видите, и победа «оборонцев» в социалистических партиях всего мира, и ею же объясняется тот факт, что единственная настоящая рабочая партия в России, партия большевиков, с самого начала заняла антимилитаристскую позицию, с самого начала сделала то, чего боялись не напрасно европейские империалисты со стороны своих социалистических партий, когда они убирали Жореса и принимали другие меры. Она выступила против войны, выступила с требованием заменить эту нелепую бойню между нациями войною против буржуазии, единственной войною, которая могла дать действительно прочные, действительно желательные с точки зрения пролетариата результаты.

Мне остается в двух словах ответить на последний вопрос, который у вас, вероятно, товарищи, есть: ну вот начали драку за мировой рынок, подрались. Дрались так долго, как сами не ожидали. Германия была буквально разможжена в результате этой драки. Кто же нынче монополисты на мировом рынке? Прежде всего позвольте дать две цифры соотношения флотов: у Англии тот же флот, 19 млн. тонн. На втором месте после него идут Соединенные штаты, у которых не 5 млн. тонн, как было у злосчастной Германии в 1914 г., а 12 млн. тонн. Кто кого догнал? Конечно, Соединенные штаты догоняют Англию. В первое десятилетие XX в. английский вывоз, страшно стесняемый германским, вырос благополучно на 75%. А знаете ли вы, как относится английский вывоз 1923 г. к довоенному? Он составляет 86% довоенного, т. е. на 14% упал. Это через пять лет после заключения Версальского мира. После того, как уже 5 лет Германия лежит у ног, до сих пор 14% не добирает Англия по вывозу до довоенного вывоза.

Вы видите, дорогие товарищи, что империалистский способ разрешения мирового кризиса есть способ совершенно нелепый, ибо этот способ только укорачивает тот тупик, в котором находится капиталистическое хозяйство. Очередная война, несомненно, война Англии с Американскими соединенными штатами, и она еще больше укоротит этот тупик. Мировой рынок еще сузится, и тот, кто останется победителем, опять окажется при такой же картине, что не только не увеличится вывоз, а уменьшится вывоз, и кто же захочет быть монополистом, чтобы стать бедней [1]. Поскольку нажим со стороны рабочих нисколько не уменьшается, а усиливается,—это особенно рельефно сказалось в Англии в том, что Англия, в начале войны удовольствовавшаяся тем, что она пригласила одного рабочего в министерство, теперь создала целое рабочее правительство—всю страну на словах отдала в управление рабочим,—этот нажим заставляет буржуазию итти по этому тупику все дальше и дальше, пока она не упрется в глухую стену социалистической революции и не разобьет себе лоб. В конце концов, как это ни странно, больше всех выиграл от всего этого Союз социалистических советских республик, выиграл хотя бы в том, что он не связан никакими тайными конвенциями и договорами, как были связаны эти империалистические державы. Союз со-

[1] Читателю надо помнить, что эта статья писалась в 1924 г.—*Прим. ред.*

ветских социалистических республик—старая Россия—есть в настоящее время единственная страна, у которой совершенно развязаны руки, которая не обязана принять участие в новой империалистской войне. Но когда рабочие понемногу все более и более прозревающие, поймут, что войну следует начинать с поворачивания винтовок против своей буржуазии, тогда, конечно СССР найдет свое место в этой войне, найдет свое место во главе этой войны.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Мне очень легко говорить это заключительное слово, ибо я никаких возражений не слыхал. Поэтому позвольте ограничиться одной маленькой поправкой к речам ораторов, выступавших после меня, и одним полуанекдотом, но, как вы увидите, очень характерным и едва ли известным широким кругам.

Поправка относится к речи т. Некрасова. Он рассказывает, что на тайном совещании весною 1914 г. война определенно намечалась на 1917 г. Вот по поводу этого 1917 г. я позволю себе несколько огорчить т. Некрасова, речь которого я выслушал с таким же громадным удовольствием, как и речи других. Несомненно, что уважаемых народных представителей, членов Государственной думы, обманывали, говоря, что война будет в 1917 г. Колчак в своих показаниях говорит, что войну готовили на 1915 г., а Сухомлинов в своих воспоминаниях говорит еще определеннее. Он говорит, повествуя о своих совещаниях с будущим маршалом Жоффром, что их цель была раздавить Германию во что бы то ни стало, а момент, который нужен для этого, выбрать предоставляется дипломатам. Так что вопрос шел не о военной подготовке. Тот же Сухомлинов в феврале 1914 г. заявил, что к единоборству с Австрией мы готовы одни, а к единоборству с Германией вместе с Францией. Следовательно, Сухомлинов, как теперешние пионеры, отвечал: «Всегда готов». Ясно, что откладывать войну до 1917 г. не требовалось. Несомненно, что с войной торопились, но, конечно, выдавать свои секреты представителям Государственной думы не входило в их планы и они их убаюкивали, что война не скоро. В это время много воды под невскими мостами утечет и т. д. На самом деле война была решена, и они торопились, и торопились не даром, ибо и так Германия успела соорудить такой громадный подводный флот, который спустил на дно морское одну шестую английского флота, а что было бы, если бы Германия успела построить тысячу подводных лодок? Во время войны появилась очень интересная статья известного французского инженера, строителя и даже отчасти изобретателя подводных лодок, Лобефа; он категорически утверждал, что если бы у Германии была тысяча подводных лодок, она бы смогла заблокировать Англию. Имея 250—300 подводных лодок, она причинила огромный вред Англии. Таким образом не было оснований, и в особенности для Англии, откладывать войну в долгий ящик.

Анекдот относится к возникновению войны между Россией и Турцией. Целью войны для России был Константинополь и проливы. Но

война началась, а Турция не воевала. Это явное затруднение. Как же отнять имущество у человека, который объявил себя нейтральным? Но случилось хуже. Турция предложила свой союз. Это было уже хуже всего, что можно было себе представить. Турция хотя и объявила себя нейтральной, но объявила мобилизацию, и генерал Леонтьев по поручению русского посла в Константинополе Гирса отправился к Энверу паше и стал спрашивать: зачем мобилизация, что она означает?—Ничего дурного для вас,—отвечал Энвер,—а если хотите, то можете ею воспользоваться, турецкая армия к вашим услугам. Гирс в восторге. Длиннейшие телеграммы шлет в Петроград: Турция предлагает союз. Ему кажется, что это очень хорошо, и он удивлен, что он получает из Петрограда кислые ответы. Первый ответ гласил: «тяните разговоры с Турцией подольше». Второй ответ гласил: «имейте в виду, что непосредственного столкновения с Турцией мы не опасаемся». Другими словами: пожалуйста не будьте так глупы и не думайте, что мы боимся войны с Турцией. Это все, что получил Гирс в ответ на свои телеграммы. Немцы, которые знали об этих колебаниях, сейчас же послали свои броненосцы—«Гебен» и «Бреслау», которые появились в Дарданеллах. Сломали настроение в пользу Германии, и Турция стала союзницей Германии. Это образец того, как при помощи разных пацифистов территориально расширялась область войны. Вы догадываетесь, что если бы мы не имели турецкого фронта, то, вероятно, события несколько иначе развернулись бы.

Позвольте в заключение моего заключительного слова заговорить с вами об одном факте, не входящем в общую цепь наших рассуждений. Войны обыкновенно начинаются гораздо раньше их объявления путем воздействия тех, кто хочет воевать, на психику тех, с кем он хочет воевать. Это несомненнейший факт. Война 1914 г. началась с того, что обе стороны—и немцы удачнее, чем их противники—пытались посеять панику в противоположном лагере, и то же самое мы видим теперь. В газетах печатают самые невероятные вещи о бомбах, начиненных бактериями. Вам известно, какую температуру развивают современные взрывчатые вещества. Здесь много членов Всемедикосантруда и они могут вам сказать, какую максимальную температуру выдерживают бактерии. Вы прекрасно понимаете, что если бросить бомбу с бактериями, то получится своеобразное жаркое, довольное безобидное, хотя мало питательное. Все это есть не что иное, как средство сеять панику, как средство повлиять известным образом на психику противника. Я помню, как в начале войны ко мне в ужасе прибежал один из наших эмигрантов и стал говорить, что немцы взорвут нас всех цеппелинами. Так были страшны немецкие цеппелины. И я дожил до того, что цеппелины прилетели в Париж. Эту ночь я спал и ничего не слыхал и никто не слыхал. Одна маленькая девочка только уверяла, что она слышала пальбу, с важным видом, который свойственен детям, когда они хотят показать свою осведомленность. Я полагаю, что она хвастала и тоже никакой пальбы не слыхала. Вот образчик основательности страха перед цеппелинами. Мой совет вам—не поддавайтесь влиянию тех панических статей,

которые распространяются шовинистической прессой. Не всякая пуля попадает в лоб, хотя бы она выпускалась и на близком расстоянии, так, что даже запах пороха слышен,—в таковом положении мне приходилось быть,—реальная опасность бомбы в сто раз меньше, чем пишут об этом и рассказывают обывательской публике. Настоящие военные не считаются с этим, потому что они знают, что настоящее оружие в современной войне есть сверхдальнобойная пушка, бьющая на 90 километров, и аэроплан, а все остальное росказни. Но аэропланы у нас есть хороших образцов, есть и дальнобойные пушки в наших руках. И есть еще одно, чего нет у наших противников—это колоссальная организованная сила трудящихся. Гражданская война показала, что когда идет бесконечная масса с голыми руками, как шли мы в 1918 г., то эту массу пролетариев голыми руками не возьмешь, как показал 1918 год. А теперь в наших руках и наука, и те ученые, которые к нам пришли, и те ученые, которых мы создаем—и это поможет нам отбиться. Выход ведь из положения не один тот, что последуют все новые и новые империалистические войны, нет, выходов два. В Англии накануне войны было два выхода: или война, или революция. То же остается верно и теперь. Итак, да здравствует мировая революция!

*„Народный учитель“ № 8, 1924 г. стр. 29—42.*

# КАК ВОЗНИКЛА МИРОВАЯ ВОЙНА

1 августа нынешнего года исполняется десять лет с того дня, когда началась война, которую иные называют «великой», другие «мировой», третьи, проще и точнее,—«империалистской».

Великой она была, без сомнения, в том смысле, в каком иногда говорят о «великой чуме» XIV столетия. Большего военного бедствия не видел мир. Ни одна война из этой эпохи, когда уже существовала статистика и мы более или менее точно знаем число погибших, не идет даже в отдаленное сравнение... Крымская война 1853—1856 гг., где участвовало пять стран, в том числе три крупнейших тогдашнего мира, унесла немного более 600 тыс. человеческих жизней; франко-прусская 1870 г., перевернувшая равновесие сил континентальной Европы,—всего 166 тыс.; бойня 1914—1918 гг. обошлась в *десять миллионов* жизней. Сравнительно с этим какая-нибудь австро-прусская война 1866 г., с двадцатью пятью тысячами убитых у обеих стран, почти не заслуживает упоминания в летописях взаимного истребления человечества,—а еще тридцать лет назад Берта Зуттнер выбрала именно ее темой для своего пацифистского романа «Долой оружие!». «Нашла ужасы»!, с горькой усмешкой мог бы сказать теперешний читатель, если бы теперь кто-нибудь читал Берту Зуттнер.

И *мировой* война была в гораздо более широком смысле, чем какая бы то ни было из ее предшественниц. Не в том дело, что дрались во всем мире: это бывало всегда с тех пор, как история вступила в «океанский» период развития, и в боях участвовали крупные морские державы. Уже в Семилетнюю войну, середины XVIII в., сражались и в Индийском океане, и в Балтийском море, на берегах реки св. Лаврентия и на берегах Одера, на Антильских островах и на острове Джерзее, в Ламаншском проливе. Но все эти далекие друг от друга места *политически* были лишь *объектами* войны. Ее субъектом была небольшая группа старых европейских наций—англичане, французы, пруссаки, австрийцы, русские. В войне 1914—1918 гг. *политически* участвовали самые экзотические страны: Австралия, Южная Африка, Япония и Китай. Никогда более выпукло не выступало на политической сцене *мировое хозяйство*. Никогда не было более яркой

иллюстрации тому, как далеко мы ушли от времен, изображаемых в гетевском «Фаусте», когда мирные обыватели немецкого городка могли благодушно болтать вечерком о том, что вот где-то там в Турции «дерутся». Где бы ни начали драться, до нас дойдет, будьте уверены!

И этот мировой характер войны больше всего подчеркивал *ее империалистский* смысл. Фактически перед 1914 г. уже не было национальных капитализмов—французского, английского или германского: был мировой капитализм, отдельные группировки которого спекулировали на национальных чувствах мелкой буржуазии различных стран. В России этого периода железо было на 55% в руках французов, на 22% в руках немцев и на 10% в руках франко-германских объединений. В каменном угле эти последние объединения были заинтересованы на 10,5%, в то время как «чистые» французы имели 74,3%, а «чистые» немцы 13,1%. Англичане особенно любили, как известно, русскую нефть, но «национально» владели ею лишь менее чем на $^1/_5$ (18,5%): почти половину (44,5%) они держали в братском союзе с французами. Юридической же оболочкой для всего этого иностранного держания русских благ были отечественные российские *банки*, которым принадлежали акции соответствующих предприятий, тогда как акции самих банков были в портфелях заграничных капиталистов. В руках банков было 85,8% всей русской металлургии, 76,9% каменноугольных копей и 86% нефтяных предприятий [1]. Только текстильная промышленность России перед войной сохраняла еще свой старый индивидуалистический характер. Все остальное было уже объединено финансовым капиталом, хотя форменные тресты только начинали лишь образовываться. Отчасти это объяснялось устаревшей политической оболочкой—попытка образовать большой трест в 1908 г. натолкнулась на административные препятствия. Но гегемония банков означала по существу то же самое, а она была совсем не новым в России явлением: уже в конце 90-х годов промышленные ценности в портфелях некоторых русских банков составляли более 50% (Торгово-промышленный банк) и даже до 70% (Частный коммерческий банк в 1896 г.). «Таким образом,—заключал исследователь, книжка которого вышла в 1902 г., ранее даже японской войны,—помимо обыкновенного кредита, оказывавшегося банками лишь вновь возникавшим промышленным предприятиям под тем или иным обеспечением, банки являлись непосредственными участниками, а иногда и основателями этих предприятий в качестве собственников значительного числа их акций. Одни банки покровительствовали одним промышленным предприятиям, другие—другим»[2].

Из этого переплета капиталов некоторые пацифисты, мыслившие образами старых «национальных» войн, сделали заключение о невозможности, в начале XX в., международных войн вообще. Они упу-

---

[1] Цифровые данные заимствованы из работы т. Ванаг (ИКП) (см. *Ванаг*, Финансовый капитал в России, М. 1925).

[2] *Б. Брандт*, Торгово-промышленный кризис в Западной Европе и в России (1900—1901), ч. 1, стр. 52—53.

стили из виду, что отдельные группы капиталистов, отдельные «Концерны», преобладающие в том или другом государстве, могут пустить в ход «последнее средство» этого государства, пушки, для достижения целей, не имеющих ничего общего с национальными, но тем более рьяно накачивая в головы мелкого буржуа «патриотический» дурман через свою прессу. Переплет капиталов должен был только придать последней войне более гнусно-лицемерный характер, чем имела когда-либо какая-либо другая. Нельзя заставить людей итти на смерть из-за Лионского кредита или Немецкого банка: нужно было внушить им, что Лионский кредит—это Франция, а Немецкий банк—это Германия, а для этого, прежде всего, крепко зажать рот всякому порядочному человеку, который мог бы крикнуть одураченным: «позвольте, это вовсе не отечество, это—биржа!». Вот отчего неизбежным вступительным аккордом к объявлению войны любой из участвовавших в ней стран было провозглашение *осадного положения*. Простаков уверяли, что во время войны всегда так делается, и никакая военная цензура не позволила бы напомнить, что в 1870 г., когда $^1/_3$ французских департаментов была занята неприятельскими войсками, осадное положение существовало только в тех частях страны, где фактически происходили военные действия, и за двести километров от фронта действовали законы мирного времени.

Империалистский характер войны и господство финансового капитала в царской России делали участие в войне этой последней фактом, само собою разумеющимся. Этому нисколько не противоречит то, что *непосредственно* война была связана с интересами русского *торгового капитала*, давшего ей лозунг: «ключи от собственного дома!». Эта последняя война царской России достойным образом заканчивала «историческую миссию» дома Романовых, начавших с борьбы за такие же «ключи» на севере, с борьбы за господство на Балтийском море. Война за «проливы» была точно такой же борьбой за торговые пути, и крайне нетрудно найти статистическое обоснование для начала этой последней борьбы в 1914 г. Если мы возьмем размеры русского хлебного вывоза и размеры русского активного баланса в последнее пятилетие перед войной, мы получим две чрезвычайно выразительные колонны цифр:

| Годы | Хлебный вывоз (млн. руб.) | Торговый баланс в пользу России (млн. руб.) |
|---|---|---|
| 1909 | 760,7 | 581 |
| 1910 | 847,1 | 431 |
| 1911 | 821,2 | 491 |
| 1912 | 548,5 | 391 |
| 1913 | 647,8 | 200 |

Вывоз 1912 г. составлял только 64,7% вывоза рекордного 1910 г., а баланс 1913 г. всего 34,4% рекордного баланса 1909 г. Причем три последние года давали прогрессию падения прямо катастрофическую—от 20% почти до 50% в год. Это была такая дыра в кармане, что ее не могли не заметить в те годы люди, весьма далекие не

только от теоретической, но и от прикладной экономии. В известном, неоднократно цитировавшемся, разговоре с английским послом Бьюкененом, в апреле 1914 г., Николай сказал ему, что если Турция опять закроет проливы, он, Николай, «прибегнет» к «силе», чтобы очистить дорогу русскому хлебу. Ибо в основе всей вышеприведенной статистики лежал тот факт, что благодаря ряду войн, начавшихся с 1911 г. (итало-турецкая, балканская, турецко-греческая и т. д.), знаменитые «проливы»—Босфор и Дарданеллы—большую часть времени были закрыты для плавания. Что означало это для русского хлебного вывоза, нетрудно понять, если вспомнить, что этот вывоз, в трехлетие 1906—1908 гг., например, на 89% шел через порты Черного моря. В 1911 г. вывоз через Дарданеллы составлял более $^1/_3$ *всего*, не только хлебного, русского вывоза (568 млн. руб. из 1 597 млн. руб.). Убытки от закрытия Дарданелл русское министерство финансов исчисляло в 30 млн. руб. в месяц. «Свобода морского торгового пути из Черного моря в Средиземное и обратно является... необходимым условием правильной экономической жизни России и дальнейшего развития ее благосостояния»,—говорит секретная записка министерства иностранных дел о захвате проливов, составленная осенью 1914 г. Читай—«благосостояния российского торгового капитала».

С гегемонией банков это великолепно увязывается, поскольку мы знаем, что банки принимали деятельное участие в спекуляциях с хлебом. И, тем не менее, как ни наглядно кажется это объяснение, здесь мы имеем только наиболее близкий, *реальный повод* войны (*о формальных* поводах мы будем говорить ниже). Причины же лежат глубже.

Прежде всего, та же секретная записка министерства иностранных дел в своей аргументации оперирует вовсе не одним вывозом, а и гораздо более общими соображениями.

> «Значение для России морского торгового пути через проливы в будущем несомненно во много раз увеличится»,—говорит ее автор (известный Н. А. Базили—один из соавторов отречения Николая). «Экономическое развитие нашего юга происходит особенно скоро и успешно. Можно ожидать что, благодаря обилию железа и угля и близости моря, наши южные губернии превратятся в богатый промышленный район. Это не сможет не вызвать роста черноморской торговли. Такое же влияние окажет и развитие путей сообщения и эксплоатация богатств экономического Hinterland'а Черного моря и в частности Персии».

Таким образом, и в официальной постановке речь шла отнюдь не только о транзите,—в перспективе стояли и рынок для металлургии русского юга, и эксплоатация черноморского Hinterland'а—читай: Малой Азии. Тут кстати вспомнить, что, ведь, и Николай I в свое время лег костьми не ради русского хлебного вывоза, в его время шедшего, главным образом, через Балтику (еще в 70-х годах этим путем шло 54% всего русского хлебного вывоза): «пролагая вооруженною рукою пути торговли русской на Востоке», он хлопотал больше о русской мануфактуре, которой становилось тесно на прокрустовом ложе русского крепостного хозяйства. Нужно было или освободить русского мужика, или удвоить его турецким... Первого

Николай боялся больше, чем внешней войны, и только когда опыт показал обратное, его сын пошел на расширение внутреннего рынка.

Империализм Николая I был, главным образом, «ситцевый». Не следует думать, что к XX в. этот мотив—интересы русской мануфактуры—совершенно исчез из обращения. Если мы возьмем вывоз бумажных тканей из России по *азиатской* границе, мы получим для 1909 г. 21,5 млн. руб., а для 1913 г.—уже 40,8 млн. руб.: за четыре года увеличение почти *вдвое*. Но в ряду реальных поводов к войне 1914 г. этому моменту приходится отвести совсем второстепенное место. Уже в 70-х годах русский империализм (для конца века приходится говорить об империализме в весьма точном, отнюдь не переносном смысле, не в виде метафоры, как для времен Николая I) приобрел ту твердую металлическую базу, которая всякому империализму свойственна. Уже война 1877—1878 гг. была в известной степени попыткой выбросить за границы России *железнодорожное строительство*, возможности которого внутри «империи» нетерпеливым грюндерам казались исчерпанными. Об этом неопровержимо свидетельствует *болгарская* политика Александра III, железнодорожный смысл которой так бьет в глаза, что его не могли не заметить совершенно не причастные к марксизму русские генералы и болгарские «предприемачи» 80-х годов[1]. Но если для Болгарии этого времени «главная суть дела заключалась в разрешении железнодорожного вопроса», по свидетельству генерала Соболева, то нетрудно догадаться, что и к сути русско-турецкой войны 1877—1878 гг. дело это было весьма близко. А насколько вообще был близок и при Александре III вопрос о «проливах» к основной оси русской внешней политики, показывают, с одной стороны, постройка при этом царе чрезвычайно сильного, по тем временам, черноморского флота и сформирование в Одесском округе специального «высадочного» корпуса, который предназначен был к тому, чтобы под прикрытием этого флота захватить Константинополь; с другой—русско-германский договор 1887 г., приложенный к которому «дополнительный и весьма секретный протокол» гласит (ст. 2):

> «В случае, если бы его величество император российский оказался вынужденным принять на себя защиту входов в Черное море в целях ограждения интересов России, Германия обязуется соблюдать благожелательный нейтралитет и оказывать моральную и дипломатическую поддержку тем мерам, к каким его величество найдет необходимым прибегнуть для сохранения ключа своей империи»[2].

«Меры», как теперь известно решился было принять наследник Александра III очень скоро после своего воцарения. О проекте захвата Босфора 1895—1896 гг. мы знаем и из записок Витте, и из секретных документов русского министерства иностранных дел, недавно опубликованных[3]. Не знаем только, что стало поперек дороги осуще-

[1] См. статью пишущего эти строки в сборнике «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии», изд. «Красная новь», 1924 г., стр. 345 и сл.

[2] «Красный архив», т. I, стр. 150—151.

[3] «Воспоминания» Витте, ч. 1, стр. 80 и сл., рус. изд. «Красный архив», там же, стр. 152 и сл.

ствлению этого проекта: конечно, не его стратегическая нелепость, ибо он, во-первых, не только «обсуждался», но был почти доведен до осуществления, а во-вторых, он возникал периодически и в последующее время, в 1908 г. и, в последний раз, зимою 1913/14 г., причем неосуществимость его военными специалистами все время сознавалась как нельзя более отчетливо[1].

Во всяком случае вопрос даже о Константинополе приходится далеко расширить за пределы влияния русского хлебного вывоза и торгового баланса в 1912—1913 гг. Это был большой вопрос русского империализма, зревший по мере того, как зрел последний, и практически подведший к возможности европейской войны уже весною 1912 г., за два года до разговора Николая II с Бьюкененом о проливах. Мы имеем в виду тот сербско-болгарский договор февраля 1912 г., от близкого знакомства с которым так тщательно—и так комично иногда—старается откреститься Пуанкаре в своей последней книжке[2]. Стараясь отвести от себя ответственность за появление на свет этого «орудия войны», как метко окрестил вождь французских империалистов этот документ при первом на него взгляде, Пуанкаре, в сущности, достаточно детально выясняет смысл этого эпизода с точки зрения мировой политики, и за деталями мы отсылаем читателя к его книжке, легко всем доступной. Напомним лишь, что речь в нем шла, фактически, ни более, ни менее, как о разделе Европейской Турции—операция, куда почище пресловутой «аннексии» Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 г., а и из-за той едва не вспыхнула война. В каком стиле был составлен этот «мирный» трактат, покажет маленькая выдержка из секретной телеграммы управляющего тогда министерством иностранных дел Нератова, относившейся еще к *первой* редакции договора, осенью 1911 г.

> «Вся редакция «Соглашения», особенно же статья 4, основана на идее военных действий и насильственных захватов, между тем как та же мысль могла бы быть изложена в форме определения культурных сфер влияния, что не казалось бы прямо направленным против Турции и вполне покрывалось бы формулой сохранения status quo (Пуанкаре очень остроумно замечает, что status quo упоминается в трактате исключительно на предмет его нарушения).

Указания начальства были приняты во внимание, и договору была придана «культурная» форма, но вытравить из него военный дух оказалось выше сил человеческих: в самом конце процесса, уже в феврале 1912 г., мы встречаем телеграмму Неклюдова (русского посланника в Софии), передающую просьбу болгар уговорить сербов «подписать соглашение на основании границ Романовского». Романовский—это тогдашний русский военный агент в Софии: за невозможностью привести к соглашению единокровные славянские нации, от имени которых договор составлялся, Турцию делил русский генеральный штаб...

---

[1] См. «Воспоминания» Сухомлинова, нем. изд., стр. 240.

[2] «Происхождение мировой войны», стр. 120 и сл. по русскому переводу.

Эта маленькая черточка показывает, насколько непричастна была к этому делу Россия, министр иностранных дел которой, Сазонов, якобы, до *мая* месяца «совершенно не был осведомлен о сербско-болгарском договоре». (!!Так, подлинно, стоит у Пуанкаре, стр. 121 рус. перев.). Дело с русской невинностью, впрочем, настолько ясно, что серьезно выгораживать своего русского коллегу Пуанкаре и не пробует. Но он совершенно серьезно выгораживает себя и уверяет, что он-то, Пуанкаре, до самого сентября 1912 г. ровнешенько ничего не знал об «орудии войны», а когда узнал, то пришел в ужас, но было слишком поздно. Для того чтобы быть справедливым ко всем участвующим сторонам, необходимо привести еще одну телеграмму из той же серии. Еще в ноябре 1911 г. русский посланник в Белграде Гартвиг телеграфировал Нератову, со слов сербских министров, сопровождавших короля Петра в Париж:

> «Франция в полном единомыслии с Россией готова всячески содействовать осуществлению национальных задач Сербии. В Париже, по словам министра (сербского), относятся весьма скептически к Балканской федерации, но глубоко сочувствуют сербско-болгарскому союзу, видя в нем серьезный оплот против германо-австрийского натиска.

Правда, министром иностранных дел Франции в это время формально был еще де Сельв, но кто же будет настолько наивен, чтобы поверить, что Пуанкаре не было известно то, что было известно де Сельву, Делькассе, Бареру и «другим государственным деятелям».

Но оставим второстепенный вопрос о политическом жульничестве и о том, кому в нем принадлежит пальма первенства—Пуанкаре или Сазонову. Для нас важно установить одно: что царская Россия уже в 1911—1912 гг. готовила раздел Европейской Турции, что—это мог бы не понять только новорожденный младенец—имело 95% вероятия привести к европейской войне. Вопрос, как видим, расширяется и за пределы Константинополя. В европейской войне нужно было иметь европейских союзников. На этих союзников нельзя было повлиять рассуждениями о вывозе русского хлеба через Дарданеллы. У них должны были быть какие-то более общие мотивы.

Тут многое приоткрыли уже цитированные однажды выше воспоминания Сухомлинова. Очень лживые в том, что касается личной роли и личной ответственности бывшего лидера русской военной партии, они безусловно заслуживают доверия во всем, что он говорит *против* этой партии,—ибо уж кого-кого, а Сухомлинова заподозрить в желании здесь сгустить краски не приходится. Если он сам признается, значит тут, самое меньшее, 50% истины. И когда мы у него читаем: «Раздавить Германию было лозунгом, который определял всю деятельность наших (русской и французской) армий; но момент для разрешения этой военной задачи определяли не солдаты, а дипломаты»,—этому можно поверить. А Сухомлинов резюмирует так свой рассказ о его совместной работе с генералом Жоффром—перед войной, как известно, начальником главного штаба французской армии.

И тут же в воспоминаниях Сухомлинова приводится ряд документов, великолепно устанавливающих связь между дружной работой

французского и русского генеральных штабов и, боимся, едва ли не позабытым читателем, финансовым капиталом. Документы эти—происходившая летом 1913 г., за год до начала войны, переписка между Коковцевым, Сазоновым, Нератовым и другими руководителями русских финансов и русской внешней политики по поводу займов России на парижской бирже[1]. Открывается эта серия письмом Коковцева к Сазонову по поводу предложения де Вернейля, председателя комиссии парижских биржевых маклеров, гарантировать России ежегодный выпуск в Париже обязательств на сумму от 400 до 500 млн. франков (золотых, разумеется, бумажных еще не было тогда...) под двумя условиями:

1) что Россия немедленно примется за постройку стратегических железных дорог, признанных необходимыми на совещании французского и русского генеральных штабов;

2) что мирный состав русской армии будет значительно увеличен.

Едва ли во всей предвоенной литературе есть что-нибудь выразительнее этого непосредственного и официального участия парижской биржи в реализации не каких-нибудь «промышленных ценностей», а решений военных специалистов по стратегическому вопросу. Прекрасно зная «план Шлиффена», по которому работал германский штаб и который заключался в том, что *первый* удар в случае войны наносился Франции, оставляя для России *вторую* очередь, в расчете на медленность русской мобилизации и концентрации, Жоффр и его коллеги настаивали на максимальном ускорении этих последних процессов. Русская армия должна была успеть схватить за шиворот немцев раньше, чем французы будут разбиты. Для ускорения мобилизации служило усиление мирного состава, позволявшее русской армии выступить в поле, в крайнем случае, даже и не дожидаясь окончания мобилизации: так именно, мы знаем, и случилось в августе 1914 г. А ускорить концентрацию этих сил на Висле должны были новые железные дороги. Как видим, события августа 1914 г., одновременность сражения на Марне и русского наступления в Восточной Пруссии, были отлично предусмотрены за год до этого. Только, так как железных дорог построить не успели (война намечалась первоначально не раньше 1915 г.), концентрация совершилась с некоторыми недочетами, стоившими России в конечном счете более 100 тыс. человек,—но главная цель, спасение французской армии от разгрома, была достигнута...

Совершенно ясно, что парижская биржа (одной из главных фигур ее в это время был австриец Розенберг) действовала из соображений не только патриотических, что, по меньшей мере, ее патриотизм имел некоторое материальное основание. Это основание вскрывается особенно отчетливо именно теперь, когда мы имеем и политически и экономически законченные процессы, имеем, с одной стороны, рурскую экспедицию Пуанкаре, с другой—кривую развития французской металлургии за двадцать с лишком лет. Теперь, когда мы знаем, что

[1] Suchomlinov, Erinnerungen, Berlin 1924, S. 244 и сл.

Франция имела 2,7 млн. тонн чугуна в 1900 г., 4 млн. тонн в 1910 г. и имеет 11 млн. тонн сейчас[1], металлургическая база французского империализма становится совершенно очевидной. Совершенно ясно, кому и зачем были нужны и саарский уголь, и лотарингская руда, а в конечном счете—и рурский бассейн. А если мы вспомним, как нежно любили парижские банки русскую металлургию (55% русского железа было фактически во французских руках), дело станет еще очевиднее. Начиналась борьба не на жизнь, а на смерть между двумя могучими металлургическими концернами—борьба, продолжающаяся при ином соотношении сил, и на наших глазах. Столицей одного концерна был Берлин, другого—Париж. Первый под конец персонифицировался окончательно, и имя этому воплощению было Стиннес; второй продолжает оставаться анонимным, довольствуясь частичным полувоплощением лишь в политической плоскости: имя этому полувоплощению—Пуанкаре.

Что последний при таких условиях должен был немедленно же по вступлении в должность французского министра иностранных дел заинтересоваться русскими восточными делами[2], это разумелось само собою: там же был тот лакомый кусок, которым вернее всего можно было выманить русского медведя из его берлоги. Если бы в основе войны, с русской стороны, был только «реальный повод», статистически выражавшийся в цифрах русского хлебного вывоза и торгового баланса, Россия оставалась бы столь же одинокой, как и в 1878 г. Если ее «верная союзница» оказалась верною безо всяких кавычек, то это потому, что благодаря переплету банковских капиталов, Россия уже входила в цепь мировых империалистических сил, к 1912 г. сгруппировавшихся окончательно в два лагеря—английский и германский.

По вопросу о роли Англии в подготовке войны мне приходилось писать не раз[3]. К тому, что я писал пять лет назад, много нового прибавлять не приходится, а повторяться не хочется, ограничусь поэтому напоминанием главного и основного. Как мне представляется, непосредственно *промышленное* соперничество Англии и Германии не играло тут главной роли. Мировой рынок в этом отношении был достаточно емок, вывоз всех трех соперничавших империалистических колоссов мог расти довольно быстро, и Англия в этой конкуренции была не на последнем месте (с 1904 по 1910 г. английский вывоз возрос на 75%, германский—на 86%, американский—на 62%). Крутое и непримиримое соперничество началось в области *мирового транспорта*: этой монополии Англия никому не могла уступить, ибо, лишившись ее, она переставала быть «Великой Британией, владычицей морей», переставала быть Англией. Между тем тут угроза была явная и очевидная. Если мы возьмем за 100 число английских

---

[1] В новых границах, в старых—5,3 млн. тонн.

[2] См. статью пишущего эти строки «Кто такой Пуанкаре?», перепечатанную при русском переводе цитированной выше книги *Пуанкаре* «Происхождение мировой войны» (стр. 186—191 настоящего сборника).

[3] См. статьи настоящего сборника: «Виновники войны», «К вопросу о виновниках войны», «Происхождение и характер войны».—*Прим. ред.*

пароходов в 1870 г., число их в 1908 г. выразится цифрою 365; если мы возьмем за 100 их вместимость (число тонн 1870 г.), для 1908 г. мы получим 910: число пароходов увеличилось с лишком *втрое*, их вместимость менее чем в 10 раз. А если мы произведем такое же сравнение для Германии, мы получим:

| Годы | Пароходы | Тоннаж |
|---|---|---|
| 1871 | 100 | 100 |
| 1909 | 1 328 | 2 808 |

Число германских пароходов за такой же промежуток времени увеличилось в 13 раз, а их тоннаж в 28 *раз*. Еще явственнее будет нам видно, как Германия догоняла «владычицу морей», если мы возьмем пароходы новейшего типа, суда-гиганты, вместимостью более 12 тыс. тонн каждое. Во всем мире их было в 1910 г. 80: из них 42 принадлежали Англии, 22 Германии и 16 всем остальным странам вместе взятым. И в то время как германские сверх-гиганты по 40 тыс. тонн, «Фатерланд» и «Император», благополучно плавали (под другими именами и под другим флагом плавают и до сих пор), английский пароход этого типа, «Титаник», пошел ко дну при первом же рейсе.

При свете этих цифр нам становятся понятны речи, которые Сазонов услыхал в Бальморале, приехав туда в сентябре 1912 г., когда Грей, «не колеблясь, заявил, что если бы наступили предусматриваемые (Сазоновым) обстоятельства (т. е. вспыхнула русско-германская война.—*М. П.*), Англия употребила бы все усилия, чтобы нанести самый чувствительный удар германскому морскому могуществу», а Георг V еще более энергически заявил, что англичане намерены пускать ко дну всякое германское *торговое* судно, которое они встретят на своем пути. («We shall sink every single German merchant ship we shall gethold of».) Если будущее Германии «лежало на воде», то настоящее Англии было там же—и тут уже для двоих места никак найти было нельзя.

Дополнительным «реальным поводом», приблизительно такой же силы, как для России хлебный вывоз через Дарданеллы, был для Англии вопрос о *Багдадской железной дороге*[1]. Всякий, кто протягивал руку к Египту и Индии, обнаруживал опасную тенденцию вынуть из английского кармана побольше тех 30 млн. руб. в месяц, что вынимали из русского кармана запертые Дарданеллы: одна Индия давала англичанам столько же, сколько стоил весь ежегодный русский хлебный вывоз. Но это был все же не более чем «реальный повод» крупного, но все же местного значения, а мировую войну могли развязать лишь причины значения мирового. Таким и было соперничество Англии и Германии в области океанского мирового транспорта.

Если мы к этой причине присоединим столкновение двух металлургических концернов и дарданельский вопрос для России, мы получим три конфликта, которые могли быть разрешены только

[1] См. «Внешняя политика», стр. 182 и сл.

силой: ни Германия не уступила бы добром, без драки, Саарского бассейна и Лотарингии, ни Турция—Дарданелл, не говоря уже о том, что германский флот добровольно не пошел бы на дно морское. Между тем, весь ход войны показал, какое значение для Англии имел этот последний конфликт: как ни грандиозны были английские операции на суше, они все, по существу, были дополнением к обороне или нападению на море; на западном театре английская армия защищала подступы к Па-де-Кале, на восточном она пыталась взять Дарданеллы—даже когда война превратилась в интервенцию, англичане не сошли с проторенной колеи, наложив руку на выходы Советской России к океану, на Мурман и Архангельск. И заострился весь англо-германский поединок в подводную блокаду, в которой немцы под конец стали видеть главное средство достигнуть победы.

Чтобы развязать войну, было больше причин, чем нужно,—вот почему спрашивать о «виновнике» в буквальном смысле этого слова, останавливать главное внимание на *формальных* поводах к войне, как это делали все, о ее возникновении писавшие, включая и Каутского,—дело, в значительной степени, праздное. При таком соотношении сил, какое сложилось к лету 1914 г. (фактически уже к *осени* 1912 г.), не тот, так другой формальный повод должен был найтись. Но раз вопрос о «виновнике» поднят, об этом пишутся книги, этому посвящаются целые журналы («Die Kriegsschuldfrage»), под этим лозунгом подвергаются травле целые страны и народы,—если не научных, то житейских оснований достаточно, чтобы отвести и этому сюжету долю внимания. Кстати же мы и тут имеем кое-какие штрихи, рисующие «быт и нравы» империализма.

Изыскания Каутского и прочих открывателей «виновника» берут за исходную точку убийство сербскими националистами эрцгерцога Франца-Фердинанда 28 июня 1914 г. Между этой датой и 1 августа того же года стараются они открыть «причины войны». И так как для этого промежутка времени воинственные настроения не только Австрии, но и Германии вне всяких сомнений, то установление «виновника» дается Каутскому с самым блестящим успехом. В самом деле, разве мы не имеем депеши Чиршкого [1] из Вены от 10 июля (за две недели до ультиматума), где черным по белому написано: «Если бы сербы приняли все выставленные требования, это был бы исход, который ему (графу Берхтольду, австрийскому министру иностранных дел) «очень несимпатичен», и он (Берхтольд) еще обдумывает, какие бы *требования* можно было поставить, *чтобы их принять* было для Сербии *совершенно невозможно*». Получивший эту депешу своего венского представителя, Вильгельм подчеркивает набранные разрядкою строки и на полях подает добрый совет насчет «совершенно неприемлемых условий»: «Очистить Санджак! Вот ссора и готова».

Итак, уже 10 июля и для Вены и для Берлина дело шло только

[1] Посол Германии в Вене.

о том, чтобы создать формальный повод для войны с Сербией. Четыре дня спустя граф Берхтольд кончил «обдумывать». Депеша Чиршкого от 14 июля с торжеством сообщает: «Нота (адресованная Сербии) так составлена, что принятие ее совершенно *исключено*». Слово «исключено» подчеркнуто Вильгельмом дважды. Как же не виновник и не соучастник?

Опубликованные Каутским и его сотрудниками документы не оставляют сомнения, что в этот промежуток времени, 28 июня—1 августа, у Вильгельма была одна забота: *избежать войны с Англией.* Войну Австрии с Сербией он провоцировал, на войну с Россией—и Францией—из-за Сербии он шел с совершенно открытыми глазами. Правда, у него была тень надежды, что Николай II «постыдится» выступить на защиту «цареубийц», но он жил не этой тенью, а уверенностью, что со своими сухопутными противниками германо-австрийский союз справится легко и быстро. Поджилки у него дрогнули в первый раз, когда ему стало ясно, что Англия не останется на нейтральной позиции; этот поворот отмечен телеграммой Бетмана-Гольвега [1] Лихновскому [2] от 28 июля, письмом Вильгельма к своему министру иностранных дел от того же числа и, наконец, в виде заключительного аккорда, бешеными замечаниями Вильгельма на депеше Лихновского от 29-го. Тут уже неприемлемость австрийского ультиматума перестает быть его достоинством, напротив, Вильгельм радуется, что Сербия все-таки его приняла, что «для войны нет больше никакого основания»—и это вовсе не так плохо, как ему казалось двумя неделями раньше, ибо теперь война означала гибель германского торгового флота и всех связанных с ним надежд.

Так будет доколе мы, уподобляясь загипнотизированной курице, не могущей отвести нос от проведенной на полу мелом черты, не сможем оторваться от роковой даты 28 июня 1914 г. Но если мы решимся сбросить с себя этот гипноз и заглянуть только на месяц-другой ранее (не больше!), то мы найдем ряд фактов, которые посрамят Вильгельма с его коварными намерениями насчет Сербии, ибо покажут, насколько германский хищник был мельче и ниже полетом своих соперников. Его мечтания в начале июля не шли дальше аннексии Сербии, хотя бы путем войны с Россией и Францией, и он в ужасе отпрянывал от идеи мировой войны с участием Англии, а его соперники готовили уже именно мировую войну, с широтою целей и энергией средств поистине беспримерной.

Первый из этих майских документов относится к переговорам России и Англии о заключении морской конвенции, переговорам, существование которых так энергично отрицал сэр Эдуард Грей перед германским послом. Частично он был уже опубликован, целиком же, кажется, нет,—а он не длинен и стоит того. Приводим его в точной копии.

---

[1] Тогдашний германский канцлер.
[2] Германский посол в Лондоне.

«13 мая у начальника морского генерального штаба состоялось совещание для обмена мыслей касательно предстоящих переговоров о заключении соглашения между Россией и Англией о согласованных операциях их морских сил в случае совместных военных действий России и Англии при участии Франции. На этом совещании присутствовали: начальник морского генерального штаба вице-адмирал Русин, товарищ министра иностранных дел гофмейстер Нератов, помощник начальника морского генерального штаба капитан I ранга Ненюков, директор канцелярии министерства иностранных дел в должности гофмейстера действительный статский советник барон Шиллинг, военно-морской агент в Англии флигель-адъютант капитан I ранга Волков и вице-директор канцелярии министерства иностранных дел в звании камергера коллежский советник Базили.

Отметив прежде всего всю желательность заключения такого соглашения как со специально военно-морской точки зрения, так и в особенности с общеполитической, совещание по всестороннем обсуждении вопроса пришло к нижеследующим заключениям.

Прежде всего признано было, что морское соглашение наше с Англией должно, подобно франко-русской морской конвенции, иметь в виду согласованные, но раздельные действия наших и английских морских сил.

В отношении стратегических целей, выдвигаемых с нашей точки зрения, в случае войны держав «Тройственного согласия» с державами «Тройственного союза», надлежит различить, с одной стороны, морские операции в районе Балтийского и Немецкого морей, с другой—борьбу морских сил в Средиземном море. В том и другом из этих районов мы должны стремиться получить от Англии компенсацию за отвлечение на нас части германских морских сил. На северном театре войны наши интересы требуют, чтобы Англия удержала возможно бо́льшую часть германского флота в Немецком море. Это компенсировало бы подавляющее превосходство германского флота над нашим и, быть может, позволило бы в благоприятном случае, предпринять десантную операцию в Померании. Если бы оказалось возможным приступить к этой операции, осуществление ее представило бы значительные трудности вследствие слабого развития наших транспортных средств в Балтийском море. Английское правительство могло бы оказать нам в этом деле существенную услугу, согласившись до открытия военных действий перевести в наши балтийские порты такое количество торговых судов, которое восполнило бы недостаток наших транспортных средств. Морское положение в Средиземном море также весьма существенно затрагивает наши интересы, так как в случае господства в этом море австро-итальянских сил возможны наступательные операции австрийского флота в Черном море, что явилось бы для нас опасным ударом. Поэтому с нашей точки зрения представляется весьма важным установление прочного перевеса сил «Тройственного согласия» над австро-итальянским флотом в Средиземном море. В виду существующего превосходства австро-итальянских морских сил над французскими, желательно, чтобы оставлением необходимого количества судов в Средиземном море Англия обеспечила господство в этом море сил «Тройственного согласия», по крайней мере пока развитие нашего собственного флота не позволит нам взять эту задачу на себя. Было бы также желательно получить согласие Англии на то, чтобы наши суда могли пользоваться в качестве базы английскими портами в восточной части Средиземного моря, подобно тому, как Франция, в силу морской конвенции, предоставила нам право базироваться на ее порты в западной части этого моря. Если бы в связи с положением в Средиземном море зашла речь о проливах, то надлежало бы, не касаясь политического вопроса о Босфоре в Дарданеллах, предусмотреть лишь временные военные меры в проливах как одну из возможных стртаегических операций наших в случае войны.

Помимо вышеизложенного, совещание признало желательным, чтобы предположенным морским соглашением нашим с Англией установлен был во всех подробностях порядок сношений между нашими и английскими морскими силами. Для этой цели необходимо будет согласиться о вы-

работке системы общих сигналов и специальных шифров, об организации обмена радиотелеграммами и о способах сношений между морскими генеральными штабами России и Англии.

Необходимо, кроме того, договориться о том, чтобы наше и английское морские ведомства обменивались сведениями как о флотах третьих держав, так и собственных флотах и в частности техническими данными о применяемых в морском деле приборах и изобретениях.

По мнению совещания, надлежало бы также установить по образцу франко-русской морской конвенции периодический обмен мнений между начальниками нашего и английского морских генеральных штабов для обсуждения вопросов, интересующих морские ведомства обоих государств, и проверки совместно намеченных мероприятий.

Переходя от содержания предположенного соглашения к порядку его заключения, совещание признало вполне соответственным предложение английского правительства, чтобы оно выработано было нашим военно-морским агентом в Англии и английским морским ведомством при участии французского военно-морского агента в Лондоне и затем представлено было на одобрение правительств. В виду тесной связи, существующей между выработанным английским и французским генеральными штабами планом совместных действий и возможной кооперации нашей с английским флотом, необходимо, чтобы, как, повидимому, и предполагается, нам был сообщен текст англо-французского морского соглашения.

В заключение совещание высказало убеждение в необходимости, чтобы наш морской агент в Лондоне держал в курсе всего хода переговоров императорского посла в Лондоне, который, в свою очередь, окажет ему зависящее содействие».

Мы видим, до чего наивен был император Вильгельм, *в июле* рассчитывавший еще на английский нейтралитет, фактически агонизировавший уже в мае: переговоры морских штабов велись на основании принципиального соглашения, состоявшегося еще *в апреле* [1]. В особенности, конечно, драгоценно это желание русского морского штаба получить десантные средства для высадки в Померании «до начала военных действий»: несумасшедший мог так рассуждать лишь в том случае, если военные действия собирался начать он—если это начало представлялось инициативе противника, говорить об этом начале, как об определенном моменте, было бы смешно. Кто же их, немцев, знает, когда они начнут? Совершенно ясно, что когда Сухомлинов с Жоффром мирно беседовали о разгроме Германии, представляя дипломатам лишь установление *момента* этой операции,—они говорили не на ветер.

Другой «майский» документ еще более заслуживал бы воспроизведений целиком, но, к сожалению, у меня под руками сейчас только выдержки. Это—депеша Палеолога [2] к Делькассе [3], заключающая в себе отчет о беседе французского посла «с влиятельным членом русского государственного совета» по поводу предстоящей судьбы Австро-Венгрии на случай смерти императора Франца-Иосифа.

«Прежде всего,—заявил «член государственного совета»,—мы должны будем присоединить Галицию. Наш военный министр, генерал Сухомли-

---

[1] См. статью «К вопросу о виновниках войны» в настоящем сборнике.

[2] Французский посол в Питере.

[3] Французский министр иностранных дел.

нов, мне на-днях доказывал, что обладание Галицией необходимо для безопасности нашей западной границы. И потом—это глубоко русская страна».

Дальнейшее содержание депеши Палеолога посвящено доказательству этого последнего утверждения его собеседника. И география, и этнография, и история, и даже религия,—все, по мнению Палеолога, доказывает, что Галиция «глубоко русская страна». Между прочим, Палеолог тут выбалтывает, что «православная пропаганда» в Галиции «поддерживается панславистскими комитетами» в Москве и Киеве, т. е. носит чисто политический и притом агрессивный (наступательный) со стороны России характер. Теперь-то, конечно, никто в этом не сомневается, но в то время русское правительство тщательно скрывало, что его заботы о православии в Галичине имеют целью подготовить захват этой страны царской Россией.

Некоторые исторические и географические недоразумения, содержащиеся в этой части депеши, нисколько не мешают тому, что здесь Палеолог попросту передает пожелания своего собеседника, который, в свою очередь, говорил «конфиденциально» от имени русского правительства. Конец депеши, где Палеолог прямо говорит о «притязаниях нашей союзницы», не оставляет на этот счет сомнений: «влиятельный член государственного совета» высказывал не только свое личное мнение. Смерть же императора Франца-Иосифа была припутана ни к селу, ни к городу, просто затем, чтобы дать империалистическим вожделениям России хоть какой-нибудь предлог. Надо было с чего-нибудь начать разговор, притом не испугав чересчур французов перспективой вот-вот готовой надвинуться войны. Из других документов мы знаем, что президент Пуанкаре и то считал русских чересчур торопливыми: так вот «влиятельный член» и успокаивал—это, мол, не сейчас, ужотка, когда Франц-Иосиф помрет. А ему еще бог, может, два—три годочка жизни пошлет (австрийскому императору было тогда под 80).

*Итак, весною 1914 г., за три месяца до начала войны, Россия готовилась к разделу Австро-Венгрии и уговаривалась об этом со своей союзницей Францией.*

Но смерти Франца-Иосифа, как и кораблей для десанта в Померанию, было дожидаться долго. А руки чесались, и питаться далекими мечтаниями было все больше невмоготу. И вот, пока морской штаб договаривался с англичанами, сухопутный решил действовать.

Летом прошлого года вышла брошюра сербского профессора Станоевича, мало обратившая внимания на себя у нас, но являющаяся самым крупным разоблачением из истории подготовки войны за последнее время. Вот что там можно было прочесть:

«После свидания кайзера Вильгельма II и австрийского кронпринца Фердинанда в Конопиште, полковник Д. Дмитриевич, начальник осведомительного отделения сербского генерального штаба, получил секретное сообщение от русского генерального штаба о том, что русское правительство получило точные сведения о характере и цели свидания Вильгельма II и кронпринца Фердинанда, во время которого Германия одобрила план

нападения Австро-Венгрии на Сербию и завоевания ее, а также обещала ей свою помощь и поддержку. Другие сведения, которые после этого получил полковник Д. Дмитриевич, подтвердили точность данных, полученных от русского генерального штаба. Среди же сербской публики по поводу решений, принятых на свидании двух монархов в Конопиште, были распространены фантастические и возбуждающие слухи, всеми овладела страшная нервозность, и воздух был наполнен электричеством.

Когда были назначены маневры австро-венгерских войск в Боснии и когда стало известно, что кронпринц Фердинанд намерен прибыть в Сараево, полковник Д. Дмитриевич был уверен, что Австро-Венгрия желает совершить нападение на Сербию. После долгого размышления,—как он (полковник Дмитриевич) сам рассказывал об этом в апреле 1915 г.,—он пришел к заключению, что нападение на Сербию и войну можно предупредить только убийством Фердинанда, которого все сербское общественное мнение в тот момент рассматривало, как самого большого врага Сербии и сербского народа и как главного инициатора всякого действия против них».

Немецкие исследователи вопроса о «виновнике» немедленно представили целый ворох доказательств, что на последнем свидании Франца-Фердинанда с Вильгельмом в Конопиште говорилось только о Румынии—а вовсе не о Сербии. Современное событиям секретное сообщение русского посла в Вене (от 13/26 июня 1914 г.) подтверждает немецкую версию. Шебеко писал Сазонову:

«Во время свидания в Конопиште, которое посвящено было, повидимому, главным образом, морским вопросам, там, оказывается, подвергся также обсуждению и румынский, причем со стороны императора Вильгельма были сделаны успокоительные заверения, основанные на одушевляющих, будто бы, короля Карла чувствах глубокой преданности личности императора Франца-Иосифа и главе дома Гогенцоллернов.

Более пессимистично отнесся император Вильгельм к будущему.

Исчезновение с политической арены короля Карла, по его мнению, может сильно отозваться на направлении внешней политики Румынии и повести к заключению союзов, на которые нынешний король никогда не согласится. В виду этого вопрос об укреплении австро-венгерской границы с Румынией должен быть решен в утвердительном смысле.

Слухи о возбуждении нами вопроса о проливах в связи с возрождением нашего флота тоже, повидимому, сильно беспокоили членов «Тройственного союза» и служили также предметом обсуждения в Конопиште, причем эрцгерцог Франц-Фердинанд, по свидетельству присутствовавших при свидании лиц, имел весьма продолжительные совещания с адмиралом Тирпицем, во время которых, как говорят, обсуждалась не только настоящая судостроительная программа Австро-Венгрии, согласно которой к 1918 г. монархия должна располагать 12 дредноутами, но и секретная программа, состоящая в изготовлении на заводах отдельных частей судов, могущих быть собранными, в случае надобности, весьма скоро. Посещение Кронштадта английской эскадрой и пребывание в Париже начальника нашего морского штаба послужили также предметом самого оживленного обсуждения со стороны здешних политических кругов».

Нет никакого сомнения, что Дмитриевич лгал, уверяя, будто убийство Фердинанда казалось ему единственным средством «предупредить войну»: даже не очень глупый маленький ребенок понял бы, что этим средством войну можно только вызвать. Но сербская военщина, чувствуя на своем плече могучую руку северной покровительницы, *не боялась* войны. А покровительница играла большую игру,—

и не даром один из наиболее близких к месту действия игроков, не упоминаемый Станоевичем, но незримо парящий над всею этой картиной, Гартвиг[1], не выдержал волнения и умер скоропостижно через несколько дней после того, как в Белград пришло известие о сараевском выстреле.

Концепция Каутского оказывается не то что неверной, а уж очень близорукой. Конечно, *после* сараевского убийства Вильгельм рвал и метал и в лепешку готов был расшибить несчастную Сербию. Но уже тут сказалось, насколько его соперники ловчее его и шире размахом: инициатива с самого начала была в их руках. Германский империализм потерпел первое поражение за полтора месяца до начала войны.

Итак, война *непосредственно* была спровоцирована русской военной партией. После того как эта провокация совершилась, история политической подготовки войны была кончена, но не была окончена подготовка «общественного мнения» к войне. Одурачивание масс только теперь и начиналось. В истории этого одурачивания видную роль играет эпизод *с русской мобилизацией*. Изучая «формальные поводы»—как они сами по себе не ничтожны,—этого эпизода обойти нельзя.

Тут мы получили за последние годы *три* первостепенных источника. Ранее всего появился первый том «Царской России во время войны» Палеолога—чрезвычайно подробный рассказ о том, что делалось в социальных верхах «Петрограда» за время войны, поскольку это было видно из французского посольства. Хотя и расположенный в форме поденных записей, рассказ Палеолога, на самом деле, как показывает ближайший анализ, обработан по различным материалам впоследствии и потому содержит в себе немало мелких неточностей. Но в крупном, опираясь на документы и, вероятно, нечто в роде коротенького дневника, изложение Палеолога не вызывает больших сомнений. Позднее вышли по-немецки воспоминания Сухомлинова[2]. Это еще больше «мемуары», чем книга Палеолога (вышедшая—мы говорим о I томе—в 1921 г.). Их апологетически-лживый тон, по отношению лично к автору, мною уже отмечен. Но тем ценнее те места, где Сухомлинов невольно «пробалтывается». Пытаясь рассказывать, как и Палеолог, день за днем (вероятно, тоже по современной записи), Сухомлинов тоже путается в подробностях, а иногда явно их скрывает. Вот почему ценнейшим дополнением к обеим версиям онемечившегося главы русской военной партии и французского «друга России», является вполне современная, составленная следом за событиями, запись русского министерства иностранных дел, опубликованная в IV томе «Красного архива». По существу, это дневник Сазонова или материалы для его мемуаров, но им окончательно не обработанные: последнее и придает им исключительную ценность.

[1] Русский посланник в Сербии. Умер 10 июля, а сараевский выстрел имел место 28 июня.

[2] Помечены 1924 г., закончены, как видно из предисловия, уже в 1923 г.

Официальная, распространявшаяся книгами всех цветов и газетными к ним комментариями, версия была такова: Россия мобилизовалась лишь после того, как были исчерпаны все средства мирного соглашения. Австрия напала на Сербию, Германия явно поддерживала Австрию и, по сообщению официальной газеты «Localanzeiger», сама мобилизовалась; правда, сообщение было сейчас же официально опровергнуто, но слишком поздно: в Петербурге уже «нажали на кнопку». Это было в пятницу 31 июля. 1 августа Германия объявила России войну.

Перечисленные нами источники, исходящие от самых близких к событиям и наиболее осведомленных лиц, дают такую картину. *Немедленно* по получении австрийского ультиматума Сербии Сазонов восклицает: «c'est la guerre européenne» (это—европейская война). В три часа дня того же 24 июля, т. е. через несколько часов после получения в Петербурге известия об ультиматуме, происходит совет министров, на котором, *по предложению министра иностранных дел*, «была принципиально решена мобилизация 4 военных округов, а также *обоих флотов*, черноморского *и балтийского*» [1]. После этого сколько угодно можно было толковать, что «наши военные приготовления направлены исключительно против Австро-Венгрии и не могли быть истолкованы, как недружелюбные действия против Германии»—дело было ясно даже для младенцев, ибо в Балтийском море ни одного австрийского военного судна не было и быть не могло. Вслед за тем, вечером, Сазонов в самом вызывающем тоне («sur un ton très vif») ведет беседу с германским послом и получает первое одергивание со стороны Палеолога, которому он под свежим впечатлением рассказал о своем разговоре с Пурталесом [2]:

> «Не забывайте, что мое (французское) правительство есть правительство общественного мнения и что оно может вам оказать, существенную поддержку лишь при условии, что общественное мнение будет на его стороне. Наконец, подумайте и об общественном мнении Англии» [3].

Сазонов одумался и пообещал всю ответственность свалить на Берхтольда [4].

Повидимому, однако, совет быть сдержанным Сазонов понял как относящийся исключительно к германским и австрийским дипломатам, так как на следующее утро, на совещании в Красном селе под председательством Николая, он произнес ярко агитационную речь, «сильно подействовавшую на наши солдатские чувства», по словам Сухомлинова [5]. Что этот последний ни гу-гу о происходившем накануне *при его участии* совете министров, очень, конечно, выразительно для оценки общей его правдивости,—но тем больше у него было оснований скрывать и воинственный характер сове-

[1] «Красный архив», т. IV, стр. 8. Курсив мой.—*М. П.*
[2] Германский посол в Петербурге.
[3] «La Russie des Tzars», p. 25.
[4] Австрийский министр иностранных дел. Там же, 26.
[5] «Erinnerungen», S. 358.

щания в Красном селе: он, однако, ограничивается тем, что сваливает ответственность за воинственный тон на Николая Николаевича, будто бы натаскавшего в соответственном духе Николая II за кулисами, перед совещанием.

Все это было в субботу. В воскресенье Сазонов имел беседу с австрийским послом и на этот раз вел себя прилично, получив за это комплимент от Палеолога. В ответ на комплимент Сазонов пообещал впредь всегда быть паинькой: «до последнего мгновения я буду вести переговоры»[1]. Но в то же время, «между нами» задал Палеологу вопрос—неужели тот думает, что войны все-таки не будет? На что Палеолог успокоил его, что войны ни в каком случае не избежать. Дело не в войне, а в «общественном мнении», т. е. в одурачивании масс... На этот предмет Сазоновым было дано распоряжение по газетному ведомству: «Ругайте, сколько хотите, Австрию,—но будте сдержаны по отношению к Германии»[2].

Что Палеолог был прав относительно методов действия, очень скоро подтвердил аналогичный совет английского посла Бьюкенена. Весьма, видимо, довольный, что Россия «двинулась серьезно» («she is thorougly in earnest»), он, в свою очередь, приходил напоминать Сазонову о необходимости всячески избегать мер, могущих подать повод Германии изобразить дело так, что на нее напали: «Надо предоставить германскому правительству всю ответственность и всю инициативу нападения. Английское общественное мнение допустит мысль об участии в войне только в том случае, если не будет сомнения, что нападающей стороной является Германия». Палеолог всячески поддерживал эти настояния: «С Берлином и Веной дело кончено»,—говорил он Сазонову.

«Теперь вы должны думать о Лондоне. Я вас умоляю не принимать никаких военных мер на германском фронте и быть очень осторожным даже на австрийском, пока Германия не открыла своих карт. Малейшее неблагоразумие с вашей стороны нам может стоить поддержки Англии». «Это и мое мнение,—отвечал Сазонов,—но наш главный штаб торопится (s'impatiente), и мне очень трудно его сдерживать»[3].

Глава этой последней организации, Сухомлинов, по его «Воспоминаниям», все это время жил безмятежной жизнью «текущих дел» и «ничего не знал». С Сазоновым даже не виделся... Из этого видно, что лгать надо тоже умеючи. Характерно, впрочем, что некоторая пауза между воскресеньем и средой имеется и в дневнике министерства иностранных дел. Повидимому, там эти дни были слишком заняты охаживанием Англии, с одной стороны, и Румынии (на которую очень рассчитывали)—*с другой*. Решительный день наступил в среду, 29-го. Нет сомнения, что в этот день война висела на волоске,—разумеется, лишь постольку, поскольку дело шло о «моменте». Нака-

[1] «Erinnerungen», S. 32—34.
[2] Ibid., S. 29.
[3] Ibid., S. 30.

нуне Николай получил от Вильгельма, уже начинавшего понимать английскую игру, как я уже указывал выше, телеграмму с предложением посредничества в переговорах с Австрией. Но он не согласовал своего выступления со своим представителем в Петербурге, и Пурталес в этот самый день сделал резкое представление Сазонову по поводу русской мобилизации. Когда Николай позвонил Сазонову о примирительном письме Вильгельма, Сазонов хватился за представление Пурталеса, как за якорь спасения. Тут же кстати подоспело известие о бомбардировке Белграда австрийцами. На спешном совещании с Сухомлиновым и Янушкевичем «по всестороннем обсуждении положения оба министра и начальник генерального штаба пришли к заключению, что, ввиду малого вероятия избежать войны с Германией, необходимо своевременно всячески подготовиться к таковой, а потому нельзя рисковать задержать общую мобилизацию впоследствии, путем выполнения ныне мобилизации частичной. Заключение совещания было тут же доложено по телефону государю императору, который изъявил согласие на отдачу соответствующих распоряжений. Известие об этом было встречено с восторгом тесным кругом лиц, которые были посвящены в дело. Тотчас были отправлены телеграммы в Париж и Лондом для предупреждения правительств о состоявшемся решении».

Что *общая* мобилизация означает *наверное* войну, это знал всякий военный специалист. В 1894 г. генерал Обручев высказал это всеми словами. Никакая страна не может стерпеть, чтобы на ее границах стоял вооруженный до зубов соперник и чтобы ему принадлежал выбор момента, когда напасть. Германия давно заявляла во всеуслышание, что лучшая оборона есть нападение («Die beste Deckung ist der Hieb»)—и в этом с ней были совершенно согласны ее будущие противники.

«Оба начальника главного штаба объявляют с общего согласия,— гласит протокол совещания французского и русского начальников штаба от августа 1913 г.,—что слова *оборонительная война* не должны быть истолковываемы в смысле войны, *которая ведется оборонительным образом*. Они, напротив, подтверждают абсолютную необходимость для русской и французской армий предпринять решительное и, насколько возможно, единовременное наступление, согласно тексту 3 пункта конвенции, который гласит, что силы обеих договаривающихся держав действуют со всей энергией и настойчивостью» [1].

Дело, казалось, было в шляпе. Но к вечеру околпаченный своими министрами Николай сообразил, что изо всех событий дня самым поздним, по возникновению, была телеграмма Вильгельма и что неловко на предложение посредничества отвечать всеобщей мобилизацией. Неловко, прежде всего, пред теми же французами и англичанами— здесь последний Романов оказался тактичнее своих слуг. В 11 часов вечера «военный министр сообщил по телефону министру иностранных дел, что им получено высочайшее повеление

[1] «Красный архив», т. I, стр. 21.

об отмене общей мобилизации» [1]. Тем временем и до Пурталеса дошло изменение берлинских настроений, и в 2 часа ночи он, «растроганный и взволнованный», ломился к Сазонову, умоляя дать какую-нибудь формулу для соглашения. Сазонов продиктовал ему нечто, содержавшее в себе фактический отказ Австрии от ультиматума. Было по крайней мере 90 шансов из 100, что этого ни в Берлине, ни в Вене не примут,—и таким путем можно было хоть выиграть время.

На утро вся компания снова пришла в движение. Сазонов, справедливо опасаясь, что после вчерашнего Николай его не примет, звонил по телефону Кривошеину, фактическому премьеру за крайней ветхостью номинального премьера, Горемыкина, прося его повлиять на Петергоф в нужном смысле. Но Николай и Кривошеина не принял. Тем временем Сазонов, Сухомлинов, невинный, как агнец, и Янушкевич [2] снова собрались у последнего. Было очевидно, что нужно спасать войну во что бы то ни стало, иначе момент мог быть упущен безвозвратно,—а когда-то придет другой?

«Генерал-адъютант Сухомлинов и генерал Янушкевич вновь старались убедить по телефону государя вернуться ко вчерашнему решению и позволить приступить к общей мобилизации. Его величество решительно отверг эту просьбу и, наконец, коротко объявил, что прекращает разговор. Генерал Янушкевич, державший в эту минуту в руках телефонную трубку, успел лишь доложить, что министр иностранных дел находится тут же, в кабинете, и просит разрешения сказать государю несколько слов. Последовало некоторое молчание, после которого государь изъявил согласие выслушать министра. С. Д. Сазонов обратился к его величеству с просьбой о приеме в тот же день для неотложного доклада об общем политическом положении. Помолчав, государь спросил: «Вам все равно, если я приму вас одновременно с Татищевым в 3 часа, так как иначе у меня сегодня нет ни одной минуты свободного времени?» Министр благодарил государя и сказал, что прибудет в указанный час».

Из предосторожности решено было, значит, не разговаривать с Сазоновым без свидетелей.

«Начальник штаба горячо умолял С. Д. Сазонова непременно убедить государя согласиться на общую мобилизацию ввиду крайней опасности для нас оказаться неготовыми к войне с Германией, если бы обстоятельства потребовали от нас принятия решительных мер после того, как успех общей мобилизации был бы скомпрометирован предварительным производством частичной мобилизации. Генерал Янушкевич просил министра, чтобы, если ему удастся склонить государя, он тотчас бы об этом передал ему, Янушкевичу, по телефону из Петергофа для принятия немедленно надлежащих мер, так как необходимо будет прежде всего как можно скорее уже начатую частичную мобилизацию превратить во всеобщую и заменить разосланные уже приказания новыми. «После этого,—сказал Янушкевич,—я уйду, сломаю мой телефон и вообще приму все меры, чтобы меня никоим образом нельзя было разыскать для преподания противоположных приказаний в смысле новой отмены общей мобилизации» [3].

[1] «Красный архив», т. I, стр. 22.
[2] Начальник генерального штаба.
[3] «Красный архив», т. I, стр. 29—30.

В Петергофе Сазонов, в присутствии Татищева, готовившегося ехать в Берлин разговаривать с Вильгельмом, «в течение почти целого часа доказывал, что война стала неизбежной, так как по всему видно, что Германия решила довести дело до столкновения, иначе она не отклонила бы всех делаемых примирительных предложений (она сама их делала, и Татищев был живой иллюстрацией!!) и легко бы могла образумить свою союзницу». Мотив был, можно сказать, традиционный, так хорошо знакомый еще по анекдотам о Павле Петровиче: «ваше величество, немцы вас обманывают». После часа уламываний Николай, сильно обозленный, как показывали вырывавшиеся у него выражения, но не уверенный, что Вильгельм его действительно не обманывает—кто же в этом кругу и в подобной обстановке мог бы питать такую уверенность?—взял назад отмену мобилизации.

«С. Д. Сазонов испросил высочайшее соизволение немедленно передать об этом по телефону начальнику генерального штаба, и получив таковое, поспешил в нижний этаж дворца к телефону. Передав высочайшее повеление ожидавшему его с нетерпением генералу Янушкевичу, министр, ссылаясь на утренний разговор, прибавил: теперь вы можете сломать телефон».

Едва Сазонов вышел от Николая, у того опять начались колебания, и он телеграфировал Вильгельму, что мобилизация еще не война и т. п. Но это уже не могло изменить хода дела—лавина двинулась. Германия, правда, не ответила немедленным открытием военных действий—как Япония в 1904 г.,—а на первое время ограничилась ультиматумом, требовавшим прекращения мобилизации. С таким же успехом можно было требовать прекращения наводнения: элементарная истина, высказанная в 1894 г. Обручевым, не могла не оправдаться—*всеобщая* мобилизация означала войну.

Прекрасно это понимая, защитники «русской» точки зрения («русской», конечно, ее можно называть только иронически, ибо не могло быть ничего, более противоположного интересам русской народной массы) выдвигают две оправдательные версии.

Первая. Шаг Сазонова (фактически ведь он настоял на мобилизации) объяснялся полученным из Берлина в этот день, четверг 30-го, известием о мобилизации германской армии. Пусть известие оказалось ложным, психологическое впечатление оно должно было произвести; когда же выяснилось недоразумение, было слишком поздно. Объяснение это не выдерживает критики: известие об утке, пущенной «Lokalanzeiger'ом», пришло в Питер только в 4 часа дня, а Сазонов уговаривал Николая с 2-х до 3-х. Когда пришла телеграмма из Берлина, телеграммы о мобилизации летели уже по России.

Вторая. Военные специалисты, с бывшим именно в те дни начальником мобилизационного отдела генералом Добророльским во главе, утверждают, что *частичная* мобилизация, только против Австрии, была *технически* неосуществима: она сломала бы весь план. Но как они ответят на мобилизацию *балтийского флота* с первого же часа? А, во-вторых, до 1914 г. Россия не имела ни разу всеобщей

мобилизации, а воевала и мобилизовала несколько раз. Мобилизации 1877—1878 и 1904—1905 гг. все были частичные. Как же это технически происходило?

Царский генеральный штаб, таким образом, был не одинок летом 1914 г. Он имел надежного союзника в царском министре иностранных дел. Все они, конечно, не «виновники», а простые орудия могучей объективной силы, именуемой империализмом. Но иногда полезно присмотреться, как и какими средствами эта сила действует [1].

Дневник русского министерства иностранных дел почти начисто уничтожает 16 главу работы Каутского («Мобилизации»). Лейтмотивом этой главы является «автоматическая» мобилизация России как *ответ* на австрийскую мобилизацию. Но мы знаем, что Россия мобилизовала тотчас после австрийского ультиматума, не дожидаясь австрийской мобилизации, притом мобилизовала не только против Австрии, *но и против Германии*. Вот как опасно составлять обвинительные акты по показаниям только одной стороны. Приведем еще несколько документов—кстати не опубликованных,—которые покажут, что события развертывались в политической плоскости гораздо раньше, чем мог дать себя почувствовать «автоматизм» мобилизации.

Во-первых, еще до не только австрийской мобилизации, но и до австрийского ультиматума мы имеем такую секретную телеграмму Сазонова русскому посланнику в Белграде от 24 июня (7 июля):

> «Государю императору благоугодно было разрешить уступку за плату Сербии из военных запасов 120 тыс. трехлинейных винтовок и 120 млн. патронов с пулями».

Винтовки и пули могли понадобиться только для военных целей, а ультиматумом Австрии, упавшим, как гром с ясного неба, 24 июня (7 июля), еще и не пахло...

Ультиматум пришел, а с ним «автоматически» и русская мобилизация—против Австрии. 28 июля Сазонов извещает об этом русских послов за границей, а 29 мы имеем такую телеграмму Сазонова посланнику в Бухаресте:

> «Прошу вас передать Братиано [2] следующее: в случае фактического вооруженного столкновения Австрии с Сербией нами предусматривается ваше (т. е. Румынии.—*М. П.*) выступление, дабы не допустить разгрома последней (т. е. Сербии.—*М. П.)*. В этом будет заключаться цель нашей войны с Австрией, если таковая окажется неизбежной. Ответив таким образом на вопросы, поставленные Братиано, благоволите поставить ему в свою очередь категорический вопрос об отношении, которое занято будет Румынией, причем можете дать понять ему, что нами не исключается возможность выгод для Румынии, если она примет участие в войне против

---

[1] Первоначальная редакция статьи, появившаяся в журнале «Пролетарская революция» за 1924 г., оканчивалась этим абзацем. Дальнейший текст до конца статьи вошел только в последующую редакцию, напечатанную в качестве предисловия в книге *К. Каутского*, «Как возникла мировая война».—*Прим. ред.*

[2] Румынский министр иностранных дел.

Австрии вместе с нами. Мы хотели бы знать, каковы виды на этот счет румынского правительства».

А сутками позже, 30-го, в день борьбы за мобилизацию в Петергофе, имеем новую телеграмму в Бухарест, расшифровывающую подчеркнутые строки первой:

«Весьма доверительно. Если считаете возможным приступить к более конкретному определению выгод, на которые может рассчитывать Румыния в случае участия в войне против Австрии, можете определенно заявить Братиано, что мы готовы поддержать присоединение к Румынии Трансильвании».

Для нас с читателем, знающих, что проект раздела Австро-Венгрии существовал в петербургских «сферах» уже в мае, тут ничего удивительного нет. Но для Карла Каутского, копающегося в том, мобилизация каких именно австрийских корпусов должна была «автоматически» вызывать русскую мобилизацию, поучительно узнать, что за два дня до «почти единовременной» всеобщей мобилизации в Австрии и в России последняя вполне «конкретно» предлагала Румынии за союз кусок монархии Франца-Иосифа, рассуждая при этом о войне с Австрией как о деле, само собою разумеющемся.

Как наивны были после этого германские «правящие круги», если они точно, как утверждает Каутский, объясняли русскую мобилизацию невоинственными намерениями русского правительства. Последнее отнюдь не было столь наивно и, не ограничиваясь Румынией, искало и посылало искать, помимо Румынии, еще и других союзников на Балканах. От 31 июля мы имеем такую телеграмму Сазонова уже поверенному в делах в Сербии.

«Доверительно. Осведомьтесь у сербского правительства, не считает ли оно своевременным нащупать почву, быть может через наше посредничество, о соглашении с Болгарией насчет не только действительного обеспечения ее нейтралитета, но и военного содействия путем территориальных компенсаций, в случае если бы Сербия получила их в другом месте».

Читая подчеркнутые строки, надо помнить, что Сазонов и мысли не допускал о какой бы то ни было «территориальной компенсации» Австрии за счет Сербии: а вот сербам дать «компенсацию» в Боснии и Герцеговине—это другое дело...

Как видим, «автоматический» марксизм никогда себя не оправдывает. За «автоматизмом» событий всегда скрываются живые и сознательные агенты, не зная о которых и о событиях судить трудно.

*Предисловие к книге К. Каутского «Как возникла мировая война».*

## КАК РУССКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ ГОТОВИЛСЯ К ВОЙНЕ

Для начинающего марксиста всего труднее—выучиться мыслить диалектически, т. е. представлять себе каждое общественное состояние не как нечто неподвижное и замкнутое, точно и строго ограниченное, как спереди, так и сзади, а как нечто текучее, заключающее в себе одновременно и некоторые остатки прошедшего и рядом некоторые зародыши будущего. У нас возможны споры чуть не в таком роде: с какого года в России «начался» империализм? И в то время как одни уверенно заявляют: «не раньше 1906 г.», другие готовы спуститься до 1900 г., если не до 1896 г.

И то, и другое, конечно, далеко от диалектики, как земля от Сириуса. Царская Россия была страной торгового капитала больше чем на 50% еще и в 1915 г.: кто этому не поверил бы, тому достаточно было бы посмотреть на Распутина. Абсолютизм, специфическая «форма правления» эпохи торгового капитала, был налицо в разгаре империалистской войны. А эпоха торгового капитала и эпоха империализма отделены, в Англии, например, почтенным промежутком в полтора столетия. И в то же время, за десять лет до этого, мы имеем ту же Россию, идущую на завоевание Китая во всеоружии *банкового* капитала, учреждающую Русско-китайский банк в союзе с Лионским кредитом, Генеральным обществом и прочими левиафанами парижской биржи. Господство банкового капитала—это как-будто весьма характерный признак империализма, а именно в русской *внешней* политике 90-х годов банковый капитал уже господствовал. Если припомнить, что в эти же дни налицо были и другие симптомы империализма (колоссальные таможенные пошлины и стремление расширять все дальше и дальше таможенную границу, захват Манчжурии, попытка захвата Кореи, о которой будущий русский министр иностранных дел Извольский отзывался, что она должна стать «второй Бухарой», и т. д.),—то может явиться искушение объявить Россию находящейся «в стадии империализма» уже в дни Витте. Но тут полезно вспомнить, что вся эта машина держалась на *активном балансе*, а стало быть, на русском *хлебном вывозе*. Без активного баланса не на что было бы строить броненосцы для империалистских захватов на Дальнем Востоке.

А хлебный вывоз—какая это старая вещь! Ведь около хлебного вывоза вертится история русской экономики еще в дни Александра I.

В особенности туго приходится недиалектику с такой ультрадиалектической страной, как Россия. Мы недаром стали первыми марксистами мира—под этим есть глубочайшая «материальная база». Нигде больше не встретишь такого диковинного сочетания политических форм эпохи первоначального накопления, недоконченного, неразложившего еще окончательно старых, «натуральных» форм хозяйства аграрного капитализма и надвигающегося уже, вполне отчетливо нащупываемого, финансового капитала. Кто определял, в конце концов, политическую линию поведения этого несуразного целого?

Отвечать на это приходится опять-таки с точки зрения диалектики. В развивающейся стране берет верх то, что толкает вперед, а не то, что тянет назад. К 1900 г. было вложено в русскую промышленность:

| | | |
|---|---|---|
| Капиталов русского происхождения . . . . . | 447,2 млн. руб. | 21,1% |
| » иностранного » . . . . . | 762,4 » » | 35,8% |
| » полученных от продажи русских фондов за границей . . . . . . . . . . | 915,6 » » | 43,1% |

Последняя группа, конечно, тоже должна быть причислена к капиталам «иностранного» происхождения—и обе последние группы прежде чем попасть в русскую промышленность, прошли через иностранные банки. Банковый капитал на $^4/_5$ определял судьбы русского капитализма 90-х годов. Правда, это было «сращение» совершенно особого вида: почти в 50% всех случаев связующей пуповиной являлось государственное казначейство. Это впрыскивало живую кровь в устаревший организм абсолютной монархии. Но в общем и целом экономическая картина не менялась. Основная зависимость все же шла по линии финансового капитала. Заведывавший в 1908 г. снабжением русской армии генерал Поливанов записал в своем дневнике под 2 декабря:

«У Столыпина сегодня был французский посол адмирал Тушар просить, чтобы военное министерство заказами пушек не обошло завод Шнейдера, так как он слышал, что хотят заказать Круппу, а для успеха нашего займа во Франции лучше бы обращаться к французской промышленности».

Заказ, в конце концов, попал не Шнейдеру и не Круппу, а русским заводам,—но работавшим на французском капитале. Факт относится к 1909 г., когда гегемония банкового капитала в России била в глаза. Банки росли чудовищно—за промежуток с 1909 по 1914 г. их капиталы увеличились почти *вчетверо* (с 222 млн. зол. руб. до 836 млн.—прирост 276%). Концентрированные ими частные «сбережения» только по 1912 г. увеличились почти *вдвое* (с 976 млн. руб. до 1817 млн. руб.). Но характерно, что даже и в это время вся эта благодать держалась—и больше, чем когда бы то ни было,—на хлебном вывозе. Затруднения с этим последним были главным из реальных поводов войны. А в то же время уже в 1897 г. русское железо-

и русский каменный уголь были в руках 60 обществ, вложивших в дело иностранного (т. е. пришедшего через банки) капитала на 223 млн. рублей.

Было уже тут «сращение» или нет, не будем па этом останавливаться, это вопрос больше теоретический. Ясно одно: огромное участие нерусских капиталов в русском хозяйстве должно было выводить это последнее из национальных рамок и заставлять его разделять судьбы мировых конъюнктур. И если признать, что западный—английский, французский, германский—капитал уже целиком вошел к этому времени в финансовую стадию, русский капитализм не мог избежать общей участи. Национальная политика была для него закрыта, даже если бы он хотел ее вести. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. была последним проявлением этой национальной политики, и уже ее неудача, подчеркнутая неудачей болгарской политики Александра III в 80-х годах, означала невозможность национальных войн и для России.

Следующая война, русско-японская 1904—1905 гг., носит уже отчетливо империалистский характер, не отличаясь в этом отношении от испанско-американской войны в 1898 г. и англо-бурской 1899—1901 гг. Резкий идеологический протест против японской войны, доходивший направо до «освобожденцев», выпускавших антивоенные прокламации, тем и объясняется, что русская буржуазия и обслуживавшая ее интеллигенция еще всецело жили понятиями эпохи промышленного капитализма, с его деланным пацифизмом и лицемерным отвращением к оружию (которое, однако, выделывалось и употреблялось в промышленную эпоху в достаточном количестве). К 1914 г. идеология догнала экономику, и против империалистской войны протестовал уже один пролетариат.

Вот отчего, если архинелепо искать русских корней разразившегося в 1914 г. мирового конфликта в пределах «роковой недели» 24 июля—1 августа этого года, немногим более глубоко привлекать к делу и только последние 3—4 года перед конфликтом, как это делает большинство исследователей и не столь близоруких, как Каутский [1]. В литературе, посвященной «предвойне», не цитировался, кажется, до сих пор один драгоценный источник—показания Колчака перед следственной комиссией в Иркутске. Колчак непосредственно после русско-японской войны стоял чрезвычайно близко к русскому военно-морскому центру и «присутствовал на всех решительно обсуждениях вопросов, которые касались флота». И вот что он показывал следственной комиссии:

> «Еще в 1907 г. мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом, германской, изучение ее подготовки, ее программы, военной и морской и т. д. совершенно определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой мы определяли к 1915 г.

---

[1] Как одну из последних сводных работ, см. статью Bernadott E. Schmidt «Amerikan Historical Review», апрель 1924 г. Автор использовал все, напечатанное до этого времени, кроме некоторых русских публикаций.

В связи с этим надо было решить следующий вопрос. Мы знали, что инициатива в этой войне, начало ее будет исходить от Германии, знали, что в 1915 г. она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы на это должны реагировать. После долгого и весьма детального изучения, исторического и военно-политического, было решено как морским, так и сухопутным штабами, что мы будем на стороне противников Германии, что союза с Германией заключить нельзя и что эта война должна будет решить в конце концов вопрос о славянстве—быть или не быть ему в дальнейшем. Были известные группы, которые резко расходились с этой точкой зрения и указывали на необходимость союза с Германией, но та политическая обстановка, которая была положена в основание, показывала, что война произойдет с союзом срединных империй. Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно предвидена, была совершенно предусмотрена. Она не была неожиданной, и даже при определении начала ее ошиблись, только на полгода, да и немцы сами признают, что они начали ее раньше, чем предполагали».

Мы не будем останавливаться на вопросе, кто «начал» войну. Подробный ответ на это дан в другом месте. Да Колчак делает и излишним этот вопрос.

«Для того чтобы выработать программу, надо было иметь определенного противника и определенный срок. Этот срок был фиксирован 1915 г., главный же противник был определен как Германия».

Немец должен был напасть, хочет или не хочет. А по существу дела руководители германской политики были бы, разумеется, круглыми идиотами, если бы они стали дожидаться, пока русская «программа» будет совсем готова, т. е. пока русские станут сильнее немцев на Балтийском море. Если бы русский генеральный штаб не поторопился, войну, с точки зрения простоватого «общественного мнения», можно было бы начать куда чище.

Что сухопутные коллеги адмирала Колчака были ничуть не менее предусмотрительны, показывает ряд отметок в уже цитированном выше по другому поводу дневнике Поливанова. По отношению к сухопутной армии этот, заведывавший всем военным снабжением, генерал был осведомлен не хуже чем Колчак о флоте. Прежде всего, он подтверждает своим дневником всецело показания своего собрата по морской части. Под 25 мая 1907 г. (еще до разгона 2-й Думы, т. е. до «официального» конца революции...) он записал:

«С 11 часов у меня был генерал Протопопов. Он заседает в комиссии генерал-адъютанта Дикова по программе судостроения. Задумывают широкие планы на два миллиарда, ссылаясь на испрошенное высочайшее повеление; Совет государственной обороны оставляют в стороне; хотят устроить заседание под председательством государя; дело ведется в секрете, но заводчики, повидимому, знают, что им нужно».

Под 14 декабря 1909 г.:

«К 9 часам вечера совещание у председателя Совета министров для обсуждения программ судостроительной и крепостной. Сущность программы морского министерства: создать на Балтийском море цельную эскадру, которая могла бы действовать наступательно, когда Германия ведет войну на два фронта, и оборонительно на линии укреплений Ревель—Паркалауд, когда неприятельский флот сильнее; для этого надо построить

8 линейных кораблей с соответствующим количеством крейсеров и подсобных судов».

Сухопутная подготовка начинает как-будто особенно остро чувствоваться в 1910 г., когда в марте была проведена «чистка» корпусных командиров, а в мае началось обсуждение новой военной программы в Комиссии государственной обороны. Нет надобности говорить, что октябрьское большинство 3-й Государственной думы было всецело на стороне программы, и штатские «оборонцы» даже опережали военных. Под 13 мая этого года Поливанов записал:

«А. И. Гучков предупредил меня, что в субботу вечером будет назначено заседание Комиссии государственной обороны по кредитам на оборону, где затронута возможность выделить кое-что на весну, дабы дать работу по изготовлению орудий и снарядов заводам, остающимся без работы. Он намекнул, что было бы полезно, если бы приехал сам военный министр...»

«К 8½ часам вечера я прибыл в Государственную думу, где застал уже военного министра; пришел председатель Комиссии кн. Шаховский и предупредил министра, что сегодня первое заседание для изучения новой программы обороны. Заседание началось с того, что я изложил сущность программы, затем пошли перекрестные разговоры, и прения приняли весьма доброжелательный для военного министра характер. Нам ставили на вид, что мы должны требовать все, что нужно для обороны, не стесняясь министерства финансов; постановили, что надо выяснить, что надо теперь же, главным образом, для заказов артиллерии, и это выяснение производится первоначально в особой подкомиссии».

«Валяйте во-всю, денег жалеть не будем»! («тем более, что они пойдут в наши же карманы»)—так можно охарактеризовать позицию «благонадежных» думских элементов. Не только штабы, но и российская буржуазия была в эти годы совершенно готова воевать. Не менее готов был и глава всей системы. Под 9 ноября Поливанов записывает:

«В разговоре с военным министром был затронут еще вопрос о вызове командующих войсками западных округов для проверки их подготовки к управлению армиями. Здесь неизбежно возникла необходимость установить, кто же будет командовать всеми армиями. На докладе государю его величество изволил указать, что верховное командование он берет на себя. Но так как нельзя же привлекать его величество к занятиям военной игрой, то полагалось бы на военной игре иметь в роли главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича...».

Эта военная «игра» была столь нешуточной, что отмена ее—по «интриге» Николая Николаевича—едва не повела за собою отставку военного министра Сухомлинова [1]. От него же узнаем, что приготовления к этой военной игре—в сущности, экзамену будущих полководцев—продолжались несколько месяцев. А в каком духе должна была быть ведена «игра», показывает откровенное признание Сухомлинова, что целью всех его военных реформ было «превратить русскую армию из чисто оборонительного оружия,

---

[1] «Erinnerungen» последнего, стр. 294 и сл.

каким она была еще в 1909 г., в наступательное оружие первого сорта»[1].

В этой именно связи Сухомлиновым было проведено то изменение мобилизационного плана, которое делало *частичную* мобилизацию технически почти неосуществимой. Сухомлинов откровенно признается, что о частичной мобилизации он думал с большой неохотой, ибо с 1909 г. был твердо убежден, что Россия идет к войне с Германией и ей понадобится напряжение *всех* сил, поэтому нечего тратить времени по пустякам. Но он в своей откровенности идет еще дальше. Он в корне разрушает официальную концепцию русской «Оранжевой книги» о том, будто эта всеобщая мобилизация могла носить *оборонительный* характер. Он приводит в высочайшей степени любопытное высочайшее повеление, спроектированное в 1912 г. и не пущенное в ход Николаем из осторожности. Это высочайшее повеление гласило:

> «Телеграфный приказ о мобилизации европейских военных округов, в случае политических осложнений на западной границе, следует рассматривать одновременно как приказ об открытии военных действий против Германии и Австрии. Что, напротив, касается Румынии, то открытие военных действий должно последовать лишь по прямому приказанию».

Дневник министерства иностранных дел разрушил легенду о русском «оборончестве» в июле 1914 г. Теперь мы видим, что царское правительство неповинно было в этом оборончестве уже и в 1912 г. Готовилась *наступательная* война против Австрии и Германии, морально оправдываемая тем, что Германия «хочет напасть». Имея такого миролюбивого соседа, как царская Россия, хочешь—не хочешь, а нападешь... Если правильно указание Каутского, что в немецких военных кругах не рассматривали русскую мобилизацию 30 июля как прямой вызов к войне, это свидетельствовало бы о крайней наивности этих кругов. Причем фиговый листок—«Германия хочет напасть»—вовсе не был обязателен, поскольку планы русско-германской войны строились в те времена, когда Вильгельм, по собственному заявлению Николая, «был так дружески настроен, как никогда».

Напечатанная до сих пор часть дневника А. Н. Куропаткина начинается с такой записи:

> «Приехал в Петербург из Крыма 10 ноября. 12 ноября был у вел. кн. Николая Николаевича. Сидел 2 часа. Все время обсуждали исполнение воли государя, дабы в случае войны Николай Николаевич был главнокомандующим войск германского фронта, а я—главнокомандующим войск австро-румынского фронта.
>
> Николай Николаевич говорил мне, что им получено письмо государя, в котором значилось это предназначение, причем войска фронта, которыми я назначаюсь командовать, названы австро-румынским фронтом. В том же письме значилась воля государя, чтобы и при этих назначениях высочайше утвержденное расписание № 18 осталось без перемены, с тем, чтобы изменения в плане действий, кои признает сделать нужным великий князь, отразились бы лишь на расписании № 19. В письме

[1] Erinnerungen, S. 331.

указывалось, что государь передал мне свою волю, дабы командующие войсками в округах были поставлены в известность о сих важных решениях государя. По этому вопросу великий князь высказал мнение, что лучше, чтобы сам государь лично сообщил им об этом свою волю.

Мы обсуждали вопрос и о том, пускать ли В. В. Сахарова в Одесский военный округ или задержать его в главном штабе, дабы государь мог иметь в нем надежного начальника штаба верховного главнокомандующего. Условились, что надо задержать. Николай Николаевич сказал мне, что на должность начальника своего штаба он преднаметил Палицына; я его давно знаю и мы друг друга дополняем. Я для этой должности наметил генерала Сухомлинова.

Наиболее тревожит меня предвзятость, повидимому, мнения Николая Николаевича относительно того плана, который он предложит государю, по получении по его приказанию плана, ныне принятого по расписанию № 18. Я указывал князю, что не позволит ли он мне с Сахаровым, в присутствии Палицына, ознакомить его самым подробным образом со всеми нашими расчетами и соображениями, на основании коих принят план № 18, что тогда он увидит лучше, что, по его мнению, следует переменить. Но Николай Николаевич стоял на своем, что ему этого не надо, как бы указывая, что решение его уже принято. Я всего более боюсь, что это будет решение для нас невыгодное—отдать без борьбы весь передовой театр и, не принимая боя на Нареве или у Белостока или Червонноборской позиции, отступить к Барановичам или Минску» [1].

Эта запись помечена «17 ноября 1902 г.». А от 9 числа того же месяца (все числа по старому стилю) мы имеем такую телеграмму Николая Вильгельму II:

«Очень благодарен за твое сообщение [2]. Я надеюсь, что и в других случаях мы всегда сможем рассчитывать на нашу взаимную искреннюю дружбу и на нашу любовь к миру» (!).

В следующем, 1903 г., генерал Сухомлинов—будущий военный министр, намечавшийся тогда в начальники штаба австро-румынского фронта, «пришел к твердому убеждению в неизбежности столкновения с габсбургской монархией». О планировавшемся уже столкновении с Германией теперешний германофил умалчивает, но что будущий начальник штаба Куропаткина не мог не быть посвящен в разговоры будущих командующих фронтами, это ясно само собою. 5 января этого же года Куропаткин, докладывая Николаю, отмечал, что «успехи Германии в Турции (занятие Гайдар-Паши, Багдадская железная дорога, реорганизация турецких сил) могут *ускорить* столкновение России с Германией или с Турцией или с той и с другой.

Принципиального вопроса о русско-германской войне даже и не ставилось—это разумелось само собою: разногласие могло быть лишь о том, как *скоро* произойдет это—вопрос был о *темпе* исторического процесса, точь-в-точь как для нас стоял вопрос о революции в промежутке 1907—1917 гг. И так как темп событий, повидимому, ускорялся, то уже 5 марта этого года Куропаткин переходит к планировке практических мероприятий.

---

[1] О дневнике Куропаткина см. в настоящем сборнике.—*Прим. ред.*

[2] Речь шла о свидании Вильгельма с английским королем Эдуардом VII. Вильгельм хвастался, что он при этом случае произнес некоторую пацифистскую декларацию.

«Вчера вечером у меня собрались в первый раз: Сухомлинов, Соболев, Протопопов, Гершельман, Маврин, Жилинский для выслушивания моих указаний в качестве будущего, в случае войны, главнокомандующего о задачах III, IV и V армий.

На основании полученных мною директив я обязан представить государю общий по всем армиям план действий. Ранее всего требуется, чтобы мне представлены были планы действий частных армий. Еще раз на заседании подтвердилась наша неготовность к наступлению. Ни по одной из армий соображений о наступлении не составлено. Но и по обороне лучше других армий обставлена только IV армия, но и в ней позиции наши у Ровно, Луцка и Дубно скорее только обозначены, чем укреплены. Надо усиленно будет поработать. В III армии в оборонительном отношении ничего не сделано, а между тем на эту армию могут обрушиться очень большие силы австрийцев и вынудить III армию к отступлению к Бресту. Вероятно, ввиду возможного быстрого прорыва германцев через Нарев, наступление придется вести к Влодаве и далее правым берегом Буга. Между тем местность по правому берегу Буга не подготовлена к действиям больших масс (пути, мосты), не обеспечена также возможность отступления III армии к Пинску, что может представиться необходимым.

На маневре сего года, с соизволения государя, я намереваюсь командовать армией, собранною у Холма, которая для проверки наших предложений и будет отступать к Влодаве и далее на правый берег Буга».

Мы пропускаем дальше мало интересные теперь стратегические подробности. Но у генерала Куропаткина была наготове не только стратегия, но и политика.

«С разгромом первых австрийских корпусов надо надеяться на оставление рядов австрийских войск массою славян. Надо умело воспользоваться первым же успехом и иметь людей, подготовленных еще в мирное время, дабы войти в быстрое сношение с потрясенными и колеблющимися еще элементами, дабы отторгнуть их из рядов австрийской армии. Операции между нашею границею и Львовым надо обдумать со всех сторон, надо организовать подвоз всех запасов. Надо передвинуть ко Львову осадный парк очень быстро. Надо затем, если Львов будет нами взят, организовать переход до Львова нашею колеею железной дороги, а далее австрийскою. Надо организовать охрану тыла и охрану со стороны Карпат. Надо организовать охрану со стороны действий румыно-австрийской армии. При дальнейшем движении от Львова навстречу главным австрийским силам движение будет затруднено: 1) крепостью Перемышлем, 2) фланговым положением Карпат с их проходами. Марш выйдет как бы фланговым по отношению к Карпатам. Требуется очень тщательное изучение этой сложной обстановки, дабы избежать в возможной степени роковых случайностей. Подвоз запасов будет затруднителен, и при всем том требуется возможная быстрота действий. Успех этих действий не может быть обеспечен в достаточной степени, если ко времени появления IV и V армий в районе к западу от Львова Ковель попадет в руки австрийцев».

Мы видим, что манчжурский неудачник, как многие неудачники, был весьма предусмотрителен. Он предвидел, в сущности, все трудности будущей кампании 1914—1915 гг.: и возню с Перемышлем и затруднения со снарядами и т. д. При этом он попутно разоблачает уже до конца сухомлиновское лицемерие, определенно подчеркивая, что на заседании, где Сухомлинов присутствовал, обсуждался вопрос о войне не только с Австрией, но и с Германией.

«Маленькая победоносная война» с Японией, рассматривавшаяся почти как маневры в боевой обстановке, помешала разразиться большой войне на Западе в 1903—1904 гг. Вильгельм это великолепно предвидел—оттого «адмирал Атлантического океана» и подзуживал так «адмирала Тихого океана» к авантюре, отправившей на дно Тихого океана весь русский флот. Охваченный после Цусимы паникой и бессильной яростью против англичан одновременно, Николай минутно пошел даже на русско-германский союз (договор в Бьёрке 24 июля 1905 г.), тотчас же, правда, спохватившись. Особенно характерно это влияние *морского* поражения на Николая. Нам редко рисуется русско-германская война в этом аспекте—столкновения *на море*. Между тем, это была довольно естественная точка зрения. Именно с воды, с Финского залива, всего легче было нанести царской России решительный удар в центр—в форме ли нападения на Кронштадт, в форме ли высадки в Финляндии или в Эстляндии. Колчак подробно рассказывал на допросе, с какой горячей энергией он и его товарищи спешили заградить вход в Финский залив, начав эту работу уже 16—29 июля, накануне общей мобилизации.

В этой связи становится понятна мобилизация балтийского флота в первую голову, о чем мы узнаем из дневника министерства иностранных дел: еще ни один батальон на суше не был мобилизован против Германии, а уже минные заградители вышли в море. Но еще более в этой связи становится понятна глубочайшая *стратегическая логика русско-английского союза*. Пока английский флот висел над берегами Германии со стороны Северного моря, она физически не могла перебросить главные свои силы в Балтику. Как бы ни хотелось Вильгельму одним ударом стать под «Петроградом», он никогда на это не пошел бы ценою потери Гамбурга и Бремена. Союз с Англией ручался Николаю за целость его столицы. Вот отчего, лишенный сразу и флота, и надежды на английскую помощь, он мог впасть в такую прострацию, что соглашался даже на союз с Вильгельмом; причем характерно, что первые разговоры об этом союзе пошли тотчас после «Гулльского инцидента» [1], когда англо-русская война казалась в двух вершках.

Русско-японская война и последовавшая за ней революция оттянули русско-германскую войну на 10 лет. Но мы видим, до какой степени Англия неповинна в «искушении» царской России. Последняя была «всегда готова» начать драку на Висле и Немане, и ее подталкивали в этом направлении не соблазны английских дипломатов, а миллиарды французского золота, влитые в русскую промышленность. *Желание воевать со стороны Франции было основным из войнообразующих факторов.* Недаром военная подготовка пошла уже без всяких перебоев с того момента, как во главе Фран-

[1] «Гулльский инцидент»—расстрел, в припадке паники, эскадрой адм. Рождественского, шедшей под Цусиму, английских рыбачьих судов в Северном море, принятых за японские миноносцы. Это было в октябре 1904 г.

ции стал Пуанкаре-война. Говорить только о русском империализме было бы половинчатым решением задачи: уже с конца XIX в. мы имеем *русско-французский империализм.* На континенте Европы он стоял против германского империализма: английский был «третьим радующимся» в этом споре. В июле 1914 г. ему могло казаться, что он великолепно использовал континентальную драку, получив возможность раздавить своего главного конкурента—Германию, и парализовать, самым фактом своей помощи, второго, возможного — судьбы атлантических берегов Франции, как и восточного берега Балтики, одинаково решались в Лондоне. Лондон не предусмотрел одного: что может явиться *четвертый радующийся*, который положит в карман всех троих... Последствий этой своей ошибки Лондон не ликвидировал до сих пор. Ликвидировала ее пока только одна страна, на которую все участники смотрели только как на запас пушечного мяса,—а она неожиданно оказалась запасом самого сильного взрывчатого вещества, которое когда-либо знал мир.

*Журнал «Большевик» № 9, 1924 г.*

## КАК ГОТОВИЛАСЬ ВОЙНА

30 июля исполняется десять лет с того дня, когда Сазонов, уговорив Николая объявить всеобщую мобилизацию русских военных сил, «развязал» европейскую войну.

Долгое время эта роковая дата оставалась неизвестной широким кругам. Долгое время первым днем русской мобилизации считали 31 июля—день одновременно австрийской всеобщей мобилизации и объявления Германии «в состоянии военной угрожаемости» (Kriegsgefahrzustand). Эта маленькая хронологическая передержка позволила замаскировать чересчур поспешный шаг царского правительства, покрыв его доносившимся отовсюду шумом бряцающего оружия. В этом шуме могли, должны были не заметить, что первой звякнула русская сабля.

В тесном кругу настоящая последовательность событий была, конечно, хорошо известна, и Сазонов уже 2 августа находил нужным оправдывать перед Парижем и Лондоном свою поспешность.

> «Наша общая мобилизация,—писал он соответствующим русским послам, Извольскому и Бенкендорфу,—была вызвана громадной ответственностью, которая создалась бы для нас, если бы мы не приняли всех мер предосторожности... Европейский мировой характер конфликта бесконечно важнее повода, его создавшего» (секретная телеграмма № 1627, 20 июля ст. ст. 1914 г.).

Нужда, как видим, заставляла иной раз быть марксистами даже царских министров. Да, конечно, суть не в «поводах», их было слишком достаточно. Кроме того, Сазонов мог бы с полным правом сослаться на то, что русская мобилизация требовала 17 дней, тогда как германская только 6: отставая от возможного противника на 11 суток, не грешно было взять в запас пару дней.

Но только ли о «паре дней» шла речь. Недавно в России был опубликован документ, прогремевший на весь мир, и конечно, у нас оставшийся совершенно незамеченным. Это—напечатанная в последней книжке «Красного архива» поденная запись русского министерства иностранных дел, веденная в конце июля—начале августа 1914 г. директором его канцелярии Шиллингом, под непосредственным руководством Сазонова. Об этом документе за границей

выходят не только статьи, а книжки. У нас о нем не было заметки и в 5 строк. Нам все еще некогда быть историками.

Дневник министерства иностранных дел установил непререкаемо, что мобилизация в России не только против Австрии, но и против Германии началась 24 июля в день получения в Петербурге известия об австрийском ультиматуме Сербии. В этот день состоялось постановление совета министров о мобилизации балтийского флота [1]. Смысл этой меры вполне поясняется восклицанием, вырвавшимся у Сазонова, когда ему пришли сказать об этом ультиматуме: «Это европейская война!». К сожалению, запись не воспроизводит интонации. Фонограф нам бы передал, звучало ли это: «Как? Неужели европейская война?!» или «Наконец! Европейская война!». По всему, что мы дальше изложим, больше похоже на последнее.

Что австро-сербское столкновение должно было привести к войне, это, впрочем, в русском министерстве иностранных дел отчетливо сознавали раньше даже и ультиматума. Еще 7 июля Сазонов телеграфировал русскому посланнику в Белграде:

> «Государю императору благоугодно было разрешить уступку за плату Сербии из военных запасов 120 тысяч трехлинейных винтовок и 120 миллионов патронов с пулями» (телеграмма № 1352 от 24 июля ст. ст. 1914 г.).

Кто вспомнит, как год спустя русские запасные упражнялись с дубинками, как мы отовсюду скупали сами винтовки устаревших образцов, тот согласится, что речь шла не о «вывозке излишков». Делились, можно сказать, последним.

Но помочь младшему брату-славянину, на которого собираются напасть австро-венгерские хищники, это еще не такой большой грех. Телеграмма Сазонова доказывает, конечно, всю пустопорожность рассуждений о «неожиданно», как гром из ясного неба, свалившемся австрийском ультиматуме. Уже больше чем за две недели предвидели не только ультиматум, но и войну. Последняя, однако, все еще могла оставаться войной «оборонительной». На нас напали или собираются напасть, мы защищаемся или принимаем свои меры на всякий случай,—что ж тут предосудительного?

В последние годы сербские ученые и дипломаты, стараясь отвести от себя вину, сами начали разбалтывать, кто на кого «напал». В прошлом году сербский профессор Станоевич, «оправдывая» министерство Пашича, раскрыл, что убийство Франца-Фердинанда 28 июня 1914 г.,—с чего пошла вся кровь, по-старорусски выражаясь,—было организовано, без ведома будто бы сербского правительства, разведочным отделением сербского главного штаба в лице полковника Димитриевича (кстати сказать, расстрелянного в 1917 г. «за измену»). Правда, профессор несколько ослабил свою аргументацию насчет райской невинности в этом деле сербского правительства, добавив, что последнее предупреждало австрийского наслед-

---

[1] Фактически мобилизация флота началась 27-го.

ника об опасностях поездки в Сараево (где он и был убит). Как же это «ничего не знало» и «предупреждало»?

Доказать слишком много иногда бывает вредно.

В известии Становвича для нас самое интересное то, что Димитриевич действовал на основании указания русского главного штаба, будто поездка Франца-Фердинанда в Сараево есть лишь прелюдия к объявлению Австрией войны Сербии. Вздорность этого сообщения русского штаба мною выяснена в другом месте[1]; провокаторский же характер этого сообщения станет нам совершенно ясен, когда мы узнаем, что убийство Франца-Фердинанда, главы австрийской военной партии, входило в «план действий» с сербской стороны уже с 1913 г. Об этом любезно сообщил такой осведомленный человек, как бывший перед войной посланник Сербии в Берлине Богичевич[2].

Обстоятельная полемическая статья последнего против Становича по поводу «предупреждения» сербами эрцгерцога насчет угрожавшей ему опасности незаметно для автора (характерно, что все сербские авторы не понимают значения того, что они выбалтывают,—поистине райская невинность) устанавливает любопытнейшую подробность: предупреждение не только имело место, как ни оспаривает это Богичевич, но оно наводило австрийскую полицию на ложный путь, обращая ее внимание на опасность во время маневров, где эрцгерцог Фердинанд должен был присутствовать. Теперь становится понятной удивившая, например, Пуанкаре (см. его последнюю книжку) беззаботность этой австрийской полиции насчет охраны наследника австрийского престола в Сараеве: ведь покушение-то, по сербскому сообщению, должно было иметь место на маневрах, чего ж заботиться о Сараеве? А именно на улицах Сараева, а не на маневрах, эрцгерцога и поджидали мобилизованные Димитриевичем сербские юноши.

В результате перекрестных «оправданий» сербских авторов перед нами картина очень «тонко» проведенного заговора, где все было предусмотрено, даже и оправдание на случай могущих явиться «подозрений»: предупреждали, мол, сами предупреждали, какие же мы «виновники»?

Инцидент с Димитриевичем переносит конкретную подготовку войны по крайней мере на два месяца раньше, если не еще более (май 1914 или даже конец 1913 г.). Что убийство эрцгерцога будет сигналом к войне, это было ясно для всякого: еще в начале того же 1914 г. сербские офицеры открыто говорили о предстоящей войне с Австрией. Для автора статьи, откуда мы заимствуем это сведение, это вместе со многими характерными мелочами служит доказательством, что Сербия готова была «напасть». Но одна ли Сербия?

Тут нам на помощь приходят, с одной стороны, русские источники, среди которых, как ни покажется это удивительно, на одном из первых мест приходится поставить допрос Колчака в Иркутске,

[1] См. ст. «Как возникла мировая война», стр. 144—167 настоящего сборника.
[2] См. последнюю июльскую книжку «Kriegsschuldfrage».

с другой—разоблачение одного английского офицера генерального штаба, появившееся все в том же выпуске «Kriegsschuldfrage» [1].

По рассказу Колчака, в морском штабе «еще в 1907 г. пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны». «Начать», конечно, должна была Германия. Но в предвидении этого «была разработана судостроительная программа, долженствовавшая быть законченной к 1915 г.». Всем этим очень интересовались «различные политические группы, политические организации» в Государственной думе. «Мне,—говорит Колчак,—приходилось постоянно там бывать в качестве докладчика и эксперта на многих заседаниях». Это, очевидно, те заседания, о которых упоминает Сухомлинов как о доступных не всем даже членам комиссии по обороне. «К этому времени относится чрезвычайно близкая связь между обоими штабами (морским и сухопутным) и Государственной думой и ее военными комиссиями».

Некоторые представители высшего морского командования не обнаруживали, однако же, той же чуткости, как «политические организации» третьедумских октябристов, и из-за адмирала Воеводского выполнение судостроительной программы было задержано на два года. Поэтому, когда появились на сцене «чрезвычайно серьезные и грозные признаки, которые возникли весной 1914 г. относительно войны» (самым серьезным была, конечно, англо-русская морская конвенция, переговоры о которой начались как раз в это время), «мы к войне не были готовы». Это, как известно, с русскими империалистами случалось всегда, то же было, например, и в 1903 г. на Дальнем Востоке. Тем не менее, «с весны до начала войны шла подготовка к войне»...

«Период 1914 г., с начала весны, в балтийском флоте прошел в усиленной работе, в скорейшем утверждении программ стрельб, подготовке минных учений и т. д., так как война казалась все более и более приближающейся».

Итак, подготовка к войне в балтийском флоте началась тогда, когда никаким австрийским ультиматумом Сербии и не пахло, и эрцгерцог Фердинанд благополучно здравствовал, хотя судьба его и была уже предопределена сербской разведкой.

А теперь дадим слово сухопутной армии.

«Приблизительно с 1903 г. для меня стала ясна вероятность столкновения с габсбургской монархией [2]—рассказывает Сухомлинов [3].— С 1909, а еще больше с 1912 г. я укрепился в убеждении, что при этом столкновении Германия будет помогать Габсбургам».

Все они были, как видим, необычайно предусмотрительны. Как бы то ни было, с 1909, а уж с 1912 г. наверно, Сухомлинов готовится к войне с Германией. Для этой цели, во-первых, мобилизация русской

---

[1] См. статью английского консула в Цетинье Даргама в том же вып.
[2] Т. е. Австро-Венгрией.
[3] «Erinnerungen», S. 333.

армии ставится так, что она не может быть проведена по частям: частная война (например, с одной Австрией или с одной Турцией) рассматривается как нечто невероятное. Нельзя найти лучшего военного доказательства, до какой степени Россия уже вошла в империалистский период развития: другой войны, кроме европейской, не предполагалось. Затем явная мобилизация была дополнена периодом мобилизации скрытой—в образе так называемого «периода подготовки к войне». В это время выполняется все из мобилизационного плана, кроме непосредственного призыва запасных, так что, как только появятся эти последние, часть может тотчас выступить, ее обозы, снаряжение и т. д. уже в полном боевом порядке. Провозглашение мобилизации при таких условиях и должно было равняться приказу о выступлении, что и засвидетельствовано заготовленным еще в 1912 г., хотя и не разосланным высочайшим повелением. Оно гласило: «Телеграфный приказ о мобилизации в европейских военных округах... есть одновременно приказ об открытии военных действий против Германии и Австрии».

Всеобщая мобилизация есть начало войны. Правда, эту истину высказал еще в 1894 г. русский начальник штаба генерал Обручев, но царская дипломатия употребила столько усилий, чтобы затушевать этот факт, что восстановить его стоило труда. Событие 30 июля в представлении русских военных на суше и на море означало уже не подготовку к войне (она закончилась в предыдущий период), но самую войну. А теперь, эта самая «подготовка»—закончилась ли она только в торопившейся царской монархии или ее почтенные союзники от нее в этом не отставали?

Тут нам и приходят на помощь воспоминания майора английского генерального штаба Бриджа, напечатанные в последнем выпуске цитировавшегося выше немецкого журнала «Вопрос о виновниках войны » («Kriegsschuldfrage»). Сначала Бридж приводит факты, известные уже и ранее: о том, например, что английский экспедиционный корпус был в изобилии снабжен материалами для постройки мостов и т. п., указывавшими, что ему придется действовать в болотистой, изобилующей каналами, реками и речками стране, каковой как раз и была Западная Бельгия и прилегающая к ней часть Франции, где именно англичанам и пришлось вести войну. Таким образом, нарушение бельгийского нейтралитета немцами было столь же мало неожиданно, как и австрийский ультиматум Сербии. Мы об этом знали и раньше, из разговора Пуанкаре с Сазоновым (1912 г.), о котором последний доложил Николаю. Лишнее, вполне конкретное, подтверждение, конечно, не помешает так же, как, опять-таки, уже известный факт обстоятельного изучения английским штабом в 1912 г. бельгийских берегов, в частности окрестностей столь прославившегося в период подводной войны Зеебрюгге.

Но личные воспоминания Бриджа прибавляют сюда еще несколько любопытных черточек. В английском штабе он исполнял обязанности переводчика. И вот, в первый же день войны ему пришлось переводить документ, сделавший английского майора на всю

жизнь антиимпериалистом. Это было подробное соглашение между британским и французским правительствами относительно урегулирования расчетов по содержанию британского вспомогательного корпуса, оперирующего в Северной Франции. В расчетах подробно устанавливался курс, по которому будут производиться платежи, так что для всякого разумного человека было совершенно ясно, что дело шло в документе не о неопределенно далеком будущем, а о нынешнем годе, самое дальнее. Кто же мог знать, какой будет курс через несколько лет? А помечен был документ началом февраля 1914 г.

Как видим, в Лондоне были не менее предусмотрительны, чем в Петербурге: знали с точностью чуть не лиги времени, когда злые немцы «нападут». После этого мы относительно Англии не будем придирчивы к формальным срокам объявления мобилизации, войн и т. п. Какой-нибудь педант мог бы, пожалуй, придраться к тому, что в конце июля, когда немцы еще и времени не имели нарушить бельгийский нейтралитет, офицеры мобилизационного отдела английского штаба не спали ночей над работой по рассылке соответствующих приказов. Или к тому, что хотя Англия объявила войну 4 августа, уже 2 августа сам Бридж сидел за перлюстрацией почты, шедшей транзитом в Германию из Соединенных штатов, причем ему было приказано изъять из писем все ценные бумаги (!). Это за два дня до объявления войны. Мы не педанты и к этому придираться не будем: таковы «законы и обычаи» империалистских стран. Когда пролетариат положит конец империализму, исчезнут и эти обычаи. А до тех пор—что же тратить негодование по тому случаю, что вода мокрая, а если она взята из сточной канавы, то она еще и скверно воняет...

*Газета «Правда» № 171, 30/VII 1924 г.*

## КТО ТАКОЙ ПУАНКАРЕ

Во Франции, сколько можно судить по отрывочным телеграммам, нечто вроде нашей «диктатуры Трепова» весны 1905 г. Тогда тяжко больное самодержавие поставило у власти самого «сильного», как ему казалось, человека, какой был в его распоряжении: бывшего московского обер-полицеймейстера, отца зубатовщины, Трепова. «Патронов не жалеть». Сильный человек не помог—октябрьская забастовка 1905 г. разразилась, самодержавие должно было пойти на уступки, хотя бы и «принципиальные». Знаменитый приказ «не жалеть патронов» повис в воздухе.

Теперь французский империализм, чувствуя такое же тяжкое недомогание, как его союзник в 1905 г., ставит у власти своего «сильного человека», Пуанкаре-«войну». Надо надеяться, что французский Трепов окажется не сильнее своего русского предшественника и образца. Но некоторое время он будет стоять на авансцене международной политики,—стоит присмотреться к этой, во всяком случае характерной, личности поближе.

У нас есть очень ценный для этого источник: письма и донесения русских дипломатов, имевших дело с Пуанкаре перед 1914 г. Именно этот период, когда Пуанкаре-«война» впервые выступил руководителем французской политики, особенно интересен. На своем пути он сейчас же встретил тоже крупную и характерную фигуру с русской стороны. Это был тогдашний царский посол в Париже Извольский (не так давно умерший), которого стоило бы, в подражание прозвищу Пуанкаре, назвать Извольский-«проливы». Министр иностранных дел Николая II с 1905 по 1910 г., Извольский был тем человеком, который повернул русскую политику с Дальнего Востока, где она завязла в 1905 г., на Ближний. Он заключил в 1907 г. соглашение с недавним противником Российской империи на берегах Тихого океана, Англией—союзницей Японии; с этих пор Англия становится союзницей России. Ища, чем загладить позор Цусимы и Портсмутского мира, Извольский тогда же робко стал намекать новому союзнику на желательность для России получить, наконец, в свои руки «ключи от собственного дома», т. е. захватить Босфор и Дарданеллы. Английский бульдог в первую минуту глухо заворчал, увидав руку,

протянутую к этой кости, давно им обглоданной и ему не нужной, но за которую он привык грызться уже сто лет. Английский посол в Петербурге уже тогда успокаивал, однако, что бояться нечего,— собака не кусается, не надо только спешить чересчур и дразнить ее.

Ободренный этим, Извольский уже в январе следующего, 1908 г., ставит на совещании под председательством Столыпина вопрос о войне за Константинополь [1]. «Проваленный» этот раз Столыпиным, Извольский не успокаивается и затевает игру с австрийским премьером Эренталем на таком условии: Австрии—Босния и Герцеговина, России—проливы. Эренталь оказался хитрее и обыграл: Австрия аннексировала Боснию, а русский министр остался с носом. Взбешенный Извольский опять заговорил о войне, но опять не встретил поддержки ни со стороны Столыпина, ни со стороны союзницы Николая II, Франции, которая при этом случае обнаружила какие-то непонятные симпатии к Австрии: вернее, просто не привыкла еще к мысли, что и ей придется воевать вместе с Россией за Константинополь. Мы увидим, что и Пуанкаре к этой мысли приходилось позже приучать.

Неудачи Извольского начинали портить ему репутацию. В русских дипломатических кругах острили, что это «Наполеон, который начал свою карьеру с Ватерлоо». Столыпин стал относиться к нему подозрительно, как к беспокойному человеку, который, того и гляди, втянет в беду. В 1911 г. Извольский перестал быть министром и очутился русским послом в том самом Париже, который так огорчал его во время русско-австрийского конфликта: надо думать, что Столыпин считал это место особенно надежным для обуздания Извольского.

В первое время французские министры, с которыми ему приходилось иметь дело, в особенности Кайо и де Сельв (летом 1911 г.), ничего, кроме огорчений, не доставляли: с ними не о чем было говорить, на «военные» темы они ничего не желали слушать. Какой был великолепный случай затеять драку в июле—августе этого года, после того как германский военный корабль осмелился бросить якорь в «нейтральной» марокккской гавани (так называемый «агадирский инцидент»),—а Кайо и тут ухитрился пойти на компромисс с немцами. Но вот в январе следующего года французская политика попадает в твердые руки Пуанкаре (его кабинет сменил кабинет Кайо в это время), и картина резко меняется, а с нею и настроение Извольского.

В это время Сазонов, новый русский министр иностранных дел, который получил от Столыпина портфель именно для того, чтобы не повторять бестактных выходок Извольского, завел переговоры с «наследственным врагом»—Австрией. Это очень опечалило, конечно, бывшего министра,—но его печаль осталась бы неразделенной, будь во Франции у власти прежние люди. Можно представить себе восторг Извольского, когда в Пуанкаре он вдруг открыл родственную душу. Прежние французские министры и слышать не хотели о бал-

[1] См. «Три совещания» в настоящем сборнике.

канских делах, а Пуанкаре обиделся, что с ним об этих делах не заговорили.

«Г-н Пуанкаре несколько раз спрашивал меня,—пишет Извольский Сазонову (от 16/29 февраля 1912 г.),—что мне известно о происходившем, судя по газетам и получаемым им из других источников сведениям, обмене мыслей между вами и венским кабинетом о балканских делах; при этом он еще раз напомнил мне о своей готовности вступить с нами в разговор об этих делах и дал мне понять, что он ожидал бы с нашей стороны такого же осведомления о наших переговорах с Веной, какое он получил от лондонского кабинета после поездки лорда Хольдена в Берлин. Пишу вам все это с полною откровенностью ибо мне кажется, что для нас весьма важно сохранить и укрепить заявленные мне г. Пуанкаре, при вступлении во власть, намерения. Нынешний председатель совета и министр иностранных дел—весьма крупная личность, и кабинет его является наиболее сильной комбинацией за длинный ряд годов. Насколько при гг. Круппи и де Сельв было бесплодно разговаривать с Францией об общеполитических вопросах, настолько при нынешнем составе французского правительства подобные разговоры не только полезны, но и необходимы. Кроме того, насколько я мог заметить, г. Пуанкаре, обладая крупными достоинствами, в то же время чрезвычайно самолюбив и весьма сильно воспринимает всякое, по его мнению, пренебрежение его участием или мнением. На этой почве у него с Титтони[1] происходят весьма чувствительные трения. Ко мне он относится с большою предупредительностью и с видимым желанием как можно чаще и подробнее со мною беседовать».

«Проливы» нашли, наконец, собеседника... Правда, дальше разговоров первое время Пуанкаре не обнаруживал охоты итти. Извольский был рад и этому и, проявляя и здесь излишнюю нервность, бранился с Питером, где продолжали кокетничать не только с Австрией, а и с Германией (свидание Николая и Вильгельма в Балтийском порту в июле 1912 г.). Но в Питере знали, что делали. Сазонов, в сущности, шел по той же дороге, что и Извольский, только умнее и осторожнее. Уже весною этого года усилиями русской дипломатии был заключен союз Сербии и Болгарии—настоящее «орудие войны» (instrument de guerre), как метко определил его Пуанкаре, познакомившись с ним,—орудие, направленное не столько против Турции, сколько против Австро-Венгрии. Приехав в Петербург в августе, Пуанкаре изложил эти свои мысли и Сазонову, прибавив, что

«французское общественное мнение не позволит правительству республики решиться на военные действия из-за чисто балканских вопросов, если Германия останется безучастной и не вызовет по собственному почину применения casus foederis[2], в каком случае мы, разумеется, могли бы рассчитывать на полное и точное выполнение Францией связывающих ее по отношению к нам обязательств».

Судя по наблюдениям над Извольским, французский премьер, вероятно, рассчитывал увидеть смущенный взор и поникший лик. Но он имел перед собой весьма хитрую лисицу и сейчас же получил сдачи. Сазонов со своей стороны сказал французскому министру, что

«всегда готовые решительно встать на сторону Франции в случае наступления предвиденных нашим союзом обстоятельств, мы также не

---

[1] Тогдашний итальянский премьер.

[2] Условия, которые обязывают Францию вмешаться в войну.

могли бы оправдать перед русским общественным мнением нашего активного участия в военных действиях, вызванных какими-нибудь внеевропейскими колониальными вопросами до тех пор, пока жизненные интересы Франции в Европе останутся незатронутыми».

Ты не хочешь нам помогать завладеть проливами? Хорошо! Мы тебе не поможем захватить Марокко. Это было тем более чувствительно, что перед этим Сазонов выудил из своего собеседника весьма важное сведение, долго остававшееся неизвестным Извольскому.

«Предметом особенно откровенного обмена мыслей между г. Пуанкаре и мною были отношения между Францией и Англией,—докладывал царю Сазонов.—Указав, что эти отношения приняли за последнее время, под влиянием агрессивной по отношению к Франции политики Германии, характер особенной близости,—французский первый министр поведал мне, что, хотя между Францией и Англией не существует никакого писанного договора, тем не менее как сухопутные, так и морские генеральные штабы обоих государств находятся между собою в тесном общении и непрерывно сообщают друг другу с полной откровенностью все могущие их интересовать сведения. Этот постоянный обмен мыслей имел своим последствием заключение между французским и английским правительствами устного соглашения, в силу которого Англия выразила готовность оказать Франции в случае нападения со стороны Германии, помощь как морскими, так и сухопутными силами. На суше Англия обещала поддержать Францию посылкою стотысячного отряда на бельгийскую границу для отражения ожидаемого французским генеральным штабом вторжения германской армии во Францию через Бельгию» [1].

Итак, знаменитое «нарушение бельгийского нейтралитета» было самым деловым образом предусмотрено Англией ровным счетом за два года до того, как это «неожиданное» попрание основ международного права вызвало в Англии единодушный взрыв негодования! Но не будем отвлекаться от Пуанкаре. После таких излияний данный Сазоновым урок был особенно чувствителен—и потому именно он был великолепно усвоен. Извольский очень скоро мог убедиться, насколько его преемник сильнее его. Когда «орудие войны» начало действовать, война между Болгарией и Турцией началась (ноябрь 1912 г.). Извольский, к немалому своему удивлению, открыл

«совершенно новый взгляд Франции на вопрос о территориальном расширении Австрии за счет Балканского полуострова. Тогда как до сих пор Франция заявляла нам, что местные, так сказать, чисто балканские события могут вызвать с ее стороны лишь дипломатические, а отнюдь не активные действия, ныне она как бы признает, что территориальный захват со стороны Австрии затрагивает общее европейское равновесие и потому и собственные интересы Франции. Я не преминул заметить г. Пуанкаре, что, предлагая обсудить совместно с нами и Англиею способы предотвратить подобный захват, он этим самым ставит вопрос о практических последствиях предположенного им соглашения; из его ответа я мог заключить, что он вполне отдает себе отчет в том, что Франция может быть вовлечена на этой почве в военные действия» (письмо от 25 октября—7 ноября 1912 г.).

Что к войне уже тогда, в ноябре 1912 г., готовились совершенно деловым образом, доказывает письмо Извольского от 8/21 ноября.

[1] Из доклада Сазонова Николаю II от 4 августа 1912 г.

«Заявления, сделанные вчера итальянским послом, если они подтвердятся итальянским правительством, могут возыметь весьма серьезные последствия в сфере дислокации французских войск; вы знаете, что с 1902 г. Франция значительно ослабила состав своих военных сил на итальянской границе; если не ошибаюсь, разница исчисляется в целых два корпуса. Если окажется, что Франция не может рассчитывать на нейтралитет Италии, это изменит весь план кампании, основанный именно на этом нейтралитете. Вопрос этот настолько важен, что, как мне известно, Пуанкаре созвал сегодня утром экстренный совет министров для его рассмотрения».

Дальше следует место, не столь важное политически, но чрезвычайно любопытное в бытовом, так сказать, отношении. Напомнив Сазонову о необходимости щадить несколько щекотливое самолюбие Пуанкаре, Извольский продолжает:

«Между тем в решительную минуту, если не дай бог она наступит, от него лично будет зависеть весьма многое. Я всегда с ужасом думаю, что бы было, если бы вместо него в настоящие критические минуты во главе французского правительства стоял Кайо или Клемансо. Не забудьте, что ему приходится бороться с весьма влиятельными элементами собственной его партии, которые настроены недоброжелательно к России и открыто проповедуют, что Франция ни в коем случае не должна быть вовлечена в войну из-за балканских дел».

Думал ли когда-нибудь Клемансо, что его имя где-нибудь стоит рядом с именем посаженного им впоследствии в тюрьму за «измену» Кайо в качестве пацифиста? Такова ирония истории... И так плохо еще было «обработано» общественное мнение Франции даже в конце 1912 г. (Извольский непрестанно жалуется в своих письмах на отсутствие в его распоряжении достаточных фондов для подкупа французских газет.) Но зато сам Пуанкаре был обработан более чем достаточно. В январе следующего года он стал президентом республики, и русский посол мог телеграфировать своему начальству:

«Только что имел длинную беседу с Пуанкаре, который высказал мне, что в качестве президента республики он будет иметь полную возможность непосредственно влиять на внешнюю политику Франции и что он не преминет воспользоваться этим, дабы обеспечить в течение предстоящих семи лет неизменность политики, основанной на тесном союзе с Россией. Он выразил мне при этом надежду, продолжать часто видеться со мною и просил меня во всех случаях, когда это мне покажется желательным, обращаться прямо к нему. По поводу текущих вопросов он высказывал мне приблизительно то же, что я слышал вчера от Жоннара. По его словам, для французского правительства весьма важно иметь возможность заранее подготовить французское общественное мнение к участию Франции в войне, могущей возникнуть на почве балканских дел; вот почему французское правительство просит нас не предпринимать единоличных действий, способных вызвать подобную войну, без предварительного обмена мыслей с Францией» (секретная телеграмма Извольского 16/29 января 1913 г.).

Такая преданность заслуживала поощрения. Все французские президенты, со времени основания франко-русского союза, получали высший из царских орденов Андрея Первозванного, но получали его обыкновенно после паломничества в царскую столицу. Пуанкаре дали

орден сразу, как только в Петербурге было получено известие об его избрании.

> «Пожалование г. Пуанкаре, при самом вступлении его в должность президента республики, ордена Андрея Первозванного,—писал Извольский 14/27 февраля,—присылка орденских знаков со специальным посланцем, а главное содержание письма государя императора произвели здесь глубокое и самое отрадное впечатление».

Пуанкаре почувствовал потребность излить свою душу перед русским послом.

> «Он начал с того, что с видимым волнением, высказал мне свою глубокую благодарность за оказанный ему государем императором знак внимания и расположения. Переходя к очередным политическим вопросам, он подтвердил мне все, что я уже слышал от г. Жоннара относительно германских вооружений и необходимых ответных мер со стороны Франции. По его словам, события последних восемнадцати месяцев произвели во французском общественном мнении крутой переворот и вызвали здесь давно небывалое патриотическое настроение. В этом отношении агадирский инцидент оказал Франции величайшую услугу; нынешнее же увеличение германской армии окажется, может быть, столь же благодетельным, ибо наглядно докажет несостоятельность теорий пацифистов и необходимость еще более прочной организации французских боевых сил».

«Неосновательность теорий пацифистов» доказывается всеми приведенными нами документами так же неотразимо, как и правильность прозвища, данного французскими рабочими Пуанкаре-«война» (Poincaré la Guerre). Какие черные замыслы теперь таятся в этой черной душе? Сильно ли тоскует кавалер Андрея Первозванного, что он лишен возможности получить бриллиантовые знаки этого ордена? Во всяком случае, у монархической русской реакции за границей нет, вероятно, более верного друга, нежели этот бывший президент и нынешний премьер французской республики. Пуанкаре не только «война», но—специально война против «пацифизма», т. е. интернационализма и воплощающей его Советской России. Его новое пришествие к власти—это символ, будем надеяться, такой же символ последней предсмертной судороги французского империализма, как диктатура Трепова в 1905 г. оказалась символом последней судороги старого русского самодержавия.

*Предисловие к книге Пуанкаре*
*«Происхождение мировой войны» 1919 г.*

## АМЕРИКА И ВОЙНА 1914 г.

### I

Участие Соединенных штатов в империалистской войне рассматривают обыкновенно под углом зрения вопроса: «Что побудило США *вмешаться в войну?*». Безо всякого спора принималось—и принимается до сих пор в общих, популярных изложениях предмета,—что Штаты вначале были нейтральны; затем, под влиянием, главным образом, «бестактностей» немцев («неограниченная» подводная блокада), Штаты перешли сначала от «чистого» нейтралитета к нейтралитету, дружественному по отношению к Антанте, потом к разрыву дипломатических сношений с Германией, затем к войне с последней.

Иногда делались попытки «углубить» вопрос. Выдвигалось хронологическое совпадение вступления Америки в войну и нашей Февральской революции. Америка, говорят, «вмешалась», чтобы не дать ослабленной русской революцией Антанте погибнуть под ударами Германии и ее союзников. Для Соединенных штатов поддержание европейского «равновесия» стало, говорят, таким же догматом, как некогда для Англии: Штаты, точно так же, как Англия, не могли допустить господства в Европе какой-нибудь *одной* страны в ущерб всем другим—объединения Европы под *одной* властью; во имя этого Англия некогда десятилетиями боролась с империей Наполеона I,—во имя этого теперь Соединенные штаты вступили в бой с «новейшим Наполеоном»—Вильгельмом II.

Конечно, это немного серьезнее наивно-психологического объяснения, что немцы «раздразнили» президента Вильсона своими бестактностями. Но нужно отдать справедливость американцам: *настоящей* русской революцией они считали *Октябрьскую*. Ей одной они придавали серьезное значение [1]. С другой стороны, крушение русского фронта давно не было для них секретом—уже гораздо раньше Февраля [2].

---

[1] «The intimate papers of colonel House», v. III, p. 299—300.

[2] Там же, v. II, p. 252—донесение американского посла в Берлине Джерарда от 24 мая 1913 г.: «... на русском фронте установилось что-то вроде молчаливого «божьего мира»: нет никаких боев, взаимные визиты в траншеи на началах полной дружбы...». Характерно, что первые симптомы братания появляются уже так рано.

Если бы объяснение «от равновесия Европы» было правильно, американцы должны были бы вмешаться еще летом 1916 г.—или дожидаться ноября 1917 г. При этом надо принять во внимание, что объявление войны Германии в марте 1917 г. носило чисто «юридический» характер: как боевая сила американцы могли появиться на западном фронте лишь более года спустя—к концу весны или началу лета 1918 г.

Но самой слабой стороной обоих объяснений является, конечно, теоретическая. Неужели появление на поле сражения *империалистской* войны одного из колоссов империализма могло быть последствием только плохой дипломатии немцев—или правильного дипломатического расчета американского правительства, т. е. мотивов, которые могли бы действовать во все времена и при всяких экономических условиях? Неужели особенности эпохи монополистического капитализма ни в чем не нашли себе отражения при этом случае?

Это соображение до того бьет в глаза, что даже буржуазные историки, заботливо отгораживающиеся от всякой солидарности с историческим материализмом, не могут не делать уступок этой точке зрения. Объясняя причины американско-германского разрыва, один из этих историков говорит:

> «Очень большую роль играло возрастающее торговое соперничество. Как Германия, так и Соединенные штаты бурно развивались перед мировой войной экономически, и это вело к конкуренции на мировом рынке. Многие думают, что это было важнейшей и наиболее глубокой причиной охлаждения отношений между обеими странами».

И далее, еще более «грубо экономически»:

> «Если бы мы наши деньги помещали в государственные бумаги центральных держав и главную массу наших товаров продавали бы этим державам, то американские финансовые и промышленные круги были бы столь же яростно настроены в пользу Германии, как они в 1915, 1916, 1917 гг. были настроены в пользу Англии и Франции» [1].

Нам нет никакой надобности полагаться на авторитет буржуазных историков,—хотя бы и из числа наиболее приличных. Америка—одна из немногих стран, опять-таки,—позаботилась снабдить нас *документами*. Эти документы касаются не только *возникновения* войны, как большинство документов, опубликованных европейскими странами, они захватывают и очень большой кусок собственно военной эпохи. Для Америки это, впрочем, естественно—поскольку Соединенные штаты начали воевать только в 1917 г., так что не только 1914, но и 1915 и 1916 гг. для них еще годы возникновения войны, что особенно ценно, это—не только *официальные* документы, к каковому разряду относится подавляющее большинство бумаг, опубликованных другими державами; американские сборники дают массу *частных* «личных» писем—источник, неизмеримо более жизненный, чем офи-

[1] H. E. Barnes, Возникновение мировой войны, нем. пер., стр. 433 и 445.

циальная переписка. Один из сборников, наиболее полный, так и озаглавлен: «*Личные* бумаги полковника Хауса» (Intimate papers of colonel House).

У этого *личного* и частного характера изданных документов есть, конечно, и своя оборотная сторона. Оба издания, которые мы имеем в виду[1], тоже частные, неофициальные—никакое государство за них не отвечает. Для очень широкой и мало осведомленной публики это, конечно, роняет авторитет изданий; мало-мальски осведомленный читатель знает, что официальный штемпель ровно ничего не гарантирует, скорее наоборот, если издает «уличающие» документы правительство, несущее, по традиции, ответственность за тех, кого уличают. Только печать правительства, совершенно не причастного к войне 1914 г.—и не могущего быть причастным, поскольку этого правительства тогда еще и не существовало,—может быть порукой подлинности и *полноты* публикуемого. Но для официальных сборников обязательны некоторые внешние правила, от которых частный издатель может считать себя свободным. Официальный издатель, может быть, не всегда дает полное собрание соответствующих документов, но он *обещает* таковое дать. Если собрание, на самом деле, не полное—это уже обман. Частный издатель может этого и не обещать. Так и было в данном случае. Издатели прямо говорят, что ими напечатаны не все документы полностью—многое дано в извлечениях и цитатах. С целью сделать книгу легче переваримой для массового читателя, ей в обоих случаях придан характер *рассказа*, лишь обильно уснащенного подлинными текстами. Но последних так много, что книги отличаются от настоящих сборников документов более лишь с чисто литературной стороны.

В настоящем очерке мы не собираемся исчерпать все богатое содержание цитируемых семи томов. Это можно сделать только в ряде очерков. Здесь мы попытаемся только, с документами в руках, проверить ходячее, без критики принимаемое всеми утверждение о якобы нейтралитете Соединенных штатов в войне 1914 г. Для такой проверки в сборниках мы имеем материал исключительной полноты. Но прежде, чем приступить к самой работе, несколько слов о «действующих лицах».

Обычное, опять-таки без критики воспринимаемое массовое убеждение ставит в центре внешней политики Штатов 1914—1919 гг. фигуру президента Вильсона. Об его адресах, речах, нотах и знаменитых «четырнадцати пунктах» всякий знает. Всякий знает и о неудаче, которая в конце концов постигла американского президента на этом поприще. Кто в самом деле читал эти знаменитые документы, а не только слыхал о них, никогда не мог отрешиться от впечатления ка-

---

[1] «The intimate papers of colonel House Arranged as a narrative by Ch. Seymour, prof. of history at Yale Univ.», v. I—IV, London, Ern. Benn. 1926—1928;

[2] «The life and letters of Walter H. Page. By Burton Y. Hendrick», v. I—III, London. Will. Hennemann, 1926. Есть удешевленное, более компактное издание в одном томе.

кой-то детской наивности, которою документы дышали. Для многих, может быть, это служило признаком «нового слова»—свежей, не закоченевшей в дипломатической рутине, мысли. На самом деле это была печать подлинной наивности, в буквальном смысле этого слова, наивности человека, который понимает сущность международных отношений не лучше, чем любой «человек улицы», чем любой обыватель.

В этом вынуждены признаться авторы, наиболее почтительные к памяти Вильсона. Профессор Сеймур, обрабатывавший для печати переписку Хауса, говорит о президенте:

> «В начале его политической карьеры, и даже в течение первых двух лет его президентства, дипломатические вопросы интересовали его гораздо меньше, чем его законодательная программа; у него медленно развивалось то, что можно назвать определенной (иностранной) политикой, и он предоставлял своим послам самим разрешать возникавшие перед ними проблемы. Вскоре после назначения Пэджа послом в Лондон, полковник Хаус, как он сообщает, спросил Вильсона, «дал ли (последний) какие-либо специальные инструкции Пэджу... Оказалось, что нет, но что (Вильсон) считал решенным делом, что он (Пэдж) будет вести себя дипломатично и в примирительном духе».

В течение всей войны, сообщает биограф Пэджа, последний получил от Вильсона всего тринадцать писем, включая в это число и рекомендательные письма американцам, ехавшим в Англию [1].

Понятие «первые годы президентства» приходится, таким образом, очень расширить. В другом месте и Хаус должен был признать, что еще и в 1915 г., когда вопрос о роли Соединенных штатов в войне стоял уже вплотную перед президентом, тот все еще «не ценил, как следует, важности внешней политики и придавал слишком большое значение домашним (т. е. американским) делам». И хорошо делал, нужно прибавить, ибо когда он принимался рассуждать о внешней политике, он не мог пойти дальше обычных обывательских оценок, основанных на чтении английских газет,—других, повидимому, он читать не мог. Вслед за этими газетами он послушно возмущался нарушением Германией бельгийского нейтралитета (мы увидим скоро, как относились к этому настоящие американские дипломаты), сожжением лувэнской библиотеки и т. д. Разговор его на эту тему с Хаусом, слишком длинный, чтобы здесь его воспроизводить целиком, неудержимо напоминает об уроке политграмоты в начальной школе—политграмоты буржуазной, конечно[2]. И та же святая простота дышет на нас из реплики, которой президент ответил некоторым членам его кабинета, несколько лучше разбиравшимся в военных вопросах и пытавшимся просветить своего председателя:

> «Джентельмены, союзники (т. е. Антанта) стоят, прижатые к стене, в борьбе с дикими зверями. Я не позволю, чтобы наша страна сделала

[1] *House*, I, p. 181; Page, III, p. 259.
[2] *House*, I, p. 298—299.

что бы то ни было, что могло бы помешать им или затруднить им продолжение войны, пока признанные права грубо нарушаются»[1].

Мы после увидим, что к «признанным правам»—например, праву турок на их столицу Константинополь—Вильсон склонен был относиться весьма либерально. «Признанные права»—это права Антанты и ее союзников. Обыватель, одураченный английскими газетами,—так можно определить личную позицию Вильсона в начале войны. Но легко обманывать того, кто хочет обмануться: американские историки (тот же цитированный выше Barnes) правильно подчеркивают демократическую традицию Вильсона. Демократическая партия еще и в XX в. остается партией юга и аграриев. На вторичных выборах Вильсона в 1916 г. «прочными» штатами демократов считались все штаты, входившие в конфедерацию 1861 г. К ним примкнули—но их пришлось отвоевать—земледельческие штаты среднего и дальнего Запада. Из штатов, оставшихся верными федерации в 1861 г., верны Вильсону были только Нью-Гемпшир и Мэриланд, но последний в 1861 г. был рабовладельческим штатом, оставшимся на стороне Севера по той простой причине, что его оккупировала армия северян. Для довершения характерности выборов 1916 г. Западная Виргиния, отколовшаяся от Юга во время гражданской войны, раскололась и на этих выборах. Вильсон оба раза получил власть как избранник *южан*. Индустриальные штаты Новой Англии, опора Севера в гражданскую войну, голосовали за Юза и республиканцев. Но в гражданскую войну Англия поддерживала рабовладельцев Юга, и всякому южанину было естественно смотреть на всякого англичанина как на друга и союзника. Симпатии к Англии не были личным делом Вильсона—это были симпатии его партии и его избирателей.

Если бы международные отношения определялись симпатиями правителей, Соединенные штаты уже в августе 1914 г. были бы в рядах Антанты. С этой точки зрения приходится спрашивать не о том, почему Америка «вмешалась» в 1917 г., а почему она не вмешалась тремя годами ранее. И тут грубый, суммарный ответ довольно прост. У южан и примкнувшего к ним Запада ум с сердцем был не в ладу. Традиции тянули их в сторону Англии—но Англия объявила военной контрабандой хлеб и хлопок, т. е. закрыла половину мирового рынка перед фермерами Запада и плантаторами Юга. Такого удара по карману никакая традиция выдержать не могла. Равнодействующая англофильских симпатий и английской блокады нашла себе выражение в тенденциях Брайана, который был министром иностранных дел в кабинете Вильсона и не стал президентом именно потому, что он был уже слишком характерной южной фигурой: выборы американского президента всегда до известной степени компромисс, а герой будущего обезьяньего процесса в компромиссные фигуры не годился. Но точку зрения Юга на войну он представлял гораздо лучше Вильсона. Брайан был фанатиком скорейшего заключения мира. Он не желал поражения англичан—боже упаси!—но он желал,

[1] *House*, II, p. 49.

чтобы американский хлопок и американская пшеница невозбранно продавались тому, кто даст за них лучшую цену. Нужно как можно скорее восстановить нормальные рыночные отношения, т. е. прекратить войну. С июля по сентябрь 1914 г. Брайан три раза выступал с предложением посредничества, вызывая тем величайшее негодование Вильсона и его кружка.

> «Позвольте мне напомнить вам,—писал Вильсону Хаус в самом разгаре предвоенного кризиса (1 августа 1914 г.),—что не следует допускать, чтобы Брайан делал какие бы то ни было предложения той или другой из вовлеченных в конфликт держав. Там смотрят на него как на сумасшедшего, и это (выступление Брайана) ослабило бы наше влияние в том случае, если бы вы позже захотели им воспользоваться».

Само собою разумеется, что Брайан был решительным противником всяких приготовлений к войне со стороны самих Соединенных штатов. Когда Хаус, по предложению Вильсона и очень вопреки своему личному желанию, должен был заговорить с Брайаном на эту тему, он нашел, что министр иностранных дел рассуждает,

> «как моя маленькая внучка Джен Тукер. Он говорил с большим чувством, и я боюсь, что от него может быть много беспокойства...» [1].

Но мы видели, что от рассуждений маленьких детей недалеко ушли и высказывания самого президента. Не подлежит никакому сомнению, что из двух официальных руководителей американской внешней политики Брайан был все-таки сильнее Вильсона. У первого был все же свой план, пусть наивный,—у Вильсона не было никакого своего плана, он мог только плыть по течению, а плыть по течению событий в Европе, значило плыть против течения среди своих избирателей, которых каждый новый месяц английской блокады все более и более восстановлял против «традиционного» друга. Трудно сказать, что получилось бы, если бы поединок Вильсон—Брайан разыгрывался только между ними двумя; возможно, что кандидатом демократов на выборах 1916 г. стал бы Брайан. Но последний столь же мало понимал в конкретных дипломатических вопросах, как и президент. На деловой почве он был беспомощен. Счастье его противника заключалось в том, что в своем окружении он нашел двух деловых людей, которые среди профессиональных дипломатов, правда, производили довольно неуклюжее впечатление, но все же стояли на бесконечно более высоком уровне, нежели обычные читатели газет, и могли быть проводниками Вильсона в совершенно чуждом для него мире. Что их самих поведут за собой бесконечно более ловкие и тертые английские дипломаты, с этим фактом до сих пор не вполне освоились даже присяжные биографы этих двух людей, довольно комически старающиеся представить двух, по существу, английских агентов, как чуть ли не государственных людей первого порядка. Справедливость, впрочем, заставляет сказать, что одного из этих помощников смог раскусить еще сам Вильсон, после двухлетнего опыта. Как ни прост был президент по этой линии, некоторые вещи слишком уж били в глаза. Этими двумя людьми, которые «ввели» Соединенные штаты

[1] *House*, I, p. 285 и 305.

в мировую войну, были полковник Хаус и посол Штатов в Лондоне Пэдж.

«Полковник» Хаус[1] был еще более кровно связан с Югом и его традициями, нежели президент Вильсон. Сын крупного техасского землевладельца, ведшего во время гражданской войны организованную—и весьма для него лично прибыльную—военную контрабанду в пользу конфедератов, он, как и его друг Пэдж, всеми детскими воспоминаниями был связан с той эпохой, когда Вашингтон был вражеской столицей, а президент Линкольн—главой чужого, грабящего и разоряющего Юг государства. Пэдж писал в своих воспоминаниях, что похороны конфедератов, убитых на фронте гражданской войны, были самыми сильными впечатлениями его детства. Самым сильным впечатлением детства самого Хауса было известие об убийстве Линкольна. Для англофильских симпатий почва, таким образом, была подготовлена лучше, чем даже у самого Вильсона. Но опять-таки, мы очень недалеко ушли бы в понимании политики Хауса (в приложении к *внешней* политике Соединенных штатов это термин более исторически правильный, чем «политика Вильсона»), если бы ограничились личными симпатиями и антипатиями.

Сын техасского помещика был одним из наиболее ярких представителей того политического течения, которое на грубом языке историков-материалистов носит название *американского империализма.* Не употребляя этого неприятного термина, биограф Хауса, в сущности, описал самую вещь как не надо лучше.

> «Хаус был одним из немногих людей в Соединенных штатах,—пишет профессор Сеймур,—которые понимали перед войной, как глубоко предшествующее тридцатилетие изменило наши отношения к Европе, сделав из Штатов, в интеллектуальном и экономическом отношениях, одного из членов семьи мировых держав. За этим должно было следовать, он был убежден, и политическое единение с этими державами. Никогда не имея недостатка в смелости, он готов был принять все последствия. Он чувствовал, что мифическая защита доктрины Монроэ («Америка для американцев») должна быть заменена участием Америки (во всех мировых вопросах), он был убежден, что легенда о политической изоляции от Европы является отжившим остатком давно прошедшей эпохи. Чего он желал, это было сотрудничество с великими европейскими державами в деле сохранения мира, что было жизненным материальным интересом для Соединенных штатов. И этого убеждения нисколько не ослабляло понимание того факта, что положение дел в Европе—критическое и *может в любую минуту вылиться в общеевропейскую войну*»[2].

Формула: «если хочешь мира, готовься к войне», устарела в 1914 г. не менее, чем доктрина Монроэ, и ее давно пора было заменить более новой: «если хочешь мира, воюй». Хаус принимал ее, дей-

---

[1] Его военное звание приходится писать в кавычках, ибо «полковник» никогда военным человеком не был. В южных штатах это просто формула вежливости, иногда почетное звание—в местной милиции. В Европе «чин» Хауса принимали всерьез, что создавало для него, особенно в милитаристской Германии, ряд невообразимо комических положений.

[2] *House*, I, p. 197. Курсив мой.—*М. П.*

ствительно, со всеми последствиями. Уже в *апреле* 1914 г. он записывал в своем дневнике:

«У меня был длинный разговор с генералом Вудом (одним из апостолов американского милитаризма) о военной подготовке. Мы обсуждали международное положение, в особенности по отношению к Японии и возможным с ее стороны беспокойством, и говорили о том, что необходимо должно быть сделано. Он сказал, что Манилла так теперь укреплена, что может держаться год по крайней мере, и что очень скоро Гавайские острова будут столь же неприступны. Он думает, что Панамский канал так близок к окончанию, что в случае надобности он сможет быть открыт через 20 дней. Мы обещали с этого времени держать друг с другом тесную связь» [1].

Через несколько месяцев все стало, само собою разумеется, гораздо конкретнее. В ноябре 1914 г., в разговоре с Вильсоном, Хаус уже

«настаивает, что наступило время для большой созидательной работы в области армии, такой, которая сделала бы эту страну слишком могущественной, чтобы какая бы то ни было другая нация осмелилась напасть на нее. Он (Вильсон) сказал мне, что есть основание подозревать, что немцы разбросали по всей стране бетонные фундаменты для тяжелых орудий, подобно тому, как это они сделали в Бельгии и во Франции. Он почти не решился говорить об этом вслух, так как, если бы эта весть распространилась, это так разъярило бы народ, что последствия могли бы быть опасны, генерал Вуд расследует это дело...» [2].

Как видим, психология маленькой девочки могла служить точкой опоры для весьма взрослых империалистических проектов. Нелепый разговор о немецких кознях был непосредственным поводом к официальной беседе Хауса с Брайаном, по каковому именно случаю Хаус и вспомнил о своей внучке. Почему эта внучка не пришла ему в голову, когда он беседовал с Вильсоном, можно объяснить лишь почтительностью техасского демократа к своему лидеру и президенту. Как бы то ни было, уже в ноябре 1914 г. американский милитаризм начал выходить из стадии частных разговоров.

Таков был человек, в руках которого был начитавшийся английских газет «человек улицы», наделенный всеми правами и преимуществами, весьма обширными, какие конституция Соединенных штатов предоставляет президенту в области внешней политики. «Официально» Хаус занимал положение «друга» президента—положение, почти столь же узаконенное, как положение фаворитки при дворах XVIII в. или фаворита при Екатерине II. Но их дружба была весьма недавней даты, когда началась война 1914 г. Они познакомились во время первых президентских выборов Вильсона, в конце 1911 г. «Он не из самых крупных людей, каких я встречал,—записал о нем Хаус под первым впечатлением,—но один из самых приятных...». Приятность заключалась, повидимому, в том, что Вильсон сразу обнаружил

---

[1] Ibid., p. 302—303.

[2] Ibid., p. 305. Даже проф. Сеймур смутился при виде такой глубины государственной мудрости и сделал к этому месту примечание, что, конечно, Вильсон с Хаусом говорили об этом «не серьезно».

большую наклонность во всем слушаться Хауса. Тот нашел, что в своих речах демократический кандидат недостаточно подчеркивает вопрос о таможенных тарифах (до войны столь дразнивший аграриев, что только английская блокада могла заставить забыть о нем). Хаус, при помощи одного из лучших специалистов по вопросу, составил соответствующую памятную записку, которой потом и пользовался Вильсон во всех своих выступлениях[1]. Это касалось внутренней политики, в которой и сам Вильсон более или менее разбирался. «Друг» становился всемогущим, когда дело переходило к политике внешней, которая для президента была первое время книгой за семью печатями. «С Хаусом президент обстоятельно обсуждал кандидатуры послов для Лондона, Берлина, Рима, Вены и Парижа», говорит биограф «полковника»[2]. Для Лондона Хаус выдвинул своего близкого друга Пэджа. Довольно талантливый журналист в прошлом, «южанин» еще более, чем Вильсон и Хаус, в деловую сторону дипломатической работы он был посвящен не более их. Для него то, что он стал послом— а для Хауса то, что он «сделал» посла,—было источником чисто детского удовольствия. «Здравствуйте, ваше превосходительство», приветствовал «полковник» своего друга в тот день, когда он добился от президента назначения Пэджа послом (после двухмесячных стараний, узнаем мы по этому случаю...).

Как все новички, Пэдж больше всего был смущен и заинтересован формальной стороной своей новой должности. Тут все было совершенно непривычно для провинциального американского журналиста. При первом свидании со своим другом после своего назначения. он забросал Хауса рассказами о принцессах и герцогинях и о том, как трудно с ними обходиться (от одной принцессы он ушел, не будучи отпущен милостивым кивком головы—скандал! А одна герцогиня за обедом упорно молчит, как рыба,—пойди, занимай ее!). «Вчера вечером была герцогиня—простая и милая», сообщалось Хаусу, как только они расстались; «сегодня вечером будет епископ—качество еще неизвестно; завтра вечером—русский посол, великолепнейший тип старого славянина, какой я только знаю...».

Бедный Пэдж—единственный «славянин», которого он узнал, был... граф Бенкендорф.

Что такой человек должен был стать легкой жертвой лучшей дипломатии мира, где традиции международного обмана шли куда глубже, чем всякие традиции южан, это можно было считать само собою разумеющимся с самого начала. Приехав уже англофилом в Лондон, Пэдж скоро стал «более британцем, чем сами британцы», как не мог не заметить даже Вильсон. Уже в январе 1914 г., спустя меньше года после своего назначения, Пэдж «засыпает каждый день с мыслью, что говорящие по-английски народы теперь правят миром».

«Предположим, что был бы теснейший союз, оборонительный и наступательный, между всеми британцами, колониями и т. д. и Соединенными

---

[1] *House*, I, p. 48—49.
[2] Ibid., p. 185.

штатами—что бы тогда случилось? Все, что бы мы ни сказали, исполнялось бы, сказали ли бы мы: «приходи к нам под защиту!» или «разоружайся!». Это могло бы быть началом настоящего всемирного союза и объединения для достижения огромных результатов, разоружения, например, посредничества—массы хороших вещей...»

Войну он встретил с восторгом. Уже 2 августа 1914 г., когда британская дипломатия еще спасала мир, Пэдж, захлебываясь, сообщал со слов своего военного атташе (о котором нельзя было точно сказать—английский это или американский офицер, до того он был своим в английском главном штабе задолго до вступления Америки в войну):

«Выхода нет. Если Англия останется в стороне, Германия захватит Бельгию и Голландию, Франция будет предана, и Англию будут обвинять, что она забыла своих друзей»...

Война принесет неисчислимые блага Соединенным штатам.

«Она оживит наше мореплавание. В один миг, под давлением общеевропейской войны, сенат Соединенных штатов принимает закон, позволяющий американцам регистрировать корабли, построенные за границей. Так реальная необходимость сразу сбила с ног старых протекционистов, которые держались пятьдесят лет!.. Соединенные штаты—единственная великая держава, совершенно не захваченная кризисом. Соединенным штатам, по всей вероятности, придется сыграть спасительную и историческую роль при окончании войны. Это откроет президенту Вильсону, без сомнения, великие возможности. Война, по всей вероятности, поможет нам политически—и наверное поможет нам экономически» [1].

В декабре 1914 г. Хаус должен был писать своему другу: «Президент желает, чтобы я попросил вас не выражать нейтральных чувств ни устно, ни письменно, даже в переписке с министерством иностранных дел. Он говорит, что и Брайан и Лансинг (товарищ министра) заметили ваш уклон в этом направлении, и он думает, что это могло бы ослабить ваше влияние...»[2].

Увещание не подействовало 4 марта 1915 г. Хаус записывает:

«Вчера, когда Пэдж набрасывал свою депешу президенту, спрашивая, что же предполагается сделать в данный момент в связи с предполагаемой германской блокадой, он вставил массу вещей, которые я посоветовал выкинуть. Это была сильнейшая аргументация в пользу английской точки зрения, и я знал, что она ослабила бы его влияние и в министерстве иностранных дел[3], и у президента. Он неохотно согласился сократить свое изложение»...

Пэдж был убежден, что сильнее Англии державы нет.

«Я твердо верю, что единственная непобедимая сила в Европе—англичане. Если бы вся Европа была против них вместо германцев, все-таки в продолжительной борьбе они оказались бы победителями... Это единственный непобедимый народ на земном шаре—эта раса...».

И он всячески стращал Вильсона великими бедами, если Америка не вмешается немедленно в войну.

---

[1] «The life and letters of W. H. Page», удешевл. изд., I, p. 282—283, 301—302.

[2] *House*, I, p. 318.

[3] В оригинале, конечно, как всюду, «States Department», я перевожу термином, более понятным читателю.

«Если Англия победит, а она в конце концов победит, она продиктует условия мира—конец милитаризма, вознаграждение Бельгии и Франции, и английский флот будет сильнее, чем когда бы то ни было, и Британская империя будет скреплена прочнее, чем прежде; а русское военное самодержавие останется до другого дня. Не будет никакого ограничения вооружений, кроме как для Германии! А Соединенные штаты не будут иметь голоса при составлении условий договора—Англия же будет строить свой колоссальный флот, а Россия будет держать свою бесчисленную армию».

Когда хороший предлог для вооруженного вмешательства Америки, казалось, был налицо—германская подводная лодка утопила «Лузитанию»,—Пэдж был уверен, что минута наступила: не упустит же даже Вильсон такой возможности.

«Официальные комментарии сдержаны,—телеграфировал он президенту на другой день. Но свободно выражаемое неофициальное мнение таково, что Соединенные штаты должны вмешаться—или потерять уважение Европы. Насколько я знаю, это мнение—всеобщее».

И когда президент Вильсон даже в этом случае «струсил» (в частных разговорах Пэдж употреблял именно это слово), негодованию его лондонского представителя не было предела.

«Даже консервативного образа мыслей люди здесь твердо убеждены, что иностранные государства Соединенных штатов более не боятся, а общественное мнение заграницы с ними более не считается»,

писал он Вильсону через четыре месяца[1].

Американские документы содержат столько интересных подробностей о гибели «Лузитании», что нельзя попутно не остановиться на этом на минуту. Прежде всего, «неслыханное» и «совершенно неожиданное» попрание немцами «основ международного права», выразившееся в утоплении корабля, принадлежавшего вражеской стране и нагруженного боевыми припасами, наиболее близко заинтересованными лицами предусматривалось, вполне деловым образом, по крайней мере за три месяца. В феврале 1915 г. Хаус именно на «Лузитании» плыл в Европу для секретных англо-германских переговоров: официально это называлось примирительной попыткой американских друзей мира (отнюдь не американского правительства! Только Брайан мог делать такие бестактности...), на деле, как мы увидим в следующем очерке, это были именно англо-германские переговоры. И вот что, по словам Хауса, случилось во время этого путешествия (в феврале, повторим это еще раз,—а утопление «Лузитании» имело место в мае):

«Сегодня после полудня,—записал Хаус 5 февраля,—когда мы приближались к берегам Ирландии, был поднят американский флаг. Это создало большое возбуждение (среди пассажиров) и дало повод ко всякого рода толкам и комментариям. 6 февраля 1915 г. от м-ра Бересфорда, брата лорда Decies, едущего вместе с нами, я узнал, что капитан Дау (командир «Лузитании») был очень встревожен прошлый вечер и просил его, Бересфорда, оставаться с ним на мостике всю ночь.

[1] *House*, I, p. 460; Page, III, p. 295, 172—173, 239.

Он ожидал, что его будут торпедировать, и по этому случаю поднял американский флаг. Ясно, что такой инцидент мог дать повод ко всевозможным осложнениям. Все газеты в Лондоне спрашивали меня об этом, но, к счастью, я не был очевидцем и мог сказать, что ничего не знаю кроме слухов. Беспокойство капитана за безопасность его судна побудило его разработать полную программу спасения пассажиров, спуска шлюпок и т. д., и т. д. Он сказал Бересфорду, что если котлы не лопнут от взрыва, то судно сможет продержаться на воде по крайней мере час, и в то время он постарается спасти всех пассажиров».

Итак, что «Лузитания»—судно, на котором опасно плавать, это каждый разумный—и не обманутый нарочно—человек мог знать за три месяца до катастрофы. Почему людей нарочно обманывали, внушая им, что на «Лузитании» путешествовать безопасно? Весьма правдоподобную гипотезу на этот счет помогает построить другое показание Хауса, еще более любопытное. Утром 7 мая Хаус, вместе с Эдуардом Греем, ехали в Кью, на прием к королю Георгу V.

«Мы говорили о возможности, что какой-нибудь океанский пакетбот будет потоплен (германской подводной лодкой),—сообщает Хаус,—и я сказал ему (Грею), что если бы это случилось, пожар негодования охватил бы всю Америку, и это, вероятно, само собою втянуло бы нас в войну».

Часом позже Хаус беседовал с английским королем.

«Мы разговаривали странным образом,—записывал полковник в этот вечер,—о возможности потопления трансатлантического пакетбота немцами... Он (король) сказал: «Предположите, что они утопят «Лузитанию» с американскими пассажирами на борту...».

В этот вечер Хаус обедал в американском посольстве. Принесли телеграмму, извещавшую, что в два часа пополудни германская подводная лодка пустила ко дну «Лузитанию» у южного берега Ирландии. Много людей погибло.

Не подлежит никакому сомнению, что гибель «Лузитании»—одно из самых гнусных дел империалистской войны. Но немцы, с их неутомимым стремлением нарушать «простые законы права и нравственности», тут были в роли чисто «механического» виновника, выполнявшего чужое задание. Утопление «Лузитании» с их стороны хуже, чем преступление—это ошибка: они сыграли в руку своему противнику. Но моральным виновником был, конечно, этот последний. Приведенные цитаты [1] не оставляют на этот счет тени сомнения. Гибели «Лузитании» ждали в Лондоне с таким же нетерпением, как нарушения бельгийского нейтралитета германской армией в августе 1914 г. И нам становится понятной одна фраза Пэджа, своим цинизмом смутившая в первую минуту самого писавшего.

«Я хочу сказать странную вещь,—говорится в письме к Хаусу от 15 июля 1915 г.,—но единственное разрешение вопроса, какое я вижу,—это потопление второй «Лузитании»,—что заставит воевать. Мертвое молчание».

---

[1] *House*, I, p. 367, 435.

Журналисты плохо умеют молчать—не такой народ; и Пэдж написал—и сохранил тем для потомства—то, о чем Грей и Георг V только разговаривали—и то без свидетелей.

У читателя может сложиться впечатление, что завзятым англофилом и немцеедом был в этой паре Пэдж—впечатление, которое автор биографии Хауса не прочь внушить своему читателю. Конечно, Пэдж был почти столь же «неприличной» фигурой в лагере американских милитаристов, как Брайан в противоположном лагере. Но противополагать Пэджа Хаусу было бы совершенно неправильно. Только то, что у журналистов было на языке и под пером, то у дипломата было лишь на уме. Характерно, что именно дипломатические способности Хауса были исходной точкой его «фавора» при Вильсоне. Гораздо раньше, чем он предпринял неудачную попытку примирить Германию и Англию (летом 1914 г.), Хаус имел успех в не менее, может быть, трудной попытке—примирить Вильсона с Брайаном и убедить второго отказаться от кандидатуры на президентство в пользу первого. С этого именно дипломатического подвига Хаус и пошел в ход. Так вот, хороший дипломат Хаус не болтал направо и налево о том, что он думает—но думал он то же, что и Пэдж.

> «Наши надежды, наши чаяния и наши симпатии тесно связаны с демократиями Франции и Англии, и это влечет к ним и наши сердца, и нашу могущественную экономическую поддержку—а не страх тех последствий, какие могли бы для нас иметь их поражение»,

писал Хаус этому последнему в августе 1915 г. «Сам полковник очень хотел бы, чтобы Германия была достаточно побита—и чтобы судьба милитаризма была решена на все будущие времена»,—говорит биограф Хауса: мы видели уже, что даже Пэдж понимал, что речь идет о судьбе только германского милитаризма,—а никак не английского или даже русского. «Он (Хаус) более, чем когда-либо (речь идет о начале 1916 г.), был убежден, что будущее Соединенных штатов связано с победой союзников (т. е. Антанты)—и он искал путей помочь союзникам»,—пишет, тот же автор в другом месте [1].

Мы упоминали выше об одном американском военном, который неведомо был на чьей службе—Англии или Соединенных штатов. Но подобное же сомнение легко возникает и относительно псевдовоенного друга президента Вильсона. Трудно было иногда решить, с каким правительством он теснее связан—своей родины или родины основателей североамериканского союза. Во всяком случае его отношения с Эдуардом Греем были более интимные, близкие и теплые, чем с Брайаном.

> «Он отвечал мне с чрезвычайной искренностью,—отмечает Хаус по поводу своего разговора с Греем в феврале 1915 г.,—рассказывая мне все так, как если бы я был членом его правительства. Это был необыкновенный разговор, и я чувствовал себя выше всякой меры польщенным таким его доверием к моей скромности и добросовестности» [2].

---

[1] *House*, I, p. 344; II, p. 61, 154.
[2] Ibid., I, p. 370.

Как видим, была слабая струнка и у Хауса—только ему мало было разговоров с герцогинями и принцессами. Играя на этой струнке, англичане добивались от фактического министра иностранных дел Штатов чудовищных вещей. Вместе с английским послом в Вашингтоне, Спринг-Райсом, Хаус цензуровал депеши Брайана к Пэджу—формально это шло, конечно, как «редакция» самого президента Вильсона; в обмен за эту услугу Спринг-Райс обсуждал вместе с Хаусом свои донесения Грею: раз Хаус трактовался как член английского кабинета, это было довольно естественно—но едва ли Брайан когда-либо соглашался трактовать Спринг-Райса как члена американского правительства. Естественно, что работу такого рода приходилось держать в величайшей тайне—и сношения Хауса с английским послом принимали совсем конспиративный характер: у них была «явка», в доме одного из чиновников State Department Филиппса, условный язык (Спринг-Райс подписывался «Беверлей») и шифр для сношений. А для сношений с Греем Хаус имел разрешение пользоваться шифром английского министерства иностранных дел: единственный неангличанин, которому это было когда-либо позволено, с гордостью сообщает его биограф. Нужно, однако, отметить, что и тот американский офицер, о котором речь шла выше, полковник Сквайер, был единственным неанглийским военным, имевшим доступ к секретным материалам английского главного штаба.

Такая доверчивость была очень рентабельна. Поездка Сквайера по западному фронту была очень существенным моментом в деле вовлечения Америки в непосредственные военные действия против Германии (что страна, без материальных ресурсов которой Антанта, по признанию самого Грея, не могла бы выдержать и года войны, фактически была союзницей Антанты задолго до появления первого американского солдата во Франции, это разумеется само собою). Доверие, оказанное Греем Хаусу, доводило последнего до поступков, от которых до прямой «измены отечеству» уже меньше одного шага.

2 августа 1915 г. Хаус записал:

«Вечером приходил английский посол. Мы обсуждали положение с хлопком и аттитюду его правительства по отношению к нейтральной торговле. Он подтвердил мнение, которое я высказывал президенту и статссекретарю Лансингу, что английское правительство скорее пойдет до какого угодно предела (уступок), чем согласится на серьезный разрыв с нами. Но он также подтвердил мое мнение, что они нам никогда не простят, если мы станем нажимать на них дальше того, что они считают справедливым, пользуясь их несчастным положением.

Я посоветовал ему телеграфировать сэру Эдуарду Грею, чтобы он выдвинул вперед правительства Франции, Италии, Бельгии и России, так, чтобы эта страна (т. е. Соединенные штаты) могла видеть, что не только одна Великобритания мешает нашей торговле, но что это делается по серьезному настоянию всех союзников. Что Англия сама не могла бы действовать иначе, даже если бы она этого желала, потому что другие нации требуют такой политики. Я объяснил, что это помогло бы нам уладить вопрос в желательном для них направлении»[1].

---

[1] *House*, II, p. 58—59.

Лучше этого совета чужому правительству, как оно может надуть американский народ, мы едва ли что найдем в дипломатической переписке всей мировой войны. Само собою разумеется, что оба друга вполне разделяли империалистские цели Антанты. Конечно, Пэдж и здесь был откровеннее и тороплпвее. Уже в октябре 1914 г. он писал Хаусу:

> «От времени до времени они (англичане) высказываются относительно условий желательного для них договора. Бельгия и Сербия, конечно, освобождаются и по мере возможности получают вознаграждение; Россия получает славянские государства Австрии и Константинополь; Франция, конечно, Эльзас-Лотарингию; Польша тоже отходит к России; Шлезвиг-Голштиния и Кильский канал больше не будут германскими; все южногерманские государства становятся австрийскими и ни одно германское государство не остается под властью Пруссии; Гогенцоллерны устраняются; германский флот или то, что от него останется, достается Великобритании; а германские колонии пойдут тем из союзников, которые не удовлетворяются тем, что им досталось».

Вы думаете, что Пэдж сопровождает этот перечень требований замечанием о явной его нелепости—и несправедливости? Ничего подобного: дальше идут комплименты «непобедимой расе» т. е. все тем же англичанам[1].

Хаус вел более деловые разговоры и получал свою информацию из более авторитетного источника (характерно, что Пэджа к интимным разговорам Хауса с Греем, Асквитом и т. д.—не привлекали), но его отношение к антантовскому империализму было не иное. В одном из трех разговоров, где Грей беседовал с «полковником» как с одним из членов английского кабинета (февраль 1915 г.), английский министр высказывал мнение, что «Россия может быть удовлетворена Константинополем, и мы обсуждали это довольно подробно». Ровно год спустя Хаус настолько привык к подобным занятиям, что даже шутил по их поводу. «Мы весело делили Турцию как в Азии, так и в Европе». Против передачи Константинополя России возражал не американец, но английские коллеги Грея—Ллойд-Джордж и Бальфур. Идя навстречу их желаниям, Хаус предложил интернационализацию турецкой столицы: что самих турок никто не собирается об этом спрашивать, разумелось само собою. А еще год спустя привык к этому занятию и Вильсон. 3 января 1917 г. у него был разговор с Хаусом, где оба друга соглашались, что «европейская Турция должна перестать существовать» и что «должно быть сделано что-то для удовлетворения прав (?) России на теплый морской порт. Если этого не сделать, останется обида, которая со временем может повести к новой войне». О Константинополе прямо предпочитали уже не говорить, ибо ясно было, что великобританские друзья в этом вопросе между собою не вполне согласны[2].

Повторим еще раз: если итти от симпатий правителей, вопрос нужно ставить не о том, почему Соединенные штаты вмешались

---

[1] *Page*, удешевл. изд., I, p. 340.
[2] *House*, I, p. 36; II, p. 181, 417—418.

в войну в 1917 г., а о том, почему они не сделали этого гораздо раньше. Ибо настоящая, не номинальная, дипломатия Штатов, воплощавшаяся в Хаусе и Пэдже, была душою и телом на стороне Антанты уже в 1914 г. (по существу дела даже ранее, как мы увидим дальше). Объективные условия, определившие извилистый путь американской внешней политики за эти годы—и объективные результаты, которые давала эта политика,—мы рассмотрим в следующем очерке. Были силы и обстоятельства сильнее всех Хаусов—одного антанто-угодничества этих последних было мало. Но одной силы, субъективного порядка, можно коснуться уже сейчас. Американские массы и даже большая часть американской буржуазии питали непобедимое отвращение к вмешательству Америки в европейскую бойню. В июле 1915 г., как раз тогда, когда Пэдж мечтал о том, как бы хорошо было утопить еще одну «Лузитанию», Хаус должен был объснять Грею: «Страна продолжает быть настроенной определенно против войны, и я серьезно сомневаюсь, нашел ли бы президент прочную поддержку конгресса, если бы он прибег к решительным мерам—разве что немцы выведут нас из границ терпения» (письмо от 8 июля 1915 г.). «Сэр Эдуард (Грей) и вы не знаете истинного положения здесь»,—писал он немного позже Пэджу.

«Я его сам не знал, пока не вернулся (из Европы) и не начал измерять его. Девяносто процентов нашего народа не желают, чтобы президент впутал нас в войну» (письмо от 4 августа).

«К западу от Миссисипи и к югу от Охайо,—комментирует эти письма автор биографии Хауса,—в трех четвертях страны ни война, ни наша ссора с Германией (из-за подводной блокады) не вызвали сочувствия. Люди наживали деньги. Даже на востоке, ближайшем к театру конфликта и более враждебном к Германии, оставалось до известной степени правильным наблюдением Хауса; я замечаю, что наиболее воинственные люди у нас—это старики и иногда женщины».

Настроение менялось туго. В мае 1916 г. Хаус должен был писать Грею:

«Здесь все растут требования к президенту, чтобы он как-нибудь положил конец войне. Растет впечатление, что союзники больше интересуются тем, чтобы наказать Германию, нежели тем, чтобы создать такие условия, которые кажутся желательными общественному мнению нейтральных стран. Это настроение усилится, если Германия прекратит нелегальные действия своих подводных лодок».

Это настроение продолжало держаться даже накануне войны, в феврале 1917 г.

«Приходил Дюрант, глава General Motors Company,—записывает в этом месяце Хаус,—с выражением надежды, что президент спасет нас от войны. Он только что вернулся с Дальнего Запада и уверяет, что между Нью-Йорком и Калифорнией он встретил только одного человека, настроенного воинственно. Он думает, что мы все сидим на вулкане и что война может послужить поводом к извержению».

Немалого труда стоило втянуть народ Соединенных штатов в войну—и понятно, почему Вильсон не имел на это духа, пока вто-

ричные выборы его как президента были еще впереди. Только перевалив за выборы 1916 г. (когда кандидатура Вильсона шла под лозунгом: «Он спасет нас от войны»!) и имея перед собою еще четыре года власти—притом в *последний раз*: третьи выборы в президенты одного и того же человека не допускаются американской конституцией—Вильсон нашел в себе решимость твердо пойти за своим другом, и сам этот друг признал, что по части одурачения масс сделано достаточно. Из поездок Хауса в Европе хоть что-нибудь вышло: достаточное количество наивных людей приобрело уверенность, что американским правительством «сделано все», чтобы восстановить мир и справедливость. Надо было и этим пользоваться.

## II

«Соединенные штаты приходится рассматривать как особую самостоятельную категорию (между державами),—говорит в своих воспоминаниях Грей.—Эта страна была столь могущественна, что на ее симпатии или политику не мог повлиять ход войны. Соединенные штаты могли сделать все, что они считали правильным или желательным, не боясь последствий. Это был фактор такой потенциальной важности, что занятая им позиция могла решить войну в пользу любой из воюющих стран». «Недоброжелательство Соединенных штатов означало бы верное поражение союзников» (т. е. Антанты).

В чем же заключалась таинственная сила этого «фактора»? Грей ставит этот вопрос так конкретно, как только можно пожелать. «Германия и Австрия,—пишет он,—могли сами создать необходимые для них запасы военного снаряжения. Союзники (т. е. Антанта) скоро оказались в этом отношении в полной зависимости от Соединенных штатов. Если бы мы поссорились с Соединенными штатами, мы не имели бы того, что нам было нужно». Для того чтобы обеспечить себе дружбу «фактора», приходилось итти на тяжелые уступки—и Грей с гордостью говорит о жертвах, которые умела принести на алтарь американской дружбы английская дипломатия. Расчеты на победу Антанты над Германией строились, как всем известно, главным образом на строжайшем проведении новой «континентальной блокады», с обратным, так сказать, знаком, потому что теперь не континент блокировал Англию, как в дни Наполеона I, но Англия блокировала континент, кроме стран, бывших ее союзницами. Мы видели, какое впечатление производила эта новая блокада на Америку, в особенности на аграрную, фермерскую и плантаторскую Америку, которую представляла демократическая партия,—а в руках этой партии была тогда власть. Мы видели также, что официальная верхушка этой партии готова была итти навстречу Англии очень далеко,—но не до конца однако. И Англии приходилось соглашаться на уступки.

«Задачей дипломатии было поэтому обеспечить такой максимум блокады, который мог быть достигнут, не вызывая разрыва с Соединенными штатами... Могла быть одна дипломатическая ошибка, которая, если бы она была сделана, была бы роковой для дела союзников. Этой ошибки дипломатия последних не сделала, она ее тщательно избегала. Этой ошибкой было бы расхождение с Соединенными штатами, не непременно от-

крытый разрыв, но такое положение вещей, которое повело бы к вмешательству американцев в дела блокады или *к запрещению вывоза боевых припасов из Соединенных штатов*»[1].

До чего важно было, что Вильсон читал только английские газеты! Этот скромный человек мог бы поставить Антанту на колени перед Германией буквально простым росчерком пера. Подписанный Вильсоном декрет об «эмбарго» на английский военный вывоз из штатов кончал войну самым простым путем, и то, что Вильсон не только такого декрета не издал, но даже ни разу серьезно не пригрозил им англичанам, кладет конец всяким разговорам о «пацифизме» Вильсона. Как, надо думать, чесались руки у Брайана,—но руки были коротки. А сколь велика была зависимость Антанты от Америки в этом вопросе, особенно в течение первых месяцев войны, покажет один маленький анекдотический пример, который мы опять берем из переписки Пэджа. 6 октября 1914 г. последний писал Вильсону:

«Главный интендант британской армии вчера обратился к нашему военному атташе, полковнику Сквайеру, с вопросом: думает ли Сквайер, что стоило бы позондировать наше правительство насчет возможности получить от него или от кого-нибудь в Соединенных штатах от 100 до 150 тысяч спрингфильдовских ружей (американская пехотная винтовка) и 5 миллионов пачек патронов»[2].

Когда Сербия, перед убийством Франца-Фердинанда, обратилась к Николаю II за «воспособлением» в размере 120 тыс. русских винтовок и несколько батарей артиллерии, то это в высокой степени выразительно, но совершенно понятно. То Сербия, а то Россия. Но когда видишь Англию в такой же точно позиции перед Соединенными штатами—и из-за такого же количества винтовок, то, наоборот, перестаешь что бы то ни было понимать. Одно из двух: или Англией управляли в военном отношении столь безголовые люди, что под их управлением одна из величайших военных держав мира оказалась не в состоянии заготовить во-время лишнюю сотню тысяч ружей—и тогда Сухомлинов оказывается первоклассным военным организатором, ибо он такое количество ружей мог *подарить* Сербии; или Англия была до такой степени уверена, что она обеспечена непрерывным снабжением с того берега Атлантического океана, что ее военным организаторам и в голову не приходило отвлекаться от своей основной задачи—боевой подготовки английского флота, заботами о каких-то пехотных винтовках: понадобится—привезут из Нью-Йорка, сколько нужно. И конечно правильно только второе предположение. Америка была союзницей Англии еще до начала войны.

Никогда не бывший полковником Хаус и будущий лорд Грей встретились впервые в Лондоне 3 июля 1913 г., почти ровно за год до начала мировой войны, и сразу же разговорились по душе. Разговор этот лучше всего привести целиком, как его записал в своем дневнике

---

[1] Viscount Grey of Fallodon, Twenty-five Years; цитата у *Page*, III, p. 152—153. Курсив мой.

[2] *Page*, ibid., p. 157.

Хаус, тогда та почва, на которой начал складываться англо-американский союз, будет для читателя ясна почти без комментариев:

«Пока лорд Крью и Пэдж обсуждали вопрос об истреблении злокачественного червя (hookworm) в Индии и других странах, сэр Эдуард и я заговорили о положении дел в Мексике. Я сказал ему, что президент не желает вмешиваться в тамошние дела и дал всяческую возможность различным партиям столковаться между собою. Он желал знать, относится ли президент враждебно к какой-нибудь одной определенной партии. Я ответил, что, поскольку дело касается нашего правительства, нам безразлично, какая партия стоит у власти, лишь бы поддерживался порядок (!). Я думаю, что наше правительство признало бы как временное правительство Гуэрты, если бы оно дало письменное обязательство как можно скорее произвести выборы и подчиниться их решению.

Сэр Эдуард сказал, что его правительство признало правительство Гуэрты только как временное и что, если бы Гуэрта предпринял борьбу за президентство вопреки своему обещанию не делать этого, вопрос о его признании встал бы снова как совершенно новое предложение. Он дал понять, что при подобных обстоятельствах они (англичане) не признали бы его.

Он желал знать, что случилось бы, если бы мы вмешались, и высказал предположение, что может быть тогда (в Мексике) установился бы тот самый порядок, какой установился на о. Кубе[1]. Я ответил, что это вопрос будущего, но что персонально я не думаю, чтобы вопрос об интервенции стоял так серьезно, как кажется большинству.

Затем мы перешли к вопросу о пошлинах за право пользования Панамским каналом. Он сказал, что его правительство собирается прямо поставить перед нашим правительством вопрос: желаем ли мы продолжать обсуждение текста трактата[2] или же предпочитаем арбитраж. Его правительство не возражает, чтобы наше правительство свободно пропускало каботажные суда, поскольку это не мешает британскому мореплаванию или не создает для него неблагоприятных условий; но какой именно план намечен для достижения этой цели, он не знает. Однако он готов повести об этом разговор с нашим правительством в случае, если освобождение от пошлины (американских судов) не будет отменено биллем, который сейчас находится на рассмотрении сената.

Я предложил не торопиться с этим делом в настоящий момент, но оставить вопрос открытым до большой сессии конгресса, начинающейся в декабре. Я объяснил, что президент очень торопится провести в чрезвычайную сессию свою законодательную программу, что уменьшение таможенных пошлин и реформа нашей монетной системы являются почти вопросом жизни и смерти для его (Вильсона) администрации; что в сенате он имеет в вопросе о пошлинах лишь незначительное большинство, и не желал бы спешить ни с чем другим, пока не будут проведены эти меры.

Сэр Эдуард сказал, что он совершенно понимает положение президента и сочувствует ему, что его правительство совершенно согласно повести дело так, как я предложил»[3].

Последние два абзаца я привел, чтобы показать, какая интимность существовала в переговорах вильсоновского кабинета с англичанами уже в эту раннюю пору. Грею откровенно объясняли всю внутрипартийную механику демократического правительства—и

---

[1] Фактически являющемся американской колонией, с призрачной самостоятельностью.

[2] Речь идет о трактате Гея-Паунсефота, 1901 г., см. ниже.

[3] *House*, I, p. 201—202.

встречали полное сочувствие. Суть же дела ясна из предыдущих абзацов. В Мексике столкнулись две нефти: американская и английская,—т. е. нефть-то была одна, мексиканская, но наживаться на ней желали и английские и американские капиталисты.

«Британский посланник в Мексике, сэр Лайонель Кардэн, считался сторонником Гуэрты и, как думали, представлял английские нефтяные интересы лорда Каудрэя,—пишет редактор бумаг Хауса профессор Сэймур,—о Гуэрте думали, что он готов предложить англичанам необычайно выгодные условия концессий в том случае, если его режим твердо установится. Американское правительство считало, что за английскими нефтяными интересами стоит британское министерство иностранных дел и что признание Англией правительства Гуэрты как временного означает враждебный акт по отношению к вильсоновской политике непризнания Гуэрты» [1].

Все это, как мы сейчас видели, была чистая клевета. На английской политике не было ни единого нефтяного пятна. Как умные люди английские империалисты прекрасно понимали, что всех кусков сразу в рот не положишь—и что лорд Каудрэй может подождать. На столе лежала ставка гораздо более крупная. Согласно договору, заключенному Англией и Соединенными штатами в 1901 г. (так называемый «трактат Гея—Паунсефота», по имени подписавших его дипломатов обеих сторон), корабли всех стран при проходе Панамского канала платили одинаковые пошлины. Но в последний год президентства Тафта, перед выборами Вильсона, американские протекционисты, чувствуя, что приближается конец их господству, поспешили провести билль, освобождавший вовсе от пошлин при проходе через Панамский канал американские каботажные суда. Демократы, в погоне за голосами индустриальных штатов, вынуждены были включить сохранение этого протекционистского закона в свою избирательную платформу.

Переоценить значение этого закона было трудно. Он создавал колоссальное преимущество фабрикантам Новой Англии, индустриальных штатов на берегах Атлантического океана перед английскими предпринимателями. В то время как американские товары шли на тихоокеанский берег Южной Америки, острова Полинезии, отчасти даже в Австралию и на Дальний Восток, не платя в Панамском канале никаких пошлин, в цену английских товаров неизбежно входили эти пошлины. Конкуренция для англичан была невозможна. Половина бассейна Тихого океана оказывалась закрытой для английских товаров,—и как раз та половина, которая только что открывалась для капитализма: на другой стороне этого океана уже была Япония.

«Если Соединенные штаты отменят пошлинные льготы в канале (для американских судов), мы будем иметь в распоряжении британский флот, британских фабрикантов—все, что нам угодно»,—писал Пэдж Хаусу в августе 1913 г. Конечно у англичан был «выход»:

[1] *House*, I, p. 200.

возить свои товары на американских судах, т. е. способствовать развитию американского торгового флота (авторы билля и имели в виду главным образом эту цель). Но если мы вспомним, что война Англии с Германией на 50% объяснялась успехами американского торгового флота, мы поймем, что значило для англичан прибегнуть к этому «выходу». Бедный лорд Каудрэй давал другой «выход», несравненно более приемлемый для английского капитала. Продав шкуру этого лорда,—с Гуэртой в виде маленькой премии,—нельзя ли этим добиться отмены тафтовского билля? Так именно Грей и поставил вопрос.

Если бы на месте Вильсона и его друзей была более жесткая публика, одной шкурой лорда Каудрэя дело конечно не обошлось бы. Мы видели, как, понимая это, Грей осторожно ставил вопрос. Он готов был итти на уступки даже в вопросе о пошлинах, готов был торговаться. Европейская война была на виду—и не поссориться с Соединенными штатами уже тогда было одною из основных задач британской дипломатии. Но Вильсон и его друзья заранее готовы были растаять, увидев перед собою такого почтенного джентльмена, как Грей (внепсихологические причины этого добродушия читатель сейчас увидит). Когда в ноябре 1913 г. (перед упоминавшейся декабрьской сессией конгресса) в Вашингтоне появился личный секретарь Грея, Уильям Тиррель, уже с формальными предложениями насчет панамских пошлин, Вильсон, к крайнему изумлению даже Хауса, был с ним еще откровеннее, чем Хаус с Греем. «По собственной инициативе» американский президент откровенно рассказал британскому дипломату «все, что у него было на уме,—не только свои взгляды на вопрос, но и то, как он эти взгляды собирается проводить». Он не скрывал и препятствий, стоявших на его пути. Пакостили конечно ирландцы: их ведь хлебом не корми, а дай сделать что-нибудь неприятное англичанам. Ввиду только этого Вильсон просил англичан запастись терпением. Накануне этого дня, на завтраке в английском посольстве, Тиррель категорически заявил Хаусу, что

> «у лорда Каудрэя нет никаких концессий от Гуэрты, и если бы он получил их в будущем, английское правительство их не признает». «Он сказал, что сэр Лайонель Кардэн отнюдь не враг американцам. Он человек порядочный и будет думать и действовать так, как ему прикажет его правительство. Он допускал, что он (английский посланник в Мексике) большой британский патриот,—кроме этого его ничем нельзя упрекнуть» [1].

Пришлось, действительно, потратить некоторое время, чтобы уломать лидера ирландцев сенатора О'Гормана. Как-никак нарушалось формальное обещание, данное Вильсоном при вступлении в президентство,—одно из условий, на которых он был избран. Но мексиканская нефть не могла не растопить самого жесткого сердца. В марте 1914 г.—во имя конечно только святости договоров, не подумайте чего-нибудь другого—условия трактата Гея—Паунсефота были восстановлены во всей неприкосновенности. Американские суда впредь

---

[1] *House*, I, p. 205—207.

должны были платить при проходе через канал те же самые пошлины, что и английские.

Для широкой публики это было впечатление разорвавшейся бомбы. Это впечатление великолепно передает донесение о событии царского посла Бахметьева, который именно принадлежал к числу публики, смотрящей через забор. О нем почти никогда не упоминается в бумагах Хауса, и только один раз где-то брошено замечание, что это «злейший реакционер и что-то вроде помешанного». (Другой Бахметьев времен Керенского пользовался гораздо большими симпатиями и вниманием «полковника».) Сам Вильсон чувствовал видимо некоторую неловкость и очень боялся, как бы в зале конгресса вдруг не запахло керосином. Он ни слова не сказал о Мексике, он только просил отменить билль Тафта, «чтобы поддержать внешнюю политику правительства», да вскользь и глухо упомянул о каких-то «других материях, еще более деликатных», чем панамские пошлины. Для более узкого круга все было решено давным-давно,—еще в ноябре, когда Тиррель показывал Хаусу депеши Грея Лайонелю Кардэну, запрещавшие тому поддерживать Гуэрту и в чем бы то ни было препятствовать американцам. Как видим, и обоюдное ознакомление с секретными дипломатическими документами вошло у друзей в обычай еще задолго до войны.

В июле 1914 г. Гуэрта бежал, и мексиканская нефть стала «отечественным» американским продуктом. Но мы очень ошиблись бы, если бы к этой нефти свели все дело. Планы Хауса были несравненно шире—и билль Тафта был продан вовсе не за такую дешевую цену, как можно подумать на основании предыдущего рассказа. Предполагалось возмещение гораздо более солидное; только, к несчастию вашингтонских друзей, лишь именно Гуэрта был в этом возмещении «чистыми деньгами», остальное было написано на векселе, который не удалось учесть.

21 января 1914 г. Хаус записал в своем дневнике:

> «Мы (т. е. Вильсон и Хаус) решили, что лучше всего обратить внимание конгресса на это дело (соглашение с Англией) немедленно, чтобы британское правительство могло предпринять соответствующие шаги, когда 10 февраля соберется парламент. Мы решили, что лучше не разговаривать с сенатором О'Горманом в одиночку, но созвать всю сенатскую комиссию по иностранным делам, как республиканцев, так и демократов, и объяснить им положение; что было бы хорошо сказать им, как нам важно не испортить своих отношений к Великобритании именно в настоящее время; что лучше сделать уступки в отношении к Панаме, нежели потерять поддержку Англии в наших мексиканских, центрально- и южноамериканских делах» [1].

После бегства Гуэрты американский посланник в Чили писал Хаусу:

> «Успех президента в Мексике превратил положение, чреватое трудностями и опасностями для наших американских отношений, в *триумф панамериканизма*».

[1] *House*, I, p. 210.

Полковник Хаус спешил использовать выгоды момента, чтобы развить положительную и устойчивую панамериканскую политику, основанную на принципе соглашений и кооперации.

Прежде чем перебросить свои щупальцы через оба океана, отделяющие Старый свет от Нового, американский империализм хотел консолидироваться у себя дома, превратив обе Америки, Северную и Южную, от Гудзонова залива до Огненной земли, в один империалистский блок, под главенством Соединенных штатов.

> «Это дело столь громадных последствий,—писал Хаус Вильсону уже после начала войны в Европе,—что я даже теперь чувствую себя обязанным уделять ему больше внимания, чем европейским делам, тем более, что в случае счастливого исхода одно может оказать решающее влияние на другое»[1].

Выступить перед распавшейся на части Европой «всей Америкой»—значило поднять кулак, во много раз более мощный, чем кулак одних Штатов,—тем более, что без канадского и аргентинского хлеба и мяса воевать было так же невозможно, как и без снарядов, вырабатываемых заводами Новой Англии.

> «Спешить было необходимо,—не без наивности замечал Хаус еще несколько позже,—по той причине, что европейская война создавала крайне удобный момент (!), и если не провести дела до конца войны, его может быть никогда не удастся провести»[2].

Вот вам и «достаточное основание» для того, чтобы политический союзник Англии еще с 1913 г. стал ее военным союзником только в 1917 г. И та же причина, которая дала возможность реализовать это военное сотрудничество лишь еще годом позже, в 1918 г.,—сравнительно слабый флот и еще более слабая армия Соединенных штатов—лежала в основе того, что панамериканский мираж не стал реальностью даже и до сего дня, как и предвидел Хаус. Америку пришлось завоевывать в Европе, а для этого, как опять предвидел Хаус (см. главу I), пришлось превратить Соединенные штаты в мощную милитарную державу. В 1914 г. АВС (Аргентина, Бразилия и Чили—Chile, три крупнейшие державы Южной Америки) просто не очень боялись Вашингтона, а Канада прямо зависела от Англии. Нельзя найти лучшего примера тому, как конкуренция и монополия объединяются в империалистическом мире, чем отношения Англии и Соединенных штатов в эти годы. Обе союзницы были в то же время и соперницами,—на пути к панамериканской монополии Штатов они сталкивались—и никакие лобызания Хауса с Греем не могли устранить этого объективного факта. Англия тянула со своим согласием, как только могла, Чили поняло это сразу, а следом за Сант-Яго де Чили разумение дошло постепенно и до Буэнос-Айреса, и до Рио-де-Жанейро, где в первую минуту Хауса встретили тропически жаркими объятиями. 23 марта 1916 г. (!) Грей писал Хаусу, что он видел чилийского посланника.

---

[1] *House*, I, p. 221.
[2] Ibid., p. 227.

«Я нашел его очень довольным тем, что вы ему сказали, но он очень настаивает на том, что идея участия (всех американских держав) на равных правах должна быть подчеркнута, а идея опеки устранена (из договора)».

Дальше следовала совсем иезуитская фраза насчет того, что против участия Канады в панамериканской федерации Англия не возражает, но вот положение с АВС деликатное. Уговорите, мол, сначала чилийцев с компанией. Но, говорит редактор хаусовских бумаг, соперничая в наивности с самим «полковником», «для Соединенных штатов было невозможно настаивать, не возбуждая у Чили подозрений, что «пакт» (панамериканское соглашение) в действительности служит более нашим специально интересам, чем интересам Америки вообще» [1].

Повторяю, Америку пришлось завоевывать в Европе. Перипетии неудачных переговоров Хауса с АВС нас не интересуют в настоящий момент, но на одной статье несостоявшегося «пакта» нельзя не остановиться. Во всех разговорах Хауса и Вильсона с Греем и Тиррелем есть один припев, повторяющийся с назойливостью «малой ектеньи» старой православной обедни: это разговоры о всеобщем мире и разоружении,—разговоры, которые до сих пор я тщательно опускал, поскольку они носили совершенно отвлеченный характер и были вполне бессодержательны. Но в «пакте» пришлось их поневоле конкретизировать, и конкретное воплощение пацифистских мечтаний империалистической буржуазии не только очень интересно само по себе, но и в высокой степени актуально, в связи с тем, что только что происходило в Лондоне. IV пункт проекта панамериканского договора гласил:

«С целью поддержания внутреннего спокойствия на своих территориях, высокие договаривающиеся стороны, каждая за себя, соглашаются и обязуются не допускать отправления из местностей, находящихся под их юрисдикцией, какой-либо военной или морской экспедиции, враждебной существующему правительству одной из высоких договаривающихся сторон, и запретить вывоз из пределов своей юрисдикции оружия, боевых припасов или какого-нибудь другого военного снаряжения, предназначенных для употребления лицом или лицами, известными как находящиеся в состоянии восстания или революции против существующего правительства одной из высоких договаривающихся сторон» [2].

Договор о взаимном разоружении был одновременно и договором о взаимной перестраховке от революции. В частных письмах это звучало конечно откровеннее, чем в официальных дипломатических текстах.

«Наступило время,—писал Пэдж Хаусу незадолго перед началом европейской войны,—для какой-то великой конструктивной, передовой идеи—надо что-то сделать. Если бы великие мировые силы, благодаря счастливым событиям и удачным комбинациям, могли объединиться и принялись бы очищать тропики, великие армии постепенно стали бы санитарной полицией, как в Панаме, постепенно забыли бы свое боевое назначение и наконец рассеялись бы».

---

[1] House, I, 235—237.
[2] Ibid., p. 240.

А вскоре после начала войны Хаус писал американскому послу в Берлине, Джерарду:

> «Когда наступит мир.., тогда сможет быть выдвинут и генеральный план разоружения, потому что тогда не будет надобности в *армиях*, крупнее тех, *какие необходимо для полицейской цели*» [1].

Сначала «санитарная полиция», потом «полиция» просто, без всяких «санитарных» фиговых листков. Распустив дорого стоящие армии (и ликвидировав еще дороже стоящие флоты), заменить их хорошей вооруженной полицией—вот настоящий, не для парада, идеал буржуазного пацифиста. А так как есть опасность, что массы, даже кое-как вооруженные, смогут с такой полицией справиться, то надо лишить оружия массы. Большевистская формула навыворот. Мы стремимся заменить войну между народами войной между классами—и для этой цели вооружаем массы. Они тоже понимают, что дело идет к замене войны между народами войной между классами—и готовятся к ней по-своему—стремятся разоружить массы (особливо ежели те находятся в состоянии мятежа или восстания) и вооружить полицию.

С англо-американской «дружбой» (читатель вероятно уже заметил, что и это слово в данном сочетании не менее заслуживает кавычек, нежели полковничий чин Хауса) связаны не только неосуществившиеся мечтания Хауса о гегемонии Соединенных штатов в Америке, но и первое [2] вмешательство американцев в европейские дела,—осуществившееся, но не давшее тех результатов, каких от него ждали в Вашингтоне.

В обширный кругозор «полковника» входили не только Англия и АВС, в него входила и Германия, притом со знаком, удивительным для того, кто не понял бы диалектического характера англо-американского союза. Разговаривая с одним своим знакомым в январе 1913 г. (NB: до начала дружбы с Греем), Хаус говорил ему:

> «Я желал бы добиться лучших отношений между Англией и Германией; если бы Англия была менее нетерпима к германской экспансии, между ними могло бы установиться согласие. Я думаю, мы могли бы поощрить Германию в ее попытках эксплоатировать Южную Америку законными путями, т. е. разработкой ее природных богатств и высылкою туда излишков своего населения; это было бы хорошо для Южной Америки и вообще имело бы благодетельные последствия» [3].

В это время спор о мексиканской нефти и панамских пошлинах был еще во всей силе. Но гораздо позже, когда Англия и Америка давно уже «похоронили топорик» [4], в мае 1914 г., Хаус писал Вильсону:

---

[1] *House*, I, p. 247 и 325. Разрядка моя.—*М. П.*

[2] Первое при Вильсоне: предыдущие случаи такого вмешательства—Рузвельта в 1903 и потом в 1905—1906 гг.—выходят из рамок нашего рассказа.

[3] *House*, I, p. 245—246.

[4] «Похоронить топорик», или томагаук—обычный символ мира у краснокожих Северной Америки, знакомый всякому, кто читал Купера.

«Лучшим шансом для мира было бы соглашение между Англией и Германией в вопросе о морских вооружениях, но *для нас было бы не совсем выгодно, если бы они слишком тесно сблизились между собою*» [1].

Явный перевес Англии над Соединенными штатами в Южной Америке вынуждал искать противовеса. Союзник Англии, Штаты, не желали полного и окончательного разгрома Германии: если этот разгром осуществился, это было неудачей политики Вильсона. Из двух «друзей» тот, который жил по сю сторону Атлантического океана, был гораздо хитрее и ловчее заокеанского «брата Ионафана». Ионафан, несметно богатый, но неуклюжий и застенчивый провинциал—столичным жителем его сделала именно война—понимал иногда, что его водят за нос: мы скоро увидим поразительные по своей откровенности афоризмы Хауса на этот счет. Но сопротивляться ловкому и нахальному Джон Булю [2] не мог—просто уменья нехватало—и давал себя использовать то тут, то там, являясь своего рода «эксплоатируемой» стороной почти везде.

Результатом этих противоречивых влияний, желания спасти Германию от разгрома и оказать услугу своему союзнику (а в то же время и оттянуть развязку до того момента, когда Соединенные штаты сделаются одною из решающих *военных* держав) явилась мало кому известная поездка Хауса в Европу в мае—июне 1914 г., перед самым началом войны. Об этой поездке Вильгельм сказал однажды, уже после своего падения, что она «едва не предупредила мировую войну». Это конечно такое же огромное преувеличение, как и то высокое мнение о своих подвигах, какое с неподражаемым самодовольством высказывает в своих письмах сам «полковник». Но что поездка Хауса в Берлин была чрезвычайно серьезной *английской* разведкой перед самой войной—разведкой, может быть действительно в самом окончательном счете определившей решение Англии воевать,—это не подлежит сомнению.

Мысль о поездке Хауса в Европу зародилась во время тех разговоров с Тиррелем, которые велись в декабре 1913 г. и непосредственным результатом которых было соглашение о мексиканской нефти и панамских пошлинах. Хаус приписывает инициативу себе,—но его собеседник так быстро вошел в курс дела (в течение одного разговора, не попросив минуты на размышление), что невольно является подозрение: не привез ли Тиррель проекта с собою и лишь очень ловко заставил американца высказаться первым. Во всяком случае *план* поездки был дан Тиррелем—Хаус этого и не скрывает: сначала (!) в Берлин, там говорить с кайзером, канцлером и министром финансов (Тиррель едва ли не имел в виду «финансовые круги»), лишь потом в Лондон. Ехать безо всяких официальных полномочий, частным человеком,—тут англичанин очень польстил «полковнику», предупредив его, что даже и в этом качестве ему придется отбиваться

---

[1] *House*, I, p. 255. Разрядка моя.—*М. П.*

[2] «Джон Буль» и «брат Ионафан»—старинные насмешливые прозвища англичан и американцев.

от чрезвычайных почестей, которыми будто бы готовы осыпать его немцы,—но тем не менее «частному человеку» было обещано снабдить его всеми документами, какими только располагает британское министерство иностранных дел по переговорам об обоюдном разоружении Англии и Германии на море.

Хаус готовился к поездке очень обстоятельно, подробно интервьюируя всех американцев, которые бывали в Берлине и вращались там в высших правительственных кругах. Характерно, что, чем лучше эти американцы знали придворный и крупнобюрократический Берлин, тем большее удивление вызвал у них проект Хауса. Характерно и то, что уже в этих разговорах в числе стран, куда можно допустить германскую экономическую экспансию, рядом с Центральной и Южной Америкой появляются «Малая Азия и Персия»—предметы отчасти вожделения, отчасти уже и обладания друга и союзника Георга V Николая II. Мы сейчас увидим, что тут именно нащупывалась ось всей комбинации,—и что ось опять-таки была английского изделия. Уже в январе 1914 г. «полковник» имел календарный план передвижений Вильгельма на всю первую половину года (до конца лета). Американский редактор бумаг Хауса имеет добросовестность отметить, что в этом плане имелась и поездка кайзера в Норвегию, каковую поездку антантовская публицистика стремилась изобразить как маскировку военных приготовлений Германии. Что Германия решила войну в *июле* уже *с января* 1914 г., этого не осмеливается утверждать даже антантовская публицистика, даже она датирует австро-германский «заговор» с 5 июля. Таким образом бумаги Хауса дают лишний аргумент тем, кто думает, что война 1914 г. застала Германию врасплох.

Готова или не готова Германия воевать—в получении ответа на этот вопрос был повидимому главный смысл поездки Хауса для тех, кто эту поездку инсценировал. Планы самого Хауса были конечно шире, но с этими планами случилось то же, что с панамериканским «пактом». Как видно из его письма к Вильсону от 26 июня 1914 г., перед «полковником» носилась картина некоего капиталистического (можно бы даже сказать ростовщического) рая, где «Америка, Англия, Франция, Германия и другие дающие взаймы и развивающие нации» великодушно распределяют деньги «за разумные проценты» и «на благоприятных условиях»—таких однако же, при которых «займы могли бы быть разумно обеспечены» [1]. Англичане весьма учтиво соглашались разговаривать на эту тему, прекрасно понимая, что никаких практических последствий из этого получиться не может, не считая того, что разговор происходил за два дня до убийства Франца-Фердинанда, когда Европа сразу начала спускаться куда глубже ростовщического капитализма, в слои чистейшей «феодальной формации» и внеэкономического принуждения. Пусть читатель—ежели он изучал эту эпоху по книге академика Тарле—не волнуется чересчур: я вовсе не хочу намекнуть, что со-

[1] *House*, I, p. 271.

беседники Хауса что-нибудь знали о готовящемся убийстве. Напротив, как сейчас увидим, есть основания думать, что организаторы последнего именно англичан в свои планы не посвящали— не потому, что бы они были сверхъестественно высокого мнения об английских добродетелях, а потому, что скрывание подобных вещей именно от англичан определялось условиями игры. Ибо то, что в виде *намека* мы уже видели в одной записи Хауса, стало дальше лейтмотивом всей «авантюры» [1]: когда из-за всего этого миража стало выступать что-то реальное, то реальное оказалось сделкой Англии с Германией за счет России.

Нет сомнения, что Тиррель был очень откровенен со своим собеседником и рассказал «полковнику» гораздо больше, чем можно было прочитать не только в газетах, но и в разных «синих книгах». Отправляясь в Берлин, Хаус прекрасно представлял себе *реальные* европейские отношения—и в сущности новейшие американские историки мировой войны, Fay или Barnes, недалеко опередили его в этом. Между тем «полковник», будучи человеком весьма смышленым—умнее своего друга Вильсона конечно,—гениальным дипломатом и мыслителем исключительно сильной дивинации отнюдь не был. Ежели он так хорошо понимал, очевидно, кто-то дал ему весьма толковые объяснения. Уже в первом письме из Берлина (от 29 мая) он писал президенту:

> «*Как только Англия согласится, Франция и Россия нападут на Германию и Австрию.* Англия не хочет, чтобы Германия была совершенно раздавлена, потому что тогда ей придется одной считаться с ее старым врагом, Россией; но если Германия будет настаивать на постоянном усилении своего флота, у Англии не будет выбора» [2].

Дальше следовало уже цитированное мною место о невыгодности для Соединенных штатов и слишком тесного сближения Англии и Германии.

Любопытнее всего, что Хаус не только писал это в письме к своему интимному другу, но и говорил добрую часть этого таким людям, как адмирал фон Тирпиц. С главой германского флота он встретился за обедом у американского посла Жерарда, почти на другой же день по своем приезде в Берлин. Они пробеседовали «почти час»—и один из аргументов, пущенных в ход Хаусом, чтобы убедить главу не только германского флота, но и германской военной партии (что «полковник» опять-таки отлично знал) насчет желательности для Германии столковаться с Англией, был тот, что «Великобритания не хочет разгрома Германии, потому что этот разгром оставит ее одну лицом к лицу с ее старым врагом, Россией»: буквальное повторение фразы из письма к Вильсону—или, лучше сказать, буквальное ее предвосхищение, поскольку разговор с Тирпицем происходил за два дня до написания этого письма; формулировка

---

[1] The great adventure—название, под которым проф. Сеймур дает весь рассказ об этой поездке Хауса. Так называл ее и сам «полковник».

[2] *House*, I, p. 225. Разрядка моя.— *М. П.*

очевидно нравилась Хаусу. И то же самое, с еще большим подчеркиванием, было повторено при разговоре с самим Вильгельмом. Но разговор этот стоит привести подробнее.

«Полковник» очень добивался личного свидания с императором—притом не просто приема, «аудиенции», а непременно личной беседы. Когда одну минуту казалось, что это неосуществимо, Хаус пригрозил уехать из Берлина, не начиная дела. И тут обнаружилось, что Тиррель, рисуя перспективы, которые ожидают личного друга президента Вильсона в Берлине, не выдумывал на чистом месте, но только сгущал краски. Частное лицо, простого американского туриста, не только приняли, но встретились с ним в весьма торжественной обстановке и удостоили если не часовой, то получасовой беседы с глазу на глаз. Для будущих историков одного этого факта будет совершенно достаточно, чтобы притти к заключению, что в этот день, 1 июня 1914 г., Вильгельм воевать отнюдь не желал. Что за Хаусом стоит не только Вильсон, но и английское министерство иностранных дел, он, разумеется, прекрасно знал.

Встреча произошла на большом военном празднике германской армии, в Потсдаме, когда по традиции император сидел за одним столом с солдатами своей гвардии, ел их обед и пил с ними из одного стакана. Инсценировка для представителя американской «демократии» была построена весьма удачно. У нас, мол, тоже демократия, но со штыками... За обедом было только два иностранца—Джерард и Хаус; им были отведены места прямо против императора и его семьи; по правую руку от Хауса сидел военный министр фон Фалькенгайн. Это уже была спекуляция на тщеславие американского мещанина. После этого обеда и состоялась та беседа, ради которой Хаус ехал в Германию. Из-за этой беседы был даже задержан на несколько минут экстренный поезд, который должен был отвезти императора и его гостей обратно в Берлин. Это очень волновало аккуратную хозяйку дома, германскую императрицу, но Вильгельм все говорил и говорил—и его не смели прервать.

Оказалось, что по части широты планов германский император ничуть не уступал американскому «полковнику» из Техаса—и даже способен был «углубить вопрос». Он, в довершение ко всему прочему, поставил еще и расовую проблему.

> «Он говорил,—записывал Хаус в тот же вечер,—о том, как безумно со стороны Англии входить в союзы с латинской и славянской расой, которым чужды наши идеалы и цели, и которые являются колеблющимися и ненадежными союзниками. *Он говорит о них, как о народах полуварварских*, а об Англии, Германии и Соединенных штатах, что они представляют собой единственную надежду прогрессирующей христианской цивилизации».
>
> «Об Англии он говорил тепло и с восторгом. Англия, Америка и Германия—родственные народы, и должны теснее сплотиться. О других народах он был неважного мнения...»

В ответ на эти излияния Хаус и развил знакомую уже нам мысль еще более резко и определенно, чем в разговоре с Тирпицем—и даже чем в письме к Вильсону.

«Я выразил мысль, что Россия является величайшей угрозой для Англии и что последней было бы выгодно, чтобы положение Германии было таково, чтобы она могла сдерживать Россию и служить барьером между Европой и славянами. Я без труда добился его согласия с этим мнением» (еще бы!).

Думал ли в эту минуту Николай II, что его голову какой-то американец подносит на блюде «другу и кузену Вилли»—и что друг и кузен с благосклонной улыбкой принимает дар?

Дело пошло гораздо туже, как только собеседники коснулись морских вооружений. Оказалось, что всей восторженной любви Вильгельма к Англии далеко недостаточно, чтобы уменьшить германский флот хотя бы на один броненосец, причем император весьма ловко использовал аргумент, подсунутый ему Хаусом: как же, говорил он, я буду держать Россию под шахом без флота? Единственное, чего здесь мог добиться Хаус, было согласие вступить по этому предмету в переговоры с Англией—частным, неофициальным путем—через американцев. И тут Хаус должен был убедиться, что у феодального властелина руки гораздо более связаны, чем у демократического американского президента. С Вильсоном Хаус привык переписываться запросто через голову Брайана и официальной американской дипломатии, а когда дело дошло до переписки Хауса с Вильгельмом, оказалось, что нужно писать через «нашего друга Циммермана в министерстве иностранных дел...» [1].

В сущности гора родила мышь: от великолепных планов Хауса не получилось никакого конкретного результата. Ясно было одно—Вильгельм воевать сейчас не хочет. Сейчас Германии война невыгодна: «Германия была бедна, она становится богаче, и еще несколько лет мира сделают ее совсем богатой», говорил Вильгельм все в той же беседе. Когда она будет совсем богатой, тогда она со своим водяным и воздушным флотом (значение последнего Хаус оценил сразу) начнет с кем следует серьезные разговоры; но пока ей воевать невыгодно. Это не был результат для Хауса, но это было ценное указание для пославших его англичан: если для Германии война сейчас невыгодна, то ясно, что нужно воевать как можно скорее. И с этой стороны поездка Хауса опять была весьма кстати: получив почти официальное предложение переговоров, и не такой простоватый человек, как кайзер, почувствовал бы себя, хотя на время, в безопасности. Это чувство безопасности можно было еще усилить, подарив—или даже только посулив—Германии часть шкуры русского медведя. Этот зверь становился все нахальнее. Он дерзко запускал лапу на стол, за которым англичане привыкли кушать одни, и тащил оттуда всякий кусок, какой ему приглянется. Отношения между Англией и Россией в Персии так обострились в это время, что союз объективно подвергался некоторому риску.

Трения начались давно. Уже в 1912 г. в Бальморале Сазонову пришлось разговаривать с Греем и на эту тему. Положение не улучшилось с тех пор. Только за первое полугодие 1914 г. в архиве

---

[1] Весь текст этой записи Хауса занимает стр. 259—264 I тома.

бывшего министерства иностранных дел имеется до 30 крупных документов, посвященных этому сюжету. Переписка Лондона и Петербурга занята в этом месяце персидским вопросом почти на 50%, а *личная* конфиденциальная переписка Сазонова и Бенкендорфа—на 90%. Причины трений были разнообразные. Формальным аргументом англичан была военная оккупация русскими северной Персии (по конвенции 1907 г., признанной входящей в русскую сферу влияния), делавшая русских консулов фактическими правителями этих персидских провинций. На самом деле источником споров была «нейтральная зона» между русской и английской сферами влияния,—по существу не поделенная соглашением 1907 г., часть Персии, которой заранее было суждено стать яблоком раздора двух «дружественных» империализмов; ибо в Персии, как и в Монголии, столыпинская Россия выступала как подлинная империалистическая держава, со всеми присущими такой державе атрибутами. Для характеристики настоящего, а не воображаемого «русского» империализма нет более ценного материала, чем дипломатическая переписка по персидским и монгольским делам за этот период [1].

Здесь мы берем выдержки только из тех «персидских» документов, которые непосредственно граничат с поездкой Хауса в Берлин и рисуют положение, как оно стояло перед убийством Франца-Фердинанда. Уже в личном письме Бенкендорфа Сазонову от 7/20 мая 1914 г. мы находим весьма любопытную постановку всего вопроса: «что отношения Антанты с державами тройственного союза (т. е. с Германией в первую очередь.—*М. П.*) стали менее натянутыми, даже улучшились, в этом не может быть сомнений», писал Бенкендорф. В Англии, заканчивал он свое письмо, складывается убеждение, которое нужно «вырвать с корнем»: это, что соглашение 1907 г. было по отношению к Англии надувательством («L'Angleterre a conclu un marché qui s'est trouvé être un marché de dupes»). Не менее выразительную цитату из рассуждений Грея мы находим в начале телеграммы от 29 мая/11 июня. Разговор шел по поводу статей «Таймса», инспирированных «англо-персидской нефтяной компанией», которая особенно рьяно стремилась проникнуть в заповедную «нейтральную» зону. Совершенно неожиданно по обыкновенной формальной логике из-за этой компании у Грея вдруг выскочила Германия.

> «Он (Грей) сказал, что с Германией то же самое; что он не знает, какими средствами Германия обрабатывает (английскую) прессу, но что она пользуется всяким расхождением двух правительств (английского и русского) по поводу Персии». «Грей сказал мне, что с 1907 г., частью благодаря внешним обстоятельствам (но частично, значит, и вследствие сознательных усилий царского правительства), влияние России в Персии явно усилилось, тогда как английское влияние шло в обратном направлении до такой степени, что это начинает затрагивать реальные английские интересы. Он мне сказал, что это прогрессирующее усиление (русского влияния) создает английскому правительству крупные и чрезвычайно

[1] Последняя печатается в одной из ближайших книжек «Красного архива». Первая найдет себе место в соответствующих томах большой публикации документов империалистской войны.

серьезные затруднения и постоянно используется как противниками англо-русского соглашения в самой Англии, так и нашими врагами в Германии. Эту точку зрения он мне развивал особенно обстоятельно, чтобы я обратил на нее ваше внимание».

В частном письме, которое служило комментарием к этой телеграмме, Бенкендорф объясняет, что тактика Грея в этом вопросе диктуется английским общественным мнением (читай: интересами нефтяников и колониальной буржуазии),

«с которым Э. Грей считается и не может не считаться. Если бы он этого не делал, он был бы сломлен и с ним вместе *были бы сломаны* и конвенция (1907 г.) и *Антанта»* (разрядка моя.—М. П.). «Если бы соглашение о Персии выродилось и потеряло силу, моральные узы Антанты были бы разорваны, и она перестала бы существовать».

«Великолепный тип старого славянина» был сильно напуган Греем. Конечно Антанта держалась на гораздо более прочных якорях, чем русско-английское соглашение по поводу Персии. Но на случай действительного соглашения Англии и Германии по морскому вопросу Персия могла сыграть роль великолепного предлога, чтобы повернуться к России спиной. Во всяком случае испуган был не один Бенкендорф.

«Я должен вам передать сообщение, которое мне *строго конфиденциально* передал Камбон[1]. Он мне сказал, что по его личным сведениям, которые могут итти только из Тегерана, отношения между двумя посольствами (английским и русским) внезапно чрезвычайно испортились,—и он мне выражал по этому случаю свои живейшие опасения».

Что тревога широко захватывала французские правящие круги, свидетельствуется тем фактом, что Пуанкаре ехал в Петербург, между прочим, и с целью поправить испортившиеся из-за Персии русско-английские отношения [2],—он понимал, что оставлять в начинающейся войне в руках Англии такой предлог выйти из Антанты было бы более чем рискованно. Дальнейшее поведение Англии, как мы увидим ниже, слишком оправдывало подобные опасения. Тем более, что Англия угрожала не только на словах. Почему не была подписана англо-русская морская конвенция, переговоры о которой начались по инициативе Франции, еще в апреле? *Предлогом* были просочившиеся в Германию сведения о ней,—причем стороны сваливали друг на друга—и на французов—вину за «нескромность» и «болтовню». Но «персидская» переписка почти не оставляет сомнений, что *причиной* неудачи было именно русско-английское охлаждение из-за восточных дел. Это охлаждение всего ярче отразилось в почти истерическом письме Сазонова к Бенкендорфу от 11/24 июня 1914 г. Цитатами из этого письма я и закончу характеристику конфликта двух империализмов.

«Если бы дело шло только об обуздании чрезмерного усердия некоторых из наших консулов[3],—писал Сазонов,—дело не представляло бы

[1] Французский посол в Лондоне.

[2] F a y, Origins of the World War, II, p. 278.

[3] В одном письме Бенкендорф говорит, что русские консулы в Персии «держат в руках судьбу Антанты».

трудностей, но есть нечто большее, и это большее, что меня смущает, это убеждение, сложившееся уже довольно давно, что англо-русское соперничество в Персии возобновилось. Ни Грей и ни один англичанин в этом не признается, но это так. Соглашение 1907 г. не дало Англии тех выгод, которых она ожидала с точки зрения своих местных интересов,— потому что главный ее интерес, политическая безопасность индийской границы, перестал быть источником постоянного беспокойства каждого английского правительства и перешел в разряд исторических воспоминаний. Англичане чувствуют себя в безопасности, но в то же время они начинают замечать, что их торговля и их влияние в Персии уменьшаются, уступая место нашим».

Раздражение довело Сазонова в теории почти до экономического материализма, а в области практики до прямых угроз.

«Прием, какой оказали французским предложениям Грей и английский кабинет, позволял нам надеяться на скорое заключение соглашения между нашими генеральными штабами. Проявляющаяся теперь тенденция оттянуть это соглашение не может нас успокоить. Я не могу от вас скрыть, что мне будет крайне трудно, если не невозможно, добиваться согласия императора на очень важные уступки, которые мы расположены сделать Англии в Тибете, если Англия уклонится от подписания морской конвенции, переговоры о которой начались по инициативе Франции».

«Пусть англичане не забывают Ковейта, всего Персидского залива, Афганистана и Белуджистана. Напомните им при случае, в каком положении находятся эти страны[1]. От Лондона до Тегерана далеко, но от Москвы до Тавриза расстояние не очень большое».

Я не привожу других перипетий персидского вопроса—письма Георга V к Николаю, английского меморандума и т. д. Это отвлекло бы нас слишком далеко от темы настоящего очерка. Для нас важно лишь влияние персидских «недоразумений» на отношения внутри Антанты. Влияние это было таково, что у Сазонова и его группы должно было явиться стремление вызвать европейскую войну раньше, чем Англия и Россия из-за Персии окончательно поссорятся, Англия же и Германия может быть на долгий срок помирятся. Не для возникновения войны 1914 г., но для *момента* этого возникновения англо-русский спор имел первостепенное значение. Для Сазонова это был безусловный мотив для того, чтобы спешить, для Грея— условный, на случай невозможности добиться соглашения с Германией, ибо ведь заключить соглашение с Германией могла не только Англия, могла и Россия...

Когда 17 июня Хаус увиделся в Лондоне с Греем, Тиррелем и Пэджем (последний функционировал только в качестве хозяина дома: его друг находил, что американскому послу лучше не участвовать в подобных совещаниях, ибо «это может придать им официальный характер, которого следует избегать»),

«отношения между Россией и Британской империей обсуждались совершенно свободно и с полнейшей искренностью. Сэр Эдуард объяснил, что Великобритания и Россия соприкасаются в стольких пунктах земного шара, что некоторого рода доброе согласие между ними необходимо.—

---

[1] Намек на слова Бенкендорфа, что англичане не потерпят, чтобы северная Персия превратилась в «русский Египет».

Я выразил мысль, что следовало бы (англичанам) позволить Германии содействовать развитию Персии. Он сказал, что может быть хорошо *было бы их* (Россию и Германию.—*М. П.*) *натравить одну на другую* «it might be good move to play the one against the other»), но немцы так агрессивны, что это могло бы быть опасно. Сэр Эдуард прекрасно понимал необходимость для Германии держать флот, соответствующий ее морской торговле и достаточный, чтобы защищать ее от России и Франции» (!) Через несколько дней английский министр иностранных дел прибавил к этому, что «между Англией, Францией и Россией нет письменного договора и что их доброе согласие основано только на (обоюдной) симпатии и решимости соблюдать интересы друг друга»[1].

Совершенно очевидно, что «симпатия» нисколько не помешала бы английским империалистам предать не только русских, но и французских,—если бы только, разумеется, Вильгельм пошел на основное английское требование: отказ от всякого соперничества с Англией *на море*. Мы увидим впоследствии, что эта черта английской политики была очень устойчива и что еще в дебатах по поводу условий перемирия, в октябре 1918 г., англичане, требуя полного уничтожения Германии как *морской* державы, употребляли всяческие усилия, чтобы сохранить что можно от ее сухопутного могущества; они сдались в этом пункте только перед ультимативными требованиями Фоша и Клемансо, поддержанных американским военным командованием. Флотская проблема стояла в центре всего англогерманского конфликта: с какого бы конца мы ни подходили к вопросу, решение всегда получается одно и то же. Мы видим также, какими «патриотами своего отечества» на свой лад—бессознательно конечно—являются те молодые русские ученые, которые придают ужасно какое большое значение «русскому» империализму в вопросе о возникновении войны 1914 г. Поскольку русский империализм был самостоятелен, он *раскалывал* Антанту, а не усиливал ее. Если бы такой самостоятельный русский империализм был достаточно развит и если бы именно он определял политику последнего Романова, а не интересы помещичьего государства с его хлебным экспортом и т. д., вся картина войны 1914 г. была бы совершенно иная. Мы имели бы тогда, может быть, военно-политический блок Англии и Соединенных штатов с самого начала (может быть, с участием Франции и Японии и наверно с участием Турции на стороне Англии) против Германии и России, с главным русским фронтом в Закавказье, Персии и Афганистане, а не на Висле и Карпатах. Если дело сложилось совершенно иначе, то лишь потому, что в глазах Америки, Англии и Франции царская Россия была только складом пушечного мяса, не больше. А поскольку она переставала быть только складом, она превращалась во враждебную силу—и надо было «натравить» на нее Германию.

Но это последнее предполагало англо-германское соглашение по морскому вопросу. При отсутствии этого соглашения—Хаус это совершенно отчетливо формулировал, как мы видели,—«у Англии не было другого выхода», как воевать вместе с Францией и Рос-

[1] *House*, I, p. 267 и 270.

сией против Германии. В возможность этого соглашения со всем пылом неофита верил Хаус. В него, после опыта 1912 г., почти совершенно не верил Грей. Но поддерживать в Вильгельме иллюзию, что соглашение возможно, было практически полезно. 3 июля (NB: после убийства Франца-Фердинанда!) Тиррель сказал Хаусу, что:

> «сэр Эдуард Грей хотел бы, чтобы я (Хаус) передал кайзеру те впечатления, какие у меня получились от нескольких разговоров с этим (т. е. английским) правительством в отношении установления лучшего согласия между народами Европы, и попытался получить ответ до моего отъезда (в Америку). Сэр Эдуард сказал, что он не желал посылать что-либо официальное или вообще письменное—из страха задеть чувствительность французов и русских, в случае если это станет известно. Он думает, что это одна из таких вещей, которые лучше всего делать неформально и неофициально. Он сказал также Пэджу, что у него был длинный разговор с германским послом по тому же сюжету и что (Грей) поручил тому передать об этом непосредственно императору»[1].

Хаус не заметил, что версии Тирреля и Пэджа исключают друг друга. Если Грей не хотел выступить официально, то зачем же было разговаривать с германским послом? Ведь с Лихновским Грей не мог беседовать «по душе», как с Хаусом [2].

7 июля Хаус написал наконец Вильгельму. В письме сообщалось, что Хаус практически видел всех главнейших членов британского правительства и пришел к убеждению, что они (члены английского кабинета) желают соглашения, которое заложит основание

---

[1] *House*, I, p. 277.

[2] В германских документах за этот период имеются два длинных разговора Лихновского с Греем: первый 24 июня, второй 9 июля. Оба разговора весьма любопытны,—но ни один из них не отвечает тому, что мы имеем в записи Хауса. Ни там, ни тут нет и намека на предложение повести переговоры о флотском вопросе. Напротив, в первом разговоре Лихновский, по его словам, даже «намеренно избегал касаться нашего флотского закона, так как я этой щекотливой темы еще ни разу не затрагивал в разговорах с министром (Греем) со времени моего прибытия в Лондон, и он до сих пор заботливо воздерживался от объяснений со мною по этому вопросу. Самый разговор происходил по инициативе не Грея, а Бетмана Гольвега, который, явно под впечатлением берлинских бесед с Хаусом, писал Лихновскому (16 июня), что войны, на которую науськивают германские и русские шовинисты, можно еще избежать, если мы оба (Англия и Германия) дружно выступим, как поручители, за европейский мир, в чем нам, поскольку мы будем преследовать эту цель с самого начала по общему плану, не ставят препятствий взаимные обязательства ни Тройственного союза, ни Антанты». Таким образом не Грей по собственной инициативе, а немцы повели разговоры «в развитие» берлинских предложений Хауса, и английский «друг» явно надувал последнего, изображая дело как раз обратно. Сделано это было конечно с целью подтолкнуть Хауса поскорее написать письмо Вильгельму (а то, мол, и без тебя обойдемся!). Содержание этой беседы, где Грей распространялся о необыкновенном миролюбии России, нет надобности приводить. Все эти рассуждения были тогда же оценены по достоинству германской дипломатией. «При разговоре, как и следовало ожидать,—написал на депеше Лихновского Циммерман,—Грей совершенно обошел Лихновского, укрепив в последнем убеждение, что он имеет дело с честным и правдивым государственным человеком» («Die deutschen Dokumente zum Kriegsanbruch», 1, 4, 7—8). Тиррель, говоривший с Хаусом 3 июля, мог иметь в виду только этот разговор. Разговора 9 июля, еще более интересного, я коснусь ниже.

вечного мира и безопасности. Англия должна по необходимости действовать осторожно, чтобы не задеть Франции и России; но, с изменением настроений во Франции, наступит постепенное улучшение отношений между Германией и этой страной, улучшение, которому Англия будет рада помочь [1].

О возможности изменения настроения России, знаменательно, ничего не говорилось: не подсказывать же было Вильгельму, что Россия и Англия чуть ли не накануне разрыва из-за Персии? Подсказать нужно было другое, что Англия так же мало собирается воевать в данный момент, как и Вильгельм. Германские документы оставляли под вопросом один очень важный пункт: почему до 27—28 июля Вильгельм так твердо верил в английский нейтралитет? Бумаги Хауса заполняют этот пробел. Вильгельму в эти именно недели сознательно внушалось, что Англия не прочь с ним столковаться за спиной Франции и России.

Повторяю еще раз, у нас, пока что, нет оснований думать, что английский кабинет был посвящен в секрет сараевского покушения. Наоборот, мы видели, что именно опасения *разрыва* с Англией из-за Персии, опасения, что Константинополь еще раз уплывет из рук и на этот раз неизвестно на какое время, по всей вероятности и побудило Сазонова и К-о пуститься во все тяжкие—и искать конфликта с Австро-Венгрией во что бы то ни стало. Что война с Австрией означает в то же время и войну с Германией, это было превосходно известно в Петербурге. Уилер, один из американских знакомых Вильгельма, передавал Хаусу: «Император (Вильгельм) говорил ему (Уилеру), что он (Вильгельм) предупредил Россию, что если та нападет на Австрию, он немедленно ее атакует» [2]. Стало быть, для того чтобы получить европейскую войну и Константинополь, нужно было только вызвать на вооруженный конфликт Австрию. Что Англия вынуждена будет—при отсутствии морского соглашения с Германией—вмешаться в конфликт на стороне Франции и России, это Сазонов понимал также совершенно отчетливо.

«Нужно, чтобы англичане, с их исконной «островной» подозрительностью,—писал последний Бенкендорфу еще 2/15 апреля 1914 г.,—не теряли из виду, что они неизбежно должны будут принять активное участие в борьбе против Германии в тот день, когда последняя предпримет войну, целью которой может быть только нарушение в ее пользу европейского равновесия». Это было, в сущности, общим местом русской дипломатии. 15/28 июня Бенкендорф писал Сазонову: «то, что им (англичанам) дает Антанта, это—безопасность Индии и Персидский залив в то время, как мы являемся господами очень большой части Персии,—части, которая может увеличиваться, но главной, достигнутой нами гарантией является (страховка) против англо-германского соглашения. Два слова в пояснение этого вопроса. Оставляя в стороне крикливые но второстепенные элементы, кабинет и Грей остаются во главе решительного большинства либералов и решительного большинства юнионистов. В общественном мнении германские усилия достигли бесспорных успехов, но в глазах рядового обывателя единственная война, которая была и

[1] *House*, I, p. 279.
[2] Запись Хауса под 1 января 1914 г., *House*, I, p. 252.

оставалась популярной, это война с Германией. Вот анализ базы, на которой Грей располагает свои батареи»[1].

Со временем понял это и Хаус. Летом 1916 г. он говорил одному из своих знакомых:

«Скучно слушать заявления англичан, что они дерутся за Бельгию и начали войну по этой именно причине. Я спросил (своего собеседника) думает ли он, что Великобритания объявила бы войну Франции, если бы та нарушила бельгийский нейтралитет, или что Великобритания не вмешалась бы в войну на стороне своих союзников, если бы Франция нарушила нейтралитет Бельгии. По моему цель вмешательства Великобритании в войну ничего общего с этим не имеет. Сила обстоятельства заставила ее стать рядом с Францией и Россией против центральных империй. Прежде всего потому, что Германия настаивала на том, чтобы иметь наиболее сильную армию и наиболее сильный флот, чего Великобритания не могла допустить во имя собственной безопасности»[2].

Эта мысль видимо занимала Хауса, и он к ней вернулся в разговоре с Пэджем, два месяца спустя.

«Он (Пэдж) сказал, что британцам неприятны наши попытки добиться мира... Я не думаю, чтобы это было недостойным действием с нашей стороны, как это казалось Пэджу. Он заявляет, что никто из нас не понимает положения или тех высоких целей, которые британцы преследуют в этой войне. Я ответил, что нам тоже неприятны ломанье и лицемерие британцев,—например, в вопросе о Бельгии. Пэдж согласился, что британцы были бы союзниками Франции даже в том случае, если бы Франция нарушила бельгийский нейтралитет, чтобы легче проникнуть на территорию Германии»[3].

Уже в 1916 г. даже несколько наивным, но близко стоявшим к делу практикам была ясна нелепость «ритуальной легенды», которую еще в 1927 г. преподносили еще более наивной русской публике в ученых книжках как непререкаемую научную истину. Но ближе, чем Хаус, стоявший к английской кухне Пэдж понимал больше этого. Еще за два года до цитированного сейчас разговора он писал Хаусу, восторгаясь по обычаю ловкостью британцев. Восторг относился непосредственно к военно-организаторской деятельности Китченера.

«Но посмотрите на их дипломатию,—продолжал Пэдж,—конечно война идет в действительности между Германией и Англией; но Англия вмешалась не прежде, чем удостоверилась, что Россия и Франция воюют»[4].

Итак, по мнению американского дипломата, для объявления войны Англией Германии нужно было, чтобы эта последняя *уже* была в войне с Россией и Францией. И это было не случайно, по оценке Пэджа: для этого, для создания такой комбинации понадобилось все искусство британской дипломатии. Это бросает свет на

---

[1] Даю выдержки из депеши Бенкендорфа по очень плохому переводу, сохранившемуся в архиве б. министерства иностранных дел. Оригинал конечно, как всегда, у «старого славянина» на французском языке.

[2] *House*, II, p. 266.

[3] Ibid., p. 320. И то, и другое—записи из дневника Хауса.

[4] Письмо к Хаусу от 22 сентября 1914 г. Ibid., I, p. 340.

многое из предыдущего и кое на что последующее. Я сказал выше, что у нас нет данных, устанавливающих сопричастность английской дипломатии к сараевскому происшествию 28 июня 1914 г. Но вот что однако писал Пэдж 29 июля Вильсону:

> «Он (Грей) сказал мне через день или два после убийства наследника австрийского престола, что он боялся того, что случилось, и худшего, чем случившееся» [1].

Допустим, что тут была только чрезвычайная сила дивинации, свойственная очень хорошим дипломатам. Можно также допустить, что Пэдж ошибся датой и что разговор его с Греем происходил не «через день или два» после убийства Франца-Фердинанда, а значительно позже. Словом, не будем ничего строить на одной фразе,— правда, из дипломатического документа, а не из газетного интервью. Но у нас есть не одна фраза из дипломатического документа, а целый ряд дипломатических документов, непререкаемо устанавливающих другой факт: знал или не знал Грей заранее об убийстве, но об *австрийском ультиматуме* он знал за достаточное количество дней до его предъявления, вполне достаточное, чтобы, если Грей это находил нужным,—предупредить ультиматум и европейскую войну.

Тут нам американские документы не дают чего-либо нового, но тут нового и не нужно. Факты известны достаточно давно и хорошо, так давно и хорошо известны, что само английское министерство иностранных дел не стало их скрывать, и соответствующая переписка опубликована в IX томе британских документов. 16 июля, ровно *за неделю* до предъявления австрийского ультиматума в Белграде, английский посол в Вене телеграфировал Грею:

> «Против сербского правительства выдвигается обвинение в соучастии в заговоре, который имел последствием убийство эрцгерцога. Обвинение будто бы основано на данных сараевского процесса. Мой информатор утверждает, что от сербского правительства потребуют определенных мер для обуздания националистической и анархической пропаганды и что австро-венгерское правительство не намерено разговаривать с Сербией, но будет настаивать на немедленном безусловном подчинении, в противном случае будет употреблена сила. Германия будто бы совершенно согласна с таким методом действий, и думают, что остальная Европа будет сочувствовать требованию Австро-Венгрии, чтобы Сербия в будущем заняла более подчиненное положение... Я спросил, ожидают ли, что Россия останется спокойной, если против Сербии будет употреблена сила? Мой информатор ответил, что, по его мнению, Россия вряд ли будет покрывать убийц-националистов, но что во всяком случае Австро-Венгрия будет действовать, не считаясь с результатами. Она потеряла бы свое положение великой державы, если бы стала терпеть дальнейшие издевательства от Сербии».

На другой день в письме к одному из помощников Грея, Никольсону, посол давал дальнейшие подробности, указывая, от кого он получил свои сведения (это был бывший австрийский посол в Риме, граф Лютцов).

---

[1] *Page*, III, p. 126.

«Он видел обоих, Бертхольда и Форгача, на Балльплатц[1] накануне и имел с ними длинный разговор. У него было очень серьезное лицо и он сказал, что не знает, понимаю ли я, как остро положение...»

Но, спросит читатель, мог ли Грей действовать на основании таких, хотя и вполне конкретных и в высокой степени авторитетных, *но частных* сообщений? В том-то и дело, что были не одни частные сообщения. На депеше Бунзена (английского посла в Вене) есть пометка сэра Эйри Крау, другого помощника Грея:

«Граф Таутмансдорф (австрийский поверенный в делах) говорил со мной об этом очень подробно сегодня (совершенно неофициально), высказывая те же самые взгляды...»[2].

Об австрийском ультиматуме в Лондоне знали *от самих австрийцев* за неделю. И как же на это реагировали? Вероятно так же, как реагировал Грей на самый ультиматум на другой день после его опубликования. Грей сказал тогда (это было 24 июля) Лихновскому, что это дело его, Грея, не касается—правда, на этот раз уже с оговоркой: «если это не вызовет осложнений между Австрией и Россией». Но что «это» не вызовет осложнений между Австрией и Россией, мог поверить только очень маленький ребенок, и сам Грей не надеялся на это ни одной минуты[3]. Накануне отъезда Хауса обратно в Америку Тиррель передал ему, что «Грей желает, чтобы Хаус знал до своего отплытия, что австро-сербские отношения очень серьезно его (Грея) беспокоят...»[4]. Союзников надо было предупре-

---

[1] Бертхольд—австрийский министр иностранных дел. Форгач—его помощник. Балльплатц—место, где помещалось министерство иностранных дел Австро-Венгрии.

[2] Цитаты по Fay, The Origins of the World War, II, p. 247—248.

[3] Предварительно однако Грей давал Лихновскому определенные ручательства и на случай этих «осложнений». В разговоре 9 июля (по инициативе уже Грея) английский министр сказал, что «к своим тогдашним (в разговоре 28 июня.—*М. П.*) словам он сегодня ничего не может прибавить и может только повторить, что между Великобританией, с одной стороны, Францией и Россией—с другой, не существует никаких тайных соглашений, которые налагали бы на Великобританию какие-либо обязательства в случае европейской войны. У Англии руки совершенно развязаны, и она в случае континентальных осложнений может действовать совершенно свободно. Грей соглашался, что между Англией и Францией были кое-какие разговоры о военных сюжетах в 1906 и потом в 1911 гг., но «и эти разговоры, о которых впрочем он никаких подробностей не знал (!), отнюдь не имели агрессивного значения, поскольку английская политика как раньше, так и после, стремилась только к сохранению мира и попала бы в очень затруднительное положение, если бы вспыхнула европейская война». «На случай, если бы венский кабинет увидел себя вынужденным вследствие сараевского убийства решительно выступить против Сербии (eine scharfere Haltung gegen Serbien einzunehmen ), он (Грей) стремился бы склонить русское правительство к спокойному взгляду на этот вопрос и к примирительной политике относительно Австрии». Правда, тут следовали дипломатические оговорки насчет «славянских чувств», кои могут испортить все дело,—но в общем бедный Лихновский был опять «обойден» и заканчивал свою депешу словами: «Министр был в совершенно оптимистическом (Zuversichtlich) настроении и заявил весело (in heiterem Tone), что нет никакого основания относиться к положению пессимистически» (См. Deutsche Dokumente, I, 51—52).

[4] *House*, I, p. 282.

дить, что их услуги скоро понадобятся... Это было 20 *июля*, т. е. опять-таки за *три дня* до предъявления австрийского ультиматума.

Во время войны, когда гвалт антантовской публицистики заглушал все и вся и чисто механическим давлением влиял на нервы даже марксистов, в ходу было изображать события 1914 г. как *предупредительную* войну Германии против Антанты. Антанта *готовилась* напасть, Германия предупредила этот шаг Антанты, атаковав первая. Пущенный в ход немцами афоризм «лучшая оборона есть нападение» (die beste Deckung ist der Hieb) очень помогал распространению этой иллюзии. К своему несчастию, руководители германской политики лучше умели говорить, чем действовать. Англичане не оглашали воздуха звонкими афоризмами, но то, о чем немцы говорили, англичане осуществляли на деле. Война была, действительно, «предупредительной», но только не со стороны Германии, а со стороны Англии. Неизвестно, когда эта истина проникнет в сознание историков: новейшие американские исследователи, стоящие на «ревизионистской» точке зрения [1], до сих пор уверены, что «виновниками войны» были только Франция и Россия,—а что Англия была втянута в войну почти случайно, чуть ли не благодаря личным ошибкам Эдуарда Грея (дипломатическое искусство которого эти авторы совершенно несправедливо отрицают). Американские практики в этом вопросе давно уже обнаружили гораздо бо́льшую проницательность. Еще накануне первого из объявлений войны Хаус писал Вильсону:

> «Моим намерением было вернуться в Германию и еще раз повидать императора, но оттяжки (conservative delay) сэра Эдуарда и его собратий сделали это невозможным» [2].

Уже тогда Хаус смутно догадывался, что «оттяжки» не были совершенной случайностью. Восемь месяцев спустя он формулировал свои мысли по этому поводу еще более отчетливо.

> «Для меня ясно,—писал Хаус в своем дневнике 15 апреля 1915 г.,—что император (Вильгельм) не желал войны и не ожидал ее в настоящее время. Он глупо позволил Австрии создать острое столкновение с Сербией, решив, что если он твердо поддержит своего союзника, Россия ограничится более или менее энергичным протестом, как она сказала, когда Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину. Бряцания ножнами и «блестящего вооружения» было бы достаточно в этом случае, и он думал, что этим и ограничится его участие,—по той причине, что он не верил чтобы Великобритания пошла на войну из-за какого-то происшествия на Юго-востоке. Он дважды пробовал Англию на Западе и должен был ей уступать, поэтому не было большой опасности, что он возобновит попытку в вопросе, где Англия была бы замешана. Но на этот раз он думал, что *отношения Германии и Англии настолько улучшились что Англия в своей поддержке России и Франции не дойдет до войны с Германией*. И он зашел так далеко в том, что может быть названо «блефом»,

---

[1] «Ревизионистами» называются в соответствующей литературе те авторы, которые требуют пересмотра (ревизии) Версальского договора в той его части, где вина за войну возлагается исключительно на одну Германию.

[2] *House*, I, p. 284. Письмо от 31 июля 1914 г.

что в последнюю минуту для него было невозможно отступать, потому что положение стало сильнее его. Он был недостаточно предусмотрителен, чтобы предвидеть последствия и недостаточно предусмотрителен, чтобы видеть, что создание громадной военной машины неизбежно ведет к войне. Германия была в руках группы милитаристов и финансистов, и это страшное положение стало возможно, потому что (те и другие) преследовали свои эгоистические интересы» [1].

Тут есть кое-какие отзвуки теплых воспоминаний о гостеприимном потсдамском хозяине, и есть вещи, одинаково относящиеся и к Германии и к любой империалистской стране, начиная с самих Соединенных штатов, где тоже были и «милитаристы» (от них же первым был сам Хаус) и «финансисты». Вильгельм не только «брязцал ножнами»,—он готов был и воевать, с Францией—весьма охотно, с Россией—скрепя сердце, но он был убежден, что разгром Франции быстро охладит военный пыл Николая II, и Англия окончательно лишится этого «ненадежного» союзника. С кем он совершенно не готов был воевать, это с самой Англией. Что он был доведен до фантастического убеждения, будто Англия ни в каком случае «не дойдет до войны с Германией», в этом был величайший триумф политики Эдуарда Грея, который войдет в историю английской дипломатии достойным наследником славы Питта младшего, Пальмерстона и Дизраэли.

В этой игре «брат Ионафан», в лице Хауса, сыграл роль приманки на удочке. Приманку продолжали бросать еще не один раз,—но рыба стала умнее, она уже видела крючок, и дальнейшие «посредничества» встречали в Берлине все менее радушный прием. Увидеть Вильгельма еще раз Хаусу так и не удалось, несмотря на все старания. Ему приходилось ограничиваться разговорами с той самой «германской бюрократией», которую он готов был объявить главным врагом рода человеческого,—притом, с наименее влиятельной ее частью, штатской, тогда как первая скрипка давно перешла в руки военного начальства. Так как при этом британская дипломатия всегда во-время умела пустить в ход систему «оттяжек», то практических последствий из его дальнейших поездок в Европу, в 1915 и 1916 гг., никаких не было. Тем не менее остановиться на них немного, в заключение этой части очерка, стоит хотя бы потому, что бумаги Хауса и Пэджа и здесь заполняют ряд пробелов русских документов.

«Между битвой на Марне и утоплением «Лузитании» были сделаны четыре попытки прекратить войну—все четыре по инициативе Германии», пишет издатель бумаг Пэджа [2]. С участием Хауса связана вторая из этих попыток—к первой (при свете всего, описанного выше, это весьма знаменательно!) Хаус не имел отношения. Германия пыталась использовать другие каналы, и вероятно поэтому в бумагах Хауса об этой попытке почти не упоминается. Но в русских документах эта именно попытка оставила довольно яркий

[1] *House*, I, p. 277—278. Разрядка моя.— *М. П.*
[2] *Page*, удешевл. издание, I, p. 398.

след в виде сначала телеграммы Бахметева из Вашингтона, затем телеграммы Бенкендорфа Сазонову и наконец телеграммы Георга V Николаю и ответной телеграммы последнего [1]. Свет, который бросают эти документы на данный инцидент, оказывается весьма односторонним, от русских суть дела, как и следовало ожидать, была скрыта—по этому одному уже стоит проследить ход событий по бумагам Пэджа, издатель которых дает весьма обстоятельный рассказ об этом, но почему-то не дает в подлиннике *всех* документов...

Чтобы понять этот инцидент, нужно вспомнить, что вслед за дипломатической ловушкой, в которую так удачно—для ставивших ловушку—попал Вильгельм, ему была расставлена ловушка военная. Она лишь отчасти была делом рук его противника, отчасти же была создана стечением обстоятельств, которое, при более талантливой германской стратегии, могло этих противников погубить. По воспоминаниям 1870 г. французская буржуазия более всего боялась за успех мобилизации, тем более, что сами французские империалисты не ожидали, чтобы французские массы, угрюмым ропотом встретившие войну из-за какого-то Франца-Фердинанда и какой-то Сербии, беспрекословно пошли на ожидавшую их бойню. Все внимание было обращено поэтому на мобилизацию, и когда эта последняя удалась блестяще, запасных прибыло в назначенные сроки больше, чем могли вместить казармы, ликованию «патриотической» прессы не было пределов. Подготовке следующего момента, концентрации, было уделено гораздо меньше внимания, и хотя все великолепно знали, что немцы пойдут через Бельгию—больше им негде было итти,—к началу германского наступления на бельгийской границе далеко не было сосредоточено тех французских сил, которые предполагались планами. Окончательная концентрация армии Жоффра произошла на Марне. Опоздали и англичане—третий корпус их экспедиционной армии подоспел тоже только к Марне. Результатом был временный численный перевес германцев над их противником и быстрый откат последних на две сотни километров. При этом спешном отступлении терялись конечно орудия и другой военный материал,—терялись, правда, в количестве, совершенно ничтожном по сравнению с теми запасами, которые были сосредоточены в тылу и с которыми отступавшая армия все более сближалась, тогда как германцы от своей базы удалялись. Внешняя картина тем не менее напоминала разгром, и это наполнило душу Вильгельма и его начальника штаба самыми горделивыми мечтами. Рисовалась близкая возможность быстро и блестяще закончить навязанную Германии войну—подписать мир если не в Париже, то под стенами Парижа. Достаточно было двух недель, чтобы мечты рассеялись. Собранная в кулак армия Жоффра оказалась теперь и количественно сильнее противника и лучше снабжена; от удара этого кулака уже германская армия покатилась назад—и тут именно нашло себе полное выражение ее *качественное* превосходство: она

---

[1] См. в настоящем сборнике статью «Царская Россия и война».

отошла в полном порядке не на две сотни, а всего на несколько десятков километров и закрепилась так, что отныне все время значительно превосходивший ее количеством штыков противник не смог ее выбить до ее полного истощения в 1918 г.

Максимум германских успехов падал на самые первые дни сентября 1914 г., когда авангардные бои шли на линии внешних фортов Парижа, в 17 километрах от города, и французское правительство переселялось в Бордо. 5 сентября начали уже наступление французы и англичане. Именно на эти первые дни сентября падает и первая попытка германцев начать мирные переговоры. Подготовлена она была конечно десятком дней раньше, когда французы бежали, казалось, точно так же, как бежали они за сорок четыре года перед тем, в августе 1870 г., и «план Шлиффена» выполнялся как будто с точностью хорошо подготовленных маневров. 3 сентября в Лондоне уже знали о предполагающейся попытке. В этот день Пэдж телеграфировал Вильсону:

> «Все в этом городе убеждены, что германцы, если они возьмут Париж, предложат мир и что германский император обратится к нам с заявлением, что он не желает более пролить ни одной капли крови».

Пэдж ошибался только в том, что связывал предложение Вильгельма со взятием Парижа: занятие города не входило в германские планы, достаточным считалось уничтожение французской армии. Это последнее считалось в германском главном штабе обеспеченным, и в тот самый день, когда военное счастье начало поворачивать к немцам спину, предложение, о котором писал Пэдж, было сделано. 5 сентября германский посол при правительстве Соединенных штатов, Бернсторф, через старого и заслуженного американского дипломата, Штрауса—завзятого англофила, что для всей комбинации было очень важно—обратился к Брайану с просьбой о посредничестве Штатов в деле прекращения европейской войны. «Не оправдавшего доверия» Хауса явно обошли, не подозревая, что в этот самый день, 5 сентября, «полковник», со своей стороны, отправил письмо Циммерману с предложением посредничества Вильсона. Два предложения в буквальном смысле слова шли навстречу друг другу.

На основании телеграммы Бахметева я высказал в свое время предположение, что поколебались французы, англичане же были тверды, как адамант. Телеграмма Бенкендорфа как будто подтверждала это целиком. Но письмо Хауса совершенно опровергает эту гипотезу. Личный друг Эдуарда Грея мог написать свое письмо только с ведома этого последнего—и договоренность по этому пункту должна была существовать опять-таки за несколько дней до 5 сентября. Соответствующая переписка (или обмен телеграммами) не вошла ни в одно из наших собраний. Но в бумагах Пэджа нашла себе место одна депеша Грея британскому послу в Вашингтоне,—депеша очень поздняя, от 9 сентября, т. е. *после Марны*, когда даже читатели газет уже знали, что германская армия отступает. И даже в этой поздней депеше Грей два раза повторяет, что «в принципе»

он «относится сочувственно к посредничеству» Вильсона—и ставит лишь вопрос об «условиях»: «на каких условиях может быть окончена война» [1]. В такой момент так мог писать только человек, связанный своими предшествующими обещаниями. Фактически конечно Марна уничтожила всякие надежды на скорый мир, тем более, что «тупика», который получился благодаря стойкости германских солдат и превосходству германского вооружения, никто тогда не подозревал, и все мечтали об обратном триумфальном марше через Бельгию в Германию. Но двумя неделями раньше царили не только необузданные мечтания в германской главной квартире, но и порядочная паника не только в Париже, но и в Лондоне. Если бы во главе германской армии стоял настоящий Мольтке 1870 г., а не его плохой суррогат, война действительно могла бы окончиться в сентябре 1914 г.

Чрезвычайно характерно, что французы видимо были посвящены в англо-американские планы. На совещании союзных послов в Вашингтоне, в британском посольстве (Бахметевым, разумеется, и не пахло), французский, Жюссеран, наиболее энергично настаивал на переговорах с немцами. «Если у нас есть хоть один шанс из сотни сократить войну, мы должны его использовать», говорил он. Но, прибавляет биограф Пэджа, «оба посла и британский и французский, думали, что к предложению (Бернсторфа) следует отнестись серьезно» [2]. Напомним, что это происходило 6 сентября, когда исход марнского сражения еще не был ясен.

Почему же русским внушали, что союзники «даже между собою» не должны говорить о мире? Да потому, что сторож при складе пушечного мяса вовсе не должен быть посвящен в коммерческие секреты, которые обсуждаются в закрытом заседании правления бойни. Когда склад надо будет закрыть, ему скажут.

Совершенно бесполезно гадать, по чьей инициативе переговоры были сорваны. Издатель бумаг Пэджа сваливает всю вину на Вильгельма. Русские документы скорее заставляют подозревать англичан. Но это вопрос мало существенный. Повторяю, Марна решила дело,—точнее сказать, осудила его на то, чтобы остаться нерешенным. Блестящая победа Германии означала мир, блестящая победа Антанты—войну до разгрома Германии. Полупобеда союзников и полупоражение германцев означали «тупик»—и целый ряд новых попыток переговоров. Так что в сущности очень трудно сказать, что и когда «кончилось» и «началось».

Вторая попытка отделена от первой почти неощутимым промежутком времени. Возможно, что это было даже простое повторение первой попытки через другого посредника,—что посредничество Хауса надежнее всякого другого, этого могли не понимать в Берлине, где продолжали «дуться» за июньское свидание, поставившее кайзера в смешное положение, но это отлично понимали в Ва-

---

[1] См. «Царская Россия и война».
[2] Там же.

шингтоне даже немцы. 18 сентября (а последняя депеша Грея была, мы помним, от 9-го) Бернсторф посетил Хауса, который сразу заговорил о свидании германского посла с английским,—к некоторому даже удивлению Бернсторфа, заметившего, что во время войны это «не водится». «Полковник» плохо знал дипломатические формальности и видимо имел столь солидные полномочия от Грея, что не находил нужным об этих формальностях заботиться. Несмотря на то, что знавший эти формальности Спринг-Райс (британский посол) упирался всеми четырьмя конечностями, Хаус вытащил-таки его из Вашингтона в Нью-Йорк, где жил сам «полковник» и где должно было происходить свидание с Бернсторфом. Здесь Спринг-Райс должен был объяснить Хаусу, что Великобритания не может вести секретных переговоров с Германией, «если бы даже и хотела, потому что Германия не станет вести честную игру и впоследствии разоблачит Великобританию как изменницу ее союзникам». Спринг-Райс ужасно боялся, что даже одна его поездка в Нью-Йорк уже даст повод к разговорам и, в целях военной маскировки, придумал совершенно ненужное свидание с британским генеральным консулом в Нью-Йорке,—как будто он, главное начальство, не мог вызвать своего подчиненного в Вашингтон, если бы было нужно.

В конце концов дипломатические формальности победили: послам пришлось разговаривать через посредство Хауса. Аргументация последнего продолжала быть столь же удивительной для наивных зрителей—и наивных историков—империалистской войны, как и раньше.

«Я объяснил сэру Сесилю (Спринг-Райсу), как я смотрю на положение,— писал Хаус в своем дневнике 20 сентября.— Первое—в данный момент Великобритания господствует над своими союзниками, чего может быть не будет позже. Второе—Великобритания по всей вероятности получит от Германии для союзников обязательство разоружения, с компенсацией для Бельгии. Великобритания желает именно этого, а не раздела Германии, который произойдет, конечно, только вопреки ее протестам в том случае, если союзники одержат решительную победу. Он (Спринг Райс) *согласился со всем этим*, но он сказал, что германцы так недобросовестны, их политическая философия так эгоистична и так безнравственна (!), что он затрудняется открыть с ними переговоры. Он боялся также что время еще не созрело для мирных переговоров»[1].

Эту мысль, что «Великобритания в данный момент господствует над союзниками» (французы начали уже чувствовать стену тупика, а русские только что были разбиты при Танненберге) Хаус считал особенно ценной; мы находим ее и в письме «полковника» к Вильсону,—под ближайшим наблюдением которого велось все дело[2]. В телеграмме Спринг-Райса Грею о посредничестве президента Соединенных штатов говорится вполне определенно[3]. Мы видели, что с этой мыслью согласился и английский посол; но Хаусу удалось убедить собеседника больше, чем в этом.

[1] Для этой—и предыдущей—цитат см. *House*, I, p. 333. Разрядка моя.—*М. П.*

[2] *House*, I, p. 331.

[3] Ibid., p. 335.

«Мне удалось показать сэру Сесилю, что со стороны Великобритании не умно было бы делать из этого конфликта большую игру. Если она получит разоружение и компенсацию за Бельгию, лучше это принять, чем рисковать колоссальными последствиями поражения Я также показал ему, что *если* союзники победят и *Германия будет совершенно разбита, тогда ничем не удержишь Россию* (there would be no holding Russia back) и будущее положение будет едва ли лучше прошлого» [1].

Что Спринг-Райс и с этим согласился, показывает его телеграмма Грею.

«*Если война будет продолжаться, возьмет верх или Германия, или Россия. Оба исхода будут роковыми для европейского равновесия.* Следовательно, настоящий момент является более подходящим для соглашения, укрепляющего принцип равновесия» [2].

Хаус конечно жестоко ошибался, если он думал, в этот ранний период его дипломатической карьеры, когда цинические откровенности насчет бельгийского нейтралитета были еще далеко впереди, что для Англии «этот конфликт» не был «большой игрой». Это была несомненно большая игра—но на море. Разоружение Германии на суше не только не было обязательным условием для Англии, но вовсе не отвечало ее интересам. «Иначе не удержишь Россию...». Беда была в том, что на суше-то немцы уже потерпели поражение,—а флот их был цел, и чем дальше, тем больше морское оружие оказывалось решающим оружием в их борьбе против Антанты.

Если это, может быть, не вполне отчетливо представлял себе Хаус, это было совершенно ясно ближе соприкасавшемуся с английскими военными и морскими верхами Пэджу.

«Не обманывайте себя,—писал последний «полковнику» 15 сентября 1914 г.,—...если германский флот не выйдет в море и не будет разбит очень скоро, война будет продолжительнее, нежели думает большинство».

С другой стороны, в Германии наконец начали понимать настоящую роль Соединенных штатов.

«Германия очень возмущена тем, что американцы продают военное снаряжение Франции и Англии,—писал из Берлина в ноябре Джерард,—... мое положение становится все труднее благодаря продаже США снарядов Франции и Англии» [3].

Хаус, со своей стороны, начал наконец понимать, что переговоры, пока они ведутся в Вашингтоне, вертятся в порочном кругу. Это еще раньше стал понимать Бернсторф, которого «нейтральное» правительство Штатов лишило права непосредственно сноситься с Берлином: мы видели, что Спринг-Райс сносился с Греем так же свободно, как в мирное время. И несомненно от Бернсторфа шла мысль, что «кто-то» (он избегал называть Хауса, понимая очевидно, как мало популярно теперь это имя в Берлине) «от имени президента должен поехать сначала в Англию, а потом через Канал» (т. е. в континентальную Европу—проще говоря, в Германию). Это было еще в конце сентября. Но чтобы поехать «через Канал» в Германию,

---

[1] *House*, I, p. 334.

[2] Ibid., p. 334. Разрядка в обоих случаях моя.—*М. П.*

[3] Ibid., p. 340 и 434.

нужно было оттуда иметь приглашение, или хоть намек на приглашение. Этого намека не было до декабря. Циммерман ответил на письмо «полковника» от 5 сентября только 3 декабря. Ответ был очень сухой и неопределенный. Во всяком случае «в принципе» немцы не отклоняли посредничества Вильсона—и соглашались выслушать конкретные предложения «другой стороны». Только при очень либеральном толковании можно было назвать это «предложением мирных переговоров со стороны Вильгельма». Но союзникам дозарезу нужно было такое предложение иметь, ибо тупики на обоих фронтах, западном и восточном, вырисовывались с ужасающей отчетливостью, и сухопутное военное командование союзников начало наконец искать вневоенных выходов из положения.

В середине января 1915 г. Пэдж официально писал Брайану:

«Я завтракал сегодня с генералом Френчем (тогда—английским главнокомандующим во Франции.—*М. П.*), который приехал сюда (т. е. в Лондон) для секретного военного совещания. Он говорил конечно совершенно конфиденциально. Он говорит, что военное положение—безвыходное. Германцы не могут взять ни Парижа, ни Кале. С другой стороны, союзникам понадобятся год, может быть два года, и бесчисленные потери людьми, чтобы выгнать германцев из Бельгии. Понадобятся, может быть, четыре года и неограниченное количество людей, чтобы вторгнуться в Германию. Он мало верит в помощь русских, поскольку дело идет о победе над Германией. Русские вздули Австрию и вздуют Турцию, но на большее от них он не надеется. Говоря только за себя и совершенно доверительно, он сказал мне о мирном предложении, которое, по его словам, президент, по просьбе Германии, переслал в Англию. Предложение это, сказал он, состоит в том, чтобы закончить войну на условии очищения германцами Бельгии и взятия ими на свой счет ее восстановления. Личное мнение Френча, что Англия должна принять это предложение, если оно будет сопровождаться еще дополнительными предложениями, удовлетворяющими других союзников,—как например возвращения Франции Эльзас-Лотарингии и согласия, чтобы Россия заняла Константинополь» [1].

В бумагах Пэджа напечатана «памятная записка» о том же свидании, дающая кое-какие интересные дополнительные подробности. По изложению этого «меморандума» (адресованного повидимому Хаусу) Френч еще резче подчеркивает полную безвыходность положения с чисто военной точки зрения, говоря между прочим:

«Германия располагает вполне достаточным количеством и людей, и продовольствия для продолжительной борьбы; и если она использует всю медь, которая находится в домашнем употреблении в ее пределах, она будет иметь достаточное количество боевого снаряжения. Она еще далека от своего конца как в военном, так и в экономическом отношении». Генерал Френч высмеивал популярную идею *«сокрушения милитаризма» раз навсегда. Даже если бы это не было неизбежно, было бы желательно сохранить Германию как первоклассную державу.* Мы не можем обезоружить ее народ навсегда. Мы должны предоставить ей и всем другим делать то, что они находят нужным; и мы должны вооружаться сами против них так хорошо, как только мы можем» [2].

Ссылка Френча на переданное будто бы через Вильсона предложение Вильгельма начать переговоры на условиях признания по-

---

[1] *House*, I, p. 360—361.
[2] *Page*, удешевл. издание, I, p. 427—428. Разрядка моя.—*М. П.*

ражения Германии (к чему, к слову сказать, никаких объективных оснований не мог указать и сам Френч,—понимавший, как мы сейчас видели, что Германия располагает еще средствами для продолжительной борьбы) должна была вызвать сильное смущение в Вашингтоне. Там же ведь ничего подобного не имели,—было только письмо Циммермана с соглашением выслушать мирные предложения союзников, не больше. В ответ на жалобы Пэджа, что германское мирное предложение ему даже не сообщили к сведению,—не говоря уже о том, чтобы переслать его через американское посольство,—Хаус сконфуженно писал, что

«собственно говоря, никто не делал никаких прямых предложений. Я только имел неоднократные неофициальные разговоры с различными послами, да получил сообщение Циммермана, которое навело президента и меня на мысль, что теперь могли бы быть начаты неофициальным путем мирные переговоры» [1].

По существу дела на этот раз предложение начать мирные переговоры пришло в Вашингтон из Лондона. 20 декабря 1914 г. «полковник» записал в своем дневнике, что Спринг-Райс неожиданно вызвал его от Вильсона на их конспиративную квартиру и сообщил, что есть

«кое-что от сэра Эдуарда Грея касательно наших мирных предложений; он [2] думает, что было бы нехорошо со стороны союзников противиться предложению, которое заключало бы в себе вознаграждение Бельгии и удовлетворительный план разоружения. Сэр Эдуард просил мне сообщить, что это его личный взгляд. Я вернулся в Белый дом. Президент... был в восторге и желал знать, могу ли я поехать в Европу в ближайшую субботу» [3].

Через три дня Спринг-Райс сообщил Хаусу новую телеграмму Грея по тому же сюжету, где еще раз подчеркивалось, что это только его, Грея, личное мнение и что он об этом не говорил даже еще с английским кабинетом, «тем менее с союзниками. Он чувствовал, что будут затруднения с Францией и Россией...». Спринг-Райс высказал предположение, что Франция вероятно пожелает иметь «французскую часть Лотарингии» и что Россия пожелает иметь Константинополь (вот откуда пошло «предложение Вильгельма» в том виде, в каком оно дошло до Френча!). Хаус был очень недоволен всей этой вереницей подводных камней, которая вырастала на пути его проекта, и заявлял, что сначала нужно говорить об эвакуации и вознаграждении Бельгии и о разоружении, а об этих подробностях потом...

«К моему удивлению он (Спринг-Райс) сказал, что с вознаграждением Бельгии дело легко уладить, так как все державы охотно распределяют между собою возмещение убытков, которые понесла эта маленькая храб-

---

[1] *Page*, удешевл. издание, I, p. 425—426.

[2] По буквальному смыслу—Спринг-Райс, но из дальнейшего видно, что Грей.

[3] *House*, I, p. 347.

рая нация. Не без удивления я также услыхал от него, что он видит признаки того, что он называл «общей паникой среди европейских народов», как он думал потому, что «большинство из них боится революции»[1].

Наши документы не дают никакого ответа на вопрос, почему Хаус не исполнил желания Вильсона «ехать в следующую субботу». Сам «полковник» признавал, что надо было ковать железо, пока горячо.

«Я думаю,—писал он впоследствии,—что если бы можно было начать переговоры в ноябре, мы добились бы очищения Франции и Бельгии и в конце концов вынудили бы мир, который покончил бы с милитаризмом на суше и на море...»[2].

Так как дневник Хауса за промежуток от 24 декабря по 11 января не опубликован (и, вероятно, не даром), остается гадать. Повидимому англичане требовали, чтобы в случае неудачи переговоров с немцами, Соединенные штаты немедленно вступили в войну, чего и Вильсон и Хаус, еще занятые тогда панамериканским проектом, в тот момент хотели всячески избежать. На связь с южноамериканскими переговорами есть прямое указание в записи дневника от 20 декабря: «Он (Вильсон)... думал, что, прежде чем я уеду, мне нужно закончить наши южноамериканские дела, чтобы иметь руки свободными...»[3]. А что именно в эти недели делалась попытка втянуть Штаты в войну, свидетельствует хронологическое совпадение начала переговоров с поездкой на англо-французский фронт известного нам полковника Сквайнера (конец ноября—декабрь 1914 г.). Целью этой поездки, когда (нейтральному!) американскому офицеру показывали и рассказывали положительно все, не скрывая от него никаких деталей, так что он пять недель был фактически членом штаба английской армии, могло быть только одно: подготовить вступление американской армии в войну. Инициатором поездки был Китченер, который, в противоположность Френчу, видел выход из тупика не в мире, а в вооруженном вмешательстве Америки[4].

Хаус отплыл на «Лузитании» только 30 января 1915 г., и потерянный месяц очень испортил дело. За этот месяц начались систематические налеты цеппелинов на Лондон,—германское выступление, которое по своему психологическому эффекту мало чем отличалось от потопления «Лузитании» в следующем мае месяце: и то, и другое, имея самое ограниченное военное значение (если вообще имели какое-либо), страшно раздували антигерманскую травлю. В Лондоне создалось такое настроение, что Грей испугался своих авансов и поспешил «прикрыться», послав Спринг-Райсу официальную депешу, где ругательски ругал американцев за их якобы германофильство. Хаус буквально «Христом-богом» (for the love of Heaven) умолял Бернсторфа как-нибудь повлиять в Берлине, чтобы нелепая цеппелиниада прекратилась. Но что мог сделать Берн-

---

[1] *House*, I, p. 348.
[2] *Page*, p. 423.
[3] *House*, I, p. 347. Многоточия оригинала.
[4] См. обо всем этом, Page, III, p. 201 и сл.

сторф, даже если бы он был более непосредственно связан с Берлином, когда и его самое высшее начальство, канцлер и министр иностранных дел, было совершенно бессильно перед взбесившимся юнкером (порода много более опасная, чем «взбесившийся обыватель» Энгельса)? [1]

Нервный и впечатлительный Спринг-Райс (о его болезненности постоянно упоминается в дневниках и письмах Хауса) хорошо отражал путаницу лондонских настроений: он «говорил одну минуту оптимистически, следующую минуту пессимистически, абсолютно противореча самому себе...». В Вашингтоне просто переставали понимать что бы то ни было, и уже одно это было достаточным основанием для того, чтобы ехать в Лондон. Хаус попробовал сначала вести дело очень быстрым темпом: в субботу вечером он был в Лондоне, в воскресенье утром у него было первое свиданье с Греем. Это было то самое свиданье, где английский министр трактовал друга президента Вильсона как одного из членов английского кабинета (см. очерк 1). Грей видимо старался всячески избежать охлаждения англо-американских отношений,—считая, что допустить такое охлаждение было бы величайшей ошибкой британской дипломатии. И он легко достиг того, что впечатление от его грубой депеши Спринг-Райсу быстро изгладилось из воспоминаний «брата Ионафана». Но дальше был подводный камень, который никак нельзя было обойти: «Грей решительно настаивал на том, что мы (Соединенные штаты) должны войти в число поручителей за сохранение всеобщего мира» (come into some generaly for world—wide peace) [2]. В другой, несколько смягченной форме это было все то же требование—чтобы Штаты воевали с Германией, если та не подчинится. Хаусу пришлось «уклоняться»—и разговор в сущности кончился ничем... Он был началом длинной серии таких же разговоров. Проходил день за днем, неделя за неделей, а Хаус все сидел в Лондоне, и все его убеждали, что Америка должна вмешаться; почему-то он «очень удивился», что эту точку зрения разделял и Пэдж, хотя от Пэджа этого можно было ждать с первого дня войны. Тем временем стало выясняться, что военного тупика больше нет. Открыто Грей ссылался на то, что германцы предприняли обширные наступательные действия против русских и что пока эта операция не дала тех или других результатов, бесполезно начинать разговоры в Берлине, так как ясно, что этими результатами определятся германские требования. Но постепенно выяснилось, что дело не в восточном фронте—или, точнее, не в русском его участке. Уже 13 февраля Грей посвятил своего американского друга в план английской интервенции на Балканах. «Он рассказал мне о плане—перевезти английские войска в Салоники и таким путем проникнуть в Сербию. Он думает, что 200 тыс. британских солдат безопасно могут быть выделены туда. Греция охотно присоединится к союзникам». А 20 февраля

[1] *House*, I, p. 359 и 353—355.
[2] *House*, I, p. 370, Письмо к Вильсону 9 февраля 1915.

«сэр Эдуард сказал, что союзники намерены форсировать Дарданеллы и что это возьмет у них от трех до четырех недель» [1].

> «Пэдж имел случай наблюдать, как оптимистически были настроены британские правительственные круги,—пишет биограф американского дипломата.—В марте 1915 года он был в гостях у первого министра в Уольмер-Кастле; однажды вечером Асквит отвел его в сторону, сообщил ему о подготовке к прорыву Дарданелл и объявил, что союзники через две недели будут в Константинополе. Это не было выражением надежды со стороны первого министра; это была полная уверенность»[2].

Раз немцы не шли ни на какие уступки в морском вопросе— налеты цеппелинов, если они имели какой-нибудь военный смысл, можно было рассматривать только как начало атаки англичан в собственном доме, через голову английского флота,—раз они в это именно время сделали первую попытку заблокировать Англию подводными лодками, идея сдерживать Россию германской армией должна была все более и более терять под собой почву. Пэдж был весьма посредственным дипломатом и политиком, но недурным психологом-наблюдателем. Когда он писал Хаусу: «Англия конечно не хочет завоевывать Германии. Если Германия покажет, что она не хочет завоевывать Англии, война может кончиться завтра», он был совершенно прав. Но Германия в эти месяцы именно показывала, что она хочет завоевать Англию,—и, что хуже всего, показывала это, не имея для осуществления такого проекта никаких реальных средств. Англичане должны были искать других способов «удерживать Россию», и им казалось что один такой способ они нашли: подчинить себе Балканы и захватить Константинополь— и царь лишний раз должен будет кланяться в ноги английским империалистам. О том, что и царская дипломатия обнаружила в этом деле достаточную смышленность и изворотливость, и о том, как эта дипломатия добилась от Англии, хотя и бронзового, но все же векселя на Константинополь и проливы, я рассказал в другом месте [3].

При такой обстановке успех поездки Хауса зависел всецело от желания немцев заключить мир. Если верить Джерарду, как раз в середине февраля последний шанс на это еще не был потерян. Конечно, писал он Хаусу 15 февраля 1915 г., «Германия не станет платить вознаграждения Бельгии или кому бы то ни было», но «разумный мир она примет». Только, предупреждал он, «это вопрос дней и, может быть, часов». Раз начнется подводная блокада (она только что была провозглашена), не может быть речи о переговорах, пока не обнаружится ее успех или полная неудача: тогда мир будет невозможен «до следующей фазы войны» [4]. «Это вопрос почти часов», повторял он еще раз,—а Грей заставлял Хауса терять в Лондоне недели...

---

[1] *House*, I, p. 379 и 386.

[2] *Page*, удешевл. издание, I, p. 430.

[3] См. статью «Царская Россия и война», стр. 154—192. «Бронзовым» векселем в старое время называли вексель, по которому нельзя было или очень трудно было что-нибудь получить.

[4] *House*, I, p. 382—383.

«Эти люди (англичане) медленно двигаются,—отвечал Джерарду на его настояния Хаус,—когда я попробовал говорить им о вашем мнении, что необходимо действовать быстро и что вопрос стоит скорее о часах, чем о днях, я увидал, что это безнадежно. Конечно это до известной степени и неизбежно, независимо от их желания или нежелания двигаться быстро, по той причине, что они не могут действовать одни; а столковаться с союзниками требует невероятно продолжительного времени, особенно с Россией...»

Из силы, которую должна была уравновешивать Германия, русский союзник превращался в один из аргументов системы «оттяжек».

Грей сначала хотел оттянуть поездку Хауса в Берлин до прорыва англичанами и французами Дарданелл, но становилось все очевиднее, что, если откладывать еще, ехать вообще будет незачем. Письма Циммермана становились все суше и холоднее. Один раз он подчеркивал, что Германия ничего не намерена платить Бельгии, другой раз, что основным условием мира является отказ Англии от ее монопольного положения на море, т. е. что противник должен уступить в том именно пункте, из-за которого он начал воевать...

«Я надеюсь, что вы приедете скоро,—писал Джерард 6 марта. Фон Ягов (германский министр иностранных дел.—*М. П.*) говорит, что он надеется на ваш приезд, и хотя я не вижу теперь никаких перспектив на мир, вы могли бы познакомиться с общим положением и были бы лучше подготовлены к разговорам в других столицах...» «Канцлер больше не имеет влияния (is not boss now). Гораздо влиятельнее фон Тирпиц и Фалькенгайн (начальник штаба), в особенности потому, что канцлер надоел императору, и между всеми этими борющимися властями идут большие интриги. Как это ни странно, наиболее благоприятно расположен к принятию разумного мира главный военный штаб,—а фон Тирпиц не желал принять наши последние предложения» (Вильсон предлагал Германии отказаться от подводной блокады, если англичане исключат из списка контрабанды съестные припасы)[1].

Именно фон Тирпиц теперь, когда ставка была поставлена на подводную блокаду,—а на сухопутном фронте германцы еще не вышли из «тупика» (они начали выходить двумя месяцами позже, когда началось наступление Гинденбурга на восточном фронте),—был главной фигурой.

7 марта Грей решил отпустить Хауса. Никакой опасности, что мирные переговоры начнутся до прорыва Дарданелл, не было,—была скорее опасность, что, в данной стадии войны, они не начнутся совсем. Ознакомиться же с общим положением в Германии англичанам было еще гораздо интереснее, чем Хаусу: его поездка, опять не имея реального значения для восстановления мира, снова была «глубокой разведкой» в лагере противника, притом в такой форме, против которой противнику—пока он не решил разорвать с Америкой вообще—трудно было возражать. Хаус поехал через Париж. По собственной инициативе он пожелал иметь беседу с Делькассе. Грей сначала был против этого, но потом согласился, предупредив Хауса, чтобы он в разговорах с французским министром иностранных дел «был поосторожнее». В Берлин «полковник» приехал только

[1] *House*, I, p. 377, 383, 395—396.

20 марта—и дальше вечного Циммермана сначала не пошел. Ни канцлера, ни фон Ягова не было в городе, о Вильгельме (помня прошлую настойчивость Хауса в этом вопросе) говорили в предположительном смысле: «может быть пожелает видеть». Джерард прямо предупреждал, что не пожелает. Хаус сделал несколько новых и интересных знакомств—с Ратенау, фон Гвиннером, Гельферихом—но это была либо Германия прошлого, либо Германия будущего, а не решающие люди Германии эпохи войны [1]. Постепенно на сцене появились фон Ягов и канцлер.

> «Я нашел, что гражданское правительство так же разумно и хорошо настроено, как его партнеры в Англии,—писал 26 марта «полковник Вильсону,—но в данный момент оно бессильно» [2].

Чтобы вообще иметь какое-нибудь подобие переговоров, пришлось поставить совершенно академический вопрос о «свободе морей» (конкретнее о неприкосновенности частной собственности в открытом море и о праве всех невоюющих свободно пользоваться океанскими путями: мы видели, что Англия фактически блокировала весь континент). Никакой уверенности что Англия согласится хотя бы разговаривать на эту тему, не имея предварительного согласия противника ограничить его морские вооружения, у Хауса быть не могло. Но надо же было о чем-нибудь говорить с германскими министрами. Смысл поездки все больше и больше сводился к разведке. Написать о ее результатах Хаус мог только с обратного пути, из Парижа, уже в апреле; платя тою же монетой, немцы поставили Джерарда почти в то же самое положение, по части секретной корреспонденции, в какое был поставлен в Вашингтоне Бернсторф; не совсем однако в такое, поскольку в Берлине больше боялись Вильсона, чем в Вашингтоне Вильгельма.

> «В первый раз я могу разговаривать с вами свободно, с тех пор как я уехал сюда»,—писал Хаус Вильсону 11 апреля 1915 года; «сюда» значило «на континент Европы»—с Англией американские связи были безупречны. «Моя поездка в Берлин была чрезвычайно утомительна и во многих отношениях неприятна. Я не встречал там ни одного человека какого бы то ни было общественного положения, который бы немедленно не припер меня к стене и не начал со мной спора о продаже нами военного снаряжения союзникам, и тон этих разговоров был иногда оскорбителен. На улице затрудняешься говорить по-английски, из страха подвергнуться издевательствам...» «Я нашел в правительственных кругах отсутствие слаженности, что предвещает плохое будущее. В гражданском правительстве раздоры... Военное и гражданское начальство действует несогласованно... Фалькенгайн и фон Тирпиц имеют больше влияния на императора, чем кто бы то ни было, но Фалькенгайн не популярен в армии вообще... Популярный герой—Гинденбург, и он один осмеливается возражать императору» [3].

Заканчивалось письмо утешительной надеждой на будущую «более демократическую» Германию,—что во главе и этой «демокра-

[1] Имя Ратенау всем известно, Гельфериха очень многим. Фон Гвиннер—инициатор Багдадской ж. д.

[2] *House*, I, p. 404—407.

[3] *House*, I, p. 417—418.

тической» Германии будет все тот же Гинденбург, этого Хаусу вероятно не снилось—хотя имели же Штаты в прошлом восьмилетнее президентство Гранта, главнокомандующего северян в гражданской войне... Противополагать монархию демократии как войну миру—более чем поверхностная точка зрения.

В этом Хаус мог бы убедиться сразу из своей переписки с Греем по поводу «свободы морей». В Берлине писал он Грею, единственный сюжет, «которым я вызвал достаточный энтузиазм» (попросту говоря, единственный, о котором там соглашались говорить),—была эта самая «свобода морей».

«Ваши новости из Берлина не очень ободряют,—отвечал ему Грей (24 апреля—на письмо от 12 из Парижа...).—Выходит, что разговоры Бернсторфа о мире были просто мошенничеством (fudge). То, что выслушали из Берлина и нашли там, подтверждают мне из другого источника, нейтрально, но не американского. Что касается «свободы морей», то если Германия думает, что ей позволят свободно вести войну с другими нациями как она хочет, это не серьезное предложение. Но если Германия захочет после этой войны войти в некоторого рода Лигу наций, дав и получив те же самые гарантии против возобновления войны, какие дадут и получат другие нации, ее издержки на вооружение могут быть сокращены и созданы порядки, обеспечивающие «свободу морей». *«В мирное время море во всяком случае свободно»* [1].

Последняя фраза звучала явным издевательством. Хотя прорыв Дарданелл к этому времени уже имел первую неудачу, балканская программа Англии далеко еще не была исчерпана—и мир *сейчас* ей не был нужен. «Полковник» был близок к истине, когда он писал президенту Вильсону еще в феврале:

«Психологический момент для того, чтобы кончить войну был в конце ноября или в начале декабря, когда все дело имело такой вид, как будто война зашла в безвыходный тупик. Вы помните, что мы пытались втолковать это сэру Сесилю и пытались действовать быстро, но без успеха» [2]

В марте поездка Хауса могла иметь значение только разведки в неприятельском стане.

«Я не нашел в Берлине благоприятных условий для разговоров о мире,—писал он Грею 12 апреля,—поэтому я не остался там долго и не много разговаривал. Поездка однакоже имеет большую цену, и я чувствую, что теперь я знаю истинное положение там, что делает возможной более разумную линию поведения» [3].

Это было приобретение не только для вашингтонского правительства, но и для лондонского кабинета. Особенно, если прибавить, что из своей берлинской поездки Хаус вынес впечатление, что германцы

«Видимо пытались культивировать хорошие отношения как с Францией, так и с Россией, с целью заключить с ними сепаратный мир» [4].

---

[1] *House*, I, p. 428—429. Разрядка моя.—*М. П.*
[2] Ibid., p. 385. Разрядка моя.—*М. П.*
[3] Ibid., p. 427.
[4] Ibid., p. 405. Письмо к Вильсону из Берлина от 20 марта 1915 г.

Грей был прав, что с Делькассе нужно было разговаривать осторожно. С русскими совсем не разговаривали—на них в это самое время пытались надеть намордник—в Дарданеллах.

*«Историк-марксист» 1930 г., т. XIII и XV.*

# ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ВОЙНА

## К ВЫСТУПЛЕНИЮ ТУРЦИИ

Число «воюющих сторон» увеличилось еще одной: Турция начала военные действия против России.

Что может значить этот новый факт, прежде всего, с чисто военной точки зрения? Какую поддержку Турция может оказать Вильгельму II?

Турецкая армия считает в своем составе 43 дивизии действующих («низам») и 57 резервных («редиф»). Есть, кроме того, и ополчение («мустахфиз»), но оно почти не организовано—ополченцы служат, главным образом, для пополнения убыли в действующей армии. Дивизии «низама» имеют по 10 батальонов каждая, «редифа»—разное число, но обыкновенно 9 батальонов. Итого у Турции, на бумаге, 430+513, всего 943 батальона. С кавалерией (40 полков «низама» по 5 эскадронов и 24 полка иррегулярной конницы) и другими частями—около миллиона штыков и сабель номинально.

Качественно турецкие войска должны быть поставлены довольно высоко—безусловно выше австрийской армии, например. Несчастная для турок последняя война, когда Турция была захвачена врасплох вдвое более сильным противником, в сущности, не поколебала ее военной репутации. Когда турки собрались с силами, болгарская армия—лучшая из балканских—так и не могла взять Чаталджи. Ахиллесову пяту турок всегда составляло высшее стратегическое руководство—но сейчас оно всецело в руках германских офицеров. Ружья турецкой пехоты—германские, правда, немного более старого образца, чем у самих немцев, но не старше русской трехлинейки. Впрочем, ружье в современной войне все более и более отступает на второй план и начинает играть почти ту подсобную роль, какую оно играло сто лет назад в наполеоновских войнах. Судьба боев решается, как и тогда, артиллерией. А с этой стороны—«не бывать бы счастью, да несчастье помогло»: в последнюю войну турки потеряли почти всю свою крупповскую полевую артиллерию устаревшего образца и должны были, волей-неволей, обзавестись французскими пушками Шнейдера-Крезо новейшего типа. Другими словами, турецкая легкая полевая пушка—такая же, как и русская. Исторически турки

имеют репутацию превосходных артиллеристов: в 1877 г. русские офицеры не могли надивиться меткости турецкого огня. Если в 1912—1913 гг. их артиллерия была подавлена, то это, помимо устарелости пушек, объясняется еще тем, что у них снарядов было мало, и на пять выстрелов приходилось отвечать одним.

Повидимому, Турция—серьезная военная поддержка Германии. Но... тут начинается целый ряд «но». Во-первых, турецкий «редиф» в мирное время существует в «кадровом» составе: т. е. на каждый батальон имеется по несколько офицеров, унтер-офицеров и солдат. Но как раз нынешняя война показала, до чего трудно развертывать кадровые части в боевой состав даже большому европейскому государству, с относительно превосходно налаженной военной организацией. В Турции, с ее почти абсолютным бездорожьем и средневековой администрацией, эту задачу, в широких размерах, можно считать прямо неразрешимой. Редифные батальоны просто пойдут на пополнение убыли в действующих войсках и сыграют роль нашего «запаса». Как с настоящей боевой силой, годной для наступательных действий, приходится считаться только с действующей армией. При 430 батальонах пехоты она может дать всего до 500 тыс. штыков и сабель. Из них не менее половины (вероятно, более) придется оставить в Европе. Во-первых, крайне мало вероятно, чтобы Греция не воспользовалась настоящим, архиблагоприятным, моментом для окончательного объединения эллинской нации, остановленного Бухарестским миром на полдороге: Греция на море теперь, после покупки американских броненосцев, гораздо сильнее турок, даже с «Гебеном». Значит, от нее серьезно придется оберегать Дарданеллы и берега Малой Азии. А затем, в силу превосходства и русского черноморского флота над турецким (см. об этом ниже), придется не менее бдительно стеречь и Босфор, оставив в окрестностях Константинополя целую армию. Итак, если у турок найдется 250 тыс. для операций на сухопутной малоазиатской границе, это будет много. Но и этим 250 тысячам в данную пору года делать нечего.

Сухопутная граница России и Турции в Малой Азии проходит по Армянскому нагорью. Это—самая высокая часть Западной Азии, ряд горных плато до 2 тыс. метров высоты над уровнем моря. Несмотря на южное положение (параллель Неаполя и Мадрида), климат там поэтому чрезвычайно суровый. Зима продолжается 5 месяцев и отличается обилием снега: снежный покров достигает 2 метров толщины. Никакие военные действия крупного стиля с ноября по апрель здесь немыслимы. Единственная полоса, где турецкая армия могла бы действовать теперь, это—черноморское побережье, от Батума до Новороссийска. Вторжение сюда турок могло бы иметь серьезные последствия. Наступая по линии Батум—Тифлис, они заставили бы русских очистить Северную Персию, что нанесло бы, конечно, огромный удар русскому престижу в тех краях. Высадившись около Новороссийска, они могли бы достигнуть большего—поставить под вопрос сношения России с Кавказом. Но для того чтобы все эти страшные вещи реализовать, необходимо одно условие: необходимо, чтобы

турки были хозяевами на Черном море. Это приводит нас к вопросу о соотношении сил русского и турецкого флотов в тех краях.

Русский черноморский флот имеет шесть броненосцев (не считая судов береговой обороны); из них три совсем старых и три относительно свежей конструкции, но не дредноутов: русские черноморские дредноуты только еще строятся и будут готовы не ранее конца 1915 г. Кроме того, имеются два средних размеров бронепалубных крейсера и, конечно, соответствующее количество миноносцев, контрминоносцев и т. д. Есть и подводные лодки, которые, впрочем, есть и у турок. Последние, если брать их «национальный» флот, располагают тремя старыми броненосцами (одного возраста с русскими старшей категории)[1] и двумя бронепалубными крейсерами, мельче русских и слабее их вооружением. Совершенно ясно, что при столкновении русского и турецкого «национального» флотов, кроме истребления последнего, ничего не могло бы получиться. Но в распоряжении турок теперь есть два германских корабля—пресловутые «Гебен» и «Бреслау». Насколько это меняет дело? «Гебен» и «Бреслау», сами по себе, превосходные суда. В качестве крейсеров они сумеют, конечно, чрезвычайно много навредить русской черноморской торговле, если не парализовать ее окончательно. Но сумеют ли они помочь туркам истребить русский флот? Это крайне сомнительно. «Гебен» сильнее каждого из более новых русских броненосцев в отдельности, но слабее всех трех, вместе взятых. Для того чтобы справиться с ними, ему придется воззвать к помощи своих истинно-турецких товарищей. Но тогда он, во-первых, должен будет отказаться от главного своего преимущества—быстроты хода: истинно-турецкие броненосцы (два из них в XIX столетии были, впрочем, земляками «Гебена») ползают весьма медленно. А это последнее обстоятельство позволит, во-вторых, и русским ввести в бой свои корабли старшей категории—и перевес перейдет на русскую сторону. Что касается «Бреслау», то это один из тех маленьких крейсеров, которых немцами построено более 20 штук со специальной целью ловить в море английских «купцов»: эту функцию, как известно, с успехом и выполняет теперь в Индийском океане один из них—«Эмден». При столкновении же даже с русскими черноморскими крейсерами «Бреслау» останется только использовать главное свое качество—быстроту хода.

Итак, если русские адмиралы не наделают сверхъестественных ошибок, перевес русского флота над турецким можно считать вполне обеспеченным. А так как зимою удар может быть нанесен русским кавказским владениям только с моря, то военная помощь Турции немцам теперь сведется почти к нулю. Ранее апреля турки не смогут предпринять ничего серьезного. К апрелю же Германия, конечно, давно вынуждена будет заключить мир, если она не найдет из своего положения какого-нибудь никем не ожидаемого выхода. Все это немецкий штаб сознает, конечно, не хуже всякого другого. Военные

---

[1] Турецкие дредноуты, уже построенные, как известно, секвестрованы Англией.

услуги, которые Турция может оказать Германии, ничтожны. Для чего же Германия все-таки тянет Турцию в эту авантюру? Потому что самый факт русско-турецкой войны имеет колоссальное политическое значение.

Мы не скажем ничего нового ни для кого из читателей «Голоса», если напомним им, что мусульманский мир давно переживает революционное брожение исключительной силы. Брожение это принимает иногда революционный характер, но по существу это национальное движение, стремление к образованию национальных государств, стадия, давно пройденная Западной Европой и только теперь наступившая для мусульманского Востока и для Китая. Но и мусульманам и Китаю приходится складываться в нации на глазах у сильных и хищных соседей, которым этот процесс не может нравиться, которые всячески стремятся его задержать, парализовать, если возможно. Национальное возрождение Персии наткнулось на русские штыки, турецкий национализм был подавлен руками балканских народов, которые сами проходят ту же стадию развития, но опередили в ней турок. И многие еще помнят, вероятно, как конгрессу египетских националистов не удалось собраться в Париже... Германия постоянно старалась отделить себя, перед глазами мусульман, от других европейских государств в этом вопросе. И вот теперь, кажется ей, она нашла случай ухватиться за длинный конец того рычага, который повернет весь мусульманский мир. За Турцией выступит Персия, за Персией—Египет, за Египтом—Марокко... Угрожаемая в своих жизненных центрах, Англия вынуждена будет бросить немцев: не надо забывать, что английский король—величайший мусульманский государь земного шара и что у него больше подданных мусульман, чем у турецкого султана.

Так рассуждают немцы, и отношение Франции и Англии к турецкому выступлению показывает, что было бы неосторожно обвинять немцев в «беспочвенных мечтаниях». Турки бомбардировали русские порты, пустили ко дну русскую канонерку, а у них спрашивают... объяснений. Казалось бы, уж чего яснее? Но и Франция и Англия цепляются за последнюю надежду, тень тени надежды—избежать войны с Турцией, в военном отношении столь ничтожной, как мы сейчас видели. Очевидно, и они берут вопрос с его политической стороны: и они прекрасно понимают, началом какого пожара может быть русско-турецкая война, если дать ей вспыхнуть.

Но, может быть, боятся не только этого. С выступлением Турции совпал факт, географически чрезвычайно далекий от «восточного вопроса». В газетах промелькнуло известие, что Россия формирует польские легионы под командой офицеров-поляков. Это известие должно было заставить вздрогнуть всякого, кто знает новейшую историю Польши. Если это верно (приходится подчеркивать это «если»—мы живем в такой густой атмосфере лжи), то обещание Николая II восстановить Польшу—не пустой звук. Возрождение польской народности после разделов всегда начиналось с польской армии. Польские легионы на французской службе были зародышем свободной Польши

времен Наполеона I, и поляки-гарибальдийцы были инициаторами попытки нового освобождения, неудачной, в 1863 г. Итак, если известие верно, то, значит, двуглавый орел решился, наконец, выпустить из когтей добычу, которую он терзал сто лет. Но нужно быть совершенным невеждой в орнитологии, чтобы думать, что хищные птицы могут руководиться в своих действиях возвышенными мотивами. Если решено «отпустить на волю Польшу» (выражение незабвенного прадеда, Николая I), значит, найден ей эквивалент. Что может быть этим эквивалентом? Восточная Галиция? Хороша мена— отдать 8 миллионов подданных и центр польской культуры, Варшаву, чтобы получить 3½ миллиона и подцентр, Львов.

Это все равно, что менять Киев на Полтаву или Одессу на Таганрог. А вот обменять Варшаву на Царьград, это другое дело.

Не нужно забывать, что восточный вопрос дает фон всей ужасающей бойне 1914 г. Воображать, что все дело в таких-то торговых договорах, это значит смотреть на вопрос с узко немецкой точки зрения—позиция, поистине комическая, если вспомнить, что дело идет о людях, которые тщатся засвидетельствовать свой русский патриотизм. Ведь существующий русско-немецкий договор невыгоден прежде всего для немцев, которые из-за него переплачивают России 500 млн. марок ежегодно (таков, по минимальному расчету, баланс русско-немецкой торговли в пользу России). В России же жаловаться на его разорительность может только кучка фабрикантов, находящих, что 20-процентный барыш—пустяковый, из-за которого не стоит рук марать. Вот рублик на рублик—другое дело. Эти фабриканты имеют достаточно денег, чтобы издавать газеты и нанять несколько профессоров для «научного обоснования» своих аппетитов, но они недостаточно влиятельны, чтобы втянуть Россию в войну. Если Россия первая начала вооружаться и тем вызвала сначала контрвооружение Германии, а потом войну, то потому, что перед ее правителями снова мелькнул мираж, периодически соблазняющий каждое поколение «Романовых», начиная с Екатерины II.

Константинополь и проливы все время были на линии русского наступления, представляя собою ее конечный пункт. Но то, что вчера было только политической возможностью, сегодня становится стратегической необходимостью. История всех турецких войн показывает, что нанести удар Турции можно, только угрожая непосредственно Константинополю. Никакие победы и одоления русского флота на волнах Черного моря, никакие подвиги российского воинства в борьбе с армянскими снегами и курдскими партизанами не заставят турок сдаться: этой цели может достигнуть только русская армия на берегах Босфора. Судьба толкает Николая в святую Софию.

Не будем распространяться о том, что русский царизм в восточном вопросе верою и правдою, хотя и бессознательно, служит русскому капитализму: стать твердой ногой на Ближнем Востоке последний сможет не раньше, чем получит свободный выход в Средиземное море. Но поперек этого выхода Россия все время встречала Англию. Многие думают, что теперь это изменилось, что теперь англичане охотнее

согласятся терпеть в Константинополе русских, чем немцев. Что немцы в Царьграде для Англии менее приятны, чем русские, спору нет, но еще охотнее англичане сядут там сами. И обстоятельства складываются так, что эта операция и для англичан становится стратегической необходимостью: турки уже угрожают Суэцкому каналу теперь, а дожидаться, пока русская армия появится на Босфоре... Вполне возможно, что солдаты в зеленой «защитной форме», подойдя к святой Софии, встретят у паперти—солдат в хаки. Но как же столетняя мечта потомков Екатерины II?

*«Голос» № 47 ежедневная политическая и общественная газета.*
*Париж 1914 г., 6 ноября.*

## ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ВОЙНА ЗИМОЮ 1914—1915 гг.

*(К подготовке секретного соглашения о Константинополе и проливах)*

В читающей публике очень распространено убеждение, будто, раз начались военные действия, дипломатам остается укладывать чемоданы и ехать в отпуск. Вместо «нот» стороны начинают обмениваться артиллерийскими снарядами, и «внешние сношения» отражаются только в реляциях о военных действиях.

Представление это свидетельствует лишь о наивности публики, воображающей, что дипломатическая бутафория, «ноты», приемы послов и т. п.—это и есть настоящая «внешняя политика», тогда как в действительности внешняя политика делается в стороне от нескромных глаз, в тиши дипломатических кабинетов. И в этих кабинетах гром орудий не только не заглушает обычной работы, а, наоборот, делает ее напряженной и энергичной как никогда. Параллельно сражениям, о которых повествуют «реляции» (по теперешнему «сводки»), всякая война дает длинную нить дипломатических шахматных ходов той и другой стороны, причем шахматницей служат обыкновенно кабинеты нейтральных держав, а если война ведется не отдельными странами, а союзами стран, то и кабинеты союзников.

Война 1914—1918 гг. в этом отношении ничем не отличалась от других войн буржуазного мира. И у нее были две стороны: всем видная—чисто военная[1] и никому не видная—дипломатическая. История этой военной дипломатии, когда она будет написана, представит собою книгу, ничуть не менее интересную, чем история стратегии и тактики империалистской войны. Нижеследующее изложение дает набросок только одной из глав этой книги, той главы, которую можно назвать «предысторией соглашения о проливах в марте 1915 г.». Набросок и в этой части, заранее признаемся, не полный, но кое-какие весьма любопытные шахматные ходы он все же намечает.

---

[1] «Видная», впрочем, довольно условно, ибо как известно, старого обычая помещать в газетах «реляции» держались только немцы, их противники ограничивались столь лаконическими «сводками», что понять, что делается на театре войны, было очень трудно.

1 августа перед царской дипломатией стояла задача, которая была, пожалуй, сложнее всего, что ей приходилось проделать, создавая войну[1]. Война велась из-за Константинополя и проливов, а Турция не воевала,—мало того: была опасность, что она сделается союзницей.

Чтобы оценить весь трагизм положения Сазонова, положения, отразившегося в нижепечатаемых—целиком впервые—телеграммах русского посла в Константинополе, нужно вернуться на минуту к моменту «зачатия войны», к осени 1913 г. 23 ноября ст. ст. Сазонов представил Николаю записку, где, впервые после неудачной попытки Извольского в 1908 г.[2], вопрос о захвате проливов ставится официально и вполне практически. Охарактеризовав настроение, сложившееся у европейских кабинетов под впечатлением только что разыгравшихся балканских войн, Сазонов продолжает:

> «В связи с таким настроением все великие державы без исключения учитывают уже теперь возможность окончательного распадения Оттоманской империи и задаются вопросом о заблаговременном обеспечении своих прав и интересов в различных областях Малой Азии, стремятся создать и упрочить основания политических притязаний в будущем дележе Оттоманской империи».

Для России «притязания» в первую голову заключались, конечно, в «ключах от собственного дома». «Сомнение в прочности и долговечности Турции связано для нас с постановкой исторического вопроса о проливах и оценкой всего значения их для нас с политической и экономической точек зрения».

Дальше дается характеристика значения «проливов» для России, характеристика, настолько полно и откровенно рисующая вожделения российского империализма, что ее стоит привести целиком:

> «Согласно объяснительной записке министра финансов к проекту государственной росписи доходов и расходов на 1914 г. торговый баланс России в 1912 г. был на 100 млн. менее в сравнении с средним активным сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи с этим весною последовало также повышение государственным банком учета на ½% для трехмесячных векселей. Таким образом, временное закрытие проливов отразилось на всей экономической жизни страны, лишний раз подчеркивая все первостепенное для нас значение этого вопроса. Если теперь осложнения в Турции отражаются многомиллионными потерями для России, хотя нам удавалось добиваться сокращения времени закрытия проливов до сравнительно незначительных пределов, то что же будет, когда вместо Турции проливами будет обладать государство, способное оказать сопротивление требованиям России? И для этого не нужно, чтобы государство, владеющее проливами, обладало само по себе силою великой державы. Оно неизбежно приобретает эту силу, обосновавшись на проливах, из-за исключительных географических условий. В самом деле, *тот, кто завладеет проливами, получит в свои руки не только ключи морей Черного и Средиземного, он будет иметь ключи для поступательного движения в Малую Азию и для гегемонии на Балканах.* Вследствие этого государство,

---

[1] См. статью «Как возникла мировая война», в настоящем сборнике.

[2] См. статью «Три совещания», в настоящем сборнике.

заменившее Турцию на берегах проливов, по всем вероятиям будет стремиться пойти по дорогам, проторенным в былое время турками.

Выше указано было на недопустимость для нас такого рода чуждого завладения проливами с экономической точки зрения. Но не представляется ли это столь же мало допустимым и с точки зрения политической? Не создают ли указанные выше тенденции к гегемонии на Балканах и проникновению в Малую Азию неизбежность резкого антагонизма между всяким новым государством, которое стало бы на место Турции, и Россией?...».

Даже в секретных записках царю—официальных—приходилось выдерживать «оборонческий» стиль и говорить о «другой державе, которая могла бы и т. д.», тогда как по существу дела все выгоды от «поступательного движения на Малую Азию и для гегемонии на Балканах» оставались на своем месте, если бы проливами владела Россия. И для нее они оставались бы «ключами морей Черного и Средиземного», со всеми остальными последствиями. «Другая держава» была фиговым листком, наклеенным на вожделения царской России, что со всею очевидностью следует из маленького исторического обозрения, следующего немного дальше:

«Уже 30 лет прошло с того времени, когда державною волею покойного императора Александра III возродился черноморский флот. Около 60 лет прошло со времени появления торгового пароходного движения на Черном море. Оба начинания связаны были с мыслью о мощи России, о возможном утверждении наших интересов на проливах. Сотни миллионов были истрачены на это дело, равно как и на содержание войск Одесского военного округа, призванных к совместным с нашим флотом операциям. Как известно, еще в 1895 г. в связи с армянскими избиениями был поставлен вопрос о временном занятии Константинополя нашими войсками с ведома и согласия наиболее опасного из возможных в то время для нас союзников—Англии. От плана этого пришлось отказаться по недостатку транспортных средств и несовершенству сухопутной мобилизации».

Николаю оставалось только итти по стопам своего родителя и осуществить мечту своей юности. Тем более—тут опять начинала звучать грустная оборонческая флейта,—что коварная Турция явно хлопочет об увеличении своих *морских* сил. Очевидно, что проекты Извольского и подготовка русского десанта во время первой балканской войны (о чем тут же упоминает Сазонов) не остались совершенно втайне. Турки заказывали за границей все новые и новые броненосцы, и приходилось

«притти к заключению, что в период 1914—1916 гг. турецкий военный флот будет иметь преобладание над нашим в Черном море по качеству своих судов и силе их артиллерии». «Россия не может ни допустить в настоящее время морского превосходства Турции в Черном море, ни в будущем остаться безучастной к решению вопроса о проливах. Поручиться за то, что вопрос этот не будет поставлен в недалеком будущем, мы не можем. Следовательно, государственная предусмотрительность требует от нас внимательной подготовки к выступлению, которое может потребоваться. Указанная пидготовка не может не носить характера всесторонней планомерной программы с привлечением к работе различных ведомств».

А раз дело дошло уже до столь делового пункта, как «всесторонняя планомерная программа», оборонческие украшения можно было снять.

«Указанные вопросы ставят на очередь обсуждение следующих конкретных мероприятий: 1) по ускорению мобилизации достаточно численного десантного корпуса; 2) по оборудованию потребных для сего путей сообщения; 3) по приведению черноморского флота в положение, при коем он превосходил бы силы оттоманского флота и мог бы совместно с армией выполнить задачу прорыва через проливы для их временного или постоянного занятия, если это потребуется; 4) по увеличению наших транспортных средств до размеров, отвечающих потребностям десантной операции».

Для этой цели Сазонов и предлагал созвать то совещание, протокол которого целиком напечатан в упоминавшейся выше статье «Вестника Наркоминдела». Но он отчетливо видел, что операция в проливах никоим образом не могла бы остаться изолированным действием с глазу на глаз между Россией и Турцией:

«Повторяя высказанное вначале пожелание о возможно более длительном поддержании status quo, приходится также снова повторить, что вопрос о проливах едва ли может выдвинуться иначе, как в обстановке общеевропейских осложнений».

И вот долгожданное «общеевропейское осложнение» было налицо, а до проливов было все так же далеко... Между тем, в них была вся суть дела. Без участия в войне Турции, и притом *против* России, игра не стоила свеч. Можно себе представить настроение Сазонова, когда он получил от российского посла в Константинополе Гирса такую телеграмму:

«23 июля/5 августа 1914 г. № 628. Срочно. Прошу срочных указаний. По моему поручению генерал Леонтьев [1] посетил сегодня Энвер пашу, который заявил ему, что мобилизация отнюдь не направлена против России, что если это будет отвечать интересам России и может успокоить ее со стороны кавказской границы, то она (Турция) согласна взять оттуда часть войск из 9-го и 11-го корпусов. Далее он заявил, что Турция сейчас ни с кем не связана и будет действовать сообразно со своими интересами. Если бы Россия пожелала обратить внимание на турецкую армию и использовать ее для своих целей, то он такую комбинацию считает возможной. Эта армия могла бы быть использована Россией как для нейтрализации армии того или иного балканского государства, которое намеревалось бы выступить против России, так и для содействия армиям балканских государств против Австрии, если бы России удалось примирить балканские государства между собой и с Турцией на условиях взаимных уступок. На вопрос генерала Леонтьева, какие именно могли бы быть эти уступки, Энвер ответил, что они могли бы выразиться для Турции в Эгейских островах и в области Западной Фракии, причем Греция могла бы получить компенсацию в Эпире, Болгария в Македонии, Сербия в Боснии и Герцеговине. На ряд сомнений, выраженных генералом Леонтьевым, Энвер ответил утверждением, что он убежден в возможности такой комбинации с турецкой стороны. К ней с радостью примкнут и правительство, и турецкий народ, раз только будут знать, что она может принести реальные результаты. Генерал Леонтьев просит передать копию этой телеграммы в военное министерство (подпись) Гирс».

В «Петрограде» желали получить турецкую столицу, а им предлагали турецкую армию! Но захватить столицу своего союзника, этого даже империалистский кодекс войны не допускал. На первый

[1] Русский военный агент в Константинополе.

случай надеялись взять опасное предприятие измором. На телеграмму Гирса Сазонов отвечал:

«Считали бы желательным, чтобы генерал Леонтьев продолжал объяснения с Энвер-беем в благожелательном смысле, хотя бы для известного выигрыша времени, избегая каких-либо связывающих заявлений» (телеграмма № 1705 от 24 июля (6 августа).

Но Энвер был упрямый турок, а Гирс—несколько туповатый дипломатический чиновник, все рассматривающий с высоты своей константинопольской колокольни. Через три дня Сазонов получил от него новую телеграмму, ничуть не более успокоительную.

«Срочная. Прошу срочных распоряжений. Согласно данному поручению телеграммой № 1705, генерал Леонтьев сегодня снова посетил Энвера. Военный министр заявил, что он стоит на прежней точке зрения, т. е. за союз с Россией. Он не скрыл, что может встретить сильную оппозицию в правящих кругах, но надеется ее побороть, тем более, что армия в его руках. Вопреки существующему мнению, Турция еще не связана с «Тройственным союзом»; он знает, что на правительство оказывается сильнейшее давление со стороны немецкого и австрийского (послов). Последние дни начали формулировать свои предложения и болгары, но он убежден, что при конкретной постановке вопроса восторжествуют национальные оттоманские интересы. Военный министр ставит вопрос ясно и коротко: турки убирают с кавказской границы все, что у них есть, с целью дать русским полную гарантию своих добрых намерений и возвратить с Кавказа большую часть войск на западную границу. Вместе с тем они собирают в ближайший срок сильную армию во Фракии и ставят ее в наше распоряжение с готовностью двинуть ее против любого из балканских государств, в том числе против Болгарии, или совместно с ними против Австрии. В день, когда будет установлено соглашение, он обязуется удалить с турецкой службы всех немецких офицеров. В заключение Энвер паша ставит условие: возвращение Турции Западной Фракии и Эгейских островов и заключение с Россией оборонительного союза на срок от 5 до 10 лет (дабы Турция могла быть обеспечена от мести своих соседей на Балканском полуострове. Энвер паша все время говорил в спокойном и доброжелательном тоне и с большой искренностью, совершенно правильно нарисовав генералу Леонтьеву картину общего политического положения с точки зрения турецких интересов. Вызванный Леонтьевым, он ответил, что он отлично понимает, что Турции и Болгарии придется считаться с ненавистью немцев, но, как он выразился, это обстоятельство не испугает, ибо даже в случае победы немцев им трудно будет причинить ей серьезный вред, так как у них нет общих границ, и он по примеру войны в Ливии знает, какое противодействие может быть организовано против морской экспедиции. Генерал Леонтьев вынес убеждение, что дело может быть сделано, если только решение будет принято немедленно. Вся сила теперь в руках Энвера, тем более, что он только-что назначен главнокомандующим. Генерал Леонтьев, не имея времени шифровать, просит копию этой телеграммы передать в военное министерство. (Подпись) Гирс» (телеграмма от 27 июля (9 августа).

Приходилось ставить все точки над і, чтобы даже Гирс понял.

«Пока не получим ответа из Софии,—телеграфировал Сазонов (№ 1779 от 28 июля (10 августа),—имейте в виду необходимость в переговорах с Энвером выигрыша времени. Имейте в виду, что *действий Турции непосредственно против нас мы не опасаемся*».

Последние (подчеркнутые мною.—*М. П.*) строки самому тупому человеку должны были дать понять, что турецкая армия «Петрограду»

отнюдь не нужна, а войну с Турцией там вовсе не рассматривают как особое бедствие. Но Гирс и тут ухитрился не понять, чего желает начальство, и продолжал сыпать предложениями турецкого союза, как горохом. За двое суток, 9—10 августа по нов. ст., Сазонов получил от него одну за другою три телеграммы. Первая гласила:

«Я видел великого визиря, который теперь вполне в курсе объяснений Энвера с генералом Леонтьевым и, повидимому, сочувствует им, хотя официально стоит на почве сохранения полного нейтралитета Турцией, не соглашаясь, что присутствие германских офицеров нарушает этот нейтралитет. Наше свидание происходило до последней поездки генерала Леонтьева к Энверу, так что я мог сказать великому визирю, что буду ожидать этих объяснений, чтобы по их поводу выслушать и его отзыв».

Вторая:

«Прошу срочных указаний. Ссылаюсь на телеграмму 650. Почитаю долгом высказать, что нам надлежит немедленно принять предложение Энвера, не входя ни с кем в какие-либо предварительные объяснения, так как время не терпит. Если победа останется за нами, мы всегда сумеем вознаградить и Болгарию и Грецию. Между тем, наш отказ несомненно и бесповоротно бросит Турцию в объятия наших врагов. Если даже Энвер не вполне искренен, наше согласие выяснит положение, которое в настоящем обостренном фазисе не может не привести к кризису и разрыву».

На другой день пошла третья телеграмма, самая категорическая.

«Срочная. Прошу срочных распоряжений. Ссылаюсь на № 1769. Чтобы не вышло недоразумения и чтобы из-за него не было задержки в заключении соглашения, столь важного в политическом отношении в смысле приобретения, может быть, исключительного влияния на Балканском полуострове, почитаю долгом сказать, что вопрос об отводе 9-го и 11-го корпусов выставлен самим Энвером в виде гарантии искренности Турции и сам по себе является побочным. Смею думать, что он мог бы быть решен, как, впрочем, и все остальные вопросы, касающиеся организации и действий турецкой армии, в полном соответствии с указаниями августейшего верховного главнокомандующего. Цель, к которой нам необходимо стремиться, заключается в совершенном устранении навсегда враждебного нам господства Германии в Турции. К достижению этой цели представляется теперь крайне благоприятный случай. Если мы его выпустим, то бесповоротно бросим Турцию в объятия Германии, которая, даже ослабленная и побежденная все же будет весьма враждебна нам на Ближнем Востоке. На сегодняшнем дипломатическом приеме великий визирь доверительно высказал мне, что он сочувствует стремлению Энвера сблизиться с нами и готов оказать свое полное содействие быстрому заключению соглашения. Я заметил ему, что лично вполне сочувствую соглашению России с Турцией, но что оценка способа для условий его достижения зависит исключительно от императорского правительства. Я глубоко убежден, что настал исторический момент, когда мы имеем возможность окончательно подчинить себе Турцию и через нее парализовать готовящиеся выступить против нас враждебные нам силы на Балканском полуострове».

Но в «Петрограде» Турция нужна была вовсе не в роли союзницы, хотя бы самой смирной и послушной. Там вообще нужна была не Турция, а Константинополь, а лучшим предлогом его занять была бы война с Турцией. А для этой войны в руках Сазонова был уже великолепный предлог: два германских военных судна, «Гебен» и «Бреслау», пришли в Дарданеллы и не были турками разоружены.

Это было посерьезнее пребывания в турецкой армии германских инструкторов, к чему до сих пор привязывался Сазонов. Последний чувствовал теперь под ногами твердую почву, и Гирс не получил ни срочных, ни каких бы то ни было указаний по поднятому им вопросу. Вся дальнейшая переписка российского министерства иностранных дел с российским посольством в Константинополе посвящена «Гебену» и «Бреслау». А через пару недель турко-германское соглашение стало совершившимся фактом: «опасность» русско-турецкого союза, который мог бы испортить всю игру, была устранена.

Как видит читатель, диалектика истории принимает иногда самые неожиданные формы, и в русско-германской войне мог быть момент, когда российский министр иностранных дел готов был приветствовать германский броненосец как своего избавителя. Кстати, приведенная переписка[1] вскрывает нам и секрет несколько неожиданного появления «Гебена» в турецких водах. О борьбе партий в турецком министерстве—за союз с Россией и за союз с Германией—было, разумеется, известно и в германском посольстве. Надо было подкрепить антиэнверовскую сторону и дать перевес немецкой партии. Что это было одновременно выигрышем и для Сазонова,—для немцев было безразлично, ибо, конечно, в центре их внимания стояли не русские вожделения к проливам (им Вильгельм, при известных условиях, не прочь был даже пойти навстречу), а соперничество из-за Турции с Англией. Русско-турецкий союз отдавал в английские руки Багдадскую дорогу—стратегический подступ к Египту и к Индии. Этого несчастья, с немецкой точки зрения, следовало избежать во всяком случае. Появление «Гебена» и «Бреслау» бросило гирю на весы в тот самый момент, когда «русская» чашка начала быстро перетягивать. А что этому делу помог и Сазонов,—это была уже добавочная насмешка истории.

Но если инцидент с «Гебеном» «спас» Россию от опасности турецкого союза (и от возможности иметь на один фронт меньше), его оказалось недостаточно, чтобы втянуть Турцию в войну. Чашки весов только уравновесились с легким наклоном в германскую сторону. Шел сентябрь, а Турция все продолжала держать нейтралитет, правда, теперь явно дружественный Германии. И вдруг начала обрисовываться новая опасность—что война кончится вообще без участия Турции. Как же тогда быть с «ключами от собственного дома?»

1 сентября[2] российский посол в Вашингтоне Бахметев известил свое начальство, что посол германский, Бернсторф, был у Брайана—американского министра иностранных дел в те дни,—предлагая, чтобы президент Соединенных штатов Вильсон взял на себя, по примеру Рузвельта во время русско-японской войны, посредничество для начала мирных переговоров между Антантой и Германией с ее союзниками. Свидание было настолько секретное, что даже американская

---

[1] Не вся—я взял лишь важнейшие телеграммы Гирса.
[2] Дальше мы берем все числа по новому стилю.

печать ничего о нем не пронюхала. Но воюющие державы были уже посвящены в дело, и в Вашингтоне имелся даже ответ Франции, звучащий весьма подозрительно: «в принципе желательно было бы прекратить войну, но это возможно только, если условия удовлетворительны и гарантии достаточны». Еще более было подозрительно, что своим союзникам французское правительство этого своего ответа не сообщило, а, наоборот, рассказывало, что оно «отклонило предложение» (телеграмма Крупенского из Рима от того же числа).

Все это было настолько мало удовлетворительно, что «старшина» Антанты, каковым тогда была Англия, решил вмешаться в дело, притом достаточно торжественным образом и в тоне, весьма категорическом. 19 сентября король Георг V призвал к себе русского посла в Лондоне Бенкендорфа и высказал ему свое, английского короля, решительное мнение, что

> «Никакой мир невозможен, пока события не позволят навязать (d'imposer,—Бенкендорф, в качестве дипломата классической старой школы, всегда писал свои депеши по-французски) Германии такой мир, который бы закрепил окончательный разгром ее военной гегемонии». «Король мне сказал,—продолжает Бенкендорф,—что его мнение на случай косвенных попыток Америки было бы оставить американские предложения безо всякого ответа, игнорируя их совершенно. Король думает, что союзным правительствам нет никакой надобности даже совещаться (на этот счет): если бы союзные правительства вошли между собой в переговоры, это очень быстро стало бы известно в Берлине и рассматривалось бы там как признак нерешительности и слабости. Король мне сказал, что он хотел совершенно конфиденциально сообщить мне его личное мнение по этому поводу».

Но очевидно, что «совершенно конфиденциальное» сообщение имело только физическим слушателем Бенкендорфа, а по существу было обращено к Николаю II. Совершенно естественно, что ответил Георгу V именно последний, и ответил в самом успокоительном духе. Бенкендорфу было сообщено, что на его депеше Николай написал:

> «Всецело разделяю каждую мысль короля. Прошу графа Бенкендорфа категорически заверить его величество, что, несмотря ни на какие препятствия или потери, Россия будет бороться с ее противниками *до конца*» (последние слова подчеркнуты Николаем).

Франция была, таким образом, изолирована в своей слабости, (довольно простительной—Николай еще прочно сидел в Питере, а Георг V в Лондоне, тогда как французское правительство только что должно было весьма поспешно переехать из Парижа в Бордо), и опасность «преждевременного» прекращения кровопролития была устранена. Окончательно выяснившийся к этому времени неуспех немцев на западном фронте обещал сделать положение достаточно устойчивым. Но в российском министерстве иностранных дел этот маленький инцидент заставил задуматься, тем более, что в руках этого министерства была перехваченная русским телеграфом депеша Делькассе[1]

---

[1] Французский министр иностранных дел.

к Палеологу[1], из которой видно было, что англичане, несмотря на торжественные заявления короля, все же выслушивают американские предложения. Нежелание обсуждать последние со своими союзниками могло иметь и оборотную сторону... Правда, все это были лишь отдаленные возможности—от личного свидания с Бернсторфом английский посол в Вашингтоне уклонился. Но дипломаты на то и существуют, чтобы учитывать даже и отдаленные возможности. Совершенно ясно было, что мир так или иначе мог быть заключен раньше, чем «исторические задачи» царской России будут разрешены. Надо было принять меры.

Случайно или нет, но на другой же день после того, как на телеграфе была перехвачена депеша Делькассе (удостоившаяся собственноручной отметки Николая), Палеолога пожелал видеть министр земледелия Кривошеин,—тот самый, что потом был у Врангеля и недавно умер. «По своему личному авторитету и доверию к нему императора, он—настоящий председатель совета министров»,—аттестует его Палеолог в своей депеше Делькассе об этом свидании (тоже перехваченной и потому сохранившейся в архивах русского министерства иностранных дел). Номинальный председатель совета Горемыкин был, как известно, соломенным чучелом на председательском кресле.

Кривошеин пришел, конечно, к Палеологу как частный человек—просто в гости. Разговор был такого свойства, что официально его вести было трудно, как сейчас увидим.

> «Военные действия,—говорил Кривошеин,—могут длиться еще долго, но может случиться, что по причинам, не относящимся к стратегии, они могут окончиться и довольно скоро. Правительства «Тройственного согласия» не должны допустить, чтобы мирные предложения застали их врасплох; нужно, не теряя слишком много времени, фиксировать общие пожелания».

Таков был первый пункт, точнее—введение к беседе. Второй пункт не был новостью для Палеолога, ибо он повторял лишь то, что французский посол слышал уже десять дней назад от Сазонова. Но так как читатель этого не слыхал, то нужно на минуту вернуться к другой, тоже перехваченной депеше Палеолога от 14 сентября.

В этот день Палеолог тоже имел весьма содержательную беседу, но не с Кривошеиным, а с Сазоновым. Беседа происходила, как видно из сопоставления дат, тотчас же, как только в Петербурге стало известно об американском предложении и о мягкотелости, обнаруженной французами. Соответственно обстановке, Сазонов и беседовал с Палеологом не с глазу на глаз, а в присутствии Бьюкенена, английского посла. Последнее заставляет рассматривать сазоновские предложения как согласованные с англичанами и тем более интересные. Дальше дается в переводе текст основной части перехваченной депеши.

> «Г-н Сазонов сообщил в общих чертах, как он понимает те изменения карты Европы, которые были бы в интересах трех союзников (т. е. Англии, России и Франции).

---

[1] Французский посол в России.

1. Главная цель союзников—сломить могущество Германии и ее претензии на господство военное и политическое.

2. Территориальные изменения должны определяться принципом национальностей.

3. Россия присоединяет к себе нижнее течение Немана и восточную часть Галиции, а к Царству Польскому она присоединяет Восточную Познань, Силезию и западную часть Галиции.

4. Франция получает обратно Эльзас-Лотарингию, прибавив к ней какую хочет (à sa guise) часть рейнской Пруссии и Палатината.

5. Бельгия получит существенное расширение своей территории.

6. Шлезвиг-Голштиния возвращается Дании.

7. Восстанавливается Ганноверское королевство.

8. Австрия превращается в тройственную монархию из Австрийской империи, королевства Богемского и королевства Венгерского. Австрийская империя охватит исключительно «наследственные провинции». Богемское королевство включит в себя Собственно Богемию, Моравию и Словакию. Венгерское королевство должно будет столковаться с Румынией по поводу Трансильвании.

9. Сербия присоединит к себе Боснию, Герцеговину, Далмацию и северную Албанию.

10. Болгария получит от Сербии вознаграждение в Македонии.

11. Греция присоединит к себе юг Албании, за исключением Валоны, которая отойдет к Италии.

12. Англия, Франция и Япония разделят между собою германские колонии.

13. Германия и Австрия заплатят военную контрибуцию.

Сазонов очень просил сэра Д. Бьюкенена и меня не придавать никакого официального значения этому «эскизу картины, полотно которой еще не выткано». Но несколько слов, которые он мне шепнул в сторонке, дали мне понять, что он очень желает теперь же познакомить нас со своими идеями и что он более чем когда-либо ценит тесный контакт с нами».

Я нарочно не прерывал этого очаровательного рассказа никакими собственными замечаниями, как ни просились они под перо. В самом деле, разве не великолепен этот вывод из «принципа национальностей», что России следует отдать прусскую Литву? Разве не очаровательно это празднование буквально и на Антона, и на Онуфрия: Литву беру себе, как император всероссийский, а Познань и Западную Галицию как «царь польский»? И не один ли восторг этот, опять-таки во имя «принципа национальностей», раздел Германии—столь наглый, что его убоялся даже Версаль после полного разгрома империи Вильгельма? Вполне очевидно, что Сазонов не менее английского короля боялся мира и потому манил французов такими перспективами, на осуществление которых в сентябре 1914 г. не могло быть никаких разумных надежд. И вполне очевидно также, что при *Бьюкенене* он чего-то не договаривал и что с Палеологом предполагался какой-то еще более конфиденциальный разговор. Вести этот разговор и пришел 25 сентября Кривошеин.

Нарисовав еще раз приятные для французов перспективы совершенного исчезновения Германии с карты Европы (что бы от нее осталось, осуществись на деле пожелания Сазонова?), Кривошеин перешел к самому деликатному пункту разговора—к тому, что Бьюкенену пока не полагалось слышать.

«3. По поводу проливов г. Кривошеин думает, что они должны быть свободны, что турки должны уйти в Азию и что Константинополь должен

сделаться нейтральным городом, управляемым на таких же условиях, как Танжер [1].

«Я выслушал г. Кривошеина, не высказывая своего мнения, за исключением вопроса о Константинополе.—Это, сказал я,—вопрос, который вызовет сильные возражения со стороны Англии».

«Г-н Кривошеин спросил меня, знаю ли я что-нибудь о ваших (Делькассе) намерениях. Я ответил, что я их совершенно не знаю. В свою очередь я его спросил, имел ли он случай изложить свои мысли императору. «Да, вчера (!),—ответил он,—но я вас уверяю, что это всецело мои личные мысли».

Тут сейчас же и обнаружилось, какого плохого дипломата держала Франция в Петербурге в эти решительные дни. Весь смысл визита Кривошеина заключался в том, чтобы столковаться с Францией о Константинополе за спиною англичан. А Палеолог на другой же день, при Сазонове, рассказал обо всем Бьюкенену. Сазонову ничего не оставалось, как сделать «хорошую мину при плохой игре», выдав попутно Кривошеина, с которым он, будто бы, «не вполне согласен».

«Но я думаю, как и он, что при заключении мира мы должны раз навсегда обеспечить себе свободный проход через проливы».

«Он продолжал очень твердым тоном: «Турки должны остаться в Константинополе и в окрестностях. Что касается свободы проливов, она должна быть нам гарантирована под тремя условиями: 1) что на берегах Дарданелл не могут воздвигаться никакие укрепления; 2) что полиция в Дарданеллах и Мраморном море должна быть поручена особой комиссии, имеющей в распоряжении морскую силу; 3) что Россия получает морскую стоянку у входа в Босфор, например, в Буюкдере. Этот вопрос имел для нас жизненный интерес. Откладывать его решение более невозможно».

«Сэр Д. Бьюкенен и я, мы оба вынесли впечатление, что, говоря таким образом, г. Сазонов сообщил нам не простой проект, но решение».

Предвидя конец «дела», на которое его наняли, мавр требовал гарантии, что ему заплатят. И так как упрямая Турция все еще не хотела воевать, приходилось ставить ультиматум французам и англичанам. Как там хочешь, а проливы подай! Неизвестно, как справились бы союзники Николая II с деликатной задачей раздела не участвовавшего в войне государства, если бы на помощь не пришли немцы,—те самые милые немцы, которые уже спасли однажды Сазонова от опасности русско-турецкого союза. Преследуя, как мы видели, свои собственные задачи и не смущаясь минутными совпадениями своих путей с путями русского царизма, к концу октября они убедили Турцию вступить в войну. Вопрос сразу упростился чрезвычайно.

С 29 октября 1914 г. Турция воевала, *формальных* затруднений к тому, чтобы официально поднять вопрос о проливах, более не было. Но после провала первой попытки в Петербурге колебались. А когда колебания прекратились, новому выступлению была придана столь торжественная форма, что дорогим союзникам не было никакой возможности увернуться от ответа, как это было в первый раз. Инициативу разговора взял на себя сам Николай.

[1] В Марокко. Состоит под международным протекторатом.

В середине ноября в петербургских салонах большой шум производил Витте. «Со спокойной и высокомерной дерзостью», изумлявшей союзных послов, он всюду проповедывал необходимость «ликвидировать эту нелепую авантюру», каковое бесцеремонное название прилагалось им к «великой войне» или, по крайней мере, к участию в ней России. То, что Витте за такие речи не арестовывали и не высылали, приводило союзную дипломатию в большое смущение. Не воскресает ли фавор Витте? Раз ведь уже он из немилости и опалы отправился вершить судьбы внешней русской политики в Портсмуте. Не возвращаются ли дни Портсмута снова? Безнаказанная «дерзость» Витте так смущала Палеолога, что он попросил объяснения у Сазонова. Объяснения он не получил, что, конечно, еще усилило его беспокойство, но несколько дней спустя он получил приглашение прибыть в Царское село, где безвыездно лето и зиму жили Николай и Александра Федоровна.

Союзные послы отнюдь не были постоянными гостями в романовской берлоге. Палеолог не видал царя с первых дней войны. Даже в его дневнике, опубликованном, а фактически, вероятно, и написанном уже в те дни, когда романовская империя давно была на том свете, чувствуется, до чего необыкновенным и заманчивым эпизодом была для французского посла эта «интимная» беседа с Николаем. Еще курьезнее это отражается в переписке нейтральных и союзных дипломатов, каждому из которых Палеолог поспешил сообщить «на ушко» об оказанной ему чести. Об этом писали и японцы, и итальянцы, и болгары,—это только считая те телеграммы, которые сочло нужным перехватить и расшифровать русское министерство иностранных дел. Сам Палеолог передал «историческую беседу» с ним царя в *четырех* особо зашифрованных и сверхсекретных телеграммах Делькассе, в первых же из которых тщательно отмечено, что разговор продолжался *час с четвертью*.

Так как версия Палеолога изложена весьма близко к его телеграммам в напечатанных им мемуарах, переведенных по-русски, то излагать ее подробно не имеет смысла. Да Николай и не сказал ему ничего существенно нового. Он рабски повторил 21 ноября сентябрьские разговоры двух своих министров, Сазонова и Кривошеина, иногда буквально почти теми же словами (Палеолог не сообщает, не было ли у него перед глазами шпаргалки), только изменив порядок: те сначала говорили о разделе Германии и Австрии, а потом о Константинополе и проливах, Николай шел обратным путем. Интереснее поэтому на основании сохраненных третьими лицами следов «нескромности» болтливого дипломата восстановить намеренно или нечаянно опущенные им подробности (характерно, что о беседе с Сазоновым 14 сентября он в своих мемуарах не говорит ни слова, а о разговоре с Кривошеиным 25 сентября только упоминает, не излагая подробно его содержания).

По японскому пересказу, Николай начал прямо со ссылки на «некоторых лиц», которые «недавно» утверждали, что «Россия в настоящее время желает мира». Это было прямое использование разго-

воров Витте, под впечатлением которых Палеолог ехал в Царское село. На этом фоне категорическое заявление Николая, что он будет воевать до «конца», должно было особенно сильно подействовать. Болгарская версия, помимо того, что дает в очень развернутом виде беглое замечание Николая в «Мемуарах»: «Болгария, если будет вести себя благоразумно, получит вознаграждение от Сербии в Македонии» (в телеграмме Маджарова Радославову это превращено в целую программу, с тремя возможными исходами в зависимости от поведения Болгарии), помимо этого сообщает, что Николай был «в удрученном состоянии духа». Это «удрученное состояние» должно было лишний раз напомнить французскому послу, что, как Николай ни «тверд», терпению его есть все же предел.

Хотя Палеолог на другой день после беседы с бодростью говорил японцу, что по поводу проливов «нет надобности опасаться затруднений между Россией и Англией», беседа Николая, на первый взгляд, подействовала не многим больше, чем разговоры двух министров в сентябре. Все, чего Николай мог добиться при содействии Франции, это—что Бьюкенен

> «в ноябре получил инструкции известить русское правительство, что в случае нашей победы над Германией судьба Константинополя и проливов будет решаться в соответствиях с нуждами России» (!).

Сам английский посол должен был признать, что это сообщение «в силу своей неопределенности ненадолго удовлетворило русское правительство»[1]. Чтобы услыхать в устах англичан язык, более членораздельный, нежели изречения дельфийской пифии, пришлось пустить в ход средства, более энергические, чем старческая болтовня Витте.

На помощь пришли опять немцы. На протяжении этого маленького исследования комбинации Сазонов—Германия не суждено нас оставлять ни на одном этапе. В середине декабря на всех дипломатических перекрестках вдруг снова поднялись разговоры *о мире*. Уже 6-го об этом телеграфировал Берхтольду[2] Паллавичини, австрийский посол в Константинополе, со слов своего германского коллеги Вангангейма: на сцене опять было посредничество Вильсона. Как Паллавичини узнал потом уже непосредственно от американцев, переговоры на этот счет возобновились еще в ноябре, но от Австрии их первое время скрывали. Не имея под руками австрийских документов, трудно судить, по соглашению ли с Германией или в отместку за ее сепаратное выступление, но Австрия, со своей стороны, начала принимать аналогичные шаги. От *половины декабря* мы имеем категорическое заявление о мире, который Австрия предлагала Сербии: об этом телеграфировал Сазонову от 3/16 декабря Бенкендорф из Лондона, со слов тамошнего сербского представителя, как о вещи общеизвестной, а телеграмма Соннино[3] Карлотти[4] от 10 декабря

---

[1] *Дж. Бьюкенен*, Мемуары дипломата, стр. 130, русск. изд.
[2] Австрийский министр иностранных дел.
[3] Итальянский министр иностранных дел.
[4] Итальянский посол в России.

прямо так и озаглавлена была: «Австро-сербский мир» (pace austro-serbo).

Но «австро-сербский мир» логически ставил вопрос об «австро-русском мире», ибо формально причиной разрыва Австрии с Россией была именно австро-сербская война. По существу мы знаем, что проект раздела Австро-Венгрии существовал в Петербурге задолго до австрийского ультиматума Сербии и даже ранее, чем явился повод для такого ультиматума[1]. Но правительству Николая II могло быть выгодно иной раз и позабыть об этом существе дела. Австрия хочет мириться,—отчего же с ней и не поговорить?

И вот от 4 января мы имеем депешу второстепенного нейтрального дипломата, греческого посланника в Петербурге, Драгумиса Венизелосу, депешу, которую приходится привести целиком в переводе (оригинал на французском языке). Она тоже была перехвачена, разумеется, царским телеграфом.

> «Я узнал, что председатель совета министров ездил в ставку, где находится и император. Сербский посланник сообщает, что, по сведениям из главного штаба, целью свидания (Горемыкина и Николая.—*М. П.*) было обсуждение вопроса об отдельном мире с Австрией. Условия русского правительства следующие: Россия получает Галицию, Сербия—Боснию. Богемия становится автономной. С другой стороны, мне сообщают, что Германия и Австрия, чтобы спасти прежде всего свои собственные территории, склонны признать за Россией право на проливы. Сербский посланник получил приказания ходатайствовать перед русским правительством о движении русских войск в Венгрию».

По существу дела совершенно безразлично, имел ли место факт австро-русских переговоров в декабре—январе 1914—1915 гг., или нет. Два обстоятельства указывают на то, что психологически это было вполне возможно. Во-первых, эта мысль встречается в мемуарах Палеолога по 1 января, причем инициативу автор мемуаров приписывает себе, за что будто бы он получил нагоняй от Делькассе (запись под 9 января). Надо иметь в виду, что к Палеологу относились в русском министерстве иностранных дел как к фигуре комической, и поэтому чрезвычано мало правдоподобно, чтобы Сазонов предпринял какие-нибудь практические шаги на основании его, Палеолога, указаний. В то же время мы имеем телеграмму уже самого Сазонова Извольскому[2] почти на две недели старше записи Палеолога (от 6/19 декабря 1914 г.), где мы читаем:

> «Сюда также доходят слухи о возможной попытке Австрии заключить отдельный мир, но пока эти слухи еще весьма неопределенны, и их подтверждение представляется гадательным. Во всяком случае, почин подобных переговоров должен принадлежать Австрии, и нам необходимо будет выслушать ее предложения, прежде чем установить наши условия».

О принципиальном отказе от переговоров, как видим, здесь нет и речи. А стремление Палеолога приписать инициативу себе, мотивируя притом стремление к австро-русскому миру интересами Франции,

---

[1] См. статью «Как возникла мировая война» в настоящем сборнике.

[2] Русский посол в Париже.

кажется, всего правильнее будет рассматривать как признак, что переговоры имели место, и не без ведома французов. Участие последних нам станет вполне понятно, если мы припомним одно место из разговора Палеолога с Николаем 21 ноября. В конце его Палеолог очень добивался услыхать от Николая, что «единственным и окончательным движением русской армии будет движение к Берлину». Николай это подтвердил, посочувствовав кстати трудному положению французской армии. В самом деле, на западе к этому времени произошла окончательная «стабилизация фронтов», результаты марнского успеха были исчерпаны, союзники опять были на обороне, а наступали немцы,—словом, отвлечение внимания русских к Вене было как нельзя менее приятно для французского главного командования. Заключение мира с Австрией раз навсегда фиксировало, как «единственную и окончательную» цель похода, германскую столицу; ради этого стоило слегка изменить англичанам (чтобы отклонить это подозрение, Палеолог делает молчаливым свидетелем своей беседы с Сазоновым Бьюкенена, но насчет таких подробностей его мемуары менее всего надежны).

Если австро-русский мир не беспокоил Францию и мог быть ей даже на-руку, дело совсем иначе обстояло с англичанами. Выключение Австрии из войны наглухо отрезывало Берлин от Константинополя и отдавало Турцию на милость и немилость России. Но англичане еще далеко не переварили той мысли, что русские станут хозяевами Константинополя. Что проливы были для англичан наживкой на удочке, при помощи которой была поймана такая крупная рыба, как царская Россия,—это несомненно, но наживку на крючок насаживают совсем не затем, чтобы серьезно кормить ею рыбу. И всего менее приятным для рыболова моментом бывает, когда рыба наживку съест, а с крючка сорвется. А мир с Австрией именно это и обещал. Получив Галицию, а следом за тем легко вынудив Турцию передать в русские руки проливы, к чему Николай стал бы продолжать войну?

Перспектива австро-русского мира ставила перед англичанами совершенно определенную *политическую задачу*: *устроить так, чтобы Константинополь Николай мог получить только из рук Англии*. А это практически приводило к *стратегической* задаче: *быть* в *проливах раньше русских*. 19 февраля 1915 г. английский флот начал бомбардировку дарданельских фортов.

Это не только домысел «задним числом» историка: современная событиям русская дипломатия совершенно так же расценивала положение вещей. Посланник в Белграде, кн. Гр. Трубецкой, телеграфировал (13/26 февраля) Сазонову:

> «Проливы для нас не только средство, но и конечная цель, коею осмысливается вся внешняя война и приносимые ей жертвы. Для меня борьба с Германией и Австрией и союз с Францией и Англией только средство для достижения этой народной цели. С этой точки зрения не может быть безразлично, мы или наши союзники завладеем проливами. Одно участие их с нами в этом деле является уже прискорбным, ибо создает им опасные для нас права в конечном разрешении вопроса. Завладение же проливами без нас, было бы прямо пагубно, и в этом случае Констан-

тинополь стал бы в будущем могилою нынешнего нашего союза... Относительно конечного разрешения вопроса категорически должен вновь высказать глубокое убеждение, что только полный и всецелый контроль наш над обоими проливами может быть признан действительным разрешением задачи, допущение же участия наших союзников в контроле над Дарданеллами, хотя бы под видом их нейтрализации, может послужить началом конца наших отношений и установить для нас режим, менее обеспеченный, чем при слабых турках. Поэтому, если невозможно разрешить вопроса всецело в нашу пользу, т. е. присуждением нам границы Мидия—Энос то, наименее плохим из последующих решений было бы оставление на проливах Турции с установлением нашего военно-морского контроля над проливами. Это фактически привело бы Турцию к положению Бухары и в то же время оградило бы финансовые и экономические интересы союзников, не встречая, вероятно, непреодолимых препон в их общественном мнении. Во всяком случае, только исчерпывающий обмен мнений с ними теперь же способен предотвратить самые опасные осложнения в ближайшем будущем».

Мы видим кстати, почему безразлично было, имели ли место австро-русские переговоры в действительности, или то, что излагала депеша Драгумиса, было лишь ловкой уткой, пущенной русским главным штабом по примеру той, что вызвала убийство Франца-Фердинанда в июне 1914 г.[1]. Николай мог изменить, и англичане считались с этой возможностью даже независимо от вопроса, началась уже ее реализация или еще нет. А раз был налицо объективный факт атаки Дарданелл англичанами, французы участвовали в операции явно нехотя и в довольно скромных размерах, «исчерпывающий обмен мнений» являлся столь же объективно неизбежным последствием.

Посредником в «исчерпывающем обмене мнений» опять, как в сентябре и ноябре, могла быть только Франция. По Палеологу, Сазонов вновь затронул щекотливую тему 1 марта, но мы имеем депешу Сазонова Извольскому за несколько дней до этого числа, свидетельствующую, что почва нащупывалась уже давно. Вот эта депеша (13/26 февраля):

«Ваша телеграмма № 86 получена. Целью нашего утверждения на проливах является исключительно обеспечение для России выхода в свободное море как в мирное, так и в военное время. Недавние примеры попрания Германиею актов, обязывавших ее к уважению нейтралитета, а также меры, принимавшиеся Турциею за последние годы в проливах с громадным ущербом для нашей торговли, служат доказательством, что только прочное основание наше в проливах сможет служить гарантиею того, что мы будем в состоянии отразить всякую попытку запереть нас в Черном море. Никаких земельных приращений ради увеличения нашей территории мы не ищем. Ввиду этого правительство озабочено определением того минимума земель, присоединение коих необходимо для достижения намеченной выше цели. Работа эта еще не окончена и сводится покамест к следующему: на европейском берегу должен быть положен конец турецкому владычеству, и линия Энос—Мидия должна служить границею между нами и Болгарией. На азиатском берегу пограничная линия должна примерно итти по реке Сакарии, а засим должно быть обеспечено наше положение на проливах со стороны южного берега Мраморного моря. Экономические интересы как Румынии, Болгарии, вероятно, остатка Турции, а также интересы международной торговли будут приняты нами во внимание».

[1] См. ст. «Как возникла мировая война» в настоящем сборнике.

С Палеологом и Бьюкененом заговорили уже только тогда, когда «работа» была «окончена», причем впервые было инсценировано «общественное мнение»,—атака Дарданелл, о которой было напечатано в газетах, давала достаточный предлог.

«Несколько недель тому назад,—говорил Сазонов,—я мог еще думать, что открытие проливов не включает в себя необходимо окончательной оккупации Константинополя. Сегодня я должен констатировать, что вся страна требует этого радикального решения... Между тем, сэр Эдуард Грей до сих пор ограничился тем, что известил нас, что вопрос о проливах будет решен согласно с желаниями России. Правда, король Георг пошел дальше, сказав нашему послу Бенкендорфу: „Константинополь должен быть ваш“ (Constantinopole must be yours). Но пришло время выражаться точнее. Русский народ не должен более оставаться в неведении, может ли он рассчитывать на своих союзников при разрешении своей национальной задачи. Англия и Франция должны громко заявить, что в день заключения мира они согласятся на присоединение Константинополя к России»[1].

Церемониал был опять проделан до конца, но на этот раз ускоренным темпом. 3 марта Палеолог снова был приглашен в Царское село,—предлогом был визит в Россию генерала По, известного «своим талантом, честностью и благочестием». Столь замечательную личность нельзя было не угостить царским обедом, на котором неизбежно должен был присутствовать и французский посол. Подкрепившись пищею, Николай заговорил «твердо». Отозвав Палеолога в сторону, Николай сказал ему:

«Вы помните разговор, который был у нас с вами в ноябре прошлого года. Мои взгляды с тех пор не изменились. Но один пункт события заставляют уточнить: я хочу сказать о Константинополе. Вопрос о проливах в высшей степени волнует русское общественное мнение (!). Его[2] значение с каждым днем становится могущественнее. Я не признал бы за собою права возложить на мой народ страшные жертвы теперешней войны, не обеспечив ему, как вознаграждение, осуществление его вековой мечты (!!). Итак, мое решение принято, господин посол. Я разрешу радикально задачу Константинополя и проливов. Решение, на которое я вам указывал в ноябре, есть единственное возможное, единственное практическое. Город Константинополь и Южная Фракия должны войти в состав моей империи. Что касается администрации города, я готов допустить специальный режим, учитывающий интересы иностранцев... Вы знаете, что Англия уже дала мне свое согласие. Король Георг сказал недавно моему послу: „Константинополь должен быть ваш“. Это заявление гарантирует мне добрую волю британского правительства. Если бы, однако, возникли какие-нибудь затруднения в деталях, я рассчитываю, что ваше правительство поможет мне их уладить».

Тон Николая был так тверд, что, ослабленный к тому же процессом пищеварения, Палеолог нашелся только пролепетать:

«Могу ли я уверить мое правительство, что намерения вашего величества не изменились и по отношению к проблемам, которые непосредственно интересуют Францию».

«Разумеется,—был ответ.—Я желаю, чтобы Франция вышла из этой войны столь же великой и сильной, как только возможно. Я заранее

[1] Запись Палеолога по 1 марта 1915 г.
[2] Т. е. разумеется, вопроса, а не общественного мнения.

подписываюсь под всеми пожеланиями вашего правительства. Берите левый берег Рейна, берите Майнц, берите Кобленц, идите дальше еще, если находите нужным. Я буду счастлив и горд за вас».

Бери все, что хочешь, только дай мне Константинополь. Последующие французские правительства не забыли этих послеобеденных излияний Николая, и перед самой Февральской революцией они были фиксированы в особом соглашении. Но твердый тон, несомненно, объяснялся не только выпитым шампанским: полученная несколько дней спустя депеша Делькассе должна была показать Палеологу, что русское правительство на сей раз подковалось на все четыре ноги. Французское правительство изъявляло свою полную готовность помочь России в «проливном» деле, во всем ее объеме, включая Константинополь. Едва ли можно сомневаться, что Николай, ведя разговор с Палеологом, уже знал, через Извольского и Сазонова, содержание будущей депеши Делькассе. Наивный дипломат мог думать, что он слушает «откровение»: на деле это была такая же составная часть церемониала, как и самый обед в честь благочестивого генерала По.

Само собою разумеется, что при наличии согласия Делькассе церемониал предназначался не для Палеолога. Болтливость последнего была уже хорошо известна, говорить с ним значило говорить через окошко на площадь, и первый, кто должен был услыхать, были англичане. «Твердый» тон Николая должен был подкрепить «памятную записку», которую на другой же день, 4 марта, Сазонов официально передал Бьюкенену и Палеологу. Самый день передачи, несомненно, был не случайной составной частью все того же церемониала: 4 марта нового стиля—это 19 февраля стиля старого, годовщина Сан-Стефанского трактата 19 февраля 1878 г.

По отношению к французам и самая передача меморандума была простым церемониалом. Что касается англичан, неизвестно, как ответили бы они, если бы английский флот уже стоял перед Константинополем. Но он был еще по ту сторону Дарданелл. Возможность сепаратного мира продолжала висеть в воздухе. Первое письмо княгини Васильчиковой из Австрии относится именно к этим дням—оно помечено 25 февраля/10 марта 1915 г. Как документ письмо не имеет, разумеется, никакого отношения к переписке о проливах. Но Васильчикова была одним из каналов, через которые шли русско-австрийские секретные сношения. Не зная самого письма, англичане, если у них был сколько-нибудь сносно поставленный шпионаж, не могли не знать, что переписка по данному сюжету вообще ведется. И, повторяю, им не было надобности иметь точные сведения, вошли ли сношения уже в стадию формальных переговоров о мире, или идет еще только «подготовка почвы». Константинополя еще не было в руках, а Россия могла уйти из рук. Всю эту цепь соображений необходимо иметь в виду, читая тот достопримечательный документ, который Бьюкенен передал Сазонову 12 марта в ответ на русский меморандум от 4-го. Английский меморандум[1] стоит привести целиком—в нем мы

[1] Здесь мы даем свой перевод, несколько отличающийся от перевода министерства иностранных дел.

имеем краткий конспект всей философии «мировой войны». Когда кто-нибудь вздумает повторять фразы об интересах цивилизации и культуры, достаточно в ответ ему прочесть эту вещь,—самый наивный человек поймет, о какой «цивилизации» тут шло дело.

«Требования, предъявленные императорским правительством в его памятной записке от 19 февраля (4 марта 1915 г.) далеко выходят за пределы тех пожеланий, на которые намекал г. Сазонов несколько недель тому назад. Прежде чем правительство его величества (т. е. английское) успело обсудить, каковы будут его собственные пожелания при составлении окончательных условий мира, Россия требует определенного обещания удовлетворить ее желания в отношении того, что является фактически *богатейшей добычей всей войны.* (!)[1]. Сэр Эдуард Грей надеется поэтому, что г. Сазонов признает, что правительство его величества не может дать большего доказательства дружбы, чем согласие на условия вышеупомянутой памятной записки. Этот документ заключает в себе полный переворот в традиционной политике правительства его величества и находится в прямом противоречии к мнениям и чувствам, некогда всеобщим в Англии и никоим образом не угасшим окончательно. Сэр Эдуард Грей надеется поэтому, что императорское правительство признает, что обещания общего характера, данные недавно г. Сазонову, осуществлены самым лойяльным и полным образом. Представляя теперь свой меморандум, правительство его величества верит и надеется, что осуществление предлагаемого соглашения обеспечит прочную дружбу между Россией и Великобританией.

Из британского меморандума следует, что пожелания правительства его величества, какое бы значение они ни имели для британских интересов в других частях света, не содержат в себе ни одного условия, которое могло бы помешать России осуществлять контроль по отношению к территориям, обозначенным в русской памятной записке от 19 февраля/4марта 1915 г.

Ввиду того, что Константинополь всегда останется складочным пунктом для торговли в юго-восточной Европе и Малой Азии, правительство его величества потребует, чтобы Россия, вступив в обладание им, сделала его «вольной гаванью» для товаров, идущих не на русскую и не с русской территории. Правительство его величества потребует также свободного плавания коммерческих судов через проливы, что г. Сазонов уже обещал.

Не считаясь с той пользой, которую могут принести общему делу союзников морские и сухопутные операции, предпринятые в настоящее время правительством его величества в Дарданеллах, ясно, что эти операции, как бы успешны они ни были, не могут принести никакой пользы правительству его величества при окончательном заключении мира. Одна Россия пожнет непосредственные плоды этих операций, если война будет победоносна. Поэтому, по мнению правительства его величества. Россия не должна создавать затруднения для какой-либо державы, которая па разумных основаниях предложила бы свое содействие союзникам. Единственная держава, могущая участвовать в операциях, касающихся проливов, есть Греция. Адмирал Гарден просил адмиралтейство выслать ему еще «истребителей», но таковых в распоряжении адмиралтейства более нет. Помощь греческой флотилии, если бы таковая могла быть обеспечена, была бы поэтому неоценима для правительства его величества.

Одной из главных целей, которые преследовало правительство его величества, предпринимая операции в Дарданеллах, было побудить нейтральные балканские государства примкнуть к союзникам. Правительство его величества надеется, что Россия не пощадит усилий, чтобы успокоить опасения Болгарии и Румынии, будто бы переход проливов и Константинополя в русские руки будет для них невыгоден. Правительство его вели-

[1] «The richest prize of the entire war».

чества надеется также, что Россия сделает все возможное, чтобы сделать сотрудничество (с нами) этих двух государств для них привлекательным.

Сэр Эдуард Грей указывает, что, очевидно, представится необходимость обсудить в целом вопрос о будущих интересах Франции и Великобритании в том, что теперь является Азиатской Турцией; формулируя свои пожелания относительно Оттоманской империи, правительство его величества будет совещаться с французским и с русским правительствами. Когда однако же станет известно, что по окончании войны Россия получает Константинополь, сэр Эдуард Грей пожелает констатировать, что в процессе переговоров правительство его величества стипулировало, что святые места мусульман и Аравии останутся при всех обстоятельствах мусульманскими государствами.

Сэр Эдуард Грей пока не может сделать никаких определенных предложений по поводу британских пожеланий; но одним из пунктов последних будет пересмотр персидской части англо-русского соглашения 1907 г. в смысле признания британской сферой того, что является теперь сферой нейтральной.

Пока союзники не смогут дать балканским государствам, в особенности Болгарии и Румынии, удовлетворительных гарантий по отношению к территориям, смежным с их границами и присоединения которых они желают, и пока соглашения относительно французских и британских пожеланий по поводу окончательных условий мира не выяснятся более определенно, сэр Эдуард Грей считает в высшей степени желательным, чтобы состоявшееся теперь соглашение между русским, французским и британским правительствами оставалось в тайне».

Русского медведя соглашались пустить в Царьград, но только в клетке. Мы помним из записки Сазонова от 27 ноября 1913 г., что в Константинополе лежали двоякого рода ключи. Об одних кричали направо и налево: то были «ключи от собственного дома», свобода русского хлебного вывоза. О других говорили друг другу шопотом на ушко: это были «ключи к господству над Балканским полуостровом и Малой Азией». Казалось, что от Константинополя оба сорта ключей неотделимы. Но англичане сумели произвести тонкую операцию их разделения. Вы желаете Константинополя и проливов? Извольте, но только Константинополь и только проливы. Балканский полуостров? Нет, там есть законные интересы Болгарии и Румынии, которые вы должны уважать. Малая Азия? Это мы еще посмотрим. А сколько придется заплатить за «посмотрим?»

А пока-что и за одну святую Софию пришлось отдать некоторые реальные ценности. «В уплату за утверждение планов России на Константинополь и проливы британское правительство требует от императорского правительства согласия на то, чтобы нейтральная зона Персии (т. е. весь центр Ирана, включая область Испагани) была включена в английскую зону.

Сазонов тотчас отвечает Бьюкенену:

— Решено.

Вот и улажен в одну минуту этот вопрос о Персии, который в течение двух веков ссорил Англию с Россией»[1].

У великой войны за свободу и цивилизацию была не только «богатейшая добыча», Константинополь, но были добычи второго

---

[1] *Палеолог*, Запись под 12 марта.

и даже третьего сорта (для мелких союзников). Общей чертой всех «добыч» было то, что население их никто не спрашивал, согласно ли оно с планами «великих» держав на его счет. Никаким представителем Персии даже и чуть-чуть не пахнет во всех этих переговорах, а изменилась участь нескольких миллионов именно персов, державших строжайший нейтралитет. И это, нужно сказать, была единственная реальная перемена в результате всего шума. Во-первых, англичане даже и «ключи от собственного дома» постарались сделать возможно менее реальными. Читатель заметил, с какой тщательностью английский меморандум устраняет всякую мысль о возможности русской таможни в Дарданеллах. Не только политическое господство над Балканами и Малой Азией, но и экономическое удушение русских конкурентов на хлебном рынке, дунайских стран, было заранее исключено. Если к этому добавить, во-вторых, что и военное господство России в Дарданеллах было под большим сомнением, поскольку из островов командующих над выходом из пролива, самый сильный, Лемнос, оставался вне русской зоны,—в нее входили только два, более близких, не менее важных острова, Имброс и Тенедос, так что возможность запереть пролив оставалась за той державой, в руках которой был Лемнос (тогда уже занятый англичанами),—то название «богатейшей добычи всей войны» начинало звучать довольно иронически. Не о *таком* Константинополе мечтали последние Романовы!

Неизвестно, сколько раз почесали бы в затылке Сазонов и Николай, раскусив истинную цену «величайшего доказательства» английской дружбы. Но мы уже видели, что роковым образом, без заранее обдуманного намерения, но с необычайной меткостью, на выручку русскому империализму всегда приходил германский. 18 марта при попытке прорвать Дарданеллы английский флот был разбит наголову. Штурм не удался, приходилось вести медленную осаду (которую после бесчисленных жертв потом пришлось снять).

Ни одной бумаги во всей этой переписке Сазонов не подписывал, вероятно, с таким удовольствием, как новый «благодарственный» меморандум Англии 20 марта. Фактически, это была только бумага. До Царьграда англичанам было так же далеко, как и русским. А вексель, хотя и с неопределенным сроком уплаты, все же был в кармане. Когда объективное соотношение сил на восточном театре войны станет благоприятным, его можно предъявить к уплате. А что объективное соотношение сил приведет русскую армию через шесть месяцев на берега не Босфора, а Западной Двины,—этого в марте 1915 г. ни Николаю, ни Сазонову, разумеется, не могло притти в голову [1].

*Статья вышла отдельным изданием. М., ГИЗ, 1924 г.*

---

[1] Документы приложенные к отдельному изданию этой статьи, в настоящем издании опущены. Соответствующая дипломатическая переписка опубликована в специальном издании Центроархива «Царская Россия в мировой войне», Ленинград 1926 г. Предисловие к этому последнему изданию печатается ниже.— *Прим. ред.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА «ЦАРСКАЯ РОССИЯ В МИРОВОЙ ВОЙНЕ»

Издание печатаемых ниже документов подготовлялось к десятилетию разрыва императорской России с Турцией (в октябре 1914 г.). «Турецкими» документами сборник и начинается. Целый ряд причин задержал издание, и оно выходит, с некоторым опозданием, к десятилетию вступления в войну Италии: перепискою по итальянским делам заканчивается этот том.

Лежащие в промежутке «болгарские» и «румынские» документы дорисовывают картину. В центре ее все время, от Турции до Италии, остаются *Балканы*. Объектом войны для Николая II и его дипломатов был Царьград: средоточие мира в мировой войне для России, но «богатейшая добыча всей войны» и для Англии. Перед царской дипломатией на пути к цели лежал целый ряд препятствий,—и ряд сложных комбинаций приходилось создавать, чтобы эти препятствия преодолеть. Первой из них, раньше других сорвавшейся, было *изолирование Турции*. «Проливы», защищаемые германской техникой, были неприступны—англичанам скоро пришлось в этом убедиться на опыте. Не пустить немцев в проливы, отрезать Турцию от Германии—было первоочередной задачей. Этого проще всего было достигнуть, втянув в войну Болгарию; болгарский заслон был бы ближайшим к центру действия и самым надежным.

Стратегически это было бесспорно. Но, прежде чем стратегия могла приступить к действию, приходилось разрешить *ряд политических* проблем, и тут далеко не все было просто. Оказалось, что Болгария, истерзанная и еще кровоточащая со времени экзекуции, произведенной над нею в 1913 г. под руководством ее «освободительницы» России, помимо очень горького осадка от экзекуции, окончательно изгнавшей всякие сентиментальные воспоминания об «освобождении»[1], может выступить только ради одного объекта: *Македо-*

---

[1] На вопрос одного руссофила лидеру одной из болгарских партий, ратовавшему за вступление Болгарии в войну на стороне Германии: «А что же вы будете делать с могилами 200 тыс. русских, пожертвовавших свою жизнь за освобождение Болгарии?» последовал ответ: «Будем с.... ходить на них». См. «Архив русской революции», т. XVI, стр. 157.

*нии*. Попытка подкупить болгар турецкой *Фракией* ни к чему не привела, кроме конфузных объяснений с турками, до сведения которых эта попытка сейчас же дошла[1].

«Македония занимает в умах и чувствах всех болгар совершенно исключительное место»,—телеграфировал русский посланник в Софии (26 октября по ст. ст.). «С Фракией у болгар связаны слишком тяжелые воспоминания и, кроме того, они считают, что на эту территорию у них нет конкурентов; к Добрудже они относятся сравнительно холоднее, а Македония стала теперь для всех прямо неотступною мечтой»... «Болгары настолько дорожат Македонией, что я уверен, что если, с согласия и по почину Сербии, мы оба предложили открыто эту комбинацию, то ни одно правительство не устояло бы перед натиском общественного мнения. Ввиду остроты сербско-болгарских отношений можно было бы позаботиться, чтобы две армии действовали в различных местностях и не были связаны общим командованием».

Пикантность последней фразы читатель оценит и без нашего содействия. «Братья»-славяне на Балканах вели себя так, как и полагается братьям, делящим наследство (в данном случае турецкое). Сербы всеми десятью пальцами вцепились в «свое» и ни под каким видом не соглашались выпустить его из рук. Меньше недели спустя тому же Савинскому приходилось телеграфировать:

«Французский посланник сообщил мне полученную им из Бордо телеграмму с известием, что г. Спалайкович с таким же преступным шовинизмом, как сербский посланник в Афинах—телеграмма Демидова № 298—объявляет о невозможности для Сербии никаких уступок о том, что он предпочитает оставить всю Сербию австрийцам, чем уступить клочок Македонии болгарам. Эти ослепленные своими мелочными побуждениями и счетами люди не хотят видеть, что они играют в руку Австрии, которая не перестает здесь работать всеми силами в пользу выступления Болгарии в сторону Македонии. Работа эта скорее благодарна, и если бы она удалась, и если бы сербские квази-патриоты исполнили свои (пропуск), то план Австрии легко бы осуществился. Раздавив Сербию, она заняла бы Македонию, временно предложив ее Болгарии; она купила бы этой ценой эту последнюю, а сама прошла бы к Салоникам и Константинополю».

Попытка англичан, со свойственным им духом компромисса, найти среднее решение, купив Болгарию *куском* Македонии, ровно

---

[1] 17/30 августа 1914 г. Гирс телеграфировал из Константинополя: «Считаю долгом предостеречь против каких бы то ни было обещаний Болгарии возможных награждений за счет Турции. Таковые могли бы только вселить сомнения в искренности наших к ней отношений, в то время когда мы вступаем с обязательством уважать ее территориальную неприкосновенность. Джавид бей указывал французскому послу, что ему известно от турецкого посланника в Бухаресте, со слов Радева, будто бы мы предложили Болгарии, без ее содействия в нынешней войне,—возвращение ей турецких владений на север от линии Энос—Мидия. На вопрос же, кому будет принадлежать область на юг от сказанной линии, якобы получился ответ: конечно, России. Такие, приписываемые нам отзывы могут только быть использованы немцами, как подтверждение возводимых ими же на нас обвинений, и озлобляя турок, толкать их на разрыв с нами. По моему глубокому убеждению, компенсации, которые мы можем предложить Болгарии, должны быть сначала установлены с ведома заинтересованных и основаны исключительно на нашем нравственном праве требовать их». Сравни его же телеграмму от 24 августа/6 сентября.

ни к чему привести не могла[1]. Австрийцы, которые готовы были уступить Болгарии любую часть сербской территории, какая будет занята болгарскими войсками, имели в руках беспроигрышную игру, и уже в декабре 1914 г. у Тарновского (австрийского посланника в Софии) и Радославова (болгарского премьера) происходили такие разговоры:

«Я сказал ему,—телеграфировал в Вену Тарновский (копия телеграммы была выкрадена русским посольством, почему и попала в наши архивы),—что положение серьезно, что как правительству, так и королю очень хорошо известно, что только при посредстве Империи они могут получить Македонию, что единственно составило бы действительно ценное приобретение для Болгарии; что министр-председатель должен отдать себе отчет в действительном положении вещей. Мы и Германия желаем, чтобы Болгария приступила к действиям, и не хотим никакого промедления. Министр-председатель всегда отговаривается тем, что Болгария еще не готова к войне, он, однако, не говорит, что как только она будет готова, то сейчас же выступит.

Мой собеседник ответил на это, что Болгария хорошо знает, что занятие Македонии невозможно без военного выступления, поэтому они и готовятся к нему серьезно.

Я спросил, не вызывается ли то обстоятельство, что Болгария еще не вполне готова, недостатком снаряжения,—мой собеседник ответил, что, по его мнению, это, именно так и есть, но добавил, что военный министр надеется быть в полной боевой готовности к 15-му. «Тогда Болгария тотчас же приступит к военным действиям»,—сказал я, и услышал в ответ, что этот вопрос будет разрешен правительством, сам же министр-председатель не может единолично определить срок. Я сказал, что это далеко не определенный ответ, собеседник же мой заметил, что он желает нашей победы и что, если бы он был убежден, что она зависит от болгарского выступления, то он тотчас же предпринял бы его; он убежден однако, что положение от этого лишь ухудшится, так как Греция и Румыния тоже не останутся нейтральными. Между тем, если бы Болгария еще некоторое время сохранила спокойствие, а мы разбили бы Сербию, то ни Греция, ни Румыния тогда уже не стали бы на сторону Сербии, и здесь-то болгарское выступление могло бы оказать нам действительную помощь.

Министр-председатель выразил надежду, что он все же получит от нас и Германии письменное обещание, как он о том просил. Он обратился с тем же и к германскому посланнику».

Осторожная болгарская буржуазия требовала векселя—а пока его не было, дальше нейтралитета, явно дружественного центральным державам, не шла. Но этот нейтралитет хитрые «предприемачи» [2] хотели оплатить за счет Антанты. Болгарский премьер телеграфировал своему посланнику в Лондоне:

---

[1] Депеша того же Савинского от 28 октября/10 ноября 1914 г. «Г-н Панафье и я совершенно не понимаем, на чем могут быть основаны предложения Айронсайда. На основании самого тщательного исследования общего положения вещей в данное время, мы пришли к твердому убеждению, что линия Энос—Мидия не представляет в настоящий момент в глазах Болгарии того, что побудило бы ее итти против Турции; что касается линии Вардара, то надо было бы совершенно не понимать действительности, чтобы предположить, что она могла удовлетворить Болгарию, прекрасно знающую, что сами сербы, при всей их неуступчивости, все же признают, что линия эта должна отойти к Болгарии даже без оказания ею действительной помощи союзникам». Панафье—французский посланник в Софии; Айронсайд—английский.

[2] Предприниматели—болгарский термин для крупной буржуазии.

«Так как положение вещей все еще не выяснилось и результат неизвестен, прошу вас избегать вступать в переговоры. Воспользуйтесь авансами, которые вам делают, и продолжайте подчеркивать болгарский тезис строгого, но полезного для Тройственного (согласия) нейтралитета и требуйте за него Добруджу, Македонию с Каваллой и пр...». «И поныне Болгария не желает ничего чужого, но за услуги, которые оказывает воюющим державам, соблюдая нейтралитет, она надеется вернуть утраченное и уверена, что Англия в границах справедливости отнесется с уважением к своим ноябрьским обещаниям и договору, столь энергично поддержанному ею в Лондоне. На эту тему вы можете говорить, когда представится случай подчеркнуть претензии Болгарии на компенсации за соблюдаемый ею нейтралитет».

Это было накануне вступления балканского вопроса в новую критическую зону, благодаря начавшемуся форсированию Дарданелл англо-французским флотом. Первая критическая зона, закончившаяся вступлением в войну Турции, прошла без участия Болгарии, к великому разочарованию русского правительства. На Болгарию, до появления русского десанта у берегов Босфора, по русским планам ложилась главная задача. Правда, вспоминая 1912 год, очень заботились о том, чтобы болгары не опередили русских [1]. Но вовсе без болгар оперировать в европейской Турции было почти невозможно—на что-то русский десант должен был опереться. И, глядя на болгарский «нейтралитет», Сазонов не без раскаяния, быть может, вспоминал мудрый совет французов, которому он не последовал. Еще 11 августа, неделю спустя после начала войны, Извольский телеграфировал ему:

«В разговоре со мною Думерг подтвердил соображения, высказанные господином Понсо советнику посольства, а именно, что Турция опасается, что мы воспользуемся обстоятельствами и возможною победою над Австрией и Германией, чтобы захватить Константинополь и проливы, и что было бы весьма желательно, чтобы мы успокоили ее на этот счет, например, предложивши ей гарантировать целость ее владений. *По мнению Думерга, это не мешало бы нам при ликвидации войны разрешить согласно нашим видам вопрос о проливах*».

Думерг не знал, что Турция в эти дни предлагала больше, чем простой нейтралитет, что Энвер паша предоставлял в распоряжение России турецкую армию—либо против Болгарии, либо против Австрии, как Россия найдет нужным [2]. Этот эпизод, один из наиболее сенсационных начала войны, уже был освещен в литературе [3], и здесь на нем мы не останавливаемся. Но если Сазонов так решительно отклонил тогда предложение Энвера, то именно в расчете на немедленное выступление Болгарии. То, что это вы-

---

[1] Теллеграмма Сазонова посланнику в Бухаресте 3/16 декабря 1916 г.: «С точки зрения выгод России, военное выступление Болгарии может быть наиболее полезным, если оно будет направлено против Турции. Оно будет, однако, своевременным только, когда русские войска высадятся на Балканском полуострове».

[2] Секретная депеша посла в Константинополе от 27 июля/9 августа.

[3] См. брошюру пишущего эти строки «Царская Россия и война» и «Раздел Азиатской Турции», изд. Наркоминдела. Полностью документы впервые опубликовываются в сборнике «Царская Россия в мировой войне».

ступление не состоялось, расстроило весь русский план и, прежде всего другого, отдало Дарданеллы в руки немцев.

Их приходилось теперь выбивать, и, по мере того, как этот момент приближался, Болгария вновь приобретала интерес, но уж не столько для России, сколько для ее союзников. В начале новой зоны и стоит поэтому визит в Софию герцога Гиз, одного из потомков Луи Филлипа, посланного «всей орлеанской семьей» для увещания онемечившегося кузена (Фердинанд болгарский был сын принцессы Орлеанского дома). Это сочетание орлеанской династии и французской демократической республики, изгнавшей претендентов со своей территории, во всякое другое время доставило бы много веселых минут читателям социалистической и даже просто радикальной прессы; но я не помню, чтобы в те дни по этому поводу хотя бы слегка улыбнулся какой-нибудь не только что радикал, но хотя бы и социалист из официальной партии. Социалисты же неофициальные, тож интернационалисты и пораженцы, располагали слишком малым количеством газетных столбцов, чтобы найти на них место герцогу Гиз. Германия не имела в своем распоряжении орлеанских принцев—она поступила проще, дав Болгарии заем в 150 млн. франков. После этого царь Фердинанд заявил своему кузену, что, «по зрелом обсуждении вопроса с компетентными лицами, он видит, что не может выступить против Турции» [1].

После того как неофициальные дипломаты потерпели поражение, выпустили на сцену официальных, которые сразу заговорили с упрямцами решительным тоном. 25 марта Маржаров (болгарский посланник в Петербурге) телеграфировал царю Фердинанду (а русский телеграф перехватил) нижеследующее:

«Французский посол Палеолог, которого я видел вчера вечером, просил меня сообщить лично вашему величеству следующие его слова:

Нынче Болгарии представляется самый удобный момент для восстановления своего народного единства. Для форсирования Дарданелл потребуется самое большое 2 месяца, но, может-быть, это произойдет и ранее.

Если Болгария объявит, что выступит с Тройственным согласием и назначит для этого определенный срок, то я гарантирую ей границы по линии Мидия—Энос, исполнение договора 1912 г., Петербургского протокола, Каваллу и все финансовые облегчения. Тройственное согласие готово также обеспечить Болгарию от возможного выступления Румынии и Греции.

Для десанта в Турцию у нас достаточно войска: со стороны России—100 тыс., Англии—60 тыс. и Франции—50 тыс. Численность войск может быть увеличена, если Болгария не пожелает вмешаться в войну.

Я говорю вам об этом лишь как друг вашего царя и Болгарии, о которых храню самые лучшие воспоминания.

Ваше вмешательство необходимо ныне же, ибо впоследствии оно будет излишним.

История предопределила вам блестящую роль, и от вас самих зависит выполнить ее или нет.

Хотя вопрос о будущем Константинополя еще не решен, но союз трех держав останется незыблемым и после войны. Это будет могуще-

[1] Депеша Савинского от 8/21 февраля 1915 г.

ственный фактор, и всякий, кто будет ему противиться... (пропуск) от безденежья.

После падения Венизелоса король Константин пригласил нашего посланника и заявил ему, что ни он, ни его страна не выступят противниками Тройственного согласия, и что Греция будет держаться той же политики по отношению к Тройственному согласию, как и при Венизелосе.

Вот почему Болгария должна поспешить занять место, которое подобает ей как самой жизнеспособной из балканских держав.

В заключение Палеолог сказал: «Подобное сообщение, быть может, сделает вам и Бьюкенен. В своем рапорте я донес вашему величеству, что и Сазонов сделал мне такое же заявление».

На минуту угроза подействовала: после этого в поведении Фердинанда «стала замечаться полная нерешительность» (*Савинский*, 1 апреля 1915 г.), а Радославов был «смущен» (*он же*, 3 апреля), главным образом, тем, что македонские банды, не выдержав, сделали набег на обетованную македонскую территорию—юридически бывшую территорией Сербии. Но это же обстоятельство и выручило болгар. 14/27 апреля Сазонов должен был телеграфировать в Париж и в Лондон:

«Сербский посланник сообщил мне от имени своего правительства, что оно решительно отказывается от даже обещанных им (!) земельных вознаграждений в пользу Болгарии, ввиду враждебного ее поведения». После этого на превращение поведения Болгарии в дружественное приходилось оставить всякую надежду.

А, между тем, Болгария теперь была нужна уже не только Англии и Франции: артиллерийская фаланга Макензена уже начала действовать в Галиции, и русский фронт стал гнуться. 15/28 мая Сазонов телеграфировал в Рим (копии в Париж, Лондон и Софию):

«Считаю весьма желательным, чтобы итальянскому посланнику в Софии было поручено поддержать заявление посланников Согласия болгарскому правительству, имеющее целью вовлечь Болгарию в военные действия против Турции. Державы обещают за это Болгарии: Македонию в границах договора 1912 г., Фракию до линии Энос—Мидия; они обязываются также приложить старания к получению Каваллы от Греции и готовы содействовать, сверх того, в переговорах, которые Болгария и Румыния пожелали бы вести по вопросу о Добрудже. Текст заявления уже сообщен трем посланникам. В случае получения вашими французскими и великобританскими сотоварищами таких же указаний, благоволите высказаться по содержанию этой телеграммы с министром иностранных дел».

Если бы все это предложили Болгарии в сентябре 1914 г., возможно, что она бы не устояла перед искушением. И на этот раз она довольно долго колебалась, и Радославов жаловался Савинскому «на трудность своего положения» (*Савинский*, 4 июня). Но фаланга Макензена неудержимо двигалась вперед, русские потеряли сначала Перемышль, потом Львов, и 28 июля Савинский телеграфировал:

«За последнее время здесь замечается сильная перемена настроения, находящая себе выражение в политических разговорах и прессе, не исключая официальных органов. Под влиянием военных событий и нашего молчания, которое усиленно толкуется и здесь, и болгарскими представителями в четырех союзных столицах как указание, что на нас

серьезно рассчитывать нельзя, на смену прежней альтернативы; нейтралитет или кооперация с нами, является другая альтернатива: кооперация с нами или косвенное выступление против нас путем захвата Македонии. Болгары видят, что оставаться нейтральными они дальше не могут, и окончание уборки урожая недель через шесть будет сигналом к принятию того или другого решения, так как они сознают, что им нужно думать о собственных интересах—политических и экономических, сопряженных с вывозом урожая. В данную минуту у болгар закрыты оба выхода—Дунай и Дедеагач, и все газеты и партии в один голос требуют прекращения этого экономического изолирования, особенно ввиду обильного урожая в этом году. Военные меры для занятия Македонии уже приняты: три южные дивизии усилены составом, а на конец августа назначены на греко-сербской границе маневры».

Но тем временем и сербы сознали отчаянность своего положения—а непреклонный Пашич по собственной инициативе начал переговоры с Радославовым о Македонии (*Савинский*, 18 и 28 августа). Последний раз русская—на этот раз она была опять гораздо более русской, чем антантовской—чашка весов прыгнула кверху, и Сазонов телеграфировал Савинскому (21 августа):

«Благоволите, воспользовавшись свободной минутой, заявить, совместно с вашими товарищами, Радославову, что, каковы бы ни были обстоятельства, державы принимают на себя ручательство в том, что Болгария получит по окончании войны Македонию по линии 1912 г., если она выступит против Турции в согласии с требованиями держав».

Но у Германии оказался свой принцип, лучше французского, и 31 августа от Савинского шла телеграмма, разрушавшая последние надежды:

«Из источников, близких к Радославову, узнаю, что герцогу Мекленбург-Шверинскому поручено убедить короля и правительство примкнуть к германо-австрийскому союзу, выступив против Сербии. Высказанные им Радославову доводы следующие: разгром России уже начался, со дня на день ожидается занятие Вильны с угрозою Петрограду, разрабатывается план движения на Киев и занятия смежных с Румынией областей с целью отделить последнюю от России, дабы таким путем заставить ее войти в союз с Германией. Аргументация герцога, по тем же источникам, произвела, будто бы, на Радославова очень сильное впечатление».

Германскому принцу помогли сербы. Уже чувствуя на горле железную руку противника, они все еще судорожно цеплялись за «свое». Уже Макензен был на Дунае, а Пашич все еще торговался о Македонии и «не находил возможным уступить (даже!) бесспорную зону по собственной инициативе» (*Савинский*, 25 сентября). Пришедший в отчаяние Савинский умолял своего коллегу в Нише убедить сербов, чтобы они уступили Македонию... лично Николаю II. А тот уже переуступит ее болгарам. Но последние уже объявили всеобщую мобилизацию, и Радославов заявил (в тот же день) Савинскому, что «Македония должна быть болгарской и что Болгария сама добудет бесспорную и спорную зону, если этого не хотят ей дать». 27 сентября посланники четверного (с Италией) согласия уже обсуждали проект ультиматума Болгарии по поводу объявленной ею мобилизации, а 2 октября Савинский передал Радославову, что

«Представитель России, связанный с Болгарией неувядаемой памятью ее освобождения от турецкого ига, не может оставаться в стране, в которой готовится братоубийственное нападение на союзный славянский народ. Императорский посланник получил предписание покинуть Болгарию со всем составом миссии и консульств, если в 24-часовой срок болгарское правительство не порвет открыто с врагами славянства и России и не примет мер к немедленному удалению из армии офицеров государств, воюющих с державами «Согласия».

Болгарское правительство ответило «торжественным заявлением», заканчивавшимся словами:

«Угрожая покинуть Болгарию, если в 24-часовой срок болгарское правительство не порвет открыто отношения с противной России группой воюющих держав, императорский посланник призывает Болгарию выйти из нынешнего ей нейтралитета, следствие которого в пользу союзников России бесспорно. Нет сомнения, что, продолжая свою настоящую политику, Болгария совершенно не в силах воздействовать на отмену принятого императорским правительством решения. Ей остается с сокрушенным сердцем искренно пожалеть, что положенные до сих пор болгарским народом и правительством усилия к тесному единению с братской Россией рушатся ею не по ее почину и инициативе».

Это была война—и война именно с Россией. Помимо всего прочего, это било в лицо так тщательно создававшуюся иллюзию единого славянского фронта против немцев. Вот почему «Петроград», сказав «а», никак не хотел сказать «б», и Сазонов телеграфировал командиру черноморского флота:

«Отзывая посланников, мы войны не объявляем. Военные действия, как-то нападение на болгарские берега и суда, не должны начинаться нами. Это оттолкнуло бы от нас оппозицию страны. Разумеется, практически, если у болгарских территориальных вод будут встречены турецкие суда, то их следует топить, *но ни под каким видом нельзя нам первым стрелять по болгарам.* Нота послана пока лишь Россией, а не «Согласием».

Как-никак, а недеяться оставалось теперь только на «единоверную» еще пока—славу богу!—но уже не «единокровную» Румынию.

Румыния была той страной, при помощи которой Россия Николая II экзекутировала в 1913 г. Болгарию, посягнувшую в лице царя Фердинанда, на исстари уготовленную российским императорам византийскую корону. На память о своей почетной миссии 1913 г. Румыния получила от России болгарскую Добруджу. Этим надеялись сразу и приструнить Болгарию и разорвать де-факто, ежели не де-юре, военную конвенцию, которая связывала румын с Тройственным союзом, и срок которой истекал только в 1916 г. Для того чтобы вящше приголубить Румынию, Николай ездил со специальным визитом к румынскому королю в Констанцу. Все это должно было обещать, что «враг свободы и цивилизации», немец, встретит в Румынии сразу же непримиримого противника, Антанта же—верного союзника, несмотря на германское происхождение румынской династии, носившей с Вильгельмом II даже одну фамилию Гогенцоллернов. На Румынию поэтому с самого начала возлагались надежды почти столь же прочные, как на Болгарию. Известие, что Румыния «будто бы склонна или к абсолютному ней-

тралитету или даже к общим действиям с Австрией», вызвало поэтому тревогу в Париже, и Извольский спешил переслать Сазонову мнение Пуанкаре, что «следует, не теряя времени, произвести воздействие на Румынию, обещав ей Трансильванию». Совет был запоздалым: уже за два дня до этой телеграммы (1 августа) Сазонов еще 30 июля (стало-быть, до объявления войны, в самый день всеобщей русской мобилизации) телеграфировал посланнику в Бухаресте, Поклевскому:

> «Весьма доверительно. Если считаете возможным приступить к более конкретному определению выгод, на которые может рассчитывать Румыния в случае участия в войне против Австрии, можете определенно заявить Братиано, что мы готовы поддержать присоединение к Румынии Трансильвании».

Но у «коварного» врага было средство воздействия и на Румынию—не менее действительное, чем на Болгарию, и, во всяком случае, более неприятное для России. 3 августа Поклевский доносил:

> «По имеющимся у меня достоверным сведениям, германская и австрийская дипломатия требует от Румынии объявления нам войны под угрозой, что ее нейтралитет будет сочтен за враждебное отношение к Тройственному союзу. Последний дает также Румынии гарантии относительно Болгарии, предлагает Бессарабию и долину Тимока и уверяет в отсутствии наших войск в Бессарабии. Одновременно распускает слухи о неминуемости победы Тройственного союза и о заранее решенной перекройке карты Европы, что производит во всех кругах общества угнетающее впечатление».

В то же время Болгария предлагала Румынии

> «Признать навсегда обладание ею Добруджей, взамен предоставления Болгарии полной свободы действия в настоящем кризисе» (*Поклевский*, 5 августа).

В отличие от буриданова осла, Румыния была не между двумя, а между тремя вязанками сена. Осел помер с голоду, Румыния же решила сохранить нейтралитет. Братиано (румынский премьер) спрашивал Поклевского, сочтет ли Россия сохранение Румынией нейтралитета за проявление к ней (России) дружбы? Поклевский, во избежание худшего, должен был ответить утвердительно, за что Братиано поблагодарил.

Далее, конечно, Румыния начала торговать своим нейтралитетом—чем же она хуже Болгарии, в самом деле? Уже 1 сентября Поклевский телеграфировал:

> «Некоторые здешние государственные люди уже начинают высказывать опасение насчет того, что нейтралитет Румынии не достаточно нами оценивается, и что нам следовало бы дать на этот счет какие-либо определенные обещания. У этих лиц и в некоторых органах печати проскальзывала даже надежда, что Россия отдаст Румынии за ее нейтралитет часть Бессарабии».

Братиано намекал, что уже несоблюдение конвенции, заключенной с Австрией (об этом, конечно, можно было говорить лишь намеками—конвенция была секретная), есть «государственное преступление», и соглашался беседовать о дружественном по отношению

к Антанте нейтралитете лишь при условии, что об этих беседах не будет известно ни королю, ни кому-либо в Румынии, ни даже французскому и английскому посланникам—последним, по крайней мере, до поры до времени.

Словом, румыны ломались и важничали нестерпимо, не поддаваясь при этом ни на какие самые заманчивые соблазны. Уже в течение первого месяца войны русские войска оккупировали часть Буковины, заселенной наполовину румынами, наполовину украинцами. Сазонов выступил с коварным предложением—уступить *немедленно* же румынский район оккупированной территории Румынии. Но ловушка была слишком проста—и Братиано, вновь поблагодарив (он был утонченно вежлив все время), предложение отклонил, резонно указав, что «немедленное его принятие равносильно объявлению Румынией войны Австрии» (*Поклевский*, 21 сентября). Сазонов очень сердился, что его так быстро и просто расшифровали, но ничего не добился, кроме дополнительной неприятности узнать, что румынскую Буковину обещала Румынии и Австрия. Поди тут, обскочи!

В конце концов, пришлось заключить с румынами соглашение, обеспечивающее им по окончании войны присоединение румынских областей Австро-Венгрии, при гарантии сохранения за ними нерумынской Добруджи—в обмен на один лишь «благожелательный нейтралитет» (*Поклевский*, 3 октября), причем пришлось еще объяснять, что под «благожелательным» нейтралитетом следует разуметь закрытие транзита через Румынию для денег и боевых припасов из Германии в Турцию (еще не воевавшую, но уже определенно союзницу центральных держав). Насчет военных припасов Братиано обещал «категорически», а насчет золота сказал: посмотрим; мне еще нужно с министром финансов переговорить.

Соглашение с Румынией было тем, что, по пословице, получают с лихой собаки; и немудрено, что у Сазонова оно вызывало иногда пароксизмы истерики. 10 января 1915 г., например, он телеграфировал Поклевскому:

> «Я сказал сегодня Диаманди[1], что поведение румынского правительства представляется весьма загадочным. Все надежды румын на осуществление национального идеала в Трансильвании основаны исключительно на нашей войне с Австрией. Между тем, с одной стороны, и в печати и даже в румынских военных кругах идет непрестанно речь о приготовлениях к выступлению против Австрии; с другой же стороны, до меня доходят заверения, что Румыния не решится объявить войну и что она вступает в какую-то лигу нейтральных государств, направленную против господства славянства на Балканах. Заключенное с Румынией соглашение обязывает Братиано быть с нами откровеннее, и мне было бы весьма ценно получить от него определенные объяснения касательно ближайших его намерений».

Дело окончательно портилось, когда выяснилось, что Румыния отнюдь не согласна ограничить «осуществление своего национального идеала» полунемецкой Трансильванией и намерена распро-

[1] Диаманди—румынский посланник в Петрограде.

странить его на полуукраинскую Бессарабию—причем последнее встречает явное сочувствие союзников Николая II в борьбе «за свободу и цивилизацию». 23 апреля 1915 г. французский посланник в Бухаресте Блондель телеграфировал Делькассе:

«Если Россия, аппетиты которой увеличиваются, так как она считает свою победу довольно близкою, останется непреклонной и не поймет, что для того, чтобы изгладить воспоминания 1878 года и побудить Румынию к выступлению на стороне Тройственного согласия, что могло бы повлечь за собой всеобщее охлаждение всех нейтральных стран к Германии и Австрии, ей надлежало бы проявить больше миролюбия,—она совершит ошибку, которая будет важнее совершенной ею в сентябре прошлого года».

Известие о том, что Палеологу предписано поддерживать румынские национальные притязания во всем их объеме, вызвало совершенно яростную реплику русского министерства иностранных дел. Заменявший Сазонова Нератов телеграфировал в Париж:

«Со своей стороны, прошу вас сказать Делькассе, что, если, отступая от этнографического начала, Румыния будет настаивать на приобретении почти всей Буковины в ущерб русским интересам и всего Баната за счет сербов, то соглашение на такой почве может встретить непреодолимые затруднения. Поэтому я надеюсь, что союзные правительства не только не поддержат Румынии в указанном направлении, но дадут понять в Бухаресте, что, если там действительно желают договориться с нами, необходимо умерить свои ничем не оправданные вожделения».

Министерству иностранных дел вторили военные сферы. Николай «большой», великий князь, главнокомандующий, писал Нератову:

«Не имея известий из министерства иностранных дел о том, что привез Диаманди, я, основываясь на частных сведениях, которые гласят о каких-то чрезмерных требованиях Румынии и ее кичливом тоне, считаю нужным высказать министру иностранных дел свой взгляд с военной точки зрения. Выступление Италии дает нам такой существенный плюс, что выступление Румынии получает второстепенное значение. Вследствие этого я считаю, что надо ей дать понять, что ее выступление может быть допущено, но что, очевидно, ее вожделения чрезмерны и совершенно неприемлемы».

В то же время румыны, приободренные сочувствием Франции—а позже, как мы увидим, и Англии—разговаривали самым ультимативным тоном.

«Братиано сегодня заявил здешнему французскому посланнику, что если мы не согласимся дать Румынии линию Прута и Тиссы до Сегедина, то Румыния не примет участия в войне, и никакая сила в мире не заставит Братиано согласиться на активное выступление его отечества. Он прибавил, что, в случае принятия румынских требований, он готов обещать выступить около 15 мая старого стиля»... «Братиано никаких признаков уступчивости не проявляет и третьего дня вновь повторил французскому посланнику, что Румыния не выступит, если ей не будут гарантированы просимые границы» (*Поклевский*, 4 и 13 мая).

Это вызвало гневные реплики Сазонова, что о принятии румынских условий и «речи быть не может» (секретная депеша Поклевскому от 5 мая), со ссылкой на то, что «с военной точки зрения вер-

ховный главнокомандующий уже не придает теперь румынскому выступлению прежнего значения».

Увы! Макензен и тут вел дело к переоценке всех ценностей. Уже 14 мая Сазонову приходилось признаваться, что «военное сотрудничество Румынии было бы несомненно встречено у нас с удовольствием», а 19 мая он вынужден был телеграфировать Извольскому:

«Указывая на особенное значение выступления Румынии при сложившейся ныне обстановке в Галиции и на Карпатах, Палеолог просил меня принять подсказанное Делькассе примирительное решение, согласно которому Румыния получила бы Буковину по Серет и северо-восточную часть Торонтальского округа в Банате. Чтобы снять с себя перед союзниками всякую ответственность за возможный неуспех переговоров с Румынией, я согласился на это предложение на указанных в моей телеграмме Поклевскому условиях. Было бы желательно, однако, чтобы французы облегчили наше положение в Галиции усилением начатого ими наступления на их восточной границе».

Но Макензен, естественным образом, сделал и румын более осторожными, и 12 июня Братиано уже заявил Поклевскому, что «он не может точно определить срок для объявления войны Австро-Венгрии, не посоветовавшись предварительно со здешними военными, и что, если ему и удастся определить такой срок, то он по необходимости должен быть максимальным в смысле отсрочки». Теперь уже и в штабе верховного главнокомандующего иначе относились к «чрезмерным требованиям» и «кичливому тону» Румынии. 20 июня Янушкевич (начальник главного штаба) телеграфировал:

«Принимая во внимание настоящую военную обстановку, не могущую измениться к лучшему в близком будущем, считаю очень важным не отклонять предложений Братиано. Действительное военное выступление Румынии было бы, конечно, наиболее ценным сейчас же, но, так как это недостижимо, то можно, с военной точки зрения, примириться и с ее выступлением через пять недель, ибо самый благоприятный момент для ее кооперации уже прошел. Теперь же самое важное не упускать момента для закрепления Румынии в нашем лагере, так как переход ее в лагерь противника, в случае возможного нашего отступления из Галиции, несомненен. Для достижения этого, по моему убеждению, мы можем принять все политические условия, поставленные Братиано». А через три дня Братиано уже выражал «глубокую радость по поводу предоставления Румынии Буковины по Прут с городом Черновицами» (*Поклевский*, 23 июня), т. е. того именно, о чем 5 мая «и речи быть не могло».

Но дальше «глубокой радости» Братиано дело пока не шло, и румынской армии в поле и даже близ поля битвы не замечалось. В Париже начинали от этого приходить в глубокое отчаяние и винили Россию. Тут нельзя не привести целиком интереснейшей и независимо от румынского вопроса телеграммы Извольского от 29 июня:

Хотя в разговоре со мной Делькассе тщательно воздерживался от какой бы то ни было критики по нашему адресу или попытки повлиять на наше решение, я не мог не заметить, что затяжка наших переговоров с Румынией возбуждает в нем крайнее беспокойство. Оборот, принятый военными событиями как в Галиции, так и на здешнем театре, вызывает здесь весьма нервное настроение. Начавшееся больше месяца тому назад наступательное движение французской армии, несмотря на упорный характер борьбы и на громадные потери, до сих пор увенчалось лишь

частичными успехами, и здесь начинают сомневаться в возможности, путем фронтальной атаки, пробить германские линии и отбросить неприятеля за пределы Франции. Возникает опасение второй зимней кампании в траншеях или переброска сюда с восточного фронта крупных германских сил и массового наступления на Кале или на Париж. Спасения здесь продолжают ожидать от флангового движения Италии и Румынии, выступлению коих поэтому придается чрезвычайное значение. В правительственных кругах до сих пор не проявляется малодушия или усталости, но в общественном настроении уже наблюдаются некоторые тревожные симптомы, с которыми необходимо считаться. Вторая зимняя кампания в траншеях или неприятельское вторжение могут вызвать здесь припадок отчаяния и внутренние волнения. Хотя Делькассе и его товарищи открыто этого не высказывают, для меня ясно, что они разделяют мнение парламентских кругов, что при нынешних обстоятельствах военные соображения должны иметь решительное значение, и что поэтому содействие Румынии должно быть куплено какой бы то ни было ценой.

Сазонов мог ответить на это только воплем, что «для привлечения Румынии Россия решила согласиться на все требования румын в Буковине»—чего же еще от нее требуют...—и готов был ухватиться за полу даже итальянцев, о которых два месяца назад он говорил с полным пренебрежением: они почему-то должны были дать согласие на уступку Румынии сербского Баната. Но Братиано был не так прост, чтобы лезть под пушки Макензена даже и из-за Баната. И вся трагикомедия этого периода заканчивается телеграммой Сазонова «всем, всем, всем» (послам в Париже, Лондоне, Риме, посланнику в Бухаресте) от 14 июля:

«Так как становится все яснее, что при нынешних обстоятельствах Румыния ни за какие уступки не согласится выступить против Австро-Венгрии в определенный срок, считаю предпочтительным, прежде чем сделать в Бухаресте предложенное заявление о согласии держав на уступку Баната, дружественно запросить Братиано, готов ли он вообще установить срок выступления Румынии, если все до сих пор выставленные им требования будут удовлетворены державами».

Такой исход дела вызвал у союзников взрыв негодования против России. Относящуюся сюда телеграмму Извольского опять нужно привести целиком, ибо она великолепно освещает всю подкладку ситуации.

«Не могу скрыть от вас, что возбуждение против России, вследствие сомнения в нашей готовности участвовать в военных действиях на Балканах, с каждым днем усиливается в здешних парламентских, газетных и даже правительственных кругах. С одной стороны, нас выставляют главными виновниками создавшегося на Балканах положения, вызванного, будто бы, нашей несговорчивостью по отношению к Румынии и систематическим пристрастием к Болгарии. С другой—указывают, что отсутствие наших войск не только нанесло бы удар союзному престижу и историческому положению России среди балканских народов, но поставило бы и Францию и Англию в самое невыгодное и опасное положение, внушив против них сказанным народам сомнение в единении союзников. Открывающемуся на Балканах новому фазису великой войны здесь придают громадное значение и считают, что открытие австро-германцами пути в Константинополь, помимо того, что оно прекратит доступ к России, даст Австрии и Германии возможность получать в неограниченном количестве из Малой Азии продукты и людей. Поэтому общественное мнение

громко требует, чтобы этому новому напору были противопоставлены соединенные усилия всех четырех союзных держав; в противном случае возникает вопрос, может ли Франция, без уверенности быть поддержанной на Балканах, рисковать ослабить свои силы на главном своем фронте. Указывают на то, что Россия должна получить после войны за счет Турции наибольшие выгоды, и что, если она не будет участвовать в общем... (пропуск), Франция и Англия должны будут пересмотреть свои решения касательно Константинополя и проливов. Статья в этом смысле появилась в столь серьезном органе, как «Журналь де деба». Сегодня некоторые влиятельные газеты опять высказывают, что, ради спасения положения и привлечения Румынии, Россия должна пожертвовать частью Бессарабии. Все это создает здесь крайне для нас неблагоприятную атмосферу и может серьезно отразиться на наших отношениях с Францией. Между прочим, на этой почве происходит ожесточенная кампания против Делькассе и Палеолога, могущая кончиться их увольнением» (секретная телеграмма посла в Париже, 12 октября 1915 г.).

Использовав болгарский заслон, Россия желала остаться с глазу на глаз с Турцией, но союзники отнюдь не желали такого tête-a-tête. Для того чтобы предъявить России при заключении мира условия насчет «проливов», им нужно было вовлечь в борьбу одну из держав, имеющих наравне с Россией в этих «проливах» интересы: такой державой и была Румыния. Что вовлечение последней в войну, при постановке вопроса о Бессарабии, с точки зрения реальных интересов русской политики, было невыгодно—а при незначительности военной поддержки, которую могла оказать Румыния, игра не стоила свеч,—это Антанту трогало всего меньше. В телеграмме Извольского—ключ к действительному смыслу мартовского соглашения о Константинополе. Царьград давали Николаю не ради его прекрасных глаз, а за реальную поддержку французского и английского империализма против германского; а ежели ты этой поддержки оказать не можешь, сам нуждаешься в поддержке, не только не дадут тебе проливов, но ты давай Бессарабию. Весь безграничный цинизм империалистских нравов только в одном месте еще нашел себе столь же яркое выражение, как в этой телеграмме Извольского: в знаменитой фразе Ллойд-Джорджа, что он будет держаться до последнего русского солдата.

Но на Румынию уже не действовали ни французская истерика, ни вполне реальные взятки англичан, покупавших у Румынии пшеницу, которой они не могли вывезти, лишь бы она не продала ее Германии, и передавших Румынии к началу 1916 г. 12 млн. фунтов стерлингов. Все это нисколько не помешало румынам сохранять нейтралитет и заключить торговое соглашение также и с Германией. Поклевский был совершенно прав, когда он связывал выступление Румынии (в своем письме Сазонову от 2/15 ноября 1915 г.) с «пополнением сил, вооружения и боевых припасов» в русской армии и с «тем моментом, когда последняя окажется вновь в состоянии перейти в наступление».

Удачное наступление Брусилова весною 1916 г., у самых границ Румынии, и растопило окончательно румынский лед. Правда, теперь со стратегической точки зрения румыны опять были не очень нужны; как и до мая 1915 г., новый начальник штаба Алексеев

находил всякие придирки к проекту военной конвенции с Румынией (депеша Базили, из ставки, 28 июля), и Извольскому снова пришлось еще раз вернуться к своей роли толкача. 1 августа 1916 г. он телеграфировал Сазонову:

«Я мог удостовериться, что французское правительство крайне обеспокоено оборотом переговоров в Бухаресте и считает, что мы проявляем излишнюю неуступчивость по указанным в моей телеграмме № 545 двум пунктам, которым не придают здесь большого практического значения. Здесь убеждены, что выступление Румынии сократит войну на несколько месяцев, и окончательный неуспех сказанных переговоров произведет крайне тяжелое впечатление на французское общественное мнение, которое не преминет возложить ответственность за него на нас».

Но на этот раз сама Румыния считала момент максимально благоприятным: теперь или никогда. И наша серия документов кончается следующей телеграммой от 15/28 августа из ставки:

«Начальник штаба Одесского военного округа телеграфирует от сего числа: По сведениям пограничной стражи, в 10 часов 30 минут 15 августа в Румынии объявлена общая мобилизация».

О Бессарабии на этот раз речи не поднималось...

Если Болгария—ввиду ее крайней слабости после кровопускания 1913 г.—представлялась правительству Николая II самым желательным союзником на Балканах, Румыния, в силу её бессарабских аспираций, уже гораздо менее желательным—а в силу ее удаленности от Босфора менее нужной,—то Италия, в проливах усиливавшая фронт «морских держав», а на Адриатике выступавшая весьма неприятным конкурентом Сербии, шла в числе союзников третьим сортом. Ее выступлению, до разгрома русской армии в Галиции, приписывалось чисто «нравственное» значение (депеша Сазонова, 4 апреля). Только разгром Николая Николаевича Романова в Галиции заставил на минуту считаться и с итальянцами, как с реальной силой, но как скоро их реальность оказалась слабоватой, вернулись к прежнему отношению. С точки зрения империалистского «быта» итальянские документы принадлежат, пожалуй, к самым красочным. Началось, конечно, с самого наглого запроса. 11 сентября Поклевский телеграфировал из Бухареста:

«С самого начала войны здешний итальянский посланник высказывал в разговорах со мной сожаление о том, что Франция не делает Италии достаточно заманчивых предложений, дабы добиться ее вооруженного содействия. Он вместе с тем опасался, что военные успехи Германии могут сделать в будущем заключение подобного соглашения затруднительным. В настоящую минуту Фашиотти следующим образом резюмирует точку зрения Италии. Он считает, что только возбуждение вопроса о завершении национального объединения Италии может побудить ее к вооруженному выступлению против Германии и Австрии, а именно, что Франции следовало бы уступить графство Ниццу по реке Вар, и остров Корсику, и Италии же должно быть обещано присоединение Адриатического побережья до Истрии включительно. При этом Корсика могла бы быть впоследствии обменена на часть Туниса, за исключением Бизерты. Итальянский посланник так же, как и я, считает более чем вероятным, что Румыния не замедлит вслед за Италией выступить активно на нашей стороне. Братиано просил его на-днях предупредить румынское

правительство, хотя бы за 48 часов до того, как Италия решит объявить войну Германии и Австрии. Позволяю себе донести о вышеизложенном, ввиду особого доверия, которое итальянское правительство всегда оказывало своему здешнему посланнику. Последний, повидимому, тоже желал, чтобы я передал вашему высокопревосходительству сообщенные им мне сведения, и лично просил, в случае дальнейших переговоров, никак не упоминать его имени».

Но поскольку первый шквал прошел, Антанта не повалилась, дело обошлось и без уступки Корсики и Туниса за дружеские услуги Италии, тон по отношению к ней очень поднялся, особенно со стороны России. Образчиком может служить циркуляр Сазонова от 9 марта.

«Ввиду того, что английское и французское правительства придают, повидимому, значение сотрудничеству Италии, г. Сазонов не имеет намерения ставить этому какое-либо препятствие. Он полагает, однако, что преимущества, которые союзные державы могли бы предоставить Италии за это, должны были бы находиться в соответствии с тем, насколько они выиграют в военном и политическом отношении от выступления Италии. В этом смысле было бы полезно пересмотреть предложения, которые державы готовы были сделать Италии шесть месяцев тому назад. Для того чтобы согласовать их с настоящим положением, г. Сазонов считает необходимым, чтобы инициатива переговоров с Италией по этому поводу была предоставлена ей самой, и полагает, что Италия могла бы быть допущена к совместным с державами действиям против Турции только при условии одновременного деятельного участия в войне против Австро-Венгрии».

Это «допущение» Италии к войне бесподобно, разумеется; но сама Италия в эту минуту готова была смотреть на себя не иначе.

«Здешний итальянский посланник постоянно спрашивает меня, почему державы Тройственного согласия не начинают переговоров с Италией. Мой коллега сказал мне сегодня, что его правительство начинает думать, что мы хотим исключить Италию от участия в разделе турецкого наследства», опять телеграфировал из Бухареста Поклевский.

Но в Петербурге готовы были к жертвам ради Италии еще меньше, чем ради Румынии. Сазонов телеграфировал 25 марта в Лондон Бенкендорфу:

«Грей, вероятно, ознакомил вас с ходом своих переговоров с итальянским послом и с теми соображениями, которые он высказал в телеграмме Бьюкенену в пользу новых уступок с нашей стороны Италии. На мой взгляд, при всей желательности побудить последнюю к скорейшему выступлению против Австрии, наша уступчивость должна иметь известный предел. Мы уже согласились с ее боевым значением. Окончательное же принесение в жертву итальянским притязаниям Сербии и Черногории не может быть оправдано. При введении нами переговоров с римским кабинетом не следует забывать, что для Италии не менее важно, чем для нас, достигнуть соглашения, ибо только этим путем она может рассчитывать получить, при сравнительно небольшом напряжении военной силы, крупные приобретения как за счет Австрии, так и в Турции. В Риме должны сознавать, что, при неудачном исходе лондонских переговоров, Италии придется отказаться не только от Триеста, Далмации и Адалии, но, вероятно, даже и от Трентино, так как, если Германия и Австрия узнают, что соглашение с союзниками не состоялось, они едва ли сочтут нужным пойти на земельные уступки в пользу Италии для удержания ее от вмешательства в войну. Допустить же возможность перехода Италии на сторону австро-германцев при известном настроении итальянского народа и ввиду явной, в таком случае, несбыточности

мечтаний о господстве на Адриатике—представляется немыслимым. Сообщается в Париж. Сазонов».

На подлиннике царская пометка: «Хорошо». Царское село».

Николаю это понравилось.

Чтобы гордые покорители Перемышля удостоили своим вниманием несчастных итальянцев, нужен был нажим со стороны «дорогих союзников»: им, наоборот, Италия была очень нужна, по тем же, приблизительно, мотивам, как Румыния.

«Уступая настойчивым просьбам Грея,—телеграфировал Сазонов Бенкендорфу 31 марта 1915 г.,—я согласился на новые, на этот раз последние (!) уступки Италии...»

Но если Сазонов еще поддавался на просьбы Грея, то Николая пришлось уламывать самому Пуанкаре.

«Дорогой и высокий друг,—писал царю президент Французской республики.—Да будет мне дозволено вашим величеством высказать ему, сколь опасным мне представляется замедление в присоединении союзников к итальянскому меморандуму.

Генерал Жоффр, так же как и его императорское высочество великий князь Николай Николаевич, желает, чтобы выступление Италии произошло возможно скорее, но единственный способ ускорить дело—это немедленно подписать соглашение. До тех пор, пока оно не будет подписано, можно опасаться, как бы переговоры не были неожиданно прерваны в силу каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Приняв же на себя обязательство подписанием соглашения, Италия, напротив, была бы уже вынуждена приступить к действиям, как только она получила бы материальную возможность это сделать, и мы постараемся подвинуть ее на это решение. Отсрочка, которую она просит, могла бы быть сокращена, поскольку она действительно будет нашим союзником, но тогда мы будем иметь уверенность и основания полагать, что она просит ее не для того, чтобы уклониться от действий, но что ей действительно необходимо сделать некоторые предварительные приготовления и что, отказывая ей в предоставлении небольшой отсрочки, мы рисковали бы тем, что она осталась бы в нейтралитете. Пусть она лучше присоединится позднее, чем не присоединится никогда».

Самым комичным пассажем из всего является телеграмма Сазонова в ставку 6 апреля:

«По всеподданнейшем докладе моем государю императору соображений вашего императорского высочества в связи с общим положением, его императорскому величеству благоугодно было повелеть мне уведомить великобританское правительство о согласии нашем на предложение Делькассе уступить Италии спорные острова, продолжая настаивать на присуждении Сабиончелло Сербии. В случае же, если не удастся достигнуть соглашения на этой почве, государь император соизволил уполномочить меня сделать еще крайнюю уступку, согласившись на отдачу и Сабиончелло Италии под условием его нейтрализации обязательства Италии выступить против Австрии не позже конца апреля нового стиля».

Были ли уже в столь великодушно «уступленном» Сабиончелло земские начальники, история умалчивает...

У переговоров с Италией была, конечно, большая и серьезная сторона—дележка Турции. Но так как эта тема хронологически выводит за пределы нашего сборника, то ее я здесь не касаюсь.

*«Сборник Центроархива Царская Россия, в мировой войне», Ленинград 1926 г.*

## СТАВКА И МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Письма Кудашева к Сазонову—отчасти и служащие их продолжением письма Базили к Нератову—являются одним из ценнейших источников для дипломатической истории войны 1914—1917 гг. Эта история *военной дипломатии* до сих пор опубликована документально в гораздо менее полном виде, чем история дипломатии предвоенной. Для последней дело идет в настоящее время *о систематизации* уже опубликованного материала да о выяснении *деталей*, важных, главным образом, с *полемической* точки зрения, поскольку давняя привычка искажать факты в этой области заставляет с величайшей тщательностью проверять каждую мелочь. Но существенно нового для выяснения картины происхождения войны от новых публикаций ожидать нельзя. Всякий непредупрежденный и осведомленный в уже изданном материале человек вполне ясно себе представляет, кто, когда и на кого напал, по каким мотивам и как готовил нападение. Но немедленно после «роковой недели» 24—31 июля 1914 г. над событиями опускается плотный занавес, приоткрываемый лишь частично публикациями, выходящими в СССР. Бывшие участники войны предпочитают об этом периоде молчать или делиться своей осведомленностью в никого не обязывающей форме личных воспоминаний. Все *официальное* до сего дня тщательно прячется—и в обнаружении спрятанного пионером опять быть приходится нам. В письмах представителей царского министерства иностранных дел при ставке верховного главнокомандующего мы имеем один из интереснейших результатов произведенных нами до сих пор раскопок.

Правда, собственно о военных делах письма не дают и не претендуют дать много, «здесь так все скрывают и так секретничают, что толком ничего не разузнаешь», читаем мы в одном из первых же писем Кудашева от 3 октября ст. ст. 1914 г. И эта жалоба на неосведомленность *ставки* (!) повторяется как припев в целом ряде следующих писем. В ставку, читаем мы в другом месте,

«отдельные эпизодические факты попадают редко и всегда обтянутые вуалью секрета». «К этим сведениям следовало бы прибавить некоторые обобщения о нашем положении. Такие обобщения делать нетруд-

но, но надо принимать во внимание, что они делаются не военными на основании, быть может, очень недостаточных данных. В самом деле, *делятся известиями и впечатлениями здесь не очень охотно*, многое приходится дополнять догадками».

Кое-что, однакоже, нельзя было не рассмотреть даже и сквозь «вуаль». Под пером царского дипломата, пишущего полуинтимное письмо своему начальнику, особенно ценно одно признание: «Война ведется таким жестоким образом, что не знаешь даже, что возможно и чего дозволять не имеет смысла». Война «за свободу и цивилизацию» возмущала своим варварством, как видим, отнюдь не одних «пораженцев» или хотя бы «интернационалистов», а и царских чиновников, когда они позволяли себе роскошь быть откровенными. Далее, нельзя было не разглядеть, даже и сквозь «вуаль», неимоверного *хвастовства* российских генералов. Уже, опять-таки, в одном из *первых* писем мы читаем по поводу октябрьских боев под Варшавой и Ивангородом: «Как и при прежних наших успехах, при первом известии о них, значение их преувеличилось: генерал Данилов потребовал немедленного оповещения о них наших представителей во Франции и Англии. Между тем, теперь обнаруживается, что *разгрома* немцев не было. Они просто спешно стали отступать, как только заметили, что перед ними превосходные силы». Как бывало во все времена и во всех странах, хвастливости точно соответствовала величайшая *бездарность*.

Сначала окруженный «специалистами» дипломат в ставке чувствовал себя робко и нерешительно и почтительно выслушивал «авторитетные» рассуждения собеседников в «беспросветных» золотых погонах. Но постепенно он становится «дерзновенным». После ноябрьских боев Кудашев пишет уже Сазонову:

«В общем, надо сказать, что если и нам удастся вывернуться из настоящего положения, то только благодаря численности и стойкости наших войск, а не мудрости нашей стратегии».

В декабре он смелеет окончательно.

«Дело обстоит неважно. И причиною тому,—насколько мне дано судить,—отсутствие у нас военных талантов. Я убежден в том, что наши генералы—прекрасные знатоки дела, прекрасные, умные, добросовестные люди, но творческой искры у них нет. Они годятся в члены «гофкригсрата», осмеянного Суворовым, но не в Суворовы, а с таким противником, как немцы, только Суворов может победить...»

«По моему смелому, но искреннему убеждению, нам бы следовало переменить высших начальников, у которых нервы измочалились от слишком упорной и продолжительной работы».

Это писалось еще в то время, когда сомневаться «в победном конце» могли только самые злостные пораженцы. Несколько месяцев спустя, после галицийского разгрома, после потери Варшавы, Бреста, Ковно, Гродно и т. д., оставалось только хладнокровно резюмировать:

«Война за целый год не выдвинула ни одного Суворова. А так как большинство генералов берется из офицеров генерального штаба, то приходится вывести заключение, что академия, их порождающая, не на

высоте своего призвания. Этот вывод подтверждается наблюдением над некоторыми офицерами генерального штаба, у которых преувеличенное самомнение и ничем не оправдываемая самоуверенность прикрывают редкое умственное убожество и полную безличность» (письмо Кудашева от 3 августа 1915 г.).

Но главный интерес писем Кудашева, конечно, не в его военных впечатлениях: это—только любопытные маленькие иллюстрации к тому, как расценивалась война и ее руководители в кругу деловой публики, когда она оставалась одна и беседовала вдали от нескромных глаз одурачиваемой толпы. Главный интерес писем, повторяю, в тех ярких лучах, которые бросают эти письма на некоторые темные углы «военной дипломатии». В предистории русско-англо-французского соглашения о Константинополе и проливах, в марте 1915 г., немаловажную роль сыграл, как знают интересовавшиеся этим вопросом, слух об *австро-сербском мире*, который, естественно, вел за собою и сепаратный мир Австрии с Россией. Из переписки Кудашева с Сазоновым мы узнаем, что источником этого слуха было вполне реальное стремление Сербии выйти из войны в ноябре—декабре 1914 г. Из письма Кудашева от 30 октября ст. ст. видно, что русские *военные* круги в первую минуту были очень смущены этим известием и готовились пустить в ход все пружины, чтобы это злокозненное намерение тех, из-за кого формально лилась вся кровь, остановить. Что министерство иностранных дел может потом извлечь из этого обстоятельства для себя немаловажную прибыль, об этом военные не догадывались. Но эта дальнейшая стадия вопроса об австро-сербском мире в письмах уже не выступает,—и «новый факт», который прибавляет переписка Кудашева, заключается в том, что «австро-сербский мир», при помощи которого, между прочим, был выжат из Великобритании мартовский меморандум, не был просто уткой, как можно было подумать на основании до сих пор известных документов, а был вполне реальной вещью, в возникновении которой русское министерство иностранных дел было совершенно неповинно; оно только ловко воспользовалось чужим изобретением, когда это последнее попало в его руки.

Но далеко интереснее этого мелкого эпизода подкладка самой истории «борьбы за проливы», как она развертывается в издаваемых теперь письмах. Мы помним, что для наивной русской публики,—к «наивным» принадлежал и будущий министр иностранных дел февральского правительства, Милюков,—завладение Дарданеллами было вешью, само собой разумеющеюся в случае «победного конца». Чрезвычайно характерно, что в осведомленных военных кругах с захватом Россией Константинополя и проливов как с реальной вешью не считались с самого начала. В самом деле, операция высадки на берегах Босфора и боя с турецкой армией в совершенно непривычных, никогда не слыханных для армии царских времен условиях—с морем в тылу, опираясь исключительно на подвижную морскую базу,—эта операция требовала колоссального напряжения всех стратегических способностей весьма недюжинного военного

руководства. Куда уж тут было мечтать об операциях такого масштаба, когда даже из нашего разгрома в Галиции российские стратеги извлекают то утешение, что теперь «стратегия может быть совсем упразднена, так как мы ничего предпринимать не можем» (слова генерал-квартирмейстера Данилова в письме Кудашева от 31 мая ст. ст. 1915 г.). Совершенно естественно, что как только «проливная операция» вырисовалась перед царскими генералами в качестве реально надвигающегося на них стратегического факта, генералы запротестовали, и еще в январе 1915 г., за два месяца до конвенции, тот же самый Данилов в разговоре с Кудашевым «самым внушительным образом пояснил: завоевание Босфора потребует отдельной войны, а будет ли Россия способна вести эту отдельную войну и захочет ли—в этом он глубоко сомневается».

В феврале для Кудашева уже было совершенно ясно (за месяц до заключения конвенции было ясно), что захват англичанами Дарданелл пройдет без всякого участия русских военных сил, морских и сухопутных. И что этот захват поведет вовсе не к передаче Царьграда в русские руки, а просто к тому, что Турция положит оружие перед союзниками, к их величайшему удовольствию, причем

> «какими бы жертвами для Турции этот мир ни был обусловлен, совершенно ясно, что пожертвовать своею столицею, содержащей многочисленные мусульманские святыни, турки под одним давлением флота никогда не захотят и не смогут. Таким образом разрешения вопроса о проливах „в согласии с нашими интересами", как понимаем это разрешение все мы, дорожащие историческими заветами нашей родины, не последует. С этим неумолимым фактом надо не только считаться, но, по моему глубокому убеждению, надо с ним примириться, подготовляя к нему постепенно и наше общественное мнение».

Через несколько дней настроение генерала Данилова несколько изменилось, всего вероятнее, под влиянием давления сверху: Николай был не менее упрямым «дарданельцем», нежели Милюков. К величайшему удивлению Кудашева, Данилов соглашался отправить *один корпус* в Босфор—что было с военной точки зрения явной бессмыслицей, ибо с одним корпусом взять турецкую столицу, перед которой осеклась в 1913 г. двухтысячная болгарская армия, было очевидно невозможно. Таковы были настроения еще в феврале, задолго до галицийских боев. После разгрома в Галиции Кудашев писал: «При таком положении вещей на главном театре военных действий даже странно говорить о Константинополе, десанте и т. д.». С лета 1915 г. убеждение, что в течение *этой* войны разрешить проблему Константинополя и проливов не удастся, становится в высших военных кругах догматом, этот догмат переходит по наследству от одного штабного поколения к другому. Ни Янушкевича, ни Данилова давно не было в ставке,—неофициальное самодержавие Николая Николаевича сменилось почти официальным самодержавием Распутина, а в сентябре 1915 г. Кудашев писал Сазонову:

> «По поводу тяжелого,—чтобы не сказать безвыходного положения англичан в Дарданеллах я спросил генерала Алексеева, что бы наиболее соответствовало нашим военным интересам: чтобы англичане ослабили

французский фронт и высадили еще войска в проливах или же поддержали французов для активных действий на западном фронте? Генерал на это ответил приблизительно так: для нас ликвидация дарданельской операции, конечно, самая важная задача, ибо, разрешись она, *можно будет заключить сепаратный мир с Турцией* и перебросить кавказскую армию против Германии, а это может решить участь войны в нашу пользу, так как и немцы устали, и появление свежих сил может сразу все изменить».

«Я выше подчеркнул несколько слов из сказанных мне генералом Алексеевым, так как они меня наводят на мысль о скептицизме его относительно возможности завладения Константинополем», продолжает Кудашев. «Я впрочем не предложил ему прямо этого вопроса, но думаю, что едва ли можно представить себе сепаратный мир с турками, по которому последние согласились бы уступить свою столицу кому бы то ни было».

Новое главнокомандование в этом вопросе, таким образом, ничем не отличалось от старого, кроме разве того, что Алексеев державший себя и внешним образом по отношению к Николаю более самостоятельно, чем прежние начальники штаба, высказывал свои мысли более прямо и откровенно и не обнаруживал тех колебаний, какие замечались у генерала Данилова. В октябре, в связи с вступлением в войну, на стороне германского блока, Болгарии, Кудашев писал:

«Положение, созданное решением Болгарии присоединиться к нашим врагам, считается генералом Алексеевым настолько серьезным, что он мне категорически заявил, что мы из него не выйдем, *если не заключим мира с Турцией*. На мое замечание, что такой мир, даже если бы его удалось заключить (к чему имеются почти непреодолимые технически трудности), обозначал бы крушение всех наших надежд на разрешение больного константинопольского вопроса, ген. Алексеев ответил: «Что же делать? С необходимым приходится мириться». Кудашев подчеркивает, что инициатива разговора на тему мира с Турцией принадлежала Алексееву, а не самому Кудашеву,—и что свои убеждения Алексеев высказывал «с большим жаром».

А 5 февраля следующего, 1916 г. Кудашев, по прямому поручению Алексеева, пишет своему начальнику письмо, которое можно назвать лебединой песнью первого, по очереди, представителя Сазонова при ставке, так как довольно скоро после этого Кудашева сменяет в ставке Базили. Из этой лебединой песни стоит привести несколько цитат; тем более, что Кудашев это постоянно подчеркивает, им высказываются мысли *общие* для него и для фактического главнокомандующего русскими армиями—ибо этим фактическим главнокомандующим, разумеется, был не Николай, а его начальник штаба. Вот что думали по константинопольскому вопросу Алексеев и прикомандированные к нему дипломаты.

«Каковы бы ни были наши надежды и расчеты на использование вмешательства в войну Турции, чтобы вознаградить себя за ее счет при заключении мира, мы должны признать, что эти расчеты не оправдались и едва ли могут оправдаться в течение этой войны. Чем дольше длится она, тем труднее для нас какие-либо новые, особые предприятия *после ее окончания*».

Для человека, мало-мальски рассуждающего, и притом не профессора, как Милюков, а человека делового, в феврале 1916 г. было более чем очевидно, что люди не думали о захвате чужих зе-

мель, когда «собственных» восемнадцать губерний заняты неприятелем. «Для нас несравненно важнее вернуть, например, Курляндию, нежели приобрести проливы», продолжает излагать Алексеева Кудашев. А так как освободить «свои», российские губернии, не дав хорошей сдачи немцам, было столь же очевидно невозможным, «то первым и главным делом должно быть сокрушение Германии. Задача эта настолько трудная, что для ее выполнения требуются все усилия и все жертвы. Одною из таких жертв должен быть отказ от некоторых наших надежд». В начале войны, мы знаем теперь из опубликованных документов (см. «Константинополь и проливы», «Царская Россия в мировой войне» и т. д.), не было ничего более досадного и неприятного для российского министерства иностранных дел, чем мир с Турцией, запиравший дорогу к вожделенным проливам; теперь, через полтора года войны, для русского военного начальства не было ничего более вожделенного, чем именно *мир с Турцией*,—то, что само давалось в руки в августе 1914 г.

> «Выход Турции из числа наших врагов перевернет все на Балканах в нашу сторону, даст нам соприкосновение с нашими союзниками, откроет нам южный путь в Европу. Словом, благоприятные последствия мира с Турцией неисчислимы. В конечном же итоге явится сокрушение силы Германии, т. е. достижение единственного общего для всех союзников реального объекта войны. Конечно, и им и нам придется пожертвовать некоторыми *прекрасными мечтами*. Продолжая войну с Турцией, мы выигрываем только то, что обманываем себя надеждой на осуществление в близком будущем *чарующей нас иллюзии*. Прекращая же войну с Турцией, мы осуществление наших иллюзий откладываем на новый срок, зато достигаем победы над Германией, т. е. к чему стремимся и мы и все наши союзники».

Для начальника Кудашева эти слова должны были звучать похоронным звоном: вся карьера Сазонова строилась на Константинополе,—снятие с очереди этой задачи автоматически вело за собой его отставку. А так как, мы знаем это из других источников, против продолжения войны был и фактический самодержец этого момента, Распутин, то, косвенно, письма Кудашева сильно подкрепляют мысль о подготовке царским правительством уже с лета 1916 г. сепаратного мира, не с одной Турцией, разумеется. Наступление генерала Брусилова на несколько месяцев поддержало военную надежду, сыграв ту же, примерно, роль, какую сыграло в 1855 г. взятие Карса, тоже оттянувшее Парижский мир на несколько месяцев. Но эффект этого наступления быстро испарился, летом 1916 г. Сазонов пал, и подготовка сепаратного мира пошла, по всей вероятности, ускоренным темпом. Вполне возможно, что дальнейшие раскопки в отложениях «военной дипломатии» дадут нам новый материал и по этому вопросу.

*«Красный архив», 1928 г. (XXVI).*

## «СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА»

(*Предисловие к сборнику*)

«Самым крупным, самым ярким проявлением мелкобуржуазной волны, захлестнувшей «почти все», надо признать революционное оборончество»,—писал Ленин в апреле 1917 г. «Именно оно злейший враг дальнейшего движения и успеха русской революции»... «Лозунг «долой войну» верен, конечно, но он не учитывает своеобразия задач момента, необходимости иначе подойти к широкой массе. Он похож, по-моему, на лозунг «долой царя», с которым неумелый агитатор «доброго старого времени» шел просто и прямо в деревню и получал побои. Массовые представители революционного оборончества добросовестны не в личном смысле, а в классовом, т. е. они принадлежали к таким классам (рабочие и беднейшие крестьяне), которые действительно от аннексий и от удушения чужих народов не выигрывают».

Мы теперь знаем, что лозунг «долой царя» звучал кое-где в русской деревне 1905 г. независимо от каких-либо агитаторов, звучал устами самих крестьян, особенно там, где крестьяне были «удельные», некогда принадлежали царской фамилии, где, значит, царь и помещик сливались в одном лице. Тысячу раз прав был Ленин, что соваться в каждую деревню с лозунгом «долой царя» значило в девяти случаях на десять получить побои. Но десять тысяч раз неправы были кадеты, сладко певшие о «стихийном монархизме» крестьянской массы. На самом деле 99% этой массы просто относились к этому вопросу совершенно бессознательно, а один процент, начавший самоопределяться в политическом отношении, самоопределялся в антимонархическом направлении. Надо было терпеливо и медленно помогать этому самоопределению, «разъяснять и разъяснять»,—и успех был несомненен, «не очень быстрый, но верный и прочный» [1].

Было ли то же с «добросовестным оборончеством»? Было ли это подлинное массовое стихийное настроение или же массы только пассивно усваивали бросаемые сверху лозунги, пока они, массы, просто

[1] *Ленин*, Соч., т. XIV, ч. I, стр. 45.

еще ни в чем не разбирались, а как только начинали разбираться, переставали быть оборонцами? У нас для ответа на этот вопрос есть материал, подлинный не менее, а даже более, чем те губернаторские и жандармские донесения, по которым мы могли составить себе близкое к истине представление о настоящем настроении крестьянских масс в 1905 г. Это, во-первых, наблюдение над массовыми настроениями армий царской охранки и ее секретные донесения кому следовало. Документ, совершенно аналогичный губернаторским и жандармским донесениям 1905 г. И там и тут из чисто деловых соображений не только незачем было, но и невозможно было скрывать истину. Если бы охранники стали просто повторять ту «патриотическую» чепуху, которая печаталась в газетах, их бы прогнали к чорту, как никуда негодных информаторов.

Но по отношению к солдатской массе 1917 г. у нас есть нечто еще лучшее. Все письма с фронта аккуратно читались военной цензурой, и она представляла по начальству обстоятельные сводки обо всем, что она в этих письмах находила интересного. Правда, тут приходится сделать две оговорки: во-первых, военное начальство—а цензура была ему подчинена—не в пример охранке имело весь интерес представить настроение на фронте в благоприятном свете; стремление показать, что «все обстоит благополучно», весьма явственно сквозит во всех цензорских сводках. Но тем ценнее то, что даже в них прорывалось. Во-вторых, прекрасно зная о цензуре, солдаты, конечно, в письмах, как общее правило, не откровенничали. Этого не могли не понимать и сами цензоры. «Сравнительная бесцветность корреспонденции,—замечает одна из сводок,—отчасти (!) объясняется наличием цензуры, и наиболее верно отражающая истинный характер настроения переписка проходит помимо цензуры». Но это лишнее доказательство того, как ценны те немногие образчики неказенных настроений, что попадались даже в просмотренной цензурой переписке. Эти настроения отразились в последней не больше, чем в одном проценте, если даже еще не в меньшей доле. Словом, это лишь маленький уголок истины, но самой истинной истины, более подлинной, чем все донесения «наблюдателей» из департамента полиции. Этот последний уже в октябре 1916 г. мог констатировать полное отсутствие на фронте казенного благополучия. К этому времени относится доклад петербургской охранки, напечатанный недавно в «Красном архиве».

«В армии настроение стало очень и очень неспокойным, если не сказать революционным»,—говорится там.—«Дороговизна жизни и недостаток продуктов, переносимые с трудом солдатами, очень хорошо известны армии через самих солдат, разновременно приезжающих сюда на «побывку». Циркулирующие в армии слухи о голоде в Петрограде достигли невероятных размеров и сейчас определенно граничат с областью чистой фантазии: по словам самих солдат, в армии имеются сведения, что в столице «фунт хлеба теперь стоит рубль», что «мясо дают только дворянам и помещикам», что уже будто бы открыто новое кладбище для умер-

ших от голода и т. д. Беспокойство солдат за оставленные на родине семьи более чем понятно и законно, но скверно то, что оно с каждым днем все более и более увеличивается и является весьма благоприятной почвой для успеха пропаганды не только революционной, но при известных условиях и германской».

Нет надобности пояснять, что под «германской» пропагандой разумелась именно пропаганда антивоенная: кто ж будет кричать «долой войну», ежели не немецкий шпион? И как раз эта именно пропаганда делала большие успехи. По мнению одного «уполномоченного земского союза», доклад которого попал в руки охранки, «всякий, побывавший вблизи армии, должен вынести полное и убежденное впечатление о безусловном моральном разложении войск. Солдаты указывают на необходимость мира уже давно, но никогда это не делалось так открыто и с такой силой, как сейчас. Офицеры часто даже отказываются вести команды в бой, ввиду опасности быть убитыми своими же людьми». Предвидя, что многое здесь может быть отнесено ее читателями на счет индивидуальных настроений «уполномоченного», охранка сейчас же прибавляет, что о том же рассказывает и «ряд врачей», вернувшихся из действующей армии. О том же рассказывают,—могла бы прибавить охранка, и это было бы во много раз более убедительно,—военные цензоры, читавшие солдатские письма. Цензуре одной только 5-й армии уже к 15 января 1917 г. далось поймать 443 «антивоенных» письма, составлявших, повторяем, конечно, ничтожнейшую долю «антивоенного», что могли бы сказать солдаты, если бы они заговорили откровенно. С 15 по 23 января в той же армии «падение числа бодрых писем продолжается и возрастает число угнетенных. Процент бодрых писем доходит до 7,6 при 2,5 писем угнетенного содержания»: на три «ура» слышалось уже одно «долой войну», хотя и приглушенным голосом.

Разумеется, цензура уверяла, что в общем «настроение бодрое» и «поднимается». Но любопытно, что даже в серии «бодрых» цитат попадается такая: «Надоела до невозможности эта неразбериха. Желанный мир, говорят, еще долго не наступит,—пора бы одуматься и приступить к мирным переговорам. Хотя здесь и всего хватает, но в тылу творится ужасное безобразие». Цензору, очевидно, понравилось, что на фронте «всего хватает»: среди града жалоб на скверную пищу (особенно ненавистна была солдатам чечевица: «раньше кормить боялись ею даже лошадей,—писал один солдат,—потому что от нее шерсть вылазит, а теперь и людей кормят») уже и это было «лучом света». Но лучей света становилось все меньше. В феврале уже казаки писали: «Войне краю не видно. Бог знает, когда кончится это убийство несчастного люда. Надоело смотреть на эту губительницу народа. Бог знает, за что три года войны. А убийства все увеличиваются. Сколько сирот, вдов и калек, умирающих с голоду, а конца все нет, да нет». Если так казаки писали, что же было ждать от пехоты и артиллерии? «Какие новости у вас, что пишут газеты, пишут ли они насчет мира?»—спрашивало одно пехотное письмо. «Господи, как хотелось бы мира и скорее домой». «Уж слиш-

ком затянулось это грязное дело и, несмотря на то, что истекает три года, конца не видно»—говорило другое пехотное же письмо. «У нас усиленно тарахтят о мире, да не знаю, будет ли дело...». Но и артиллеристам «уже надоело» таскаться по чужим странам. «Когда только придет всему конец...». Тоскливую фразу «хотя бы поскорее был конец» мы встречаем даже в офицерском письме. И оно прибавляло: «Здесь, между прочим, об этом говорят очень много». Говорили даже несомненные «добросовестные оборонцы». «Буду проситься опять на позицию,—писал солдат 1-го Кавказского стрелкового артиллерийского дивизиона,—пойду бить врага, чтобы поскорее был мир». О том же говорили, нужно прибавить, и ответные письма из дома к солдатам. «Наносим на всех и каждого проклятия, кто только поставил людей в такое положение»—писали в одном письме, говорившем о «страшном голоде» на родине. «Неужели они (!) лучше не придумали, как эту войну». Между фронтом и тылом здесь была полная гармония. Всего интереснее—и по вполне объяснимым причинам всего реже—те указания в этих письмах, сплошь дореволюционного периода, которые говорят о начинавшемся братании: «Так как наши и германские окопы очень близко одни к другим, то мы часто сходимся с немцами»—писали в Москву в начале февраля. «Мы даем им хлеба, а они нам папирос, и если наши и германские офицеры не видят, то расходимся благополучно». «Стою на позиции 40—50 шагов от немцев,—писали в другом письме,—немец, сволочь, жрать хочет, по утрам кричит: «дай хлеба и цукру!». А как они бегут, когда увидят, что наши несут хлеб,—видно, что голодают». Автору письма и в голову не приходило, до чего с точки зрения «обороны отечества» это ненормальная картина: снабжение хлебом голодающего неприятеля.

Все это было до революции—цитируемая сводка, написанная уже в марте, кончается словами: «что касается последних событий, то февральскими отчетами они еще не отмечены». А на полях пренебрежительная отметка военного начальства: «это уже устарелые сведения». Военные люди не только старались уверить других, но и сами наивно верили, что раз Николаю всенародно дали по шапке, всякие кислые письма с фронта сразу как рукой снимет. Составляя мартовскую сводку, цензор 5-й армии писал: «За первый период (когда еще сведения о перевороте не до всех дошли) настроение в общем бодрое, и характер писем ничем не отличается от изложенного в предыдущем отчете за февраль месяц». Мы уже видели только что, какое это было «бодрое» настроение. «За второй период настроение повышенно бодрое, с преобладающим желанием продолжать войну до победного конца». Увы! Разочарование было близко. Уже статистика показывала, что если что изменилось, то, с точки зрения «победного конца»,—к худшему. За март месяц, против 11% писем о необходимости войны до победного конца, 8% писем говорили о «немедленном мире и прекращении войны». В январе было одно «пораженческое» письмо на три «оборончеких»; теперь на 4 «оборонческих» «пораженческих» приходилось три. А из писем приходи-

лось цитировать такие: «Война нам уже надоела. Мы думаем сделать сами мир, потому что за нас никто не хочет стараться». «Наше начальство говорит, что мира не будет, пока не разобьем германца, но с нашим начальством ничего не сделаешь. У нас хабарство, и они за деньги предались, а хотят, чтобы мы грудью отбили. Нет, мы в наступление не пойдем без нашего начальства. Довольно уже обманывать нас за 75 копеек в месяц. Хлеба нехватает, мясо через день, а то рыба порченая, сахару мало; для пузанов хватает всего, а нам ничего нет». Это было в марте. К апрелю цензорский оптимизм уже начал сдавать. «За апрель месяц настроение в общем бодрое» (уже не повышенно бодрое)—гласила сводка. «В частности, в некоторых письмах попрежнему замечено желание мира, недовольство пищей, братание с немцами». Это было в 5-й армии. Цензор 1-й армии смотрел на вещи еще мрачнее. «Настроение войск по данным военной цензуры в настоящее время производит крайне смешанное впечатление. Непонимание сущности совершившегося переворота, сумбурность представлений, моральная расшатанность продолжают преобладать». В 1-й армии действительно были люди сознательные. «Вы ни в коем случае не уступайте буржуазному классу,—писали из 538-го полка,—ведь они могут быть в овечьей шкуре. Всецело контролировать их и просить комитеты итти рука об руку с Советом солдатских и рабочих депутатов. Милюковым и Гучковым нет доверия. Это тот же капитализм, они на своем рубеже, а им охота остаться на нем, т. е. довести войну до победного конца в честь своей поживы. Мы хотим освободить все народы от позорного рабства. Довольно нам проливать море невинной крови на жизнь капиталистов. Ведь у одного Николая 60 миллионов десятин, больше, как вся Германия; на содержание дома Романовых в год 80 миллионов, вот за это мы клали свою жизнь. Мы все, как один, хотим мира без аннексий и контрибуций, а не как хотят Милюковы. Им нужны Константинополь и проливы, чтобы набить свои карманы золотом, но мы этого не хотим, мы не хотим больше проливать кровь. В наших руках ружья и наша свобода». От чтения этого письма цензора окончательно взяло уныние, и у него прорвалось: «Желание мира—общее». А передохнув слегка, он продолжает цитировать уже 537-й полк: «Если война эта скоро не кончится, то, кажется, будет плохая история. Когда же досыта напьются наши кровожадные толстопузые буржуа! И только пусть они посмеют еще войну затянуть на несколько времени, то мы уже пойдем на них с оружием в руках и тогда уже никому не дадим пощады. У нас вся армия просит и ждет мира, но вся проклятая буржуазия не хочет его нам дать и ждет того, чтобы мы их поголовно вырезали...». Из 539-го полка писали: «Так что у нас про мир говорят, у нас миру не хотят офицеры и генералы, ну, нехай еще побудем до 15 мая, если не буде, то мы пойдем самоправно». И всему подвел итог украинец 717-го полка: «Немец усю правду знае, что у нас робится везде, он знае в городах, а также и про нас он так говорит, что мы не враги, а те враги, которые нас заставили драться».

Когда совещание главнокомандующих в начале мая констатировало единодушное настроение солдат против войны, оно не преувеличивало. За май по одной 5-й армии «пораженческих» писем цензура насчитывала 12 413; «оборончеукие» цензор уже не стал считать, так что соотношения их мы не знаем. Соотношение же «пораженческих» писем с января к маю будет как 350 : 12 413. Революция не спасла войны, как надеялась буржуазия. И когда петербургские рабочие выступали в феврале с двойным лозунгом: «долой монархию!», «долой войну!» [1], они отражали настроение не только пролетариата, а и солдатской массы. Спайку между рабочим и крестьянином в 1917 г. впервые нащупал именно лозунг «долой войну»—лозунг земли выдвинулся лишь позже. Сначала нужно было кончить войну, потом делить землю.

Но не следует думать, чтобы эта логическая последовательность вопросов была таковой же и исторически. На самом деле—и это чрезвычайно любопытное явление—вопрос о земле встал тотчас же после падения самодержавия и в непосредственной связи с этим падением: изумительный образчик необыкновенной чуткости класса. Уже в цензорских сводках за апрель месяц (а известия о революции, искусственно задерживаемые, дошли до фронта во многих местах лишь в половине марта) мы читаем такие выдержки: «Вы, дорогие родители, не думайте, что будет хуже без царя, нет, наоборот, будет лучше. Вот нам известно, что эта земля, которая была у разных министров и князей, *а также и помещиков*, то она скоро *перейдет вся к крестьянам*, так что вы не беспокойтесь, что государя нет...».

В других письмах эта политическая связь не так бьет в глаза, но зато конкретность получается местами прямо ужасающая—для помещиков, само собой разумеется. Из Лихвинского полка писали: «Прошу, скотину безо всяких пущайте по помещиков земле и пашите землю, не спрашивайте их, собак толстопузых—довольно им теперь пить нашу кровь. Смотрите, берите в руки сейчас, и мы здесь не бросим оружия, пока все не установим, *и домой придем с винтовками*». «Землю, где есть свободная, пашите, но денег не платите,—писал солдат Боровского полка,—и за огород денег не платите, потому что проект опубликован. Это будет разбираться в Учредительном собрании, аренды уничтожены будут и от наличной собственности отчуждается весь живой и мертвый инвентарь, а также хоромы разные, машины, плуги, сохи, бороны и живой инвентарь, скот, например. Много в России конских заводов, есть заводы волов, все должно быть общенародным. Ныне вся собственность рухнула—будет все общее». «Не платите ни копейки более помещикам,—писали из 154-го запасного полка,—не слушайте их более, потому что теперь у всякого жизнь свободная, будь он нищий или барин. У вся-

---

[1] Из донесения охранки о первых днях февральского движения. См. «Февральская революция и охранное отделение», «Былое» № 1, 1918 г., стр. 167 и 174.

кого своя воля. И помещик отбирает землю и разделяет между крестьянами. *Ждем только конца войны, тогда уж расправимся с помещиками*».

В 70-х годах тогдашние помещики, типа Чичерина, много распространялись на ту тему, что аграрные проекты народников суть начало социалистической революции: начнут с земли, а там доберутся и до всякой другой собственности. 1917 г. показал, что эта классовая логика отлично чувствовалась и на другом полюсе. «Землю пашите, денег не платите—*ныне всякая собственность рухнула*». И с этого конца, насколько неожиданно для тех людей, которые считали национализацию земли зловредной выдумкой большевиков, Февральская революция начинала собою Октябрьскую.

*Сб. «Солдатские письма 1917 г.»*

# ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ ВОЙНА

## ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР

Вторая—Октябрьская—революция в числе других задач поставила ребром и задачу заключения мира. В известном смысле, это задача всех задач: пока нет мира, у нас не будет политической свободы. Это надо твердо запомнить. Давно пора перестать тешить себя сказками о «революционных войнах». Революционные войны первой французской республики имели своим естественным концом диктатуру Бонапарта. Французские революционные демократы тех дней предвидели этот исход с самого начала, поэтому их вождь Робеспьер и был против наступательной политики, даром что она была украшена пышным «освободительным» лозунгом: «Война—королям, но мир—народам». Нынешняя же война даже и этого лозунга не могла выставить. Как бы она его выставила, когда в числе борцов «за свободу и цивилизацию» на первом месте был царь Николай II? Зачинщики нынешней войны прекрасно понимали, что народам она не несет ничего, кроме цепей, и, чтобы не оставалось на этот счет сомнений, всюду необходимым предисловием к войне были отмена свободы печати и осадное положение. Чтобы народы гнать силком на бойню, нужен был обман и нужен был кнут.

Все это так просто, что обывательская толпа в Западной Европе у союзников Николая II, как только узнала о русской революции, сразу перестала считать Россию в числе воюющих. В Париже на каждом шагу можно было слышать разговоры в этом роде. Революции тут, конечно, доставалось,—но люди понимали, что свободную Россию на бойню не погонишь. Это слишком, повторяем, просто. И как приятно были удивлены эти люди, когда телеграф стал приносить к ним воинственные речи сначала Милюкова, потом Керенского. Ничего, значит, в России не переменилось. Верно, и вправду Николая прогнали только за то, что он женат на немке. О русской революции стали говорить почти с любовью. И только когда солдаты русского экспедиционного корпуса во Франции отказались драться на западном фронте, союзники догадались, что они рано зарадовались и что русская революция не исчерпывается речами Керенского.

Лучше всех понимает это, конечно, русская буржуазия. Она беспрекословно пускала в правительство людей с самой страшной ре-

путацией: уж кто страшнее, с обывательской точки зрения, чем Савинков, бывший глава эсеровского террора. Но раз человек за войну—сойдет. Зато самый умеренный меньшевик сразу становился злодеем, только ему случалось заикнуться, что бойне пора бы положить конец. Народилась на Руси особая форма «политической благонадежности». Благонадежный—это тот, кто за войну «до победного конца». И что замечательно: чем дальше уходил этот победный конец (самые упрямые люди должны согласиться, что до взятия германцами Риги он был к нам все-таки ближе, чем после этого события), тем настойчивее требовала буржуазия от русских граждан, в особенности от своих слуг—членов Временного революционного правительства—этой именно благонадежности.

Получается что-то странное. Во все времена воинственнее всех были победители. Наполеон I весь век воевал—да ведь он одну победу одерживал за другой. А побежденные обыкновенно спешили кончить драку и надолго закаивались ее возобновлять. У нас выходит прямо наоборот. Чем больше неудач у российской империалистской буржуазии, тем она воинственнее. Что тут за причина?

В первую минуту может показаться, что буржуазии жалко расставаться с военными барышами. Пусть страна разоряется в лоск, пусть народ пухнет с голоду—лишь бы свое сорвать, а там хоть трава не расти. Но тут бросаются в глаза факты, показывающие, что буржуазия не так уж нерасчетливо жадна у нас. Вот закрывает она фабрики—т. е. отказывается на время совсем от барышей—ради политической цели: подавить рабочее движение. Значит, и в ее воинственности есть какой-то расчет. В чем же он состоит?

Дело в том, во-первых, что, чем неудачнее идет война для русской империалистской буржуазии, тем больше последняя зависит от своих союзников, буржуазии английской, американской и т. д. Одержи Россия победу, ее империалисты могли бы взять, что захотят: раз победы нет, приходится ждать, что дадут. А чтобы дали, «ниже тоненькой былиночки надо голову склонить». Вот почему, чем неудачнее идет война, тем сильнее влияние западных империалистов в Петербурге. Как раз после Риги дело дошло до последнего позора для русской демократии. Россия не посмела дать себе то правительство, которое желало Демократическое совещание—правительство без кадетов. Союзники заставили переделать то, что решили представители демократической России. В былые времена так обращались только с Персией. Кадеты понадобились вовсе не потому, что без них империализм в русском правительстве остался бы без поддержки—Керенский служил этому империализму не хуже кого другого. Но нужно было проучить революционную демократию—и ей «показали ее место».

Итак, пока империалистская буржуазия имеет хотя какое-нибудь, хотя бы косвенное, влияние на дела, она не даст России разорвать с империалистским блоком. Русская кровь будет литься ради аннексий и контрибуций, из которых кусочек победоносные империалисты дадут, быть может, и нашим неудачным завоевате-

лям. Но ведь это опять-таки близоруко, скажут,—пока союзники победят, Россия будет истощена до дна. Уже давно можно было догадываться, что истощение до дна не очень пугает буржуазию: но когда она сама заговорила о «костлявой руке голода», тратить усилия на догадки более не приходится. Разорение России также входит в планы нашей империалистской буржуазии, как и аннексии и контрибуции ее союзников. Вторые дадут ей рынки, первое обеспечит ей дешевые рабочие руки. Она хорошо помнит, как помогло ей всероссийское разорение, начавшееся голодом 1891 г. Пусть останутся богатые мужички—по одному на десяток,—это укрепит положение буржуазии в деревне, а остальные пусть разоряются в лоск. Не фабрикант будет об этом плакать.

Затяжка войны и господство буржуазии—причина и следствие, как причиной и следствием будут победа революционной демократии, предводимой пролетариатом, и мир. Или одно, или другое.

*Газ. «Известия Совета рабочих депутатов»,*

*1917 г. №198, 27 октября—9 ноября*

## НОВАЯ РЕЧЬ ВИЛЬСОНА

Президент Вильсон никак не может расстаться со своей ролью «голубицы мира». Один американский транспорт за другим высаживает на берег прекрасной Франции одну тысячу за другой юных американцев, предназначенных для убоя в Европе, а вслед им несутся, одна за другим, «послания» главы американской федерации, одно другого елейнее, одно другого миролюбивее. Можно подумать, что Америка производит не пушки и снаряды, благодаря которым бойня длится уже четвертый год, может длиться еще четыре года, ежели американские фабрики не устанут,—а исключительно оливковые ветви.

Все помнят комплименты, которыми осыпал Вильсон большевиков в своем прошлом «послании». В своей новой речи он уже сам большевик. Подумайте: «все точно определенные национальные стремления должны получить возможно полное удовлетворение, какое только может быть предоставлено им, без возбуждения новых или продления старых элементов распрей и антагонизма». Да ведь это самоопределение народов! Ведь это списано с декрета о мире! Ведь это плагиат у брестской делегации, которая только и делала, что отстаивала «национальные стремления» поляков, литовцев, латышей и эстов. Этого принципа никак не хотела признать делегация четверного союза, а по Вильсону этот принцип—один из тех, которые «мы считаем основными, уже всеми признанными в качестве обязательных». Руку, товарищ!

Но только что вы успели возрадоваться обретению нового большевика, и какого видного притом, как ваша слуховая память воскрешает слова одного, тоже видного американского дипломата, слова, которые до сих пор стоят в ушах у пишущего эти строки: «мы мобилизуем десять миллионов человек, мы будем воевать еще три года, пять лет, если понадобится, но мы добьемся своего». Нет, это не большевизм. Большевики демобилизуют, Вильсон мобилизует. Большевики не хотят вести войну ни одного дня больше, Вильсон готов ее вести еще пять лет. Почему же говорят они почти одними и теми же словами? Откуда такое совпадение?

Можно было бы отделаться легкой и дешевой фразой: «все это—

одно фарисейство». Мы не думаем защищать искренности главы американских империалистов. Но дело тут совсем не в искренности. Вильсон—не методистский пастор, говорящий проповедь на текст: «любите друг друга». Вильсон—деловой человек, знающий, чего он хочет и куда он идет, не хуже германских генералов и дипломатов. Каждое его «послание»—зрело обдуманный шахматный ход, несомненно подготовляющий какую-то сделку.

У Вильсона есть какой-то интерес «рядиться в большевики». И не только рядиться: пока дело идет не о социализме, а только о самоопределении национальностей, ему по дороге с большевиками. Он и большевик в данном вопросе действительно домогаются одного и того же: только один во имя *принципа*, другой из правильного политического *расчета*. Самоопределение национальностей в Европе лежит в плоскости интересов американского империализма.

Что такое империализм, взятый не в его экономической сущности, а с чисто политической точки зрения? Это—объединение народов не во имя национальности, не потому, что между людьми есть единство языка, исторического прошлого и т. д., а во имя эксплоатации из одного экономического центра. Типичным образчиком империалистского соединения является четверной союз, который стремится увековечить и на после войны, в виде «Срединной Европы», союз немцев, австрийских славян, венгерцев, болгар, турок, с центром в Берлине и вожжами в руках германских трестов и синдикатов. К этому же союзу пытаются припрячь теперь еще поляков, литовцев и латышей, часть эстонцев и белоруссов, а, может быть, и всех украинцев. Тут, конечно, какое же может быть место «национальному самоопределению»? В сущности, так же дело обстоит и с западным империалистским блоком. Франция и Италия фактически уже сведены на положение английских вассалов (подручников). О Бельгии нечего и говорить, а непосредственно англичане распоряжаются ирландцами, египетскими арабами, индусами и т. д. Не иначе построен и американский империализм, протягивающий свои щупальцы на все стороны света—и на Канаду, в национальной основе французскую, и на Мексику, где население, потомки краснокожих туземцев, говорит по-испански, и на занятые желтой расой Филиппинские острова. Там Америке придется еще иметь много дела с «желтыми» империалистами Японии, а в Канаде, в более или менее близком будущем, неизбежно вооруженное завершение экономической борьбы английского и американского капиталов, борьбы, ведущейся там уже давно. Не подлежит сомнению, что вмешательство Соединенных штатов в европейскую войну имело одним из поводов милитаризацию Америки, создание грозной американской армии, которая понадобится Вильсону не столько в Европе, сколько в других местах. Залитые кровью поля Франции—только учебный плац, где будут созданы «обстрелянные» кадры этой армии.

В чем состоит политическая цель каждого империалистского блока? Очевидно, прежде всего другого, *в разложении чужих блоков*. Мы это опять можем хорошо видеть на примере германского блока:

на восточном фронте он явно стремится к разделу бывшей Российской империи, которая тоже была своего рода империалистским блоком, только более древнего образования. Но вот к разложению такого же старомодного блока, называемого австро-венгерской монархией, германский империализм отнюдь не стремится—его он надеется проглотить целиком.

Мы видим теперь, в зависимости от каких соображений империалист может быть, в одно и то же время, и противником и сторонником «национального самоопределения». О национальном самоопределении филиппинских тагалов президент Вильсон что-то помалкивает, а вот «независимая Польша, образованная в составе всех бесспорно польских племен, живущих рядом друг с другом», ему совершенно необходима. Точно так же как Германии дозарезу нужна независимая Украина, а о независимой Польше «в составе всех польских племен» германские дипломаты и слышать не хотят. Вот «независимость» русской Польши—другое дело.

Вильсон не вмешивался в европейскую войну, пока ни тот, ни другой из бюрющихся в Европе империалистских блоков не имел шансов на победу. Одно время, когда положение Германии казалось плохим (в начале 1915 г.), он даже как будто склонялся на сторону немцев. К концу 1916 г., когда выяснилось, что блоку Согласия (Entente) не удастся победить блок четверного союза, а обратное возможно, был использован первый же предлог—объявление Германией подводной блокады, чтобы исправить нарушенное равновесие, бросив на одну из чашек весов американскую армию. Одно время четверной союз явно искал мира (уже один факт разговоров германских империалистов с их заклятыми врагами, революционными социалистами, в Бресте достаточно выразителен). Вильсону нужно, чтобы мир закрепил то соотношение сил в Европе, которое наиболее выгодно американскому империализму.

А для этого необходимо, не дав окончательно сложиться английскому блоку, разложить, уже довольно прочный, германский. Первое сделал бы самый мир автоматически: прекратится война с Германией, и Англия перестанет держать в кабале Францию и Италию своим углем и своим «тоннажем» (торговым флотом); к их услугам будет германский уголь и германский флот. Второе сложнее,—и вот тут «самоопределение народов» может очень помочь: превратив Австрию и Балканы в федерации самостоятельных народностей, освободив действительно и в целом виде Польшу, не дав Германии проглотить прибалтийских племен, можно до того обезвредить центральноевропейский блок, что об этом конкуренте Америке нечего будет и беспокоиться. А русский блок не может возродиться,—в том порукой русская революция и большевики, провозгласившие «самоопределение населяющих Россию народов вплоть до полного отделения».

А поэтому, да здравствуют большевики и самоопределение национальностей!

*Газ. «Правда» №29 (257), 19 февраля (6 февраля ст. ст.) 1918 г.*

## (ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ) «ОКТЯБРЬ ЗА РУБЕЖОМ»

Для пишущего эти строки воспоминание о русском отряде во Франции навсегда останется неразрывно связанным с первыми днями революции 1917 г.[1] Раненые госпиталя Мишле были первым образчиком русской народной массы, который мне, эмигранту, удалось увидеть после десятилетнего промежутка, в течение которого я видел русских лишь в качестве таких же эмигрантов, как я сам.

Я никогда не забуду ясного, теплого, весеннего парижского утра, когда я отправлялся на первую лекцию не перед эмигрантским кружком, а перед русскими рабочими и крестьянами, волею царской воинской повинности превращенными в защитников французского отечества. Шел я не без трепета. Хотя с первой своей партийной лекции я неустанно вел литературную борьбу против меньшевистско-кадетского предрассудка насчет «глубокого монархизма» русской народной массы, но то была литература, а это действительность. И я не без дипломатии подходил к вопросу, бывшему центральным вопросом моего доклада: почему в России не только Николай, но вообще царь не нужен?

Впечатление, которое меня ожидало, было самым неожиданным. Мне не было никакой надобности, оказывается, разъяснять ненужность для России царя; ибо царь был для моих слушателей, прежде всего другого, совершенно *неинтересен*. Все время, пока я говорил о царе и о вредоносности монархии, над моей аудиторией явственно носилась вежливая, но вполне ощутимая скука.

И как резко изменилась картина, когда я, отвечая на одну из поданных записок, заговорил *о войне*! Ничего похожего на скуку как не бывало. Такой живой аудитории, как эта масса искалеченных и, казалось бы, достаточно занятых своим личным горем людей, я не встречал даже в 1905 г. Царь был совершенно забыт. Об этом злосчастном существе, «преданности» которому народа так опасались кадеты и меньшевики, никто и не вспоминал. Зато живой и грозный враг трудящихся, империализм, впервые становился ясен во всей своей

---

[1] О русском отряде во Франции подробнее в следующей статье «Памяти Куртинского расстрела».—*Прим. ред.*

конкретности не только моим слушателям, но, кажется, и мне самому.

Так заброшенные волею империализма за две тысячи верст от родины русские рабочие и крестьяне сразу вылечили меня от закоренелого исторического предрассудка и показали мне воочию, в чем смысл начинавшейся второй русской революции.

И после этой первой встречи мне припоминается другая. Не просторный двор и зелень госпиталя Мишле, а узкая, тесненькая комнатка, где ютилось бюро комитета по возвращению русских эмигрантов на родину. Комитет был не большевистский, но, за единичными исключениями двух-трех людей, смотревших отщепенцами,— интернационалистский. Смотревшие отщепенцами оборонцы появлялись в нем только изредка, на предмет производства очередного скандала. Вся деловая работа велась интернационалистами.

И вот в этой маленькой комнатке я, как теперь, вижу двух земляков в солдатских шинелях старой царской формы, беседующих с интернационалистами об общем деле. Это делегаты от русской дивизии с фронта. Дивизия—французское командование очень охотно и ловко подставляло под удар нефранцузские части—только что с огромными потерями взяла ряд германских позиций. Но она твердо решила, что это будет ее последний бой с немцами. И что если она пойдет драться еще раз, то это будет уже с другим врагом.

Дело было дьявольски трудное—вывести одну дивизию из бойни, в которую вовлечены были миллионы людей. Мы, эмигранты, были к тому же плохо осведомлены. Мы не знали, что и сам французский фронт уже трещал в это время[1]. Французский главный штаб строжайше скрывал, что в это время, весною 1917 г., на фронте был целый ряд солдатских бунтов, и французские солдаты целыми дивизиями уходили из окопов. Знай мы отчетливо эту обстановку, быть может, мы сумели бы присоветовать землякам какой-нибудь практический выход. Пока же, сколько я помню, мы не пошли дальше совета организоваться и вести пропаганду.

Могло ли бы восстание русской дивизии в те дни сорвать фронт и послужить прологом к такому окончанию войны, какое художественно-правдиво, но исторически неверно дано в известной французской пьесе? [2] Трудно об этом гадать теперь. Как бы то ни было, то, что русские солдаты во Франции не восстали, не спасло их, как увидит читатель этой книжки, от свирепой расправы взбешенных империалистов.

Свидетелями этой расправы нам быть уже не привелось. В тот день, когда происходил расстрел Куртинского лагеря, два парохода с 6 сотнями эмигрантов входили в Северную Двину. Трагедия стала нам известна уже в Москве, но известна так глухо, что весь ее ужас я прочувствовал только теперь, читая воспоминания товарищей, быв-

[1] Об этих событиях см. сборник «Революционное движение во французской армии в 1917 г.», М. 1934.—*Прим. ред.*

[2] Повидимому, речь идет о пьесе французского писателя М. Мартинэ «Ночь», напечатанной в 1921 г. в издании Clarté.—Прим. ред.

ших ее жертвой. Но мне припоминается одна подробность, которую, мне кажется, нелишне привести как дополнение к рассказу.

До августа месяца 1917 г. мы все ждали массовой отправки нас на родину. Эмигрантов за это время выехало довольно много, но небольшими партиями, через Англию. Только в середине июля эмигрантский комитет получил в свое распоряжение два больших парохода бывшего Восточноазиатского общества—«Двинск» и «Царицу». Они могли бы поднять, в случае надобности, всех, кто еще оставался во Франции.

Наша делегация съездила в Брест, осмотрела пароходы, приняла меры к их очистке и дезинфекции и вернулась в Париж подготовлять массовую отправку. И вдруг, как удар грома из ясного неба, извещение русского морского агента, что пароходов нам не дадут: они нужны для другой цели.

Мы бросились к агенту и тут узнали, скорее догадались из полунамеков и красноречивых умолчаний, что пароходы (которые могли поднять, при полной нагрузке, до 6 тыс. человек) понадобились *для отправки в Россию не желавшей более воевать русской дивизии.*

Вот, значит, какой выход в то время носился перед глазами начальства, видевшего невозможность заставить солдат итти в бой и не обнаглевшего еще настолько, чтобы дойти до расстрела своих безоружных земляков. Я не знаю, что в последнюю минуту изменило план. Но пароходы в конце концов остались за нами, и к нам только была придана небольшая, человек в 400, партия русских инвалидов, которые давно ждали отправки.

Но не зная наверное, что было причиной перемены, нетрудно догадаться о действительной связи вещей. В это время был уже налицо приказ Керенского, задерживавший возвращение русских из-за границы вообще. Но если вообще русский революционер, возвращавшийся из изгнания, был для Керенского опасным человеком, то насколько опаснее были эти революционные солдаты, которые самым фактом своего существования должны были неотразимо свидетельствовать об *империалистском* характере войны, которую стремились изобразить обороной отечества. В самом деле, какое отечество обороняли русские в Шампани или под Салониками? Никакие секретные документы не могли бы лучше раскрыть глаза русской народной массе на истинный смысл войны, которую вел Керенский, чем рассказы товарищей-солдат о том, что они видели и в чем участвовали.

Закопать их в гроб живыми за границей было *нужно* для того, чтобы сохранить великую тайну всемирных эксплоататоров. Вот в чем смысл трагедии и Куртинского лагеря и всех последующих. Но, говорит пословица, ложью весь свет пройдешь, да назад не воротишься. Никакой обман не мог помешать раскрыться глазам русских народных масс. И когда это совершилось, керенщина пала, несмотря на все китайские стены, воздвигавшиеся ею между народной массой и истиной. И дальше оставалось мучить тех, кто мог бы открыть истину двумя месяцами раньше, уж только из тупой, злобной мести.

И люди, которые были непосредственно виновниками всех опи-

санных дальше ужасов, теперь готовы протянуть нам руку. Наша книжка выходит очень кстати. Правда, стыд не дым, глаза не ест; но опустить глаза от стыда кое-кого из тех, кто теперь распинается о вечной дружбе, связывавшей Россию и Францию, эта книжка заставит. С французскими трудящимися массами наши солдаты всегда были друзьями; но какими «друзьями» показали себя те, кто забрал в руки командирскую палочку над этими массами! Было бы очень хорошо, если бы следующие дальше рассказы были переведены на французский язык. Это был бы один из лучших способов нашей агитации, который подействовал бы даже на наиболее отсталые слои французских рабочих и крестьян.

*Сборник «Октябрь за рубежом», М. 1924 г.*

# КРОВАВАЯ БАНЯ В КУРТИНЕ

## ПАМЯТИ КУРТИНСКОГО РАССТРЕЛА

*18 сентября 1917—18 сентября 1927 г.*

Среди наших юбилейных дней бывают радостные, напоминающие нам о больших подъемах и больших успехах революции; бывают и печальные, напоминающие лишь о жертвах, которые делу революции были принесены. Бывают даты, известные всем—как июльские дни,— бывают мало кому известные, но о которых надо помнить. То событие, о котором хочется сказать несколько слов, принадлежит как раз к числу менее известных в широких кругах. Но о нем нельзя не вспомнить, хотя бы и потому, что сейчас мы снова стоим накануне ожесточенной схватки с европейским империализмом, а десять лет тому назад именно и случилось то, что горсть наших соотечественников, будущих граждан нашего Союза, оказалась непосредственно в железных когтях этого империализма. Он угрожал им не издали, как он нам теперь угрожает, а непосредственно, штыками, пулями и бомбами.

Для расстреливавших Куртинский лагерь французов его несчастные обитатели были, конечно, «большевики». Вероятно в настоящий момент те из них, которые остались живы, и являются большевиками на самом деле. Но их расстреляли тогда не за преданность идеям революционного марксизма, а за революционность просто, за то, что они были революционерами, требовавшими осуществления элементарных гражданских свобод, возвещенных еще Февральской революцией. Французский империализм был уже против всякой революции, хотя бы даже и «буржуазной», по старому определению, он уже задушил тогда всякую свободу у себя дома и не мог терпеть свободных людей на своей территории.

Русская дивизия, сражавшаяся на французском фронте, с самого начала была обречена на роль орудия этого империализма. Она была его орудием не столько военным, сколько моральным и политическим. Конечно, от того, что к сотне дивизий англо-французского фронта прибавилась одна русская, стратегически решительно ничто не менялось. Но ко второму году войны среди французских масс уже начали

бродить сомнения на счет того, что царь Николай является действительным и верным другом французской демократии. Угроза сепаратного мира русского и германского империализмов уже носилась в воздухе. Французское правительство, в борьбе с такого рода сомнениями французской массы, и пришло к мысли—заполучить во Францию некоторое количество живых русских солдат, которые своим видом каждую минуту напоминали бы, что русские—еще союзники. Любопытно, что русскому правительству тех дней и в голову не пришло потребовать в этом вопросе взаимности—потребовать, чтобы и на русский фронт была прислана французская дивизия. И со своими-то едва справлялись, а тут еще с французами возись! Наоборот, есть указания, что, подбирая личный состав русской дивизии в отношении солдат, не прочь были сбыть во Францию тех, кто уже тогда проявлял признаки «неблагонадежности». Отчасти, впрочем, такому подбору содействовало и то, что союзникам хотели показать не самых тупых и отсталых из подданных русского царя. Выбирали народ поживее, поразвитее и пограмотнее,—и в результате подобрали, может быть, наиболее сознательные по составу солдатской массы полки русской армии.

Но если солдат подбирали по признаку интеллигентности, то офицеров подбирали по другому признаку. Франция и во время войны была переполнена русскими политическими эмигрантами. Послать туда знаменитых «прапорщиков запаса» из вчерашних адвокатов и учителей, это значило пустить щуку в реку. Этого всячески следовало, с точки зрения царского правительства, избегать, и командный состав русской дивизии во Франции составился из самых махровых черносотенников, каких можно было разыскать в армии Николая II.

В дружественную и союзную республику, сами того не сознавая, отправляли бомбу с на редкость сильным взрывным снарядом. И кровавые столкновения солдат с начальством начались тотчас же по вступлении на французскую территорию: командир одного из полков был убит «своими» задолго до того, как он мог встретиться с германской пулей. Какое это начало должно было создать настроение, не трудно догадаться.

Французские впечатления должны были толкать развитие дальше по тому же пути. Дисциплина французской армии, крайне свирепая, в особенности по отношению к солдатам-революционерам, не заключала в себе, однакоже, никаких следов крепостнического холопства, каким была пропитана дисциплина царской армии. Французский офицер не «барин», а французский солдат не «мужик», долженствующий подобострастно глядеть в глаза барину. На улице, в трамвае, в кафе французский солдат чувствует и ведет себя так же, как все остальные граждане, и запрещение солдатам ездить в трамвае или сидеть за столиком в кафе, где сидят офицеры, произвело бы во Франции такое же впечатление, как у нас приказ императора Павла, запрещавший танцовать вальс. Для русских солдат 1916 г. было это совершенной новостью—это путало и разбивало все привычки и представления отечественной казармы. В то же самое время солдаты не могли не

видеть, что все эти «вольности»—для французов, и что их лишены два разряда воинов, дерущихся на том же фронте: их не знают черные, привезенные французами из Африки, и их не знают русские, пригнанные волею царя Николая на равнины Шампани.

В то же время наши земляки не могли не видеть и другого: что главная тяжесть и главная жертва войны падают именно на этих «париев» западного фронта—на черных и на русских. И тех и других посылали в самые опасные места. Демонстративные цели, вызвавшие появление русской дивизии на западном фронте, нисколько не мешали тому, что эту дивизию использовали во-всю, тратя ее всюду, где этим путем можно было сберечь французские части. Солдаты это видели, отлично понимали, что в этом море пушечного мяса их считают самым дешевым, самым последним сортом,—молча ждали, стиснув зубы, когда придет их час.

Этот час пришел в марте 1917 г. Французская цензура долго скрывала русскую революцию не только от солдат на фронте, но и от населения Парижа. Но когда отрекся Николай II, она впала в искушение: ей показалось, что падение «германофильского» правительства может быть удачно использовано для фальсификации русской революции. Отчасти это удалось, но, поскольку дело шло о русских, вольно или невольно пребывавших во Франции, удалось лишь на пару дней. Воспоминания о 1905 г. были в нас слишком живы, мы все слишком хорошо знали, что значит в России революция, чтобы совместить эту последнюю с дальнейшим пролитием крови за интересы французских и английских империалистов. Быть может несколько позже, чем политическая эмиграция, но это осознали и русские на французском фронте.

Французское начальство, как будто сознавая, что на этом фронте образовался революционный прорыв, поспешило тотчас же бросить русскую дивизию в самое отчаянное пекло. Дивизия выполнила все задания, понесла огромные потери, но затем поставила вопрос о том, что же будет дальше? Не подлежит сомнению, что настроение подавляющего большинства солдат было еще в эту минуту «добросовестно-оборонческое», но нельзя было придумать лучшего средства разоблачить оборончество, как поставить людей в те условия, в каких находилась русская дивизия на западном фронте. Что здесь было оборонять русским солдатам? Город Париж? Виноградник Шампани? Но какое все это имело отношение к России?

И вот, не отказываясь пока драться, солдаты стали требовать, чтобы их послали драться туда, где их земляки защищают свою землю. Дивизия, т. е. солдатский состав—офицерство, после первых попыток сопротивления, совершенно стушевалось,—требовала, чтобы ее отправили в Россию. Курьезным образом, с этой точкой зрения русских солдат готово было солидаризироваться и французское правительство: русская революционная дивизия, с ее выборными советами и комитетами, грозила стать таким источником заразы для французского фронта, что французские министры всего

охотнее увидали бы ее отплывающей по направлению к Архангельску.

Русское начальство во Франции колебалось. Но не колебался Керенский, инстинктивно понимая, что в лице русских, видевших настоящий, безо всяких прикрас, империалистский фронт, впечатление которого не замазать было никакими оборонческими фразами, он получит наиболее «левый» отряд русской армии, готовых будущих большевиков. Русские эмигранты по собственному впечатлению знают, что не было ничего легче, как разоблачать империалистский характер войны перед солдатами русской дивизии. От «добросовестного оборончества» к «пораженчеству» они шли весьма быстрыми шагами. Притом все это, напомним, были люди, по сознательности гораздо выше тогдашнего среднего солдатского уровня.

Керенский категорически отказал в возвращении русской дивизии. Русское начальство во Франции колебнулось еще раз— в середине августа был момент, когда казалось, что нашу дивизию вот-вот повезут домой. Отплывая из Бреста, русские эмигранты видели пароходы, которые, как им говорили, предназначены для русских солдат. Но отправили только подлежащих эвакуации, больных и раненых: к слову сказать, это была публика наиболее антивоенно настроенная по всем показаниям; от нее, видимо, французы решили во что бы то ни стало избавиться. Здоровые же русские солдаты были сняты с фронта и отведены в далекий тыл, где их держали в тесном оцеплении французских войск. Революционные солдаты, как и можно было ожидать в империалистической обстановке, начинали превращаться в политических арестантов.

Дальше читатели найдут собственный рассказ о той голгофе, которую им пришлось пережить. До последней минуты они питали иллюзию, что среди империалистов, под игом империалистского правительства они могут оставаться теми свободными гражданами, какими их сделал русский Февраль. Русское и французское начальство, на этот раз в полном добром согласии, пускали в ход все средства провокации и интриги, чтобы расколоть солдат, поссорить их между собой, наконец, вызвать какой-нибудь «бунт», который с «приличием» можно было бы усмирить. В отдельных случаях политика начальства имела кое-какой успех—но в общем и целом большая часть дивизии, занимавшая Куртинский лагерь, держалась крепко. Начальству пришлось пустить в ход открытую силу,— и 18 сентября артиллерия вынудила почти безоружных (у них были только винтовки) куртинцев сдаться.

Дальше начинается самая мрачная, и самая отвратительная в то же время, страница этой трагедии. После 18 сентября превращение русских солдат во Франции во французских политических арестантов стало полным. Это не были больше союзники, хотя бы и несколько подозрительные, это были военнопленные самой жестокой войны, гражданской войны. С германскими пленными во Франции никогда не обращались так жестоко, как с русскими солдатами, про-

лившими столько крови на защите «прекрасной Франции». И, в полном согласии с этой логикой, заключение мира между Россией и Германией в Бресте не только не улучшило, но в десять раз ухудшило положение этой категории военнопленных. Французский империализм не нашел у себя гражданского мужества объявить войну большевистскому правительству, но он вел себя так по отношению к русским солдатам, как будто он имел дело с взбунтовавшимися жителями какой-нибудь из многочисленных французских колоний. Недаром сосланные в самую неприютную часть Алжира русские до чрезвычайности быстро находили общий язык с арабскими крестьянами, как ни мало лингвистически общего между русскими и арабскими языками.

Никакого «юридического базиса» под это поведение французского правительства тех дней подвести невозможно. Русским солдатам ставили на выбор: или вернуться обратно на антигерманский фронт, т. е. нарушить закон своей страны и распоряжение своего правительства, или отправляться на каторгу. В международных обычаях даже XVIII в. трудно было бы найти что-нибудь, оправдывавшее такое поведение. Взбешенный империалист является едва ли не самым лучшим в мире разоблачителем всей фальши буржуазного правового «порядка». Мы видели с тех пор много примеров этому, и нас этим не удивишь,—но история должна отметить, что впервые в области международных отношений империалисты сняли всякую маску именно в этом деле, в деле русской дивизии, действовавшей на французском фронте.

Да будет же этот день днем незабываемой памяти империалистской злобы, империалистской жестокости и империалистского предательства. Накануне нашей новой схватки с империализмом да напомнит он нам, чего мы должны ждать от этого зверя. Да разрушит он всякие иллюзии насчет «демократии» и «правого порядка» там, где замешаны интересы господ капиталистов, и в лице бывших куртинцев с товарищеским приветом встретим первых, кто столкнулся с этим зверем еще раньше, чем первый солдат интервенции вступил на почву нашей страны.

*Газета «Правда» № 213 (3745), 18/IX 1927 г.*

## ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ

Вступление России в войну было предметом многих и разнообразных рассказов и исследований. Самым последним, с огромным опозданием, выступил на арену наиболее непосредственный «виновник», с русской стороны,—бывший министр иностранных дел Николая II Сазонов[1]. Безнадежно устаревшая общая концепция (вплоть до уверений в «совершенной непричастности» сербского правительства к убийству Франца-Фердинанда—то-то, вероятно, смеются в Сербии, читая теперь такую чепуху!) не мешает тому, что кое-какой новый свет на события июля 1914 г. проливает и Сазонов. Чрезвычайно интересны его «дипломатические» намеки на провокаторскую роль, какую играла во всем деле Англия, которой, как правильно указывает Сазонов, ничего не стоило остановить Вильгельма в *начале* конфликта. Ему намеренно дали «зарваться», чтобы у Германии были отрезаны всякие пути к отступлению. Но это лишь новые штришки к картине, давно написанной,—притом штришки, не ослабляющие, а усиливающие основной колорит картины. Можно с уверенностью сказать, что в этой области, в области *начала* войны, с русской стороны никаких больших разоблачений более ждать нельзя. В основном, что можно знать, мы уже знаем.

Совсем иначе обстоит дело *с концом* войны для России. Здесь никаких исследований, собственно говоря, пока нет. Основные документы напечатаны в крайне неполном виде, притом с совершенно невероятными ошибками и опечатками[2]. Когда недавно пришлось поручить составление статьи о Брестском мире одному очень талантливому молодому историку, он не смог дать даже внешне правильной

---

[1] См. «Современные записки», т. XXXII, 1927 г.

[2] Приведем два примера: 16-й тезис Ленина о мире читается в Собрании сочинений так: «Беднейшее крестьянство в России в состоянии поддержать социалистическую революцию, руководимую рабочим классом: оно в состоянии немедленно, в данный момент пойти на серьезную революционную войну» (т. XV, стр. 68). Что за чепуха, скажет читатель, когда Ленин мог написать такое? Маленькая «опечатка», дорогой читатель: во второй фразе пропущено не. Другой пример: на стр. 623 того же тома суммы голосов при голосовании ЦК 22 (9) января дают в одном случае 14, в другом—13, в третьем—18. Сколько же членов ЦК голосовало на самом деле?

во всех подробностях картины события; ряду товарищей пришлось дополнять и поправлять «по личным воспоминаниям». Не смог не потому, чтобы не умел,—повторяю: это очень талантливый человек. Но участником переговоров он не был, близко к «центрам» в ту пору не стоял, а документы, которыми он мог пользоваться, крайне несовершенно и неполно отразили происходившее.

В результате, если не говорить о нашей внутрипартийной дискуссии, связанной с Брестом, о чисто объективной, конкретно-исторической стороне кризиса больше можно узнать из иностранных, чем из наших источников. Людендорф, Чернин, Гофман, с одной стороны, Садуль, Робинс, Бьюкенен—с другой, дают хотя весьма бессвязный, но очень богатый фактами комментарий к официальным нотам и стенограммам. Обстоятельный анализ этих и многих иных аналогичных источников, наряду с более широким, чем это было и могло быть до сих пор, использованием наших собственных архивов, только и могут восстановить картину Бреста с внешней стороны такой, какова она действительно была. Настоящий очерк представляет собою только самый первоначальный приступ к такой работе, но уже и это начало позволяет—таково, по крайней мере, субъективное впечатление автора—лучше понять даже и нашу партийную линию в этом вопросе. Автор должен прибавить, что он пользовался исключительно *печатными* источниками.

Это в области фактов. В области же *исследования* до сих пор не вполне разрешенным остается вопрос: из *какой* войны мы выходили в 1917 г.? Ни у кого не было и нет спора, что это не была война *национальная*, что это была война *империалистская*. Но была ли эта война для России империалистской точно в таком же смысле, как для Англии или Германии? Или для России термин «империалистский» следует понимать с некоторыми ограничениями? Мы знаем от Ленина, что смешно было бы ждать «чистой» социалистической революции; не так же ли обстоит дело с «чистой» империалистской войной? На этот счет, как мы увидим, есть вполне определенные указания и у Ленина. Но прежде чем к ним перейти, коснемся в двух словах этого вопроса, как он стоял и стоит в специальной литературе.

«Общее мнение» в наших кругах во время войны сводилось к тому, что война и для России должна быть империалистской в обычном, «капиталистическом» понимании слова «империализм», потому, что иначе как же в России возможна социалистическая революция? Я не буду разбирать вопроса, сознательно или бессознательно здесь отражалась троцкистская точка зрения, согласно которой Россия в период войны стояла непосредственно перед социалистической революцией. Для нашей задачи важнее отметить, что в новейшей литературе от этой точки зрения, под влиянием изучения фактов, главным образом фактов *экономических*, начали отходить. Ряд исследований в области истории русского финансового капитала (Ванаг, Ронин и т. д.) привел к выводу, который лучше всего передать словами самого авторитетного представителя этого течения, Л. Н. Крицмана: «В итоге—вместо системы русского финансового капитала мы имели на терри-

тории России части *трех* могущественных систем финансового капитализма—французской, германской и английской (из которых две, французская и английская, стали, как известно, ко времени войны частями мощной коалиции «Согласия»)[1].

Итак, «русский империализм» не может быть обозначен иначе, как при помощи скобок, кавычек или иных вспомогательных типографских знаков. Это не есть империализм в том «чистом» его понимании, какое относится к империализму французскому или английскому. Мы увидим, что типографские знаки в применении к русскому империализму начали употреблять задолго до появления в свет первых произведений «школы Крицмана». Но, невзирая на имеющихся у школы весьма авторитетных предшественников, «школа» сейчас же встретила отпор, и в этом отпоре явственно слышатся отзвуки той теории, которая господствовала в широких кругах во время войны. Произведения критиков т. Крицмана и его учеников не все еще опубликованы: два из них—работа т. А. Сидорова (в первом томе «Очерков истории Октябрьской революции», изд. Института красной профессуры) и вторая—статья т. Грановского, долженствующая появиться в одном из изданий Коммунистической академии,—выйдут в свет, вероятно, одновременно с этой статьей или даже несколько позже ее[2]. Я не буду поэтому цитировать их здесь. Нет никакого сомнения, что тт. Крицман, Ванаг и Ронин будут им возражать, когда эти труды появятся в свет. Я остановлюсь только на некоторых данных, приводимых автором, принадлежащим, до известной степени, к тому же направлению, что и тт. Сидоров и Грановский, хотя подходящим к вопросу с другой стороны и, нужно заметить, писавшим *одновременно* с Ванагом и Рониным, хотя его книга и вышла позже. Это—т. И. Ф. Гиндин, выпустивший в нынешнем году свою работу «Банки и промышленность в России». Теоретическое «новшество» автора, выразившееся в попытке обосновать две формы финансового капитала, промышленную и банковскую, нас мало здесь интересует. Интереснее другое: т. Гиндин склонен весьма скептически относиться к «засилью» *иностранного* капитала над русскими банками, а через них и над русской промышленностью. Ему кажется, что «национальный» капитал играл в экономике России перед войной гораздо более серьезную роль, чем это приписывает ему крицмановская школа.

И, однакоже, вот к какому результату приходит Гиндин относительно основной промышленности современной индустрии, металлургии, в России перед 1914 г.: «Подводя общие итоги, можно указать, что в отраслях, обрабатывающих железо, из 125 предприятий, с капиталом в 370 млн. руб., 39 крупнейших предприятий, с капиталом в 233 млн. руб. (более 60%), находились в той или иной форме под сильным влиянием русских банков (к этому надо прибавить еще два смешанных предприятия с капиталом в 19 млн. руб.). 37 иностранных предприятий имели только 89 млн. руб. капитала (менее 25%),

---

[1] *Ронин*, Иностранный капитал и русские банки, предисловие стр. V.
[2] Теперь и та и другая уже напечатаны.

наконец, на 47 русских обществ падало всего 29,1 млн., или менее 10% капитала, вложенного в акционерные общества данной отрасли. Эта картина несколько изменится в пользу иностранного капитала, если мы будем суммировать цифры, относящиеся к железоделательной и обрабатывающей железо промышленности!».

Для полноты картины нужно посмотреть, что же представляли собою эти «русские» банки, которые командовали над русской, уже безо всяких кавычек, металлургией. И на этот счет Гиндин дает исчерпывающие указания, особенно ценные в связи с его общей точкой зрения.

> «В нескольких крупнейших предприятиях русские банки сделались естественными представителями дружественных иностранных банков, причем «дружба» в этом случае нашла свое выражение в совместных финансовых трансакциях с бумагами этих предприятий. Их акции, популярные как на петербургской, так и на парижской биржах, становятся любимым объектом фондового арбитража. Так обстояло дело в четырех из пяти близких банкам предприятиях Юга. Однако, нужно пойти еще дальше и отметить, что по степени влияния русских банков отношения в указанных четырех предприятиях были не вполне схожи. Два из них при значительном участии иностранных капиталов—при наличии во всяком случае в одном сильной иностранной предпринимательской группы—обнаруживали значительное влияние на них политики русских банков. Наоборот, в двух других представительная роль русских банков сказывалась весьма сильно,—количество представляемых ими на собраниях акций весьма уступало тому, которое значилось за французскими кредитными учреждениями, число мест в правлении было также крайне незначительно. Наконец, в синдикатных операциях они выступали как представители иностранных кредитных учреждений, и само руководство русской группой в этом случае зависело, повидимому, не от близости русских банков к предприятию непосредственно, а к руководящему французскому учреждению» [1].

В общем и целом, таким образом, утверждение т. Гиндина очень мало колеблет тот тезис т. Крицмана, который мы привели вначале. В конце концов, предвосхищая до некоторой степени полемику с не окончательно еще родившимися на свет работами тт. А. Сидорова и Грановского, можно сказать, что спор идет на очень узкой полосе, в пределах одного-двух десятков процентов, выражающих зависимость русской индустрии от иностранного капитала. По Ванагу выходит процентов 70—75, по А. Сидорову—не более 60. Но что русский капитал перед войной в очень значительной степени был филиалом антантовского,—это положение можно считать непоколебленным, и в этом смысле «русский империализм» приходится брать в кавычки.

Спрашивается: является ли это теоретически в нашей русской литературе какой-нибудь новостью? Ни в малейшей степени. Возьмите ленинские «Письма издалека», письмо четвертое, «Как добиться мира», и вы там прочтете:

> «Россия ведет войну не на свои деньги. Русский капитал есть участник англо-французского. Россия ведет войну, чтобы ограбить Армению, Турцию, Галицию. Гучков, Львов, Милюков, наши теперешние министры—не случайные люди. Они—представители и вожди всего класса помещиков

---

[1] *Гиндин*, назв. соч., стр. 148 и 149.

и капиталистов. Они *связаны* интересами капитала. Капиталисты не могут отказаться от своих интересов, как не может человек сам себя поднять за волосы. Во-вторых, Гучков—Милюков и К-о *связаны* англо-французским капиталом. Они на чужие деньги вели и ведут войну. Они обещали за занятые миллиарды платить *ежегодно* процентов *сотни миллионов* и выколачивать эту *дань* с русских рабочих и русских крестьян»[1].

Слова Ленина вносят лишь ту поправку в картину гегемонии антантовского капитала над русским, что эта гегемония достигла своих максимальных размеров именно *во время* войны, т. е. в 1917 г. была еще больше, чем в 1914 г. Но своеобразия русского империализма, его неполного сходства с империализмом Англии или Германии слова Ленина ни в малейшей степени не отрицают. И не могут отрицать, так как и вообще Ленин не мог писать о «русском» империализме без помощи тех типографских знаков, к каким вынуждены постоянно прибегать мы. Вот две цитаты из всем известной статьи Ленина «О двух линиях революции», напечатанной еще в ноябре 1915 г. Возражая Троцкому (мы видели, что «общепринятая» в дни войны концепция была, по существу, троцкистской), Ленин говорит:

«Вот забавный пример «игры в словечко»: империализм. Если в России уже противостоит пролетариат «буржуазной нации», тогда, значит, Россия стоит прямо перед *социалистической* революцией!! тогда неверен лозунг «конфискация *помещичьих* земель» (повторяемый Троцким в 1915 г. вслед за январской конференцией 1912 г.), тогда надо говорить не о «революционном рабочем», а о «рабочем *социалистическом* правительстве»!! До каких пределов доходит путаница у Троцкого, видно из его фразы, что решительностью пролетариат увлечет и «*не*пролетарские (!) народные массы» (№) 217!! Троцкий не подумал, что если пролетариат увлечет непролетарские массы деревни на конфискацию помещичьих земель и свергнет монархию, то это и будет завершением «национальной буржуазной революции» в России, это будет революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства!»[2] И далее:

«Пролетариат борется и будет беззаветно бороться за завоевание власти, за республику, за конфискацию земель, *то-есть* за привлечение крестьянства, за *исчерпание* его революционных сил, за участие «непролетарских народных масс» в освобождении *буржуазной* России *от военно-феодального* «империализма» (=царизма). И этим освобождением буржуазной России от царизма, от земельной власти помещиков пролетариат воспользуется немедленно не для помощи зажиточным крестьянам в их борьбе с сельским рабочим, а для—совершения социалистической революции в союзе с пролетариями Европы»[3].

Видите, сколько понадобилось вспомогательных типографских средств Ленину, когда он заговорил о русском империализме. «Военно-феодальный» он подчеркнул, империализм взял в кавычки, да еще рядом в скобках поставил «царизм». Очень большое своеобразие той роли, какую играла Россия в империалистских комбинациях, было установлено, таким образом, задолго до Л. Н. Крицмана. Его постановка ни в чем не противоречит ленинскому пониманию русского империализма. Безусловно, для России война ни в каком случае не была *национальной* войной, как для Германии 1870—1871 гг. Но она не

---

[1] *Ленин*, Соч., т. XX, стр. 42—43.
[2] Там же, т. XVIII, стр. 317.
[3] Там же, т. XVIII, стр. 318.

была и такой империалистской войной, как для Германии война 1914 г. Совершенно вразрез с метафизическим, твердым, как дерево, пониманием слова «империализм», но в полном согласии с диалектическим пониманием империализма, война 1914 г. для России была *переходом* от «военно-феодального империализма» (=внешней политике торгово-феодального государства) к империализму периода капиталистических монополий (=внешней политике финансового капитала). Именно сама война и должна была быть той ступенью, пройдя которую, русский финансовый капитал из вассала должен был превратиться в сюзерена. Смысл «победного конца» именно в этом и должен был заключаться. Разгром России в 1915 г. спустил вассала, однакоже, еще на одну ступеньку *ниже*—сделал его, продолжая сравнение, «арьер-вассалом». Отсюда—Россия после февраля 1917 г. была в большей степени империалистской страной, чем в 1914 г., но еще в меньшей степени самостоятельно-империалистской страной, чем до войны.

В самой войне не было и не могло быть, таким образом, ничего национального. Но в известном смысле «национальное» присутствовало в нашем выходе из войны. Ленин с чрезвычайной меткостью подчеркнул в одном из своих тезисов, что если бы Россия в феврале 1918 г. пошла на революционную войну, она вела бы, в сущности, войну национальную, только за национальные интересы не самого великорусского племени. В 21-м тезисе он пишет: «Действительно революционной войной в настоящий момент была бы война социалистической республики против буржуазных стран с ясно выраженной и вполне одобренной со стороны социалистической армии целью свержения буржуазии в других странах. Между тем этой цели в *данный* момент мы себе *заведомо* не можем еще поставить. Мы воевали бы теперь, объективно, из-за освобождения Польши, Литвы и Курляндии. Но ни один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что интересы социализма стоят выше, чем интересы права наций на самоопределение. Наша социалистическая республика сделала все, что могла, и продолжает делать для осуществления права на самоопределение Финляндии, Украины и пр. Но если конкретное положение дел сложилось так, что существование социалистической республики подвергается опасности в данный момент из-за нарушения права на самоопределение нескольких наций (Польша, Литва, Курляндия и пр.), то, разумеется, интересы сохранения социалистической республики стоят выше».

Та война, чисто классовая война, о которой говорил здесь Ленин, началась фактически в мае 1918 г., когда французская, английская и американская буржуазии наняли сначала чехо-словаков, потом Колчака, затем Деникина, Юденича и Врангеля, чтобы сбросить власть утвердившегося в России пролетариата. Наша гражданская война была именно той классовой войной, о которой говорил Ленин. Брест же, заканчивая *переходную* для России «империалистскую» войну, неизбежно должен был заключать в себе известный, «национальный» момент, хотя на национально-революционную войну мы и не пошли.

Этим национальным моментом было освобождение русской народной массы от обязательства платить долги, заключенные царской властью для того, чтобы подавить революцию и вести войну. Этим Россия, как Россия, как определенная страна, стряхнула с себя то иго Антанты, которое обусловило вхождение России в войну. Нужно сказать, что и эта сторона Брестского мира была предвидена Лениным еще в марте 1917 г. В том же цитированном выше четвертом «Письме издалека» («Как добиться мира»), набрасывая программу мира, который должна была бы заключить Советская республика, Ленин писал (п. 6):

> «...он (Всероссийский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов) заявил бы, что миллиардные долги, заключенные буржуазными правительствами на ведение этой преступной, разбойничьей войны, могут уплачивать *сами господа капиталисты*, а рабочие и крестьяне этих долгов *не признают*. Платить проценты по этим займам—значит платить долгие годы *дань* капиталистам за то, что они милостиво разрешили рабочим убивать друг друга из-за дележа капиталистической добычи»[1].

Могут возразить, что теперь, через десять лет, мы все-таки соглашаемся платить эти долги. Ничего подобного: ведущиеся теперь переговоры об уплате *небольшой части* заключенных царской Россией долгов именно и свидетельствуют, что с основным фактом неплатежа примирились даже и бывшие державы Антанты. Правило признано,— но у нас спрашивают: а не будет ли из правила маленького исключения? Мы отвечаем, что, если исключение выгодно для нас, то мы согласны. Но исключения лишь подтверждают правила. И национальный смысл Бреста—то, что Октябрьская революция положила конец гегемонии западноевропейского империализма над нашей страной—остается в полной силе.

Суть Бреста была, таким образом, не столько в мире с Германией, сколько в разрыве с Антантой. Как раз то, по поводу чего слышались лицемерные вопли русской буржуазии, та «измена», тот «позор», о котором так буржуазия кричала, и было основным национальным содержанием выхода России из войны. Что вопли буржуазии были именно *лицемерные*,— это великолепно понимал Ленин, говоривший, между прочим, на заседании Центрального исполнительного комитета 8 марта (23 февраля):

> «Не поддавайтесь провокации, которая исходит из буржуазных газет противников советской власти: да, у них нет иного слова как «похабный мир» и криков «позор!» по поводу этого мира, а на самом деле эта буржуазия встречает с восторгом немецких завоевателей. Они говорят: «вот немцы, наконец, придут и дадут нам порядок»—вот чего они хотят и травят криками «похабный мир, позорный мир». Они хотят, чтобы советская власть дала бой, неслыханный бой, зная, что у нас сил нет, и тащат в полное порабощение к немецким империалистам, чтобы устроить сделку с немецкими полицейскими...»[2].

Это прикрытое лохмотьями антантовской лойяльности германофильство русской буржуазии мог заметить даже гораздо менее про-

[1] *Ленин*, Соч., т. XX, стр. 45.

[2] Там же, т. XXII, стр. 282. В датировке вкралась ошибка: речь была произнесена на заседании ВЦИК 23/II нов. ст.—10/II ст. ст.—*Прим. ред.*

ницательный взгляд, чем взгляд Ленина. Американский полковник Томсон, предшественник Робинса во главе американского Красного креста в России, говорил Робинсу: «Робинс, я деловой человек, петроградские деловые люди—люди, которых я понимаю. Я бы хотел иметь с ними дело. Но это невозможно. Я с ними разговаривал. Я их прощупывал, Робинс: они за немцев».

Лживые вопли об «измене» были последней «военной ложью», которую успела пустить в ход перед своим концом русская империалистская буржуазия. Стоит остановиться на минуту на тех причинах, которые обусловили прогерманскую позицию этой буржуазии перед Октябрем—тем более, что на этой стороне в нашей литературе мало останавливались. Нет никакого сомнения, что, взяв, несколько неожиданно для самих себя, власть в руки в марте 1917 г., наши империалисты впервые почувствовали у себя руки развязанными. Первым министром иностранных дел, который повел империалистскую политику, не стесняемый никакими династическими соображениями, никакими романовскими традициями, был Милюков. Нет надобности говорить, что это была отнюдь *не менее*, а, напротив, *более* империалистская политика, чем политика Сазонова. В статье т. Рубинштейна, которая появится в том же сборнике трудов Института красной профессуры, где и статья т. А. Сидорова[1], читатели найдут интереснейшие подробности об империалистской политике Милюкова, о его ярких империалистских выступлениях в Персии и. т. д. Но все это имело лишь последствием, что Милюков сразу утратил симпатии своих недавних английских почитателей. Они вдруг начинают замечать, что Милюков «плачевно слаб», что он

> «настолько одержим одной идеей—Константинополя,—которая для специалистов олицетворяет империалистскую политику старого режима, что он никогда не выражал взглядов правительства как целого».

Поразительным образом эта внезапная непопулярность Милюкова распространилась и на других империалистов.

> «Гучков страдает слабостью сердца и едва ли стоит на высоте положения. Его взгляды на дисциплину в армии очень здоровые, но он не способен внушить их своим коллегам, а это самое главное—так как он не обладает даром личного магнетизма Керенского».

Совсем другое дело—Керенский.

> «Керенский был единственным министром, личность которого, хотя и не вполне симпатичная, заключала в себе нечто останавливающее внимание и импонирующее. В качестве оратора он обладал гипнотизирующей силой, очаровывавшей аудиторию, и в первые дни революции он непрерывно старался сообщить рабочим и солдатам частицу своего собственного патриотического пыла. Однако, защищая продолжение войны до конца, он отвергал всякую мысль о завоеваниях, и тогда как Милюков говорил о приобретении Константинополя, как об одной из целей России в войне, он энергично отрекался от солидарности с ним. Благодаря своему умению владеть массами, личному влиянию на товарищей по правительству и отсутствию сколько-нибудь способных соперников, Керенский

[1] Сборник этот уже вышел в свет.

был единственным человеком, от которого могли ожидать, что он сумеет удержать Россию в войне»[1].

Те «щели» между империализмом, о которых говорил Бухарин на VII съезде партии,—Ленин, по словам Бухарина, хотел пролезть в одну из них,—эти щели начали образовываться задолго до начала брестских переговоров, и первой из них была щель между русским и английским империализмом. Керенский был выдвинут не только потому, что он «умел владеть массами», но и потому, что он был менее сознательным и далеко менее умелым империалистом, чем Милюков и Гучков. А когда оказалось, что неумелость Керенского имеет и свою оборотную сторону и что его попытки «сообщить рабочим и солдатам частицу своего собственного патриотического пыла» потерпели неудачу, Бьюкенен ставит ставку на Корнилова, который казался более умелым, чем Керенский, в деле усмирения революции, но у которого нельзя было найти даже и следов хотя бы понимания того, что понимал Милюков. А субсидирование Керенского перешло к американцам. И тот же Томсон, который так был опечален германофильством русской буржуазии, из *своего собственного кармана* пожертвовал миллион долларов специально на усиление «гипнотизирующей силы» Керенского. Деньги эти были вручены особому комитету, во главе которого стояли «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская и дедушка той же революции Чайковский, недавно умерший за границей, позже глава архангельского белого правительства, и где Керенский был представлен своим личным секретарем Соскисом. Томсон просил для этой почтенной компании, вдобавок к своему собственному миллиону, еще четыре миллиона от американского правительства, но Вильсон их не дал[2].

В конце концов, таким образом, и американцам официальным Керенский оказался не нужен, и томсоновский миллион остался приятным воспоминанием, которое, впрочем, кажется, и поднесь кое-кого питает и обогревает. А российской буржуазии на минуту оказалась не нужна, и даже весьма противна, Антанта. Только на минуту, ибо с момента чехо-словацкого восстания Антанта снова стала мила и любезна, и к ее стопам стали припадать еще более горячо, чем раньше. Вожделений насчет самостоятельного империализма более не было—приходилось шкуру спасать.

Противоположение германского и антигерманского империализма лежало в плоскости *буржуазной* идеологии: пролетариату нужно было именно «пролезть в щель», т. е. сманеврировать так, чтобы остаться вне пределов достижения как для того, так и для другого. С точки зрения этого маневра особенно неудачным приемом была бы революционная война, которая—говорил Ленин (тезис 10-й)—

«в данный момент сделала бы нас объективно агентами англо-французского империализма, давая ему подсобные его целям силы... Если

---

[1] *Бьюкенен,* Мемуары дипломата, стр. 209 и 221. Разрядка моя.—*М. П.*
[2] Raymond Robins Own Story, *by William Harz,* стр. 36—37.

мы ни копейки не возьмем от англо-французов, мы все же объективно будем помогать им, отвлекая часть немецких войск»[1].

Пролетариату *в данный момент* нужен был *мир*, как таковой, выход из войны, тогда как буржуазии нужен был *союз* с тем или другим империализмом: не с тем, так с другим. И не потому совсем нужен был мир, что «крестьянство устало»,—этот аргумент Ленин приводил лишь между прочим, иллюстрируя *материальную* невозможность воевать. Но с этого конца мир был приемлем и для мелкобуржуазных партий, стоявших до Октября на оборонческой позиции. *Бьюкенен* в своем дневнике рассказывает прелестный и недостаточно у нас популярный—меньше, чем он того заслуживает—анекдот из этой области.

«Московский городской голова Руднев, Гоц, принадлежавший к левому крылу социалистов-революционеров, и петроградский городской голова на-днях сообщили мне, что они хотят меня видеть и предлагали мне встретиться с ними в Летнем саду, чтобы не привлекать внимания. Я отказался от такого рода тайной встречи с ними, но сказал, что если они явятся в посольство, то я буду рад их видеть. Руднев и Гоц пришли сегодня поздно вечером, повидимому, приняв всяческие меры предосторожности к тому, чтобы не быть прослеженными. Весьма симптоматично для времени, в которое мы живем, что социалист с крайними взглядами, каков Гоц, должен приходить в посольство тайком из опасения быть арестованным как контрреволюционер. Они сказали, что они явились спросить меня, каково было бы наше отношение, если бы Учредительное собрание пригласило нас превратить настоящие переговоры о сепаратном мире в переговоры о всеобщем мире. Затем они обратились ко мне со следующим вопросом: если России, которая не может продолжать войны, придется заключить сепаратный мир, то не можем ли мы чем-нибудь помочь ей в том отношении, чтобы она не была вынуждена принять условия, вредные для интересов союзников? В заключение они пожелали узнать, является ли серьезным или представляет собою блеф по отношению к германцам заявление г. Ллойд-Джорджа о том, что Англия намерена продолжать войну до конца. Я дал необязывающие ответы на все эти вопросы, и, после того, как я объяснил основания, вынуждающие нас продолжать войну, они заверили меня, что социалисты-революционеры считают не Англию, но Германию ответственной за продолжение войны. Когда они уходили, то Руднев сказал мне, что мое кресло в зале городской думы всегда в моем распоряжении, так как московская дума не большевистская. Однако, меня не очень соблазняет занимать его при настоящих обстоятельствах».

Этот разговор происходил 23 (10) декабря—как раз в разгаре первой стадии брестских переговоров уже о мире, а не о перемирии (первое заседание «мирной» конференции происходило 9-го по старому стилю). Уже тогда и эсеры и меньшевики готовы были заключить мир, и об этом широко было известно в союзнических кругах.

«В частных разговорах я изо всех сил борюсь с мнением, общераспространенным среди с.-р. и с.-д., что в случае разрыва брестских переговоров, Учредительное собрание должно немедленно предпринять новую попытку»,—записал Садуль десять дней спустя. «Все, кого я вижу, гораздо больше склонны к капитуляции, чем большевики,—больше расположены уступать на вопросах о Курляндии, Литве, Польше и т. д., о праве народов на самоопределение, о разоружении и прочем»[2].

---

[1] *Ленин*, Соч., т. XXII, стр. 195.
[2] *Бьюкенен*, рус. изд., стр. 289—290; *Садуль*, стр. 81.

Просто положить оружие—это опять была не большевистская, не пролетарская тактика. Что мы должны были подписать в конце концов именно *такой* мир,—это была *неудача* нашей тактики. Ленин и на это пошел, ибо даже и такой мир, с точки зрения интересов социалистической революции, был лучше, чем возвращение в войну. Но основная ленинская схема была не такова. Нет ничего ошибочнее, как представлять себе Ленина каким-то своеобразным большевистским пацифистом: это почти то же, что считать его противником *марксовой* теории перманентной революции. И в том и в другом случае Ленин был непримиримым противником *извращения* марксизма—в данном, брестском, случае—непримиримым противником *мелкобуржуазного извращения идеи революционной войны.* Напомним его соответствующий тезис (12-й):

«Говорят, что мы прямо «обещали» в ряде партийных заявлений революционную войну и что заключение сепаратного мира будет изменой нашему слову. Это неверно. Мы говорили о *необходимости «подготовлять и вести»* революционную войну для социалистического правительства в эпоху империализма; мы говорили это, чтобы бороться с абстрактным пацифизмом, с теорией полного отрицания «защиты отечества» в эпоху империализма, наконец, с чисто шкурными инстинктами части солдат, но мы не брали на себя обязательства начинать революционную войну без учета того, насколько возможно вести ее в тот или иной момент. Мы и сейчас, безусловно, должны готовить революционную войну. Мы выполняем это свое обещание, как выполняли вообще все наши обещания, которые можно было сразу выполнить, расторгли тайные договоры, предложили всем народам справедливый мир, оттягивали всячески и несколько раз мирные переговоры, чтобы дать время присоединиться другим народам. Но вопрос, о том, можно ли *сейчас, немедленно* вести революционную войну, следует решить, учитывая исключительно материальные условия осуществимости этого и интересы социалистической революции, которая уже началась»[1].

Ленин не только говорил, но, как всегда, и делал то, что говорил. «Подготовка к войне» в его устах была всего менее революционной фразой. Дневник Садуля, воспоминания Робинса служат непререкаемым свидетельством, что Ленин искал всюду, где можно было надеяться найти, оружия, денег, съестных припасов, технического руководства—всего, что для войны нужно. Теория «передышки» сложилась вовсе не в период немецких ультиматумов, она имеется целиком в тезисах, которые были лишь *напечатаны* после ультиматума, а *оглашены* (в ЦК) за три недели до него, задуманы же и писались, конечно, еще раньше (вероятно, в течение декабря). А там стоит (тезис 20):

«Заключая сепаратный мир, мы в наибольшей *возможной для данного момента* степени освобождаемся от обеих враждующих империалистских групп, используя их вражду и войну,—затрудняющую их сделку против нас,—используем известный период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции. Реорганизация России на основе диктатуры пролетариата, на основе национализации банков и крупной промышленности, при натуральном продуктообмене города с деревенскими потребительскими обществами мелких крестьян, эко-

---

[1] *Ленин,* Соч., т. XX, стр. 196.

номически вполне возможна, при условии обеспечения нескольких месяцев мирной работы. А такая реорганизация сделает социализм непобедимым и в России и во всем мире, создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабоче-крестьянской Красной армии»[1].

Но, нужно говорить это со всею откровенностью, ленинская точка зрения до конца февраля была в партии в меньшинстве. В партии были не только нереволюционные мелкие буржуа, протестовавшие против октябрьского выступления,—в партии были и революционные мелкие буржуа, готовые на выступление всегда и всюду, где нужно и не нужно, где возможно и невозможно. Этих мелких буржуа отнюдь не следует огульно смешивать с «левым коммунизмом» февраля—марта, «Левый коммунизм» (включавший в себя, конечно, и эти элементы) был очень сложным явлением. Люди, на сто процентов согласные с ленинской тактикой, впадали в «левый коммунизм» просто с отчаяния, когда, благодаря тактике антиленинской, ничего не осталось, как стать на колени перед немцами и притом стать на колени, может быть даром, поскольку немцы уже увидали, что мы беззащитны, и все равно возьмут все, что захотят. Стоит ли штаны пачкать? Лучше ж помереть в чистых. Тут была, конечно, *психология отчаяния*, и Ленин был прав, что бичевал за нее, ибо отчаяние революционеру, а особливо марксисту, совершенно и крайне неприлично. Но тут не было еще мелкобуржуазной тактики, тут не было вообще никакой тактики, поскольку не может итти речь о «тактике» человека, выскакивающего из шестого этажа горящего дома, предпочитая разбиться о мостовую, чем сгореть заживо. О тактике можно говорить для предшествующего периода, когда еще был *выбор*: заключить мир или вести войну. И тут, действительно, рядом с ленинской намечалась другая тактика.

Ее формулу, по свежим следам, записал Садуль, которого едва ли есть какие-нибудь разумные основания заподозрить в клевете, ибо он стоял совершенно вне нашей внутрипартийной борьбы (был в то время социалистом-оборонцем, только не русским, а французским) и о последней, по всей вероятности, просто ничего не знал. Притом же, составляя деловую информацию для своего друга Альберта Тома—информацию, которая должна была во французских министерских кругах конкурировать с официальной информацией Нуланса и Ниесселя,—должен был заботиться о максимальной точности. И вот 21 (8) ноября, до начала переговоров даже о *перемирии* (первое «перемирное» заседание состоялось 3 декабря (20 ноября), Садуль записал:

«Троцкий убежден, что германское правительство, несмотря на давление со стороны социал-демократии, не примет предложения перемирия, основанного на принципах мира, провозглашенных русской революцией: ни аннексий, ни контрибуций, право народов на самоопределение. Гогенцоллерны не решатся в самом деле подписать свой собственный смертный приговор.

Итак, если Германия откажет? Тогда мы декретируем революционную войну, священную войну, не на основах национальной обороны и

[1] Там же, т. XX, стр. 198.

уважения к существующему порядку, но на основах интернациональной обороны пролетариата и социалистической революции. То напряжение сил, которого русские правительства, считая и царизм, не могли добиться от своей армии,—мы его получим от наших солдат, когда мы докажем, получив от союзников пересмотр цели войны, попытавшись честно и энергично открыть переговоры о мире на основах, принятых всеми социалистами,—докажем им, что они будут сражаться не за английский или французский империализм, но против германского империализма и за всеобщий мир»[1].

Как будто совсем по ленинскому письму «Как добиться мира»,— и Троцкий субъективно, нет сомнения, был убежден, что он рассуждает совсем «по-ленински»,и когда услыхал потом от Ленина, что это совсем не то, что нужно, был убежден, что это Ленин опять «перевооружился» после немецкого ультиматума, а он, Троцкий, остался верен истинно ленинской тактике (см. речь Троцкого на VII съезде партии). На деле же это было чисто метафизическое понимание ленинской формулы, взятой вне времени и пространства, на деле это было типично мелкобуржуазной переоценкой *формальной* стороны дела (мир непременно на «принципах, принятых всеми социалистами») и *психологический* подход к массе: солдаты, если им разъяснить, поймут и т. д. Перечитайте как *будто* похожее четвертое ленинское «Письмо издалека»—вы увидите, что там и следа нет намерения «доказать» солдатам, что они сидят теперь в окопах не за империализм, а за социализм. У Ленина речь идет о войне советской республики «против *любого* буржуазного правительства и против *всех* буржуазных правительств мира», а вовсе не о продолжении войны с Германией,—войны, ставшей справедливой потому, что немцы отвергли принципы, «принятые всеми социалистами». С немцами нужно было заключить мир, чтобы готовиться к той *классовой войне*, которую имел в виду Ленин. Что Ленин при этом обманывал германских империалистов,—это само собою разумеется: во все времена все революционеры обманывали правительства, которые они собирались свергнуть, и только плохие революционеры могли допустить, чтобы их обманули, как это случилось с нами в Бресте. Но человек, который за это бросил бы в Ленина камень, был бы столь же смешен, как человек, который лет шесть-десять назад с пафосом обрушился бы на «коварного» Гарибальди, среди полного мира (никакой войны не объявлялось!) «напавшего» со своею «тысячью» на бедного короля Франческо.

Но вся эта *серьезная* подготовка *настоящей* революционной войны была для Троцкого такою же книгою за семью печатями, как и настоящая марксовская теория перманентной революции. Его понимание положения было даже еще упрощеннее, чем это изображает Садуль.

«К мирным переговорам мы подходили с надеждой раскачать рабочие массы как Германии и Австро-Венгрии, так и стран Антанты,—пишет Троцкий в своих воспоминаниях о Ленине. С этой целью нужно было как можно дольше затягивать переговоры, чтобы дать европейским рабо-

---

[1] *Sadoul*, Notes sur la Révolution bolchevique, p. 16.

чим время воспринять, как следует быть, самый факт советской революции и, в частности, ее политику мира»[1].

Тщетно Ленин пытался ему втолковать, что «сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция», что высвободить из-под власти какого бы то ни было империализма одну седьмую часть суши и создать на этом огромном районе базу для построения социализма бесконечно важнее, чем произвести то или другое впечатление на рабочих Германии и Австро-Венгрии. Психологизм Троцкого был неумолим. «Ну, а если немцы все-таки возобновят войну?» (дело было после применения на практике знаменитой формулы: «ни мир, ни война»),—спрашивал Ленин. «Тогда мы вынуждены будем подписать мир, и тогда *для всех будет ясно*, что у нас нет другого исхода. Этим одним *мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с Гогенцоллерном*»[2].

Пишущий эти строки разрушил на своем веку бесчисленное множество всяких легенд, но должен сказать, что это занятие более прилично книжному червю, каким он себя считает, нежели вождю революции, каким себя считает Троцкий. О чем заботился человек! После того как мы взяли власть в руки чуть ли не на всей территории старой России, после того как мы благополучно разогнали Учредительное собрание,—хлопотать о разрушении клевет Алексинского и К-о, когда даже американцы и французы уже давно признали, что главные прогерманцы в России—это русская буржуазия. Одолела, можно сказать, психология... Самое грустное во всем этом, повторяю, что большинство ЦК было в это время (ноябрь—январь) ближе к Троцкому, чем к Ленину. Никак нельзя сказать, что это большинство было всецело на троцкистской позиции. Но оно разделяло мнение, что нужно «затягивать», не уясняя себе, что это затягивание с каждой неделей становится опаснее и что уже к началу января «для искусственного затягивания переговоров мы уже сделали все возможное и невозможное» (8-й тезис Ленина от 20 (7) января). Эта «затягивательная» тенденция была настолько сильна, что ей уступал и Ленин, на заседании ЦК 22 (9) января не настаивавший на своей формуле. Так как троцкистский психологизм большинству ЦК был чужд, то приходится искать других объяснений «затягивательной» тактики. Коротко это объяснение можно формулировать так: у нас были убеждены, что немцы сами близки к капитуляции. И хотя это убеждение было ошибочно, для него были кое-какие объективные основания.

Троцкий, мы видели, был убежден, что Германия не подпишет мира, сколько-нибудь для нас приемлемого. В этом смысле он находил возможным высказываться даже перед иностранцами, т. е. в полуофициальных разговорах. В разговорах частных, между собою, шли дальше: немцы просто не станут с нами разговаривать. Убеждение это было так широко распространено, что проникло даже в кое-какие популярные повествования о Бресте—там можно прочесть о необык-

[1] «О Ленине», стр. 78.
[2] Там же, стр. 81. Разрядка моя.—*М. П.*

новенной грубости и заносчивости якобы немецкой военщины при переговорах о перемирии и т. д. Так это до сих пор казалось и кажется «естественным» и «само собой разумеющимся». Можно себе представить приятное разочарование наших товарищей, когда Советскую Россию в Бресте стали трактовать как настоящую великую державу, потерпевшую, правда, поражение, но не выпавшую из ранга великих держав. Это впечатление лучше всего передать словами Садуля, писавшего под свежим впечатлением разговоров с вернувшимися из Бреста делегатами. 8 декабря (25 ноября) (меньше чем через неделю после открытия переговоров о перемирии) он записывал в своем дневнике:

«Я видел сегодня вечером Каменева и Сокольникова, вернувшихся из Брест-Литовска. Я еще вернусь к тому, что в их рассказах относилось к самой сущности русско-германских переговоров. Будет опубликован очень точный протокол. Но стоит познакомиться и с обстановкой этих переговоров. Прежде всего, сердечный прием, оказанный большевистским делегатам. Прусские офицеры, обыкновенно надменные, принимали с любезностью, граничащей с низкопоклонством, представителей русской демократии, к которым они должны бы чувствовать глубокое отвращение, и среди которых были солдат, рабочий, крестьянин и женщина. Очевидно, что генерал Гофман и его австро-германские товарищи получили очень точные инструкции о том, как себя держать, и о том, что нужно сохранять хладнокровие»[1].

Столь практичные люди, как мы, большевики, не могли не задаться вопросом, который сейчас же пришел и Садулю: что за этим стоит? Почему немцы так распинаются? Ясно, им нужен мир дозарезу. Ясно, топор революции уже висит над их головой, и, чтобы отсрочить удар хотя на минуту, они спешат удовлетворить народные массы хотя чем-нибудь, хотя бы миром с большевиками. Если они спешат,—нам нужно тянуть как можно дольше; если они хотят заключить мир, чтобы отвратить удар, нам нужно дождаться удара, чтобы мириться уже не с германским империализмом, а со спартаковцами, взявшими власть в руки. Схема нашей политики—точнее, политики Троцкого—была готова: *затягивать как можно дольше*. И это казалось теперь столь же «естественным и само собою разумеющимся», как раньше то, что немцы не захотят с нами разговаривать.

Было ли за этой формулой «немцам мир нужен дозарезу» что-нибудь реальное? Кое-что, несомненно, было. Прежде всего, общеизвестный факт: продовольственное положение союзников Германии было отчаянное. Оглядываясь назад, Чернин писал в своем дневнике:

«Мир с Украиной состоялся под давлением начинающегося форменного голода. Он носит на себе все признаки своего происхождения. Это правда. Но не менее справедливо и то, что хотя мы и получили из Украины гораздо меньше того, на что рассчитывали, без этой поддержки мы и вовсе не могли бы продержаться до нового урожая. Статистика показывает, что весной и летом 1918 г. из Украины прибыло 42 тыс. вагонов. Это продовольствие больше неоткуда было получить. Пусть те, кто осуждает мир, помнят, что эти припасы спасли миллионы людей от голодной смерти»[2].

---

[1] *Sadoul*, Notes sur la Révolution bolchevique, p. 62.
[2] *Чернин*, В дни мировой войны, рус. пер., стр. 269.

В этой обстановке Австрия снова доходила до угроз сепаратным миром (первые попытки сепаратных переговоров были еще зимою 1916/17 г.). И хотя Гофман, делая хорошую мину в плохой игре, и пытается изобразить дело так, что сепаратный мир Австрии был бы даже выгоден для немцев в стратегическом отношении, сокращая их фронт [1], но это—явный блеф: переход Австрии в состояние нейтралитета отрезывал Германию от Турции и от Болгарии, вел неизбежно к сепаратному миру и этих последних, освобождая все силы Антанты, занятые в Азии и на Балканах. У самой Германии только что прошла волна больших забастовок—первых больших забастовок с начала войны—и еще свежее было совсем грозное напоминание: восстание во флоте. Трем четвертям германской коалиции мир был действительно нужен дозарезу, а самой Германии он был *очень* нужен.

> «В общем и целом необходимые условия были выработаны верховным командованием заранее и сообщены командующему восточным фронтом,—пишет Гофман о заключении перемирия. *Они сводились к тому, что с восточным фронтом необходимо покончить во что бы то ни стало*, и не содержали ничего несправедливого или оскорбительного для русских. Враждебные действия должны были прекратиться, и каждая сторона сохраняла свои прежние позиции» [2].

Обе стороны хитрили. Нам нужен был мир, чтобы получить «передышку» для начала социалистического строительства и подготовки к революционной войне. Германии нужен был мир, чтобы получить передышку для подготовки решительного наступления на западном фронте—наступления, которое должно было дать Германии «почетный», в буржуазном понимании, мир. О большем Германия уже не мечтала, и дипломатические ее круги не очень надеялись и на наступление.

> «Русское предложение говорило о мире без аннексий,—пишет Гофман,—статс-секретарь Кюльман стоял на той точке зрения, что Германия может принять это предложение, если этим самым *ей удастся воздействовать на государства Антанты, чтобы они также приступили к мирным переговорам*» [3].

У «правого» (в смысле меньшего военного радикализма) крыла германцев была, как видим, даже мысль: через большевиков завязать *немедленно* переговоры с Антантой, не дожидаясь сомнительного по своему исходу наступления на Западе. Для нашей дипломатической игры открывались исключительно блестящие возможности. Но мы никакой дипломатической игры в Бресте не вели. Я не знаю, хорошо это или дурно,—это просто факт. В Бресте велась агитация, блестящие качества которой были оценены даже такими наблюдателями, как граф Чернин [4], но, к большому удивлению собравшихся туда дипломатов четырех держав, «дипломатией» там не занимались. Немцы с украинцами за нашей спиной занимались весьма успешно. Наши же делегаты, уезжая на переговоры, получали напутствие

[1] «Война упущенных возможностей», стр. 173.
[2] Там же, стр. 161. Разрядка моя.—*М. П.*
[3] Там же, стр. 169. Разрядка моя.—*М. П.*
[4] См. его книгу, рус. пер., стр. 253.

«отнюдь не увлекаться реальной политикой». Ибо предполагалось — все эти Кюльманы и Чернины — одна декорация, которая уже шатается и скоро рухнет.

Как относился к этой недипломатической игре Ленин? Тут пробелы наших документов становятся особенно тягостны. Их серия начинается с тезисов 20 (7) января. Но тезисы так детально продуманы и так отчеканены, что невозможно предположить, чтобы они были написаны в одну ночь. Они подготовлялись неделями, — это несомненно. Несомненно также, что, не имея на своей стороне большинства ЦК, Ленин, с отличавшей его всегда во внутрипартийных делах лойяльностью, ничего похожего на свои тезисы не давал почувствовать рядовым членам партии, с которыми ему приходилось обмениваться мнениями о брестских переговорах. Фразу «не увлекайтесь реальной политикой» я слышал именно из его уст, отправляясь в Брест, — правда, в поразившей меня тогда еще чересчур уж «объективной» форме (буквально было сказано: «Говорят, что Каменев увлекается реальной политикой; надо бы его в этом отношении сдерживать», — записываю слова, конечно, приблизительно, но за содержание ручаюсь). И от Ленина же я слышал сожаление, что нельзя вместо меня послать какого-нибудь «нахала, который в два счета добился бы разрыва с немцами» (но опять это звучало так, как будто Ленин сожалел лишь о технической непригодности выбранного для игры инструмента, а одобряется ли самая игра — не чувствовалось). Разрыв — временный — с немцами считался необходимым как один из элементов затягивания: это нужно было для того, чтобы германские рабочие видели, убедились и т. д. Нужно было для создания соответствующего *настроения* в Германии и Австро-Венгрии. В своих воспоминаниях Троцкий идет даже дальше — вплоть до того, что «нужно (было) дать Гофману перейти в фактическое наступление. Нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на советскую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали немецкий рабочий, с одной стороны, французский и английский — с другой». На такую лошадиную дозу психологии Ленин, однако, уже не пошел и категорически заявил, что «откладывать (с принятием германского ультиматума) нельзя»[1].

Для одной стороны — стороны, господствовавшей до конца февраля (даже *накануне* окончательного германского наступления предложение Ленина возобновить переговоры еще не собрало большинства в ЦК) — цель заключалась в том, чтобы, использовав переговоры исключительно как средство агитации, путем их толкнуть революцию на Западе. Для другой — использовать хотя бы кратковременный мир с Германией для спасения революции в *России*. По существу дела вопрос о строительстве социализма в одной стране был поставлен именно тогда — и в ближайшие последующие годы разрешен историей совершенно определенно. Споры наших дней представляют собою лишь все новые и новые попытки спасти теорию, не выдержавшую фактической проверки уже в 1918 г.

*Журнал «Пролетарская революция», 1927 г., № 10.*

[1] «О Ленине», стр. 85.

## ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Всем известна фраза Ленина в одном из его «Писем издалека», что русская буржуазия вела войну не на свои деньги,—что русский капитализм был *участником* (партнером) англо-французского. Как очень часто бывало с брошенными налету ленинскими характеристиками, весь глубочайший реализм этого определения стал нам понятен только теперь, после целого ряда длительных детальных изысканий. Изыскания эти с несомненностью установили, что русская крупная промышленность и русские банки накануне войны были форменными подданными заграничного капитала и что различные группы иностранных капиталистов вели между собой борьбу на русской территории задолго до того, как эти группы сплелись в смертельной схватке мировой войны. Победе в России антантовской ориентации точно соответствовало постепенное вытеснение из русского хозяйства германского капитала, господствовавшего или уверенным шагом шедшего к господству до 1910 г. Эту борьбу мы можем проследить до мельчайших деталей: до того, например, как один завод, изготовлявший различные принадлежности для миноносцев под эгидой крупнейшей англо-французской фирмы, моментально прекратил это занятие, как только его акции очутились в портфеле одного из берлинских банков. Банковые действия весьма аккуратно, хотя и бескровно, отвечали операционным линиям будущей войны.

В 1914 г. зависимость России именно от англо-французского, антантовского капитализма обозначилась уже вполне. Выбора больше не было. Характерно, до какой степени рабски российский империализм слушался своих «старших». Как всякому империализму, российскому в перспективе был нужен выход на океан—потому что, только владея океанскими путями, можно серьезно говорить о разделе мира. Всем известно, что англо-германское столкновение было прежде всего другого столкновением в области морских интересов и морских вооружений. Русский империализм перед 1914 г. ставил себе также «морские» цели. Но почему его привлекало такое узенькое море, как то, которое лежит между Черным и Средиземным и которое вело русский империализм, в конечном счете, даже не к океану, а только к одному из замкнутых морей, только в несколько

раз большему, чем наше Черное? Почему, рождался естественный вопрос, царская Россия не попробовала выйти на прямую океанскую дорогу через Мурман, который пришлось все же в конце концов использовать, но после уже того, как война за Дарданеллы началась? Теперь мы знаем, что это было вовсе не праздное мечтание досужих любителей географии—что в последнее десятилетие перед войной существовал определенный план использовать Мурманское побережье как базу для русского военного и торгового флота. Но проект этот никакого «дальнейшего движения» не получил, и Мурманскую дорогу построили, как известно, только во время войны. Совершенно ясно, почему так было: на Мурмане, т. е. на Атлантическом океане (так называемый Ледовитый океан есть, в сущности, лишь залив Атлантического), Россия могла столкнуться только с Англией, и англо-французскому империализму, который командовал империалистской Россией, это было совсем не нужно. А на Босфоре и в Дарданеллах русские империалисты сталкивались с германскими и их грандиозным планом железной дороги от Берлина до Багдада. Поэтому «ключей от собственного дома» и надо было искать на берегах Золотого Рога, а не на берегах Варангер-фиорда. Остается только добавить, что «мурманский» проект принадлежал никому другому, как Витте, германофильство которого всем хорошо известно. И на этом участке мы имеем, таким образом, победу антантовского капитализма над германским.

Во время войны зависимость от Антанты превратилась в иго. Английский посланник в Петербурге был вторым императором, и когда первый император его не послушался, второй принял меры к тому, чтобы его ссадить. И если этого не удалось осуществить, то только благодаря «совершенно непредвиденным событиям»—в образе выступления на сцену рабочего класса. А избавившись от императора, Антанта начала возводить и низводить министров. Дневники Бьюкенена и Палеолога не оставляют никакого сомнения в том, что Керенский был выбран и облюбован Антантой несравненно раньше, чем его «избрали» меньшевики и эсеры, в этом случае на нашей территории игравшие ту же роль, какую этого сорта люди играли и играют всюду по отношению ко всем империалистам. Менее известно,—а стоит об этом упомянуть,—что и Милюков был низведен так легко потому, что он не угодил Антанте, слишком надоедливо напоминая о Дарданеллах, при каковом напоминании Англия всегда морщилась. Бестактного слугу не то что прогнали—прогнали его массы,—но его не стали защищать, «отдали на жертву». А 4 месяца спустя, когда разочаровались и в Керенском, на его место выдвинули Корнилова—дневник Бьюкенена не оставляет никаких сомнений насчет того, кто именно это сделал. В это самое время американский капитализм, более склонный «к экономическому» давлению, чем к военным заговорам, взял эсеровскую верхушку прямо на жалованье, притом, что особенно пикантно и любопытно, на *частное* жалованье, на личный кошт одного американского миллионера. Дальше этого «услужение» уже не могло итти.

И надо было видеть переполох в этом лагере, когда массы, подлинные массы, а не статисты Керенского, стали у власти. Теперь перед нами налицо документальные остатки этого переполоха. Это вздор, будто большевики заключили тогда мир против решительного протеста вчерашних «союзников», напоминавших России о «чести», «совести» и т. п., причем окаянные большевики, разумеется, не обратили на эти протесты никакого внимания. На самом деле *рядом* с этими официальными протестами шло неофициальпо шушуканье англичан, американцев и прочих антантовцев с низвергнутыми Октябрьской революцией мелкобуржуазными партиями—шушуканье, смысл которого вкратце можно выразить так: что ж вы, дураки, вовремя не догадались мир-то заключить? Ведь теперь большевики этим козырем вас без остатка покроют! И вот начинается хожденпе спустя лето по малину. Английский посланник Бьюкенен, вчерашний некоронованный император, а теперь поднадзорный «нежелательный элемент» в Петрограде, телеграфирует своему министру, что было бы куда благоразумнее «освободить Россию от данного слова», раз она воевать не хочет. Не хочет—так не хочет, ничего с ней не поделаешь. А как силой загоняли русских солдат обратно в бой при Керенском, об этом позабыли! В том же роде начали шевелиться мысли и в тугом мозгу американского полпреда Френсиса. А на фронте в это время потерявшие власть керенщики, почесывая всей пятерней в затылке, придумывали, как бы это устроить, чтобы заключение мира досталось в руки не Ленина, а... Чернова. И додумались наконец: вскоре по фронту гуляла глупейшая и подлейшая прокламация, с неслыханным бесстыдством утверждавшая, что главным препятствием к заключению мира являются именно большевики: их же ведь никто не признает,—кто с ними будет вести переговоры? А вот если поставить во главе государства правительство «из социалистических партий» с Виктором Михайловичем Черновым во главе—тогда совсем другая будет музыка. С этим почтенным человеком и с его почтенными коллегами всякий за честь почтет разговаривать, и мир, которого «страна ждет—не дождется три года» (как будто в счет этих трех лет керенщина с ее попытками удержать Россию в войне совсем и не входила!), будет заключен в два счета. А генерал Духонин, отказавшийся вести переговоры с немцами по приказу Совета народных комиссаров, в частных беседах заявлял, что он миру вовсе не противник и не прочь вести переговоры с кем угодно,—но чтобы не от имени большевиков, конечно. Иностранные же военные представители, в первую минуту грозным окриком ответившие на приказ Совнаркома о переговорах, вдруг потом смягчились, стали говорить, что они, собственно, не против мира,—а против *беспорядка*, сиречь, опять-таки, против большевиков. А уж совсем по душе (но, однакоже, с помощью телеграфа) заявляли, что они и их правительства даже советуют поскорее заключить мир. Потом, конечно, когда выяснилось, что генерала Духонина и его помощников на всем фронте слушаются только две роты ударников да три эскадрона польских улан и что главнокомандующий западного фронта сколько-нибудь безопасно себя чувствует

лишь в ставке польского генерала Довбор-Мусницкого,—телеграмма была объявлена подложной.

А тем временем в Смольный начали ходить «соблазнители». Люди без официального звания, имена которых официальные дипломаты старались даже не упоминать, они были неофициально связаны с самыми верхушками антантовской коалиции и сулили большевикам золотые горы, если большевики выпустят из рук тот козырь, которого никто покрыть не мог,—откажутся от заключения мира. Среди соблазнителей были люди всякого сорта: был и наивный французский оборонец Садуль, позже ставший коммунистом; был и до крайности сомнительный американский человек Робинс, совмещавший в себе самые разнообразные качества: шахтера, полковника и попа; был и форменный английский шпион Локкарт; был и французский монархист граф де Люберсак, «злыми глазами» смотревший на Ленина, но признававшийся, что заключить сейчас мир—самое умное дело. Со всей этой пестрой публикой разговаривали, надеясь выжать из нее то, что было дозарезу необходимо новорожденной рабочей республике для того, чтобы в будущем, близком будущем, повести отчаянную борьбу со всем буржуазным миром: локомотивы и аэропланы, снаряды и пулеметы, съестные припасы и военных техников. Некоторые из этих людей так и остались в убеждении, что кабы вот та-то телеграмма пришла неделей раньше, так наверное Россия вернулась бы в войну на стороне Антанты. А Ленин лукаво прищуривал глаз и готовил войну не против какого-нибудь одного империализма, а против империализма вообще.

Вся эта антантовская возня около заключения мира с Германией лишний раз нам напоминает, до чего важен и нужен был мир в эту минуту не большевикам, как об этом кричала подкупленная буржуазная пресса, а *стране*, всей стране, всей России. Реакция для России в этот момент выразилась бы в возвращении в войну: вот отчего, прежде всего другого, реакция была невозможна. В этом отношении Россия 1917—1918 гг. и Германия следующей зимы были в диаметрально противоположном положении. Германская буржуазия оказалась чуточку похитрее Керенского с компанией и заключила мир сама, не дожидаясь пока его придется заключить победоносному пролетарскому правительству. И это подсекало под корень германское революционное движение: революция не только не давала мира, а, наоборот, ставила под угрозу немедленной интервенции со стороны победившей Антанты. Интервенция была и у нас, но у нас, в разгаре последней схватки двух боровшихся империализмов, антантовского и германского, она не могла принять сколько-нибудь серьезных размеров. Армии Антанты были «заняты», а перед германской революцией стояла «освободившаяся» Антанта.

Но то обстоятельство, что пролетарская революция означала для России выход из войны, продолжало действовать и долго после того, как мир был заключен, в известном смысле продолжает действовать и до сих пор. Ибо в Брестском мире, это не все тогда уловили, был не столько важен мир с германцами, сколько *разрыв* с Антан-

той. Буржуазия вопила, что мир «похабный» и «презренный», а на самом деле мир выводил Россию из самого презренного состояния, какое можно себе представить в какой бы то ни было стране, когда иностранный посланник является в этой стране некоронованным императором. Игу Антанты над Россией был положен конец, и это ярче всего выразилось не в том даже, что мы заключили мир, сколько в том, что мы отказались *платить всякие*, военные и довоенные, *долги*. Мы перестали быть «участниками», партнерами какого бы то ни было капитализма и империализма, и в это рабское состояние нас никому уже не загнать. Если в 1917 г. «реакция» обозначала «войну», то теперь реакция обозначает дань в сотни миллионов, наложенную на рабочих и крестьян Советского союза. И недаром умные белогвардейцы давно заметили, что самой трудной стороной «реставрации» является именно вопрос о долгах. Если бы российский буржуа мог явиться домой с грамотой, которой все иностранные буржуа великодушно освобождали бы наследников покойной Российской империи от всех и всяческих долговых обязательств, заключенных этою последней! Но буржуа на то и буржуа, чтобы никому не прощать никогда и ни одной копейки долга. А пока «реакция» обозначает «дань», до тех пор никакой реакции, не облеченной в форму вооруженного нашествия извне, быть не может.

Таково было *международное* условие, определившее, что наша революция, в отличие от всех своих предшественниц, будет революцией без реакции.

*Журнал «Коммунистическая революция», 1927 г., № 20.*

# СОВЕТСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

## РУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

(ПРЕДИСЛОВИЕ)

Настоящим собранием документов Центральный архив РСФСР начинает серию публикаций, которые дадут возможность восстановить пролог империалистской войны 1914—1918 гг. Было бы, конечно, величайшей наивностью считать таким прологом дипломатическую переписку, ведущуюся главными кабинетами Европы в июле месяце 1914 г. Именно в расчете на наивность публики эта переписка и выдвигалась в различных «синих», «желтых», «оранжевых» и иных цветов книгах. Это было необходимо, чтобы уверить простодушных людей, что война была чем-то столь же выходящим из нормы, как преступление в общегражданском быту. Годами тщательно охраняли мир—и вот, по вине такого и такого-то (имена «виновников» менялись в зависимости от того, из какого лагеря исходила та или другая публикация) полилась кровь...

На самом деле годами готовились к войне. Годами собирали горючий материал, чтобы бросить в него спичку в тот момент, когда ветер потянет на соседа. Но делали это тайно, под величайшим секретом—ниже читатели найдут как образчик одну конвенцию, о существовании которой на земном шаре знали всего *шесть* человек. О другой конвенции (тоже нами воспроизводимой), хотя она впоследствии просочилась-таки в газеты, в первое время знали не все министры и посланники тех государств, которые ее подписали. Читатели поймут, почему столь невыносимо для старого мира дерзким было требование русской революции—опубликовать секретные договоры. Конец тогда был бы разговорам о «виновниках» не потому, что не было виновных, а потому, что виноваты были все—гораздо больше, чем думали о ком бы то ни было.

Наиболее сенсационные из заключенных царской Россией секретных трактатов были опубликованы тотчас после Октябрьской революции, зимою 1917/18 г. Но публикация была сделана наспех, в «газетном» порядке, без всякого научного аппарата. Сделана была все же превосходно—если принять в расчет, что издателями были нередко рядовые революционеры, профессией которых было делать историю, а не писать ее. В числе этих издателей был, например, простой матрос, товарищ Маркин, трагически погибший потом в борьбе

с колчаковцами. Для матроса, повторяем, это был великолепный редактор, политическое значение сделанных им и его товарищами открытий было колоссально, *но научное* издание даже этих, опубликованных уже, документов совершенно необходимо. Первые публикаторы о науке не думали, и хорошо делали, ибо если бы стали об этом думать, документы по сегодня лежали бы под спудом.

Напечатано было, однакоже, далеко не *все*. Именно потому, что издателями были люди практики, а не теории, они схватились за то, что практически было ближе, что было понятно всякому без длинных комментариев: за прямые документы, во-первых, за документы, не старше вчерашнего дня, во-вторых. Но документ—это лишь твердый осадок, получившийся после многократного взбалтывания весьма сложной жидкости. Составные элементы этой жидкости больше дадут ученому исследователю, нежели самый тщательный анализ осадка. Иногда то, что выпарилось и без остатка ушло в воздух, или образовало новое химическое соединение, интереснее того, что осталось. Притом эти составные элементы нередко очень давнего происхождения: горючий материал копили десятилетиями, и в общей массе мы найдем «каплю меда» людей, давно лежавших в могиле, когда начался пожар.

Исходные точки той политики, которая привела династию «Романовых» в Екатеринбург, лежат в прошлом очень далеко от нас. Древнейшие стадии этой политики уже освещены не только публикацией документов (едва ли всех), но и рядом исследований, русских и заграничных (Уляницкий, Жигарев, Горяинов, Зайончковский в России; Schiemann, Bapst, Ch. Rouk, Hanotaux, за границей). «Тихая сапа», которую вели русские цари, начиная с Екатерины II, в направлении к Босфору и Дарданеллам, в общем и целом недурно прослежена, примерно, до 60-х годов. Разрыв русско-французского союза и начало русско-прусского (и то и другое приходится на один год, 1863-й) являются границей, отделяющей светлый сектор от темноты или, по крайней мере, от полутемноты (потому что история лондонской конференции 1871 г., благодаря работе Горяинова, сравнительно хорошо известна). На первый взгляд может показаться, что дальше непрерывной линии нет. Конечно, идеологическая связь русско-турецкой войны 1877—1878 гг. или даже и последнего устремления к Дарданеллам 1914 и следующих годов, с предшествующим ясна для всякого: но при свете известных нам до сих пор документов далее утверждения этой идеологической связи итти было нельзя. Была ли еще связь организационная. Продолжалась ли та муравьиная работа царской дипломатии, которая, как будто, оборвалась на Парижском мире 1856 г. Кое-какие просветы уже давали возможность догадываться, что продолжалась; теперь безо всяких догадок мы знаем, что не прерывалась ни на минуту, вплоть до 1896 г. Только с третьего года царствования Николая II ориентация на Ближний Восток сменилась ориентацией на Восток Дальний, но тотчас же после Цусимы вернулась на старую колею.

От министра Александра III, Гирса, мы знали, что вся внешняя политика отца этого императора преследовала одну цель: аннулировать Парижский мир. Главной причиной этого последнего (минута трусости, которой не мог забыть Александр II) признавалась слабость Пруссии. Слабая Пруссия, доведенная до этого состояния близорукой политикой Николая I, не давала точки опоры ни против Франции, ни даже против Австрии. Надо было исправить ошибку Николая: для этого Александр II принял участие в превращении Пруссии в Германскую империю. После Кениггреца и Седана можно было не бояться повторения Севастополя: т. е. можно было спокойно приняться за продолжение политики Николая I. Немецкий бивуак на Елисейских полях был прологом к русскому бивуаку перед святой Софией: через два года после взятия пруссаками Парижа эта связь вещей и была закреплена первым из документов, которыми начинается наша серия—русско-германской конвенции—24 апреля—6 мая 1873 г.[1].

В самом документе нет ни слова о Константинополе—это была ошибка, за которую поплатились Берлинским конгрессом. Слишком положились на «честное дворянское слово» Бисмарка. Колоссальнейшего значения соглашение оказалось беспредметным, ибо на тот предмет, на который оно нужно было Александру II, использовать его было нельзя. Воевать из-за России с Австрией Германия отнюдь не была расположена: два года спустя Бисмарк сказал это всеми словами в ответ на телеграмму Александра II. Но это достаточно ясно уже было с самого начала, русско-германскую конвенцию пришлось сразу же дополнить русско-австрийскою (25 мая—6 июня).

Но раз пойдя по пути соглашений со своей главной конкуренткой на Балканском полуострове, надо было довести это дело до конца. Отсюда вышла хорошо и давно известная рейхштадтская сделка (дополненная конвенцией 11 февраля 1877 г.), которой Россия формально отказывалась от Константинополя, он подлежал превращению в «вольный город». Иными словами, Александр II должен был пойти на нейтрализацию проливов. Это было крупное дипломатическое поражение, своего рода Плевна, на год опередившая военную Плевну. Попытка прорваться к заветной цели сквозь всякие конвенции (Сан-Стефанский мир 19 февраля 1878 г.) дала лишь тот результат, что «повели в участок». На Берлинском конгрессе Россия вынуждена была принести покаяние и исполнить то, что обещалась. Впечатление было столь горькое, что русско-германский союз на короткое время оборвался.

В 1879 г. уже замаячил на горизонте призрак его прямой противоположности: союза русско-французского. Бисмарк это понял: приняв военные меры предосторожности (союз с Австрией, позже превратившийся, благодаря присоединению Италии, в «Тройственный», был заключен в том же 1879 г.), он постарался исправить дело

[1] Секретность этого документа была так велика, что о нем не знал русский посол в Берлине в 1871—1879 гг.—Убри.

и дипломатически. Отсюда вытекли разговоры германского канцлера с Сабуровым и Орловым и ряд записок первого, инспирированных этими разговорами. Как осла заставляют итти вперед, показывая ему издали пучок сена, царскую дипломатию опять манили к русско-германскому союзу Константинополем. И хорошо действовала эта старая приманка, впервые пущенная в ход еще Наполеоном по отношению к Александру I. Бисмарк купил ею три конвенции с Россией — 1881, 1884 и 1887 гг.

Но и противная сторона приобрела известный опыт. В 1887 г. посланнику Александра III удалось, со своей стороны, поправить ошибку Горчакова. Проливы были названы не в частном разговоре, а в самой конвенции—в той же статье, которая представляла, так сказать, секрет в секрете. И что еще лучше, Австрия, хотя уже формальная союзница Германии в это время (чего не было еще в 1873 г.), была формально обойдена в этой сделке. Бисмарк, правда, не обещался на нее напасть: но он обещался не помогать своей «союзнице», если та нападет на Россию. Царскому правительству оставалось бы только разыграть, слишком ему законную, роль провокатора—и единоборство с наследственным врагом «Романовых» по пути к Босфору было ему обеспечено.

Александр III, таким образом, не менее неуклонно шел по этому пути, чем его отец и дед: легенда о его «миротворчестве» падает раз навсегда. Что помешало ему реализовать сделку 1887 г.? Тут мы видим, насколько объективные экономические факторы сильнее всякой идеологии и всяких «традиций». Николай I мог лечь костьми за Константинополь, потому что в его дни русскому промышленному капитализму нужны были восточные рынки. Во дни Александра III рынок у русского промышленного капитализма был дома благодаря быстрой пролетаризации русского крестьянства. Но русскому предпринимателю нужны были капиталы. А их можно было достать только во Франции, в той же Франции, которая оказывалась возможной противницей Александра III в силу конвенции 1887 г. Но политический союз не может итти поперек дороги экономической связи: за непонимание этой истины в свое время дорого поплатился Павел I. Его, так похожий на него лицом, правнук научился быть осторожнее: Александр III с непокрытой головой слушал Марсельезу, а договор с «двойным дном» остался на дне архивов.

Документы, иллюстрирующие возникновение русско-французского союза, мы опубликуем в следующей книге «Красного архива». Здесь систематическую публикацию мы останавливаем на 1887 г. Сам трактат с «двойным дном» уже известен (хотя воспроизведения полного и подлинного его текста нам не приходилось видеть в печати). Интереснее самого документа те разговоры, которые по поводу него Шувалов вел с Бисмарком. Они появляются в печати, несомненно, впервые и представляют ценнейшее дополнение к III тому мемуаров Бисмарка (недавно вышедшему), где этот вопрос, к сожалению, обойден полным молчанием.

В качестве любопытного «эхо» этих разговоров мы печатаем

несколько бумаг, не дипломатического, а военно-полицейского характера, относящихся к 1897 г. и свидетельствующих, что Николай II и его министры считали русско-германскую сделку действительной и после заключения русско-французского союза, и после исчезновения со сцены Бисмарка. О попытке захватить Босфор в 1897 г. мы уже знаем из «Воспоминаний» Витте (т. I, стр. 88—92). Витте относит дело к 1896 г., когда оно, повидимому, началось. Наши документы подтверждают полную реальность рассказанного Витте, но ответа на поставленный им вопрос: «что помешало?» и они не дают. Помехой явилась, вероятно, вообще нелепость предприятия в данный момент и в данных условиях. Но кто демонстрировал эту нелепость, достаточно ясно даже для Николая II? Быть может, на это ответят русско-французские документы этого года, хранящиеся в неразобранной еще части старого Государственного архива (только летом 1921 г. перевезенного в Москву из Кирилло-Белозерского монастыря, куда он был эвакуирован при Керенском).

В виде заключения мы поместили в подлиннике ту переписку между русским министерством иностранных дел и русским посольством в Берлине, которая дала главный материал для фабрикации «Оранжевой книги» 1914 г. о возникновении русско-германской войны. Повторяем, что такие документы в «предыстории» войны имеют второстепенное значение. Но так как могут еще найтись люди, относящиеся к разноцветным книгам вполне серьезно, не мешает их посвятить в тайну той кухни, на которой эти книги приготовляются. Читатели увидят, как тщательно устранялось из документов, при их опубликовании в «Оранжевой книге», все, что могло бы «испортить впечатление»—извинения, например, германского правительства по поводу манифестаций перед русским посольством—как завастривались все слишком «неопределенные» для русских целей фразы германских дипломатов, как, наконец, попросту опускались целые—и важнейшие—депеши, предназначенные не для публики. Такова, например, циническая телеграмма Сазонова от 17/30 июля, предупреждавшая русских послов за границей, что никакие попытки Германии смягчить конфликт не остановят русских вооружений. В опубликованном царским правительством тексте нет, конечно, и следа этого документа.

*«Красный архив», т. I, 1922 г.*

## ОПУБЛИКОВАНИЕ ТАЙНЫХ ДОГОВОРОВ

*10—22 ноября 1917 г.*

Буржуазная демократия хвастается, что только демократические, буржуазного типа, учреждения дают народу возможность «располагать своей судьбой». Десятки миллионов людей до сих пор склонны этому верить.

Между тем нет более наивного заблуждения. Со временем на эти утверждения буржуазных демократов будут смотреть так же, как на сказки о леших и домовых. Подданный буржуазной демократии властен над тем, кто будет «представлять» его в парламенте, говорить во имя его более или менее красноречивые слова. До известной степени он властен даже над тем, кто будет «стоять во главе» государства, будет говорить речи и принимать послов от имени всей страны. Подданный буржуазной демократии не властен в одном, самом маленьком деле: в своей жизни и смерти. Ни он, ни даже его красноречивый представитель в парламенте не знают, когда им придется взвалить на спину ранец, взять в руки винтовку и итти умирать—за что? Этого они тоже не знают. И то и другое знают иногда несколько человек во всей стране.

В буржуазной демократии полная свобода печати, слова, собраний. Но в этой печати и в этих собраниях не говорят о двух вещах: о финансовых сделках банкиров и спекулянтов, от которых зависят дороговизна или дешевая жизнь, голод или изобилие, да о международных сделках, от которых зависит самая жизнь, сытая или голодная, все равно. Не говорят не оттого, чтобы это было запрещено,— боже сохрани. Не говорят оттого, что не знают. Тайная дипломатия есть такая же необходимая принадлежность буржуазной демократии, как коммерческая тайна или тайная подача голосов.

Только что возникла, при всеобщем ликовании германского народа, Германская империя. Флаги, которыми были украшены улицы по сему случаю, наверное не успели еще полинять,—были во всей свежести. И никто из ликовавших не знал, что его жизнь уже запродана русскому царю Александру II, которому только что коронованный германский кайзер предоставил в распоряжение «двести тысяч человек боеспособного войска»,—германского войска. О воен-

ной конвенции 6 мая 1873 г. знали во всем мире только шесть человек: Вильгельм I, Бисмарк и Мольтке—с германской стороны, Александр II, канцлер Горчаков и фельдмаршал Берг (рукою которого написана конвенция)—с русской. Россия-то была тогда самодержавной монархией—с нее взятки гладки, но в Германии была всеобщая и тайная подача голосов и многие буржуазные свободы, соблазнявшие многих россиян не только 70-х годов, а и гораздо позже, и не было даже еще исключительного закона против социалистов: он издан шесть лет спустя, когда от конвенции уже ничего не осталось, кроме исписанного листа бумаги.

«Тревога» 1875 г., когда чуть-чуть не возобновилась франко-прусская война, показала Бисмарку, что на помощь России в случае войны с Францией рассчитывать не приходится,—а опасность французского реванша была главным, чего боялся Бисмарк. Когда Александр II после этого обратился в Берлин с просьбой о помощи против Австрии, стоявшей русским поперек дороги в Константинополь, Бисмарк сделал удивленные глаза: с Австрией? Никогда в жизни не собирался воевать. Тут какое-то недоразумение. У Александра не хватило духу опубликовать конвенцию, да это было бы и ни к чему: только весь мир смеялся бы, как русского царя околпачили. Скрежеща зубами от ярости, поехал Александр в Австрию—и заключил там новую тайную сделку. Война, которую он хотел вести, называлась войною «за освобождение славян». Так вот по этому случаю половину славянского, сербского народа, ту, что живет в Боснии и Герцеговине, Александр отдал Австрии. Надо сказать, что это была в тот момент (1876 г.) единственная часть балканских славян, которая вела активную борьбу за свою свободу. Сделка могла быть только сугубо тайной,—и Александр II не посвятил в нее не только своего посла в Константинополе—Игнатьева, главного, по существу, руководителя русской внешней политики в те дни, но и своего собственного сына, будущего Александра III. Так-то надежнее было.

Остается прибавить, что 10 лет спустя Бисмарк нашел выгодным продать и Австрию, с которой тем временем Германия заключила форменный союз (в 1879 г.), 18 июня 1877 г. Бисмарк заключил договор уже с Александром III, направленный против Австрии. На простом русском языке такие вещи называются жульничеством. Но дипломаты называли это «перестраховкой», под именем «договора о перестраховке» (или еще иначе: «трактата с двойным дном»—ради особой его секретности) эта дипломатическая операция и известна в истории.

Двадцатый век принес то усовершенствование, что наиболее секретные договоры перестали доверять столь ненадежному материалу как бумага. И сделка Александра II с Австрией за счет сербов, и трактат «с двойным дном» просочились-таки в печать и были разболтаны газетами, хотя и в перевранном виде и несколько лет спустя. В XX столетии наиболее «серьезные» сделки стали заключаться устно. Так, военная конвенция Англии и Франции, предопределившая в сущности войну 1914 г. (предопределившая со всеми подробностями—такой, например, как то, что война начнется в Бельгии: многие еще

помнят, каким ударом грома из ясного неба было «неожиданно» для всех «честных людей» нарушение бельгийского нейтралитета германцами), не была вовсе облечена в письменную форму,—было только «устное соглашение» между английским и французским штабами. Повидимому, в таком же порядке было заключено и несколько более раннее соглашение Франции с Италией. Последняя принадлежала к «Тройственному союзу», Германии, Австрии и Италии, направленному против Франции и России. Итальянская армия во всех расчетах входила в состав враждебных последним сил, а на деле Италия еще в 1903 г. связалась секретным договором с Францией о взаимном нейтралитете в случае войны. В ноябре 1909 г. Италия заключила договор и с Россией: Николай II гарантировал Виктору-Эммануилу Триполи, а тот ему—Константинополь и проливы.

С приближением империалистской войны сеть тайных договоров становилась все гуще, а во время самой войны они начали сыпаться, как из рога изобилия. Самым известным из них является договор России с Англией и Францией все о том же Константинополе (март 1915 г.), но этот секрет в сущности был «открытой тайной»; об этом так легко было догадаться, что наши публицисты (в парижском «Нашем слове», например) писали об этой сделке как о факте, не имея ни малейшего понятия о тексте соглашения. А Ленин шел гораздо дальше и ставил вопрос о будущих, после войны, отношениях царской России и империалистской Англии. Но самым гнусным образчиком тайной дипломатии был, конечно, срыв мирных переговоров, начинавшихся Германией (через посредство Соединенных штатов) уже в сентябре 1914 г. Сорваны они были дружными усилиями и Георга V и Николая II: первый не разгромил еще германского флота, второй—не получил еще Константинополя: им «рано» было мириться с Вильгельмом. Подумать только, что война могла бы кончиться уже в 1914 г. и стоить вместо десяти миллионов жизней полмиллиона.

Нельзя себе представить «мировой войны» без тайной дипломатии: такого ее разгула не знала еще ни одна эпоха. В это именно время Америка сделала новый шаг вперед в технике этого дела. Она не заключала соглашений, даже и изустных. Просто по воюющей Европе ездил «личный друг» президента Вильсона полковник Хаус—так себе, частный человек, без всяких полномочий, разумеется. Приезжал этот «частный человек» в Берлин и распространялся там, как Вильсон любит немцев. После этого Вильгельм поднимал нос кверху на 120 градусов, начинал мечтать о союзе с Соединенными штатами и решал, разумеется, воевать «до победного конца». А потом «частный человек» Хаус ехал в Лондон и там рассказывал, как президент Вильсон уважает Антанту и сочувствует ее справедливой войне. Антантовские дипломаты смотрели после этого друг на друга сияющими глазами и весело хлопали друг друга по плечу, приговаривая: «Что, ведь Америка-то наша». А их правительства тоже, разумеется, решали держаться до «победоносного конца». И чем больше текло крови на полях Европы, тем больше текло заказов к американским заводчикам. Этот образчик тайной дипломатии, когда внешняя политика

«величайшей демократии мира» вершилась лицом, ни перед кем, кроме своего «личного друга», президента, не ответственным, составляет, кажется, высшее достижение «демократических» нравов в этой области.

Разоблачение всей этой мерзости, опубликование тайных договоров во время империалистской войны составляло, таким образом, неразрывную часть всей системы разоблачения «демократического обмана»—неразрывную часть социалистической революции. Набрасывая, еще из-за границы, «программу мира» Всероссийского совета рабочих депутатов, Ленин писал: 1) Всероссийский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (или заменяющий его временно Петербургский совет) заявил бы тотчас, что никакими договорами ни царской монархии, ни буржуазных правительств он не связан. 2) Он опубликовал бы тотчас все эти договоры, чтобы предать публичному опозорению разбойничьи цели царской монархии и всех без исключения буржуазных правительств[1].

В противоположность Каутскому, который разоблачил только германское императорское правительство, Ленин, таким образом, имел в виду разоблачить «все без исключения буржуазные правительства» обеих воюющих сторон. Ибо для Ленина, повторяем, «взрыв» тайной дипломатии был неразрывной составной частью социалистической революции. И до известной степени эта крайне дерзкая для 1917 г. цель была достигнута. Конечно, тайная дипломатия не перестала существовать—сейчас, наверное, существует не меньше, чем 10 лет назад, но тайны своей предвоенной политики империалисты должны были приоткрыть: и не только германские империалисты, но и английские, собираются, кажется, и французские. А толчком к этому, толчком непреодолимым, послужили именно начатые нами в России публикации. «Факты, разоблаченные русской «Черной книгой» относительно европейской войны и планов подготовки к ней Извольского и Пуанкаре никоим образом не опровергнуты публикациями, вышедшими после 1924 г.»,—пишет известный специалист по вопросу о «виновниках войны» американец Бэрнс; а этот автор, то ли по незнанию русского языка, то ли страха ради американской буржуазии перед большевиками (он буржуазный пацифист, само собою разумеется), крайне неохотно цитирует наши издания и редко даже упоминает о них. Но, делая общий обзор вопроса, не начать с этих изданий он не мог.

А между тем как скромно все это начиналось. В своем дневнике 22 ноября 1917 г. Садуль записал о том, что завтра собираются начать публикацию дипломатических документов. «Так как архивы, предшествующие 1914 г., почти совершенно исчезли (!), большевики не нашли еще никаких следов переговоров, которые должны были вестись в Потсдаме и в других местах...» Итак, в нашем Наркоминделе в первые дни его существования не знали даже о том, что довоенные архивы (кроме «секретного архива министра») Керенский эвакуиро-

[1] Четвертое «Письмо издалека»—«Как добиться мира».

вал в Кирилло-Белозерский монастырь. Во главе дела публикации стала личность, до-нельзя странная для всякого нереволюционера и чрезвычайно близкая и своя для всякого революционера. Это был матрос—простой матрос из тех, что брали Зимний дворец, товарищ Маркин. Более необыкновенного редактора не имело, конечно, ни одно издание дипломатических документов. И представьте себе, уважаемые буржуазные коллеги, редактор был недурной. Для матроса архив должен был представляться столь же загадочной вещью, как для архивиста броненосец: наверное ни один архивист не сумел бы извлечь из броненосца ни малейшей пользы, а вот матрос, хотя и хаотически, извлек из архива между всяким хламом такие ценнейшие вещи как сербо-болгарская военная конвенция 1912 г., и по мнению теперешних специалистов (того же Бэрнса) являющаяся одним из исходных пунктов катастрофы 1914 г. Во всяком случае, агитационное впечатление «разоблачений» получилось от публикаций Маркина полное. Конечно, он не сам все делал, но каково было в хаосе первых дней революции подобрать только необходимый персонал, начиная даже с машинисток, продолжая переводчиками и техническими редакторами. Теперь, когда мы имеем не только полный подбор предвоенных германских и австрийских документов, но и претендующий на такую же полноту подбор документов английских, можно оценить, какой гигантский сдвиг был произведен в свое время рукою революционного матроса. А он смотрел на свое дело, как на всякое другое революционное дело и, кончив его, влился снова в матросскую массу, чтобы найти в ее рядах геройскую смерть, как и подобает революционному матросу[1].

Я не могу лучше закончить свою статью, как приведя то «воззвание»—иначе не назовешь,—которое было напечатано на первой странице первого выпуска «Сборника секретных документов из архива бывшего министерства иностранных дел»:

> «Долой тайную дипломатию. За здравствует открытое частное соглашение. Целью настоящего сборника является ознакомление широких масс с содержанием документов, хранившихся в бронированных комнатах и несгораемых шкафах бывшего министерства иностранных дел, как одного из филиальных отделений буржуазии всех стран. Каждый документ есть предательство народа. Каждый документ есть позорное клеймо угнетателям. Все на свет божий. Все наружу. Пусть знают трудящиеся всего мира, как за их спинами дипломаты в кабинетах продавали их жизнь. Аннексировали земли. Бесцеремонно порабощали мелкие нации. Давили, угнетали политически и экономически. Заключали позорные договоры. Пусть знает всякий, как империалисты росчерком пера отхватывали целые области. Орошали поля человеческой кровью. Каждый открытый документ есть острейшее оружие против буржуазии».

Прошло десять лет—и как мало мы еще использовали это «острейшее оружие». Но надо научиться владеть им так же хорошо, как покойный Маркин владел пулеметом. Не я один, оказывается, помню, как он пробовал пулемет (любил это оружие!) в коридорах бывшего министерства иностранных дел. Пулеметом наша Красная армия

[1] Описание его гибели см. у *Ларисы Рейснер*, Сочинения, т. I, стр. 63—86.

овладела достаточно. А вот тайники наших архивов—до сих пор тайники для очень многих, кто не может в них непосредственно работать. Мы опубликовали много, очень много, но систематического собрания документов тайной дипломатии империалистской войны у нас еще нет. А между тем, как раз здесь мы еще раз могли бы сказать новое слово: предвоенные документы уже настолько хорошо известны, что тут нельзя ожидать больших разоблачений. Но военную дипломатию буржуазия еще тщательно прячет в своих тайниках, прекрасно понимая, что это оружие еще неизмеримо более острое. Пора нам и его вынуть из ножен, и пусть десятилетний юбилей первого опубликования тайных договоров послужит напоминанием об этом.

*«Правда» 28 ноября 1927 г.*

# РУССКИЕ ДОКУМЕНТЫ ИМПЕРИАЛИСТСКОЙ ВОЙНЫ [1]

*Предисловие*

В первые же дни своего существования советская власть дала торжественное обещание разоблачить ту работу тайной дипломатии, которая привела мир к ужасной катастрофе 1914 г. Советские публикации тайных договоров, начавшие выходить в конце 1917 г., были первыми публикациями этого рода, которые видел мир. За этими наспех составленными сборниками, которые нарасхват читались дипломатами всех воевавших государств, последовал ряд более систематически подобранных и обработанных документов. Лишь долго спустя стали появляться аналогичные сборники других участвовавших в войне государств,—и теперь нет почти ни одной крупной державы, участницы мировой войны, которая не опубликовала бы того, что имеется в ее архивах по вопросу о возникновении войны 1914 г.

Насколько эти публикации полны и искренни,—покажет их детальный критический разбор и сравнение публикаций различных стран: эта работа только еще начинается. Во всяком случае относительно начала войны мы теперь знаем, благодаря советской инициативе, несомненно, бóльшую часть того, что нашло свое выражение в тех или других документах. Всякий историк согласится, что дневники и письма подвели бы нас к действительной психологической подкладке совершившегося гораздо ближе, чем официальная переписка. Но дневников и писем пока опубликовано еще не так много,—и есть основание опасаться, что первые появились не в том точно виде, в каком были написаны непосредственно вслед за событиями. Исключение представляет разве опубликованный в СССР дневник русского министерства иностранных дел,—так как люди, которые могли бы быть заинтересованы в его «исправлении», к счастью, лишены были всякой возможности повлиять на его издание.

Но это все относится к возникновению войны. Было бы величайшей наивностью думать однако же, что тайная дипломатия прекратила свое существование 4 августа 1914 г. Совсем напротив: эта дата была лишь началом ее расцвета, те переговоры, которые велись в последующие годы, по своему цинизму и беззастенчивости далеко оставляли за собой наиболее откровенное хищничество предвоенного империализма. Боровшиеся «за свободу и цивилизацию» правительства обращались со свободой отдельных народов, преимущественно мелких, так, как не всегда бывало даже и в

---

[1] Статья появилась сначала в журнале «Историк-марксист» № 17, 1930 г. Впоследствии эта же статья была напечатана в качестве Предисловия в I томе издания «Международные отношения в эпоху империализма» (1931 г.) с измененным текстом вступительной части статьи. Приводим текст последней:
Со второй фразы III абзаца (Война была решена...) оба текста совпадают.— *Прим. ред.*

средние века. Чего стоит хотя бы дележ Турции, которым, как мы знаем из бумаг полковника Хауса, занимались с одинаковым усердием и в Лондоне и в Вашингтоне, так, как если бы никаких турок никогда не существовало.

Для опубликования документов тайной дипломатии военного времени до сих пор сделано чрезвычайно мало. Тут официальных публикаций почти вовсе нет, если опять-таки не считать Советского союза. Только у нас появился уже целый ряд таких сборников, как «Европейские державы и Греция в эпоху мировой войны» (изд. НКИД 1924 г.), «Раздел Азиатской Турции» (изд. НКИД 1924 г.), «Константинополь и проливы» ( 2 тома, изд. НКИД 1925—1926 гг.), «Царская Россия в мировой войне» (документы, относящиеся к вступлению в войну Турции, Болгарии, Румынии и Италии, изд. Центроархива 1925 г.) и целый ряд публикаций в журнале «Красный архив»: «Ставка и министерство иностранных дел» (переписка директоров дипломатической канцелярии царской ставки с Петроградом во время войны, «Красный архив», тт. XXVI, XXVII, XXVIII и XXX), продолжение Дневника министерства иностранных дел за 1915—1916 гг. (тт. XXXI и XXXII). «Конференция союзников в Петрограде в 1917 г.»—протоколы заседаний военного совещания 1—14 февраля 1917 г. (т. XX) и т. д.

Теперь мы приступаем к систематическому изданию документов, относящихся как к «возникновению» войны, так и к дипломатии собственно военного времени. Подготовленные к печати пять томов охватывают время с 14 января по 4 августа 1914 г. (1/I—22/VII ст. стиля). I том охватывает период 14/I—13/III 1914 г.; II—III тома—14/III—27/VI 1914 г.; IV том—28/VI—22/VII 1914 г.; V том—23/VII—4/VIII 1914 г.

Издание документов империалистской войны, решенное еще в 1928 г., начинает приобретать реальные очертания. Хотя до выхода в свет I тома осталось еще довольно много времени, к печати окончательно подготовлены уже два тома (I и IV); еще три тома (II, III и V) подготовлены всецело, поскольку речь идет о подборе документов,— дело только за просмотром комиссией примечаний к этим томам.

К сожалению, выйдет в свет первый из этих томов только в ноябре. Таково соглашение нашей комиссии и Гиза с германским издательством, которому передано право перевода текста на другие языки и распространения перевода за границей. Этот договор для нас чрезвычайно важен, ибо страхует издание от возможности перепечатки его в других странах какими-нибудь литературными мародерами,— перепечатки не только безданно-беспошлинно, но и в каком мародеру угодно виде, с какими он хочет пропусками, примечаниями и т. д. Германское издательство обязуется перевести слово в слово то, что будет ему передано. Но для перевода на другие языки нужно время, между тем наш контрагент совершенно резонно возражает против выпуска оригинального текста раньше перевода: не подлежит сомнению, что в этом случае наиболее интересные документы были бы тотчас же воспроизведены газетами всего мира, и «свежесть» заграничного издания была бы жесточайшим образом подорвана. Оригинал и перевод должны появиться одновременно, и по условиям перевода этого не может быть раньше ноября 1930 г.

К дальнейшему сожалению, подготовленные пять томов останавливаются, собственно, на пороге войны: они охватывают время с 1 января по 4 августа 1914 г. Война была решена не в *июле* 1914 г., но значительно раньше. Точный момент этого решения, конечно,

установлен быть не может: его попросту не было, этого точного момента,—никто из участников не мог бы сказать, когда именно было решено—не воевать вообще, это может быть было решено за много лет до 1914 г., а когда было решено начать войну именно летом этого года. Момент взрыва давно заложенной мины был не ясен для самих заложивших. Но *объективная обстановка*, из которой выходом могла быть только европейская война в *ближайшем будущем*, окончательно сложилась зимою 1913/14 г. К этому времени человек, который был бы в обладании всей политической и военной информацией обеих сторон (в таком положении реально не был ни один из руководителей политики готовых вступить в войну государств, не исключая Англии и Германии), мог бы ожидать взрыва «с часами в руках». Вот почему издатели решили начать ближайшую серию документов с 1 января 1914 г. Начав ранее, не было разумного основания остановиться на осени 1913 г.: почему не 1912-й? почему не 1911-й? Начав позднее—как делают почти все публикаторы—значило бы предрешать вопрос о «виновнике». Когда англичане начали свой предвоенный том со свидания Николая с румынским королем в Констанце и Вильгельма с Францем-Фердинандом в Конопиште, то это имеет совершенно определенный смысл: войну начали Германия и Россия, Англия была лишь «вынуждена вмешаться». Если бы начать с переговоров об англорусской морской конвенции, дело получило бы конечно иной вид...

Если бы начинать с наиболее осязательного *повода* войны, самым подходящим исходным моментом был бы «Видов день» 1914 г., 15/28 июня, день смерти наследника австро-венгерской монархии от руки сербских националистов. Но это был бы чисто внешний и формальный подход: дальше мне придется цитировать документ, устанавливающий, что Сербия (Пашич) сочла себя вправе обратиться к русскому правительству с настоятельной просьбой о снабжении сербской армии обмундированием, оружием и боевыми припасами уже 20 января старого стиля. Что это значит, опять-таки всякому совершенно понятно: уже в конце января—начале февраля в Сербии чувствовали непосредственное приближение новой войны. Русское правительство затянуло ответ, ибо оно не желало, чтобы сербы начали стрелять ранее, нежели будет обеспечена поддержка Англии: а этого не было еще и в марте, не только в январе. При свете этого факта дата убийства Франца-Фердинанда (фактическое «открытие военных действий») отступает на второй план.

Все эти «роковые дни» и «роковые недели», которым придают такое огромное значение буржуазные историки и издатели документов, для нас имеют совершенно третьестепенное значение, поскольку мы знаем, что война не была делом злой воли отдельных лиц и отдельных групп, но с железной необходимостью вытекала из экономической системы последних десятилетий, системы монополистического капитализма. Но из этого отнюдь не следует, как думают иные наивные люди, что, значит, «виноватых нет» и искать их не стоит. К войне привели захватнические вожделения всех империалистских правительств; но ни одно из них не призналось и не признается до сих пор в этом;

все они, видите ли, стали жертвою чужих захватов. Установить захватничество *всех* империалистских правительств и группировок, установить не a priori, исходя из той предпосылки, что они должны быть захватчиками, а установить на основании непререкаемого, для всех обязательного, документального материала, значит разрешить задачу огромной важности. Для борьбы с империализмом необходимо знать доподлинно и во всей точности, как он действует, каковы его приемы и методы. И когда захватническая деятельность империалистов будет непререкаемо установлена рядом неопровержимых документов, мы, конечно, получим обвинительный акт,—но обвинительный акт не против отдельного лица или, тем паче, против отдельной страны, а против *класса*, того класса, который держал в руках власть во всех больших странах в 1914 г. и держит власть доселе в большинстве из них.

Русские документы, естественно, дают наиболее богатый материал для разоблачения захватнической политики российского империализма, военно-феодального в своей сущности, но уже начавшего переходить в капиталистический. Когда русский консул в Астрабаде наивно пишет, что «вмешательство (русского) отряда в местные дела есть неизбежное и естественное последствие пребывания здесь нашего отряда и нашего влияния и служит основным орудием усиления последнего», то перед нами простецкий военно-феодальный империализм; но когда русское правительство добивается отнять привилегии у английского банка в Персии и передать эти привилегии русскому банку, когда оно спорит с английским правительством о направлении транс-персидской железной дороги, мы имеем образчики обычной империалистической политики новейшего типа. Одно диалектически переходит в другое, и спорить стоит не о том, какого именно империалистического разряда были субъективные мотивы тех или других захватчиков, а чьи интересы они выражали объективно. И тут печатаемые документы дают возможность провести четкое разграничение тех областей, где господствовали интересы именно русского империализма, конкурировавшего из-за монополии с империалистской политикой других стран, и где русская политика являлась отражением интересов более сильных империалистских держав,—где царская Россия попросту была вассалом последних.

Ограничиваясь документами *первого* тома,—где, к слову сказать, относительно меньше сколько-нибудь крупных документов, не опубликованных ранее (хотя и здесь *большинство* документов все же совершенно новых),—мы отчетливо видим эти два течения, видим дипломатические «районы», где русский империализм выступал от своего лица, где он бился за *свои* монополии, даже и против своих союзников,—и «районы», где непосредственные интересы русского империализма нащупать гораздо труднее, и где его подталкивали империалисты тех стран, для которых именно здесь стояли на карте основные интересы.

Русский империализм не нужно было подталкивать ни в Персии, ни на Дальнем Востоке, откуда этот империализм отнюдь не ушел

после разгрома 1904—1905 гг.: он только, проученный неудачей, действовал более осторожно, стараясь не сталкиваться с Японией и не залезать в сферу ее влияния. Тем не менее «стать твердой ногой» и в Монголии и в Северной Манчжурии он отнюдь не терял надежды. По документам одного I тома (№№ 10, 46, 65, 91, 119, 136, 142, 179, 191—193, 216, 230, 254, 271, 278—281, 307—308, 330, 357, 363, 389, 391, 405—406, 431, 439—440, 444 и др.) можно написать маленькое исследование на эту тему; а между тем это лишь небольшой кусок из длинной цепи документов, тянущейся через все предыдущие года и продолжающейся в следующих томах 1914 г.

Непосредственно для возникновения мировой войны еще более важен другой подобный отрывок—иллюстрирующий историю англо-русских отношении из-за Персии (№№ 25, 28, 59—60, 83, 90, 96, 112, 121, 150—152, 164, 167, 178, 181, 189, 194, 206—208, 232, 248, 253, 255, 260, 282, 297, 319, 331, 349, 352—353, 359, 361, 372, 373, 375, 383, 392—393, 397—398, 402, 412—413, 419, 441, 443 и др.). Мы возьмем из этой серии только несколько примеров, показывающих, насколько англо-русская «дружба» за немного месяцев до начала войны оправдывала диалектический закон «единства противоположностей».

На первом месте в числе приемов русской политики в Персии придется поставить простой и голый *захват*—захват земель. Это слово не наше: оно со всем хладнокровием употреблено в таком ответственном документе, как «секретное письмо министра иностранных дел посланнику в Тегеране от 1 февраля ст. ст. 1914 г.».

> «Что же касается захвата нами этого района, то имея чисто культурно-экономический характер, он может лишь послужить на пользу персидского правительства» (том I, № 255).

Начинается это письмо с «принципиального присоединения» министра к мнению временного заместителя посланника, Саблина, который телеграфировал 10 января:

> «Полагая, что покровительство и дальнейшее расширение русского землевладения в Персии является одной из самых главных задач наших здесь, как по соображениям политическим, так и экономическим, признаю усвоенный Ивановым (русским консулом в Астрабаде.—*М. П.*) образ действий в делах покупки и аренды русскоподданными земель в Мазандеранской и Астрабадской провинциях единственно отвечающим создавшемуся положению вещей. Сопротивление правительства (персидского.—*М. П.*) весьма понятно(!) и если постановления Туркменчайского акта[1] как бы склоняются в его пользу, то единственный и естественный закон страны, шариат[2], весьма нам благоприятен»... (там же, № 90).

Заслуживший одобрение и своего непосредственного начальника и самого министра консул Иванов прямо и просто смотрел на данные персидские провинции как на русскую колонию, всячески выхвалял достоинства «приобретения», могущего не только

> «служить житницею для бедной водой Закаспийской области и для Туркестанского края, плодородные площади коего, в случае получе-

---

[1] Русско-персидский договор, которым окончилась русско-персидская война 1826—1828 гг.

[2] Мусульманское гражданское право.

ния дешевого хлеба отсюда, могли бы быть использованы еще в больших размерах под культуру хлопка, но и самостоятельно представить из себя обширное поле для нашей деятельности в смысле использования теплого, влажного, богатого осадками климата этих провинций и их богатой почвы для культуры высокоценных субтропических и даже тропических растений и в особенности хлопка» (там же, примечание I).

Итак, задачу снабжения Средней Азии хлебом, которую советская власть разрешила постройкой туркестано-сибирской железной дороги, царская дипломатия предлагала разрешить—захватом части Персии. Повторяю, это не был домысел захолустного дипломатического чиновника: этот план встретил полное одобрение руководителя русской иностранной политики.

«Принципиально я присоединяюсь к мнению коллежского советника Саблина и статского советника Иванова о желательности расширения, при помощи имеющихся в нашем распоряжении средств, русского землевладения в северной Персии и считаю, что это в особенности важно в районе Гюргена», писал Сазонов (цит. док. № 255). «Помимо того, что развитие в этом крае хлопководства и эксплоатация ценных лесных пород представляют для нас большой экономический интерес, я полагаю, что и в политическом отношении проникновение именно в этот район русского элемента может иметь для нас большое значение».

Ограничения, которые вносил Сазонов в «расширение русского землевладения», носили технический, если можно так выразиться, характер и приводили к практическим заключениям, по своей смелости далеко оставлявшим за собою план Иванова.

«Захват больших земельных участков (до 15 тыс. десятин) лицами, не обладающими, повидимому, достаточными деньгами для осуществления крупных предприятий, представляется явлением, безусловно нежелательным. Эти лица, по всей вероятности, имеют в виду либо перепродажу приобретенных ими по весьма низким ценам земель, либо эксплоатацию переселенцев, которых они привлекают на свои участки. К этому мнению присоединилось и состоявшееся на-днях совещание из представителей заинтересованных ведомств, которое признало, что наиболее желательным выходом из положения была бы скупка всех имеющихся в Астрабадо-Гюргенском районе свободных земель русскою казною (!), а в случае невозможности этого—нашим Учетно-ссудным банком Персии с тем, чтобы заселение означенных земель могло быть произведено затем на рациональных началах при содействии опытных чинов переселенческого управления...».

Ближайшие к русской границе персидские провинции рассматривались как форменная русская колония—для довершения характеристики остается только прибавить, что одним из главных русских «землевладельцев» был сам консул Иванов. Русское захватничество естественно вызывало отпор со стороны персидского населения, которое возлагало свои надежды на тех, кого оно считало русскими конкурентами.

«Мне достоверно известно,—писал тот же консул Иванов,—что главной темой разговоров бельгийцев[1] и враждебной нам части персиян служит надежда на вмешательство в этих целях («чтобы разрушить особенно наше положение в Персии») Англии и Германии и стремления английской миссии в Тегеране сделать бельгийцев своим орудием» (док. № 248. Разрядка моя.—*М. П.).*

[1] В руках бельгийских «советников» было финансовое управление Персии.

Итак, «враждебная» русским захватчикам часть персидского населения возлагала свои надежды на союзную с Николаем II Англию—и враждебную последней, а также и России, Германию одинаково. Мы видим, какой переплет империалистских интересов здесь получался. Это не была иллюзия местного населения. Какой остроты достигал антагонизм русско-английских интересов в Персии в эти дни, показывает переписка между Петербургом и Лондоном по вопросу о Трансперсидской железной дороге.

При проектировании этой последней с русской стороны держались того же принципа, который был—так неудачно—применен при русском проектировании железных дорог в Болгарии в 80-х годах: персидские дороги должны были иметь выход к русской—и впоследствии, к индийской сети—всякое соединение с рельсовыми путями, идущими на запад, признавалось нежелательным; согласие на постройку Тегеран-Ханикинской ветки в 1910 г. было специальной уступкой Германии. Отсюда стремление трассировать трансперсидскую магистраль в направлении с северо-запада (русское Закавказье) на юго-восток (Афганистан и Индия). Англичане никак на это направление не соглашались. «Против направления восточнее Бендер-Аббаса у нас решительно все», говорил Грей Бенкендорфу (телеграмма последнего от 23 января/5 февраля 1914 г., М.О. т. I, № 181). Это вызывало крайнее раздражение в Петербурге.

> «Нами уже неоднократно и категорически указано было лондонскому кабинету на полную неприемлемость для нас и для Soci t d'Etudes[1] направления на Бендер-Аббас вообще и на Исфагань—Шираз—Бендер-Аббас в особенности», писал Бенкендорфу Сазонов. «Основанием для сего являлись такие важные мотивы, как излишнее удлинение на несколько сот верст транзитного пути, который может стать таковым лишь при условии, что он пройдет по кратчайшему направлению; нежелательность приближения этого пути к Багдадской железной дороге, которая могла бы со временем отвлечь к себе транзит, и, наконец, крайне вредное значение для наших торговых интересов в северной Персии меридиональных железных дорог вообще» (документ № 152).

Положение осложнялось тем, что и железная дорога была не только «транзитным путем», но также и орудием захвата,—пожалуй еще более грандиозного, чем тот, который проектировал на северо-востоке Персии консул Иванов.

> «В тесной связи с вопросом о Трансперсидской железной дороге находится, как известно, вопрос о концессии на разработку горных богатств на обширном пространстве, частью в английской, частью в нейтральной зоне, которой добивается некий английский синдикат. Отметив, что Трансперсидская ж. д. может пересечь это пространство, Société d'Études по справедливости указывало на то, что по существующему всюду в некультурных странах порядку ему необходимо будет располагать известной полосой земли, примерно по 100 километров по обе стороны пути, без чего реализация потребных на сооружение дороги капиталов встретит непреодолимые затруднения. Лондонский кабинет, ссылаясь на то, что упомянутый синдикат уже раньше заявил ему о своем желании и получил от него обещание поддержки, не признал возможным стать на точку зрения Société d'Etudes и вызвался лишь способствовать какому-либо компромиссу между обоими обществами. В результате синдикат высказал готов-

[1] «Общество изысканий» Трансперсидской ж. д.

ность предоставить Трансперсидской ж. д. одну треть той части своей концессии, которая придется на нейтральную зону, при условии что Société d'Etudes примет пропорциональное участие в авансе в 100 тыс. ф. ст., обещанном синдикатом шахскому правительству. Это предложение, как и следовало ожидать, не удовлетворило Société d'Etudes, которое подтвердило, что оно собственно в горной концессии вовсе не заинтересовано, а считает лишь необходимым обеспечить себе упомянутую полосу, где бы дорога ни прошла (!), причем в случае предоставления таковой оно не отказалось бы принять пропорциональное участие в сказанном авансе» (там же).

Итак, лоскут персидской территории в 200 километров ширины и несколько сот километров длины, где бы этот лоскут ни пришелся (хотя бы в «английской» по соглашению 1907 г. зоне), должен был перейти в русские руки. Ожесточенное противодействие англичан такому проекту более нежели понятно. И между будущими, через полгода, союзниками мировой войны за шесть месяцев происходил на этой почве чрезвычайно оживленный обмен мнений.

«В моих беседах с сэром Дж. Бьюкененом по этим вопросам,—продолжает письмо Сазонов,—я не скрыл от него, что встречаемые в этом деле затруднения, в особенности в отношении направления дороги, внушают мне серьезные опасения, что все предприятие Трансперсидской ж. д. может расстроиться. Я высказал при этом мнение, что это обстоятельство произвело бы, несомненно, очень тяжелое впечатление, так как оно свидетельствовало бы, к вящщему ликованию наших недоброжелателей, о шаткости устоев, на которых покоится англо-русское согласие в Персии. Я добавил при этом, что в сомнениях, высказываемых сэром Э. Греем, просвечивает, по моему мнению, слишком большое опасение перед англо-индийским общественным мнением, которое к сожалению все еще не может отрешиться от фантастической боязни русского нашествия на Индию. Наконец, я счел не лишним дать понять послу, что в случае распадения Société d'Etudes, вся постановка дела радикально изменится и, по всей вероятности, образуется новое общество, которое займется постройкой намеченных нами дорог как в русской, так и в нейтральной зоне, безо всяких ограничений, т. е. и в районе, близком к персидско-афганской границе» (там же).

Дело доходило, таким образом, уже в январе 1914 г., до прямых угроз. Между тем Трансперсидская дорога являлась далеко не единственной точкой пересечения русско-английских интересов на этом театре—хотя, может быть, была главной. Русское правительство явно стремилось захватить персидский Азербайджан, всячески покровительствуя сепаратистским стремлениям азербайджанского губернатора, Шоджа-уд-Доуле. В одной секретной русской записке (от 20 февраля ст.ст.), где излагаются требования, которые нужно было поставить англичанам в обмен на уступки в тибетском вопросе, говорится прямо и недвусмысленно:

«В персидских делах мы равным образом могли бы добиться от англичан некоторых услуг. Например, они могли бы дать нам обязательство не препятствовать образованию фактически автономного Азербайджана, под пожизненным главенством Шоджи-уд-Доуле и под нашим протекторатом с присоединением к Азербайджану принадлежавших некогда (при Петре I.—*М. П.*) России Гиляна, Мазандерана и Астрабада» (док. № 384).

Между тем Грей был крайне встревожен «новыми обстоятельствами, созданными Шоджей и не предвиденными соглашением

(1907 г.),—обстоятельствами, которые делали необходимым полный пересмотр основ соглашения в чрезвычайно трудных условиях», и решил немедленно и конфиденциально переговорить с Бенкендорфом в таком тоне, что Бенкендорф начал умолять Сазонова «немедленно и категорически» отказаться от всякой поддержки Шоджи (секретная телеграмма Бенкендорфа от 22 февраля/5 марта 1914 г., № 392).

Если прибавить, что в те же первые месяцы 1914 г. начинаются попытки захватить в русские руки сбор налогов в русской сфере влияния,—попытки, которые займут потом много места в дипломатической переписке первой половины 1914 г.,—причем сразу же дело принимает характер конкуренции между русским и английским банками, действовавшими в Персии (№№ 345, 349, 383 и др.), мы получим такое количество конфликтов, которое может поставить изучающего документы перед вопросом: отчего в 1914 г. война вспыхнула не между Россией и Англией, а между Россией и Германией? Ответ может быть только один. Империалистская война не была исключительно или даже главным образом русским делом. Русский империализм был на мировом театре второстепенным или даже третьестепенным—а европейскую войну (с самого начала имевшую тенденцию стать мировой войной, поскольку участницами явились Япония—и de facto и de jure—и Соединенные штаты—de facto, ибо они сразу же стали главной индустриальной базой *одной* из воюющих сторон), мог развязать только империалистский конфликт первого порядка. Первостепенным было—или казалось—военное могущество России, и это дало последней такое положение в конфликте, которое совершенно не соответствовало ее значению экономическому.

Документы, печатаемые в I томе, полны, прежде всего, отзвуками прошлых войн—итало-турецкой, греко-турецкой, сербо-болгарской. Первые две главным образом напоминают о себе вопросом об Эгейских островах (№№ 1, 11, 41, 43, 51, 64, 67, 74—76, 95, 104—105, 113, 116, 121, 124, 172—174, 184, 195, 197, 201, 204, 215, 217, 219, 231—234, 236, 246, 249, 262, 264, 265, 268, 274, 283, 289, 292, 301, 306, 309, 311, 318, 321, 327, 356, 370, 371, 374, 382, 414). Перечень, по длине, как видим, не уступающий Дальнему Востоку и лишь немного—Персии. Смысл вопроса для русского правительства заключался в распределении тех из Эгейских островов, которые непосредственно примыкали к Дарданеллам—главным образом Лемноса, при современной артиллерии фактически замыкающего выход из пролива. Англия настаивала на переходе Лемноса в руки Греции—опять-таки к великой досаде своего будущего союзника, очень старавшегося о сохранении этого ключевого острова хотя бы в руках старого владельца, Турции: при разделе «наследства» последней легко было бы захватить и Лемнос, отнять же его у греков не было ни предлогов, ни при поддержке англичанами Греции, возможности. Когда Николаю выяснили, что наиболее выгодная для русского правительства комбинация не проходит, он был весьма огорчен и написал на соответствующей телеграмме Извольского: «это очень неудобно» (док. № 11). Факт был широко известен—на нем играли турки, ища русской поддержки;

великий визирь, в разговоре с русским поверенным в делах, подчеркивал, что «переход названных (Эгейских) островов, и в особенности Лемноса, к Греции не может соответствовать русским интересам» (док. № 318). Но Англия твердо поддерживала своего клиента, стремясь сохранить Лемнос за Грецией явным образом по тем же причинам, которые побуждали Россию отстаивать «права» Турции: вопрос шел о том, кто будет настоящим хозяином в Дарданеллах. Этот конфликт тянется долго, глубоко врезываясь в войну и заканчиваясь — и то лишь по видимости—мартовским соглашением 1915 г.

Превращение Греции в сторожа при Дарданельском проливе создавало очень деликатные отношения между этим английским клиентом и английским союзником на востоке Европы. В Петербурге очень нервно следили за морскими вооружениями Греции. В записке, которую Сазонов представил Николаю 13/26 января 1914 г., набрасывается весьма любопытная программа разговоров с Венизелосом, приезд которого в Петербург ожидался в ближайшее время. Сазонов предлагал «не итти» в этих разговорах «дальше выражения общих благожелательных чувств, коими неизменно руководилась Россия по отношению к эллинскому королевству».

«Если бы, что не невозможно, имеющий прибыть вскоре в С.-Петербург греческий первый министр г. Венизелос затронул вопрос о более тесном сближении с Россией и намекнул о возможности заключения с нами военно-морской конвенции, то мне представлялось бы наиболее соответственным выслушать с благожелательным вниманием все, что им было бы сказано по этому поводу и, в то время, избежать какого-либо связывающего нас ответа».

Николай написал на этой записке: «Согласен» (док. № 104).

Мы видели, что в этом конфликте—опять-таки, по существу, конфликте России и Англии—Турция напрашивалась в союзники первой. Характерно, что впервые эта нота зазвучала уже в феврале; в июне дело дошло до известного предложения Талаатом Сазонову союза в Ливадии, а в августе до ряда предложений Энвера русскому военному агенту уже в совершенно конкретной форме. Непосредственно соприкасавшиеся с турецким правительством русские дипломаты всегда были за принятие этих предложений. Под № 265 мы печатаем чрезвычайно интересную докладную записку Гулькевича (замещавшего уехавшего в отпуск Гирса), пытавшегося растолковать Сазонову, что государство младотурок совсем не то, что империя Абдул-Гамида, и что на Турцию невозможно смотреть и обращаться с нею «по-старому». Гулькевич предлагал вместо нападения на турок—или попыток их запугать, что, по отношению к новоту турецкому режиму, не обещало никакого успеха—столковаться с турками. Идея не была совершенно новой—проливы могли быть в русских руках фактически и при условии очень прочного союза с Турцией: одна из двух линий Николая II и шла именно в этом направлении. Экономическую базу для этого союза, как и указывал Гулькевич, найти было не так уже трудно; из барьера на дороге

экономического развития Турции (препятствия в постройке малоазиатских железных дорог и т. п.) Россия, в силу своего географического положения, легко могла превратиться, рассуждая теоретически, в один из могущественнейших факторов этого развития. Но это именно только теоретическое рассуждение. Основной базой военно-феодального империализма был именно вопрос о проливах, а военно-феодальный империализм знал только методы внеэкономического принуждения. Проливы должны были быть завоеваны и ни на какие компромиссы в этом случае Россия Николая II не шла. Предложения турок и советы русского посольства в Константинополе одинаково остались бесплодными.

История подготовки захвата проливов Россией не начинается и не кончается документами, входящими в I том настоящей серии. Здесь опять-таки мы имеем лишь окончание одной из попыток—той, которая связана с именем Лимана фон Сандерса[1]. Основной документ—совещание 31 декабря ст. ст.,—как и другие главные документы, относящиеся к этому эпизоду, давно опубликованный, войдет в предыдущий том. Я цитирую только документы, не опубликованные ранее. Как близко дело было к осуществлению попытки, показывает печатаемое нами под № 84 письмо Сухомлинова Сазонову от 9/22 января 1914 г., где дело доходит до «выдвижения... необходимого числа войск в пределах эрзерумского вилайета» — т. е. до прямого нарушения неприкосновенности турецкой территории, как одного из подлежащих «осуществлению» «мероприятий». Что помешало «осуществлению»? Прежде всего, конечно, дипломатическая ловкость младотурок, очень быстро уступивших в формальном вопросе. Это отнимало у Сазонова и Сухомлинова формальный же повод для вмешательства. Затем, при полной готовности сухопутных сил, явное отставание сил морских особенно подробно иллюстрируемое запиской морского министра Григоровича (№ 50; ср. письмо Гулькевича Сазонову под № 155). Но главное, повидимому, заключалось в неуверенности насчет позиции Англии и в неготовности Франции в данный именно момент ввязаться в европейскую войну. Насчет последнего нас информирует неопубликованное до сих пор письмо Сазонову Извольского от 17/30 января, где мы читаем:

> «Очень радуюсь благополучному окончанию инцидента с германской военной миссией и от души поздравляю вас с одержанным полным успехом... Здесь видимо у французов отлегло от сердца и хотя французское правительство, как вам известно, имело твердую решимость поддерживать нас в этом вопросе to the bitter end (до горького конца), оно, разумеется, очень довольно, что чаша эта его миновала».

Хотя такое настроение сам Извольский объясняет тем, что для французов на первом плане здесь был турецкий заем, но, конечно, не эта мелочь могла помешать вступлению Франции в европейскую войну. Существеннее было другое—то, что «положение кабинета Думерга»,

---

[1] См. в настоящем сборнике статью «Русский империализм в прошлом и настоящем».

сравнительно «левого», «заметно упрочилось» и предстоящие выборы, которые этот кабинет должен был проводить, обещали «победу крайним радикальным элементам, в ущерб более умеренной группе, во главе коей стоит сам президент республики». Пуанкаре не чувствовал себя хозяином положения и выжидал, для того чтобы воевать, выборов, которые были бы для него неформальным вотумом доверия; после, в 1916 г., та же ситуация повторилась с Вильсоном. Сейчас, в начале 1914 г. война была бы для него не кстати. И наконец, положение Англии весьма выразительно резюмировано в письме Бенкендорфа Сазонову от 29 января (11 февраля 1914 г. № 232). Грей уклонился от разговора, и русскому послу пришлось ограничиться беседой с Никольсоном, который сказал, по передаче Бенкендорфа, буквально следующее:

«Что касается союза (с Россией), Никольсон не скрыл от меня, что это всецело его мнение. И он далеко не один. Возможно что Грей лично не далек от этого. Но Никольсон прибавил тотчас же—и я вполне разделяю его мнение,—что сейчас это (т. е. союз с Россией) невозможно. Страна (т. е. Англия) не готова к союзу ни с Францией, ни с Россией и скорее утомляется даже от мысли о своем отдаленном союзнике, Японии. Я прибавлю, что теперешний кабинет, так давно стоящий у власти и переживающий кризис, который или затянется или кончится его (кабинета) падением, не обладает достаточным моральным авторитетом для такого важного дела».

Читателям этой статьи прекрасно известно, что Англия в это время давно была уже союзницей Франции—Никольсон явно использовал неосведомленность Бенкендорфа об этом факте. Но быть союзницей России она еще не хотела, почему именно, это будет достаточно ясно для каждого читающего документ; Никольсон сразу после этого заговорил о Трансперсидской дороге. Англо-русский конфликт из-за Персии решительно имел более серьезное значение, чем казалось многим политикам тогда и кажется многим историкам до сих пор.

Но, не желая себя связывать прочными узами с персидским захватчиком, на которого еще, может быть, придется натравить Германию (разговоры Грея с полковником Хаусом [1]), не хотели и выпустить его из-под своей власти, слишком охладив его горячие ожидания. Еще в конце декабря 1913 г. русского военного агента в Лондоне посетил его коллега, полковник Репингтон, имевший с русским генералом беседу, которую стоит привести целиком.

«Доношу, что на-днях меня посетил военный корреспондент газеты «Таймс» полковник Репингтон и сообщил следующее. Английское общественное мнение, до сих пор, по непониманию, относившееся довольно равнодушно к вопросу о германской военной миссии в Константинополе, теперь начинает сознавать те многие невыгоды и опасности, кои связаны с этой миссией, не только для России, но и для Великобритании. Ближайшая опасность для Англии заключается в том, что так как Англия получает значительную долю своего продовольственного ввоза из южной России через проливы, то утверждение германского влияния на Босфоре приведет, в конце концов, как бы к тому, что, как выразился Репингтон, германский генерал будет как бы держать в своих руках продовольствие Англии, и,

[1] См. в настоящем сборнике статью «Америка и война 1914 г.».

в случае войны Англии с Германией, будет иметь возможность угрожать Англии остановкой ее продовольственного ввоза, т. е. просто—голодом.

Помимо вышеизложенной, крайне для Англии серьезной опасности, отмечается еще и та, что германское влияние на Босфоре приведет к усилению Германии в Малой Азии и к давлению Германии на английские сообщения с Индией. По вопросу о принятии турецкого флота в руки английских морских офицеров полковник Репингтон сказал мне, что газета «Таймс» не вполне этой идее сочувствует, так как она усложняет все дело, но что во всяком случае, если германская миссия останется в Константинополе, то лучше, чтобы турецкий флот был бы в руках Англии, так как иначе Германия заберет в свои руки и его. Относительно купленного Турцией дредноута «Рио-Жанейро» Репингтон сказал, что по его сведениям дредноут будет совершенно готов и вооружен к сдаче в мае сего года; подготовка же и обучение турецкой для него команды потребует не менее шести месяцев, так что дредноут может начать кампанию в октябре 1914 г. Репингтон прибавил, что в редакции «Таймс» существует убеждение, что Германия подкупила Энвера» (док. № 4).

Что это информация чрезвычайно влиятельного английского военного и журналиста была не чем иным, как подстрекательством к дальнейшему влезанию России в конфликт, обнадеживая ее—без всякой формальной гарантии—помощью Англии, это понятно безо всяких объяснений. Но правительство Николая II было не так просто, как думали в Лондоне.

Из всех документов, которые мы пока процитировали—а мы коснулись всех основных групп документов—совершенно не видно одного: германского империализма. Это, конечно, отнюдь не значит, что эта, одна из решающих сил на театре мировой дипломатии в это время отсутствовала. Но это несомненно значит, что на русском участке этого театра в данный момент активная роль принадлежала не ей. Это впрочем отлично сознавали и в Петербурге, как свидетельствует нижеследующее письмо Сазонова морскому министру Григоровичу.

«Письмом от 3 сего февраля ваше высокопревосходительство, ссылаясь на ряд появившихся за последнее время в германской печати статей, враждебных России и в частности касающихся нашего Балтийского флота, изволили запросить моего мнения о том, не представляет ли собою эта кампания немецкой печати, организованной германским правительством подготовки общественного мнения к возможному активному против нас выступлению. Не считая возможным утверждать, что берлинский кабинет не причастен к проявляемому ныне германскими газетами недружелюбному нам направлению, я затрудняюсь, однако, видеть в этом прямую подготовку им вооруженного столкновения с нами. Объяснение этого следует, по моему мнению, скорее искать в наблюдаемом вообще теперь агрессивном настроении части германского общества и в частности в раздражении, вызванном в Германии крайне враждебным по отношению с ней тоном нашей печати» (док. № 267).

Немец еще не собирался нападать, а тем не менее маленькие союзники России войны ждали, и в самом близком будущем. Под № 161 мы печатаем письмо Сазонову сербского премьера Пашича, содержащее в себе первую редакцию просьбы о снабжении из русских запасов сербской армии. Самая просьба давным давно известна и опубликована, но в печатаемом теперь письме характерно одно место. «Сербия должна обеспечить себя до ближайшей весны

строго необходимым количеством ружей и пушек», писал Пашич. И хотя он ссылается конкретно на агрессивные намерения Болгарии, он делает это только для того, чтобы сказать, что последняя «получает ружья и военный материал из военных складов Австро-Венгрии». Одной Болгарии, только что разгромленной в 1913 г., Сербия, опираясь на своих балканских союзников, Грецию и Румынию, не боялась.

Я уже упомянул, что русское правительство не спешило с удовлетворением сербского ходатайства—и удовлетворено оно было, притом частично, лишь после убийства Франца-Фердинанда. Что это объясняется не скупостью, показывает другой любопытный документ, печатаемый нами под № 196. Это уже не письмо Пашича, а письмо к Пашичу, притом не Сазонова, а Коковцева. Последний напоминает о маленьком долге, номинально Международному банку, а фактически русскому правительству—сербского офицерского общества «Задруга». «Задруга» была легальной оболочкой, за которой скрывались всякие сербские офицерские организации—и непосвященному в тайны русско-сербских отношений трудно понять, почему русское правительство нашло нужным обеспечить сербским офицерам заем ни более, ни менее как в 4 миллиона (золотых) франков. Знающему же эти отношения письмо Коковцева (док. № 196) говорит очень много.

Но прежде всего оно рисует физиономию Коковцева. Чуть не накануне того дня, когда сербские офицерские организации станут чрезвычайно нужны, необходимы русскому правительству—начать какой-то мелочный спор из-за каких-то 4 миллионов франков! Нужно было совершенно не понимать задач русской внешней политики в это время, чтобы совершать такие бестактности. Конечно, Коковцева нужно было снять—и он был снят именно за непонимание задач внешней политики.

Об этом мы узнаем из двух случайных, но чрезвычайно выразительных документов нашей коллекции (№№ 250 и 256). Это—две «перехватки» (иначе «дешифранта») двух телеграмм только что назначенного французским послом в Петербурге Палеолога Думергу, от 13 и 14 февраля. Из «чрезвычайно доверительного» (très confidentiel) добавления к первой телеграмме мы узнаем, что Палеолог ехал в Россию в одном вагоне с известным Орловым, одним из приближеннейших людей Николая, хорошо известным по переписке последнего с Александрой Федоровной, которая была большой приятельницей Орлова. Орлов сообщил французскому дипломату об отставке Коковцева.

> «Император,—прибавил он,—еще четыре месяца тому назад сообщил мне о своем решении. Его величество упрекает г. Коковцева в том, что он всегда подчиняет общую политику и внешнюю политику финансовым интересам».

В следующей телеграмме, на другой день, Палеолог давал дальнейшие подробности, еще более любопытные.

«Дело идет не только об отказе от финансовой политики г. Коковцева, прежде всего остановившей на себе внимание императора, но о новой ориентации общей политики. Ходит в самом деле слух, что министры военный (?группа не расшифрована вполне уверенно) и народного просвещения уйдут в ближайшее время. Положение министра иностранных дел поколеблено. Меня уверяют, что г. Горемыкин (вновь назначенный председателем совета министров.—*М. П.)*, разделяющий мнение вел. кн. Николая и г. Гартвига, жестоко упрекал г. Сазонова, что тот оказался слишком послушен советам...» (дальше не расшифровано).

Придворные сплетни, скажете вы. Но ссылка на Николая «Большого» и Гартвига, фактического руководителя сербской политики в это время, звучит чрезвычайно правдоподобно. Сазонов «исправился» и удержался—Коковцев был неисправим и полетел...

Как видим, не содержа в себе первостепенных новых «разоблачений», уже первый том нашей коллекции дает большое количество весьма любопытных деталей к тому, что было уже известно ранее. В последующих томах количество нового материала значительно возрастает.

*«Историк-марксист», т. XVII, 1930 г.*

# ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XX в:

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей брошюре воспроизведены четыре лекции, прочитанные автором сначала—весною 1925 г.—в Свердловском университете, а потом—в конце зимы 1926 г.—на курсах уездных партработников. Основное фактическое содержание и план изложения обоих курсов совершенно тождественны, но во второй редакции (стенограмма которой взята за основу) имеются некоторые фактические подробности, отсутствующие в первой, а самое изложение сделано, насколько было возможно, еще более общедоступным. Как очень популярный очерк международных отношений России, кончая интервенцией 1918—1920 гг., брошюра и предлагается читателю.

Само собою разумеется, что открывать какие-нибудь новые перспективы в таком популярном очерке не приходится,—и если читатели найдут здесь, может быть, что-либо для себя новое, то лишь потому, что вообще марксистских обзоров русской внешней политики за новейшее время в литературе почти не имеется.

Основная точка зрения автора также не заключает в себе ничего нового и неоднократно высказывалась им в его прежних работах. Она сводится к тому, что внешняя политика царского самодержавия отвечала интересам той общественной группировки, которую представляло самодержавие внутри страны,—интересам блока крупного землевладения с купеческим капиталом. Появляющиеся в последнее время в нашей литературе попытки доказать, что в последние десятилетия своего существования самодержавие представляло собою политически не эту группировку, но интересы нового общественного слоя, промышленной буржуазии, не кажутся автору ни в малой степени убедительными. Попытка пересматривать и «углублять» точки зрения Ленина в каком бы то ни было вопросе—дело до чрезвычайности ответственное и рискованное, и предполагает, что пересматривающий, если не стоит на одном уровне с Лениным, то, по меньшей мере, стоит к нему в таком же отношении, в каком Энгельс стоял к Марксу. От автора в высшей степени далека подобная смешная претензия. Автор думает, что то, что говорилось насчет самодержавия Лениным, вполне правильно и по

сей день. *Возможность* изменения классового содержания царизма Ленин *допускал*—он не был бы диалектиком, если бы он не допускал его принципиально,—но от возможности до действительности очень большой шаг, и, по Ленину, самодержавие за время своего существования этого шага не сделало. Впрочем, лучше всего говорить словами самого Ленина. Я приведу два наиболее важные в этом отношении отрывка. Первый относится к 1909 г. и неоднократно цитировался, но без начала и без конца, что совершенно искажало его смысл.

«И самодержавие, и конституционная монархия, и республика суть лишь разные формы классовой борьбы, причем диалектика истории такова, что, с одной стороны, каждая из этих форм проходит через различные этапы развития ее классового содержания, а с другой стороны, *переход от одной формы к другой нисколько не устраняет* (*сам по себе*) *господства прежних эксплоататорских классов при иной оболочке*. Например, русское самодержавие XVII века с боярской думой и боярской аристократией не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма» и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное «сверху» освобождать крестьян, разоряя их, открывая дорогу капитализму, вводя начало местных представительных учреждений буржуазии. К XX веку и эта последняя форма *полуфеодального*, *полупатриархального самодержавия* изжила себя. Переход к представительным учреждениям национального масштаба стал необходимостью под влиянием роста капитализма, усиления буржуазии и т. д. Революционная борьба 1905 года обострилась особенно из-за того, кто и как соберет первое всероссийское представительное учреждение. Декабрьское поражение решило этот вопрос в пользу старой монархии, а при таких условиях иной конституции, кроме черносотенно-октябристской, и быть не могло.

На новом поприще, при учреждениях бонапартистской монархии, на более высокой ступени политического развития борьба начинается опять с устранения прежнего врага, *черносотенного самодержавия*»[1].

Итак, самодержавие, несмотря на изменение внешней формы, оставалось «полуфеодальным, полупатриархальным» до начала XX в. и продолжало оставаться «черносотенным» (т. е. крепостнически-помещичьим) еще в 1909 г. при действии столыпинской конституции. Этот совершенно ясный и единственно возможный вывод из слов Ленина и был сделан им самим в 1917 г.

«Первая революция и следующая за ней контрреволюционная эпоха (1907—1914 гг.) обнаружила всю суть царской монархии, довела ее до «последней черты», раскрыла всю ее гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее, все зверство семьи Романовых,—этих погромщиков,

---

[1] Ленин, Соч., т. XI, ч. I, стр. 203. Разрядка моя.—*М. П.*

заливших Россию кровью евреев, революционеров,—этих «первых среди равных» *помещиков, владеющих миллионами* десятин земли и идущих на все зверства, на все преступления, на разорение и удушение любого числа граждан ради сохранения этой своей и *своего класса* «священной собственности». И далее, перечисляя «три политические лагеря, три основные политические силы», имевшиеся налицо накануне революции 1917 г., Ленин начинает перечень так: «царская монархия, глава крепостников-помещиков, глава старого чиновничества и генералитета»[1].

Никакого «перерождения» самодержавия из политического возглавления крепостного хозяйства в политическую организацию промышленного капитализма у Ленина найти нельзя. Самодержавие могло стать «буржуазной монархией» в полном смысле этого слова, т. е. на 100% уподобиться империи Наполеона I или Наполеона III, но оно ею не стало. До конца своих дней оно продолжало оставаться «исполнительным комитетом» крепостников-помещиков — и, стало быть, их союзника—купеческого капитала,—ибо отрицать связь крепостного хозяйства с торговым капитализмом еще никто у нас не пробовал.

В заключение два слова о заглавии: я думаю, что, назвав свою брошюру «Внешняя политика *России XX в.*», я поступил правильно: в 1920 г., на котором останавливается изложение, СССР еще не было. В то же время внешняя политика РСФСР после 1920 г. слишком тесно связана с политикой Советского союза, чтобы их можно было рассматривать раздельно. Еще одно замечание. На стр. 408 у меня говорится о взаимной ненависти «сербов и болгар». Я полагаю, что всякий читатель и сам догадывается, что речь идет о болгарской и сербской *буржуазии*, а никак не о сербских и болгарских рабочих или крестьянах. Но лучше и это оговорить.

[1] Ленин, Соч., т. XIV, ч I, стр 5—6. Курсив Ленина.—*М. П.*

## ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

Ленин говорил о внешней политике, что «выделять внешнюю политику из политики вообще, а тем более противополагать внешнюю политику внутренней, есть в корне неправильная, не марксистская, не научная мысль». Это как будто заранее уничтожает тот маленький курс, который я собираюсь вам прочесть. Но если вы вспомните, сколько есть статей у самого Ленина, посвященных специально внешней политике, то вы поймете, что под «противоположением» Ленин здесь разумел не то, что нельзя отдельно говорить о внешней политике, а разумел, совершенно очевидно, что и внешняя и внутренняя политика государства определяются, в конечном счете, одной и той же силой. Вслед за тем отрывком, который я взял, Ленин это иллюстрирует примером, говоря, что империализм одинаково враждебен демократии как во внешней политике, так и во внутренней. Империализм есть единственная сила, которая определяет одинаково как внешнюю политику империалистских стран, так и внутреннюю их политику. Вот что он хотел сказать. Поэтому из этих слов Ленина отнюдь не следует, что мы с вами не можем заняться отдельно внешней политикой, а значит только, что наше понимание внешней политики России должно быть увязано тесным образом с тем внутренним политическим процессом, какой в России происходил и который вы, как мне кажется, изучили.

И внутренняя и внешняя политика России конца XIX и начала XX в., в последние два или три десятилетия перед революцией, как и раньше, нужно сказать, определялась той господствующей силой, которая направляла общие судьбы нашей, в те времена несчастной, страны,—самодержавием. Самодержавие было руководящим началом как внутренней, так и внешней политики.

А что такое самодержавие? Самодержавие, как я уже сказал однажды и как я имею все основания повторять, несмотря на всякую критику и возражения, это есть та политическая организация, которая свойственна торгово-капиталистическому государству или, как я выразился короче, это есть политическая организация торгового капитала.

Так как вы изучали внутреннюю политику царской России,

то я не буду вам приводить тех фактов, вам хорошо, конечно, известных, которые иллюстрируют эту мысль примерами из внутренней политики: как самодержавие создавало крепостное право, в какой связи это крепостное право, или, точнее, крепостное хозяйство, стояло со всей системой торгового капитализма,—это вы все хорошо знаете и нет надобности к этому возвращаться.

Значит, внутренняя и внешняя политика России была политикой торгово-капиталистического государства. Прежде всего позвольте отвести одно возражение, которое вы, вероятно, слышали, которое повторялось и будет повторяться. Говорят, что это противоречит диалектике. Как? в XVI в. Россия—государство торгового капитала; в XVIII в. Россия—государство торгового капитала, в XIX в. тоже, в начале XX в. тоже. Это, говорят, явное отрицание диалектики. Покровский не диалектик, Покровский метафизик, для него все вещи неподвижны. Прежде всего, позвольте привести маленький пример. Что Англия XVIII в.—капиталистическое государство или нет?—Капиталистическое. А Англия XX в., теперешняя Англия,—страна капиталистическая?—Капиталистическая. Отрицание диалектики! Как же, и 200 лет тому назад Англия была страной капиталистической и сейчас она капиталистическое государство? Нельзя. За это время должны были произойти какие-то перемены. Если в XVIII в. Англия—страна капиталистическая, то сейчас она, значит, не капиталистическая. На этом примере позвольте указать, что я нахожусь в весьма хорошей компании по этой части, в очень хорошей, даже в чересчур хорошей компании. Если вы развернете «Коммунистический манифест», то вы там прочтете в одном месте, что «неизменное сохранение старого способа производства было первым условием существования всех прежних (докапиталистических) промышленных классов».

Значит, с торжеством заключил бы один из моих милых критиков, до капитализма не было диалектики! Караул! Маркс и Энгельс—метафизики. Я говорю, что слишком хорошая компания. Очевидно, что и Маркс и Энгельс не хотели сказать буквально, что отношения были неподвижны, а они хотели сказать, что развитие при господстве мелкого производства шло столь медленно, что его не замечали, оно не бросалось в глаза.

А теперь, что такое эпоха торгового капитала? Это и есть та эпоха, когда обмен централизован капиталистически, а производство—мелкоремесленное, то самое, о котором Маркс и Энгельс говорят в «Коммунистическом манифесте», что при господстве этого мелкого ремесленного производства развитие идет так медленно, что его можно не заметить, что, как в математике бывает, величина бесконечно малая приравнивается к нулю. Вот какое значение имеют эти слова Маркса и Энгельса в «Коммунистическом манифесте». Значит, диалектика и быстрота развития—это совсем не одно и то же. Диалектика и кинематограф—это совсем не одно и то же; это две вещи различные. Вовсе необязательна кинематографическая быстрота для того, чтобы было диалектическое развитие.

Как медленно идет развитие в торгово-капиталистических странах, покажет один пример. От одного, весьма компетентного, человека мне пришлось слышать, что в Китае торговый капитализм начал складываться за три столетия до христианской эры. А сейчас, какой капитализм в Китае?—Почти преобладает система капитализма торгового; в промышленный капитализм Китай только вступает. Тут уже видите, товарищи, не 400 лет, как у меня—с XVI по XX в.,—а 22 столетия, 2 200 лет встречаетесь вы с тем же торговым капитализмом. Чем это объясняется? Пример Китая тут очень хорош. Китай—это государство с 300-миллионным населением,—колоссальное политическое тело. Для того чтобы торговый капитализм прососался во все поры этого громадного тела, овладел всем оборотом, для этого нужно было громадное количество времени, особенно принимая во внимание, что Китай был изолирован и что процессы, в нем происходившие, совершались в нем, как в закупоренной коробке. При таких условиях, естественно, этот процесс развития торгового капитализма в Китае потребовал тысячелетий. У нас масса была менее грузная, чем в Китае, не 300 миллионов, а под конец всего 100 миллионов населения, но все же масса была довольно большая, и мы видим, как долго торговый капитализм не мог добраться до первичной ячейки нашего земледелия, до крестьянского двора и до крестьянина. В течение 2 с лишним столетий торговый капитализм дирижировал этим крестьянином через посредство помещика; он не мог просочиться непосредственно в деревню. Только в середине XIX в. торговый капитализм решается подойти к мужику вплотную, взять его в руки непосредственно, отказаться от помещика как от своего агента, ибо помещик был до известной степени агентом торгового капитала; этим его функции не исчерпывались, но, между прочим, он был агентом торгового капитала. И только тому назад лет 60—70 торговый капитал начинает считать возможным обойтись без этого агента и эксплоатировать крестьянина непосредственно. Вот почему торговый капитализм развивался у нас так медленно и вот почему понадобились три столетия для того, чтобы он окончательно проник во все поры народного хозяйства. Так что медленность тут в достаточной степени оправдывается самой сутью дела.

Какой ошибки надо избегать? Надо избегать той ошибки, чтобы представлять себе капитализм, как какое-то одноцветное сукно. Из Ленина вы знаете, что у нас сейчас в советской стране имеются пять типов хозяйства: патриархальное, мелкое товарное, частнохозяйственный капитализм, государственный капитализм и социализм. А в других странах и в другие времена этого не было. Это свойственно только России? Всегда было. В XVI в. у нас существовал не только торговый капитализм и патриархальное крестьянское хозяйство в неизмеримо более распространенном виде, нежели оно существует сейчас, но и мелкое торговое, мелкотоварное хозяйство точно так же, как существует сейчас. В XIX в. к концу картина становится еще пестрее, потому что тут начинает действовать диа-

лектика развития капитализма вообще, и торговый капитал рождает своего антагониста—промышленный капитал. Значит, к торговому капиталу и ко всем патриархальным и прочим видам хозяйства прибавляется еще промышленный капитализм. Картина становится еще пестрее. Но значит ли это, что эта картина не представляет ничего целого, что она ползет в разные стороны?—Нисколько не значит. Что, сейчас у нас есть какое-нибудь определяющее начало, какой-нибудь стержень? Социалистическое хозяйство является определяющей силой. И тогда был один определенный стержень. Этим определенным стержнем был торговый капитализм, торгово-капиталистическая система, которая заставляла себе подчиняться все остальные типы хозяйства, какие существовали рядом, подчиняться, конечно, опять-таки не безусловно. Вы прекрасно знаете, что господство социалистического типа хозяйства не мешает нисколько тому, что мы даем дышать кулаку, сознательно даем ему дышать, что у нас существуют нэпманы, существуют концессии, хотя в небольшом количестве и т. д. Точно так же, как вы видите, государство торгового капитализма не мешало у нас в России тому, что в нашей политике,—она не наша была, а царская,—все равно—в царской политике,—проявлялась известная тенденция и других видов хозяйства. Это совершенно верно. Но определяющим стержнем был именно торговый капитализм.

Ярче всего это видно, именно, на нашей внешней политике. Что вы хотите делайте с фактической стороной русской истории, как вы над ней ни мудрите, вы топором не вырубите того факта, что если стержнем всей нашей хозяйственной системы в то время был торговый капитал, то стержнем нашей внешней политики была борьба за торговые пути. Против этого ничего нельзя возразить, потому что это совокупность фактов, осознанных, понятых еще в то время; для того чтобы отрицать это, нужно все эти факты выкинуть из истории.

Вся наша внешняя политика была борьбой за торговые пути. Сначала с Грозного до Петра Романова, с XVI по начало XVIII в., это была борьба за Балтийское море, за северный торговый путь. Со второй половины XVIII в. с Екатерины II и до Николая II включительно, это была борьба за Черное море и проливы, ведущие из Черного моря в Средиземное, борьба за южные торговые пути. Все войны, которые вела Россия за это время, все классифицируются по этим двум задачам, решительно все. Так называемая Великая северная война, которую вел Петр, это была борьба за Балтийское море. Затем турецкие войны Екатерины II, так называемые восточные войны Николая I, Александра II и, наконец, последняя война Николая II,—это все была борьба за торговые пути на юге, за Черное море, за его проливы, —факт, не подлежащий никакому сомнению. Если кажется, что Россия воевала за что-нибудь другое, то, покопавшись, вы увидите, что в корне лежала опять та же самая основная цель. Александр I сначала в союзе с Англией воевал против Наполеона. Позже, разбитый французами, он с ними боролся

против англичан. Из-за чего? Он это сам сказал. Когда Александр I приехал в Эрфурт на свидание с Наполеоном, что он просил у Наполеона? Он просил у Наполеона Константинополь. Даже когда война шла очень далеко от этого места, и, казалось, его вовсе не касалась, стержнем борьбы была борьба за проливы и Константинополь.

И, вот, как будто исключением в этой области и является японская война, о которой мне сейчас придется говорить вам. Как будто тут никакие проливы и никакой Константинополь непричем.

Но, прежде чем перейти к этой истории происхождения японской войны, позвольте вам наглядно охарактеризовать, в чем же разница между политикой торгово-капиталистического государства, какой являлась русская политика, и внешней политикой промышленного капитала. Этот пример очень хорошо привести, потому что иначе вам может показаться: ну, что же такого, что борьба велась за торговые пути? Ведь всегда война велась из-за этого. Вот мы сейчас с вами и посмотрим. В 1870 г. Германия воевала с Францией. Франция была разбита. Был заключен Франкфуртский мир в 1871 г. И вот, когда заключили этот Франкфуртский мир, было ли хоть одно слово сказано о торговых путях? Требовала ли Германия от Франции, чтобы Франция уступила ей, скажем, Брест, крупнейший порт на Атлантическом океане? Мы плохо себе географию представляем. Германия имеет прямые выходы на океан, или нет?—Она их не имеет. Она выходит одним концом на Балтийское море, а другим концом на Северное или Немецкое море, это залив Атлантического океана. Но в открытый океан Германия не имеет выхода. Представьте себе, что Германия—торгово-капиталистическое государство, которое борется за торговые пути. Она к чему стремилась бы?—Чтобы получить выход на океан. Какой?—Да вот во Франции есть Брест. Он находится на крайнем западном выступе Западной Европы, в Бретани, и врезается клином в Атлантический океан. Об этом ни слова никто не говорил, никто этим не интересовался. А о чем шел спор между Францией и Германией при заключении Франкфуртского мира после войны?—Шел спор из-за Саарского бассейна, и из-за этого началась война. Там уголь. Для Франции об этом шел спор. А для Германии из-за чего шел спор?—Из-за лотарингской руды. Почему французы, живущие в Лотарингии, должны были моментально превратиться в немцев?—Потому что у этих несчастных под ногами была та руда, которая была абсолютно необходима германской промышленности. Когда определяли границы между Германией и Францией при заключении мира, то в пограничную комиссию Бисмарк, германский канцлер, который руководил германской политикой, требовал включения горных инженеров, которые должны были при проведении границы сообразоваться с тем, где есть руда и где нет руды. Значит, из-за чего шла борьба между этими двумя государствами—Францией и Германией?—Из-за угля, с одной стороны, и из-за руды, с другой стороны, а не из-за торговых путей. Вот вам наглядный пример разницы тех це-

лей, которые ставят себе во внешней политике торговые и промышленно-капиталистические страны. Прибавлю, что в предыдущий торгово-капиталистический период и Франция знала войны за торговые пути: весь XVIII в. она вела борьбу с Англией из-за Средиземного моря, великой водной дороги из Западной Европы в Азию. Последним эпизодом этой борьбы была египетская экспедиция Наполеона в 1798 г.

Повторяю, товарищи, как будто бы исключением из этой характеристики русской внешней политики в XIX и в начале XX в., той характеристики, которая гласит, что это была борьба за торговые пути, т. е. политика, свойственная торгово-капиталистическому государству,—как будто бы исключение представляет японская война. О самой японской войне, об ее предпосылках я буду говорить в следующий час, а сейчас позвольте этот подход к японской войне высказать, может быть, в несколько парадоксальной форме. На берегах Тихого океана царская Россия воевала за те же самые проливы. Там другие проливы, и, казалось бы, что общего между этими проливами и теми? Между ними расстояние должно быть не меньше 15 тыс. километров, но тем не менее борьба шла из-за того же самого. Борьба за проливы в середине XIX в. привела к столкновению России Николая I с так называвшимися тогда морскими державами. Когда борешься за торговые морские пути, то, конечно, скорей всего можешь встретить у себя на дороге те страны, корабли которых плавают по морям. Этих «морских держав» (термин чрезвычайно характерный для наших политиков XIX в.) тогда было две: Франция и Англия. С ними произошло столкновение в середине XIX в. Я не буду объяснять подробностей этого столкновения, но кончилось оно тем, что нас разгромили. Английские и французские войска высадились в Крыму, взяли Севастополь, и по Парижскому миру в 1856 г. Россия была лишена права держать флот на Черном море. Это был, как казалось тогда противникам России, смертельный удар русской политике в борьбе за проливы. Не имея военного флота на Черном море, Россия, конечно, и мечтать не могла ни о каком захвате проливов. Александр II вынужден был подписать этот мир, потому что у него внутри страны было очень неблагополучно к концу войны. Крестьяне волновались и волновались в таких размерах, что все большее и большее количество военных сил от задач внешней политики, от борьбы с французами и англичанами приходилось отвлекать для борьбы с русским мужиком. Такое положение вещей, конечно, было слишком опасно для Александра II, и он подписал этот мир, подписал, как он публично выражался, в минуту трусости. Этой минуты трусости он простить себе не мог. Когда он посетил развалины Севастополя в 1861 г., он писал оттуда своему сыну Николаю, умершему потом, старшему брату Александра III: «Я не умру спокойно, пока не увижу Черноморского флота возрожденным».

Таким образом, возрождение Черноморского флота, аннулирование результатов Парижского мира становится стержнем всей

политики Александра II. На этой почве он сближается с Германией, помогает ей разгромить Францию в 1870/71 г. и, в виде взятки за эту помощь, в 1871 г. добивается отмены той статьи Парижского трактата, которая запрещала России держать флот на Черном море. А с возрождением Черноморского флота начинается снова та же борьба за проливы. В 1877 г. Александр II объявляет войну Турции. Русские войска доходят до Константинополя, но под Константинополем они встречают обращенные на них пушки английских броненосцев, а в тылу России изменяет Австро-Венгрия, с которой перед войной был заключен договор. Русские этот договор нарушили, австрийцы этим воспользовались и выступили с тылу. У Александра II опять наступила минута трусости, и он подписал новый трактат, соглашение, по которому Россия не получила ни Константинополя, ни проливов. Это было крушение, можно сказать, всей жизни Александра II. Когда он вернулся с войны, то долго его не видавший министр Валуев записал в своем дневнике: «коронованная полуразвалина». Такое впечатление производил Александр II в то время. Народовольцы только добили эту «коронованную полуразвалину». Александру II навсегда не удалась эта попытка завладеть Константинополем и проливами; и это был уже конченный человек.

После его смерти борьбу продолжает его сын. Александр III заключает целый ряд договоров, имевших в виду получить для России Константинополь, но до войны он не дошел. У него был тот же союзник—Германия—и тот же враг. Я сказал, что под Константинополем русские войска наткнулись на пушки английских броненосцев; другими словами, как под Севастополем в 1855 г., так и под Константинополем в 1877/78 г. одинаково поперек дороги России стояла одна и та же сила. Под Севастополем стояли обе морские державы—Англия и Франция. Франция была теперь разбита и лизала руки у того же Александра III, но Англия продолжала стоять на ногах, и поскольку она стояла на ногах и владычествовала над морями, с ней приходилось иметь дело. Вот почему русско-турецкая война 1877/78 г. была связана с рядом высшей степени показательных фактов. В самом ее начале, еще война не началась с турками из-за Константинополя, а уже есть проект Скобелева предпринять поход из русского Туркестана, теперешнего Узбекистана, в Индию, причем Скобелев делает вполне реальные попытки в этом направлении. Он сам пробует перейти с войсками и артиллерией через Гиндукуш, доказывает, что это возможно и что вторгнуться в Индию можно. А когда русские увидели под Константинополем пушки английских броненосцев, то дело пошло еще дальше. В Афганистане появляется миссия генерала Столетова, который агитирует афганцев за союз с Россией. Туркестанский военный округ мобилизуется, и заранее распределяется, как по трем направлениям три колонны из Туркестана пойдут в Индию. Таким образом война с Англией совсем почти у порога. Берлинский мир оборвал это развитие. Два года спустя после этого экспедиция Скобелева, первого

русского генерала того времени, «полководца, Суворову равного», как было написано на его надгробном венке, — высаживается на восточных берегах Каспийского моря; происходит завоевание теперешнего Туркменистана; русские захватывают Закаспий и захватывают с большим расчетом; строят железную дорогу, которая за ними идет, явно двигаясь к «воротам Индии»—к Герату. Возобновляется наступление на Англию. Англичане попробовали сагитировать афганцев на свою сторону, но афганский отряд, решившийся загородить дорогу русским, был разбит. Это было в 1885 г. Совсем, казалось, на волоске была война с Англией, но и на этот раз до войны не дошло. Англичане проглотили ту неприятность, которую им нанесли русские войска под Кушкой, разбив афганцев,—не решились начать борьбу с Россией, потому что они в то время были лишены всяких континентальных союзников. С Германией Александр III был в союзе, с Францией у Англии еще не наладились отношения, у Александра III был уже кое-какой флот, так что английской торговле он повредить мог—была реальная опасность для Индии,— а России на сухом пути Англия была бессильна что-либо сделать. Был опять заключен худой мир. На этот раз фактически мира не было, потому что фактически и войны не было, но к войне продолжали готовиться с обеих сторон—строится чрезвычайно энергично Черноморский флот, некоторые единицы которого вы можете видеть на фильме «Броненосец Потемкин». Все это—флот, построенный на Черном море Александром III. И вот именно это столкновение с Англией и дало толчок к дальневосточной авантюре. Именно в этой связи Александр III начинает интересоваться Дальним Востоком. Почему?—На Дальнем Востоке нам принадлежала одна гавань—Владивосток, вам хорошо известный. Совершенно ясно было, что если в этом Владивостоке держать хорошую крейсерскую эскадру и в момент войны выпустить ее на Тихий океан, то она может нанести жестокий удар дальневосточной торговле Англии, разорить Гонконг, угрожать Австралии или, по крайней мере, связям Англии с Австралией, угрожать Индии. Такая крейсерская эскадра у России тех дней была. После столкновения в 1877 г. был создан так называемый «добровольный флот». Это были отчасти купленные, отчасти вновь построенные быстроходные пароходы, которые в мирное время возили арестантов на Сахалин, а обратным рейсом, из Китая в Россию—чай, но они были приноровлены для военных целей, на них имелись пушки и другие приспособления, и они могли быть в очень короткое время—в пару недель—превращены в военные крейсера. Это была, таким образом, довольно грозная крейсерская эскадра, тем более, что в 80-х годах в ней были уже довольно хорошие, быстроходные пароходы.

Опорной базой их мог быть тогда только Владивосток. Но когда стали об этом думать, то натолкнулись на такое затруднение: а как доставить во Владивосток все, что нужно, чтобы он сделался базой и как доставлять все, что нужно для кораблей, верфей и т. п.: машины, материалы, уголь и т. д.? Как?—Только по морю. А по морю

англичане пустят?—Конечно, не пустят. Ясное дело, что Владивосток может быть заблокирован в любой момент англичанами. А тогда что?—Тогда не угодно ли гужом везти из Центральной России за 10 тыс. километров к Владивостоку все, что нужно. Мыслимая это вещь?—Конечно, немыслимая. И вот, под впечатлением событий 80-х годов, Александр III решает во что бы то ни стало построить сибирскую дорогу, связать рельсовой колеей Центральную Россию с берегами Тихого океана. Тогда по этим рельсам можно будет подвезти и пушки, и уголь, и солдат, и все, что угодно, и тогда Владивосток действительно может стать грозной морской базой, которая держала бы под шахом Англию на Дальнем Востоке, подвергая ее всегда возможности нападения со стороны России. Вы видите, как борьба на берегах Средиземного и Черного моря привела к борьбе на берегах Тихого океана.

Итак, то, что носит название «дальневосточной авантюры», зародилось в середине 80-х годов, и если называть царя, который начал эту авантюру, то приходится назвать Александра III, который начал во второй половине 80-х годов строить Сибирскую ж. д.,—по выражению Витте, царского министра, человека, несомненно, осведомленного в этом деле,—самую стратегическую изо всех русских железных дорог. Ни из каких других соображений, кроме стратегических, вы постройки Сибирской ж. д. не поймете. Но это не была, конечно, самодовлеющая стратегия. Строили вовсе не ради отвлеченных военных соображений, а строили потому, что интересы русского торгового капитала требовали господства России на проливах—на Босфоре и Дарданеллах, а это привело к столкновению с Англией; Англию же было всего легче уязвить на Тихом океане; поэтому нужно было стать на Тихом океане твердой ногой.

Вы видите, что дальневосточная авантюра есть один из эпизодов в русско-английской борьбе. Я не знаю—достаточно это аудитории ясно, или нет. Я обо всех этих проливах говорил в общих чертах, представляя себе, что значение их торгово-капиталистическое ясно, потому что это был путь для русской пшеницы в Западную Европу, а главным товаром, на котором русский торговый капитал строил свое благополучие, был, как вы знаете, хлеб. Может быть полезно несколькими цифрами это иллюстрировать. Как у нас рос вывоз хлеба перед турецкими войнами в XVIII в., покажут следующие цифры. Первая турецкая война началась в 1769 г. За десятилетие перед этим вы знаете, во сколько вырос вывоз русского хлеба? Почти в десять раз. Если мы примем цифру 60-го года за 100, то цифра 69-го года будет 958. Так просился наружу русский хлеб. И вот под давлением этого русского хлеба, который, конечно, просился не в своей натуральной форме—форме мешков с рожью,—он в таком виде лежал спокойно, но купец, который хотел продать его за высокую цену во Франции и в Италии, старался его вывезти.

Теперь значение для этого хлебного вывоза этих проливов Черного моря. В 1906—1908 гг. из всего хлеба, который Россия вывозила за границу, только 11% шло через порты Балтийского моря

и 89% шло через порты Черного моря. Вы видите, какое огромное значение для русского хлебного вывоза имело Черное море и проливы, соединяющие его со Средиземным. Эти цифры я привел, чтобы вам нагляднее было, какое значение торгово-капиталистическое имели эти проливы и борьба за проливы.

Теперь я возвращусь к тому, с чего я начал—что появление России на Дальнем Востоке и, прежде всего, постройка Сибирской ж. д. Александром III в конце 80-х годов было эпизодом борьбы России и Англии. Если Россия в то время была еще в торгово-капиталистическом периоде,—хотя в ней уже был развит промышленный капитализм, -но стержнем, которым определялась внешняя политика, был торговый капитал,—то в это время Западная Европа вступила в империалистский период, и интересы русского торгового капитала вклинились в систему империалистских антагонизмов, империалистских стремлений Западной Европы. И как только Россия появилась на берегах Тихого океана, это сейчас же заметил главный империалистский враг Англии,—это заметила Германия. Вот в какой обстановке правильны слова Ленина, что русско-японская война была империалистической войной. Для России она не была империалистической войной, потому что Россия только после 1906 г., т. е. после русско-японской войны, вступила в полосу империализма, но так как русско-японская война попала на фон англо-германских столкновений, так как, можно сказать, она была передовой стычкой между Англией и Германией, прологом империалистской войны 1914 г., то в этом смысле это была империалистская война. Позвольте вам иллюстрировать это более детально фактами. В руках у меня переписка Вильгельма II с Николаем II—один из ценнейших документов по истории русской внешней политики. И вот что писал Вильгельм Николаю II меньше чем через год после вступления на престол Николая II, в 1896 г.

Позвольте, однако, сначала немного издалека подойти к этому 1895 г., потому что Вильгельм начинает с намека на одно событие, о котором вы, вероятно, не знаете. В конце 1880 г. русский царь начал строить железную дорогу через Сибирь на берега Тихого океана. Это предприятие, само по себе понятное и простое, стало осложняться различного рода подробностями. Во-первых, выяснилось, что Владивосток—база не совсем удобная для русской крейсерской эскадры, потому что климат там чрезвычайно суровый. Хотя Владивосток находится на одной параллели с Батумом—и кто из вас бывал в Батуме, тот знает, какая там температура,—но климат во Владивостоке московский: средняя температура января там такая же, что в Москве—12°. Благодаря этому гавань Владивостока четыре месяца в году заперта льдом. Значит, в течение только 8 месяцев Владивосток годится, а в течение 4 месяцев никуда не годится. Это первый минус. Второй минус заключался в том, что если вы возьмете карту тогдашней России на Дальнем Востоке (она и теперь годится, потому что граница почти та же), то вы увидите, что граница Китая выгибается к северу, и если строить железную дорогу к Вла-

дивостоку по русской территории, то ее придется строить дугой вдоль реки Амура. Во-первых, там условия стройки чрезвычайно трудные, это одна из труднейших железных дорог в мире. А во-вторых, получается лишних 2 тыс. километров, по сравнению с прямым направлением. Но это прямое направление идет через китайскую область, через Манчжурию. Это та Восточно-Китайская ж. д., о которой вы много читали в последнее время в газетах. Это направление укорачивает на 2 тыс. километров и облегчает самую постройку железной дороги, потому что через Манчжурию строить очень легко.

Значит, построение военно-морской базы на берегах Тихого океана поставило две другие задачи: во-первых, как добиться прямого пути, когда на дороге Манчжурия, китайская территория; а с другой стороны, как добиться такого порта, который был бы открытым в течение круглого года, а не в течение 8 месяцев? Одно условие тянуло за собой другое. И вот русское правительство стало искать удобных случаев для того, чтобы разрешить обе эти задачи.

Удобный случай скоро представился. В 1894 г. разразилась война Японии с Китаем. Китай был вдребезги разбит, японские войска заняли будущий Порт-Артур, юг Манчжурии, японцы стояли на дороге к Пекину, Китай стоял на коленях, искал всюду помощи и, конечно, помощь ему подал великодушный русский царь. Это великодушие русский царь всегда показывал. Вся борьба за проливы пропитана этим великодушием русского царя. Так, например, в 30-х годах XIX в. Николай I явился великодушно защищать турецкого султана от восставшего на него египетского паши. Турки испугались «помощи» Николая I больше всех пашей в мире, обратились к англичанам и французам, а те русских, буквально выражаясь, прогнали без войны,—просто дипломатическим нажимом заставили уйти. В 1877 г., я вам рассказывал, Александр II захотел завоевать Константинополь. Но разве так было дело официально? По официальной версии восстали наши единокровные, единоверные братья-славяне и мы их выручать пошли; это злые люди выдумали, что за Константинополь шла война. Опять великодушный жест. И такой же великодушный жест мы имеем и в 1895 г. Русский император поднял грозную руку и сказал японцам: «Стой! Не смейте!» И японцы ушли. Надо иметь в виду, что тогда японская военная мощь была только в самом начале; японский флот был в полтора раза слабее русского на Тихом океане. При таких условиях японцы не решились воевать и очистили занятую ими китайскую территорию. Китай за это должен был заплатить большую военную контрибуцию, которую опять великодушно предложил достать русский царь. Он был свой человек во всех парижских банках, всюду его охотно принимали, и заем в 500 миллионов был сделан. Китайцы, зная великодушие русского царя, с трепетом ждали: спас,—что же дальше будет? А дальше вот было что. В 1896 г. Николай II короновался, что было, как вам известно, ознаменовано ходынскими происшествиями. Ходынские происшествия стали хорошо известны всему миру, а в это время без особого грома и шума приехал в Рос-

сию китайский представитель Ли Хун-чанг и поместился на 1-й Мещанской, в доме крупнейшего чаеторговца Перлова. Чрезвычайно характерно это совпадение: русско-китайской «дружбы» и крупнейшего представителя русского торгового капитала в Китае. С Ли Хун-чангом завязались переговоры о том, чтобы Китай за все благодеяния, оказанные русским царем, разрешил построить русскую железную дорогу по китайской территории на Дальнем Востоке. Ли Хун-чанг придал этому русскому проекту чрезвычайно странное толкование. Ему показалось, что тут есть какое-то покушение на китайскую землю. Он долго вертелся и высказывался против русской железной дороги, говорил, что китайцы сами ее построят. Но тут нетрудно было Ли Хун-чанга убедить, что для того чтобы строить, деньги нужны, а вот вы и для контрибуции Японии деньги могли достать только через наше посредство. У вас денег нет. В силу этого китайцы должны были согласиться на предложение Николая II. Но тогда Ли Хун-чанг внес в договор о железной дороге статью, что постройка этой железной дороги не послужит захвату русскими Манчжурии и вообще—к нарушению прав китайцев на этой территории. Что это такое? Причем здесь захват Манчжурии? Но Ли Хун-чанг был очень умный, хиртый китаец и он еще оговорил, чтобы русские военные поезда, проходя через Манчжурию (дорога стратегическая, военная, и ясно, что будут возить и пехоту, и артиллерию, и кавалерию), чтобы они останавливались в Манчжурии только для перемены паровоза, а не для каких-нибудь других надобностей, чтобы они быстрей-быстрей проходили. На все эти маленькие уступки русские пошли. Даже разрешили Китаю выкупить эту дорогу по истечении 39 лет, причем Витте предусмотрительно объясняет в докладной записке, что, конечно, Китай никогда ее не выкупит, потому что было поставлено условие, что при выкупе Китай обязуется уплатить не только стоимость постройки железной дороги, но и все убытки, которые эта дорога (стратегическая и никаких доходов от нее быть не может) принесет в течение этого времени. Это, говорит, такая операция, при которой приобретение этой дороги будет явным вредом для Китая и поэтому на этот вред Китай не пойдет, конечно. Им не удастся заплатить такую сумму, да и дохода они с этой дороги никогда не получат. А так как Северная Манчжурия страна довольно пустынная, населения там мало и, кроме того, население «дикое»,—«дикость» его выражается в том, что оно ни слова по-русски не понимает,—то явное дело, что нужно было принять меры предосторожности, и хотя русские военные поезда могли останавливаться в Манчжурии только для перемены паровозов, но вдоль всей железной дороги была поставлена постоянная охрана, которая состояла из нескольких десятков тысяч войск. Целые дивизии пехоты, артиллерии, кавалерии. Эти войска как будто бы и не служили русскому царю, а были на службе у общества по постройке этой дороги, а общество состояло при русско-китайском банке, банк был создан в свое время для развития русских торговых операций в Китае. Как вы легко догадаетесь,

солдаты были в русской форме, офицеры были русские, все было русское; целый корпус русских войск был расположен вдоль этой дороги. После этого не могло быть спора о том, чья эта железная дорога и кто в действительности являлся хозяином Северной Манчжурии.

Это была одна сторона дела. Я вам сказал, что минусом наших сообщений с Тихим океаном было это злосчастное замерзание гавани Владивостока. Тут, по всей вероятности, урок географии дали Николаю II японцы. Нужно рассеять легенду, что только свердловцы не знают географии. Старые царские министры географии тоже не знали, и урок географии дали нам, повидимому, японцы, ибо нигде в русских документах не слыхать о Порт-Артуре до того момента, когда японцы его заняли во время японско-китайской войны. А тут вот Порт-Артур вспоминают. Оказывается, что на юге Манчжурии есть прекрасная гавань, не замерзающая, очень хорошая, удобная гавань. Туда пришли японцы. После того как русский царь показал им кулак, они оттуда ушли, но гавань осталась. На что она китайцам? Если у них какой флот и был, то японцы его уничтожили. Им никакой военной гавани не нужно. Японцев оттуда прогнали. Кто-то эту гавань должен занять, и Николая II из этого урока географии вывел политический урок. Нам нужна незамерзающая гавань. Японцы показали, что есть такая незамерзающая гавань на юге Манчжурии—Порт-Артур. Нужно его занять, а железную дорогу свернуть на юг. Она уже через Северную Манчжурию идет. Построим ветку, которая идет на Южную Манчжурию, и затем в руках России будет незамерзающий порт на Тихом океане. А так как Китай уже удалось убедить разрешить русским построить через Северную Манчжурию эту дорогу, значит удастся убедить построить дорогу и на юге Манчжурии. И опять на счастье или на несчастье Николая II,—как хотите,—но Китай испытал такой оглушительный удар, что в состоянии этого оглушения с ним все, что угодно, можно было сделать.

В 1897 г. в гостях у Николая II был германский император Вильгельм II в Петергофе. Раз этот германский император, возвращаясь со смотра в коляске с Николаем II, небрежно сказал последнему: китайцы позволили уже твоему флоту заходить в гавань Киао-Чау, но я слышу, что твои корабли туда не заходят. Может быть, ты разрешишь туда моему флоту заходить? Николай II ответил, не подумавши: ну, что ж, пожалуй. У меня, кстати, имеется в виду другая гавань для русского флота. И тут же сам себя, наверно, выругал за то, что проговорился, но уже ничего не поделаешь. Немедленно после того, как Вильгельм вернулся к себе домой—не в Германию, а еще в Петергоф—его канцлер прислал русскому министру иностранных дел заявление: так как его величество, император всероссийский, заявил, что гавань Киао-Чау ему не нужна и что он имеет в виду какой-то другой порт, который он предполагает занять, то и т. д. и т. д. Дело было сделано. Вильгельм ожидал соответствующей обстановки и дождался, что в Китае убили двух

католических попов. Попы были католические, а сам Вильгельм протестант. В Европе они сильно между собою дрались, но на Дальнем Востоке совсем другое дело. В отместку за убийство попов Вильгельм решил занять Киао-Чау. Попов убили не жители Киао-Чау, а просто разбойники, но вышло так, что взяли жителей Киао-Чау и из китайцев превратили их в немцев. Словом, гавань Киао-Чау была занята немцами к величайшему удивлению китайского правительства. Ну, убили попов, так тогда суди виновников, предай смерти и т. д., но чтобы за убийство двух попов занимали гавань— это было для китайцев совершенно непонятное, совершенно неестественное дело. О сделке Вильгельма с Николаем китайцы ничего не знали. Пришел германский крейсер в Киао-Чау, высадил десант и готово дело: китайская гавань стала германской гаванью.

И вот, когда китайцы находились в состоянии такого оглушения, тут к ним подошел Николай II со своими предложениями и говорит: вот еще у вас есть Порт-Артур. Может быть вы его нам в аренду отдадите? Китай говорит: зачем? Русские отвечали: мы же ваши союзники. Мы вам помогать хотим. Как же мы будем вам помогать, когда у нас нет ни одного незамерзающего порта? Как же мы будем вас защищать без этого? Отдайте Порт-Артур. Китайцы пришли в смятение и бросились жаловаться на своего благодетеля англичанам и японцам. Англичане и японцы их приободрили и заявили, что с Киао-Чау придется проститься, а на Порт-Артуре поупирайтесь, нельзя сразу отдавать. Тогда Николай пустил в ход такую тактику: в Пекин был переведен 1 миллион рублей и было предписано войти в переговоры с двумя главными китайскими министрами: с Ли Хун-чангом и Джан Ин-хуаном. Ли Хун-чанг качал головой и говорил: дело трудное. Но так как из миллиона на его долю приходилось пятьсот тысяч, то он постарался—произнес блестящую речь в совете министров и кое-как «убедил» их. С другим мандарином вышло хуже, он попался в этом деле, и имеется телеграмма, что только-только ему собирались передать пятьсот тысяч рублей, как его арестовали. Для русской казны на этом получилась огромная экономия: вместо пятисот тысяч ему дали всего 15 тысяч; дали, чтобы показать китайским чиновникам, что они и в случае несчастья не будут оставлены русским царем.

Таким путем добились арендного договора на Порт-Артур. Порт-Артур из китайской крепости, побывав на короткое время японской крепостью, превратился в русскую крепость. Туда пришла русская эскадра, высадились русские войска и чтобы убедить окончательно, что Порт-Артур «взят в аренду», китайский флаг был торжественно спущен, а русский флаг был торжественно поднят. Русские военные власти, которые явились в Порт-Артур, стали затем прекрасно собирать подати с китайцев, которые жили около Порт-Артура. Словом, «аренда» была полная.

Вот каким образом «естественным» путем развертывалось постепенно русское наступательное движение на Дальний Восток. Это наступательное движение уперлось не только географически

в Порт-Артур, но и политически уперлось в сеть тех политических противоречий, которые тогда складывались. Борьба между Германией и Англией уже началась в то время—борьба дипломатическая. Обе стороны стремились друг друга окружить; это окружение очень интересно и проскальзывает в той переписке Вильгельма и Николая, отрывок из которой я хотел вам прочесть. После того как русский царь показал кулак Японии и японцы должны были очистить Порт-Артур, Вильгельм писал Николаю:

«Я был рад, что мог показать, как тесно связаны наши интересы на Дальнем Востоке, и что мои суда получили приказ помогать твоим в случае надобности, если бы положение стало сомнительным. Европа должна быть благодарна тебе за то, что ты так быстро понял, какую великую роль должна играть Россия в деле насаждения культуры в Азии и в деле защиты креста и старой христианской европейской культуры против вторжения монголов и буддизма; если Россия занялась этим гигантским делом, то естественно, что ты хотел бы, чтобы в Европе все было спокойно, и тебе не грозила бы опасность с тылу; и, разумеется, именно я должен позаботиться об этом и воспрепятствовать всякому, кто бы вздумал мешать тебе и нападать с тыла в Европе, в то время как ты исполняешь великую задачу, возложенную на тебя небом».

Это очень важный текст. Это было написано в 1895 г. Вы видите, что Вильгельм II гарантировал Николаю II тыл с запада: не бойся, мы на тебя не нападем. Почему Вильгельм эту гарантию давал? Потому что для него Англия была в это время гораздо более опасным врагом, нежели Россия. Он прекрасно понимал связь вещей, прекрасно понимал, что Порт-Артур, по существу дела, направлен против англичан, в первую голову, и желал, чтобы Россия, которую он собирался сделать своей подопечной сиротой, там распоряжалась. Эта связь между занятием Порт-Артура и русско-английским конфликтом проглядывает очень хорошо в одном националистически-черносотенном анекдоте по этому поводу. Этот анекдот гласит, что через несколько часов после того, как эскадра адмирала Дубасова (того самого Дубасова, что так хорошо вам известен по 1905 г.) стала на якорь у Порт-Артура, с открытого моря показался английский крейсер. Он подошел, увидел, что стоят русские корабли, повернулся и ушел обратно в море. Смысл этой басни тот, что если бы Дубасов опоздал хоть на несколько часов, то англичане заняли бы Порт-Артур за свой счет. Я думаю, что это легенда и что английский крейсер приходил только с рекогносцировочной целью; но так или иначе, в этом анекдоте ярко отразился смысл этих действий. Порт-Артур был новым Севастополем, который должен был специально служить орудием наступления против тех же морских держав, в данном случае против Англии. Вот в чем был смысл занятия Порт-Артура, и вот почему Вильгельм так решительно стал в этом случае на сторону России, обещался ей гарантировать тыл и т. д.

Что касается Японии, то на нее в это время сравнительно мало обращали внимания. Она так легко сдалась в 1895 г., так легко испугалась поднятого царского кулака, что с ней считались, как

с величиной маленькой и старались ее приручить мелкими подарками. После занятия Порт-Артура Японии уступили кое-какие права и преимущества в Корее, что показывает, что в это время Корея не особенно интересовала Николая II и его правительство, иначе он ни под каким видом не уступил бы Японии ее в 1898 г. Таким образом главным врагом продолжали и тут оставаться англичане. Это необходимо не упускать из виду, потому что это связывает дальневосточную авантюру с общей политикой Романовых в XIX в.

Но тут вклинивается один эпизод, чрезвычайно характерный, и который долгое время в глазах историков закрывал настоящую связь, в которой возникла русско-японская война. Это была авантюра в авантюре, это была уже авантюра № 2, личная авантюра Николая II. Это была знаменитая история с концессиями в Корее. Я в своем сжатом очерке довольно обстоятельно излагаю внешнюю обстановку, в которой появилась в мозгу Николая II мысль об этих концессиях. Предполагалось, что Корея обладает огромными минеральными богатствами, что там есть залежи не только каменного угля, железа и пр., но огромные золотые россыпи, и что эти богатства можно арендовать у корейцев на тех же основаниях, на каких был арендован Порт-Артур у китайцев. С этой целью был отправлен в Корею некий тайный советник Непорожнев, который вступил в переговоры с корейским императором. Корейский император был самым несчастным существом в мире в те времена, ибо одно время он был между двумя штыками: японским и китайским, а когда эта опасность миновала, явились русские благодетели, которые спасали не только Китай, но и Корею, причем русские действовали так, что они вызвали всеобщее возмущение против корейского императора, и этот несчастный корейский император должен был постыдно бежать из своего дворца в русское посольство, где и жил все время, уже этим фактом выражая крайнюю свою зависимость от России. Поэтому русские этого императора просто переуступили японцам. И несмотря на то, что этот корейский император находился в величайшем угнетении, все-таки с Непорожневым он говорил очень осторожно и не согласился подписать концессию на эксплоатацию «недр» его империи, а дал только неопределенное обещание притти в русское посольство переговорить о концессиях.

У Николая, таким образом, оказался еще на Дальнем Востоке, кроме интереса общецарского, еще интерес личный или, если хотите, семейный, потому что он, как любящий семью человек, больше хлопотал о жене, детях, племянниках, нежели о себе. У него денег было достаточно, но семью нужно было обеспечить: для этого и понадобились эти концессии. Так как официально Корея была только что уступлена Японии, т. е. японцы могли там устраивать всякие предприятия и т. д., то официальное русское министерство иностранных дел и русское министерство финансов, строившие железную дорогу в Манчжурии, вмешиваться в это дело не могли, да и не хотели. Они считали, что это дело крайне опасное и ненужное. И тут начинается своеобразная диалектика, т. е. расщепление

на две части внутри русского правительства. Появляются два правительства на Дальнем Востоке; с одной стороны, официальное правительство, министерство иностранных дел и министерство финансов и, с другой стороны, Николай II и его агенты—сначала полковник Вонлярлярский, затем Безобразов, Непорожнев и т. д. Целая система, целое новое министерство иностранных дел, которое ведет свою политику. Смысл этой политики заключался в том, чтобы приобрести минеральные богатства Кореи и вообще захватить себе возможно больше реальных ценностей как в Корее, так и в Южной Манчжурии. Постепенно пришлось для согласования действий этих двух правительств устроить особое согласительное учреждение, особую согласительную комиссию под названием дальневосточного комитета, где сидели: Безобразов—частный министр иностранных дел Николая и Ламсдорф—официальный министр иностранных дел русской империи; и этот комитет вершил все дела.

В этой связи приходится понимать дальнейшее развитие событий. С точки зрения интересов русского торгового капитала, было совершенно достаточно тех успехов, какие были достигнуты Николаем II, т. е. захвата Порт-Артура. Далее оставалось превратить Порт-Артур в сильнейшую военно-морскую базу. Это был бы кулак, занесенный над дальневосточным противником в лице Англии. Словом, это было бы крупнейшее орудие в борьбе за проливы в Европе. Но этот осложняющий момент, тяга Николая к миллионным богатствам Кореи, стремление захватить в свои руки то, что плохо лежит, создание своего личного министра иностранных дел, явились, как выражаются по-научному, «возмущающим фактором». Официальная Россия, в лице Витте и его орудия—Ламсдорфа, страшно бесилась от этого возмущающего фактора, но ничего не могла поделать, потому что личные или, точнее, семейные, династические интересы Николая II толкали его в этом направлении.

В чем заключалась суть той перемены, которая здесь произошла? Раньше был интересен север Манчжурии для проведения дороги к Владивостоку, затем—Порт-Артур и район, который ведет к нему. Но нужно ли было нам захватывать Южную Манчжурию, а тем паче Корею для этих целей?—Пока не нужно. Если эта надобность могла представиться, то только в более или менее отдаленном будущем, а Безобразов, частный министр Николая II, сидел в Южной Манчжурии и смотрел на Корею, а всем остальным интересовался очень мало. Что нужно было, чтобы русские могли спокойно распоряжаться в Порт-Артуре?—Мирные, налаженные отношения с китайским населением. В этом мы убедились на собственном примере вчера. Очень неприятно входить в соглашательские отношения с такими господами, как Чжан Дзо-Лин, но нужно поддерживать более или менее дружественные мирные отношения с окружающим населением и с китайской властью. Витте и стремился к тому, чтобы наладить отношения. Но Безобразов стоял на другой точке зрения. Ему нужны были, как он выражался в письме к Николаю II, существенные ценности; а для того, чтобы эти существенные ценности

добыть, нужно было попросту грабить. Тут складывается любопытнейший союз и его надо подчеркнуть, ибо он чрезвычайно характерен для личной линии Николая II, это союз Безобразова с хунхузами.

Хунхузы—это китайские бандиты. Безобразов увидел, что в Манчжурии имеются две силы: китайская администрация и банды этих хунхузов, и он решил, что эти банды хунхузов—это есть своеобразная оппозиция и на эту оппозицию он решил опереться против китайской администрации. Что из этого получилось, вы без труда догадаетесь. Представитель русского правительства в крае оказывается почти открытым союзником бандитов. Это, разумеется, должно было сразу же радикальным образом испортить отношения русского правительства с китайской администрацией в тех местах и вообще создать чрезвычайную смуту на месте, потому что, опираясь на бандитов, идя рука об руку с бандитами, нельзя было не обострить до крайности отношения к местному населению, к местной китайской администрации в частности.

Таким образом атмосфера становилась все более и более горячей. Как скоро привела бы к войне первая авантюра—сказать трудно. Конечно привела бы. Она привела бы к войне хотя бы в силу переплета русских интересов и интересов германского империализма. Это столкновение рано или поздно произошло бы, но оно было страшно ускорено всей этой серией чисто личных моментов, которые были сюда внесены Николаем II и его личным министром Безобразовым. Затем они, прежде всего, географически перенесли центр тяжести на Южную Манчжурию и Корею. Этим они очень обеспокоили Японию; однако сама по себе одна Япония, вероятно, не решилась бы ответить войной. Но вот в чем заключался просчет Николая II. Он позабыл в этой своей личной политике исходную точку своего движения—борьбу с Англией, т. е. прежде всего он позабыл, что он имеет и на Дальнем Востоке Англию в качестве главного врага. В 1902 г. был заключен англо-японский союз, который был грозным предзнаменованием. Ясно было, что в случае столкновения придется иметь дело не только с Японией, но и с англичанами, но отступать назад было трудно.

Манчжурия только что в 1900 г. была занята русскими войсками,—под предлогом «восстания» так называемых «боксеров», но в сущности,—в результате настоящей, хотя и очень легкой для России, войны с Китаем. Но англо-японский союз был сам по себе еще не так страшен. За этими двумя силами на Дальнем Востоке против России выдвигалась третья сила, о существовании которой Николай догадался буквально накануне катастрофы. Он говорил об этой силе за несколько дней до войны. Дело в том, что захват Россией Южной Манчжурии, который можно было рассматривать как начало захвата Китая, вызвал на сцену силу, которая до сих пор в этих делах не участвовала,—Соединенные штаты. Американцы домогались всюду открытых дверей. Николай, захватив Южную Манчжурию, посадил в Инкоусской таможне русских чиновников, и американские товары не могли проникать в Южную Ман-

чжурию. Одновременно с этим Россия не озволила осуществлять на деле, заключенный американским правительством с китайским, договор о так называемых американских «сетлементах», поселениях в Южной Манчжурии. Все это вместе взятое для американцев, людей достаточно дальновидных, служило явным признаком, что Россия хочет запереть Манчжурию для Америки. А за Манчжурией пойдет Северный Китай, а за Северным Китаем и весь Китай. Американцы—народ предусмотрительный: и президент Рузвельт стал, фактически, во главе коалиции, которая составилась из Англии, Японии и Соединенных штатов. Соединенные штаты помогают строить японский флот, который побил русских при Цусиме, а главное—дают Японии денег на войну. В последние дни перед объявлением войны между Токио и Вашингтоном шла ежечасная телеграфная переписка. Америка фактически держала в своих руках все русско-японские переговоры, и президент Рузвельт в частных письмах признавался, что самым неприятным было бы для него, если бы Россия помирилась с Японией.

Вы видите, что перенесение центра тяжести с севера Манчжурии и Порт-Артура в Южную Манчжурию и Корею, которая, с точки зрения основных интересов русского торгового капитализма, вовсе еще не была нужна, было самой опасной из всех возможных авантюр, потому что она сталкивала нас с Соединенными штатами, которые, попросту говоря, и помогли Японии вышибить русских из Манчжурии. Этого противника мы навязали себе на шею совершенно зря, ибо можно было великолепнейшим образом американцев не трогать и открыть Манчжурию для американских товаров, потому что русские товары туда посылались в самом незначительном числе, и товары туда больше попадали немецкие.

Вот каким образом, товарищи, с продвижением на Дальний Восток интересы русского торгового капитала втянули нас в переплет империалистских связей и интересов, противоречивых взаимоотношений целого ряда стран, которые потом столкнулись в империалистической войне. Тут все они налицо: Германия, Англия, Япония, Соединенные штаты—силы, которые будут бороться с 1914 до 1918 г.; они уже сталкиваются на Дальнем Востоке, но выступают прикрыто и за кулисами. И это последнее обстоятельство создавало у Николая II радужные иллюзии. Что такое Япония?—Такая ничтожная держава, которой показали кулак в 1895 г.—и она спряталась. «Новое время» писало, как вы знаете, что для Японии объявление войны России равносильно самоубийству. Плеве говорил: «Россия решала все вопросы внешней политики всегда не дипломатическими нотами, а штыками», и чего тут бояться японцев? Куропаткин составил план кампании, который кончался гордыми словами: «пленение микадо». А что за японцами стоит такая сила, как Соединенные штаты, стоит прикровенно, не говоря уже об открыто стоявшей за ними Англии, об этом не знали или позабыли; а благодаря помощи этих двух сил Япония в 1905 г. оказалась совсем не тем, чем она была в 1895 г. В 1895 г. японский

флот был в полтора раза слабее русского, а в 1905 г. он оказался сильнее. В 1895 г. у Японии была армия в 80 тыс. человек, а в 1904 г. армия в 1 миллион штыков. Чем это дело кончилось, вы знаете.

Таким образом в чем, собственно, заключается главная и основная ошибка Николая II?—В том, дорогие товарищи, что он ни в малейшей степени не был диалектиком. Он не понимал, что нельзя к Японии 1904 г. подходить так, как в 1895 г., он не умел конкретизировать положение каждого определенного исторического периода, он был типичнейший метафизик, и от этого он и погиб.

Вот в очень сжатом виде характеристика японской войны. Я пропускаю массу моментов, чтобы сжать это на протяжении одного часа. Я пропускаю все боксерское восстание. Вы отчасти найдете это в сжатом очерке.

Русско-японская война была, таким образом, поражением, нанесенным России не только Японией, но также Англией и Соединенными штатами. Смысл русского разгрома под Мукденом и Цусимой в том и заключался, что из двух комбинаций будущей империалистической войны, куда могла пойти Россия, комбинаций германской и английской, под Цусимой и Мукденом, решительно победила английская комбинация, и с 1907 г. Россия из союзницы Германии категорически становится союзницей Англии. Вот в чем заключался мировой смысл японской войны.

## ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

Основную линию внешней политики царской России давал торговый капитал, который имел своего агента в лице помещика. Помещик стоял у власти. Вся система самодержавия—это было государство помещиков, и в результате через помещиков торговый капитал давил на всю политику самодержавия—внутреннюю и внешнюю. Значит, интересами торгового капитала определялась эта политика вообще. Об этом нам придется еще говорить сегодня. Но, товарищи, совершенно не диалектическим, чисто метафизическим пониманием этого утверждения было бы говорить: а, значит, промышленный капитализм, который развивался в России в конце XIX в., никакого влияния не имел?—Конечно, это неверно. Торговый капитализм и его интересы определяли основную линию русской внешней политики. Если мы вынем торговый капитал, его интересы, мы ничего не поймем. Но это не значит, чтобы за торговым капиталом, петушком-петушком, не бежал и промышленный, и чтобы промышленный капитал вовсе не был заинтересован в тех предприятиях внешнеполитического характера, которые выдвигались торговым капиталом в его интересах. Возьмите дальневосточную авантюру. Я все время ее изображал так, что это была своеобразная форма русско-английского конфликта, борьбы между Россией и Англией. Основным объектом этой борьбы были проливы—Босфор и Дарданеллы. Дальше я приведу цифры, и вы увидите, какое значение для русской торговли имели Босфор и Дарданеллы, какое значение они имели для той торговли, которая составляла стержень самого русского торгового капитализма, для хлебного экспорта и, значит, для помещиков и их интересов и т. д. Это было основное. Но, скажем, для того чтобы этот конфликт с Англией, перенеся его на Дальний Восток, разрешить благополучно для себя, русский торговый капитал что должен был сделать?—Строить Сибирскую железную дорогу. Что, постройка Сибирской дороги интересовала сколько-нибудь промышленный капитал?—Конечно. Из моего «Сжатого очерка» вы знаете, что южно-русские металлургические заводы главным образом производили рельсы, что они на постройке Сибирской железной дороги развивались,

и что, как только кончилась постройка Сибирской железной дороги, страшно обострился кризис в области металлургии. Я об этом прошлый раз ничего не говорил, ибо я имею слабость предполагать, что моим уважаемым слушателям мой «Сжатый очерк» знаком, что они его читали; там все это есть и все это объяснено. Таким образом вот вам одна связь между интересами торгового и промышленного капитала. Далее, постройка флота, который пошел ко дну под Цусимой, в этом был заинтересован промышленный капитал?—Конечно был заинтересован; поэтому изображать дело так: а, у вас только один торговый капитал, а где промышленный?—нельзя. Вот он где. В то же время, когда нам говорят, что наша политика на Дальнем Востоке в первую голову преследовала цели захвата Китая как рынка для русской мануфактуры, то это уже оказывается неверным, или, в лучшем случае, страшно преувеличенным. В известной степени и тут, конечно, было кое-что. Недаром одновременно с тем, как строили Порт-Артур, для того чтобы занести кулак над англичанами, строили и Дальний—порт для будущего вывоза товаров в Китай и на Дальний Восток. Но это была настолько отдаленная перспектива для самого строителя Дальнего—Витте, что об этом говорить не приходится. Что вывозили в первую голову?—В первую голову вывозили только керосин, а не мануфактуру. И даже в то время когда Манчжурия была занята русскими войсками, туда шла мануфактура преимущественно японская и английская, а не русская. Китайский рынок имел для русской текстильной промышленности в три раза меньшее значение, чем персидский рынок; а нельзя сказать, что персидский рынок—этот пуп земли, и чтобы около него вращалась вся внешняя политика царской России. Русский ввоз в Китай был в три раза меньше вывоза Китая в Россию, причем Китай ввозил в Россию не только чай, но и чесучу, которая в образе чесучевого пиджака сделалась для русской интеллигенции чем-то вроде национального костюма в летнее время.

Таким образом вы видите, что эта сторона дела,—захват Китая как рынка для русской мануфактуры,—это было самой отдаленной возможностью, и, конечно, из-за этого одного никакой войны не было бы. Никто бы из-за таких ничтожных интересов не сдвинул бы ни одной русской батареи, ни одного русского полка на Дальний Восток. Раз Персию, которая в три раза большее значение имела для промышленности, не пытались завоевать, тем паче нельзя этим объяснить завоевание Манчжурии и войну с Японией.

Но тут, товарищи, я перехожу к тому, что составляет новое. То, что до сих пор говорилось, это вещь весьма известная; материал об этом можно найти и у меня, и в иной литературе, но то, что я скажу сейчас, это нужно подчеркнуть, как нечто новое.

Дело в том, что русско-японскую войну нельзя вывести только из национальных интересов России и Японии. Эти национальные интересы отлично могли бы размежеваться на Дальнем Востоке мирно, без войны. После 1905 г., после Портсмутского мира Россия заключила, как теперь выяснилось, 4 конвенции с Японией о разделе

сфер влияния в Манчжурии и Монголии в 1907, 1910, 1912 и 1916 гг. Могли же мирно размежеваться. А почему же раньше было нельзя?— Точно так же можно было бы. И, несомненно, если бы на сцене были только Россия, с одной стороны, и только Япония, с другой стороны, то тоже до войны не дошли бы. Невзирая на все интересы торгового капитала и т. д., все эти интересы были не в такой степени обострены, чтобы толкать на войну.

Когда Ленин говорил, что русско-японская война была империалистической войной, то это не следует понимать так, что Россия 1904 г. была уже страной монополистического капитализма, подобно Англии или Германии—такой Россия не стала вполне даже в 1914 г. Ленин был прав в том смысле, что русско-японскую войну нельзя выводить из национальных интересов России и Японии. Это был конфликт гораздо более широкий. Что не только дало Николаю смелость начать войну на Дальнем Востоке, но что физически сделало возможной для него эту войну? Что дало ему эту возможность?— То, что он мог совершенно оголить свой западный фронт. Мы знаем из записок Сухомлинова, что западный фронт был буквально голый, и что Вильгельм имел основания попрекать потом Николая своей лойяльностью, что, дескать, он, Вильгельм, имел возможность в любую минуту занять и Польшу и Прибалтийские губернии, но, будучи весьма честен и добросовестен, этого не сделал. Если бы Николай не чувствовал себя прикрытым с тылу Германией, он никогда не решился бы на японскую войну.

Другими словами, в основе русско-японской войны с русской стороны лежит, не оформленный, правда, в первое время письменно, русско-германский союз. На Дальнем Востоке Россия представляла интересы не только свои, но и в гораздо большей степени интересы германского империализма, а Япония на Дальнем Востоке представляла в гораздо большей степени, чем свои национальные интересы. интересы английского и американского империализма. Русско-японская война была форпостной стычкой, передовым авангардным боем империалистической войны 1914 г. Вот в чем ее значение и вот почему она должна быть названа империалистической войной. Ее из национальных мотивов исключительно объяснить нельзя ни торгово-капиталистических, ни промышленно-капиталистических. Поскольку мы ограничены сферой национальных интересов одной стороны и другой стороны,—мы ее не поймем. Мы ее поймем только тогда, когда перед нами развернется система империалистических противоречий, уже тогда охвативших весь мир. В этом смысле Ленин был совершенно прав, когда говорил, что русско-японская война была империалистической войной.

Разгром России на Дальнем Востоке означал разрыв последнего русско-германского союза, какой вообще существовал на земном шаре, и крутую перемену ориентации русской внешней политики: поворот от союза с Германией к союзу с ее противницей—Англией. Вот каков был политический вывод в плоскости международных отношений из японской войны и русского разгрома в Манчжу-

рии. Вильгельм это чувствовал, и недаром в самую последнюю минуту перед заключением Портсмутского мира он отчаянно ухватился за Николая и (летом 1905 г.) в Биорке буквально изнасиловал его, заставив подписать русско-германский договор, направленный прямо против Англии и косвенно против Франции. Но Николай этого договора никогда не исполнял, и сам Вильгельм понял, что требовать исполнения этого договора—совершенная бессмыслица. Как Николай мог бороться с Англией? Его флот был на дне моря. Но еще труднее было положение с Францией. Николай был разорен очень сильно этой войной; разорен, можно сказать, вдоск; денег не было. Витте был накануне того, чтобы прекратить размен, т. е. объявить государственное банкротство. Во время империалистической войны, будучи в союзе с богатейшими странами Западной Европы, Англией и Францией, можно было прекратить размен, но что значило прекратить размен в разгар русской революции, имея Англию и Францию против себя? Что значило бы, когда вдруг вся эта масса мелких сберегателей, мещан, зажиточных крестьян увидела бы, что у них вместо настоящих золотых и серебряных денег—бумажки, которые стоят половину или четверть их цены?—Это была бы катастрофа всего романовского режима, и Николай был на вершок от этого. Мог его из этой беды выручить Вильгельм?—Очевидно, нет. Германская промышленность росла так бурно, что у Германии не было лишних денег, которыми можно было бы снабдить Россию. Реализовать заем в два миллиарда франков можно было только на парижской бирже, а парижская биржа говорила в лице французского премьера Рувье: пока не заключите мира с Японией (т. е. пока не разорвете с Германией—это одно и то же)—ни сантима. Такое заявление сделал Рувье Витте, когда последний ехал в Портсмут на переговоры.

Итак, совершенно ясно, что Биоркский договор Николай исполнить просто физически не мог, и этот договор остался мертвой буквой. Русско-германский союз существовал между концом XIX и началом XX в., а в 1907 г. был заключен русско-английский договор по вопросам, внешним образом, размежевания в Персии и в Афганистане: северная часть Персии предоставлена была как сфера влияния России, южная—Англии, а середина была объявлена нейтральной,—но, по существу, это было размежевание с Англией по всем азиатским делам, потому что одновременно было заключено соглашение с Японией по поводу Манчжурии, о котором я говорил. В то же время, в порядке частных разговоров, английский посол говорил русскому министру иностранных дел Извольскому, что, если Россия поставит вопрос о своих интересах в проливах—в Дарданеллах и в Босфоре,—то Англия не будет против этого. Таким образом неофициально был поставлен тот вопрос, из-за которого Россия ввязалась в войну 1914 г.

Повторяю, фактически русско-английский договор 1907 г. был соглашением по всем азиатским делам. Азиатский спор между Россией и Англией был ликвидирован. Против кого он был ликвиди-

рован? А вот на этот вопрос дает ответ один интересный документ, который я несколько раз цитировал и который полезно напомнить, документ, совершенно неожиданный для внешней политики. Этим документом был допрос, который производили частью эсеры, частью большевики, в том числе К. А. Попов, адмирала Колчака в Иркутске, в январе месяце 1920 г. Вот что говорил, между прочим, там Колчак:

«Еще в 1907 г. мы пришли к определенному выводу» (обратите внимание на дату: 1907 год—год русско-английского размежевания и окончательного разрыва отношений с Германией) «о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом, германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д., совершенно определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой мы определяли в 1915 г., указывало на то, что эта война должна быть. В связи с этим надо было решить следующий вопрос: мы знали, что инициатива в этой войне, начало ее, будет исходить от Германии; мы знали, что в 1915 г. она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы должны на это реагировать».

«После долгого и весьма детального изучения исторического и военно-политического было решено как морским, так и сухопутным штабами, что мы будем на стороне противников Германии» (это решено было, конечно не штабами, а теми комбинациями, о которых я говорил), «что союза с Германией заключать будет нельзя, и что эта война должда будет решить, в конце концов, вопрос о славянстве: быть или не быть ему в дальнейшем. Были известны группы, которые резко расходились с этой точкой зрения и указывали на необходимость союза с Германией, но та политическая обстановка, которая была положена в основание, показывала, что война произойдет против союза срединных империй. Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно предвидена, была совершенно предусмотрена. Она не была неожиданной, и даже при определении начала ее ошиблись только на полгода. Да и то немцы сами признают, что они начали ее на полгода раньше, чем предполагали».

Это голый вздор вы увидите из дальнейшего, что не «немцы начали войну раньше», а их противники спровоцировали их на войну раньше, чем Германия была готова: в сущности, и Колчак почти прямо в этом признается.

«Таким образом, в связи с общим политическим положением, была разработана судостроительная программа, долженствовавшая быть законченной к 1915 г. К этому времени относится период чрезвычайно тесных сношений обоих штабов с Государственной думой, которая принимала в этом деле большое участие. В этот период 1906—1907 гг. различные политические группы, политические организации—все интересовались военными вопросами. Мне приходилось постоянно бывать там в качестве докладчика и эксперта на многих заседаниях. Там часто ставились вопросы о надводном и подводном флоте, и вообще общество чрезвычайно интересовалось этой войной(!) и военным и морским делом. Этот период был чрезвычайно оживленным в этом смысле. К этому времени относится чрезвычайно близкая связь между обоими штабами и Государственной думой и ее военными комиссиями. В этих военных комиссиях я был в качестве эксперта и присутствовал на всех решительно обсуждениях, которые касались флота».

Когда Колчак говорит о Государственной думе, как особенно заинтересованной во всех военных приготовлениях, то вы догадываетесь, что он имеет в виду не социал-демократическую фракцию Государственной думы, а некоторые другие группировки. Та же

самая окраска происходит и везде. Никогда не было столь наглого человека, который мог бы сказать прямо: я с 1907 г. начал готовить нападение на Германию. До такой наглости дошел только Сухомлинов, который в своих записках, вышедших за границей, пишет, вспоминая свой разговор с Жоффром: «Нашей задачей было во что бы то ни стало раздавить Германию, а момент для этого должны были указать дипломаты». Сухомлинов писал после войны и революции, а Колчак еще придерживался обывательски-оборонческой фразеологии. Но он говорит, что была возможность выбора: мы могли стать на сторону противников Германии и на сторону Германии. И выбрали Англию. Почему выбрали Англию—я это объяснил.

Соглашение с Англией в 1907 г. было, таким образом, исходной точкой подготовки войны 1914 г. и участия в ней России. Вот в какую связь приходится ставить русско-японскую войну. Это не было каким-то оторванным эпизодом, который имел значение только для интересов одной-двух стран. С этой точкой зрения по отношению к русско-японской войне надо покончить. Она была связана с развертыванием всей сети империалистических противоречий, которые вели к войне 1914 г.

Теперь мне остается дать некоторое представление,—и этим я закончу первый час,—о том, какие же конфликты конкретно создали эту империалистическую войну. В чем тут конкретно были противоречия? Я сказал: система империалистических противоречий. В чем же состояла эта система? Тут приходится выделить три конфликта. В основе лежал конфликт англо-германский; затем следующий за ним по значительности был конфликт германо-французский и, наконец, самым слабым из всех конфликтов был конфликт, по существу, не русско-германский, а русско-турецкий из-за проливов, но так как за спиной Турции стояла Германия, то, в конце концов, фактически этот конфликт связывался с русско-германским конфликтом.

Вкратце об этих конфликтах надо сказать, тем более, что их не всегда правильно понимают.

Германско-английский конфликт долгое время перед войной объясняли как конфликт двух промышленных капитализмов—английского и германского, которым будто бы было тесно на мировом рынке. Поскольку ясно было, что английский экспорт усиливается очень быстро бок-о-бок с германским экспортом, люди, которые так смотрели, логически должны были притти к выводу, что конфликт вовсе не такой острый, как это кажется, и один из наших авторитетных марксистских писателей выпустил в 1912 г. книжку под заглавием «Невозможная война». Невозможная война, война, которая ему казалась невозможной в 1912 г., это была война Англии и Германии. Исходя из того факта, что оба эти промышленные колосса пока что находят себе место единовременно на мировом рынке, что рынок этот вовсе не до такой степени узок, чтобы за него драться, писатели этого лагеря полагали, что война между ними невозможна. Откуда же эти упорные слухи о войне? Это просто реклама военных

промышленников и больше ничего. Для того чтобы строить броненосцы, пушки и пр. и продавать их государствам, нужно поддерживать военную шумиху. Это была тенденция не только в нашей марксистской литературе, но и вообще в мировой литературе. Одновременно появилась книга Н. Энжеля «Великая иллюзия», где тоже доказывалось, что война между Англией и Германией невозможна. Упускался из виду другой конфликт, гораздо более близкий и острый. Англичане—народ предусмотрительный. Конечно, если непосредственно сопоставить английскую продукцию и германскую продукцию, то они друг друга не подавляли; тут они могли размежеваться. Но была область конкуренции, где Англия совершенно определенно начинала чувствовать нажим Германии, и это была та область конкуренции, где Англия была особенно сильно заинтересована. Англия—владычица морей, и ничто так не затрагивает интересов Англии, ничто так ее не беспокоит, как соперничество в области морского транспорта, тем более, что в конечном счете обладание мировым рынком зависит от того, кто обладает океаном. Кто хозяин океана, тот, в конце концов, имеет не экономическую, а политическую и военную возможность обладать мировым рынком,—а, это нужно твердо запомнить, ближайшей и непосредственной причиной всякого рода столкновений бывают, конечно, политические комбинации. Эти политические комбинации опираются на экономическую базу, но ближайшим образом определяют дела в политике эти политические комбинации, а не экономика. Эту старую точку зрения экономического материализма, которая пыталась из количества произведенных и вывезенных пудов сделать непосредственные политические выводы, нужно оставить. После империалистической войны и после русской революции она совершенно никуда не годится, потому что ни того, ни другого явления, с этой точки зрения, вывезенных пудов, не объяснишь. Нужно почаще вспоминать слова Энгельса, что экономика определяет политику, но только в конечном счете.

Так вот, несмотря на то, что Германия и Англия могли еще между собою размежеваться экономически, рост германского флота и торгового, и военного,—одно с другим тесно связано,—представлял огромную угрозу для Англии в смысле ее монополии на океане. Эта океанская монополия Англии была сильно подорвана. Я приведу несколько цифр, которые это иллюстрируют.

Из всех 47 млн. мирового тоннажа Англии принадлежало перед войной около 20 млн., Германии принадлежало 6 млн. Остальные 20 млн. принадлежали остальному земному шару, причем ни одна из стран не располагала более, чем $2\frac{1}{2}$ млн. тонн. Только одна Германия имела 6 млн. тонн. Это,—если мы возьмем тоннаж, т. е. вместимость судов в грубом виде. Но надо иметь в виду, что сюда входят не только океанские суда, не только орудия мирового транспорта, а входит и всякий каботажный флот и рыбачьи суда и пр. Наиболее крупной в этом списке является Норвегия с $2^1/_2$ млн. тонн. Там, большей частью, рыбачий и каботажный флот, который обслу-

живал бесконечные норвежские фиорды. Если же мы возьмем специально океанский флот, то увидим, что тут соперничество было еще более острым и еще менее благоприятным для Англии. Если возьмем количество пароходов и рост их с 1870 г. у Германии и Англии, то у Англии число пароходов увеличилось втрое, а вместимость их—в десять раз, а в Германии число пароходов увеличилось в 13 раз, а вместимость—в 28 раз. Вы видите, до какой степени германский флот рос быстрее, чем английский флот. А если мы возьмем пароходы-гиганты вместимостью более 12 тыс. тонн, то мы такие цифры получим: в 1910 г. таких пароходов было во всем мире 80, из них 42 принадлежало Англии, 22—Германии и 16—всем остальным странам, вместе взятым. Таким образом вы видите, что тут уже Германия догоняла Англию чрезвычайно близко, и вы поймете, какое настроение это должно было вызывать в английском обществе; поймете слова сэра Эдуарда Грея, английского министра иностранных дел, Сазонову, русскому министру иностранных дел, осенью 1912 г., когда Грей заявил, что, в случае войны Англии с Германией, употребит все усилия, чтобы раздавить германское морское могущество; поймете слова более грубые и прямые близнеца Николая II—Георга V (они похожи друг на друга, как близнецы): «Мы будем топить всякий германский торговый корабль, который попадется в наши руки». Так выражался Георг V в разговоре с Сазоновым. Вот что направляло ненависть этих прирожденных моряков, властителей морей, против неожиданно выросшей молодой морской державы, которая угрожала Англии. Вот главный конфликт между Англией и Германией,—борьба из-за океана.

Второй конфликт, ближайший по остроте, это германо-французский, в области металлургии. Тут надо иметь в виду, что французская металлургия росла чрезвычайно быстро в начале XX в. В 1890 г. Франция добывала 26 млн. тонн угля и выплавляла около 1,9 млн. тонн чугуна. А в 1913 г. она добывала 40 млн. тонн угля и выплавляла чугуна 5,2 млн. тонн. Другими словами, выплавка чугуна увеличилась почти в 3 раза, а добыча угля не увеличилась даже в 2 раза. Значит, прежде всего французской металлургии нужен был уголь, и вы поймете, почему Германия по отношению к Франции обложена угольной данью, почему Германия обязана поставлять Франции ежегодно определенное количество угля. Потому что раньше дань шла в обратном направлении. В 1907 г. Франция ввезла угля из-за границы на 70 млн. франков, в 1912 г.—на 136 млн. франков. Французская промышленность, французская металлургия была данницей германской угольной промышленности. Германская угольная промышленность держала за горло Францию и стесняла металлургическое развитие Франции. Так как для металлургии, кроме угля, нужна и руда, а руда тоже находилась, главным образом, в Лотарингии, которая была отнята немцами у французов в 1871 г., то вы догадаетесь, что получить обратно Лотарингию и Саарский угольный бассейн—это было священной обязанностью всякого французского патриота.

Наконец третий конфликт—это конфликт русско-турецкий, по внешности, из-за проливов. Тут позвольте привести несколько цифр, которые иллюстрируют, как постепенно увеличивалось значение проливов для русской хлебной торговли. Если мы возьмем 1875—1879 гг., то получим, что через балтийские порты вывозилось ежегодно 54% всего русского хлеба, а через черноморские—только 46%. Если возьмем 1900—1902 гг., то увидим, что только 27% русского хлебного экспорта идет через балтийские порты, а 73% идет через черноморские порты. В 1907 г. только 11% русского хлеба идет через балтийские порты, а 89% русского хлеба идет через Босфор и Дарданеллы. И вы догадываетесь, что, по мере роста этих цифр, все более и более должна была расти у русского правительства, у русского торгового капитала, тенденция к тому, чтобы эти проливы заполучить в свои руки, тем более, что как раз в этот период, около 1911 г., русский капитал почувствовал на своем кармане, что значит, когда эти проливы находятся в чужих руках. С 1911 г. идет целый ряд войн, в которых участвовала Турция: турецко-итальянская война в 1911 г., балканская война в 1912 г. и т. д. И вот какой это дало эффект. В то время как в последнем мирном году Россия вывезла хлеба на 735 млн. руб., в 1912 г., когда проливы были уже частью заперты благодаря войне, она вывезла только на 547 млн. руб. По вычислениям тогдашних русских финансистов на запертых Дарданеллах русская торговля ежемесячно теряла около 30 млн. руб. 30 млн руб. вываливались из кармана русского торгового, в то время облеченного в банковскую форму, капитала из-за того что в проливах сидели «неверные» турки и что эти «неверные» турки для того, чтобы защитить Константинополь от нападения то итальянцев, то еще кого-либо, заграждали проливы минами и пр., что делается во время военных действий. Совершенно ясно при этом сочетании цифр, колоссально возросшее значение Дарданелл для русской торговли и совершенно ясно, какой должен был получиться громадный стимул у русского торгового капитала, какое должно получиться громадное побуждение, чтобы попытаться эти проливы завоевать. Если бы Россия была бы одна, то и тут, вероятно, до войны дело не дошло бы, как не дошло до нее в 80-х годах. Но на этот раз соблазн был в том, что на сцене была Англия с ее конфликтом с Германией и Франция тоже с конфликтом с Германией. Таким образом у России было два союзника, и на почве этих комбинаций складывается громадная коалиция против Германии, которая и заставила, в конце концов, Германию воевать. Когда какой-нибудь политик или дипломат говорит: о, этот человек непременно на меня нападет, вы можете быть уверены, что он сам собирается нападать на этого человека. Это всегда так бывает. Как это конкретно происходило, позвольте вам рассказать в следующий час.

Чрезвычайно любопытно, что, хотя наиболее острым из охарактеризованных мною конфликтов был конфликт англо-германский, а наименее острым был конфликт русско-германский, тем

не менее, стремление завязать драку распределяется как раз в обратно-пропорциональном порядке. Англия, которая была основным врагом Германии, выступает позже всех, как будто бы нехотя, как будто бы только потому, что немцы нарушили бельгийский нейтралитет. Франция, конфликт с которой по остроте своей стоял на втором месте, раньше обнаруживает большую боевую готовность, но все-таки выступает, как честный рыцарь, как друг России, на защиту России. А русские помещики и Николай II, их коронованное возглавление, бросаются в драку первыми; они затевают всю эту войну, хотя этот конфликт был наименее острым. Это тем и объясняется, что для Англии тут жизнь стояла на карте, а когда для человека или для целого государства на карте стоит все, то он десять раз подумает, прежде чем начать драку. А Россия в это время находилась в управлении людей, которые чрезвычайно легко относились ко всему происходящему. Примером этого является переписка Николая II с Александрой Федоровной, где в одном из писем (в феврале 1917 г.) Александра Федоровна пишет мужу, что мальчишки и девчонки бегают по улице и кричат, что будто бы нет хлеба,—и все для того, чтобы создать беспорядки. А через несколько дней она и Николай II полетели с престола. Они были чрезвычайно большими оптимистами и им казалось, что затеять войну—это чрезвычайно пустяковое дело. Таким образом готовность воевать объясняется не значением конфликта, а легкомысленностью самой верхушки. Англия—это был сплоченный, хорошо сколоченный колосс; она двигалась медленно, а Россия—она бежала, как мальчишка, который кричит, размахивает кулаками и т. д. Вот почему, в порядке подготовки войны, Россия выступает на первое место, и кажется, что царская Россия есть главная виновница войны. Но тут я должен сделать оговорку. Главной виновницей войны, конечно, была не Россия. Когда пускают какого-нибудь мальчишку, чтобы он влез в форточку и помог сломать окно, то главным виновником является не этот мальчишка, а те матерые бандиты, которые его послали. Так было и тут. Мы не знаем секретных английских документов,—хотя англичане их опубликовывают, но, конечно, с подчистками, поправками и т. д.; мы не можем сказать, какую роль играла Англия в подготовке. Насчет Франции мы имеем переписку Извольского, и из нее роль Франции, в частности Пуанкаре, достаточно видна. Эту оговорку необходимо сделать вначале.

Что касается России, то уже весной 1908 г. русский министр иностранных дел, тот же Извольский, ставит вопрос о проливах. Но его одернул Столыпин, который показал себя тут действительно умным человеком. Он заявил, что война в условиях 1908 г. была бы безумным бредом ненормального правительства, и что он никогда такой сумасшедшей вещи не допустит, не позволит Россию втянуть в эту авантюру. Извольский попытался получить проливы косвенно, путем соглашения с Австрией, был обманут и проведен Австрией в самом лучшем виде, как только можно быть проведенным, оказался в дураках, потерял портфель, переселился в качестве посла

в Париж и стал оттуда подготовлять войну, но медленнее и гораздо осторожнее.

Примерно к 1912 г., и не какой-нибудь легкомысленный Извольский, а русское правительство в целом, совершенно определенно начинает подготовлять вооруженное столкновение, и обстановку, которая бы дала возможность России начать войну, выступить. Это был знаменитый сербско-болгарский договор 1912 г. Надо вам сказать, что братья славяне, именуемые сербами и болгарами, ненавидят друг друга с такой остротой, как если бы одна нация была краснокожая, а другая черная. Это была большая победа русской дипломатии, что ей весной 1912 г. удалось состряпать сербско-болгарский союз. Удалось этого достигнуть только благодаря очень жирной приманке,—ни более, ни менее, как раздела Европейской Турции между Сербией и Болгарией. Это клюнуло, и, как сербы и болгары ни ненавидели друг друга, но, увидев, что при помощи России можно отнять и Македонию, и Фракию, они на это пошли, и союз был заключен. После долгих споров,—а Болгария и Сербия спорили из-за каждой турецкой деревни, и мирил их русский военный агент в Софии, полковник Романовский,—этот Романовский начертил границу между будущей Сербией и будущей Болгарией, и удовлетворил и Сербию и Болгарию. Таким образом договор был заключен. Когда этот договор увидел французский президент Пуанкаре, человек, достаточно умудренный опытом, он воскликнул: »это же орудие войны»! Совершенно ясно, что это был договор, который можно было осуществить только путем войны и притом, вероятнее всего войны не местной, а войны европейской. Это был договор о разделе Европейской Турции между Сербией и Болгарией. Ожидать, что Турция отдаст свои европейские владения даром, без выстрела, было совершенно невозможно. Словом, Пуанкаре совершенно правильно определил этот договор, и в своих лекциях о войне Пуанкаре всячески открещивается от этого договора, говорит, что ничего о нем не знал, говорит, что это было за его спиной, что он тут непричем. Ясно, что это вещь явно нереальная; ясно, что Пуанкаре все отлично знал, во все был посвящен, но признаваться в этом не хотел—таков был договор, определенный Пуанкаре совершенно правильно. Этот договор был заключен весной 1912 г. В сентябре этого года русский министр Сазонов был в Англии и там вел разговоры, которые я цитировал. Это было в сентябре 1912 г., а в октябре 1912 г. началась действительная война Болгарии, Сербии и Греции против Турции. По всем вероятиям, русский расчет был такой: турки, организованные немцами, разгромят сербов и болгар, в России сейчас же мобилизуется «общественное мнение»—сербов и болгар обижают, на помощь сербам и болгарам и т. д. Но вышло то, чего никто совершенно не предвидел: турки сразу были разбиты наголову, болгары чуть-чуть не оказались хозяевами Константинополя. Крест на святой Софии готовился водружать болгарский царь Фердинанд, заказавший уже себе и костюм византийского императора. Никто не ожидал, что так может повернуться дело.

В Петербурге были чрезвычайно недовольны и одно время даже болгарский национальный гимн «Шуми, Марица» был запрещен. Болгария оказалась победительницей. Словом, комбинация явно расстроилась. А Германия, увидев, как дело оборачивается, вмешиваться, конечно, не стала, тем более, что имеются известные основания предполагать, что Фердинанд, болгарский, действовал по указанию Германии и Австрии. Таким образом мировой войны из этого не получилось, но тем не менее положение получилось крайне напряженное для России, и за эту авантюру русский торговый капитал был наказан штрафом составляющим столько раз 30 млн. руб., сколько месяцев Дарданеллы были заперты из-за этой войны. Положение оказалось в достаточной степени глупым и в то же самое время крайне острым.

Болгария была, в конце концов, наказана, на нее спустили с цепи Румынию. Румыния не участвовала первоначально в драке, но когда драка кончилась, у Болгарии начались нелады с Сербией из-за дележа Македонии; они поссорились из-за добычи; Румыния вмешалась против Болгарии, и последняя была разгромлена. Естественно, возникал вопрос: что будет дальше? Из разговора Грея с Сазоновым можно видеть, что Англия готова была порвать с Германией, но в то же самое время она давала понять, что она не может вмешаться в войну, не имея достаточно солидных доводов для своего «общественного мнения». То же самое говорил и Пуанкаре. Пуанкаре тоже обнаруживал готовность поддерживать Россию. С этого он начал, когда в 1912 г. он стал министром иностранных дел. Но он тоже говорил: имейте в виду, что французское общественное мнение пойдет на войну только, если ему будут предъявлены серьезные основания. Так, зря, Францию в войну не втянешь. Тут демократический обман, при помощи которого управляют эти правительства, и английское и французское, создавал своеобразную обстановку. Нужно было что-то, чтобы всколыхнуть массы. Вот почему до 1914 г. и не удавалось эту войну инсценировать. В это время велись всякие переговоры. С одной стороны, была заключена русско-французская морская конвенция, но она была мало интересна, поскольку русско-французский союз был официальным, здесь интересна только одна оговорка в последней русско-французской военной конвенции, что выражение «оборонительная война» не следует рассматривать как оборонительные военные действия. Наоборот, русские и французы могут и должны со всей энергией напасть на противника. Конечно для всякого военного человека понятно,—это элементарная вещь, что противнику не нужно давать инициативы в руки, но нападать самому. Эта оговорка русско-французской военной конвенции интересна в том отношении, что она отразилась в одном любопытном документе, который нам придется в дальнейшем припомнить. Этот документ был заготовлен,— а по уверению немцев и разослан,—это было высочайшее повеление, гласившее, что объявление всеобщей мобилизации в России, в случае столкновения с Германией и Австрией, должно быть рассматриваемо

как приказание немедленно начать военные действия против Австрии и Германии. Только для начатия военных действий против Румынии требовался специальный приказ. Таким образом уже решено было действовать наступательно; повторяю, в это время Жоффр разговаривал с Сухомлиновым, что главная задача—раздавить Германию, а когда давить,—об этом скажет дипломатия.

Более любопытна русско-английская морская конвенция, переговоры о которой велись в 1913/14 г. Так как между Россией и Англией официального договора не было, то переговоры об этой конвенции тщательно скрывались, но, тем не менее, переговоры эти велись, хотя подписана конвенция ко времени объявления войны еще не была. Русское правительство собиралось настаивать, чтобы англичане заблаговременно сосредоточили достаточное количество английских грузовых пароходов в русских портах Балтийского моря для того, чтобы Россия могла предпринять высадку в Померании. Это любопытно потому, что все время все стояли на той точке зрения, что Германия напала, что она объявила войну, а между тем, за два месяца до войны понадобились английские пароходы, чтобы везти русских в Померанию. Суть этой конвенции заключалась в том, что английский флот в Северном море должен был оттягивать германский флот на Северное море, чтобы облегчить положение русского флота в Балтийском море. Это была основная деловая мысль, а вопрос о высадке в Померании—это было уже «увлечение». Эти переговоры велись весной 1914 г., до войны России с Германией, до «нападения» последней на первую.

Для нас совершенно неизвестно,—должен заранее признаться в своем невежестве,—каковы были мотивы, которые заставили союзников—Англию, Францию и Россию—вызвать войну летом 1914 г. Что они готовились к войне именно летом 1914 г. это подтверждается прежде всего кое-какими разоблачениями с английской стороны. Один английский офицер генерального штаба, работавший в то время в качестве переводчика, напечатал статью, где рассказывает, что ему пришлось переводить с французского языка на английский весной 1914 г. соглашение об условиях содержания английского десантного корпуса во Франции в случае войны, причем его поразил тот факт, что там был точно указан курс франка и курс фунта стерлингов. Вы, конечно, знаете, что курс денег—это вещь меняющаяся, и что было бы в высокой степени нелепо хотя бы за год или за два устанавливать такие расчеты. Ведь курс же измениться может. Но курс был высчитан точно тот, который был весной 1914 г. Таким образом войну предполагалось начать не позднее лета 1914 г. Но, повторяю, какие именно мотивы побудили выступить—это сказать трудно, поскольку мы имеем односторонний русский и отчасти сербский материал. Но что Россия выступила—это не подлежит в настоящее время никакому сомнению. Долгое время нам, кто искал причины войны, казалось загадочным убийство 28 июня 1914 г. наследника австрийского престола эрцгерцога (великого князя) Франца-Фердинанда. Оно было исходной точкой в той цепи событий, которые

развернулись в дальнейшем; результатом его был ультиматум, предъявленный Австрией Сербии, потому что убийцами были сербы, хотя убийство было произведено и не на сербской территории,— непринятие или неполное принятие этого ультиматума Сербией послужило поводом к объявлению Австрией войны Сербии. Россия вступилась за Сербию, и лавина покатилась. Казалось, в основе лежало случайное событие, и мы могли оперировать общим соображением, что, поскольку было напряженное положение, война могла возникнуть по самому незначительному поводу. Теперь мы знаем, что убийство Франца-Фердинанда вовсе не было случайностью, что оно было организовано из Белграда, причем в организации принимало участие, с одной стороны, сербское правительство во главе с премьером Пашичем, которому отлично были известны убийцы. Сербское правительство извлекало даже из этого своеобразное оправдание для себя, предупредив Франца-Фердинанда о готовящемся на него покушении, но не там, где и когда оно должно было совершиться. С другой стороны, тут участвовал русский военный агент и русский главный штаб. Внешняя связь событий была такова: Франц-Фердинанд уехал на маневры в Боснию. Босния—это сербская область, в настоящее время входящая в состав Югославии и лежащая на запад от Сербии. Русский главный штаб дал телеграмму, что маневры—это только ширма и что, на самом деле, под видом этих маневров подготовляется нападение австрийской армии на Сербию. Это известие страшно всполошило Сербию, и глава сербской разведки, Димитриевич, решил предупредить это несчастие самым странным образом, а именно—убить этого Франца-Фердинанда. Кажется, всякий, даже маленький ребенок в возрасте 7 лет может догадаться, что таким путем можно было только возбудить войну, а не предупредить ее, и что это было явным вызовом, брошенным в лицо Австрии. Но Димитриевич, человек, чрезвычайно умный и горячий сербский патриот (расстрелянный потом самими же сербами), вывел такое странное заключение, что нет другого способа предупредить войну между Австрией и Сербией как убить Франца-Фердинанда. В настоящее время совершенно определенно доказано, что никакого нападения на Сербию не подготовлялось, что маневры были направлены в сторону Италии, а не Сербии, что сам Франц-Фердинанд в то время был больше озабочен австро-итальянскими отношениями, нежели австро-сербскими. Словом, совершенно ясно, что телеграмма русского главного штаба, на которую ссылался Димитриевич, была тем, что называется провокацией.

Несколько сербских националистов отправляются в Сараево, столицу Боснии, и там убивают Франца-Фердинанда. Австрия на это реагировала ультиматумом Сербии, потому что, хотя она не знала всей этой связи вещей, но правильно догадывалась, что убийство подготовлено было на сербской территории. В результате Австрия нападает на «невинную» Сербию. Россия вступается за «невинную» Сербию и т. д. Недели за две до этого события мы имеем телеграмму из русского министерства иностранных дел в Сербию, где говорится

о согласии Николая II на приобретение Сербией 120 тысяч русских трехлинейных винтовок с соответствующим количеством патронов. Весьма любопытный факт. Еще никакого австрийского ультиматума не было, никто не нападал, сербы совершенно невинны, они ни о чем этом не думают, но как предусмотрительны: 120 тысяч винтовок. Потом, очевидно, Николай думал: вот какая удача, что 120 тысяч винтовок я во-время предложил. Словом, все это сшито настолько белыми нитками, что позвольте на этом больше не останавливаться.

Как и следовало ожидать, убийство Франца-Фердинанда расшевелило не только Австрию, но и Германию. Австрия выступила против Сербии, Россия выступила против Австрии, а Германия должна была выступить на защиту Австрии. Нужно сказать, что германский император Вильгельм вел себя в это время до необычайности глупо. Он был, видимо, страшно взбешен убийством его личного друга. Франц-Фердинанд был его личный друг, причем убийство было совершено не какими-нибудь анархистами, а сербскими националистами, и он в припадке рыцарства всячески начинает поддерживать Австрию и ее натиск на Сербию. Таким образом получается такая картина, что два огромных зверя—Германия и Австрия—лезут на несчастную, маленькую Сербию. В первое время в России думали, что уже этого достаточно, но когда поговорили с англичанами—те сказали: нет, это не возьмет, наше английское общественное мнение этим не заинтересуется. Нужно что-нибудь посерьезнее. Кабы на вас немцы напали—то другой разговор, а то это что ж, знаете, из этого ничего не выйдет. Таким образом с самого начала приходилось разжигать конфликт все шире.

Что это в Петербурге отчетливо сознавали, видно из двух фактов. Во-первых, из восклицания, которое вырвалось у Сазонова при первом известии об австрийском ультиматуме: «Это европейская война»! Ясно, что человек понимал, что это не местное столкновение, а начало мировой войны. Второй—еще лучше. Как только Австрия начинает грабеж Сербии, Россия в первую голову мобилизует, как вы думаете, что?—Балтийский флот. Вы географию, надеюсь, достаточно знаете и догадываетесь, что попасть в Балтийское море австрийцам возможности нет, а Балтийский флот был мобилизован. Ясно, что с самого этого момента готовилась война против Германии, и Германия так себя вела в первую минуту, что была надежда, что это случится само собою. Вильгельм, взбешенный убийством Франца-Фердинанда, лезет в бой, пишет самые настойчивые телеграммы, всячески поощряет Австрию и т. д. Но в то же самое время Вильгельм был убежден, что Англия не вмешается. Когда он,—это был замечательный день 28 июля,—узнал от своего посла в Лондоне, что Англия непременно вмешается в конфликт, если он примет большие размеры, он сразу дал задний ход. Германия вдруг становится необычайно миролюбива. Вильгельм обращается с письмом к Николаю за посредничеством, радуется, что Сербия хотя полуприняла ультиматум—и отлично, что хоть полуприняла—значит, войны не будет. Словом, внезапно Вильгельм

становится пацифистом, потому что война с Англией совсем не была для него приятным сюрпризом. Тут-то перед русским правительством, перед настоящим правительством, а не перед Николаем II, перед Сазоновым, Сухомлиновым и другими, возник вопрос, как бы устроить так, чтобы «европейская война», которой так нетерпеливо ждали, не лопнула, как мыльный пузырь. Тогда и решено было мобилизовать всю русскую армию. Немцам отлично было известно, что мобилизация всей русской армии означает открытие военных действий против Австрии и Германии; на такую вещь, как мобилизация всей русской армии, Германии нечем было ответить, как объявлением войны.

Оставалось теперь втянуть в войну союзников. Объявление войны Германией России для Франции было совершенно достаточно, поскольку она связана была с Россией формальным союзом: Франция вступила в войну против Германии. Но для Англии этого оказалось мало. Уверенность английского министра иностранных дел, сэра Эдуарда Грея, что войны Германии с Россией будет достаточно, чтобы втянуть Англию, эта уверенность оказалась ошибочной, и в самом английском кабинете возникли разногласия. Кабинет был смешанный: там были либералы и консерваторы, и либералы тоже трусили, как трусил Вильгельм, и заявляли, что на войну итти нельзя. И тут-то понадобилось знаменитое нарушение Германией бельгийского нейтралитета. Насколько это нарушение нейтралитета было «неожиданным выступлением коварных немцев», видно из того, что английский десантный корпус был предусмотрительно снабжен огромным количеством материалов для постройки мостов, переправ и т. д., т. е. имелось в виду действовать в стране болотистой, изрезанной каналами, иными словами,—в Западной Бельгии. Французские военные писатели задолго до войны доказывали, что немцам и негде больше итти, как через Бельгию, потому что германо-французская граница на $^2/_3$ заперта Вогезскими горами, а промежуток между этими горами и бельгийской границей, так называемая «Вогезская дыра», слишком узок, чтобы на нем можно было развернуть миллионную германскую армию, да и заперт французскою крепостью Верденом, которую немцы не могли взять и в 1916 г. Я вам привожу все это для того, чтобы показать на наглядном примере, как буржуазия инсценирует войну и как она к ней подготовляется. Все это, конечно, совершенно не было известно широкой публике. Широкая публика знала одно, что злые немцы объявили войну России, что злые немцы нарушили бельгийский нейтралитет и т. д. Таким образом приходится сказать, что Вильгельм был пойман в ловушку. Взбесившись до полной потери здравого смысла от убийства Франца-Фердинанда, вступив в коалицию с Австрией, Вильгельм поставил себя в такое положение, что ему ничего другого не оставалось, как объявить России войну[1].

Вот какова была связь фактов, определивших возникновение мировой империалистской войны. Ясно, что люди, которые эту войну постарались инсценировать, имели все основания добиваться

того, чтобы война как можно дольше не кончалась. Англия уже с самого начала решила вести войну до тех пор, пока Германия не будет совершенно раздавлена. И Китченер, английский главнокомандующий, с величайшим хладнокровием заявлял, что для этого англичанам понадобится не менее трех лет. Ну, что же, будем воевать три года, убьем десять миллионов народу и, в конце концов, немцев раздавим. Правда, что другой английский деятель, Ллойд-Джордж, выражался еще более цинично. Он говорил, что Англия будет воевать до последнего русского солдата. Этого, однако, ему не пришлось дождаться. Русский солдат ушел гораздо раньше, чем англичанам было угодно кончить войну.

Дипломатические интриги во время войны представляют большой интерес. Мир мог быть заключен уже в сентябре 1914 г. Уже в сентябре 1914 г., одержав блестящую победу над русскими в Восточной Пруссии и благополучно избежав полного разгрома на Марне, Вильгельм обратился к посредничеству американского президента Вильсона. Известие об этом произвело величайший переполох в Лондоне. Английский король призвал к себе русского посла Бенкендорфа и стал ему говорить, что нельзя нам говорить о мире не только с Америкой, но и между собой, ибо немцы могут об этом услыхать и сделать из этого соответственный вывод. Самое слово «мир» должно быть из словаря изгнано. Это было передано Николаю. Николай послал телеграмму, где значилось, что он согласен с каждой мыслью английского короля, и что он будет бороться до конца. Как вы знаете, слово он сдержал и до своего конца воевал. Почему англичане так действовали—это понять нетрудно, поскольку вы знаете, что английский конфликт был основным конфликтом войны и поскольку англичанам важно было доконать немцев. Но что руководило Николаем? Это чрезвычайно любопытная сторона, на которой следует остановиться. Россия воевала, как я говорил, за проливы—Босфор и Дарданеллы. Но проливы были юридически, официально в руках Турции, а Турция в сентябре 1914 г. еще не воевала, несмотря на всякие русские провокации. Начала же Турция с совершенно необычайного выступления—с того, что она предложила России свой союз. Это был момент величайшего смущения в «Петрограде», когда вместо известия, что мы воюем с Турцией, приходит от русского посла в Турции телеграмма, что Энвер паша, фактический глава турецкого кабинета, но и юридически главнокомандующий турецкой армией, заявил русскому военному атташе, генералу Леонтьеву, что Турция предлагает свои услуги России. Энвер был слишком хитрый человек, чтобы не понять, что Турции больше всего может достаться, тем более, что тогда еще Болгария не воевала, еще Сербия не была разгромлена. Значит, Турция была отрезана от Германии широкой полосой нейтральных или враждебных стран. Каким образом Германия придет на помощь Турции? Положение турок было критическое, и Энвер сделал из него по-своему гениальный вывод, решив стать на сторону России. Как ты тогда займешь проливы? В Петербурге эот тогда произвело настоя-

щую панику. Сначала Леонтьеву предложили тянуть разговоры, но Турция спешила. Энвер посвятил в свой план великого визиря, а великий визирь призвал к себе русского посла и нажимал на него. Тот соблазнился и телеграфировал начальству, что это единственный случай в истории раз навсегда закончить мирно, полюбовно наш спор с Турцией. В «Петрограде» бесились на непонятливость посла, но неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не помогли... немцы. Немцам, конечно, было желательно удержать на своей стороне Турцию и поэтому, узнав, что в Константинополе происходят такие своеобразные колебания, немцы поспешили послать на поддержку своей партии один броненосец и один крейсер. Это были «Гебен» и «Бреслау». С этими кораблями турки на море оказывались сильнее России, опасность войны с ней стала не так велика, и это решило вопрос в пользу немцев. Турция сначала перестала предлагать свой союз России— благо та ничего не отвечала на предложения,—потом заключила секретное соглашение с Германией, а в октябре месяце объявила войну России, т. е., в сущности говоря, объявили войну те же «Гебен» и «Бреслау», начав обстреливать русские порты, —но, так или иначе, Россия и Турция оказались в состоянии войны. И можно было официально поставить вопрос о проливах.

Вот вам образчик того, как велись переговоры во время войны и пример того, как мир мог бы быть заключен в сентябре, но он не был заключен, потому что все три основные конфликта, которые имелись налицо, не были разрешены. Я не буду рассказывать о дальнейших переговорах во время войны. Тут был целый ряд перекрестных переговоров. Но я расскажу только в заключение нынешней лекции, как, в конце концов, закрепила за собой юридически проливы Россия. Это было дело не такое простое, хотя англичане и втравили Россию в войну перспективой именно получения проливов. Ни одного писанного слова, которое гарантировало бы, что проливы действительно достанутся России, дано не было. Когда во время войны затеяли с англичанами переговоры на эту тему, они отмалчивались и, наконец, объявили буквально как дельфийская пифия, что «вопрос о проливах будет разрешен по окончании войны, согласно с интересами России». Что это значит? И вот пришлось России применять очень сложную дипломатическую комбинацию, для того чтобы постепенно вынудить у англичан письменное обещание, что по окончании войны проливы достанутся России. Для этого пришлось ни более, ни менее как инсценировать призрак русско-австрийского мира). Подробностей я вам рассказывать не буду. Но в конце 1914 г. по всем дипломатическим перекресткам Европы стали ходить слухи, что Австрия предлагает мир Сербии, а мир Австрии и Сербии заключал в себе мир Австрии с Россией, ибо Россия стала воевать с Австрией за Сербию. Таким образом коалиция центральных держав как будто бы разрывалась сторонниками выхода из войны. Болгария еще не воевала, Румыния была нейтральной. С выходом Австрии из войны Турция оставалась совершенно на жертву русским: от Германии она снова была бы наглухо отрезана, и Николаю, как будто ничего не стоило бы захва-

тить Константинополь. Англичане ответили на эту возможность попыткой захватить проливы и Константинополь раньше, чем русские туда придут. В марте 1915 г. они атаковали Дарданеллы, но прорыв английского флота не удался. И вот в этот-то момент, момент бешеной, но неудачной попытки Англии захватить проливы, Россия вынудила англичан дать со скрежетом зубов обещание, что по окончании войны Константинополь будет русским, причем в этом замечательном документе, меморандуме английского правительства, Константинополь был самым циничным образом обозначен как «богатейшая добыча всей войны». Таким образом из этой бумаги можно убедиться, что война велась не только в интересах «свободы и цивилизации», как объявлялось во всех газетах, но из-за каких-то добыч, самой богатой из которых являлся Константинополь.

Вы видите, что в арсенал дипломатического оружия царской России входила не только провокация, но и шантаж, и потом этот шантаж продолжался долго. Николай II был в непрерывной переписке с германскими родственниками своей жены через посредство последней. Эта переписка неоднократно упоминается в письмах к нему Александры Федоровны. Правда, самих писем мы не нашли, потому что Керенский дал Николаю возможность их уничтожить. Николай был настолько глуп, что записал это в своем дневнике. Из дневника Николая мы узнаем, что первые дни в Царском Селе после отречения были посвящены тому, что он разрывал и жег бумаги. Так он сжег письма Эрнеста Гессенского к Александре Федоровне, где имелись мирные предложения и многое другое. Но, будучи добрым семьянином и весьма любя свою жену, пожалел сжечь ее письма, откуда мы и узнаем о русско-германских переговорах или попытках их завязать.

В 1916 г. один такой случай стал известен: приятель Распутина и будущий министр, Протопопов, когда он ездил во Францию и в Англию в качестве члена делегации от Государственной думы, по дороге, в Стокгольме, имел свидание с германским агентом Варбургом, и это получило широкую огласку. Что после этого Протопопов стал министром внутренних дел,— а министром иностранных дел стал Штюрмер, которого считали чуть не прямо германским агентом,— это союзники должны были намотать себе на ус. Николай явно начинал становиться подозрителен—и это отразилось на отношении союзных послов к его падению. Последнее отнюдь не было для союзников неприятностью—неприятностью было образование Совета рабочих депутатов. Но я не собираюсь рассказывать здесь истории мартовской революции—я говорю обо всем этом лишь для того, чтобы вы получили ясное представление о нравах империалистических государств, и о том, что обман является не только излюбленным их оружием по отношению к народным массам, но что и друг друга они обманывают не хуже, чем массы. Отвратительный запах, который идет от буржуазных газет этой эпохи, кажется почти благовонием, когда вы развернете секретные дипломатические документы.

## ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ

Уже к концу 1916 г. становилось совершенно ясно, что войну вести Россия больше не может. В январе или, самое позднее, вначале февраля 1917 г. группа думцев, думских депутатов, во главе с знаменитым Родзянко, подала Николаю II записку, обрисовывавшую экономику России в тот момент. Эта замечательная записка опубликована нами. Она была найдена одной из слушательниц Института красной профессуры, Чаадаевой, и опубликована в «Красном архиве», но так как я имею основания полагать, что не все здесь присутствующие являются усердными читателями «Красного архива», то позвольте два отрывка из этой записки воспроизвести, причем я обращаю ваше внимание, что я воспроизвожу только отрывки, характеризующие положение, дающие наиболее яркую иллюстрацию этому положению, но вся записка состоит из ряда таких же фактов. Прежде всего по вопросу о продовольствии:

> «Разверстка, предпринятая министерством земледелия,—говорит Родзянко,—определенно не удалась. Вот цифры, характеризующие ход последней. Предполагалось разверстать 772 млн. пудов. Из них по 23 января было теоретически (заметьте,—теоретически) разверстано: 1) губернскими земствами 643 млн. пудов, т. е. на 129 млн. пудов меньше предположенного, 2) уездными земствами 228 млн. пудов и, наконец, 3) волостями только 4 млн. пудов».

Другими словами, не теоретически, а практически разверстано только 4 млн. пудов.

«Эти цифры свидетельствуют о полном крахе разверстки»,— кончает Родзянко совершенно правильно.

Товарищи, мы очень ругали наш Наркомпрод, который в обстановке гражданской войны, в обстановке интервенции, окружения нас всевозможными империалистическими гадами, ухитрился собрать только каких-нибудь 160—180 млн. пудов. И каких только анекдотов об этом Наркомпроде не рассказывали. Но вот посмотрите на это творчество николаевской России и на революционное творчество. Они без гражданской войны, окруженные не врагами, а друзьями, фактически собрали 4 млн., а мы, окруженные врагами со всех сторон и в обстановке гражданской войны, собрали 180 млн. пудов, и при

этом мы сами себя ругали и говорили: это чорт знает что такое; а там только в секретной переписке писали, что разверстка определенно не удалась.

Теперь дальше:

«В зимний сезон Москве (речь идет о Москве, потому что тут по городам записка рисует положение; я беру Москву, как наиболее яркий и наиболее близкий нам пример: ведь живем то мы в Москве) нужно ежедневно 475 тыс. пудов дров, 100 тыс. пудов каменного угля, 100 тыс. пудов нефтяных остатков и 15 тыс. пудов торфа. Между тем, в январе, до начала морозов, привозилось в Москву ежедневно в среднем по 430 тыс. пудов дров, 60 тыс. пудов каменного угля и 75 тыс. пудов нефти, так что недовоз, в переводе на дрова, составлял ежедневно 220 тыс. пудов; с 17 января прибытие дров в Москву упало до 300—400 вагонов в день, т. е. до половины нормы, установленной порайонным комитетом, а нефти и каменного угля почти совсем не поступало. Запасы топлива к зиме на фабриках и заводах в Москве были заготовлены примерно на 2-месячную потребность, но вследствие недовоза, начавшегося еще в ноябре, эти запасы свелись на-нет. Вследствие недостатка топлива, многие предприятия, даже работающие на оборону, уже остановились или скоро остановятся. Дома с центральным отоплением имеют топлива в размере всего 50%, а дровяные склады пусты. Городской газовый завод с 28 января сократил свою работу более чем на $^3/_4$, и газовое освещение улиц совершенно прекратилось».

Мы, сидя тогда за границей, не подозревали, что в начале 1917 г. газовые фонари в Москве уже не горели. Когда я приехал в Москву в августе 1917 г. и увидел такую картину, я думал, что это—результат революции, а оказывается, что это был вовсе не результат революции, а результат войны.

«Городской трамвай в ближайшие дни останавливает вечернее и ночное движение, и не исключена возможность полного прекращения. Городские лазареты закрываются один за другим. В квартирах обывателей редко температура поднимается выше 11—12° Р, а в домах с центральным отоплением падает до 10—9°. В учебных заведениях и многих учреждениях занятия крайне затруднены, так как термометр держится в их помещениях на 6—8°. В городе развилась масса заболеваний инфлуэнцией и воспалением легких, а на почве недоедания—желудочные и кишечные расстройства. Благодаря недостатку топлива,—сообщает общество заводчиков и фабрикантов московского промышленного района,—стоят фабрики: т-во Даниловской мануфактуры, т-во А. Гюбнер, ткацкая фабрика Бабищева, завод сельскохозяйственных машин Головина, суконная фабрика Жучковой, Подольский снарядный завод Земгора, ряд мукомольных мельниц; остановлено производство аэропланов на заводе акционерного общества «Дукс» (идет война, а производство аэропланов останавливается), остановлено производство малых моторов на заводе «Динамо», стоит Доктеровский химический завод: с 26 ноября остановлена работа литейных мастерских на Коломенских заводах, грозит полная остановка фабрикам Симонова, т-ва Гурьева, Склянина и бр. Карповых, дрожжевому заводу Гивартовского, снаряжательному заводу Второва, заводам бр. Бромлей, формалиновому заводу, Московскому вагоностроительному заводу, электрической станции Рыбинской городской управы, т-ву Трехгорной прохоровской мануфактуры. Грозит частичная остановка: Куваевской мануфактуре, механическим заводам т-ва Доброва и Набгольца, Люберецкому заводу сельскохозяйственных машин, Московским обозным мастерским, юфтевому заводу Савина, т-ву Московского металлического завода, Ростовской льняной мануфактуре, Московскому электролитическому заводу, механическому заводу Пелевина, заводу «Проводник», заводам Сормово, Тверскому вагоностроительному заводу, Тульскому меднопрокатному заводу, Тульскому оружейному заводу и целому ряду других.»

Длиннейшее поминание умерших или умирающих заводов, обслуживающих войну, военную промышленность. Такое положение было в начале 1917 г., до Февральской революции, приблизительно за месяц—за два до Февральской революции. Это что касается тыла. Теперь то, что касается фронта. Это по протоколу совещания главнокомандующих в ставке 17—18 декабря 1916 г.

> «*Генерал Рузский*... Рига и Двинск—несчастье Северного фронта, особенно Рига. Это два распропагандированных гнезда».
>
> «*Генерал Брусилов*: Действительно, 7 Сибирский корпус прибыл из Рижского района совершенно распропагандированным, люди отказывались итти в атаку; были случаи возмущения, одного ротного командира подняли на штыки, пришлось принять крутые меры, расстрелять несколько человек, переменить начальствующих лиц, и теперь корпус приводится в порядок».

Это было в декабре 1916 г., за четыре месяца до Февральской революции. Ленина еще не было в теперешнем Ленинграде, никакой большевистской пропаганды, о которой вопили разные Алексинские, не велось. Она велась, конечно, поскольку были большевики в подполье, но не велась открыто и не могла вестись, потому что существовал царский режим, и, тем не менее, вот какие настроения были в войсках.

Таким образом для всякого разумного человека уже в декабре 1916 г. и январе—феврале 1917 г. было ясно, что войну дольше вести нельзя, что для этого нет ни экономической возможности, нет ни настроения в армии. Настроение точно отражало эту экономическую невозможность вести войну, шло на мир. Вы догадываетесь, как при такой обстановке у так называемого прогрессивного блока, т. е. у империалистической русской буржуазии, с одной стороны, и у английского посла Бьюкенена, с другой, явилась мысль убрать царя, убрать неспособного, непопулярного Николая и особенно непопулярную Александру Федоровну и на место их посадить императора общественного доверия, Михаила. Вы знаете, что в этом направлении был сорганизован целый заговор, целый план дворцового переворота, который оборвала внезапно для этих людей вспыхнувшая Февральская (точнее «Мартовская») революция. Она вспыхнула внезапно только для этих людей, потому что даже царская охранка уже в январе доносила, что настроение очень напоминает то, какое было в начале 1905 г. Так что даже полицейские, имевшие известный опыт, сумели охарактеризовать положение соответствующим образом. Но прогрессивному блоку его замысел не удался, Милюков, по словам Палеолога, был совершенно растерян, и для него все это налетело чрезвычайно внезапно.

Рассказывать вам о Февральской революции я не буду, мои лекции посвящены не этому. Но спрашивается: какой же смысл имела Февральская революция в такой обстановке, и какие результаты она должна была дать? О смысле определенно говорит Суханов в своих записках о революции. Он говорит, что темой всех уличных митингов в начале марта был мир. Французский посол Палеолог, куда он ни

приходил, везде встречал заявления: война кончена. Война умерла, надо заключать мир. Война есть труп, и этот труп вам не удастся даже гальванизировать. И вот, к величайшему удовольствию Палеолога, он нашел, по крайней мере, гальванизатора трупа. Вы догадываетесь, что настроение Палеолога, французского посла, было довольно мрачное. Что же в самом деле,—война кончается, восточный фронт перестает существовать. Что же тогда делать? Как тогда с немцем драться? И вот Палеологу указали,—он прямо говорит: мне указали,—на одного многообещающего и энергичного молодого человека из среды советов. Палеолог по этому поводу высказывает такую сентенцию: теперь, говорит, можно настоящих людей отыскать только в советах. Значит, во Временном правительстве никакого настоящего человека не найдешь. А вот маленькая выдержка из воспоминаний *английского* посла Бьюкенена:

> «Керенский был единственным министром, личность которого, хотя и не вполне симпатичная, заключала в себе нечто останавливающее внимание и импонирующее. В качестве оратора он обладал гипнотизирующей силой, очаровывавшей аудиторию, и в первые дни революции он непрерывно старался сообщить рабочим и солдатам частицу своего собственного патриотического пыла... Благодаря своему уменью владеть массами, личному влиянию на товарищей по правительству и отсутствию сколько-нибудь способных соперников, Керенский был единственный человек, от которого мы могли ожидать, что он сумеет удержать Россию в войне».

Итак, многообещающим для Бьюкенена и Палеолога, т. е. для Антанты,—оказался именно А. Ф. Керенский. Это было еще в марте. Так что вы видите, что возвышение Керенского было не случайностью. Дело императора Михаила лопнуло, как мыльный пузырь. Когда он обратился к Родзянко с вопросом: можете ли вы мне гарантировать жизнь (скромность чрезвычайная для императора), то Родзянко отвечал, что он и этого гарантировать не может, после чего Михаил Александрович подписал свое отречение. Император лопнул, надо было выдвигать какую-то силу, которая действовала бы в том же направлении, т. е. продолжала бы войну. Эту силу обрели в лице Керенского. При поддержке его из-за кулис Антантой, Керенский начинает выдвигаться. Я не питаю ни малейшего сомнения насчет того, что Керенский был прекрасно осведомлен об этом. В самом деле, что это за сказочная красавица, от которой все английские и французские послы сходят с ума, а она этого не знает и ни на кого не обращает внимания. Это совершенно неправдоподобная вещь. Ясно, что Керенский, как человек очень честолюбивый, знал, какую роль он должен был играть, и роль эту играл с большой сноровкой, она ему нравилась, ему нравилось то, что ему выпадает роль «спасителя цивилизации и свободы». Вы ведь знаете, что война велась во имя спасения цивилизации, культуры, свободы и пр. У нас есть драгоценнейший документ, который я часто цитировал и который, связи ради, не могу не процитировать и здесь. Он характеризует сразу и значение Керенского, и значение мероприятий и наступлений, предпринятых Керенским в июне—июле месяце 1917 г., и положение армии на фронте тотчас после Февральской революции. Этот документ—письмо Керен-

ского к Ллойд-Джорджу. Вот, что писал ему Керенский накануне своего падения (письмо относится к началу октября 1917 г.):

> «Как бы трудно ни было положение России, с точки зрения общего дела, мы можем утверждать, что оно лучше, чем было прошлой весной. Тогда на нашем фронте установилось фактически состояние перемирия—результат пропаганды, «братания» и упадка военной дисциплины. Это положение тем больше внушало беспокойство, что немцы с ним считались, воздерживаясь от всяких военных действий на нашем фронте, в надежде использовать освобождающиеся таким путем военные силы против наших союзников. Признавая всю опасность положения, Временное правительство решилось положить ему конец во что бы то ни стало. Наше наступление, несмотря на успех вначале, кончилось неудачей. Тем не менее, его главная цель—положить конец состоянию перемирия и возобновить войну—должна рассматриваться как достигнутая ценою великих жертв».

Этот документ вскрывает не только причину наступления нашего летом 1917 г., но и весь смысл знаменитого коалиционного правительства Керенского. Это было правительство воскресения войны или, точнее говоря, это был гальванизатор трупа. Война умирает, она умерла в феврале 1917 г. Я принес с собою целый ряд выписок, характеризующих настроение армии в первые месяцы после революции в марте. Я нарочно взял данные, относящиеся к самому началу революции—к марту, самое позднее, началу апреля. К июню в Петербурге шла открытая большевистская пропаганда, издавалась «Окопная правда» и т. д., тут можно сказать, что это результат большевистской пропаганды, но в марте этого еще не было. В то же время, я нарочно беру данные, относящиеся к *фронту*: в тылу, далеко от германских пуль, настроение было несравненно более воинственным, и этот факт слегка сбивал с толку даже нас, большевиков. Многие принимали оборонческое настроение петроградского гарнизона, как нечто действительно реально существующее и выражающее настроение «армии». Вот вам маленькая иллюстрация к тому, насколько это оборонческое настроение было реальностью на факте. Это я беру из письма командующего 5-й армией генералу Рузскому. В этом письме говорится:

> «Они (фронтовые солдаты) заявляют, что те части в Петрограде и других городах России, которые ходят в манифестациях, кричат и вывешивают флаги «война до полной победы», должны быть поставлены в окопы и испытать на себе, как достигается победа, а нам, послужившим в окопах и на войне почти три года, стать на место тех».

Вот какая картина была на настоящем фронте. Там, говорят, в Петербурге пустяки, они ходят с красными флагами, а вот ты в окопах посиди.

Затем дальше:

> «В 3-й Туркестанской дивизии ходят по рукам листки следующего содержания». [Дальше следует листок, явно написанный солдатом. Никакой большевик не мог этого написать потому что этот листок совершенно безграмотен и гласит следующее]:
>
> «Братья, просили вас не подписываться которому закону хочут нас погубить, хочут делать наступление, не нужно ходить нет тех прав, что раньше было, газеты печатают, чтобы не было нигде наступление по фронту, нас хотят сгубить начальство. *Они изменники, наши враги внут-*

*ренние, они хотят опять, чтобы было по старому закону.* Вы хорошо знаете, что каждому генералу скостили жалованье, вот они и хочут сгубить нас, мы только выйдем до проволочных заграждений, нас тут вот побьют, нам все равно не прорвать фронт неприятеля, нас тут всех сгубят, я разведчик хорошо знаю, что у неприятеля, наставлено в десять рядов рогаток и наплетено заграждение и через 15 шагов пулемет от пулемета. Нам нечего наступать; пользы не будет: если пойдем, то перебьют, а потом некому будет держать фронт. Передайте, братья, и пишите сами это немедленно. С почтением писал лес».

Это относится к марту. Это идет речь не о том наступлении, которое повел Керенский в июне месяце, а это относительно проектов наступления еще в самом начале, в марте месяце. Можно подумать по этому поводу, что солдат был совершенно несознательный, ничего не понимал, все сводил к уменьшению генеральского жалованья и т. д. Но вот вы дальше из доклада членов Государственной думы, Янушкевича и Филоненко, которые ездили на фронт тоже в марте месяце, узнаете следующее:

«Серьезным вопросом для солдат является участие или неучастие в выборах в Учредительное собрание. Говорили: «За нас никто решать не может». Ставили вопрос: «Будем ли мы принимать участие» (интереснейший разговор между солдатами, которые, совершенно явно, вполне понимают значение Учредительного собрания, и этими членами Государственной думы, один из которых, Филоненко—эсер). «Мы на свой страх отвечали: «В той или другой форме, конечно, ваше слово будет сказано». Они заинтересовались, будет ли республика или монархия. Мы отвечали, что этот вопрос решит Учредительное собрание. *Я должен сказать откровенно, насколько я видел, настроение сплошь республиканское.* Спрашивали: арестован ли Романов со своей семьей. Как только сказали, что арестован, стали кричать «ура» и т. д.».

Любопытно очень, как настроение армии различно отражалось по чинам, так сказать:

«Затем всех волновал вопрос, останется ли главнокомандующим Николай Николаевич. Офицеры говорили: «Как можно удалять такого популярного человека? Что скажут войска?» Когда солдаты задавали нам этот вопрос,—газеты не приходили туда три дня,—то мы говорили им, в виде слуха, что вопрос этот решается. Они говорили: «Довольно с нас Романовых: нам не нужно великого князя, пусть будет кто угодно».

«Солдаты в речах постановили об удалении «всех баронов, фонов и прочих шпионов», а также офицеров, коим было выражено недоверие запасным батальоном в Царском селе».

Словом, настроение на фронте было, несмотря на безграмотность цитированного письма, которое являлось безграмотным технически, а не по существу, определенно республиканское и вполне сознательно антивоенное.

Дальше есть отрывок, говорящий, что кроме Учредительного собрания солдаты чрезвычайно заинтересовались и землей, конечно. И даже, как видно из ряда мест, они заинтересовались и Учредительным собранием, главным образом, в связи с землей. «Тут попалось много старых солдат, которые говорили: «А что же говорят про землю»? Вообще про землю очень часто говорили. Мы отвечали, что вопрос этот будет решен после Учредительного собрания: «И ты голос подашь, и я, а сейчас мы этого не можем решать. Но, во всяком

случае, земельный вопрос так или иначе, а решен будет». А один солдат говорит, «Что земля! если меня не будет, то мне и земли не надо».

Вы видите, что Керенскому приходилось попотеть, чтобы спасти войну, и что положение на фронте развивалось так, что мир становился все более и более неизбежным. Эти восемь месяцев, если брать их с точки зрения внешней политики, и были отчаянной борьбой кучки империалистов, и русских, и международных, стоявших за Керенским, которые тщетно поддерживали войну во что бы то ни стало,— и развитием самой русской революции, которая шла к миру. Поскольку эта революция как социальная революция в основе, хотя она в феврале носила еще буржуазный характер,—была революцией против империализма, она не могла не быть революцией против войны. Всюду в мире тогда, во всех воевавших странах, революционное настроение выражалось прежде всего в протестах против войны. Так было не только у нас, так было и в Германии, где произошло это знаменитое восстание в германском флоте, внушившее нам некоторые надежды, даже преждевременные, в связи с Брестским миром. Так было и во Франции именно весной 1917 г., когда целые дивизии бунтовались на фронте и их приходилось уводить. Французская цензура эти факты всячески скрывала, но после революции это стало известно, и все это шло под лозунгом: «долой войну, немедленно заключайте мир». Вот почему, товарищи, та партия, которая возглавила тогда революционное движение, имела под собой прочную базу. Одним из своих лозунгов имея лозунг мира, она отражала настроение широчайших масс, включая и весь фронт. Вот почему Ленин был совершенно прав, что нужно было как можно скорей сбросить правительство Керенского. Он уже в сентябре настаивал на необходимости выступления и низвержения Керенского; только колебания в рядах нашей партии и различные случайные обстоятельства оттянули революцию до конца октября. Опять-таки я не буду о самой революции рассказывать—это не входит в задачи моих лекций,—а я буду касаться только внешнеполитических последствий этой революции. Декрет о мире просто вытекал из всей сущности дела, и нам не приходится теперь ставить вопрос зачем, почему был издан декрет о мире и т. д. Приходится ставить другие вопросы: почему, во-первых, мир, как и сама социалистическая революция, остался местным русским явлением; почему, несмотря на то, что было повсеместное движение к миру, и в то же самое время революционное движение во Франции, Германии и т. д., мир в мировом масштабе не состоялся? И во-вторых, почему, несмотря на то, что, казалось бы, кроме лозунгов: мир, земля и т. д., у нас, у большевиков, в октябре 1917 г. ничего не было, не было никакой реальной силы, нам удалось реально заключить мир? Для того чтобы заключить мир, нужны две стороны. Недостаточно, чтобы одна сторона желала мира, чтобы он был заключен. Почему Германия пошла на мир?

Прежде всего, чтобы закончить этот час, я остановлюсь на том, какой же объективный смысл, с точки зрения международной поли-

тики и развития империалистской войны, имела вся эта возня с Керенским? Казалось бы, объяснение простое: старались продержать русский фронт, держать Россию в войне для того, чтобы продолжать войну. Это самое элементарное объяснение. Но если вы несколько детальнее всмотритесь в это дело, то увидите, что, в сущности говоря, союзники в 1917 г. Россию как серьезную боевую силу уже не рассматривали. В этом смысле мы имеем, во-первых, доклад одного агента Англии, агента Ллойд-Джорджа, в августе 1917 г. и кое-какие кусочки опять-таки из переписки Керенского. В этой переписке Керенский сообщает, что, как ему, в свою очередь, сообщают с фронта, много доставляется Англией бракованной артиллерии. Гаубицы, присылаемые из Англии, не выдерживают минимального числа выстрелов. Что это значит, когда союзника снабжают бракованным оружием, т. е. дают ему всякую заваль? —Это значит, что к этому союзнику серьезно не относятся. В Лондоне и Париже вовсе не были так глупы, чтобы верить, что Керенский действительно может возродить войну. Там превосходно понимали, что происходит гальванизация трупа. Зачем же нужно было гальванизировать труп?—А вот зачем. С февраля месяца 1917 г. Соединенные штаты разорвали дипломатические сношения с Германией. На военную сцену вступила колоссальная экономическая сила, ибо Соединенные штаты уже и тогда были самой богатой страной мира. Самое выступление Соединенных штатов объясняется, конечно, германской подводной блокадой, так как Соединенные штаты до сих пор жили тем, что они обслуживали войну, вся американская промышленность росла на военных заказах, то очевидно, что прекращение торговых сношений с Европой, в частности, с Англией, для них было чрезвычайно тяжелым ударом, и объявление подводной блокады было вызовом, который Германия бросила Соединенным штатам. Соединенные штаты приняли этот вызов,—и с замечательной меткостью, в марте 1917 г. как только совершилась русская революция, Соединенные штаты формально объявляют войну Германии. Как только выбывает один боец, так выступает другой. Но Соединенные штаты могли появиться на театре войны не раньше, как через год. Соединенные штаты, как и Англия, постоянной армии почти не имели. Им нужно было организовать и сформировать эту боевую силу. На это нужен был год. И, действительно, американская армия появилась на театре войны, и сыграла решающую роль именно летом 1918 г. Русский фронт нужно было поддержать до тех пор, пока на западном фронте появятся американские войска. Вот вам и секрет одновременно и гальванизации трупа войны в России, и тех бракованных пушек, которые посылала Англия в 1917 г.: пускай Россия уходит. Когда на сцене будут американцы, тогда восточный фронт нам не так важен, но до тех пор нужно продержаться во что бы то ни стало. Вот почему, когда у власти были большевики, американцы со свойственным им деловым цинизмом приходили к Николаю Васильевичу Крыленко, который был тогда главковерхом, и предлагали ему по сто рублей (не бумажных, а настоящих золотых рублей), по 50 долларов за каждого удержанного на фронте русского солдата, а так

как солдат было несколько миллионов, то вы догадываетесь, что сумма была довольно значительная. Крыленко не только не хотел этой операции, но, по правде сказать, и осуществить ее не мог бы, потому что армия разбредалась с фронта совершенно неудержимо. Вот вам подкладка всей этой истории, которая развертывается далеко за пределы местных русских событий. Во что бы то ни стало нужно было, чтобы восточный фронт продержался до прихода американцев, а он крахнул за шесть месяцев до этого прихода.

Брестский мир для нас, большевиков, интересен с двух сторон. Во-первых, с точки зрения той партийной борьбы, которая разыгралась около Брестского мира; а во-вторых, с точки зрения тех объективных условий, в которых мир был заключен. Я не буду касаться совершенно первой стороны, потому что она, что касается дискуссии внутри ЦК, достаточно освещена и изображена в приложениях к XV тому собрания сочинений Ленина, а сочинения Ленина у вас у всех на руках, и вы можете там об этом прочесть. Я остановлюсь исключительно на объективной стороне Брестского мира, которая, к сожалению, нигде до сих пор не изображена, и на которой приходится остановиться просто потому, что нет у вас в руках материалов, где бы эта сторона была дана в более или менее обозримом виде. Вот почему я начинаю изложение истории Брестского мира, смотря со стороны Германии и ее союзников. Что касается Германии, то, благодаря «гениально организованному голоду», как говорили в то время, она, сравнительно, лучше держалась. Тут ей много помогал захват двух сельскохозяйственных районов—Польши и Литвы, откуда Германия и получала хлеб, жиры, мясо и т. д. Благодаря этому, условия существования в Берлине все время были хотя очень тяжелые, но все же терпимые. Достаточно сказать, что обычный германский хлебный паек составлял 210 граммов, т. е. более половины фунта хорошего хлеба, и в самых крайних случаях падал до 170 граммов, тогда как у нас он падал до 120 граммов хлеба, перемешанного с соломой. Таким образом, как это ни курьезно, та страна, которая надеялась выморить немцев голодом,—ибо в начале войны господствовало мнение, что с первого января 1915 г. немцы начнут умирать с голоду,—эта страна начала голодать гораздо раньше самой Германии. Я могу говорить тут по собственным впечатлениям. Я помню хорошо, как в Вильне я получил обед лучше того, который в Петербурге и в Москве давали за десять рублей,—за три марки, т. е. за полтора целковых. Правда, это—около фронта, в самой Германии было хуже. Но надо прибавить, что немцы чрезвычайно умело организовали отправку продовольственных посылок с фронта. Солдаты этим путем подкармливали своих родственников; это поддерживало настроение внутри Германии и внушало известные надежды. Совершенно отчаянным было положение других союзников Германии, которые сорганизоваться не умели. По докладу австрийского генерал-интенданта еще в самом начале осени 1917 г., т. е. задолго до Октябрьской революции, Австрия могла прокормиться только до февраля—марта 1918 г., а дальше, говорил генерал-интендант, должен наступить настоящий голод, хлеба не

будет вовсе. Откуда-нибудь нужно будет достать,—он так прямо и говорил,—новый источник продовольствия. В таком же положении находилась и Турция. Константинополь голодал еще сильнее, нежели Вена. И вот оттуда, от союзников, еще до нашей Октябрьской революции, поднялся вопль, обращенный к германскому правительству и к германскому командованию: или добудьте нам где-то хлеба, или заключите мир, мы больше держаться не можем; при этом Австрия доходила до прямых угроз заключения сепаратного мира, выходила из войны. Вот что толкало на мир, по крайней мере, с Россией центральные европейские державы. Вот в чем секрет того, что едва мы успели усесться у власти, как немцы сейчас же охотно пошли на переговоры с нами сначала о перемирии, а потом о мире.

Но в этом лагере было два течения. Одно течение, это то, которое представляли австрийцы, вообще союзники, и к которому присоединялась значительная часть самой германской буржуазии. Это было течение за настоящий мир с Россией—настоящий мир, который даст настоящий хлеб, во первых; а во-вторых, даст настоящий хлопок для германской индустрии, даст настоящего покупателя для германской мануфактуры и т. д. Перед войной один крупный германский экономический деятель сказал одному французскому публицисту такую фразу: «Мы работаем для вывоза. Если мы перестанем вывозить—мы умрем». А между тем за время войны вывоз совершенно прекратился. И если военный рынок выручал металлургию и химическую промышленность, то, например, легкую индустрию и текстильную промышленность он выручал очень мало, так что в самой Германии была определенная группа буржуазии, германских капиталистов, которые стояли за мир. Но ей противостояла другая группа,—это как раз тяжелая индустрия, химическая промышленность и юнкерство, возглавлявшее все. Эта группа хотела не мира с Россией, а разгрома России, и считала, что этот разгром—сравнительно очень легкое дело. Во главе этой группы стоял теперешний германский президент, фельдмаршал Гинденбург, а за ним стоял фон Людендорф, самый талантливый из германских генералов империалистской войны, а его помощником являлся начальник штаба восточного фронта генерал Гофман. Последний служит характерным примером того, как не нужно отождествлять военную партию и юнкерскую партию. Гофман не юнкер, а буржуа—он вышел из буржуазной среды; он не фон Гофман, а просто Гофман. Гофман—чрезвычайно видная фигура во всей этой милитаристической группировке, которая стояла за разгром России. Отчасти этот круг руководствовался тем, что они видели разложение русского фронта и хотели это использовать. Вот как рисовал дело Людендорф:

«Чтобы воспрепятствовать самим большевикам образовать новый восточный фронт, мы должны были нанести короткий, но сильный, удар расположенным против нас русским войскам, который позволил бы нам при этом захватить большое количество военного снаряжения. Дальнейшее развитие операций на востоке не имелось в виду на ближайшее время. На Украине надо было подавлять большевизм и создать там такие условия, чтобы иметь возможность извлекать из нее военные выгоды и вывозить

хлеб и сырье. Для этого мы должны были углубиться в страну; другого выхода для нас не оставалось».

Я вам привел этот отрывок потому, что он чрезвычайно важен. Это вся программа Брестского мира, как он был заключен: и короткий удар, и захват Украины и т. д. Но Людендорф миром интересовался меньше всего. Ему нужно было ликвидировать восточный фронт, ликвидировать начисто, что я выразил иными словами: разгромить Россию. Что для этого нужно было?—Нужно было конечно воспользоваться, с военной точки зрения, тем разложением русской армии, которое происходило в эти месяцы, происходило стихийно, неудержимо: фронт таял, люди с фронта уходили. Надо было выжидать, пока этот процесс достигнет максимума, и тогда—этот короткий и сильный удар, который сразу заканчивает все. Когда начались переговоры в Бресте, перед нами и вырисовались эти две группы со всей ясностью. Мы совершенно определенно увидели группу «миролюбиво» настроенных германских промышленников, капиталистов, возглавляемых Кюльманом, тогдашним немецким министром иностранных дел, а рядом с ними—группу этих несчастных союзников, которые даже внешним видом производили весьма жалкое впечатление. Самостоятельнее других держались турки, упорно не желавшие, например, даже разговаривать на немецком языке—ради них, когда они участвовали, переговоры велись на традиционном французском. Но уже австрийцы, начиная с их главы, Чернина (австрийского министра иностранных дел), имели вид запуганный и взволнованный—а о болгарах лучше не говорить.

Это была одна группа, которая стояла за мир с нами, желала добиться его возможно скорее. И рядом с этим был генерал Гофман, который ударял кулаком по столу в нужную минуту и всегда ухитрялся найти такой ультиматум, который делал для нас подписание мира невозможным. Ясно было, что человек шел на срыв мира. Его планов мы не знали, но чувствовали, что Гофман хочет сорвать мир, что ему не нужен мир, а что ему нужно что-то другое. Как мы реагировали на все это? Тут нужно коснуться и нашей партийной политики. У нас внушил очень большие, несколько преждевременные, надежды бунт германских моряков осенью 1917 г. Из этого восстания германского флота мы вывели заключение, что Германия в буквальном смысле слова накануне революции,—а она действительно была накануне революции, но, к сожалению, не в буквальном смысле. Когда я приехал в Петербург к Троцкому, отправляясь на брестские переговоры (меня и т. Павловича высылали дополнительно, когда Иоффе, Каменев и другие уже были там), первое, чем он меня встретил, был рассказ о будто бы только что происшедшем грандиозном восстании у немцев: 30 тысяч солдат взбунтовались и укрепились где-то между Гродно и Белостоком, и с фронта сняли несколько дивизий, чтобы ликвидировать восстание. В чем должна быть наша тактика?—Тянуть, пока германская армия окончательно разложится, пока в Берлине вспыхнет восстание рабочих, затем заключить не мир, а братский союз с германским советом народных комиссаров, с Карлом Либ-

кнехтом во главе. Вот какая рисовалась картина. Ленин однажды, под сердитую руку, назвал эти рассуждения революционной фразой, но, конечно, это было в сердцах сказано: кое-какие основания были для этого. Помимо восстания в германском флоте, нужно учесть тут и движение, которое произошло в январе в Берлине и Вене,—рабочее движение, которое в Вене дошло до образования Совета рабочих депутатов, а в Берлине картина была такая, что приезжавшие из Германии рассказывали о поваленных вагонах трамвая, из которых были сделаны баррикады, и говорили, что ничего подобного Берлин не видел никогда. Действительная ошибка Троцкого состояла в том, что он думал, что там началось, а на самом деле там только начиналось.

Словом, употребляя выражение Плеханова, правда, по другому поводу, можно сказать, что второй месяц беременности приняли за девятый и, благодаря этой ошибке, оказались на одном пути с Людендорфом. Тому нужно было тянуть, пока разложится русский фронт, который, к сожалению, действительно разлагался, и очень быстро, а нам нужно было, чтобы разложился германский фронт, который разлагался гораздо медленнее. Мы это сами видели, когда ехали в Брест. У нас были брошенные окопы, разрушенные землянки и кучи солдат, уходивших с фронта. Нам они встречались на всем протяжении чуть не целыми полками,—по тысяче человек сразу. На германской же стороне все было в порядке: часовые на местах, окопы великолепно содержатся, никакого разложения нет. Нет сомнения, что сочувствие к революции уже завладело и германским солдатом. Тов. Сокольников упоминает, как один немецкий солдат хотел уехать вместе с русской делегацией. Германские часовые относились к нам с явной симпатией: позволяли разговаривать с русскими пленными и предостерегали, когда приближался германский офицер. На нашей квартире нас обслуживала немецкая прислуга, и разговоры, которые с нами вели наши германские денщики, действительно показывали, что в Германии «начинается», ибо ясно было как они ненавидят свое офицерство и чиновничество, ненавидят кайзера. Они желали нам всяческого успеха, и один из них, прощаясь с нами, говорил, что надеется нас увидеть в красном Берлине, в революционном Берлине. Но все это только начиналось и основываться на этом было неосторожно.

И вот на этом нашем недоразумении немцы начинают играть. В основе их игры лежало разложение русского фронта,—поэтому нам заключать мир нужно было возможно скорее: ибо 1 декабря мы имели на фронте больше реальных штыков, чем 1 января, а 1 января—больше, чем 1 февраля, а что к 1 марта осталось—я и изобразить не могу—фронт был почти совершенно пустой. А. А. Самойло, который брал потом Архангельск у белых, а тогда был главою нашей военной миссии в Бресте, говорил мне, что на фронте стояло 2 тыс. орудий без всякого прикрытия. Вот почему, если правильно указание одного товарища,—он не подкрепляет это никакими документами,—Ленин еще в конце ноября перед фракцией большевиков в Совнаркоме (вы помните, что Совнарком был тогда неоднороден; там были большевики,

были и левые эсеры),—перед большевистской фракцией Совнаркома настаивал на немедленном заключении мира. Я повторяю—это никакими документами не закреплено. Но, во всяком случае, если Ленин уже в конце ноября настаивал на заключении мира, как можно скорее, он был совершенно прав, ибо чем раньше мы заключили бы мир, тем менее он был бы для нас тяжелым.

Опасение и беспокойство, что с этой стороны не все благополучно, у меня появилось при первом моем появлении в Бресте в самом начале декабря. Тот немецкий офицер, который должен был меня и Павловича провожать в Брест, сказал: «а я только что провожал представителя Украины, который тоже ехал в Брест». От представителя Украины уже дурно пахло: мы тогда были в войне с украинским правительством. Одновременно с известием о восстании в германской армии я услыхал от Троцкого и другую новость: «вчера мы предъявили ультиматум Раде»,—сказал он мне. И вот оказалось, что когда я ехал в Брест, в это же время представитель Украинской рады тоже едет в Брест. От этого пахло совершенно определенно, но в то время в декабре, еще партия Кюльмана была достаточно сильна. Нам тогда предлагали самые выгодные условия. Во-первых, воображая, что мы—лицемеры и болтуны, что мы сами не верим ни в какие наши коммунистические фразы,—нам предъявили декларацию, наполненную громкими словами о самоопределении народов, свободе морей и тому подобных вещах—самую антиимпериалистическую декларацию, какую можно придумать. Когда мы получили эту немецкую декларацию,—мы просто не знали, что думать, что с ними случилось? Потом, на другой день, это объяснилось, потому что на другой день, с типичной грубостью и торопливостью людей, которые действуют в обстановке военного времени и спешат, Кюльман поставил вопрос о ввозе и вывозе, о таможенных условиях и т. д. Ясно было, что декларация была одной «словесностью», а что суть заключалась в том, чтобы возобновить торговые сношения с Россией, удовлетворить ту группу капиталистов, которая нуждалась в сбыте своей продукции, добыть сырья, хлопка, нефти и пр. В этом было все дело. Но нам нужны были вовсе не фразы—нам нужны были факты. Вы говорите о самоопределении национальностей? Хорошо. Когда же вы очищаете Польшу, Литву, Латвию и прочие территории, которые вы заняли, чтобы живущие на них национальности могли самоопределиться? И тут выступил Гофман. Когда один из членов нашей военной миссии спросил его за обедом, как скоро немцы очистят первую зону, и какое пространство они намерены очистить в качестве такой зоны,—обычный военный вопрос,—то на вопрос, какое пространство они очистят, Гофман ответил: «Ни одного миллиметра». Наш военный уполномоченный пришел к нам и передал нам слова Гофмана. Мы, разумеется, как с неба свалились: после всех прекрасных слов, после декларации, разговоров о торговле—что же это значит? После обеда, рядом со столовой, собралась неофициальная, но, пожалуй, самая важная конференция: Кюльман, Чернин и Гофман, а с другой стороны наша делегация. Мы стали спрашивать,—как это понять? Есть декларация,

мы говорим о торговле и о совершенно мирных вещах, а немцы ни одного миллиметра территории не собираются очищать. Гофман объяснил: территория будет очищена после окончания общей войны и после заключения общего мира. А когда будет заключен общий мир и окончена война,—никому не известно. Пока же идет война, мы очистить территорий не можем—у нас тут и фабрики военные, и продовольствие мы отсюда получаем. Что же вы хотите, чтобы мы это все бросили? С чисто военной точки зрения, надо сознаться, все это было довольно разумно. Гофман был по-своему прав. Тут мы поняли, что мы попали в самую дурацкую ловушку. Что же мы скажем нашим полякам, литовцам,—в нашей делегации они были хотя и неофициально,—что мы скажем полякам, литовцам, в особенности нашим латышам, вернейшим союзникам, таким энергичным деятелям нашей революции, что мы им скажем? Что-де, вот мы заключили мир без всякого вашего самоопределения, оставив вас на жертву немцам. Тогда они плюнут нам в лицо и скажут: какой же это мир, на что нам нужен такой мир?

Кюльман, а в особенности Чернин, были этим обстоятельством чрезвычайно смущены и, видимо, старались как-то наладить дело, но Гофман, за которым стояло все германское главнокомандование с его огромным политическим весом, был неумолим и стоял на своем.

Разрыв переговоров получился сам собою, безо всяких усилий с нашей стороны. Мы сказали, что мы никаких уступок в этом отношении сделать не можем, и с этим вернулись в Петербург.

Затем наступил промежуток. Надо сказать, что мы смотрели на переговоры в Бресте как на переговоры предварительные и настаивали, чтобы окончательные переговоры велись на нейтральной территории. Мы предлагали Стокгольм. Из дневника Чернина видно, до какой степени это предложение о Стокгольме было неприятно нашим противникам:

> «Перенесение конференции в Стокгольм было бы для нас концом всего, потому что оно лишило бы нас возможности держать большевиков всего мира вдалеке от нее. Таким образом, стало бы неизбежно именно то, чему мы с самого начала и изо всех сил старались воспрепятствовать: поводья оказались бы вырванными из наших рук, и верховодство делами перешло бы к этим элементам. Теперь нужно выждать, что принесет завтрашний день: или победу, или окончательный разрыв переговоров».

Таким образом совершенно ясно, что мы очень метко выбрали, с точки зрения дипломатической игры, Стокгольм как базу для переговоров, где мы могли бы надавить в сторону революции и против империализма. Первая наша неудача заключалась в том, что на Стокгольме нам настоять не удалось. Как только прошел срок, который мы назначали для перерыва, в Петербург пришла телеграмма, спрашивающая, когда мы приезжаем в Брест. Мы совсем не хотели выезжать в Брест и поэтому мы долго обсуждали вопрос, ехать нам в Брест или нет. Я привожу это как факт. Я не берусь этого оценивать, сделали мы ошибку или нет, что поехали вторично в Брест, но я не могу не прочесть отрывка, рисующего настроение наших противников перед возобновлением брестских переговоров. Вот как рисует его в своем дневнике Чернин.

«Настроение как у нас, так и у германцев, весьма подавленное. Нет сомнения, что если русские решительно прервут переговоры, положение станет весьма тягостным. Единственный выход из положения заключается в быстрых и энергичных переговорах с украинской депутацией, и мы поэтому приступили к делу в тот же день. И так, у нас есть надежда, что мы придем к желанному результату, по крайней мере, в этих переговорах.

Вечером после ужина пришла телеграмма из Петербурга, сообщающая о предстоящем прибытии делегации вместе с министром иностранных дел Троцким. Было занимательно наблюдать, с каким восторгом это известие было встречено немцами; лишь внезапное и бурное веселье, охватившее всех, показало, какой над ними висел гнет, как сильно было опасение, что русские не вернутся. Нет сомнения, что это знаменует собою большой успех, и у нас у всех чувство, что сейчас мир фактически на пути к осуществлению».

Я не знаю, повторяю, можно ли было поступить иначе или нет. Это всецело зависело от положения нашего фронта. Конечно, если бы мы не поехали, а у нас на фронте оказалось бы, что драться совершенно некому, то это, действительно, была бы только фраза и пустая угроза. Для этого нам нужно было очень точно знать положение вещей на нашем фронте в то время, в конце декабря 1917 г. и в начале января 1918 г. Я прочитал этот отрывок для того, чтобы показать, до какой степени важна была наша первая неудача, что мы отказались от Стокгольма и поехали в Брест. Это отразилось сразу и чисто внешним образом. Когда мы в первый раз были в Бресте в декабре, нас принимали с необычайной внешней предупредительностью и наш «хозяин» главнокомандующий восточного германского фронта принц Леопольд Баварский, бывший друг Александра II, говорил о «могущественной русской республике» таким тоном, как будто он действительно имел дело с могущественной державой, могущей разговаривать с Германией на равной ноге. А о т. Каменеве Леопольд не без почтительности осведомлялся, правда ли, что это зять «самого» т. Троцкого? Для него этот факт, что Каменев—зять Троцкого, играл большую роль. Это была главная фигура. Теперь в январе в Брест приехал не зять Троцкого, а сам Троцкий, но тем не менее прием был холоднее, по крайней мере, на 20 градусов; на нас совсем не обращали внимания, с нами почти не разговаривали. Что-то явно переменилось. Что переменилось—это можно было видеть воочию. Там сидел не один украинец, а сидела целая украинская делегация. Эти петлюровцы (хотя тогда еще Петлюры не было, но их приходится называть петлюровцами), эта петлюровская делегация была совершенно серенькая, но, тем не менее, она была явным образом в центре внимания немцев, с ней велись все переговоры. При помощи нее немцы надеялись получить легальный титул на ограбление России. А с нами они просто тянули. Отлично,—рассуждали они,—мы тянем, а русский фронт тем временем разлагается. Мы фактически прервали переговоры с немцами, и нас чрезвычайно мало тревожили. Я, помню, вел очень гигиенический образ жизни, гулял целыми часами в окрестностях Бреста. Словом, это были чрезвычайно своеобразные и грустные каникулы. Чтобы подействовать на наше настроение, Гофман и К-о не стеснялись прибегать к довольно грубым эффектам. В один прекрас-

ный день мы были разбужены ураганным огнем, как нам показалось. Что это такое? Говорят, артиллерия стреляет. Настроение у всех нервное, напряженное. Что же, это военные действия что ли открываются? Потом я во время своих прогулок набрел на секрет этого эффекта. Оказывается, что на одном островке реки Буга немецкие солдаты упражнялись в бросании ручных гранат. Можно, вероятно, было бросать и не начиненные гранаты или гранаты, не производящие такого грохота. Это был явный немецкий трюк, рассчитанный на то, чтобы подергать наши нервы.

Наконец, когда мир с Украиной был подписан (надо сказать, что Украинская рада тогда владычествовала только над одним уездом Волынской губернии), нам немедленно был предъявлен ультиматум, которого с нетерпением ждал Людендорф. Мирная партия, с Кюльманом во главе, и в эту минуту шла на максимальные уступки. Нам, например, предлагали в «сопользование» все гавани Балтийского моря—Ригу, Либаву и Виндаву. Мы могли там построить свои склады для товаров и везти потом эти товары прямо в Россию без таможенного досмотра и т. д. Это была крупная и для нас выгодная уступка. Вы знаете, что потом за доступ к Ревельскому порту (а о нем тогда и спору не было, Эстония еще была прочно в наших руках) нам пришлось заплатить библиотекой Юрьевского университета; получить доступ в Ригу стоило тоже порядочных расходов, а тогда это предлагалось даром. Но подписать империалистический мир и на этих условиях мы не могли, так что все эти предложения ни к чему не привели, и мы, в, конце концов, согласно директиве, данной ЦК, оставили немцам заявление, где излагали, что войну прекращаем, армию демобилизуем, но империалистского договора с Германией не подписываем. Тогда нам рисовалось, что мы сделали какой-то необычайно красивый жест, что из этого что-то выйдет. В значительной степени нас вводили в заблуждение и выступления германской «миролюбивой» партии, с Кюльманом во главе. На наш вопрос, не нападет ли Германия после этой декларации на нас, следовал гордый ответ: «Мы не разбойники». Кригге, глава немецкой экономической делегации, приходил к Иоффе, вел с ним переговоры насчет будущего плана торговых сношений и т. д. Первое неприятное ощущение мы испытали, когда мы, по приезде в Петербург, узнали, что Мирбах—глава германской делегации по обмену пленных—получил приказание экстренно выехать из Петербурга и уехать в Германию. От этого пахло дурно. А через несколько дней Германия предъявила ультиматум, и, не дожидаясь ответа, начала военные действия. Немцы захватили Двинск, Псков. Это тот короткий и сильный удар, о котором говорит в своих мемуарах Людендорф. Война кончается, но не так, как хотелось нам, и даже не так, как хотелось мирно настроенной партии в Германии, а так как хотелось военной партии. Все те две тысячи орудий, которые оставались без прикрытия, достались в руки немцев. Этих военных припасов было такое огромное количество, что немцы их использовать не успели, и после германской революции значительная часть их попала снова в наши руки.

Так или иначе, мир мы должны были заключить. Ленин был совершенно прав, но мы заключили мир во много раз более тяжелый, чем могли бы заключить до того. Сейчас положение было такое, что граница подошла к самой столице, тогдашнему Петербургу, столицу пришлось переносить в Москву и т. д. Словом, наше стратегическое положение чрезвычайно ухудшилось. Так вышли мы из войны, вышли, как видите, благодаря в значительной степени нашей дипломатической неопытности, хуже, чем могли бы выйти. Мы вышли из войны с Германией, но не вышли из войны вообще, потому что вслед за этой войной началась в разных формах интервенция. О ней—в следующий раз.

## ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Интервенцию можно разделить на две большие главы, первую из которых можно назвать попытками возрождения восточного фронта, а вторую—борьбой с большевизмом. Собственно, совершенно отчетливо борьба с большевизмом, как задача, ставится Антантой—Англией, Францией, Америкой и т. д., только в этот второй период. Причиной тут была, как вы увидите, германская революция. В первый период дело идет о восстановлении восточного фронта, который был, как вы помните, необходим уже с той точки зрения, что американская армия еще не поспела, ее ждали к весне 1918 г.; фактически она появилась на сцене только к июлю 1918 г., и нужно было задержать возможно большие массы германских и австрийских войск в России, чтобы они не были переброшены на западный фронт. Вы увидите из моего дальнейшего изложения, что тут был стратегически совершенно правильный расчет. На большевизм Антанта (это слово «Антанта» я не объяснял, думая, что оно большинству из вас известно: так назывался союз Англии, Франции и одно время России, так называемое тройственное согласие—«Triple Entente»,—я его описывал,—образовавшееся примерно около 1907 г. и державшееся до 1917 г., когда из Антанты вывалилась Россия, так что в Антанте остались Англия и Франция с их союзниками) смотрела, как на явление местное,—это русская болезнь,—совершенно так, как у нас говорят о «французской болезни», поэтому обращать на это внимание не стоит. Большевиками могут быть только русские. Большевизм—не заразителен. Другие народы по отношению к нему иммунизированы. Правда, с самого начала так не смотрели немцы, которые принимали меры против заразы. Но может быть русская болезнь передается немцам, а другим народам—французам и англичанам она не опасна.

Особенно же считали себя иммунизированными от этой болезни американцы. Позиция Соединенных штатов по отношению к русским и русской революции была иной, чем позиция Антанты. Соединенные штаты стояли на более широкой точке зрения и смотрели вперед гораздо более далеко. Они имели в виду не непосредственное участие только России в войне, но и возможность эксплоатации ее в будущем

как арены для помещения американского капитала. В связи с этим первая глава интервенции, которую я назвал попыткой восстановления восточного фронта, в свою очередь, распадается на два отдела, из них первый отдел может носить название, которое, конечно, вас удивит,—попытки восстановить восточный фронт в союзе с большевиками, а второй отдел—это попытка восстановить восточный фронт против большевиков, несмотря на большевиков и, значит, свергая их в случае надобности. Первый отдел, собственно, имеет интерес наиболее археологический, наиболее мимолетный, но он наименее известен, поэтому о нем стоит сказать два слова.

Я вам сказал, что американцы не связывали своей судьбы с Керенским. Керенский пал, а американцы остались и, «ничто же сумняшеся», возобновили переговоры с Лениным. Американский полковник Робинс, представитель американского Красного креста, вел эти переговоры в течение всей зимы 1917/18 г. К марту 1918 г. дело дошло уже до письменных документов в плоскости этих переговоров. Надо сказать, что хотя Ильич стоял все время за заключение мира, но Ильич, во-первых, никогда не был пацифистом, никогда не был противником войны в духе буржуазных американских романистов, которые думают, что можно искусственными мерами помешать людям воевать. Ильич никогда на этой точке зрения не стоял; а во-вторых, он нисколько не обманывался насчет характера того мира, который он вынужден был заключить.

Благодаря огромному запозданию,—потому что следовали не политике Ильича, а другой политике,—условия мира страшно ухудшились. В декабре мы могли заключить мир, сохранив советскую Эстонию, советскую Финляндию, не платя ни копейки контрибуции, потому что в декабре немцы стояли на такой позиции, что взаимные претензии погашаются; а в марте мы потеряли советскую Эстонию, которая была занята немецкими войсками; мы потеряли советскую Финляндию, которая была занята немецкими войсками; мы потеряли Украину, которая, за исключением одного уезда, перед этим уже была занята вся Красной гвардией, будущей Красной армией,—она была вся уже большевистской; потеряли Донбасс, криворожскую руду и т. д. Это был, объективно рассуждая, один из самых тяжелых миров, какие когда-либо заключала какая бы то ни было страна. И Ленин не скрывал этого ни от себя, ни от других. Он так и называл этот мир похабным; сравнивал этот мир, заключение этого мира с прохождением через чрезвычайно грязный хлев. Но, поскольку не было уже у нас никакого фронта, наша армия совершенно разложилась, мы должны были принимать какие угодно условия. Людендорф тут хорошо сыграл. Он довел до такого момента, когда на фронте у нас ничего не было и сопротивляться было нечем.

Совершенно естественно, что Ленин при этих условиях искал, на кого бы можно было опереться, чтобы от этого немецкого хищничества как-нибудь оборониться; кроме того, немцы—империалистические немцы—уже показали, что они способны на чисто разбойничьи, по их собственному определению, поступки, что от них можно ожи-

дать какого угодно обмана. В этой связи надо понимать тот документ, который я вам прочитаю.

«В случае, если Всероссийский съезд советов откажется ратифицировать мир с Германией, или, если германское правительство, нарушив мирный договор, возобновит наступление с целью продолжать свой грабительский набег, или, если советское правительство вынуждено будет действиями Германии отказаться от мирного договора, до или после его ратификации, и возобновить военные действия, во всех этих случаях для военных и политических планов советской власти чрезвычайно важно получить ответ на следующие вопросы:

1. Может ли советское правительство рассчитывать на поддержку Соединенных штатов Северной Америки, Великобритании и Франции в его борьбе против Германии?

2. Какого рода поддержка может быть оказана в ближайшем будущем и на каких условиях—военным снаряжением, средствами транспорта, субсидиями, съестными припасами?

3. Какого рода поддержка может быть оказана в частности и специально Соединенными штатами?

Если бы Япония—в силу открытого или молчаливого соглашения с Германией, или без такого соглашения—попыталась захватить Владивосток и Восточно-китайскую дорогу, что угрожало бы отрезать Россию от Тихого океана и серьезно помешало бы сосредоточению советских войск в Уральской области,—в таком случае, какие шаги будут предприняты другими союзниками, в частности специально Соединенными штатами, для предупреждения японской высадки на Дальнем Востоке и для обеспечения непосредственных сношений с Россией по Сибирской дороге?

По мнению Соединенных штатов, в каких размерах—при вышеупомянутых обстоятельствах—могла бы быть обеспечена помощь от Великобритании через Мурман и Архангельск? Какие шаги могло бы предпринять правительство Великобритании, чтобы обеспечить эту свою помощь и лишить основания слухи о якобы враждебных планах Великобритании против России в ближайшем будущем»?

Такого рода вопросник был передан Робинсу, представителю американского Красного креста в Ленинграде, тогдашнем Петербурге, и должен был быть Робинсом послан президенту Вильсону, который должен был на это дать точный и ясный ответ. Причем Ленин, будто бы—я подчеркиваю «будто бы»: это мы знаем только от Робинса,—обещался не ратифицировать Брестского договора до получения этого ответа, но при этом, конечно, поставил определенный срок, в течение которого ответ должен был быть дан. Робинс рассказывает в своих воспоминаниях, что Ленин будто бы до самого созыва IV съезда советов спрашивал его, есть ответ или нет. Робинс никакого формального ответа не получил, но когда открывался IV съезд советов, то мы все и вы, вероятно, с явным изумлением прочитали в газетах приветственную речь Вильсона по адресу этого IV Всеросийского съезда советов, речь довольно благожелательную. Тогда мы не поняли, что это значит, но Вильсон потом объяснял, что речь была ответом именно на эти вопросы и ответом благоприятным. Значит, не связывая себя никакими документами, он как будто бы обещал России поддержку. У нас нет такого лицемерия в крови, мы не поняли такого ответа и, я помню, над бедным Вильсоном просто поиздевались. Как это так Вильсон, глава империалистического правительства, и вдруг стал

отпускать комплименты по адресу большевиков? А Вильсон это истолковывал так, что это был благоприятный ответ на вопросы, поставленные Робинсу. Поскольку «тупоголовые большевики» этого не поняли,—вы знаете, что на IV съезде советов мы ратифицировали Брестский мир, и всякие попытки возрождения восточного фронта в союзе с большевиками могли считаться провалившимися.

Этот документ опубликован Робинсом за границей, так что за текст его я полного ручательства не могу дать, но факт самих переговоров есть факт несомненный. Во-первых, я знаю это из слов Владимира Ильича, который в одном разговоре со мной об этом упоминал, а во-вторых — от американцев, которые не понимали наших внутрипартийных отношений и, ослепленные тогдашним моим высоким званием председателя Московского совета, ходили ко мне много раз и разговаривали даже о деталях этой помощи, что они привезут и т. д. Так что, в сущности, они ответ давали, но ответ давали, опять-таки, в частных разговорах, притом неофициального американского агента, а нам нужен был ответ от американского правительства, от Вильсона, и этого формального ответа мы не получили.

Но хотя, таким образом, возрождение восточного фронта в союзе с большевиками лопнуло, сама задача возрождения восточного фронта осталась перед Антантой и Соединенными штатами, и даже в это время обострилась. Как раз весной 1918 г., с марта по май, немцы, освободившись от восточного фронта, предпринимают грандиозное наступление на фронте западном и достигают успехов, каких они не имели с 1914 г. Английская армия была разбита совершенно; она потеряла 200 тыс. пленных и $2^1/_2$ тыс. орудий. Это был полный разгром. Франция была накануне полного разгрома. В направлении к Ламаншу немцы подвинулись на 65 километров. В то время продвижение на 5 километров считалось громадным успехом, а они продвинулись на 65 километров. Они едва не захватили Амьен, который являлся точкой связи между английским и французским фронтами. Если бы они его захватили, то английская армия не только была бы разбита,—она была уже разбита,—но она наглухо была бы отрезана от французского фронта. В Шампани, на южном фронте немцы продвигаются вперед на 50 километров. Американской армии пока не было. Американская армия поспела только к июлю. Хотя принимались самые экстренные меры, чтобы американскую армию переправить в Европу, хотя в Европу направляли одних солдат, набивая их в пароходы в тройном размере сверх нормы, причем снаряжения и лошадей не брали, потому что всем этим должны были снабдить союзники,—несмотря на эти экстренные меры, только к июлю американская армия поспела на западный фронт.

Таким образом в тот момент, когда попытка восстановить восточный фронт при помощи большевиков лопнула, в это время в восстановлении восточного фронта Западная Европа нуждалась особенно остро. В этой связи нужно понимать интервенцию, которая отмечена восстаниями чехо-словаков, Комитетом членов Учредительного собрания, взятием Казани и всем тем, что было летом 1918 г. Нужно было

во что бы то ни стало восстановить восточный фронт, чтобы оттянуть некоторое количество германских дивизий с фронта западного.

Потерпев неудачу в попытке ориентироваться на большевиков, американцам было совершенно естественно обратиться к их противникам. В этой связи стоит заключенный, приблизительно в мае 1918 г., договор французской и английской миссии с эсерами. Когда мы судили эсеров в 1922 г., мы еще не имели в руках всех документов этого договора, и хотя эсеровские цекисты с чрезвычайным великодушием брали на себя личную вину, все же уличить их *партию* в том, что она заключила этот договор, мы не могли. А теперь мы знаем, что договор французов и англичан был заключен именно с эсеровской партией, с ее ЦК. Эсеры обязались поднять восстание. Обязались правые, но, по существу, и левые тут не без греха, и восстание левых эсеров 6 июля нужно ставить в эту связь. Схема была такая: поднять восстание против большевиков, сбросить их, и при помощи Франции, Англии и т. д. воссоздать этот самый восточный фронт. Но, как вы догадываетесь, в тех обстоятельствах, в каких в то время находился западный фронт, никакой серьезной военной силы послать в Россию было нельзя. Англичане заняли Мурман и Архангельск в качестве залога и как ворота, через которые будущий восточный фронт должен был снабжаться; но дальше пойти они не могли. Сила их была там ничтожная: 20—25 тыс. человек. Поэтому нужно было отыскать внутри России вооруженную силу, на которую можно было опереться. Этой силой оказался чехо-словацкий стрелковый корпус, составлявший к этому времени силу около 50 тыс. штыков и шашек,—силу не разложившуюся. В то время как наша русская армия разложилась до конца, чехо-словаки не разложились и представляли собой вполне боеспособную силу. Под тем предлогом, что их повезут через Владивосток,—это очевидно было подстроено,—они заняли всю сибирскую железную дорогу от Пензы до Владивостока, таким образом заняв ту артерию, по которой должна была итти американская и японская поддержка. Единственная армия, которую можно было бы послать для восстановления восточного фронта, это была японская армия. Об этом мне американские агенты говорили совершенно откровенно и вычисляли, какое количество японских дивизий могло быть брошено на Волгу. Это они говорили, когда собирались восстановить восточный фронт в союзе с большевиками, но и после крушения этой попытки стратегический план оставался тот же самый. Таким образом была захвачена Сибирская железная дорога, а затем была придумана юридическая оболочка для всего этого. Этой юридической оболочкой был Комитет членов Учредительного собрания («Комуч»), который завладел Самарой, Симбирском, Казанью, Уфой и т. д.,—получил некоторую территорию. Это был законный титул, легальный титул, законная оболочка для всего этого. Нельзя же было действовать в России просто от имени французов, англичан, японцев, американцев и т. д. Надо было изобразить, что какая-то часть русского народа желает тоже поддержать это движение. Насколько мы в это время были слабы,—этого нечего скрывать,—следует хотя бы из того, что

Казань взяли 700 человек—300 человек офицерского батальона и 400 чехов,—взяли Казань, где было несколько десятков тысяч красноармейцев. Красная армия с тех пор имела такие великие заслуги, что они давно это покрыли. Но тогда она существовала только на бумаге. Люди были только что взяты, они еще совершенно не были обучены. В массе своей крестьянская молодежь вовсе не хотела сражаться. Словом, мы были тогда действительно крайне слабы. Но был один пункт, и этот пункт нужно подчеркнуть, потому что он характерен для всего будущего, был один пункт, и в этом пункте ошиблись Антанта и ее союзники в России—эсеры. Этот пункт тот самый, который объясняет слабость Красной армии в то время. Если наш крестьянин в то время, летом 1918г., не обнаруживал особенной охоты сражаться за советскую власть,—это надо прямо сказать,—то еще меньше он имел охоты сражаться за Учредительное собрание и возобновлять войну с Германией. И первая же попытка эсеров произвести мобилизацию и обложить податями население, что необходимо было для того, чтобы существовать правительству, ведущему войну, моментально подняла это население на ноги против эсеров. А рабочие, по заявлению самих эсеров, были против них с самого начала. Таким образом получалась та картина, которую один из эсеров, Климушкин, описал весьма выразительно: единственной силой, которая поддерживала членов Учредительного собрания, были чехо-словаки. Комитет членов Учредительного собрания, выступавший от имени всего населения России, сразу оказался на положении иностранного завоевателя, притом завоевателя чрезвычайно слабого физически, ибо, по мере того как Красная армия улучшалась, те ничтожные силы, которыми оперировал Комитет членов Учредительного собрания,—эти ничтожные силы все больше таяли.

Таким образом и эта попытка восстановить восточный фронт против советской власти тоже не удалась. Неудача объясняет нам, почему эсеров тотчас же прогнали. Антанта и Соединенные штаты—это были люди практичные: они смотрели в суть вещей; им важна была не декорация Учредительного собрания; они эту декорацию выдвинули—ничего не выходит, никого этим не приманишь. Тогда они поворачиваются к Комитету членов Учредительного собрания спиной и обращаются к форменным монархистам—к Колчаку, Деникину, Юденичу, начинают оперировать с ними. Эсеры вертелись и барахтались всячески, пока не получили телеграмму Пишона, французского министра иностранных дел, который разъяснял, что Комитет членов Учредительного собрания не есть Учредительное собрание. Кучка в 50—70 человек не есть Учредительное собрание, которое состояло из 500 человек и представляло собою не одних эсеров, но и другие партии. Курьезно, что французский министр иностранных дел должен был разъяснять эсерам азбучные истины государственного права.

Итак, первая глава интервенции—попытки восстановить восточный фронт сперва в союзе с большевиками, а потом против большевиков,—кончилась неудачей. Но к тому времени, когда вся эта возня

закончилась, перестал быть практически нужным и сам восточный фронт, ибо в октябре-ноябре 1918 г. Германия рухнула. Если бы она рухнула просто под натиском американской, французской и т. д. армий, то это, вероятно, на первое время просто прекратило бы всякую интервенцию. Но Германия рухнула в обстановке грандиознейшей революции, какая разыгралась в Европе после русской революции в обстановке германской революции. Эта германская революция, которая сразу же приняла советский облик, выразившийся в том, что немцы образовали Советы солдатских и рабочих депутатов, явно клонилась к господству спартаковцев, т. е. коммунистов. Спартаковцы—это зародыш германской коммунистической партии. Эта революция страшно напугала Антанту и даже Америку, ибо стало совершенно очевидно, что учение, будто бы большевизм есть русская болезнь,—это учение совершенно не оправдалось; большевизм, оказывается, может охватить и Европу. Он захватил центральную Европу. Уже советы есть в Вене, Берлине и Мюнхене. А что же дальше? Почему большевизм не может захватить Англии, Франции и т. д.? И тут начинается паническая попытка интервенции уже в борьбе с большевизмом. Тут дело идет уже не о восстановлении восточного фронта, а о том, чтобы раздавить большевиков, потому что большевизм оказывается не русской, а всемирной болезнью, и нужно стремиться уничтожить ее очаг, как какой-нибудь очаг чумы где-нибудь в Китае или Индии.

Но страх Антанты был так в это время велик еще, что в ней сначала наметились две струи. Одна из этих струй очень мало известна, и о ней можно сказать, что это была попытка Антанты столковаться с большевиками. Если раньше пытались с большевиками в союзе восстановить восточный фронт, то теперь имеется попытка: нельзя ли большевиков взять на капитуляцию. Они слабы. Ясно, что они голодают. На Западе голод наш рисовался в самых ужасных чертах. Говорили, что улицы Москвы поросли травой, что на этих улицах валяются трупы, и т. д.

Конечно нам жилось тогда очень плохо, но все-таки до таких размеров дело не доходило, а главное дело —положение хотя медленно, но постепенно улучшалось, так что было не так плохо. Но на Западе казалось, что хуже быть не может. Так нельзя ли большевиков взять на капитуляцию, добиться того, чтобы они действительно национализировались сами: сиди смирно у себя, там и большевиствуй, сколько влезет, но нас не трогай? Позвольте вам прочесть циркуляр, который разослал Ллойд-Джордж в марте 1919 г.:

> «Величайшую опасность,—писал Ллойд-Джордж,—настоящего положения я вижу в том, что Германия может соединить свою судьбу с большевиками и предложить все свои средства, все свои способности, все свои громадные организаторские силы в распоряжение революционных фанатиков, которые мечтают силою оружия завоевать весь мир для большевизма».

Что мы мечтали завоевать весь мир для большевизма,—это факт,—но только не силою оружия, но это все равно.

«Если Германия,—продолжает Ллойд-Джордж,—перейдет в руки спартаковцев, то она неизбежно соединится с русскими большевиками. Раз это случится, вся Восточная Европа будет втянута в орбиту большевистской революции, и через год мы будем свидетелями зрелища, как 300 миллионов человек, организованных в огромную красную армию, под руководством германских инструкторов и германских генералов, вооруженную германскими пушками и пулеметами, возобновят атаку на Западную Европу»...

Я должен сказать, что Ллойд-Джордж обнаружил большую проницательность. Представьте себе, что мы не были бы разбиты под Варшавой в августе 1920 г. и прорвались бы в Германию,—эта картина осуществилась бы несомненно. Но не Ллойд-Джордж, а наши друзья американцы первые вступили на эту дорогу, первые практически попробовали: а нельзя ли в самом деле сговориться с большевиками?

И вот почти одновременно с этим циркуляром Ллойд-Джорджа (циркуляр относится к марту, а то, что я рассказываю, относится к февралю) в Москве снова появляется агент Вильсона—Буллит. Он вступает в переговоры с Лениным, а так как Ленину было важно выиграть время, то Ленин охотно идет на проект такого договора:

«Все существующие де-факто правительства в России и Финляндии сохраняют власть на принадлежащей им территории, исключая случаи, которые может предусмотреть конференция,—что народы, обитающие на территории, управляемой правительством де-факто, сами пожелают переменить правительство».

Я думаю, что всякий тут видит прищуренный глаз Ильича. Очень хорошо. Мы не будем свергать ни Колчака, ни Деникина, но если само население, сама Сибирь пожелает прогнать Колчака,— конечно, не можем же мы мешать?

«При этом должно быть гарантировано общим взаимным обязательством не применять силы для низвержения какого бы то ни было из этих правительств, включая Финляндию, Польшу, Галицию, Румынию, Армению, Азербайджан и Афганистан».

Это то, что мы уступаем. Мы не звери, мы самые кроткие ягнята сидим себе в Москве, кушаем преимущественно вегетарианскую пищу, потому что другой не имеем. А вот что мы желаем за это получить:

«2. Экономическая блокада снимается и восстановляются взаимные торговые сношения.

3. Советскому правительству предоставляется беспрепятственный транзит по всем железным дорогам и пользование всеми портами, принадлежащими прежней Российской империи и Финляндии.

4. Граждане охватываемых соглашением стран имеют право свободного въезда, проживания и перемещения в полной безопасности под условием невмешательства во внутреннюю политику других стран. Взаимно обеспечивается право посылать официальных представителей, которые не должны обязательно иметь все права дипломатических чиновников, но пользуются правом иммунитета.

5. Объявляется общая амнистия всем политическим противникам, преступникам и пленным в России и для всех, кто преследуется или может быть преследуем вне России за оказание помощи Советской России. Все военнопленные должны быть возвращены.

6. Немедленно по подписании этого соглашения все иностранные войска отзываются из России, и прекращается всякая военная поддержка антисоветских правительств. Все армии, остающиеся в России, переводятся на мирное положение.

7. Правительства России и Финляндии отвечают за финансовые обязательства прежней империи перед странами, участвующими в этом соглашении, и их подданными. Дальнейшие постановления на этот счет согласуются с этими основными принципами».

Я не знаю, помните вы или нет, как нас всех ошарашило тогда, в 1919 г., радио Чичерина, где впервые признавалось, что на известных условиях РСФСР согласна рассмотреть вопрос о возмещении кредиторов России за те долги, которые мы отказывались платить. Так что ничего нового нет в тех переговорах, которые мы ведем сейчас с Францией. Надо вспомнить только радио Чичерина еще в 1919 г.

Буллит должен был вернуться в Америку, получить подпись того же знаменитого Вильсона под этим договором, и затем должен был наступить мир и в «человецех благоволение». Этого не случилось потому, что если в Америке и даже в Англии плохо понимали взаимоотношения большевиков и белых правительств, находившихся на территории России, то белые-то правительства отлично понимали, что, в сущности, этот договор означает их низвержение через год—два, так как ясно было, что массы их не поддерживали и что при наличности свободной большевистской пропаганды, которая осуществлялась по договору несомненно, и вообще при развязывании рук большевикам белые, конечно, так или иначе, будут свергнуты в весьма близком будущем. Поэтому ни одно из белых правительств на это и не согласилось, и, очевидно, под влиянием прежде всего их протестов, Вильсон договора не подписал.

Но с этим договором связан один объективный факт. Всех поразило,—почему французы вдруг ушли с северных берегов Черного моря, куда они высадились? Объясняли это различно; во-первых, разложением французской армии. Это верно, она разложилась и об этом я еще буду говорить. Затем, объясняли это чрезвычайно энергичной деятельностью местных большевистских организаций. Один из одесских большевиков пишет: так мы этих французов напугали, что ничего им больше не оставалось, как убежать. Конечно, я уверен, наши большевики в Одессе превосходно действовали, но, чтобы их испугался такой зверь как Антанта,—я очень сомневаюсь.

Дело было не в этом. Если мы сопоставим события, вспомним, что французы очистили Одессу в начале апреля, к 10 апреля, к тому сроку, к которому Вильсон должен был дать ответ, то вы поймете, в чем было дело. Тут начиналась подготовка к исполнению обязательств Буллита, — но осуществлены они не были. Кто тут виновник,—я сказать не могу, но, вероятно, не считая уже отмеченного выше протеста белых, виновники скорее всего англичане, которым к этому времени удалось взять дирижерскую палочку, а главное, удалось захватить наиболее выгодные куски территории бывшей Российской империи. Как только Германия рухнула, так первое, к чему устремились почтенные союзники, это—вступить в права наследства. Если

вы проследите, как интервенты и белые занимали различные части СССР, то увидите, что занимались те части, которые были под контролем Германии. Украина была занята немцами. Туда высаживаются французы и всякие их клиенты, греки и т. д. Дальше окрестностей Одессы они не пошли, но они собирались итти до Харькова и Киева. Англичане занимают Закавказье, Батум, Баку, где стояли союзники немцев—турецкие войска. Мы знаем проект генерала Деникина занять белыми и антантовскими войсками всю пограничную полосу: и Белоруссию, и Латвию, и Эстонию и т. д. Это все не удалось и не вышло. Почему не удалось и не вышло,—этим я закончу лекцию, а факт тот, что не вышло. А план такой был. Англичане захватили Закавказье, захватили Сибирь, потому что Колчак был их агентом: Колчак был агентом англичан. Он, правда, не был привезен генералом Ноксом в своем вагоне в Омск,—это фактически неверно, но, если фактически неверно относительно Нокса и вагона, то это было правильно по существу. Колчак был устроен на своем месте англичанами. Англичане все это желали удержать в своих руках. Вот почему они настаивали на продолжении войны с большевиками, которая им казалась обещающей большие перспективы. Вот почему они ремонтировали, вооружили армию Деникина на 250 тысяч человек, снабжали армию Колчака. Как раз весной 1919 г. Колчак имел большие успехи. Он быстро продвигался вперед, захватил Пермь, угрожал Казани и т. д. Это способствовало тому, что договор не был подписан и что интервенция продолжалась. Я не стану гадать, что было бы, если бы состоялось это соглашение,—ускорило бы оно ход вещей или задержало бы, прекратило бы гражданскую войну или затянуло бы, но факт тот, что соглашение не состоялось, и попытка во что бы то ни стало столковаться с Россией лопнула.

В этой связи стоит и приглашение, присланное Ллойд-Джорджем нам и всем правительствам на русской территории на конференцию на Принцевых островах, под Константинополем,—о чем достаточно писали в газетах. На эту конференцию мы поехали бы с величайшим удовольствием, но белые никто не поехал, и конференция не состоялась.

После этого начинается упорная попытка нас низвергнуть исключительно силой оружия. Я вам не буду рассказывать подробности этой попытки, т. е. подробности нашей гражданской войны, а перейду к тем международным условиям, которые обеспечивали провал этой попытки. В самом деле, это как будто бы загадка. Настоящая голая, в буквальном смысле слова, голая страна, у которой ничего как будто бы нет,—ни хлеба, ни мануфактуры, ничего,—заводы не работают, производительность труда упала до последнего минимума и т. д.; на нее лезет та Антанта и те Соединенные штаты, которые сейчас только что раздавили такого колосса как Германию; и вот, такой колосс как Германия оказался сплющенным в лепешку, а голая Россия отстоялась. Почему так было?—Внутренние условия вы знаете,—я их не буду повторять. Эти условия заключались в том, что по мере того, как белая сторона этой гражданской войны падала, как дело от Уч-

редительного собрания переходило к явно монархического типа командованию, масса крестьянского населения перекачнулась на нашу сторону, и мужик с белыми не пошел. Это и объясняет нам крах белых правительств. Как только они начинали мобилизовать крестьян и собирать подати, они вызывали против себя партизанщину. На истории колчаковщины мы можем это проследить чрезвычайно близко. Мобилизация, подати и партизанщина идут в Сибири друг за другом, до необычайности тесно. К этому надо прибавить и ряд случайных, с точки зрения внутренних наших отношений, обстоятельств. Возьмите хотя бы германскую революцию, крушение германского восточного фронта. Это отдало в наши руки колоссальное количество снаряжения, и только благодаря этому мы могли выдержать войну не только с белыми, но и с Польшей. Но всего этого мало для объяснения нашей победы. Повторяю, тут приходится взять в расчет международные условия, как международные в смысле отношений между странами, так и международные—внутри отдельных стран. Оба эти условия, которые я охарактеризую, интересны потому, что они продолжают действовать и до сих пор. Это не только нечто историческое, но и актуальное, что и теперь сохраняет все свое значение.

Прежде всего, несмотря на трогательное название «Антанта»—взаимное согласие,—несмотря на формальный союз, несмотря на Лигу наций и прочие прекрасные вещи, отношения внутри этого лагеря очень напоминали те отношения между сербами и болгарами, о которых я говорил на одной из предшествующих лекций. Когда я читал эти лекции свердловцам, то в качестве образчика я приводил роман Пьера Бенуа «Владетельница Ливанского замка»,—авантюрный роман. Иногда авантюрные романы прекрасно рисуют быт. Там изображены взаимоотношения англичан и французов, быт французского офицерства в Сирии, т. е. там, где происходит сейчас война. На чем вертится этот роман?—На том, что один французский офицер изменил. В чем заключается измена?—В том, что он поступил на службу к англичанам. Видите ли двое союзников—англичане и французы, и один из них совершает черную измену тем, что переходит на службу... к кому?—К союзнику,—к Англии. В это время отношения Франции и Англии в колониях превращались в форменную войну. Война шла не из-за России, но она отражалась на отношениях союзников внутри России. В то время как французы убрали войска с северных берегов Черного моря, англичане снарядили Колчака, Юденича, Деникина и бросили их на Россию. Одним словом, согласия между двумя этими сторонами не было.

Но еще более сложный переплет получается, если мы возьмем Сибирь и Дальний Восток. Там главная сила, которая могла быть использована как для воссоздания восточного фронта, так и для борьбы с большевизмом, была Япония. Пока речь шла о восстановлении восточного фронта, японцев допускали высаживать сколько угодно солдат на сибирском континенте. Но как только рухнула Германия, американский министр иностранных дел запрашивает японцев: что означает семидесятитысячная японская армия в Сибири и на каком

основании японцы туда пришли? Японцы говорят: мы воюем против большевизма. Да, но 70 тыс. солдат зачем; достаточно и 8 тыс. В конце концов, японцы должны были ограничиться одной дивизией. Но этого было еле-еле достаточно, чтобы удержать Владивосток и его окрестности. До какой степени все вертелось на конкуренции Японии с Соединенными штатами и Англией, видно из факта интронизирования, посажения на престол Колчака. Накануне этого события стоит телеграмма главнокомандующего войсками эсеровской директории Болдырева к японцам с просьбой о помощи. Сегодня он послал телеграмму, а завтра он летит к чорту, при благосклонном содействии представителей Англии, которые в это время находились в Омске.

Это первое условие, которое осудило интервенцию на неудачу. Этим условием было то, что при буржуазном строе никакая Антанта, никакая Лига наций не может создать такого монолитного целого, которое действовало бы единым фронтом. На короткое время такая спайка может быть, но вы помните, как они обманывали друг друга во время империалистской войны. Теперь вы видите, как это мешало им в интервенции. Надо прибавить к этому кое-какие субъективные моменты, вроде того, что Англия вовсе не хотела восстановления единой России, а стремилась добиться раздробления России, в этой связи она не брала тогдашнего Петрограда, хотя имела возможность это сделать, и мешала Юденичу его брать. Посылая орудия на одном пароходе, англичане посылали замки к ним на другом. Это был определенный, явный саботаж; белые говорят, что англичанам ничего не стоило взять тогдашний Петроград, но они этого не делали потому, что взятие Петрограда страшно приблизило бы победу белых. Победа белых означала бы воссоздание единой России, а единая Россия англичанам совсем не была нужна, потому что единая Россия пришла бы с векселем на Константинополь и проливы. Если вы эти подробности припомните, то поймете, почему по самой сути буржуазной политики и буржуазного строя интервенты не могли столковаться. Вот почему такие огромные звери, которые лезли на нас, были нами отбиты, хотя с огромным трудом,—эти звери передрались между собою.

На этом сыграла, и мастерски сыграла, наша дипломатия, т. е. дипломатия Ленина, ибо внешнюю политику вел он лично.

Это то, что касается отношений между странами интервенции. Но, товарищи, этого мало. Эти страны грызлись между собою и в то же самое время, грызясь между собою, имели врагов внутри себя. Возьмите вы 1919 год: январь,—почти всеобщая забастовка в Англии, причем забастовка углекопов прокатывается по всей стране и за ней следом прокатывается забастовка по всем профессиям и областям. Затем, в июне забастовка текстильщиков, в сентябре всеобщая железнодорожная стачка. И на этом фоне телеграмма Черчиля, который, давая объяснения, почему англичане очистили Архангельск и Мурманск, откровенно говорит: «Настроение английского общественного мнения, а в особенности рабочих, было таково, что мы вынуждены были отозвать свои войска».

Во Франции, благодаря ее промышленной, сравнительно, отсталости, не было таких всеобщих забастовок, какие были в Англии, но, если вы возьмете 1919 год, то там непрерывный перекат забастовок то в одной профессии, то в другой, то в третьей.

Вот какая перед нами картина; картина, с одной стороны, буржуазного мира, который, в силу того, что он буржуазный, в силу классовых основ капиталистического строя, разделен, грызется между собою, а, с другой стороны, картина рабочего класса, который, не будучи формально объединен, ибо в это время только завязывается III Интернационал (в конспиративном заседании в феврале 1919 г. в Кремле; I настоящий съезд Коминтерна был в июле—августе 1920 г.), действует дружно, локоть к локтю. Если вы сравните эту солидарность рабочего класса, действующего коллективно, в силу общности интересов, помогающего друг другу, не сговариваясь,—ибо не мы устраивали стачку железнодорожников или углекопов в Англии, а они сами,—а, с другой стороны, коалицию этого грызущегося буржуазного мира, то вы увидите, что это не только история, а это великое обещание и залог будущего. Нас могут постигнуть несчастия, но нужно помнить одно, что раздробленный, разделенный буржуазный мир никогда не одолеет внутренне связанного и спаянного своими интересами пролетариата, и в конечном счете победа останется за рабочим классом, как это великолепно понимает и сама буржуазия, которая начинает об этом говорить все откровеннее.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## VI. Внешняя политика России XX в.

### Лекция 1-я.



### Лекция 2-я.



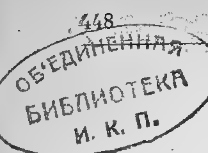
### Лекция 3-я.



### Лекция 4-я.

## ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

| Страница | Строка | Напечатано | Должно быть |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 сверху | реформы | реформ |
| 16 | примеч. [1] | 1.934 ф. ст. | 1.934 тыс. ф. ст. |
| 17 | 20 снизу | стране | стене |
| 31 | 10 » | отличавшихся | отличившихся |
| 34 | 13 сверху | ускорит | ускорил |
| 40 | 14 снизу | переуспевающего | преуспевающего |
| 40 | 9 » | формулу и | формулу |
| 73 | 22 » | итальнский | итальянский |
| 90 | 19 » | анатагонизм | антагонизм |
| 98 | примеч. [1] | Aug Mai | *Aug. Mai* |




## VI. Внешняя политика России XX в.

Лекция 1-я.

*Стр.*



Лекция 2-я.



| Страница | Строка | Напечатано | |
|---|---|---|---|
| 127 | 4 снизу | . с которой | |
| 154 | 4 » | разрядкою | |
| 299 | 26 » | далось | |
| 303 | 3 » | насколько | |
| 312 | 18 сверху | бюрющихся | |
| 321 | 11 » | русскими и арабскими | ру |
| 356 | 18 снизу | за здравствует | |
| 358-359 | | Петит ошибочно заверстан в основной текст, впереди статьи | Долж на «При |
| 364 | 28 снизу | Soci t d'Etudes | |
| 415 | 10 » | мира). | |

М. Н. Покровский

Лекция 4-я.

1

Должно быть

о котором
курсивом
удалось
несколько
борющихся
русским и арабски
Да здравствует
Должен стоять в пр
на стр. 358 после с
«Приводим текст п
ней:»
Société d'Etude
мира.